МАРИЭТТА
ШАГИНЯН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПО ДОРОГАМ ПЯТИЛЕТКИ

КАРЕЛО-ФИНСКИЙ ДНЕВНИК

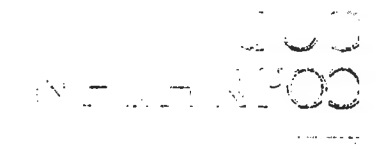
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ

ОТ МУРМАНСКА ДО КЕРЧИ

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ПИСЬМА

АНГЛИЙСКИЕ ПИСЬМА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957



М. С. ШАГИНЯН

ПО ДОРОГАМ ПЯТИЛЕТКИ

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ

Не фантастический какой-нибудь механизм из романа Уэллса,— вот он стоит, скромное средство сообщения с будущим: зеленый домик на колесах, отремонтированный, подчищенный, подкрашенный заново, простой вагон с цифрой «2235» на глянцевитой стене. В этом домике предстоит прожить два месяца — время, потребное для полета в будущее.

Жизнь в вагоне — это своеобразный урок. Когда-то в старой школе ставились отметки за «внимание». Вагон снова ставит вам эту отметку. Для того, кто живет в движении, внимание — это первая добродетель. Нужно научиться пристально всматриваться, связывать, понимать. Словно в разрезе, отваливаясь, как краюха от ножа, по обе стороны вашего пути открывается богатая, непрерывно меняющаяся жизнь страны. Мимо проходят составы, везут туда и оттуда,— умейте заметить, что́. Строевой лес, платформы с ломом, платформы с новенькими, отлакированными машинами, цистерны с нефтью, грузовики — по два на платформе, носом друг к другу,— и уголь, уголь, уголь, руда, руда — это циркулирует непрерывно и повсюду. Закрытые вагоны с душным, слегка сладковатым запахом и облачком пыльного своего дыхания, оставляемым на земле,— это сезонный, осенний груз — хлеб. И грузы, необычные для вас, местные: россыпь сероватых кристаллов — кулундинская

соль; пестрый красивый камешек — каждый хоть в коллекцию минералога! — это семипалатинский балласт, он ляжет на полотна будущих путей; корни саксаула — витиеватые, странные, словно причудливые лапы бесчисленных морских спрутов, борющихся друг с другом в тесном мире вагонной решетки,— это местное топливо, им топят в Узбекистане.

Нет паузы, каждый километр вашей жизни взывает к вам, требует внимания; пауза — только черная ночь, когда ничего больше не видно. И насыщенность большого дня, уходящего и уходящего вдаль, то нагоняющего восход солнца (и теряющего часы), то бегущего на закат его (и выгадывающего часы), учит вас прилежанию, непрерывному чувству времени, экономии в расходе дня, старанью успеть, все успеть увидеть, запомнить, уложиться «вовремя». Но самое незабвенное, чем одаряет вас жизнь на колесах,— это мудрость самого движения. Как нигде и никогда, начинаешь понимать, что жить — это значит двигаться, потому что стоять, долго стоять — в вагоне, на запасных путях — значит медленно идти на убыль, разлагать и убивать свой быт, терять свою жизнь. Весь внутренний быт вагона охладевает и нарушается. Умирает свет, потому что нельзя уже надеть спасительный ремень под вагон, движением колес заряжающий ваши аккумуляторы; исчезает вода: вагон на запасных путях далек от водокачки, водой не заправляется, а тащить ее в ведрах — трудно. Исчезает воздух,— начинаешь остро чувствовать кубатуру тесного купе, раздвигавшегося во время хода на все четыре стороны вашего взгляда. Зато растет грязь, неубираемая, неизбежная грязь запасных путей, захлестывающая утлое суденышко вашего вагона. На пятый день такой стоянки остро понимаешь: стоять — это застой, жить — это двигаться, двигаться... И вот ночью желанная минута. Ваше утлое суденышко дернулось. Это большой и теплый зверь, которого полюбили вы от всего сердца за время жизни на колесах,— паровоз, пофыркивающий короткими озабоченными гудками, подошел и словно обнюхал вагон, подцепил его,— и опять равномерный, баюкающий ритм движения, ритм полного хода: маневр и прицепка! Все сразу оживет во-

круг нас. Наполнится светом лампочка. Наполнится водой бак; наполнится воздухом вентилятор. Тронулись!

«А где же будущее?» — спросит читатель. На стене вагона между двумя задернутыми шторками висит карта. На этой карте лишь общими чертами намечена земля нашей страны: голубеют большие водоемы (моря и самые крупные озера); извиваются голубыми змейками самые большие реки (без притоков или только с главными), намечены основные города — лишь те, что стоят на железной дороге. Ни гор, ни лесов не указано,— глаз должен свободно разбираться только в одном — в кружеве пересекающихся линий, скупо наделенных красками: черной, красной, синей, фиолетовой, и ложащихся то пунктиром, то лентой. Черные линии — это действующие железные дороги; синие — это основные магистрали восстанавливаемых и строящихся вторых путей; красные — это электрифицируемые, а фиолетовые — это те, по которым уже бегут электровозы. Пунктиром указаны достраивающиеся, пунктиром в рамке — новые дороги. Пять лет эти линии будут жить особой нервной жизнью. Завод надо достроить, чтобы он давал продукцию; книгу надо дописать, чтобы она увидела свет; дом надо возвести, чтобы можно было в нем жить. И только одна дорога строит сама себя, реализуется тут же, в процессе стройки: едва уложены рельсы на первом километре, как уже идет по ним первый паровоз, перебрасывая дальше строительные материалы и людей, заставляя рождающуюся дорогу, подобно шелковичного червя, выпрядывать свое будущее. Дороги четвертой пятилетки — вот это и есть то будущее, куда нам предстоит съездить.

Посидим немного перед картой, прежде чем двинуться в путь по земле. Каковы отдельные новые черты четвертой пятилетки в отличие от трех предыдущих? Прежде всего она как бы суммирует строительный опыт молодого советского строя за все 30 лет его жизни, сочетая и как бы воспроизводя всю периодику этих лет. В начале 20-х годов, после войны и разрухи, мы должны были восстанавливать; в середине 20-х годов на материале восстанавливаемого мы уже смогли

реконструировать; в конце 20-х годов на основе реконструированного мы уже смогли комплексно планировать новое; так восстановительный период сменился реконструктивным, а реконструктивный сомкнулся с планированием пятилеток.

Но сейчас, после тягчайшей из войн, после гигантских разрушений, произведенных врагом на нашей земле, мы сразу как бы проводим в одном объеме нового пятилетнего плана всю тройную периодику предыдущих трех десятилетий, отражая этим не только насущную надобность восстановить то, что разрушено, но и необходимость создавать новое и новое. В простейшем, казалось бы, акте восстановления мы сейчас уже реконструируем (изменяем в сторону улучшения, в сторону развития), а при реконструкции мы уже, естественно, входим в новый плановый комплекс послевоенной пятилетки.

Вот первый попавшийся пример: неизвестная маленькая станция возле Омска, обычно и не ставившаяся на карте: «Московка». О ней еще никто ничего не знает, но это уже не просто станция, а стройка, и стройка огромная: «Московка» превращается в большой сортировочный узел, она разветвится десятками запасных путей, примет на себя всю хлопотливую, бессонную жизнь крупного железнодорожного центра на крупнейшей сибирской магистрали. Но «Московка» вырастает так потому, что красная линия проходит от Уфы через Челябинск — Омск к Новосибирску и дальше, означая реконструкцию всей этой старой широкой магистрали. Дорога здесь за четвертую пятилетку будет электрифицирована, то есть получит огромное добавочное движение,— и нужно заранее предвидеть и встретить вырастающие грузопотоки.

Или вот красный кружок на юго-западе от Запорожья, через Апостолово — Пятихатку к Днепропетровску, означающий электрификацию этого важнейшего промышленного участка. Здесь прошли разрушения войны. Здесь нужно восстановить былое движение. Казалось бы, надо начать с азов. Но восстановление перерастает в реконструкцию, движение облегчается, упрощается, железнодорожная техника восходит на новую

ступень. И происходит так, что наши строители не повторяют себя, не повторяют старых проектов, не повторяют старого опыта, восстанавливая старые стройки, а вносят в восстановление творческую новизну, многие задачи должны решать заново, перепроектировать. А это значит, что один из могучих рычагов нашего строительства — чувство новизны, социалистическая сознательность, воспитанная партией большевиков, профессиональный интерес к стройке, приобретение нового опыта, учеба, рост — все то, что заставляет работать творчески, ведет к вдохновению,— налицо сейчас в объектах, казалось бы, давно уже известных и не новых. Отсюда и необычайно выросшая, ставшая остро трудоемкой и остро ответственной работа наших проектировщиков.

Второе, что бросается в глаза при взгляде на карту,— это наглядно учтенный, реализованный в пятилетнем плане опыт Великой Отечественной войны. Война еще раз показала огромную роль нашего Востока, особенно Урала, Сибири, Казахстана в обороне нашей родины, в ее промышленном, сельскохозяйственном, сырьевом балансе, в ее стратегической, резервной значительности. А ведь на средний Урал, таивший такие резервные силы, приведенные войной в действие, вела до сих пор — страшно даже подумать — однопутная колея, словно водопад бился у горлышка графина. Кто приехал в 1941 году на Урал с эвакуируемыми эшелонами, тот навсегда запомнил: медленное движение вагонов бесконечной чередой, с составами впереди и в хвосте; стоянки на разъездах часами, иногда сутками, стена к стене с другими эшелонами. Выглянешь — лес теплушек, молчаливые составы, забившие все разветвления, все пути разъезда — и не пробиться через них к невидимому перрону, не разглядеть надписи на станции, какая, где,— безвестное множество поездов вокруг. И так длилось неделями, вырастало в месяц, пока не пробьется состав к конечной своей площадке. Все это станет воспоминанием, в которое трудно будет поверить. Четвертая пятилетка — это пятилетка больших выходов, большой связи северо-востока с юго-западом, большого свободного маневра.

Она не только строит на Востоке вторые колеи там, где их не было и где они важны, не только размыкает напряженные участки новыми обходными путями, электрификацией, переустройством и развитием узлов, но и опускает сейчас с высот горной Хакассии, из сибирской тайги новую сибирскую широтную магистраль — на юго-запад нашего Союза, с новым выходом через Волгу (быть может, у Вольска) к самому Донбассу, словно обручая девственное железо Абакана с могучим старым донецким углем или бойкую криворожскую железную руду с молодым и сильным углем Кузбасса. Магистраль от Кузбасса до Донбасса! Эта линия вошла в пятилетку под условным названием Сталинско-Магнитогорской, потому что весь очерк ее, уже ясный в основном (то есть в соединении Сталинска с Магнитогорском), не был еще разработан, точнее сказать, не был обдуман до мельчайших решений своих по другим участковым трассам и, кроме великой увлекательности его как целого, перед строителями еще стояла и вся живая, горячая, страстная увлекательность решения отдельных, местных проблем — «откуда — докуда» на некоторых его участках, проблем уточнения трассы на участках уже решенных. Строительство такой дороги — само по себе нерв и вдохновение всей четвертой транспортной пятилетки, оно дает огромную пищу и науке нашей и нашему искусству.

Насколько нужна эта новая дорога, Южсиб, видно хотя бы из того, что она начала строиться на отдельных участках еще до «оформления» их. Так это получилось с участком Алтайская — Артышта, где в 1946 году, в самое напряженное время хлебосдачи, по дороге, только что доведенной до станции «Шпагино», уже перебросили из колхозных глубинок 1 364 тонны хлеба нового урожая. Колхозы звонили на станцию прямо с токов, с обмолота. И едва рожденный отрезок дороги получил новые заявки уже на перевозку 200 000 тонн зерна, 1 200 тонн овощей, 500 вагонов сахарной свеклы, 800 тонн сена и дров. И все это надо было перевезти до конца 1946 года. В то же время, с момента укладки рельсов, по этой еще не «оформленной», не имеющей паспорта

дорог перевезено было 4 284 вагона со стройматериалами и перевезено 6 320 пассажиров. Еще не было дороги, а уже началась реальная эксплуатация этого маленького пути, первенца Южсиба, отрезка в 60 километров с балансом перевозок из конца в конец (ввоза и вывоза) и экономической рентабельностью! Вот какова была действительная нужда края в этой дороге.

И тут мы подходим к важной черте той новой транспортной пятилетки, которую всего важнее учесть тем, кто ее будет осуществлять. Если планирование ее потребовало нового и глубокого учета уроков войны, то четвертая пятилетка в каждой отдельной своей стройке требует от строителей — начальников, главных инженеров, прорабов, изыскателей, проектировщиков, бригадиров — большего, чем когда-либо, понимания *общей* экономической канвы, связывающей отдельные участки пятилетки в единое целое: она требует знания всей *совокупности* экономических интересов, лежащих в основе решений того или иного варианта, выборов той или иной трассы дороги; иначе сказать, требует большей, чем когда-либо, общей осведомленности и общего понимания экономического фона, на котором легли пересекающиеся линии четвертой пятилетки.

Отметим и еще одну особенность.

Вскрывается эта особенность, правда, не у карты, не от простого размышления над чертежом пятилетки. Она бросается вам в глаза уже позднее, когда вы проедете по первым вехам великой новостройки, разбросанной на территории одной шестой части нашей планеты. Но, забегая вперед и опережая последовательность рассказа, отметим ее здесь двумя словами. Нам кажется, что ни одна еще строительная пятилетка не была в такой большой степени подхвачена народом, не переходила так сильно в отдельных местах в народную стройку, как эта послевоенная пятилетка. В чем это выражается? Во-первых, в той сугубой заинтересованности, какую проявляют к общесоюзному строительству местные, республиканские, краевые, областные, районные организации. Они дают стройке что могут, выделяя ей из своих запасов то лес, то продовольствие, то кирпич, то бензин, одежду, сырье. И, во-вторых, в той

сознательной заинтересованности, с какой местные люди, колхозники, идут на стройку, подчас заранее зная, что ждут их и жилищные неудобства и нелегкая работа.

Как-то, вернувшись с объезда строительного участка Алтайская — Заринская, я сидела в конторе строительства. Воздух был сиз от крепкой бийской махорки — любимой махорки на фронтах Отечественной войны. Да и люди в ушанках, в брезентовых плащах, в измазанных сапогах казались фронтовиками. И, как на мобилизационный участок, подъехали и стали у открытых дверей конторы 26 лошадей с подводами. Лошади стояли, поводя животами; мохнатая шерсть их была в пыли и поту; подводы, видимо, не одну сотню километров исколесили. Хозяева их — 16 крестьян, настоящие благообразные российские, всех возрастов. Откашливаясь перед разговором и разминаясь с дороги, внося с собой теплый запах овса и овчины, свежие, обветренные, румяные, они расселись вдоль стенок. Это были колхозники Марушинского района; они добровольно, услыша о нужде в рабочих, ехали сюда несколько суток, ночуя на подводах; и сейчас зачислялись на стройку первыми.

Разговор пошел деловой: сколько и куда ставить людей, когда начинать. Стройка обещала около 3 килограммов овса на каждую лошадь в день, и видно, что прибывшие настойчиво будут выторговывать до полных 3 килограммов. Ведь лошадь — она вот, если выглянуть из окна, терпеливо стоит, добрым карим глазом под белыми ресницами глядя перед собой, лошадь — она участница в работе, ее надо обговорить, чтоб все было в точности, сколько ей потребно, как верному другу. Начиналась самая жаркая рабочая пора на стройке, когда поле отпустило крестьянина, хлеб уже сдан, а тут земляные работы ждут не дождутся этих неторопливых мускулистых рук с лопатами и подвод с крепкими терпеливыми крестьянскими лошадками...

Суммирование опыта строительства за 30 лет нашего нового строя; учет опыта Великой Отечественной

войны; глубокая продуманность связи между целым и отдельными частями, требующая от строителей более всесторонней, экономической осведомленности; активное участие в стройке местных крестьянских масс, повсюду придающее ей черты народной стройки,— таковы, как нам думается, некоторые особенности южной пятилетки, данные в первой и самой общей наметке.

А теперь, оторвавшись от размышлений над картой в зеленом домике на колесах, начнем обещанное нами читателю путешествие в будущее.

1948

БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ

В МУЗЕЕ

Город Уфа,— подъезжаешь к нему водой или сушей,— удивительно красив, особенно осенью. Река Белая призрачно светится в извилистых берегах, сады никнут в сквозном золоте, один берег низкий, другой крут,— и на этом крутом взгорье тесная россыпь деревянных домиков, за которыми новой части города почти не видно. Чтобы добраться до нее, надо пересечь эту старинную окраину, километра два подниматься в гору и все два километра дышать воздухом тихой, неслышимой уху, не городской, а почти деревенской осени, овеваемой желтым листом, как-то безветренно медленно ложащимся вам под ноги. И запах озона, резкий, свежий, заставляющий глубоко дышать. А потом сразу — асфальт, красивые новые корпуса, шумная жизнь большого областного центра, столицы Башкирии.

В одном из старых каменных домов по улице Карла Маркса приютилось под четырьмя буквами «ЦНИЛ» (Центральная научно-исследовательская лаборатория), учреждение с большим будущим. Постановлением правительства маленькая лаборатория, организованная в Уфе в 1934 году (спустя два года после открытия в Башкирии нефти), преобразовывается в научно-исследовательский институт. Уже и сейчас в ней много отделов, последовательно вызванных самой жизнью: здесь изучают геологию, геохимию, нефть и нефтяной газ башкирских нефтяных месторождений; здесь имеется экспериментально-промысловый отдел, где наука непосред-

[illegible] помогает производству; маленькая своя шлифовальня, фотолаборатория, библиотека и, наконец, музей.

Сорок научных сотрудников заняты тем, что определяют возраст пород, проходимых скважинами, сопоставляют отдельные разрезы с уральскими, с куйбышевскими, изучают структуры, то есть те глубинные [illegible], в которых обычно скопляется нефть. Маленькая лаборатория — это нерв того огромного башкирского нефтяного месторождения, где люди непрерывно ищут, находят, оконтуривают, бурят, добывают черное драгоценное ископаемое, каким живет и двигается наша моторная техника.

Вместе со старшим геологом лаборатории Д. Ф. Шамовым и научным сотрудником А. Г. Латчиновым входим в маленькую, тесно заставленную столами и шкафами комнату, где, сжимаясь в своем непрерывном росте, с трудом умещается музей лаборатории. Кажется, нет более активного соучастника сегодняшнего дня башкирской нефти, нежели этот музей с его семью [illegible] образцов, музей, считающий возраст своих экспонатов не годами, не тысячами, а миллионами лет. И палеонтологи, хозяйничающие в самых отдаленных периодах жизни на нашей планете, в этом музее самые современные и самые нужные люди. «Решающее слово сейчас за палеонтологами»,— с улыбкой говорит нам директор маленького музея Олимпиада Ивановна Шмидт.

Но что же делают палеонтологи? Обычно нефть находится в сравнительно молодых слоях нашей земли, в пермском, в карбонском. Первая нефть Башкирии, найденная четырнадцать лет назад в Ишимбаеве, была именно такой обычной нефтью. Месторождения в Башкирии разнообразны, они охватывают большую площадь: на юге — Ишимбаево, а севернее, вдоль линии Уфа - Ульяновск,— в пределах станции Туймаза. И вот 26 сентября 1944 года два молодых геолога, товарищи М. В. Мальцев и Татаркан Залоев, почти одновременно с геологами, работавшими на куйбышевской нефти, сделали открытие, имеющее огромное значение — и принципиальное и практическое. Они получили

в Туймазе нефть из более глубокого геологического слоя, из девона. Кроме «Яблонового оврага» в Америке, еще нигде на свете не было, кажется, найдено нефти в девоне. А девонская нефть — это новая глава в геологии, опрокидывающая прежние, установившиеся взгляды. Это и новая глава в нашей экономике.

Этажом ниже обычного своего места обнаружена нефть, обнаружена прочной жилицей девонского слоя, и притом на Урале, в преддверии Сибири, где в ней остро нуждаются...

На глубине полутора тысяч метров острое жерло бурового инструмента вырезает тонкую колонку породы. Бережно, с большой осторожностью разбивается молоточком эта проба. И тогда над осколками нагибается палеонтолог. Ведь миллионнолетняя тяжесть прожитой нашей планетой жизни, отжавшая этот твердый пласт, замуровала в нем под прессом времени следы тогдашней органики, остатки того, что дышало и размножалось,— начатки животного мира на земле. По бледным, редчайшим следам этой далекой, но запечатленной в твердом камне жизни палеонтолог безошибочно определяет: эти лучики ракушек, это тонкое, веерообразное очертание вогнутого предмета, изящная гофрировка животного панциря,— это «атрипа ретикулярис», или «лингула левинсони», а значит — девон, потому что они представляют собой фауну девонширских отложений. И так как проба взята из нефтеносного слоя,— значит нефть в девоне доказана.

С тех пор как сделано было это открытие, в Туймазе фонтанирует много скважин девонской нефти, и на очереди еще несколько новых. Туймаза вошла слагаемым в общебашкирский нефтяной трест, повлияв на его судьбу и развитие. Вошла она важным слагаемым и в четвертую пятилетку. Но, чтобы понять ее роль и в узких пределах треста и в широком масштабе пятилетки, чтобы понять, что такое сейчас Туймаза, нужно съездить прежде всего в Ишимбаево, где нефтяники работают уже четырнадцать лет.

...Спускаемся вниз, к вокзалу, по длинной Ленинской улице. Утренняя тишина уже разбита ветром, поднявшим целые вихри пыли. Навстречу густой стайкой

нут девушки города Уфы, с румянцем во всю щеку и со странным, знакомым цветком, приколотым у воротника. Круглый и белый, словно фарфоровый, на глянцевитой темной зелени, вечной зелени листьев, цветок померанца или «флёрдоранж», как недавно его называли у нас, неизменный спутник старой подвенечной фаты на невесте — откуда он в Уфе, и как его завезли сюда?

Позднее мы видели эти блестяще зеленые, твердые листья во многих здешних садах и палисадниках; видели и в саду на углу улицы Достоевского. Там, за высоким забором, встает над густым кустом померанца двускатная крыша домика, где в феврале 1900 года провел два дня В. И. Ленин. Он устроил здесь на жительство отбывавшую ссылку Надежду Константиновну, а в конце июня того же года приехал с матерью и сестрой опять и прожил тут почти целый месяц. Башкирский художник в чудесной картине, висящей у входа в музей, рассказал посетителям домика о приезде Ильича в Уфу.

Пароход только что прибыл по реке Белой и стоит у старой Уфимской пристани. Спущены мостки, по ним сходят приезжие. Впереди — веселый, молодой Ильич в пиджаке, оживленный, внимательно оглядывающийся, а за ним его мать, Мария Александровна, и сестра, Анна Ильинична. И тоже совсем молодая, круглолицая, с гладко зачесанными волосами, Надежда Константиновна спешит навстречу ему с берега, но Лениным уже завладели, с Лениным уже говорят, теснясь к нему, то ли местные жители, то ли попутчики с парохода, бородатые люди с картузами в руках, жадные до разговора, настойчивые, и Ленин вслушивается, остановясь на быстром своем ходу. Так и кажется, что присутствие его здесь, в Уфе, должно ощущаться каждым работником, каждым борцом за нефть, за пятилетку, за хлеб, ощущаться его быстрый, внимательный взгляд, его подбадривающая, стремительная, легкая и крылатая походка. И как хорошо, что этот образ Ильича, спускающегося со сходен на башкирскую землю, как бы приветствует огромное индустриальное будущее, предстоящее маленькой прекрасной Башкирии.

СТЕРЛИТАМАК—ИШИМБАЕВО

Старинный уральский городок на реке Стерле, Стерлитамак, был построен в 1781 году, и отпечаток старинного уклада еще сохранился в его планировке; но за четвертую пятилетку и эти крепкие срубы вокруг рыночной площади и деревенская улица «из конца в конец» станут воспоминанием, а слово «Стерлитамак» зазвучит остро, по-современному. Здесь разворачивается сейчас химическая промышленность; отсюда пойдет нужная для наших нефтяных заводов сода, здесь задымят трубы цементного завода; и отсюда пройдет дальше, на юг, железная дорога, потому что Стерлитамак, пока еще лежащий в тупичке, должен соединиться с Чкаловом, выйти на Оренбургскую трассу, оказаться на важном железнодорожном сквозном пути, где он сможет подтянуть к себе бурый уголь из Ермолаева, а сам станет местом больших промышленных погрузок.

Подъезжаем к нему ранним утром. На синем холодном небе крутые, как взбитый белок, неподвижные белые облачка. Среди равнин, совсем как при въезде на Минеральные воды, одинокими кристаллами стоят большие, странные в своей изолированности горы, точнее, вершины гор, без хребтов, без цепей, возвышаясь прямо на плоской земле. Здесь их зовут «шиханы»; это древнейшие известковые рифы, и они-то являются носителями нефти. На станции пересаживаемся из вагона в «виллис» и мчимся — параллельно с рельсовой колеей, идущей прямо на промысла,— в город Ишимбаево, молодой город, на 159 лет моложе Стерлитамака, потому что он возник в своем нынешнем облике только в 1940 году. Чем дальше мчится по хорошей дороге машина, тем ближе надвигается на нас видение настоящего индустриального центра. Лес нефтяных вышек на горизонте, трубы нефтеперегонных заводов, тесная группа городских зданий, движение по дороге — грузовики, телеги, тонкий свист паровоза, подвозящего цепочку платформ. И все же: «Не так оно людно теперь, как годика два-три назад»,— вздыхает шофер.

Ишимбаево прожило короткий век, но век этот — настоящий, большой роман, под последней страничкой

которого читаешь с великим удовольствием: «Продолжение следует». Двенадцать лет тому назад Ишимбаево открыл молодой геолог А. А. Трофимук. В первые годы войны, когда бакинская нефть была отрезана от нашего Востока, ишимбаевские промыслы работали на оборонную промышленность: они поили нефтью сибирские и уральские заводы, снабжали бензином тракторы барабинских и кулундинских житниц. Хотя башкирская нефть низкооктановая (октановое число означает качество нефти, и чем оно выше, тем лучше нефть), но наши заводы крекинги научились перегонять из нее прекрасный авиационный бензин, и он потек отсюда на фронт.

Однако же с третьего года войны добыча Ишимбаева снизилась, старые скважины оскудели. И Герой Социалистического Труда А. А. Трофимук стал бороться за развитие открытого им промысла, как борется мать за жизнь своего ребенка.

Нефть — особое ископаемое, она не лежит неподвижно, а дышит и двигается под землей. Искать ее — словно ланцетом трогать тело земли, нащупывая пульсацию кровеносной тончайшей артерии, откуда — чуть повернешь ланцет — брызнет живая кровь. С неутомимым терпением закладывал Трофимук скважины, одну, другую, третью, четвертую, пятую. Нет нефти! Поднимаются голоса: «Надо сворачивать Ишимбаево». Но Трофимук не зря носит золотую звездочку на груди. Социалистический труд — это умный, упорный, настойчивый перспективный труд, пронизанный чувством будущего, ясным сознанием цели. Один из геологов треста, Сыров, бурил девятую по счету скважину в деревушке Кензибулатово, неподалеку от Ишимбаева. И скважина показала нефть, но вместе с водой. Вода заливала скважину, мешала дойти до нефти,— как отделаться от воды? Сыров принял смелое решение: нельзя «взорвать воду», но он цементировал подземный район воды и путем торпедирования прорвался к нефтяному пласту. Нефть брызнула фонтаном, и нефтяники шесть дней бились, запирая этот фонтан. Так была открыта новая нефть в Кензибулатове, снова влившая жизнь в ишимбаевские промыслы.

Тем временем к северу от Уфы, на участке Туймаза, где скважины давали раньше лишь по нескольку десятков тонн, была открыта девонская нефть, и пропорция между севером и югом резко изменилась. Рядом с возможностями Туймазы Ишимбаево совсем потускнело. Тогда Трофимук заложил свою, знаменитую здесь, скважину № 154. Если в Туймазе найдена девонская нефть, то кто же сказал, что ее нельзя найти в Ишимбаеве? Скважина врылась на невиданную глубину, прошла около 3 километров вниз, пойдет еще дальше. Если ехать трамваем в глубь земли, то это было бы расстояние почти от Смоленской площади до Цветного бульвара в Москве, сидите и книгу читайте, пока доедете...

Машина, миновав мост, круто поднимается в город, огибает прямую улицу, всю в палисадниках, с крепкими жилыми особняками, и останавливается у одноэтажной гостиницы. Первое, что чувствуешь, войдя в ее светлую, заставленную кроватями горницу,— это тепло. Оно пышет от голландки. Внимательней приглядевшись к белой, оштукатуренной во всю стену до потолка печке, видишь, что источник тепла находится не в печи, а непрерывно натекает в печь из комнаты: длинная трубка снаружи заходит в печную дверцу, разветвляясь в ней, как грабли, десятком маленьких трубочек; и на конце их, шипя, ровным сильным огнем горит газ. Форсунка! Все Ишимбаево газифицировано, жители привыкли к своему комфорту — дешевому, удобному, легкому топливу.

Под пчелиное шипение газа навстречу нам встает тот, кто вызвал из-под земли весь этот город,— молодой, невысокий человек, с прямыми, карими, без блеска глазами и упрямым подбородком,— главный геолог треста «Башнефть», Герой Социалистического Труда А. А. Трофимук.

У него тихий, убедительный голос человека, верящего, что слушатель сам с мозгами и ему не надо доказывать то, что само собой ясно,— голос типичного практика. В голубой своей майке, бронзовый и мускулистый, словно и нет осени за окном, а стоит еще июль,— он присаживается к столу, и мы слушаем новую страничку романа, ту, за которой «продолжение следует».

С первого взгляда кажется, что ишимбаевская структура подобна уральской. Урал — там такое сжатие, там так смяты породы, что между ними нет места для скопления нефти. Но скважина № 154 установила два факта. Во-первых, в более глубоких слоях обнаружен песчаник, пропитанный нефтью; и, во-вторых, пласты, в которых мы ожидали нефть, действительно пористые. Больше я пока ничего не скажу, прибавлю только одно: на Ишимбаево у меня крепкая надежда, что не придется его сворачивать...

И ясная, убежденная улыбка, с какой он произносит эти слова, вселяет и в вас непреодолимую веру в Ишимбаево.

Возвращаясь, мы видим уже в вечерних огнях этот большой поселок, где люди расселены под крышей, где им тепло и светло, где все готово для принятия, переработки, использования нефти. Здесь перед нами готовая материальная база, и борьба тут идет за то, чтобы сохранить и не демонтировать ее; за то, чтобы добыча нефти была на уровне этой базы, стоила ее, оправдывала ее, и главные борцы тут — геологи, страстно ищут нефть.

Когда через несколько дней нам пришлось побывать на севере, в Туймазе, то пропорция оказалась иная. Там, на огромном пространстве, земля дышит нефтью, а человек должен бороться за то, чтобы было чем ее встретить, было во что ее принять,— бороться за «материальную базу» и ее своевременное создание.

УРУССУ—НАРЫШЕВО

Позднее осеннее утро, земля пропитана сыростью, скудные деревца возле станции никнут под невидимой тяжестью влаги. Воздух продернут, как кисеей, тонкой желтизной чего-то, чему вы еще не нашли имени,— осень не осень, копоть не копоть,— неуловимое что-то, схватываемое не только глазом, но и обонянием, как только вы вышли из вагона. Сам вагон уже прочно остановился, отцепленный здесь от состава. Линия кажется захолустной, отодвинутой куда-то в тихий мир

деревянных домиков, проселочных дорог, перебежавших улицу кур. Но только на первый взгляд.

Станция Уруссу, остановка на ветке Ульяновск — Уфа, пограничная между Татарией и Башкирией, вчера еще мало кому была известна. А завтра о ней узнает весь Союз, а послезавтра она войдет в учебник эконом-географии. Отблеск этого будущего уже лег на все, что видит ваш взгляд, когда спускаетесь вы по ступенькам вагона на черную мокрую землю. Справа и слева от полотна — следы растущей, нагромождающейся на каждый метр небольшого пространства стройки, еще довольно хаотичной и не очищенной от мусора. За колючей проволокой — гигантские россыпи склада, явно говорящие о близости большой промышленности. Железные части машин, разборное дерево финских домиков, рулоны кровельного материала, стекло, лес, ящики, брезентовые чехлы, кирпич,— и кто-то в очках, поднятых на лоб, проходит по этому миру вещей с развернутой накладной в руке. Дальше, над колеями дорог, грузное очертание эстакады с черными пятнами масляных луж под нею.

А сами колеи — сколько их! Станция, как говорят железнодорожники, получила «большое развитие». Видно, что заново уложено три станционных пути, заново устроены горловина и вытяжка.

Слева от вас — новая, беленькая, в известковой пыли и белилах электростанция со всем, что полагается ей, с фарфоровыми ландышами изоляторов на трансформаторной подстанции, могучим телом генератора, распластавшегося среди чистого, подметенного, промытого кафеля главного машинного зала.

Еще дальше — и вы не удерживаетесь от восклицания: «Что за прелесть!» На первом пути стоит белый, сверкающий лаком и сталью странный поезд обтекаемой формы из девяти вагонов. Это «энергопоезд» — новый, интереснейший и технически увлекательный спутник некоторых наших строительств. В энергопоезде, этой новой подвижной электростанции, есть своя установка водоохлаждения, с постоянной циркуляцией воды, так что поезд, теряющий не больше полулитра ее в сутки, может долго стоять и работать в пустыне, не

вода испытания воды; ближе к паровозу, в главном вагоне — генератор; в хвосте поезда — механическая мастерская со станками; и уголок жилья для человека со всеми, как говорится, «удобствами»: хорошо размещены предметы в пространстве, нигде не тесно, и мебель, койки складываются и уходят в стену, когда минует в них надобность.

Осенью 1946 года, в дни нашего пребывания в Урусу, здесь были два таких энергопоезда, один уже в действии, другой в монтаже.

Обилие большой техники, сосредоточенной возле этой крохотной маленькой станции, было так сильно, что мне страстно захотелось увидеть, почувствовать, пережить, что же такое Урусу?

На неровной дороге, покосившись, как кузнечик, ждал маленький «виллис». Мы перешагнули высокий железный порог его, застегнули брезентовый фартук за собой, и молчаливый шофер тронул рычаг.

Плодороднейший чернозем Башкирии, необъятные холмы, оголенные осенью, и черная неровная лента того, что условно названо тут дорогой. Сотни и тысячи тонн провозились и провозятся этой дорогой, застревая в ее земляных сугробах, плюхаясь в ее ямы, наполненные липкой грязью. А вокруг — странный мир, раскрытый до горизонта, широкий, зовущий, мир необъятного простора, линия мягких холмов, движение извилистой речки внизу, в ущелье, с глинобитным маленьким заводиком мельницей на ней,— там кустарная выделка местной овчины, распяленной на желтой глине забора. И опять легкая странная желтизна, копоть не копоть, осень не осень, что-то неуловимое, когда вдыхаешь воздух. Внезапно вы видите факелы. Вы видите, как вся эта пустынная земля вокруг, словно ожерельем иллюминации, простегнута яркими вспышками огней, горящих сильным пламенем среди бела дня.

Это горит газ, горят миллионы рублей,— и горят они потому, что если бы не зажгли эти красные коронки пламени над выходящими то здесь, то там отверстиями черных труб, то газ задушил бы жизнь вокруг, он едко осел бы на ваших легких. И загадка той странной желтизны, больше воображаемой, нежели видимой глазу,

объясняется вам: вы в мире, где дышит черное золото земли, дышит нефть, в мире нефтяного газа, с легкой — совсем легкой, гораздо меньшей, чем, например, в Ишимбаеве,— примесью сероводорода. Но только в Ишимбаеве газ используется, и примесь не чувствуется так, как здесь.

Все, что охватывает глаз вокруг, это район знаменитой туймазинской нефти. Богатейшее месторождение, уже разведанное и оконтуренное, где фонтанирует свыше трех десятков скважин, а в будущем должны неизбежно забить новые и новые скважины.

Когда, остановив «виллис», выйдешь на этот могучий пласт земли, содержащий силу, несущую в небе крылья наших славных самолетов, силу, ведущую тракторы наши по землям советских колхозов, силу, без которой не смогут работать моторы, остановятся экскаваторы, застрянут грузовики, перестанет стучать сердце завода и даже маленький кузнечик-«виллис», только что покинутый вами, не сможет прыгнуть дальше,— вот когда увидишь и почувствуешь эту силу,— иначе оглянешься и на технику, покорившую ваше воображение несколько часов назад. Тогда эта техника казалась богатой по сравнению с окружающим ее безлюдьем; сейчас — именно по сравнению с окружающим ее безлюдьем — она кажется очень бедной. На площади десятков квадратных километров разбросаны почти невидимые скудные строительные объекты, кое-где еще не вполне законченные: алебастровый завод, база турбинного бурения, котельная, механическая, кузнечная...

На расстоянии многих километров друг от друга четкими черными силуэтами стоят отдельные вышки,— в одних ведется бурение на нефть, другие фонтанируют закрытыми, запертыми под колпаками фонтанами. И почти не видно того, что можно было бы назвать «материальной базой» этих мест,— большого завершенного строительства, необходимых для нефти подсобных предприятий, большого скопления жилищ; готового длинного вала газопровода для пропадающих ежегодно 30 000 тонн нефтяного газа.

Еще несколько часов — и мы доезжаем, наконец, до места, где живет человек, властелин этих недр,— до

бывшей деревни Нарышево, а теперь нового, совсем нового (ему исполнился в октябре 1947 года только второй год жизни!) городка Октябрьска. Вокруг него под холодным ветром близкой зимы раскинулись брезентовые палатки, где еще живут рабочие, не успевшие перебраться на зимние квартиры; врылись в землю темные землянки. В самом городе пока одна-единственная «главная улица», Девонская, а другие улицы только размечены на плане. И самое главное — мало еще жилья для людей.

Если б вы, новый человек, спросили тогда, почему же нет всего этого, почему люди мерзнут в своих жилищах, а в небо уходят десятки тысяч тонн газа, почему не построены предприятия на такой богатейшей земле, то вам ответили бы: отчасти потому, что для постройки нужно перебросить сюда, на площадь в 70 квадратных километров, целые горы строительного материала, потому что сюда надо подвезти машины и механизмы, а чтобы перебросить и подвезти их, нужны прежде всего дороги и дороги, а дорог этих нет! Бездорожье и убивает нас, ответили бы вам.

И тогда оживет перед вами на карте пятилетки маленькая красная черточка, совсем пустяковая на вид, и станет понятно, почему она — 19 километров — новая веточка Уруссу — Нарышево, казалось бы, такое ничтожно малое звено в великом перечне объектов новой пятилетки,—вышла в первые ряды этих объектов, включена в план первого года и должна была строиться ударным порядком...

Целый ряд причин сделал строительство Туймазы, одного из важных звеньев пятилетки, тяжелым и сложным для строителей; и чтобы справиться с трудностями, нужна была быстрая победа над бездорожьем, но не только она одна. Захватывающе интересно и поучительно проследить все трудности Туймазы именно сейчас, когда промыслы только начинают подниматься. Пройдет несколько лет, и будущее «Второе Баку» раскинется на этом просторе культурным промышленным центром, а недавнее прошлое, во всем его живом и сложном своеобразии, быть может, забудется для истории навсегда.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТУЙМАЗЫ

I

Кабинет секретаря горкома. Сдвинуты столы под красным сукном, белеет разложенная бумага, очинены карандаши. Сквозь новенькие занавески — огни города, самого молодого в нашем Союзе.

Мы — в центре туймазинского нефтяного месторождения, городе Октябрьске, на совещании, которому предстоит решить, почему Туймаза строится медленно. Разговор происходит поздней осенью 1946 года, но, как об этом свидетельствует сигнал «Правды», он не потерял своего действенного интереса и для лета 1947 года.

Чтобы ответить на вопрос, почему тяжело строить в Туймазе, вопрос, одинаково острый и в первом и во втором году новой пятилетки, надо узнать сложную, хотя и короткую историю промыслов, узнать обстановку, влияющую на психологию работников, словом, учесть множество факторов.

Еще три года назад здешние скважины давали лишь по нескольку десятков тонн. Погоду они в башкирской нефти не делали; настраиваться на производственный туймазинский «патриотизм» и особенно развивать тут строительство было не для чего. Внимание, усилия, производственный подъем, строительные материалы и механизмы были направлены в Ишимбаево. Но вот в 1944 году брызнула в Туймазе нефть из девона, и прежняя золушка оказалась главным лицом в доме. Строители, партийные работники, инженеры, хозяйственники, часть кадровых рабочих пришли сюда, главным образом, из Ишимбаева, с уже сложившимися «ишимбаевскими» настроениями, с любовью, вернее, с первой своею любовью, к созданному ими промыслу, так счастливо поработавшему в годы войны. А тут нужно все создавать заново — создавать на пустом месте. И работать приходится в более трудных, более сложных условиях. Там помогала война: она подстегивала, давала Ишимбаеву в военном порядке, как важному, необходимому объекту, в своем роде единственному на востоке, и нужные механизмы и материалы. А сейчас

притока строительных материалов, механизмов, машин необъятные пространства всей нашей родины, просят восстанавливаемые после оккупации районы, тысячи новостроек новой пятилетки, и голос Туймазы уже не так слышен в этом множестве, он стал частью тысячеголосого оркестра. На юге, у самого города Баку, среди виноградников курортного местечка Бузовны, тоже забила нефть, и курорт превратился в молодой, богатый промысел, нуждающийся в строительных материалах, дереве, стекле, железе. Он тоже просит и требует и тоже жалуется на нехватку. А тут еще у туймазинцев подсознательная, мешающая сразу понять и принять на плечи всю трудность положения, назойливая ассоциация со старым местом действия, с Ишимбаевом: в самом деле, если и там найдут нефть в девоне, так ведь можно опять вернуться туда; а если не найдут и выйдет приказ «свертывать Ишимбаево», — значит все равно получим оттуда наше же демонтированное, милое сердцу Ишимбаево, с его заводами, вышками, домами, трубами, со всей материальной базой...

Эти, может быть, и не так отчетливо выраженные, но несомненные мысли тлели у многих местных работников, как говорится, под спудом, ослабляя их волю к немедленному, непосредственному, инициативному развороту всех сил и энергии.

Когда в конце первого года пятилетки видели мы безобразное бездорожье в Туймазе и думали: почему тут плохо с дорогами? Когда слышали жалобы на отсутствие жилья и спрашивали себя: почему же опаздывают с жильем? Когда возмущались сгорающим бесполезно газом и негодовали: почему нет газопровода? — то одним из возможных слагаемых ответа на эти вопросы, несомненно, была психология местных работников объединения «Башнефть». Вот почему на многих командных высотах молодого строительного треста «Туймазанефть» были бы, может быть, более энергичными работниками не те, кто проявил себя в Ишимбаеве, а новые, свежие люди, не связанные ни с какими ассоциациями, для которых Туймаза и ее строительство были бы главным, основным, свежим, захватывающим делом славы и чести, тоже в своем роде первой любовью...

Но с этим предварительным выводом вернемся в зал, где уже рассаживаются участники совещания, и послушаем их живые голоса. Выступило немало народа — управляющий трестом «Туймазанефть» Нифантов, начальник строительства Вовченко, управляющий трестом «Нефтежилстрой» Спиридонов, главный инженер треста Сафронов, начальники строительной и монтажной контор Машкин и Баласанов, заместитель начальника отдела капитального строительства Хакимов; говорили и представитель местного горсовета, и представитель совета архитектуры республики, и приезжие из Уфы, секретарь обкома по нефти, главный инженер объединения... Пусть не посетует на меня читатель за перечисление организаций,— количество и разнообразие их тоже играет свою роль в ответе на главный вопрос: почему плохо строится Туймаза?

Выступающие не щадят себя. Да, похвастаться нечем: целых 50 процентов из только что построенных домов уже «амортизовано» из-за того, что их вовремя не удалось покрыть кровлей (Мейхардаров); из комнат просвечивает наружу, швы между блоков в 3—4 сантиметра, зимой будет сырость, промораживание стен (Амосов); сборка со щелями, дома холодные, принимают их с недоделками (Хакимов). Не лучше и с промышленным строительством: под угрозой компрессорные, потому что камни, пошедшие на них, в лабораторном испытании показали только половину проектной прочности (Хакимов).

Кроме алебастрового завода, плохо организованного, нет у стройки никакого производства местных материалов, никакой промышленности, ни кирпича, ни столярных, ни плотничьих мастерских, нет цемента, нет кровельного материала, нет квалифицированных кадров; со средним командным составом исключительно тяжело, почти что вовсе нет его (Машкин).

Сомнение закрадывается в душу слушателя. Выступающие искренни, они не оправдываются, голоса их звучат честно, но все же так ли это? Неужели ничего нет и нет? И, как бы отвечая на ваши сомнения, встает начальник строительно-монтажной конторы Баласанов.

Говорит он с удивительно здравым смыслом, сразу освежающим атмосферу:

— Конечно, многого не хватает. Но у нас целых шесть трестов. И все тресты строят каждый для себя. Товарищ Ширинов поднял стены, а покрыть их не может нечем. А у нас кровля есть, стенового материала нет. Если бы сложились вместе, мы бы построили. Проезжайте по району — Сафронов строит овощехранилище, я строю овощехранилище, третий строит овощехранилище, единого командира нет. Организация рабочего места и график работы то и дело меняются. У каждого треста свой склад. Пусть немного. Но если сложить вместе все, что есть у каждого, то можно хоть семьдесят процентов построить. А строить надо. Нефть течет. И с нашими возможностями при лучшей, единой организации мы бы в таком позорном положении сейчас не были!

В самом деле: на этом семидесятикилометровом пространстве, требующем живого труда, откуда такой пышный, подобный росту лопуха расцвет шести строительных трестов, множество всяких самочинных, замкнутых организаций, со штатами, конторами, бухгалтериями, «входящими» и «исходящими», складами и складским добром, бесконечными непроизводительными накидками на главное дело, на живой труд, на строительство? Какой закон, где, когда и почему навеки незыблемо, как математическую формулу, определил число этих трестов, его же не прейдеши?

Неужели нельзя сложить все эти склады в один, поставить одного командира над единой армией строителей, а тех, кто сидит на параллельных должностях, сделать нужными тут до зарезу командными работниками самой стройки, бригадирами, техниками? Обучить, дать людям настоящую, нужную квалификацию, сделать их действительно ценными для данной стройки, на данном отрезке времени, напоить тем ярким чувством реальности, какое побудило коломенскую табельщицу перейти из конторы на производство?!

Совещание в Туймазе состоялось по времени еще до начала замечательного движения, поднятого Галиной Сергиенко. Но как важно было бы, если бы до наших

бесчисленных строительных организаций дошло это движение так, как оно уже докатилось до лучших наших заводов! И начальнику строительства Туймазы следовало бы задуматься над простыми словами Баласанова, задуматься над примером хотя бы директора Кировского завода т. Кизимы, который одобрил на своем заводе большую проверку, начатую заводским комитетом: проверку целесообразности существования мелких отделов, чтобы сократить излишние звенья и штаты и обучить служащих производственным процессам.

II

Но было бы несправедливо сказать, что положение, сложившееся в Туймазе, целиком на совести одних местных работников, строителей и нефтяников. Многое вскрылось на совещании, о чем полезно было бы послушать и нашим министерствам. Конечно, умелая организация работ, своевременный порядок следования их, здравое использование местных ресурсов в полный разворот их скрытых возможностей — все это имеет большое значение на стройке, всего этого надо и можно требовать от строителей. Но и голыми руками строить нельзя. У нас же, к сожалению, бывают такие случаи, когда министерство нетребовательно относится к собственному своему приказу: дает его, подчас даже в печатной форме, а за исполнением собственного приказа не следит, подрывая этим авторитет своего учреждения. Так получилось и в Туймазе, где вовремя не было получено очень многое из того, что было обещано министерством. Целый ряд организаций — Минлес и Главлесосбыт, Минстройматериалов, Минтекстиль и другие — оказался к концу первого года новой пятилетки в долгу у Туймазы, не додав ей леса, цемента, автомашин, шифера, финских домиков, тракторов, текстиля... Когда весной 1947 года мне пришлось побывать в Баку, на промыслах «Бузовнанефти», я услышала там такие же точно жалобы на недодачу, недохватку, недовыполнение. Почаще следовало бы министерствам заглядывать в гости к своим потребителям!

До сих пор мы говорили о строителях. Но есть свой счет и у нефтяников. Хорошо было бы некоторым директорам заводов тоже заглянуть сюда и послушать, что говорят о них за глаза их важнейшие заказчики. Некоторое время назад горьковский завод обещал «завалить нефтяную промышленность долотьями». При бурении так называемое «шарошечное» долото — инструмент решающий; и в Туймазе, где бурить приходится на очень большую глубину, важно работать с прочными, высококачественными долотьями. Обещание завода встречено было нефтяниками, как праздник. И вот пришли обещанные долотья, завод стал «забрасывать» ими потребителей. Жаль, что работники завода не могут взглянуть на дело рук своих — лежащее передо мной долото, побывавшее в работе. Если скромный маленький завод Верхней Серьги тоже изготовляет долотья, дающие прочность 13,6 метра проходки при скорости 0,72 метра в час, то горьковское долото проходит всего 2—3 метра и больше служить не может. Это значит, что при бурении на километр вниз каждые 2—3 метра надо поднимать инструмент во всю огромную длину проходки и менять долотья. Легко представить себе, какими выражениями сопровождают бурильщики этот процесс. Ветеран промыслов, опытнейший буровой мастер Павел Прокофьевич Балабанов — человек деликатный. Он не повторил нам этих выражений, но, прищурив острые свои глаза, промолвил:

— Они там, на заводе, еще и не так отличились. В диаметре вместо одиннадцати и трех четвертей дали одиннадцать с половиной, так что в работу допустить невозможно. Перестарались. А нельзя ли предложение такое сделать: передать бы заказ на долотья Уралмашу?

И тут мы узнали, что Уральский машиностроительный, никого не оповещая о том, что собирается «забросать нефтяников станками», освоил после войны замечательные буровые станки. Работают они в Туймазе безотказно. Но что особенно трогает рабочих, так это внимание Уральского завода к их письмам. Возник какой-то вопрос, какая-то неполадка в станке и тотчас в ответ на телеграмму приехал инженер с завода на

промыслы, посмотрел, разобрал, исправил и тут же объяснил, как поступать в таких случаях.

— А что касается горьковского завода, он на все свои ошибки не отзывается, хоть сотую по счету телеграмму ему давай...

Оборудование для нефтяников должно быть первоклассным, и высокая добросовестность Уралмашзавода — пример всем другим. Ведь в четвертую пятилетку эксплуатационное бурение должно быть доведено по плану до 2,5 миллиона метров и разведочное — до 1,5 миллиона метров!

Как же много спросится с тех, кто будет готовить долотья, эти зубы, которыми вгрызается бур в гранитные толщи земли, и как тесно связано качество долотьев с возможностью досрочного выполнения пятилетки по нефти!

...Один за другим выходили туймазинцы из горкома в черную, холодную ночь. Вздох и виноватый взгляд в сторону «факелов Туймазы», ярко, алмазной цепью, как наглядная назойливая, неотступная улика, обличавших недопустимое отставание строителей к концу первого года пятилетки.

1946

ИЗЫСКАТЕЛИ

1

Прежде чем строить дорогу, ее надо найти. Человек, ищущий дорогу, нащупывающий первый ее очерк своими собственными ногами,— изыскатель,— профессия самая романтическая.

Представим себе задачу: на столе перед нами карта. Охватывает она в длину 800 километров, между центром уральской металлургии — Магнитогорском и центром Средней Волги — крупным городом Куйбышевом. Чего только нет здесь,— отроги Уральского хребта, долины рек Белой, Нугуша, Салмыша, Большого Ика и множества других; лесные массивы; пустынные места, густо населенные места; города и села, рудные и минеральные богатства — уголь, железо, нефть — и сколько больших, сложных хозяйственных интересов! Надо найти трассу дороги от Магнитогорска на Куйбышев. Но не просто взять и провести линию на карте. Надо, чтобы эта линия, будущая дорога, выбрана была с умом и толком. Дорогу провести — не платье сшить. Она делается раз, делается на десятки лет. Ошибиться нельзя, и вот требование: пусть она будет самой выгодной экономически, самой нужной хозяйственно, наивозможно легкой технически, наивозможно дешевой для государства, с наименьшей кубатурой земляных работ и, наконец, в пределах возможного, наиболее короткой. Целая головоломка! И если так любит человек сидеть над выдуманными головоломками, викторинами и ребусами, согревая себе мозг, испытывая настоящий азарт, то как

же увлекательна эта настоящая, сложная, государственно важная задача, отданная в удел изыскателю!

Правда, сами изыскатели не решают этой задачи целиком, не делают выбора между возможными вариантами. Но они подготовляют этот выбор, обрабатывают весь материал, всю картину пути кладут перед теми, кто будет решать все технические «за» и «против» той или другой трассы. И в объеме своей собственной работы они очень много решают, а подчас делают и ценные предложения.

В клубе пищевиков, большом и довольно угрюмом здании в Стерлитамаке, сразу стало шумно и тесно. Вернулись изыскательные партии с трех концов Башкирии, где они все лето проводили работу. О возвращении говорит и большой лист стенгазеты на стене, где «самодеятельными» стихами и прозой воспеты дела каждой партии, задет не без яда кое-кто, расхвалены девушки (замечательно показавшие себя на работах), отмечены лучшие из лучших. Загорелые, обросшие за лето, бронзовые люди, в изношенных до последнего сапогах, в выгоревших от солнца рубахах, полные впечатлений, охваченные тем свежим, здоровым чувством простора, с которым сроднились они физически, сидят вокруг стола и собираются рассказывать. А рассказывать будет о чем.

Экспедиция Мостранспроекта насчитывает почти 800 человек — маленькая армия. Этой армии — 340 инженерам и техникам и 400 с лишним рабочих — поручено было найти лучшие варианты ответственнейшего участка Южно-Сибирской магистрали: Магнитогорск — Куйбышев.

Изыскательная работа имеет свои этапы, свой ритм; она меняет комнату на земной простор, а земной простор опять на комнату, чтобы оттуда снова вернуться к природе. Сперва надо сделать у себя в кабинете так называемую «рекогносцировку», первую примерную наметку трассы по хорошо изученным и детально размеченным картам; потом надо проверить эту наметку «собственными ногами»: выйти на местность с инструментом, провести полевую работу; потом надо все полученные данные обработать «камерально», то есть опять сидя за столом и составляя карту. И наконец, когда эта

карта пути, прошедшая три стадии обработки, будет утверждена, изыскатель снова уходит в природу, на этот раз для окончательного уточнения трассы, для полного и детального изыскания дороги, после которого можно передать ее строителям: берите лопаты, взрывчатку, расставьте экскаваторы, начинайте выемку и отсыпку, балластировку и укладку, словом, делайте свое дело, строители, по отысканной трассе, где определен каждый погонный метр.

Получив рекогносцировочные планы, армия Мосгипротранса двинулась в путь, но в двух разных направлениях.

В самом начале решено было идти лишь одним, северным путем — от Магнитогорска к Белорецкому заводу, потом — на Тукан, к инзерской железной руде, потом через Стерлитамак, — на станцию Абдуллино Куйбышевской железной дороги. Путь этот начальник экспедиции инженер Новицкий считал наиболее правильным, коротким и экономичным, да и вся экспедиционная группа была уверена, что так именно и будут строить этот отрезок магистрали. Но неожиданно для всей экспедиции было дано второе задание: разработать одновременно и более южный вариант — на Бузулук, при спуске из Магнитогорска вниз, к югу, на южные сельскохозяйственные районы Башкирии, сперва в местечко Кананикольск, потом еще южнее — на Мраково, от него подняться севернее, к районному центру Мелеуз, а от Мелеуза двигаться на Бузулук.

Маленькая армия изыскателей разделилась. Несколько партий пошло северным путем, несколько — южным. И вот сейчас, поздней осенью, сидя на своей тыльной базе в Стерлитамаке, изыскатели не спеша, скупо подыскивая слова, делятся всем пережитым и передуманным.

II

Начали говорить «южане». Вторая половина лета 1946 года была в их районе дождливая, они вышли «на местность» в июле, и дождь крепко осложнил дело. А все же по благодатным хлебным полям Башкирии,

в густо населенной местности идти было нетрудно, вернее, не слишком трудно, кроме разве спуска с Уральского хребта в долину реки Большой Ик. Тут множество рек, тяжелый горный профиль. Но даже в этом трудном месте, доставшемся партии т. Комара, изыскатели дали рекордную проходку — 150 километров за два месяца.

Начальник партии Комар одновременно с полевой работой вел тут же и камеральную, обрабатывая по вечерам, на ночлегах, полученные данные. Отличными помощниками ему были участники его партии — Мучников, Лохин, Вечорин, Дульчин.

Партия т. Хасина тоже не отставала от Комара, досрочно докончила проходку, вела камеральные вместе с полевыми и к концу работ, как и Комар, представила план трассы уже в окончательном виде, в горизонталях...

Что еще сказать о южанах?

Как уже знает читатель, высокое качество работы изыскателя заключается в выборе таких ходов, где меньше земляных работ, меньше искусственных сооружений, мостовых переходов,— и в этом смысле высшей отметки заслужила партия т. Лисицына. Романтики особой как будто не было — шли по обжитым, спокойным сельскохозяйственным местам, быстро вышли в Чкаловскую область... Были неподалеку от центра башкирской меди (Баймак), куда в 1947 году по плану должна быть проведена из Магнитогорска специальная ветка; были и около башкирского угля (Ермолаево), куда тоже в ближайшем будущем пройдет дорога из Ишимбаева, чтобы впоследствии пойти дальше на Чкалов, соединив таким образом главный сибирский ход с Оренбургской дорогой. Места, по которым прошли южане, были сельскохозяйственные, никакой особенной общегосударственной значимостью не отличались, а там, где налицо были рудные месторождения, выход их на железную дорогу был уже предусмотрен пятилеткой...

Должно быть, и самим южанам в процессе работы ясно стало, что трасса их, если и имеет какой-нибудь свой выигрышный козырь, то разве тот, что строить ее будет немного легче, а в общем, трасса эта не вовлечет

в орбиту железной дороги промышленных участков, хотя бы приблизительно равных тем, которые остались на севере.

Во всяком случае, досрочно окончив свои работы, южане ринулись туда, где трудности изыскания были значительно больше, на север. Партия Хасина пошла на север, а партия Комара — на новый, рожденный в самом ходе работ, средний, компромиссный вариант, так называемый «нугушский». Видимо, изыскателям все-таки хотелось как-то осмыслить южное направление, сохранив что-нибудь от его легкости и в то же время захватив, хотя и не вполне, а лишь приближенно, часть экономически бесспорного северного варианта. На практике это означало:

Пойдем сперва на север, приблизившись несколько к Тукану, к месторождениям богатой зигазинской железной руды, а оттуда, по течению реки Нугуш, вниз, к югу, мимо куюргазинского угля — на Бузулук. Если смотреть на графический рисунок, то выходит довольно смелый кренделек с резким загибом сперва наверх, а потом вниз. Как же оправдал себя этот компромиссный нугушский вариант?

Рассказывают о нем подполковник Литван и главный геолог этого варианта инженер-майор Вашкин. Высокий, уже седеющий, спокойный человек, с тем хорошим тактом, какой драгоценен в коллективной работе, подполковник Литван рассказывает хорошо. Им-то не пришлось жаловаться на отсутствие романтики и приключений, нагляделись они и на красоту природы — дикую, оригинальную и недобрую красоту, обращенную к человеку неудобством и тяготами. С горного седла Ярма-Тау пришлось спуститься в Малый Нугуш — тут еще было не так трудно. Когда же достигли Большого Нугуша, пришлось натерпеться всего. 200 километров по реке — и ни жилья, ни человека — полное, глухое безлюдье. Тесный каньон. Густой лес—сплошная рубка. Дорог никаких. Чтобы как-нибудь протащить продовольствие и инструмент, решили строить плоты. А река горная, бурная, с перекатами; плоты натыкались на камни, разрывались, люди входили по горло в ледяную воду, спасая добро, и снова строили плот. Местами, где

было мелко, тащили его волоком. Среди поклажи, рядом с инструментом и пищей был баян. Проработав 15—16 часов, раз десять и вымерзнув, и облившись потом, и обсохнув, разжигали костры, кто-нибудь, сев у огня, трогал баян. Затяжной, грустный звук густым басом, красиво замирая в воздухе, приглашал к песне, и песня вспыхивала у костра. За песнями затевали танцы...

Следуя хорошей привычке, принятой у изыскателей, рассказчики непременно выдвинут несколько имен «лучших из лучших» и ни звуком не обмолвятся о себе. Они говорят о старом больном инженере Максимове, который все силы отдавал самой трудной работе; они горячо хвалят техников — Петрова, Клейменова, Буянова; они высоко оценивают и замечательную партию Чевелева и вовремя оказанную нугушскому варианту неутомимой партией Комара важную помощь.

Здесь, на нугушском варианте, изыскатели соединили с полевой работой не камеральную, как сделали южане, а рекогносцировочную, потому что, когда они вышли на местность, рекогносцировочной наметки по картам ни у кого еще не было, вариант ведь был вообще «сымпровизирован» на ходу, и вечерами готовили ее, чтобы утром дать в руки инженеру.

Смолк рассказчик, видно, вспомнив такое недавнее, а уже прошлое: бурную реку, борьбу с камнями, с глухоманью, с водой, товарищей-фронтовиков,— много было в этой партии вернувшихся с фронта. А тем временем начал свой рассказ начальник северного варианта Симановский.

Тут, если посмотреть на карту, дело ясное. От Магнитогорска — к Белорецкому заводу, все еще задыхающемуся от бездорожья; дальше — к огромным залежам зигазинской железной руды, мимо лесного массива, где ежегодно гибнет миллион кубометров леса (не на чем вывезти), в том числе и строевого. Дальше — через Стерлитамак, кратчайшим путем на станцию Абдуллино или — со спуском к югу — на Бузулук. Трасса тут трудная, бесспорно трудна она будет и в эксплуатации, здесь длиннее участок двойной тяги, нежели на южном. Но

эта трасса здесь идет по местам, ради которых и строится железный путь, по местам большого промышленного значения.

— Самым трудным для меня было начало работы, спуск с Уральского хребта в долину реки Белой. Таежные тропы, косогоры на берегах реки Урузяк, трава по горло, роса утром все вымочит, хоть отжимай; прорубали просеки, чтобы трассировать линию, строили мосты, а Урузяк, как зверь хвостом, побьет и разнесет наш мост.

Жили в палатках и тоже, подобно нугушинцам, не жаловались, песни пели. Хорошо показали себя женщины: старший техник Богданова и старший инженер-геолог Медведчикова. Что было главное в работе? Чувство реальности, чувство, что ведем настоящую трассу, именно нужную, не на «всякий случай», а вот именно на самом деле.

И трудности были настоящие, без которых нельзя в таком месте. Ведь дорога пойдет параллельно Уфа-Златоустинско-Челябинской, пересекающей Урал еще выше на севере, дорога пойдет по тем же богатым уральским недрам, сокровищам Южного Урала, требующим своего пробуждения. Глаз подмечал базу для энергетики, для электрификации участка, подмечал много возможностей для плотины, водосброса, получения мощной гидроэнергии. Реальность проводимой работы — вот что больше всего вдохновляло участников, что привлекло к ним и случайных рабочих-башкир. Увлекаясь прелестью этой рождающейся у них на глазах будущей дороги, башкиры рабочие шли с изыскателями все дальше и дальше, а некоторые — Рахматуллин, Шалиев — так и остались в партии.

III

Мы выше сказали, что в пределах своего объема работы изыскатель может сделать ценные предложения, решить техническую проблему. На изыскании всех трех вариантов таких интересных технических решений было немало. Кроме общих больших удач по сокращению трассы у Комара, у Лисицына, у Егорова, кроме опыта

одновременного ведения работ полевых — с камеральными, полевых — с рекогносцировочными, были и отдельные удачные идеи.

Тов. Чевилев на Нугуше предложил сделать промер трассы не обычной лентой, как делают всегда, а 50-метровым стальным тросом; родился «скоростной метод трассировки», при котором расстояние в 200 километров прошли в 15—20 дней.

У т. Комара, маленького, живого и энергичного, на Нугуше родилась техническая идея: при помощи двухпутных участков на перегонах с двойной тягой обходиться без раздельных площадок: укладывать трассу ниже по косогору и в результате уменьшить количество и высоту виадука. Он сам говорит, что эта «нугушская мысль» могла бы очень облегчить дело при ее применении на трудном северном варианте.

Конечно, перечисленное далеко не исчерпывает всего того ценного, что нашла в работе нынешнего лета экспедиция т. Новицкого. Живой, инициативный, отлично натренированный советский изыскатель — творческая фигура наших железнодорожных новостроек. И тут надо сказать несколько слов об изыскателе по существу.

Не так уж много в нашей стране этих самоотверженных, ценных специалистов. Новые кадры медленно накопляют опыт, старики старятся. Необходимо очень бережно подходить к изыскательским кадрам на транспорте и улучшать условия, в которых они работают. Дело в том, что выезд на полевую работу для них нередко сопровождается понижением тех материальных условий, при которых они работают в городе, сидя в учреждении. Ведь что такое выезд на местность? Это значит бороться с бездорожьем, со стихиями природы, быть в постоянном физическом напряжении, жить в палатке, а то и спать на земле, что, конечно, нельзя сравнить с городскими условиями. Казалось бы, большие трудности и расход здоровья и сил следует компенсировать повышением оплаты или пайка. Между тем по сравнению с геологами-изыскателями на ископаемых (например, нефтяниками, работавшими по соседству) изыскатели-транспортники Южсиба оказались летом

они почти в худшем положении. Так называемого «коэффициента 1,4» (то есть прибавки 40 процентов к заработной плате) они почему-то не получали, хотя все другие геологи-изыскатели имели его.

Мало было заботы и о культурных нуждах изыскателей. Партия в 50—60 человек, месяцами жившая в глуши, оторванная от всего мира, от газет и телеграфа, не получили даже радиоприемника, всей экспедиции не выдали ни одного. Жаловались изыскатели и на другую беду. До войны у изыскателей, приезжавших в Москву, был приют на Новой Басманной. Там, в здании «Мосгипротранса», имелась своя лаборатория для испытания грунтов, была библиотека, где можно было вести научную работу. Но дом этот отведен для других целей, а взамен им дали крохотное помещение, где изыскателю возможности работать нет. Впрочем, и жалуясь, тут же, с хорошей улыбкой, поправляют себя эти замечательные советские люди: «Ничего, понемногу все будет!» И, конечно, будет!

Выходим из накуренной комнаты в звездную ночь Башкирии, и молчаливые фигуры людей, для которых и тьма, и бездорожье, и этот необъятный звездный полог над головой уже давно знакомы, как нам городские улицы при свете дня, провожают нас до самой станции.

1946

ВЫБОР ВАРИАНТА

Избрать наиболее выгодное направление на одном из важнейших участков важнейшей транспортной стройки новой пятилетки — дело ответственное, живо касающееся интересов всего нашего народа.

Среди факторов, которые приходится тут учитывать, известную роль играет природный фактор, то есть те трудности, какие предстоят при постройке дороги и при будущей ее эксплуатации. Но решающее место в нашей стране имеет все же фактор культурно-экономический, степень оживления и ввода в железнодорожный оборот нужных и нужнейших для нас в промышленном отношении районов. Наша «рентабельность» — это не рентабельность от случайного частного грузового потока, а рентабельность, вызванная и обусловленная общегосударственным, планируемым, предвидимым, нужным грузом.

Должно быть, именно природный фактор (бо́льшая легкость постройки и эксплуатации) и побудил группу отдельных товарищей в министерстве выдвинуть «южный вариант» взамен северного, мыслившегося в самом начале как единственный.

Посмотрим же, что представляет собой этот «южный вариант» между двумя важными точками Южсиба — Магнитогорском и Куйбышевом? Южный вариант сейчас же от Магнитогорска резко берет на юг, проходит, как уже было рассказано выше, через малозначитель-

ные сельскохозяйственные районы Башкирии: Кананикольск, Мраково, Мелеуз и выходит на Бузулук.

Казалось бы, и в количестве искусственных сооружений, и в длине, и в кубатуре земляных работ особой разницы по сравнению с северным вариантом он не представляет. В самом деле, кубатура земляных работ и по северному и по южному вариантам одна и та же; количество кривых, протяжение прямых почти одинаково; разница в длине самая незначительная — на 10—12 километров в пользу южного. Немного больше по северному варианту туннелей — на 800 погонных метров. Однако же южный вариант отличается от северного гораздо меньшим участком двойной тяги.

Двойная тяга — серьезное бедствие для транзитных дорог, по которым идут большие промышленные грузы. Еще недавно, до электрификации участка Бердяуш — Златоуст — Челябинск, были мы свидетелями «пробок» на этой дороге, мешавших нормальному продвижению грузов. А тут, на новой магистрали, северный вариант имеет 125 километров двойной тяги, тогда как южный — всего 34 километра. Будучи дешевле северного на 130 миллионов, южный вариант и в эксплуатации (что очень важно) будет иметь расходов на 10 миллионов в год меньше северного. Не удивительно поэтому, что плановики и экономисты Министерства путей сообщения выдвинули южный вариант как несравненно более желательный.

Посмотрим теперь так называемый «нугушский» вариант. Дорога сперва, от Магнитогорска, поднимается к северу, но не очень значительно, до местечка Верхнее Авзяново. Оттуда она сворачивает на юг, по течению реки Нугуш, по дикой и безлюдной местности, на Бузулук.

Что выигрывается нугушским вариантом? Он всего на 7 километров длиннее южного; двойной тяги здесь 88 километров (то есть больше, чем на южном, но меньше, чем на северном); туннелей на нем очень много — 2 600 погонных метров. Стоить он будет на 30 миллионов дешевле северного, хотя на 100 миллионов дороже южного. Как видим, разница не особенно велика, тем более что «осваиваемая» этим вариантом

местность сейчас не имеет ни промышленного, ни большого сельскохозяйственного значения.

Для чего же, однако, в ходе работ, при наличии экономного и выгодного как будто южного варианта, изыскателям все же понадобилось «на всякий случай» предложить третий, компромиссный? И в чем именно выражается компромиссность этого нугушского варианта, то есть какие именно интересы хочет он примирить?

Ответ на это мы дадим не сразу. Пусть читатель вооружится карандашом и подойдет к карте. Здесь на большом пространстве, почти в 4 тысячи километров длиной, ложится перед ним первый легкий рисунок того, что мы называем сейчас Южно-Сибирской, или, еще чаще, Сталинско-Магнитогорской магистралью. Будем двигаться по карте и условно называть север «верхом», а юг — «низом», будем следить за рисунком будущей дороги с того места, где она должна закончиться, то есть со станции Абакан. Что мы увидим?

Будущая дорога пойдет от Абакана волнистой чертой — к Сталинску. От Сталинска решительно повернет на юг, к Барнаулу — Кулунде; дальше — все на юг — по уже проведенной ветке в Кулунду — Павлодар, и еще решительней вниз, на юг, к Акмолинску.

Но здесь, в Акмолинске, движение магистрали на юг прекращается и начинается новый подъем на север, сперва к станции Карталы, а от Карталы к Магнитогорску.

Чем же вызвана эта перемена направления магистрали с юга на север? Конечно, не только тем, что линия Акмолинск — Магнитогорск уже готова и будущей магистрали остается только втянуть ее. Главная причина та, что весь смысл новой дороги — в соединении прямой связью Сталинска с Магнитогорском; ведь на это указывает и самое название магистрали «Сталинско-Магнитогорская». А такое соединение, разумеется, означает не только связь двух станций, у одной из которых на фронтоне написано «Сталинск», у другой «Магнитогорск», а экономически важное соединение двух крупнейших промышленных центров в широком смысле этого слова. Сталинск благодаря своим веткам, частично электрифицированным, примыкает к новой

вано [illegible] своим бассейном. И совершенно естественно предположить, что и Магнитогорск примкнет к новой магистрали именно как промышленный центр, то есть с основными своими железорудными месторождениями.

Послушаем директора Магнитогорского комбината тов. Носова:

«В новой пятилетке необходимо завершить строительство Магнитогорского комбината, то есть построить вторую его очередь в полном объеме... Магнитогорцы располагают всеми возможностями для проведения работ в максимально сжатые сроки».

Предстоит, следовательно, большое повышение выработки металла. Как же с сырьем? Тов. Носов отвечает на это:

«Нам предстоит также решить проблему сырья». Запасы горы Атач, которая кормит сейчас Магнитку, как известно, не только истощаются, но и дают подчас неровную по качеству руду, что причиняет большие затруднения при плавке: «До сих пор не вошла в строй фабрика по обработке сульфидных руд (железных руд, содержащих серу), составляющих свыше сорока процентов запасов Магнитогорского рудника. Надо обеспечить строительство обогатительных, агломерационных и сульфидных фабрик на комбинате».

И само собой ясно, что при этих условиях комбинату чрезвычайно нужно быстрее освоить новые месторождения железа, а значит, и зигазинское, лежащее к северу от Магнитогорска и представляющее очень высококачественное сырье.

«Вторая железорудная база комбината — Зигазино-Комаровское месторождение... с содержанием металлического железа в 44—46 процентов при и 10 процентах влаги... Уже теперь нужно искать и разведать месторождения, руды которых в сочетании с зигазино-комаровскими рудами позволят питать доменные печи высококачественным сырьем».

Тов. Носов позднее высказался (в «Правде»), что он считает достаточными на будущее время запасы руды, расположенные в направлении к Акмолинску, поскольку Зигаза еще мало изучена геологами. Но одновременно

с этим Носов подчеркнул, что отставание геологов в разведке Зигазы недопустимо и странно.

Нам думается, что новая магистраль, смысл которой — связать Сталинск с Магнитогорском как два крупнейших промышленных центра, совершенно не может игнорировать развитие Магнитогорска на север и не дать выхода именно тому участку Магнитогорского комбината, который должен быть изучен и освоен в ближайшие годы, то есть Зигазино-Комаровскому (Тукан), и изучение которого «недопустимо и странно» задерживалось до сих пор. Соображения эти настолько бесспорны в своей государственной важности, что данный участок новой магистрали с самого начала мыслился без всяких вариантов, предполагался единственно возможный — северный. Вот его маршрут: от Магнитогорска дорога поднимается к крупному промышленному центру — Белорецкому заводу, идет от него на Тукан, давая выход на магистраль зигазино-комаровской руде; проходит по огромному лесному массиву, где, повторяем, ежегодно гибнет миллион кубометров леса, опускается к Стерлитамаку, который в текущую пятилетку вырастет в крупнейший центр химической промышленности, и дальше может идти либо на Абдулино, либо на Бузулук.

Простая, ясная, экономически бесспорная идея северного варианта говорит сама за себя. Когда неожиданно для изыскателей выдвинулся план южного варианта, совершенно оставляющий в стороне будущее развитие Магнитогорска, изыскатели и задумали найти среднее, компромиссное решение. Так родился нугушский вариант. Но, подобно всем компромиссам, он ничего в сущности не примирил, не сумев ни сохранить выгоды северного, ни добиться дешевизны южного. На севере он минует Белорецк, на 40 километров не доходит до Тукана; на юге он идет по труднейшему и безлюдному речному каньону с обилием мостов и туннелей.

Перед читателем как реальные варианты остались теперь только два: южный и северный. Об экономике южного мы уже достаточно сказали выше. Добавим, что в вопросе об освоении промышленных районов защит-

[illegible] южного ссылаются еще и на то, что он проходит неподалеку от башкирской меди и захватывает башкирский бурый куюргазинский уголь. Но ссылка эта, надо прямо сказать, не имеет никакого значения, поскольку в новой пятилетке, и притом в первые годы ее, к этим месторождениям строятся (а частично — уже построены) специальные дороги, предусматривающие интересы главных потребителей этого сырья, дороги Ишимбаево — Ермолаево и Магнитогорск — Баймак, причем главное назначение линии Ишимбаево — Ермолаево — это освоение куюргазинского месторождения бурых углей, а линии Магнитогорск — Баймак — это обеспечение развития Баймакского медеплавильного комбината.

Неоспоримым достоинством южного варианта является по существу лишь одно: малый километраж паровой тяги и легкость эксплуатации. Но это достоинство уничтожается малой рентабельностью дороги южного варианта, по которой сейчас почти нечего перевозить, а и в будущем перевозки ее будут ниже, чем на северном варианте, почти на 6 миллионов тонно-километров в год. Если же электрифицировать северный вариант, то он даже и в эксплуатации будет несравненно выгоднее южного.

Мы уже перевели очень большие пространства главного сибирского хода на электрическую тягу. Участок Уфа — Челябинск, однотипный с участком Стерлитамак — Магнитогорск, частично также переведен на электрическую тягу. Не ясно ли, что и данный отрезок новой магистрали с предстоящим ему наиболее напряженным грузооборотом должен сразу же быть запроектирован как электрифицируемый, что резко облегчило бы и удешевило его эксплуатацию.

И тогда ничего не осталось бы от преимуществ южного варианта! Больше того: сразу же открылась бы явная экономическая невыгодность и непродуманность этого варианта, уводящего дорогу именно от тех промышленных узлов, ради которых она задумана, и пускающего магистраль на сотни километров по местности, освоение которой государственного интереса в данной пятилетке не представляет.

А за северный вариант скажут свое слово тяжелая промышленность, черная металлургия, скажут свое слово Южный Урал и Башкирия; скажет свое слово и настоятельная необходимость подтолкнуть, наконец, геологическую разведку в районе Тукана, где, по определению тов. Носова, так медлят с нею; скажет, наконец, свое слово и Белорецкий завод, слишком долго отодвигаемый от выхода на магистраль. О Белорецком заводе надо рассказать особо. Домны его переведены на кокс, а возить кокс по имеющейся там узкоколейке — дело невозможное, и выход Белорецкого завода на широкую колею — есть вопрос жизни для него.

Можно ли игнорировать столько важных государственных интересов, выдвигая южный вариант взамен северного? Думается нам, никакая дешевизна не в силах заменить нашей стране решения серьезнейшей проблемы Зигазы и Белорецка.

Да и приглядимся поближе к этой дешевизне. Сторонники южного варианта усиленно рекомендуют построить отдельные ветки для Зигазы и Белорецка. Эти отдельные ветки, по расчету Союзтранспроекта, обойдутся в 250 миллионов рублей. Это значит, что стоимость их превышает выгадываемую на строительстве южного варианта сумму (130 миллионов рублей) на целых 120 миллионов. И в итоге что же получается? Не северный вариант дороже южного на 130 миллионов, а строительство южного варианта, обходящего Зигазу и Белорецк, обойдется нашему государству на 120 миллионов дороже!.. При условии же электрификации (обходящейся дороже) разница в затратах на строительство возместится и меньшими расходами по эксплуатации и экономией драгоценного для нас угля *.

1946

---

* Первоначальное решение было пересмотрено и правительством утвержден северный вариант.

На трассе Южно-Сибирской магистрали

I

Новая сибирская широтная дорога не родится на пустом месте. Она задумана так, что захватывает и отрезки старых почтовых трактов, где много десятков лет шло медленное движение грузов — возами, гужом, и отрезки проложенных уже в наше, советское время железных дорог, малые и большие.

Участок Алтайская — Артышта (возле Сталинска) начинается именно по такому пути, давно проложенному человеком. Здесь в старые времена шел знаменитый Барнаульско-Кузнецкий тракт * мимо деревень,

* Вот что рассказывают об этом тракте Р. Н. Белявский и В. П. Семенов-Тяньшанский в томе XVI «России» (издание Девриена, СПБ 1907 г.) на стр. 484 и дальше: «От станции Белоярской... Барнаульско-Кузнецкий тракт поворачивает на северо-восток и, не доходя до следующей станции Голубцова, оставляет в стороне деревню Бешенцову... В окрестностях следующей станции Копылова следует отметить целый ряд переселенческих поселков, расположенных в холмистой, изрезанной логами местности, расчищенной из-под леса... Такой же характер местности... и далее по тракту около станции Сорокиной... За Сорокиной тракт пересекает реку Чумыш... Близ станции Хмелевской тракт выходит из Барнаульского округа в Кузнецкий и затем пересекает пологим перевалом Салаирский кряж... По пересечении кряжа к северу от него находится при тракте несколько выдающихся торгово-промышленных пунктов. Первый из них Гавриловский... завод, основанный в 1791 году... Соседний с Гавриловским Гурьевский железоделатель-

построенных сильными людьми,— сибирскими переселенцами. Хозяйничал над этими молодыми деревнями город Барнаул. Переселенцы осваивали непочатую ширь плодородной сибирской земли, заводили овец, но и ремесла не забывали. Были они знаменитыми пимокатчиками, выделывали легкие, теплые, белые пимы; были овчинниками — износу не знали их полушубки; были плотниками и пильщиками, особенно в той части Кузнецкого тракта, примерно со 160—170-го километра, считая от Алтайской в сторону Артышты, где начинается уже пихтовый лес и есть под рукой дерево для поделок. Барнаул притягивал к себе работников, скупал добротные кустарные изделия деревень — пимы, овчины, а потом они шли в города старой России под знаменитой маркой «барнаульских». Вот по этому-то протоптанному пути, мимо этих деревень, славящихся у нас крепкими, сильными, богатыми колхозами, втягивая в строительство кряжистых сибиряков, потомков прежних переселенцев, проходит участок Южсиба, Алтайская — Артышта, в первой своей части.

Путь этот принимает на свои плечи часть грузов, шедших до него по главному сибирскому ходу, и сокращает их пробег по сравнению с прежним следованием через станцию Инская на целых 340 километров. Нам пришлось побывать на этом новом пути, когда он едва доведен был до разъезда Загонного, а уже помогал вывозить хлеб.

ный завод, постепенно увеличивающий свою производительность. Около следующей станции, на тракте станции Бачата, расположены известные каменноугольные месторождения, разрабатывающиеся в незначительных размерах, несмотря на прекрасное качество угля... Следующая за Бачатами станция Карагайлы... За Карагайлами тракт принимает более южное направление и следует ему до станции Бангур, где соединяется с Кузнецко-Бийским трактом и далее следует вместе на восток в Кузнецк».

Таков был старый Барнаульско-Кузнецкий тракт сорок лет назад. Сейчас там, где, «несмотря на прекрасное качество угля», он едва разрабатывался, раскинулся грандиозный промышленный район, Кузбасс. Проектировщики широко использовали эти старые тракты. Участок Алтайская — Артышта захватывает добрую часть Барнаульско-Кузнецкого тракта, но, оставляя в стороне Гурьевск, идет напрямик на станцию Артышта, расположенную недалеко от Сталинска.

Ранним утром, когда еще серо на земле и на небе, он отдернул на все три стороны оконные занавески в нашем вагоне. За ночь его слегка отодвинули от узловой станции Алтайская. Позади остались молочно-белая, [illegible] лента широкой Оби и город Барнаул за нею, стоящий высоко на песках. Здесь, в самом преддверии краевого центра, близость его совсем не чувствуется, словно и не в нескольких километрах он,— может быть, потому, что моста через Обь, кроме железнодорожного, нет, паром ходит редко, и попасть отсюда в Барнаул пешком, на лошади или в машине почти невозможно. Вокруг тишина и простор, и в этой тишине и просторе [illegible] начал медленно-медленно идти по новой линии, только недавно уложенной строителями. В заднее окно вагона мы увидели медленно удаляющуюся от нас трассу, прямую, как стрела, прямую до обостренного чувства прямоты. И только сужение рельсовой колеи к горизонту напоминало нам об уходящем пространстве.

— Видите, какая стрелочка! — с гордостью проговорил наш спутник, начальник строительства.

Он стоял над картой, разостланной на столе, но смотрел не на карту, а в окно, словно опять переживая рождение этой дороги, уходившей и уходившей от нас все так же невероятно прямо, геометрически строго, как струны опрокинутой арфы. Справа и слева отступали волнистые поля, отступало побежденное пространство. Мы как бы видели его вдвойне: живым и реальным через стекло вагона и прочерченным на карте, очень длинной, во весь стол, черной линией трассы с кубиками будущих станций на ней. Поезд медленно поднимался под углом 9° к далекому Салаирскому хребту, навстречу которому с другой стороны, от конечной станции Артышта до большой деревни Салаир, уже проведены были тогда, поздней осенью 1946 года, 20 километров новой дороги и тоже ходили поезда.

На 19-м километре паровоз замедлил ход. Здесь был намечен полустанок «по требованию». Покоренные прелестью этой прямой трассы, мы захотели увидеть ее вблизи, пройтись по ней и соскочили на землю. Дорога

была пока однопутная, рельсы были тоже покуда временные, трофейные, слишком легкие для наших составов, и с необычным креплением. В этих креплениях, между прочим, сказывается вся разница пространственных масштабов, к которым привыкли мы и которых не знают в Европе. Там делают неподвижное полотно: кладут крепкие, металлические шпалы и привинчивают к ним легкие рельсы шурупами, а паровозу дают гибкие, качающиеся рессоры. У нас же немыслимо было бы ставить стальные шпалы на тысячи километров; они у нас деревянные, но зато на них лежат тяжелые, хотя и гибкие рельсы, забитые лишь костылями, которые легко вынуть, чтобы заменить прогнившую шпалу. Чуткому уху слышно, а глазу видно, как живут и дышат, словно грудь в дыхании, под ходом большого и устойчивого паровоза наши ритмичные рельсы. Гибкое полотно, в содружестве с самой землей, и могучий устойчивый паровоз — это наш принцип. Но на стройке Алтайская — Артышта мы пока укладывали то, что было под рукой, и на легких, временных рельсах дорога уже действовала, унося и принося на себе драгоценные грузы.

Станция Бешенцево, 25 километров. Вот этот груз — мешки с зерном на грузовиках, стоящих у склада. Склад переполнен, висит на дверях пузатый замок, ссыпать уже некуда. Парень, доставивший хлеб, ждет, прислонясь к мешку, сторожа, чтобы сдать ему хлеб. И опять мимо скользит наш вагон, позволяя лишь краем глаза охватить проходящую вдоль полотна женщину. Высокая и статная, синий взгляд, золото волос из-под платка, пучок мяты в руке — что-то очень цельное, ясное, почти классическое. Так ходят женщины Тургенева, запоминаясь вам навсегда...

— Наша транспортница Анна Городилова,— говорит подсевший к нам дорожный мастер-коммунист Василий Иванович Брызгалов,— с тысячи девятьсот тридцатого года на транспорте. Муж без вести пропал. Одна двоих детей поднимает. Свое подсобное у нее, ну, и в доме чисто; украсить любит, чем может... Видите — цветочки сорвала. Тянет на красоту. Хорошая работница, здешняя, потомственная сибирячка.

И все так же пряма уходящая вдаль дорога, пряма, как они статные люди, потомственные сибиряки. Неподалеку от Алтайской есть пригород Чесноковка, тоже когда-то созданный переселенцами. Среди них самая распространенная фамилия — чуть ли не две трети всего населения — Упоровы. Сибирская фамилия, выросшая из прозвища, а прозвище выросло из характера, из судьбы. Упоровы смотрят на вас из-под прямых бровей суровым, как льдистый осколок, взглядом, тягуче и мягко отвечают вам голосом, размеренным, как их шаг. Упоровы поднимали тут целину и поднимают сейчас пятилетку, и бронзовой маленькой рукой зажимает одна из них, с бесконечной грацией упорной любви к земле, душистый осенний пучок мяты.

II

Сорок, пятьдесят километров пути. Миновали Голубцово, подходим к Шпагину. Осматриваем водокачку. Вода, правда, жесткая, известковая, и паровозники ее не очень жалуют, но все же — вода!

Здесь наш вагон уходит на запасный путь, а нам подают дрезину: не чистенькую белоручку, какими привыкли мы видеть дрезины на старых действующих путях, а почтенную «работягу» на дровяном отоплении, с черной и нескладной вытяжной трубой. Не то дрезина, не то трактор на рельсах, подталкивающий впереди себя две-три рабочие платформы.

И тотчас, чуть дрогнули они от первого толчка, на бегу, перекидываясь через край платформы, стали к нам вскакивать люди с мешками, с инструментом, чтобы подъехать, пользуясь случаем, к месту работ.

Стоя на маленькой площадке возле трубы, под мелко секущим дождем, наслаждаясь дивной свежестью осени, уходим мы все дальше и дальше, в самое сердце стройки, по новой земляной насыпи, по новенькому, едва опробованному пути, как птица у вас из-под ног выпархивающему вперед и вперед, укладываясь метр за метром. Только сейчас, врезаясь в гущу работ, вдруг

замечаешь, как все вокруг изменилось: прямая стрелка исчезла, равнина исчезла, появилась извилина трассы в холмах, а на этих холмах засквозила листва удивительным осенним золотом всех оттенков, от яростного малинового огня до канареечной желтизны и тяжелой пятнистой ржавчины. Потянуло озоном, запахом мокрой глины, свежим дыханием оструганного дерева и неизменным на стройке слабым запахом железа под влагой, едва уловимым в этой симфонии запахов земли.

Экскаватор «Ковровец», работающий на паровом котле, большой, оседлый, чавкая ковшом, проструил веерообразную массу земли на подошедшую пустую платформу. Выглянул машинист из окошка, сверкнув белизной зубов на закоптелом лице. Чем-то очень теплым и человеческим веет от нашего обычая именовать экскаваторы как бы по отчеству их, по месту происхождения: «Ковровец», «Воткинец». И новый человек на стройке, не сразу привыкая к этому, испытывает странное чувство, словно знакомят его с членом коллектива, живым производственником.

На 73-м километре два экскаватора, вгрызаясь справа и слева в землю, проводили выемку трассы. И невольно залюбовались мы, забыв о времени, как музыкально точно, красивым, плавным движением ходил хобот правой машины, управляемый замечательным кадровиком, белорусом Степаном Педнусом. На параллельной работе двух экскаваторов, наблюдаемой одновременно, можно было увидеть и сравнить индивидуальные стили каждого машиниста. Машинист левого экскаватора как бы переживал тяжесть вгрызания в землю вместе со своей машиной: он налегал на руль, он словно тужился,— и это добавочное, психологическое усилие, казалось, вредило его дыханию, заставляло и самую машину дышать с натугой, прерывисто. Машинист правого экскаватора Педнус отделил себя целиком от тяжести, с которой справлялась машина; он переживал лишь, как дирижер, управление ритмом ее, слившись с одним только движением взад и вперед, вверх и вниз, отрешившись от тяжести даже собственного тела, как это делается в танце или в гимнастике.

Я забежала, однако, вперед. К 73-му километру в те дни, когда мы были на стройке, еще нельзя было подъехать на дрезине. Сойдя у разъезда Загонного с нашей «работяги», мы пересели уже на третий вид транспорта — мощный грузовик. У руля его сидела девушка, Маруся Лукина, под стать своей машине: настоящая великанша с бронзовыми, загорелыми руками и крепкими ногами в мужских сапогах. Если дрезина тяжело и со скрежетом брала новый, еще не укрепленный рельсовый путь, то грузовик, загудев, как жук, двинулся на штурм совершенно невероятной дороги. Только его мощные колеса могли переваливать через неописуемые ямы, проходить черную грязь размытой колеи, по которой шел теперь наш путь. Давно уже дождь перешел в жесткую, сильную снежную крупу, бившую по щекам и таявшую за воротом. И все-таки было хорошо, хорошо от обилия воздуха, от щедрой понюшки кислорода, от картин самой стройки. Перед нами, словно из-под земли, рождалась дорога, выступая то там, то сям ровной отсыпанной линией, уже готовой под колею или вчерне отмечаемой экскаваторами, обилием земляных работ. Будущая станция Заринская, названная по колхозу «Заря коммунизма», уже у самой реки Чумыш.

Три с лишним тысячи километров захватит новая магистраль. Сотни километров, уже построенных раньше, вольются в нее как части пути. Но в строительных работах Южсиба на первый год новой пятилетки вышел вперед, подгоняемый острой нуждою здешних мест в транспортировке грузов, участок Алтайская — Артышта.

И как ни тяжело было строителям от острой недостачи механизмов, от нехватки рельсов, костылей, отсутствия снегозадержалок и т. д., здесь, в центре стройки, жалобы умолкали. Строитель глубоко вдыхал свежий, пьянящий воздух. Он был счастлив: он строил. Как только поступал вагон с костылями, с другим нужным материалом, весь этот материал тотчас же, тут же всасывался стройкой и ложился новыми погонными метрами вперед и вперед.

III

Мы у самой воды Чумыша — капризной реки, только что сорвавшей осенним половодьем мост. Здесь будет строиться новый мост, железнодорожный. А пока — шуршит за спиной гибкая лоза ивовой рощицы, сильный ветер перебирает ее прутья, как струны инструмента, летят над водой дикие утки, а волны подталкивают к берегу, словно медуз, белые хлопья какого-то мха-ползуна с пихты, пригнанного сюда сплавом за 140 километров по притокам Аламбая, впадающего в Чумыш.

Закидывая железные прутья, цепко впивающиеся в дерево, рабочие тянут и тянут по проложенным поперек мосткам мокрые стволы наверх, на берег.

Что там, высоко над рекою, за Чумышом, на том берегу? Богатый районный центр Сорокино; за ним — старая деревня и разъезд Ново-Кокорск; станция Смазнево — на 108-м километре. До нее еще все холмисто, овраги, березы, три речки. Но дальше идет тайга; дальше дорога, по обычному для строителей, но чудесному для нас, новичков, выражению, начинает «вписываться». Все глубже и глубже «вписывается» она в раскрытую книгу природы, прорезая дремучую тайгу, проходя неровную, гористую местность, где высота доходит до 460 метров над уровнем моря.

За перечнем этих названий не одна только тайга да трасса на бумаге. Дорога строится уже и там, перекидываясь пунктиром от участка к участку, ведя подготовку к жилью, к приему строителей, проступая в тайге живыми пятнышками людского присутствия.

Край щедро и отзывчиво пришел на помощь стройке, дав ей в разное время тысячи своих колхозников. Томская железная дорога прислала сюда на месяц путеподъемную машину, балластер системы инженера Барыкина, и рабочие с охотой рассказывают, как работал этот балластер, рычагами поднимая рельсы, а крыльями-лопастями подсыпая под них балласт. За неделю он сделал месячную работу 240 человек.

Поздно. Чернильная темнота упала на землю. Тяжело гудит наш грузовик, почти шагом идя по тяжелому гофру дороги. И вдруг — встреча: в золотом круге фары, клонясь крылом, стоит на земле, прямо перед машиной, мешковатая ослепшая от света сова, уставясь круглыми колесами своих огромных глаз в стекло кабины. Грузовик сердито фыркает, и сова, тяжело взмахнув крыльями, взлетает над дорогой и пропадает в кустарнике.

1946

ЧУ — МОИНТЫ

Начало пути из Сибири в Среднюю Азию готовит для путешественника странную радость, которую хочется назвать нечаянной.

Барнаул, откуда начинается этот путь, никак не дает вам почувствовать ее приближение. Напротив, Барнаул кажется вам городом без окрестностей, городом без продолжения. Тяжелый сыпучий песок покрывает его улицы, как морской пляж. Песок этот глушит вашу походку, отбивает волю к ходьбе. Песком взметает ветер, тончайшими его пылинками наполняя воздух, мешая дышать. Песок, песок...

А когда отъедешь ранним утром на километр от Барнаула, именно этот песок разворачивает перед вами свое великое оправдание, одаряя неожиданной радостью. Розовые пятна солнца — не закатного, а восходящего — вспыхивают на стволах густого, живописнейшего соснового бора, вдруг сразу охватывающего дорогу справа и слева, и золотые просеки песка убегают между деревьями. Перед вами вдруг жестом купальщика, бросающегося с трамплина, перемахнет белочка огненным клубком золота с ветки на ветку; и сверкнет где-то задетая косым лучом солнца вода. Поезд мчится навстречу новому, не знакомому миру через сказочный лес, словно подготовляя вас быть внимательным...

Лес отошел — равнина. Бесконечные платформы с капустой, сахарной свеклой. За Семипалатинском уже

все ново. Изменился верхний покров земли, эпидерма лица ее, и покинутый барнаульский песок кажется золотой россыпью по сравнению с серым пеплом этой безжизненной, песчаной необъятной дали, пустынной и странной, и такой привлекательной в своей пустынности, что не оторвешься от окна.

Уже станции носят не только названия, а и номера разъездов. Уже и названия звучат необычно: Тангиз, Тобе, Балакты Коль, Жарма... Солнце кажется очень близким, и от него пышет жаром, как из печки; ветер кажется идущим очень издалека: он пронизывает ледяным холодом. Странные обрубленные очертания серых холмов — барханов. Высокие шесты колодцев-журавлей. Груды приставленных друг к другу деревянных снегозадержателей, заготовленных возле станций. Изменились самые станции: вместо маленьких оштукатуренных белостенных домиков — необыкновенно изящное сочетание кирпича, железа и дерева; крыши их — шашечно сдвинутые ромбы железа, покрытого белой краской; стены из красного кирпича; двери из прочного, прекрасного дерева, тонкой рисунчатой выделки, словно кто-то трудился для городского особняка, а не для простого станционного сарая, спроектированного с необыкновенным чувством изящного.

Сколько писалось в свое время о Турксибе!

Но вот он годы и годы в действии, а все не избылось его очарование, и как прежде вскрикиваешь, когда проходит по серо-пепельной равнине, между гряд сухой земли, продернутой, как тафта, серебристыми нитями солонцов, корабль пустыни — азиатский двугорбый верблюд, животное, кажущееся здесь странно хрупким и нежным, словно скомканным из мягкого плюша.

Шум станционного базара Жармы уплывает от вас с его ярким кумачом одежд, звоном молочных бидонов, ведрами горячих щей и пышной разварной картошки, вынесенными навстречу поезду. Темнеет замечательный закат: слева половина неба наверху розовая, а внизу синяя — это восток; справа полыхание золота от исчезнувшего солнца — это запад. И над золотом взошло серебро Полярной звезды. Пески, пески...

Скоро Балхаш. Только тридцать пять лет тому назад

географ писал: «В здешних береговых зарослях мириады комаров и мошек и нередки стада кабанов, которых подстерегают тигры...»

На следующий день в выжженной степи лентою цвета нефрита возникает река с китайским названием — Или. Высунувшись из окна, видишь, как змеиным росчерком, делая длинный обход, спускается здесь, чтобы выровнять уклон, рельсовая колея к мосту.

Поезд влетает, словно на курорт, на великолепную, всю по-летнему «в белом» станцию Алма-Ата I. Одуряющий аромат кружит вам голову: это в каменное ложе платформы врезан прямоугольный цветник, сплошь покрытый белыми цветами табака.

Но путешествие тут не кончается.

В послевоенную пятилетку пески Казахстана снова увидели людей, вышедших на борьбу с ними. Если от Алма-Ата проехать немного дальше, в сторону большой и богатой степной станции Луговая, то по пути будет маленькая остановка — Чу. От этой остановки на север, через жестокие безлюдные пески, должна пройти новая дорога — трансказахстанская магистраль, которая соединит сибирский ход с Турксибом, перечеркнет пустыню и ляжет последним участком пути Петропавловск — Караганда — Моинты — Чу, осуществив давнюю мечту столицы Казахстана — иметь прямую связь со своим производственным центром, Карагандой.

Но для того чтобы узнать о стройке Моинты — Чу, надо побывать не только здесь, на разъезде 91-а, где вас встретят признаки развертывающегося строительства — кирпич, известь, лес, прибывшие для разгрузки платформы,— а надо побывать еще в двух местах, расположенных в двух республиках.

Экономические сведения о новой дороге даст вам заведующий сектором проблем транспорта Академии наук Казахстана профессор А. В. Осоргин в Алма-Ата; текущие сведения о вопросах, разрешаемых республиканской властью, вы получите тоже в Алма-Ата. Но сведения полные, исчерпывающие, охватывающие стройку со всех сторон, ждут вас за многие сотни километров отсюда в Ташкенте, где находится главный ее строитель, трест «Средазжелдорстрой».

Именно в этой последовательности и знакомились мы с будущей трансказахстанской магистралью, одной из важнейших дорог Средней Азии, показывающей, как, может быть, никакая другая дорога здесь, живительную силу советского плана и связь местно-республиканских интересов с общесоюзными.

Густые тени от деревьев, еще не опавших к зиме, колышутся на светлых стенах комнаты. Здание Академии наук в Алма-Ате, в этом городе-саде, окружено тишиной и зеленью. Профессор Осоргин, немолодой уже человек, но с живым, бодрым взглядом и юношески быстрой речью, разложил на столе карты и материалы. Не спрашивайте его о технических вопросах, о природе, о земле, по которой пройдет дорога, об условиях ее строительства,— здесь царствуют одна экономика, одни цифры, но сколько ответных мыслей зажигают они!

Перед нами огромный массив Казахстана. Несколько европейских государств уложатся в него свободно. Вот кружок: это столица республики — Алма-Ата, а над нею, к северу, на расстоянии одного дня пути, другой кружок — угольный центр Караганда. Но, чтобы доехать до него из столицы, до сих пор нужен был не один день, а несколько дней, потому что прямого пути не было. Почему же эту важную и нужную дорогу так долго не строили?

Отчасти потому, отвечает профессор Осоргин, что, как ни парадоксально звучит это, сам уголь, карагандинский уголь, которому нужна дорога, задерживал эту дорогу. Он ее задерживал тем, что недостаточно скоро расширял свою добычу, недостаточно скоро рос.

«На север, по дороге Караганда — Акмолинск,— рассказывает профессор,— уголь идет в Магнитогорск, потребляющий шестьдесят процентов кузнецкого и сорок процентов карагандинского угля; на север, по той же дороге, идет он и в Орск, тоже питающийся карагандинским углем. Представим себе, что он пойдет и на юг по новой построенной дороге взамен кузнецкого угля, которым до сих пор жил Турксиб. Это будет выгода для юга, большая выгода, экономия на пробеге в полторы тысячи километров, на которые придвинется тогда уголь к Турксибу. Ну, а для Магнитогорска и

Орска? Взамен близкого карагандинского им придется теперь возмещать недостачу в угле далеким кузнецким. И вся выгода от постройки исчезнет. Чтобы государство действительно выиграло от новой дороги, чтобы выиграл от этой дороги и весь Казахстан, как поставщик и потребитель угля, нужно одно: поднять добычу в Караганде, довести ее до размера, достаточного для питания и Магнитогорска, и Орска, и Юга республики».

Что же пришло сейчас на помощь углю и ускорило включение дороги Чу — Моинты в новую пятилетку? Послушаем опять профессора Осоргина:

«На помощь казахстанскому углю пришел казахстанский хлеб. Он развивался более интенсивно, чем уголь. Колхозный строй принес Казахстану невиданное раньше обилие хлеба. Если в самом начале тридцатых годов республика могла дать государству немногим более двух десятков тысяч тонн хлеба, то к концу этого десятилетия она превратилась в крупного поставщика товарного зерна. А хлеб — он тоже движется, и в движении его есть своя логика. До войны нам приходилось, да и сейчас приходится, из западных районов (Урала, Челябинска) направлять хлеб на восток, а с востока (из Новосибирска) — на запад. Получались встречные грузопотоки, огромный перерасход по перевозкам. При правильно разработанной схеме движения этого не должно быть: логика требует, чтобы ближайший к югу хлеб шел на юг; более близкий к востоку (алтайский) — шел на восток; а ближайший к западу (зауральский, западноказахстанский) — на запад. Тогда на одном только движении хлебных грузов государство наше могло бы выгадать свыше миллиарда тонно-километров!»

Но для того, чтобы это осуществить практически, для того, чтобы легче было планировать грузопоток, остро необходимо окончание трансказахстанской линии, то есть постройка дороги Чу — Моинты.

А когда по ней побегут вагоны, уже сама дорога поможет карагандинцам развить добычу угля. Вся беда Караганды в том, что открытыми карьерами там добывается только бурый уголь, а коксующийся, нужный для металлургии, лежит глубоко в земле и требует больших строительных работ. Для этих работ нужны мате-

[illegible] нужны люди, а люди не так уж охотно шли сюда, отпугиваемые песками, дальностью обходного пути в Караганду. Ведь рукой подать, например, до Алма-Ата, в садах которой алеют тысячами яблоки, но яблоки эти слишком нежны для дальних перевозок, и поэтому в Караганде их очень мало. Трудно там и с овощами. Сейчас, когда построят дорогу, жизнь сразу облегчится и скрасится, станет приглядней для людей, и люди охотней сюда потянутся. Казалось бы, мы уже узнали, что прячется за двумя словами «Чу — Моинты». Но, только попав из Алма-Ата в Ташкент, поняли мы, что ничего еще в сущности не знаем об этой дороге, как о стройке.

Кабинет начальника «Средазжелдорстроя». Навстречу поднимается высокая фигура с наголо остриженной, бронзовой от солнца головой и упрямым ртом строителя, уважать которого собеседник начинает сразу же с первых минут беседы. Александр Иванович Трушников, под чьим началом восемь строительных участков, раскинутых на расстоянии тысяч километров,— типичный сибиряк, строивший в ранней молодости дорогу Томск — Асино, построивший в дни войны дорогу Талды-Курган — Текели. Для него Чу — Моинты только лишь строительный участок, один среди восьми. Но он знает его «наизусть» и притом с той стороны, о которой вы еще не слышали: он воссоздает перед вами пейзаж Чу — Моинты, рассказывает, как может рассказать о нем инженер-строитель, преобразующий лицо земли:

— Знаете ли вы, что это за стройка?

И словно экран вспыхивает на стене. Безводная пустыня. На все 448 километров только один-единственный населенный пункт Мын-Арал, что в переводе означает «тысяча островов»; но не тысяча островов в нем, а всего около тысячи жителей. Климат пустыни, сердца Азии,— летом до 50° жары, зимою до 45° мороза. Осадков нет совершенно. И почти нет воды. Десять миллионов кубометров земляных работ, из них на перевале — до двух миллионов кубометров скальных. Прийти сюда должны сильные люди, люди-победители, не боящиеся ни жары, ни холода, ни песков, ни ветра.

Все здесь привозное, и вместе с пищей, с жильем, со строительными механизмами люди должны привезти с собой драгоценную питьевую воду. Стройка, где все надо предусмотреть: повышенный паек для рабочего; автоцистерны, чтобы доставлять воду для питья; изыскания на воду, чтобы поить паровозы, когда пойдут они через этот песок.

По левую сторону от реки Чу — сыпучие пески Моюн-Кум. Трасса минует их, но все же они по соседству, а соседство это страшное. Любопытно припомнить, как шестьдесят с лишним лет назад, в 1885 году, в условиях, приблизительно схожих, строилась Закаспийская железная дорога: «...Тяжела и упорна была борьба с сыпучими песками, залегавшими на пространстве около ста шестидесяти верст между Байрам-Али и Чарджуем. Пространство это, представляющее сплошное море песчаных барханов, переносимых с места на место ветром, явилось самым трудным участком дороги, и в течение некоторого времени даже существовало сомнение в возможности проложения здесь рельсового пути. Едва успевали сделать полотно, как оно тотчас же разрушалось. Ветер заносил выемки, сдувал насыпи, выдувал песок из-под шпал и нагромождал целые горы песка на рельсах... Некоторые предлагали строить дорогу во избежание песчаных заносов даже в сплошном искусственном туннеле.

Опыта постройки железной дороги по сплошным сыпучим пескам нигде не было, и потому пришлось испробовать все, что было возможно. Полотно и откосы устилались колючкой, ветвями тамариска и саксаула, устраивалась защита от ветров из валежника, путь обсаживался кустарниками, растущими кое-где на песках, а полотно и резервы покрывались слоем глины; на самых трудных участках пути был организован бдительный надзор, который должен был сметать накоплявшийся на рельсах песок. Все эти меры, применявшиеся с настойчивостью в течение нескольких лет, а также сплошной подъем полотна до уровня барханов победили, наконец, природу, и заносы песка, останавливав-

...но движение поездов, ныне отошли в область преданий»*.

У наших строителей уже есть свой, советский опыт, опыт Турксиба. Они не боятся трудностей. Они уже начали побеждать их.

Прошло так мало времени, а уже здесь, в этих песках, под которыми, шевеля их сухую поверхность, полз за добычей степной удав, где, словно выходец из глубины тысячелетий, застыл, во всей ископаемой архаике своей древней формы, морщинистый варан, цепенея на солнце, — бегут стальные советские рельсы.

Пройдет немного лет — и сыпучий песок отодвинется в прошлое, одиночество Мын-Арала останется только в песне акына, а вдоль новой магистрали протянутся десятки станций. За дорогой придут люди побеждать сушь, создавать тень и влагу, обводнять землю, насаждать новые сады — оазисы республики Казахстана.

---

* «Россия», том XIX, «Туркестанский край», стр. 579—580, глава VII, «Пути сообщения».

БЫСТРОВКА — РЫБАЧЬЕ

Зеленый конь подает голос: это на привокзальной площади Алма-Ата звучит хриплая сирена «виллиса». Чтоб сберечь время, на нем можно в полдня перевалить из Казахстана в Киргизию.

Путь, которым рванулся он,— сперва великолепное шоссе, потом — разбитая колесами и копытами сухая колея: это старый почтовый «Верненский тракт». Им когда-то ходили караваны, потом «ездили на почтовых». С десяток ямских станций было на этом пути. А сейчас — безмолвие сухой степи на севере, стена Заилийского Ала-Тау на юге. Железнодорожная колея забрала изрядную долю жизни у тракта.

В серо-свинцовом просторе увалы, овраги, острые стебли чия и, словно страничка из Майн-Рида, «пожар в прерии»: жгут где-то в одном конце степи траву. Тяжелый синий дым стелется низом, пересекая дорогу, как гигантский шлагбаум. Въезжая в него, вы на минуту, на долгую минуту, кажущуюся вечностью, остаетесь бездыханным, сперва тщетно пытаясь вдохнуть воздух, а потом — выдохнуть удушливый дым из легких...

Надвинулись Чу-Илийские высоты, безлесные, яркопятнистые от пестрых глин и мхов на скале. Дорога поднимается к Курдайскому перевалу, длинному и мрачному, с голыми, стиснувшими дорогу боками замшелых гор и знаменитым курдайским ветром, с которым поспорить может разве только киргизский один-

[illegible] «улан». Но вот вершина перевала, луг [illegible], почти белое от ветра солнце в небе и [illegible] долину старого Пишпека, в широко [illegible], весь в зелени садов и парков, в журчащих [illegible], красивый город Фрунзе. Хорошо, когда вы[illegible] день для въезда. Перед вами тогда [illegible] жизнь встанет видение Киргизско[illegible] Александровского): зубчатой сте[illegible] вечного серебра, белые, до [illegible] плечом к плечу стоят островерхие [illegible] в прозрачном воздухе, [illegible] пушистую [illegible] — мы въедем в [illegible] пересечем ее, но уже [illegible].

[illegible] рытвины и застывший каменный [illegible] для «виллиса» дороги. Но, [illegible] вдруг замечаете, что мчитесь [illegible] по бархату. И действительно, под вами бар[illegible], серые, мягкие, прямые, как струнки, дороги, [illegible] дать «среднюю» скорость 60 километров [illegible] час. Воздух поет и гудит,— уже не ледяной, [illegible] на Курдайском перевале, а тоже мягкий и теплый.

Дороги в Киргизии строились народом. Что это значит, мы узнаем позднее. Въезд во Фрунзе со стороны Курдайского перевала — по предместьям и стройкам. [illegible] лента спокойного канала: это Ворошиловская гидростанция в восьми километрах от города. Две ее очереди, да еще строящиеся две другой станции — Аламединской,— вот энергетический узел республики, около десяти тысяч киловатт в целом. Казалось бы — так мало! Но эти изящные маленькие станции, рожденные усилием всего народа, дают первое питание химической промышленности республики. До сих пор Киргизия славилась главным образом сельским хозяйством и скотоводством, но Тянь-Шань («Небесные горы»), Чу-Илийские высоты, далекий Джирголан — почти у преддверья Китая — хранят в своих недрах редкие металлы: вольфрам, молибден, золото — и уголь. А ртуть и свинец здесь уже добываются... И все это требует тока, поднимает голову, просит выхода.

Минуя Фрунзе, по шоссе, обстроенному домиками, обсаженному садами, мы подъезжаем к селению и, нырнув на немощеные улицы, пробираемся почти шагом к голому, пустоватому месту. Опять завыл ветер, но уже не курдайский: завыл сильный и свирепый верховой ветер «улан». Есть ему где разгуляться!

Насыпь, высокая линия рождающегося полотна. Новая, чисто оштукатуренная и окрашенная бело-розовым станция Быстровка. Макет ее, такой же новенький и бело-розовый, вы увидите на столе у начальника строительства — Бориса Исидоровича Демина. Опять, как всюду на стройках, чувство чего-то молодого, первозданного, свежего: и в раздолье ветра, идущего с гор и воющего безудержно; и в свежей земляной насыпи, в рассыпанных материалах, в белой куче извести; и в хлопающих дверях управления; и во входящих и выходящих людях, молчаливых, по-зимнему одетых, с синевато багровым румянцем на щеках, исхлестанных ветром. Здесь управление стройки Быстровка — Рыбачье. На карте новой пятилетки она помечена очень короткой красной чертой: вся стройка — лишь 78 километров. Это в сущности и не самостоятельная дорога, а последний отрезок пути Кант — Рыбачье, от Канта до Быстровки уже построенного. Названия станций в Средней Азии часто сбивают с толку: Кант — это, конечно, не в честь кенигсбергского философа Эммануила Канта, а в честь сахарного завода («кант» — по-киргизски сахар»; так на Турксибе поражает тех, кто едет впервые, чисто французское название станции «Жанна Семей». Но вторую букву «н» проставили уже от себя наши картографы, а надо читать «Жана́», и таинственное название окажется попросту Новым Семипалатинском.

В чем смысл этой маленькой дороги Быстровка — Рыбачье? Смысл ее настолько велик для республики, что уже в первой половине 1947 года она была сдана в эксплуатацию. Значение этой небольшой дороги станет полностью ясным для читателя, если он представит себе всю совокупность ее условий, географических и технических. За станцией Быстровка начинается Боомское ущелье, в старых книгах именуемое Буамским. Задолго до революции несколько авторитетнейших комиссий из

геологов и инженеров обсуждало постройку железной дороги через это ущелье — и признало ее невозможной.

Свыше полстолетия назад знаменитый географ П. П. Семенов-Тяньшанский, а вслед за ним географ Л. С. Берг назвали это ущелье «Ущельем прорыва». Оно имеет очень интересную для науки историю. Высоко над ним, на высоте 1800 метров над уровнем моря, лежит одно из красивейших наших озер — Иссык-Куль («Теплое озеро»). Справа от него, начинаясь в «Небесных горах» (Тянь-Шань), рождается река Чу. В давние времена воды в реке Чу стояли очень высоко, набухая от таяния огромных, ныне уже исчезнувших ледников. И весь этот избыток воды она сбрасывала в озеро, потому что сами впадали в него. Бег ее, как и других горных речек вокруг озера, был короткий. Но вот озеро, задыхаясь от переполнявшей его лавины воды, само вытолкнуло воды между щелями Киргизского хребта, и прорвало узкую теснину Боомского ущелья. А потом произошла какая-то катастрофа. Ученые склоняются к мысли, что это было землетрясение, случающееся здесь очень часто (сейсмичность ущелья — 7—8 баллов). Судорога потрясла горы и отбросила реку Чу от озера Иссык-Куль. Тогда, оставив за собою лишь маленький приток Кутемалды, впадающий в озеро, Чу понеслась сама в русло Боомского ущелья, и век ее удлинился, судьба ее стала очень сложной. Сейчас Чу — одна из самых длинных рек в Средней Азии; она дала жизнь Орто-Токойскому водохранилищу в Киргизии, оживила сыпучие пески Моюн-Кума в Казахстане и связала свое имя с двумя крупнейшими среднеазиатскими железнодорожными стройками. Вот через Боомское ущелье, вверх по реке Чу, там, где ученые много лет назад признали невозможным строить железную дорогу,— и строим мы ее сейчас, соединяя Быстровку (а значит, и центр Киргизии Фрунзе) с озером Иссык-Куль.

Развернем карту Боомского ущелья, составленную в 1942 году. Вдоль горных извилин бегут три ленточки. Одна, голубая, очень извилистая, повторяет каждый изгиб ущелья — это Чу; другая, две тонких черных колейки, чуть-чуть глаже, чем извилины голубой ленточки,

но тоже в петлях и зигзагах: это — старое, уже давно проведенное шоссе; и, наконец, третья, густая черная черта, почти ровная по сравнению с кривизною реки и шоссе, местами пересекающая их или тесно идущая бок о бок с ними: это трасса новой железной дороги. Даже глазам тесно от того малого пространства, на котором бегут эти три линии. Как же тут узко должно быть в действительности! Как ухитряются в этом коридоре, между косых изломов гор — не мягких, а крепких, из темно-лилового и темно-зеленого порфира, черного диорита, красновато-серого гранита — как ухитряются тут улечься сразу и река, и шоссе, и рельсовая колея?

Трудности, встреченные здесь строителями, настолько велики, а способы их преодоления настолько новы, остроумны и смелы, что маленькая и, казалось бы, незначительная стройка Быстровка — Рыбачье — на самом деле уникальное инженерное сооружение, не имеющее себе равных не только в пятилетке, но и во всем мире.

Пускаемся в путь и тотчас же попадаем под страшную власть «улана». Этот ветер, называемый здесь верховым, потому что он дует сверху вниз, да еще другой ветер, «санташ», подчиняют себе и ущелье и жителей озерного побережья, серьезно нарушая пароходное сообщение на озере и делая сухопутное сообщение по ущелью мучительным.

Мы выехали под вечер, когда «улан» как раз встает, чтоб уж задуть на всю ночь. Закат над ущельем был ярко-багровый. Цветными пятнами надвинулись не очень высокие округлые, голые горы, со странными откосами и отверстиями в скалах, выеденными не то водою, не то ветром. Шипя, бежала внизу Чу. И вот, наконец, остановка «Мертвая петля». Выходим из «виллиса», чтобы пройти на место работы. Но как и куда пройти? Красный отблеск солнца ложится на красные земляные насыпи, на отвесные глыбы горы. Внизу, под прямою скалой, рычит несмолкающим ревом река. Крутой берег — с той ее стороны. И ничего больше, некуда поставить ногу: дорогу преграждает огромная земляная осыпь. Кажется, гора здесь сползла по опрокинутому

треугольником вниз, засыпав дорогу и реку. Шоссе нет, даже следы его исчезли. Вперед ехать некуда, можно только назад. Вдруг, подняв голову, мы видим, где производят работы и какие они. На высоте двухсот метров стоит, нет, скорее висит, странно вцепившись в землю, словно гигантский жираф, большой экскаватор «[illegible]». Под ним по всему косогору, крутому, не имеющему и подобия тропинок, рассыпаны люди с лопатами. Это невозможное место называется «Глыбовая осыпь».

Здесь, покуда шоссе еще не было засыпано, имелось только два этажа, две узкие площадки в горе: внизу — река и ее русло, а на несколько метров выше — вытянутое вдоль берега узкое шоссе. Для того чтобы проложить тут еще и железнодорожное полотно, нужно было создать третий этаж, подняться ярусом выше и вырыть, вырубить новую, параллельную колею для трассы. Но угол падения здешней горы и состав ее таковы, что железная дорога очутилась бы под прямой и постоянной угрозой не только оползней, но и осыпей. Тогда строители решили устроить здесь, не дожидаясь будущих катастроф, основательную профилактическую «катастрофу», осыпь, огромную осыпь целой глыбы, срезать весь тот угол, который мог бы угрожать в будущем дороге. Так родился участок работ под названием «Глыбовая осыпь». На высоте трехсот метров взорвали вершину горы, потом на площадку втащили экскаватор. И он работал, свисая над пропастью, работал, грызя и круша землю перед собой. Если бы подняться туда, мы увидели бы замечательных, прославленных людей, лучших экскаваторщиков всего треста, выполнивших за год три годовые нормы,— бригаду Филимонова: машинистов Семена Куцаня и Сумбаева, помощников машинистов Сидорова, Бисекеева и Липатникова. Позднее сюда пришел и другой экскаватор, «ЛПГ», с бригадой Набокова.

А внизу, по косогору, рассыпанные почти на отвесной высоте, люди отгребают лопатами землю у себя из-под ног и спускают ее вниз, вниз...

Когда сброшенный угол горы будет весь убран и расчищен, освободится внизу из-под земли шоссе,

освободится и красивый рельеф трассы железнодорожного полотна, а почти отвесная горная стена ущелья будет укреплена, укатана, взята под непрерывное наблюдение.

— Участок, конечно, трудный в эксплуатации,— со вздохом говорит начальник строительства Демин.— Специального обходчика потребует.

От «Мертвой петли» едем обратно, чтоб обогнуть это засыпанное место ниже, перебраться Семеновским мостом (построенным и названным в честь географа Семенова-Тяньшанского) на ту сторону Чу и опять вперед, под воющим ветром в узком горном проходе, между странными очертаниями сдвинувшихся с двух сторон каменных стен. На тридцать девятом километре, у станции Джыл-Арык,— новая трудность: здесь нарастающий подъем, участок двойной тяги на двенадцать километров. Но неискушенному техникой местному жителю не видно этой трудности; зато он знает другое. Не только геологи и географы хорошо изучили Боомское ущелье: седая древность этого ущелья ведома филологам и народным певцам. Здесь место действия киргизского эпоса «Манаса». Мы проезжаем не только прозаической станцией Джыл-Арык, а и лугом древней легенды «Джолойдун бешеги», колыбелью Джолоя, ложбинкой, где, по преданию, как в люльке, укладывалось богатырское тело младенца Джолоя,— и аромат древней легенды делает все вокруг фантастичнее, крупнее, страннее, глуше... Как будто в ответ на ваши мысли перед вами в узком пролете шоссе всплывает призрак корабля. Не сон ли? Но «виллис» вплотную подъезжает к призраку и медленно огибает его. Протянув руку над собой, мы могли бы коснуться деревянной кормы. Большое судно на специальных катках медленно протаскивается сухопутьем, чтобы быть спущенным на воды Иссык-Куля.

Опять езда, опять ветер, ощущение заледеневших десен во рту — и мгновенная остановка, пикет: вы задержаны у черты часовым и ждете долго, долго. Там, впереди, отгрохотали давно один за другим страшной силы взрывы, вздымая черные фонтаны земли. Но вот дорога очищена. Немного проехав, вы сходите на зем-

но. Это станция Кыз-Кыя («Невеста и жених»), связанная с романтичной легендой о погибших влюбленных. Здесь, чтобы выкроить у камня полоску в один километр длиною, производятся массовые взрывы на выброс.

Поднимаемся в вечереющем воздухе на отвесную стену, держась друг за друга. Мы на головокружительной высоте над землей. Осторожно проходим по карнизу, где были вырыты, точнее выбиты глубокие круглые колодцы на определенном промежутке друг от друга. В такие колодцы закладываются огромные количества взрывчатки. Потом гору взрывают — и целый слой скалы, протяжением чуть ли не в километр, взлетает на воздух, засыпает шоссе и реку. Молчаливо, считая каждую секунду, люди убирают камни с шоссе, очищают от них карниз и выбивают новые колодцы. Три раза в день на полчаса открывается шоссе для движения; все остальное время прохода через ущелье нет. Метр за метром опускается добываемый в скалах карниз, пока не ляжет на нужной отметке. Так рождается трасса у Кыз-Кыя.

Но мы все еще не покончили с трудными участками дороги. Впереди пролет между станцией Кыз-Кыя и Кок-Майнаком. Стало почти темно, слабыми пятнами загорелась земля перед фарами, дикий ветер почти прижимает легонький открытый «виллис» к скалам. Сердито, по-медвежьи, урчит и стонет совсем близкая тут река. В слабом свете фар и красного полыханья в небе (там всходит оранжевая, словно уголь в печи, в раздуваемых ветром облаках луна) виден узкий берег и тесный ход ущелья. Что же, опять взрывать? Здесь нас встречает новая смелая техническая идея. Строители на этом пространстве отжимают к другому берегу реку Чу, шаг за шагом выкрадывая у нее место для рельсовой колеи. А если в половодье взбесится Чу, перехлестнет барьер, зальет рельсы, сорвет с них поезд? Но инженеры все предусмотрели, высчитали, обдумали. Чу будет бежать рядом с поездом, белая от злобного напряжения, сжатая, бурная, набирая напор, как в водонапорном туннеле, и, может быть, там, где позволит ущелье, покорно ударится о лопасти гидротурбины.

На небольшом сравнительно участке строительства дороги Быстровка — Рыбачье целая гамма труднейших сооружений, по-разному побеждающих условия природы, которые раньше считались строителями непреодолимыми. Буквально у каждой из ее станций: Мертвой петли, Джыл-Арак, Кыз-Кыя, Кок-Майнак — станций, овеянных древними киргизскими легендами, решается сложнейшая инженерная задача: искусственная осыпь, массовые взрывы на сброс, отжимка реки, а между ними сложная, трудная, напряженная прокладка дороги. Сколько сил человеческих, сколько людей!.. А люди — вот они... Республика дает строительству тысячи колхозников; сюда идут люди из Иссык-Кульской области, Тянь-Шаньской области. В Управлении ждут дорогих гостей, готовятся к встрече, запасли муки, любимого здесь кирпичного чая. Ну, а как с жильем? Для иссык-кульских жилье подготовлено, а тяньшанские принесут его сами: они снимаются на стройку вместе со своими теплыми войлочными юртами. Это они строили — всем народом — замечательные здешние проезжие дороги, «похожие на бархат». Киргизы охотно и радостно идут на народную стройку. И кое-кто остается на ней работать постоянно, как уже остались четыреста человек «стариков» — киргизов 50—55 лет — от первого массового выхода.

Все выше и выше луна в небе, все шире и шире ущелье, все яростней ветер «улан»: это «виллис» вырвался из Боомской теснины на простор новой равнины. Внезапно за поворотом — сияние залитой лунным светом, кипящей от ветра, сверкающей тысячами огненных брызг водной чаши. Озеро Иссык-Куль!

Наутро, чуть свет, вставши, как спали, в шубах и шапках, с кроватей и выйдя из холодной, как погреб, нетопленной комнаты на крыльцо, мы увидели мир, показавшийся нам «концом света»,— мир удивительной теплоты, тишины, красоты.

Солнце грело, как в июле. Озеро, сияя глубокой солнечной синевой, лежало неподвижным зеркалом. Новенькие выбеленные домики городка Рыбачьего сверкали чистотой своей белизны на спокойной синеве воды. Разгружался большой пароход «Киров»: по ленте не-

скончаемым потоком золота струилось на элеватор тяньшанское зерно. А за элеватором мы увидели склады с зерном и зерно на земле, горы зерна. И мы вспомнили узкую теснину Боома, шоссе, открытое на полтора часа в сутки, между взрывами, цепочку грузовиков перед пикетом, огромное судно на катках, ползущее к воде по сухопутью... Хлеб! Не только для редких металлов и джиргаланского угля: для золотого тяньшанского и иссыккульского зерна спасительным выходом стала здесь железная дорога.

1948

ОТДЫХ НА ОЗЕРЕ

Потребность в отдыхе, в минуте, которую физкультурники зовут «вольно», охватила нас. Выйти из напряжения, не воспринимать больше, обдумать увиденное и пережитое, понять его, подвести возможные итоги...

И все же отдых не был для нас неподвижным. Мы ехали вдоль северного берега Иссык-Куля, но ехали уже бесцельно, в ярком, почти обжигающем солнце, наслаждаясь покоем этого жаркого, тихого, выходного для нас дня. Где вздумается, останавливали наш маленький «виллис» и выходили на берег.

Вокруг был новый, незнакомый мир. Дорога то удалялась от озера, то выбегала почти к самым накатанным водою бесчисленным каменным голышам, мокрым от волн. Вдалеке изредка проплывали квадратные могильники, «мазары», из непрочного серожелтого кирпича, нехитрой архитектуры, иногда — с двумя колоннами справа и слева от треугольного фасада, окруженные высокою глиняной стеной,— места погребения киргизов; ближе к дороге были колхозные поля.

Тут я впервые увидела огромное поле мака, посеянного «на опиум». Весною, когда зеленые головки мака еще молоды, на них надрезают тоненьким ножом — почти хирургическим инструментом — несколь-

из горизонтальных поясков-полос. К осени головки мака иссыхают и желтеют, становясь крепкими, полными звука и воздуха, как бамбук, а вдоль полос, подобно крупицам янтаря, чернеют капли вытекшего и затвердевшего сока — опия, нужного в медицине. Мы были на Иссык-Куле поздней осенью, но сбор мака еще не начался, и бесчисленные шарики желтых маковых головок в черных поясках, усеянных черными каплями, гулко колебались в поле.

Колхозники приветливо кивали нам, приглашая зайти к себе в юрту. Советский культурный обиход в своеобразном сочетании с патриархальной стариною окружал нас на всем пути. На старинных домотканных коврах, которыми были увешаны юрты, мы видели фотографии летчиков и танкистов Красной Армии, девушек-инженеров; седой чабан с узкой и длинной бородкой поднимал от киргизской газеты узкие и добрые глаза в очках; наш спутник, киргизский ученый и писатель Ташибек Саманчин, рассказывал нам легенду о гнедом жеребце «Тору айгыр», почуявшем с южного берега свой косяк, который находился на северном берегу, и переплывшем озеро; о затонувшем древнем городе, каменные стены которого видны на дне озера в ясную погоду, чередуя эти рассказы с данными о пятилетке, о рудниках в Пржевальске, о детском санатории, о новой гидростанции, о своей будущей диссертации. И как-то не верилось, что меньше столетия — всего девяносто лет — отделяют нас от первого путешествия на Иссык-Куль исследователя Тянь-Шаня П. П. Семенова-Тяньшанского. Он проделал его с конвойными казаками и проводниками киргизами в сентябре 1856 года, встретив по дороге тигров, кабанов и медведя и выдержав кровопролитную стычку с кара-киргизами, нападавшими на караваны и на путешественников.

«Мы дошли до Иссык-куля в 4 часа пополудни,— рассказывает Семенов,— и охотно остались бы здесь до следующего дня, но ночевать на берегу озера было слишком опасно... Огни наши были бы видны отовсюду с обоих прибрежий Иссык-Куля (Кунгея и Терскея), и отрезать нас от сообщения было бы слишком легко.

О приходе нашем на Иссык-Куле могли уже знать каракиргизы, потому что поутру мы видели издали одного всадника. ...Поэтому я решил не оставаться здесь на ночлег и идти назад к прежнему *. Во второй раз в том же месяце П. П. Семенов вышел к Иссык-Кулю Боомским или, как он сам называет его Буамским ущельем. Читатель уже проехал этим ущельем в машине вместе со мной,— а сейчас, когда я пишу эти строки, мог бы пересечь его и в вагоне поезда. Но знаменитому русскому географу этот путь дался менее легко. Он задумал смелое дело — разыскать сарыбагишей (одно из племен каракиргизов), с которыми казаки только что побывали в настоящем бою, и предложить мир и дружбу их верховному «манапу», старшему в роде, Умбет-Але: «Когда мы проснулись на другой день (25 сентября), то температура оказалась минус 1,5°Ц. Ночь была очень холодна, и палатка моя обледенела. Утро было туманное; тем не менее мы снялись с бивака в 7 часов утра. Конечно, времени терять было нельзя. Обнаружилось, что сарыбагишей в долине Чу уже не было. Очевидно, что, напуганные своей кровавой битвой с русскими, они бежали, по всему вероятию, на озеро Иссык-Куль, куда я и решил выйти к ним со всем своим отрядом, следуя вверх по реке Чу через дикое Буамское ущелье. В сущности для моего довольно многочисленного отряда, состоявшего из 90 всадников и 20 вьючных лошадей (верблюда, к счастью, у нас не было), переход в восемьдесят верст через почти бездорожное ущелье, в котором или за которым мы должны были встретиться с озлобленными врагами, ...мог казаться безумным предприятием. ...Когда мы вошли в ущелье, оно скоро так сузилось, что по правому берегу Чу, на котором мы находились, далее следовать было невозможно, потому что каменные утесы громадной высоты падали в реку совершенно отвесно. Мы все вынуждены были перейти вброд бурное течение реки на левый ее берег, по которому и продол-

---

* П. П. Семенов-Тяньшанский, Путешествие в Тянь-Шань, Огиз, Государственное издательство географической литературы, М. 1946, стр. 107.

…али свой путь, но затем такое же препятствие заставило нас перейти опять на правый берег.

День склонился уже к вечеру, небо закрылось мрачными тучами, и вскоре наступила темная ночь. Только по временам показывалась между облаками полная луна, несколько освещая наш путь. Движение наше вперед было до крайности затруднено тем, что наша тропинка не могла следовать непрерывно по самому берегу реки, так как местами береговые утесы падали в нее совершенно вертикально, и приходилось подниматься на боковые стены этого каменного коридора, характеризуемого названием Бум (у алтайцев Бом) *, по опасным тропинкам, обходящим сверху отвесные обрывы. Конечно, мы должны были совершать эти обходы пешком, ведя в поводу своих лошадей, развьючивая вьючных и перенося их вьюки на руках. Кое-где вместо этих обходов мы шли, где было возможно, вброд у подошвы обрыва, против бурного течения реки, через скалы, наполняющие ее ложе, с ежеминутной опасностью для каждого из нас быть снесенным ее бешеными волнами.

Таким образом мы с неимоверным трудом шли до трех часов утра и, наконец, добрались до тесной котловины, в которой решили остаться до рассвета. Место это находилось на самом берегу реки между двумя высокими «бомами», на вершинах которых я поставил с обеих сторон охранные пикеты... Я напрасно старался уснуть в своей палатке под шум водопадов, образуемых рекой Чу. Ночь, проведенная мной в Буамском ущелье, была едва ли не самой тревожной в моей жизни. На мне лежала ответственность за жизнь почти сотни людей и за успех всего предприятия» **.

Этот рассказ я привожу не только для того, чтоб показать, как трудно было выкроить в Боомском ущелье, где Семенов едва мог пройти пешком,— спер-

---

* Бом — огромный камень, пересекающий путь и вдающийся ребром в речное ущелье, много бомов по Чуйскому тракту в Ойротии.

** П. П. Семенов-Тяньшанский, Путешествие в Тянь-Шань, стр. 114—115.

ва трассу для хорошего шоссе, а сейчас параллельно ему еще и пространство для рельсовой колеи; мне хочется обратить внимание читателя и на другое.

В чем, собственно, состояло «предприятие» Семенова? По просьбе полковника Хоментовского, начальника Заилийского края, тогда лишь недавно присоединенного к России, П. П. Семенов взялся разведать «настроение» сарыбагишей. Но вместо обычной разведки в неприятельском лагере просвещенный русский путешественник, никогда не стрелявший в безоружных, решил другое: он захватил с собой подарки, во встреченном ауле через переводчиков просил передать враждебным каракиргизам, что едет к ним «в гости», едет с добрыми намерениями друга,— и с горсточкой людей действительно явился к сарыбагишам, которых было множество. Сидя в почетной юрте гостем, приняв угощение и разговаривая, П. П. Семенов «сказал им, что приехал издалека, из столицы России, посмотреть, как живут русские переселенцы на далекой границе», узнал о кровавом столкновении и считает, что, по его мнению, «между построившими город на подвластных России землях Большой Орды русскими и каракиргизами должны установиться добрые соседские отношения, и что вести баранты, так легко могущие перейти в войну (джоу), соседям не следует, что русские первые никогда не нападали и не нападут на каракиргизов, но что если со стороны последних будет производима какая-либо баранта не только против самих русских, но и против их подданных — киргизов Большой Орды, то возмездие будет немедленное, как это и случилось, но что никаких враждебных действий русские продолжать не желают» *, и вот почему он приехал гостем к Умбет-Уле и привез ему подарки, чтобы попробовать сделаться его тамыром (другом).

Это замечательная черта подлинного русского патриота, каким был П. П. Семенов. Нужно знать обстоятельства, при которых он действовал с таким настоя-

* П. П. Семенов-Тяньшанский, Путешествие в Тянь-Шань, стр. 117.

ным тактом и такой настоящей человечностью. Ведь сам П. П. Семенов приехал в эти края без формального «дозволения» царской власти на исследование Тянь-Шаня. Никаких дипломатических полномочий он не получил. Больше того, он и сам, как все передовые русские люди шестидесятых годов, не мог чувствовать себя в безопасности от царских жандармов. В начале своего дневника он не без иронии пишет о том, как в 1856 году в Петербурге ждали освобождения крестьян и дождались от Александра II лишь декрета о каких-то переменах в военной форме: «Ожидали законы, а вышли только панталоны». Он дальше с подлинной, гневной резкостью и прямотой рассказывает, как пришлось ему начать свое путешествие: «...Не только выставить на первый план желание мое проникнуть в Тянь-Шань, но даже вообще сообщать кому бы то ни было о моей твердой решимости проникнуть туда было бы с моей стороны крупной ошибкой, так как такое намерение встретило бы сильное противодействие со стороны министерства иностранных дел, ревниво оберегавшего азиатские страны, лежавшие за русскими пределами, от вторжения русской географической науки в лице русских путешественников, в то время когда Германия уже открыто, на глазах всего мира, снаряжала свою экспедицию в Центральную Азию...» * Царское министерство иностранных дел оберегало азиатские страны от русских путешественников, как бы охраняя эти страны для немцев! Вот какое положение было у П. П. Семенова, решившегося исследовать Тянь-Шань. Но тем не менее П. П. Семенов, фактически тайком пробравшийся на Иссык-Куль из боязни противодействия царских министров, самостоятельно сделал все возможное для славы и достоинства России, для государственных интересов и правдивого представления о великом русском народе. Каракиргизы, к которым он отправился в гости, были подданными кокандского хана, враждебно настроенными к русским. Взявшись выполнить просьбу Хоментовского,

* П. П. Семенов-Тяньшанский, Путешествие в Тянь-Шань, стр. 36.

Семенов превратил обыкновенную разведку в глубоко человечную и умную дипломатическую миссию. И каракиргизы оценили благородство и храбрость русского человека, гостем вошедшего под их полог. Семенов переночевал в их юрте и вместе со всеми своими спутниками невредимым вернулся в молодой, только что отстроенный тогда город Верный — нынешнюю столицу Казахстана Алма-Ата. Можно ли сомневаться в том, что он заронил в каракиргизах не только уважение, но и любовь к русским!

В Средней Азии было немало русских людей, заложивших основы дружбы местного населения с Россией и начатков современной культуры среди кочевых ее народов, людей, не только не бывших «проводниками» царской власти, а, наоборот, противниками, а иногда и жертвами самодержавия. Есть у Семенова еще один замечательный рассказ о роли так называемых «чолоказаков», беглых русских людей из Сибири, осевших сперва в Ташкенте, а потом, когда Казахстан перешел во власть России, задумавших перебраться туда, «на родную землю», то есть снова под русское подданство. Чолоказаки переженились на киргизках и осели поселками и хуторами по реке Каратале: «Поселки эти состояли из тщательно выбеленных мазанок с плоскими крышами и печами, приспособленными для зимнего пребывания... Казаки... очень хвалили умелость их жителей (то есть чолоказаков) не только в полевых работах, ирригации и скотоводстве, но и в садоводстве и строительстве» *. Русского языка эти чолоказаки не забыли, и один из них при встрече с П. П. Семеновым рассказал ему о «случае», бывшем с ним при постройке русского консульства в Кульдже: он был приглашен по рекомендации родственных с ним киргизов нашим консулом Захаровым для кладки печей. Долго объяснялись они с консулом по-киргизски и по-узбекски, но все-таки понять друг друга не могли, и печник из чолоказаков, не вытерпев, спросил консула по-русски: «Да какую печку вашему высокоблагородию нужно —

---

* П. П. Семенов-Тяньшанский, Путешествие в Тянь-Шань, стр. 83.

русскую или голландскую?» Консул «изволил рассмеяться», а чолоказак соорудил ему такую печку, какую китайцы никогда и не видывали» *.

Нужно хорошо знать и не забывать (особенно литературоведам национальных советских республик) всю эту сторону проникновения русских в Среднюю Азию, проникновения самого народа и наиболее отважных и энергичных сынов русского народа, несших с собою освободительные идеи, более передовую культуру, знания, талантливые рабочие руки, способность быстро схватывать, осваивать, учиться, вступать в близкие, братские отношения с теми, среди которых они осели. Русские ученые, русские патриоты из образованных военных кругов, русские смелые люди из народа, беглецы из Сибири, сохранившие — что бы ни было в их прошлом — крепкую любовь к родине, предприимчивость и способность к любой работе, все они, каждый по-своему, были проводниками современной культуры в Азии. О влиянии капиталистической России на феодальный Восток Фридрих Энгельс писал 23 мая 1851 года Карлу Марксу: «...Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку» **.

Но вернемся к прерванному путешествию.

На семьдесят первом километре мы вышли из «виллиса» и сели на горячих камнях, почти у самой благословенной воды, о которой Семенов сказал, что она «прекрасна по своей прозрачности и светло-голубому цвету» ***. Было жарко и не верилось, что за горами, в нескольких сотнях километров, зима уже устраивается на земле. Солнце золотило необыкновенно теплыми тонами (словно кровь просвечивала сквозь них) множество камешков — конгломератов, гладко обкатанных солоноватыми волнами прибоя. На том

---

* П. П. Семенов-Тяньшанский, Путешествие в Тянь-Шань, стр. 86.

** К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, том XXI, стр. 211.

*** П. П. Семенов-Тяньшанский, Путешествие в Тянь-Шань, стр. 106.

берегу, очень далеком, почти невидимом, плыли, как облака, снежные вершины гор.

От мыслей о далеком прошлом мы вернулись к богатой и насыщенной творчеством современности. Застраивается Советская Азия! В ней, правда, сейчас меньше строек, чем в Сибири и на Урале, но строители чувствуют себя здесь очень прочно и надолго прочно, потому что нигде, кажется, нет такого количества будущих, перспективных строек, вызываемых к жизни самою логикой развития хозяйства, как здесь. Кроме тех названий, которые упоминаются в пятилетнем плане, здесь приведут вам и много новых. Они еще не «вошли» в план, но они непременно войдут в будущем. Дорога Ханабад — Тюбе в Киргизии еще не запланирована, но никто не сомневается в том, что ее будут строить. В Кара-Тюбе хороший коксующийся уголь, есть и марганец и железо. Сейчас металлургический завод в Узбекистане питается привозным углем, а с проведением этой дороги он сможет целиком перейти на местное сырье. Дорога не очень большая, всего девяносто километров, но, правда, тоже трудная.

В Узбекистане есть другая «перспективная» линия, Чимкент — Ташкент — Придоново, задуманная как отдельный выход для Ферганы, в обход загруженных станций Арысь и Урсатьевской. Тоже нелегкая линия. Трудно ведь строить и Чу — Моинты, а Чу — Моинты уже становится реальностью...

О чем же просят строители, заботясь о завтрашнем дне, об этих будущих и сегодняшних стройках, которые неизбежно потянут за собой новые и новые? О чем они чаще всего озабоченно говорят с вами, как с работниками печати, с человеком, способным передать их просьбу «там, в Москве»?

Чаще и острее всего ставят они вопросы о механизмах. Взять хотя бы огромное количество земляных работ, требующих десятков тысяч рабочих, когда человеческий труд — самое дефицитное у нас. Земля грузится в вагоны экскаваторами, а выгружается пока лопатами. Почему? Потому что не хватает простей-

[illegible] думкара, самовыгружающегося вагона.

Примерно сотни миллионов кубов приходится выгружать лопатой! Да и не только это; с лопатой связано много другого, связана прежде всего — трудность планирования времени. Идет состав. Предупреждается об этом начальник дистанции пути. Он собирает, [illegible], людей. А состав где-нибудь застрял, пришел с опозданием, и людям либо приходится ждать, либо разъезжаться. И когда, наконец, подойдет состав, — уже некому его выгружать, и он простаивает, задерживает перегон...

Еще вопрос — об экскаваторах. Земляные работы по транспорту на 75 процентов ведутся мелкими объемами в разных местах. Нужны для этого до зарезу маломощные, подвижные экскаваторы, с ковшами емкостью 0,25 куб. метра, способные передвигаться со скоростью сорок километров в час. Такой экскаватор [illegible] сам, его можно приспособить, где нужно, под кран, это лучший помощник при рытье небольших котлованов под сотни искусственных сооружений на путях. Но у нас этой конструкции экскаваторов нет... Гиганты экскаваторы мы делаем, а вот такие небольшие — нет их! Создание их — дело насущное для наших транспортных строек. Маломощные, подвижные, экскаваторы и саморазгружающиеся вагоны-гондолы должны быть поставлены в порядок дня наших заводов, — это самая главная просьба!

На стройках Сибири мы встретились с отрядом замечательных людей, изыскателей, о которых когда-нибудь будут писать у нас увлекательные романы. Изыскатели тоже передали нам в разговоре свои «самые главные» просьбы: чтобы Союзтранспроект имел перспективный план работ на каждый будущий год, с указанием, какие работы будут делаться и в каком объеме, и чтобы этот перспективный план «спускался» перед началом работ, а не в первом квартале текущего года. Почему это надо? Потому что случается иногда, что решение об изыскании такой-то линии, со сроком, определенным, говоря условно, в четыре месяца, «спускается» в Союзтранспроект, где задерживается

месяц-два, потом в Мостранспроект, где его держат еще месяц, и лишь после этого попадает в руки изыскателей, которым остается, таким образом, на работу не четыре положенных месяца, а уже четверть срока. Укороченный срок отражается на качестве работ. И еще следовало бы, планируя изыскание новой железнодорожной линии, к тому же имеющей общегосударственное значение, лучше предусматривать не только сроки работ и направление линии, но и перечень всего необходимого — геодезических и геологических инструментов, транспорта, рабочей силы, спецовок, продовольственных фондов, с точным обозначением, откуда и сколько взять...

Но «отдых» уже истек. Мы прощаемся с теплой водой, синим озером Иссык-Куль. Путь наш лежит на северо-запад. И скоро снежные вершины Киргизии, пески Казахстана, зеленые оазисы Узбекистана, леса и рощи Сибири останутся у нас только в памяти незабываемо прекрасными образами.

1947

КАРЕЛО-ФИНСКИЙ ДНЕВНИК

СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ

В Петрозаводск приезжаешь на заре. Я приехала на белой заре еще не погасшей ночи. Может быть, оттого, что еще мало знаю Север, впечатление было очень остро, очень ново: словно край света («заря с зарей сходится») и дальше некуда. Пронзительная ясность, свежесть, обилие открытого пространства, небо глядится в большую воду Онежского озера, большая вода глядится в небо, но не так, как на южных морях и озерах, не с синевы в синеву, с теплой подмесью солнца, а бледно, очищенно от красок, словно ветер метлой подметал и эту высокую голубизну, где расчесаны белые, плотные стайки и кудерьки облаков, и это опалово-голубое озеро внизу с сизыми чайками на воде, тронутой, как гусиная рябь на коже от холода, гусиною рябью мелких волн. А ведь город Петрозаводск — столица Карело-Финской ССР — раскинутый с невероятной щедростью по холмистому, овражьему, изрытому берегу озера, кажется какой-то гигантской стройкой. Одна его часть — круглая площадь с широкими радиусами дорог — уже закончена, спланирована, заасфальтирована; крепкие старинные постройки — дворцы времен Екатерины, дом, где губернаторствовал поэт Державин, неизменные желтый и белый цвета русской архитектурной классики — вкраплены в железобетон, высоту и легкость больших советских зданий, только что отделанных к 25-летию республики (я была

там в самый его канун). И эта комбинация старинного с новейшим кажется здесь органической и очень простой, словно, создавая ее, ни город, ни архитекторы и не задумывались «увязать целое», сделать ансамбль, а он сам сделался.

Другая часть города, поближе к озеру, на первый взгляд представляется чем-то развороченным и не прибранным после войны — огромная ямина, вернее впадина, но тут, оказывается, стадион, обсаженный скудными деревьями; за ним — взлет черных каркасов, труб, путаница всевозможных проводов и мачт — промышленность и порт. Земля открыта, не замощена, не заасфальтирована; ветер носит тучи песку; вдоль берега ходят рыбачьи лодки; в воде видны колышки и всякие приспособления для рыбного лова, а тут же — корпуса заводских построек, сирена гудка. И опять это сочетание старинного рыбацкого поселка с быстро растущим промышленным центром принимается глазом как нечто очень естественное и необходимое.

И наконец — улицы, просто улицы, где жилые дома,— это огромная деревня, именно деревня, с деревом, как главным спутником быта, солидные, без гвоздя, сто лет назад, а иные и больше, сколоченные из крепкого леса срубы одноэтажных домов, посеревшие от времени; и рядом с ними изящные, тоже деревянные, новые постройки, а вокруг садики, одинокие деревца, мостки тротуаров (тоже дерево) и бугристая, широкая, земляная, неровная улица, словно проселочная дорога. Весь город, раскиданный как попало, строившийся без плана, жестоко разрушенный во время войны, сейчас медленно восстанавливается, перепланировывается, и очертания того, чем будет Петрозаводск, уже начинают проступать сквозь сегодняшнюю его незавершенность.

Тому, кто приехал сюда впервые, нельзя не заметить воздуха; легкие замечают этот воздух, сердце замечает, нос замечает, покуда, надышавшись, вы не скажете сами себе: а ведь тут курорт. В Москве иногда весною долетает до вас дыханье липы в цвету — чуть приторный, но приятный запах, сразу перенося-

ной памяти в раннее детство; это очень редко в Москве — городской воздух глушит его. Но в Петрозаводске запах земли, травы и дерева стоит, не исчезая, вы берете тут первый урок глубокого дыхания, первый потому, что позднее, когда отправитесь в путешествие по самой стране, ее настоящим деревням, глубоко дышать станет важнейшей для вас функцией восприятия окружающего и во всяком случае не менее важной, чем охватывать его глазами, ловить его слухом: так замечателен и неповторим здешний воздух.

Перед тем как тронуться в путешествие, мы зашли в деревянный домик, поднялись по деревянной лесенке — навестить наших «братьев-писателей». Группа их только что вернулась из далекой поездки, вернее, странствия. Было по их лицам, сухим, красным, блестящим от солнца и ветра, по их волнению видно, что странствие не обычное. Они и пешком продирались через глухие леса, и на узкой лодчонке плыли из озера в озеро, перетаскивая ее волоком, и костры жгли, и с мишкой встретились, и даже царственного сохатого видели: он спокойно плыл со своей супругой по тому же безлюдному, безыменному лесному озеру, по которому скользила их лодка. При виде людей сохатый не испугался, только заплыл вперед, чтобы между его лосихой и людьми защитой было его тело. Путь этих смельчаков (в группе были карельские, финские и русские советские писатели Антти Тимонен, Николай Яковлев, Александр Гитович, Николай Клименко) лежал в самую глубь Калевальского района, в один из колхозов на севере республики. А целью поездки было проследить дорогу последнего исследователя района, прошедшего по следам знаменитого составителя карело-финского эпоса «Калевалы» Элиаса Лёнрота, и в свою очередь пройти уже по его собственным следам, найти новых сказителей рун, записать эти руны.

А главное — сравнить старую, страшную быль далекого времени, когда мужественный и трудолюбивый карельский народ в тягчайших условиях суровой своей глухомани, в бездорожье, в одиночестве, часто питаясь одной сосновой корой, прозябал на родной земле и складывал песни про мельницу и самомолку, вол-

шебную «Сампо», которая принесет народу довольство и счастье... Сравнить ее, эту старую быль, с современной советской былью: с колхозами, где мелют муку десятки колхозных мельниц; со школами, где учатся внуки былых неграмотных сказительниц, а учительствуют дети их; с огородами, куда продвинулись мичуринские сорта овощей, ягод, яблок, неведомых здесь раньше; с тучными лугами, где бродят колхозные стада.

Писатели, как говорится на нашем ведомственном языке, привезли действительно «богатейший материал» в подарок наступавшему юбилею республики. Привезли они и последнюю памятку ушедшей старины: дожившая свой век сосна, под которой много раз сиживал Элиас Лёнрот и записывал руны, упала в этом году,— и писатели отломали себе на память по сухой ее веточке.

Мне и поэту Гуттари предстояло тоже постранствовать по республике, но мы ехали не на север, а на запад. Наслушавшись рассказов о путешествии, я жадно развернула карту — какая она, республика? Вытянутое в длину, извилистое очертание; зеленое с голубым; зелено — это леса и леса; голубое — это озера, множество озер. И жилки, множество жилок, как на хорошем куске уральской яшмы,— это реки, речки, речушки...

Нет выше наслаждения у человека, чем познавать еще не познанное, видеть еще не виденное, создавать еще не созданное, и нет, кажется, легче и лучше того короткого сна, перед ранним вставаньем которым ты засыпаешь, зная, что завтра ехать!

ОТ ОНЕГИ ДО ЛАДОГИ

Переход из бассейна Онежского озера в бассейн Ладожского очень интересен и очень резок; вы меняете один на другой два разных пейзажа, две разные архитектуры, хотя оставляете за собой не так уж много десятков километров. Не меняется только дорога, и о дороге, о большой советской культуре ее хочется прежде всего сказать доброе слово.

Великое это дело, когда дорога разговаривает с путником, разговаривает не только двумя своими сторонами, которые она, как страницы книги, разрезает перед вами, разворачивая их направо и налево, но и своею собственной дорожной жизнью. Карельские дороги говорили с нами. Они аккуратно указывали нам пройденные километры. Они при въезде и выезде из каждой деревни называли нам эту деревню; они перед мостом через реку давали нам прочитать название этой реки; и мы читали раскрытую перед нами книгу с помощью «указательного пальчика» дороги, любовно водившего нас от строки к строке.

Хорошо, если б культуру дороги этих карельских районов переняли и другие районы республики и чтоб привилась она у нас повсеместно. Невольно вспоминали мы чудесные шоссе Черниговщины, с их выхоленным придорожьем, скамейками, мозаикой, клумбами в местах остановки для путников,— какими были они до войны...

Первый районный центр Пряжа, мимо которого мы проехали, прошел перед нами во всем своеобразии своей северной красоты. Он стоит между двумя озерами, в окаймлении зеленых перелесков, холмов и долин с

малиновыми россыпями иван-чая, цветущего здесь в середине лета с неистовой щедростью. Иван-чай буквально заливает поляны Карелии красным цветом. За Пряжей волнистая линия горизонта начала выравниваться, и мы спустились на необъятную, ровную и плоскую олонецкую равнину, житницу Карело-Финской республики. Алый цвет уступил место желтому, надвинулись золотые хлебные поля. Урожай пшеницы здесь доходит до 25 центнеров с гектара. Пышно цветут в колхозах в июле ранние сорта картофеля (не забудем, что мы на 62-й параллели, а северная точка республики, можно сказать, «в двух шагах» от полюса).

Житницей олонецкая равнина стала при советской власти. Раньше тут было сплошное болото. Отступая в далекие времена из олонецкой низины, Ладожское озеро как бы оставило ей в наследство неусыхающую влагу. Несколько лет назад карельские большевики осушили это болото, и земля под ним оказалась необычайно плодородной.

За городом Олонцом можно увидеть богатые колхозы этой равнины, они тянутся почти непрерывной цепью характерных карельских домов. Интересна их архитектура. Из потемневшего, сизо-серого дерева с частыми-частыми глазками маленьких окон, двухэтажные прямоугольные дома эти имеют свою особенность: почти к каждому с угла пристроен, тоже двухэтажный, сарай: внизу, в первом этаже, для скотины, наверху, во втором этаже, для телеги. Длинный, широкий и пологий навес, идущий снизу с земли наверх к воротам этого верхнего сарая, построен так, что по нему можно въехать на волах во второй этаж, оставить там телегу и свести вниз волов. Кажется, нигде, кроме Карелии, такого своеобразного устройства нет. И эти темно-серые суровые двухэтажные дома с обилием блесток-окон, с пологим въездом наверх удивительно связаны с суровым пейзажем вокруг, с темной каймой леса, с блестками бесчисленных озер.

Колхозные дома лепятся по берегу реки Олонки и отражаются в прозрачных и необыкновенно чистых водах ее вместе с голубым небом и сизо-белыми плотными облаками с такой отчетливостью, что ты отличить не

можешь отражение от реальности. И вдруг в голубых блестках окон такое же отражение и облаков и дерев... Олонка петляет вдоль берегов, вместе с нею петляют домики, а за ними расстилаются необъятные золотые просторы пшеницы, ржи, ячменя.

Сколько скрыто в одном имени «Олонец», которое здесь по-северному произносят на «о» и с ударением на первом слоге...

Север... Вы его чувствуете, как льдинку в шампанском, в холодной струйке ветра, пронизывающего жаркий июльский день. Север, исконный наш Север, с историческими названиями местечек, с памятниками эпохи Петра, остатками его старых заводов, где плавили магнитный шлих, песок, добывавшийся со дна озер, и на Сари-Гора, и в Петрозаводске. Север в постоянном, приходящем вам неизменно в голову сходстве с Уралом, сибирскими колками: береза, хвоя, можжевельник, кустики вереска, гранит, затянутый бархатом мхов, и озера, озера, озера. А какая жизнь на этом Севере, какое могучее, животворное дыхание земли,— даже в субтропиках нет такой полноты земных запахов. Окунувшись в них, я поняла, что Петрозаводск не курорт, а город, что дышать в нем нечем по сравнению с воздухом районов. И мы стали различать запахи, составные части этого густого благовонного воздуха. Все в нем сплелось: клейкий и терпкий запах березового листа, любимый на Руси, воспетый еще Достоевским; смолистый дух сосны; пьянящая сладость клевера; бальзам скошенного сена; тонкое дыхание можжевельника, брусники, белого гриба, перегноя, древесины,— да нет, не передать его, можно лишь молча впитывать в себя его животворную, целительную силу.

Передовой колхоз «Искра», передовой колхоз «Заря», силуэт деревянной электростанции (дерево всюду, и оно здесь добротнее камня!); мельница словно из сказки, и белый, опушенный мучной пылью богатырь, сидя на завалинке, следит за струйками ячменной муки, льющейся из отверстия; паро́м через речку, которым смело правит восьмилетняя белокурая девочка; цветущий опытный сад с кизюринскими яблоками, «дессертной» рябиной, помидором, мичуринской смо-

родиной и кудрявым старым дедом-карелом, заботливо ухаживающим за своим садом. Пытливо всматриваясь в нас, он расспрашивает о знаменитом мичуринце М. А. Лисавенко, чей сад (зональная опытная станция Горноалтайска) расположен за тысячи километров отсюда, высоко в горах, но тоже на суровом севере. Спросив «адресок» Лисавенко, он дрожащей, черной от земли рукой, набрасывает его в смятый блокнот, чтоб послать незнакомому, но родному другу (все опытники-мичуринцы родные друзья) письмо о своих работах и вопросы, множество вопросов о работе другого опытника. И опять двигается машина, летит лента дороги, меняются картины вокруг. Но глаз схватывает только картины, а под ними годы упорной большевистской борьбы, терпения, воспитания людей, одоления суровой природы.

Сейчас в Олонецком районе (где, кстати сказать, первым секретарем райкома партии работает женщина, образованный агроном т. Чернецова) 47 школ, 5 больниц со своими рентгеновскими кабинетами, 18 сельских библиотек (одна городская) и свой национальный карело-финский театр республиканского значения.

Машина набирает скорость, и вот уже чистые струи Олонки с опрокинутыми в них небом и домиками уходят в сторону. Олонецкая равнина отступает. Дорога снова «вписывается» в гористый рельеф, и мы несемся к синим, неописуемо прекрасным водам огромного Ладожского озера, сверкающего нам навстречу между красными стволами сосен.

Столбик с дощечкой называет нам историческое имя: Видлица!

Место, знакомое здесь каждому карелу, где за 30 лет советской истории дважды был окружен и уничтожен враг. Надо скорее воздвигнуть здесь памятник, поставить мемориальную доску с изложением исторических событий. А пока тут еще следы войны, густая проволока опутывает своими колючками прибрежные кусты, и на песке можно еще найти медные патроны.

СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ ЛАДОГИ. ПИТКЯРАНТА

В Карело-Финской республике промышленность тесно сочетается с сельским хозяйством. Как и на Урале, здесь это отражается на самом облике земли. Но, кажется, нигде не заметишь этого так, как на северном побережье Ладожского озера, самого живописного уголка республики. Не сразу, правда. Сперва видишь одну только красоту. Налево взглянешь — и глаз не оторвать. Берег озера изрезан, делает петли, за́води, врывается в озеро лесистым мыском, ни один километр его не похож на другой; а в самом озере, кипящем под солнцем невыносимым для глаза сверканием синевы, то там, то сям разбросаны островки, тоже не похожие друг на друга ни размером, ни очертанием, ни рельефом: одни высятся подобием средневекового замка из мшистого камня; другие встают из воды круглым зеленым пятачком, сплошь покрытым кудрявым кустарником; третьи лежат спокойной маленькой обителью, где есть в миниатюре и луга, и леса, и скалы.

Направо поглядишь — и опять глаз не оторвать. Изменилась архитектура, здесь она уже не карельская, а финская. Если карелы, как русские поморы, любят прямоугольные солидные дома из толстых бревен и эти дома отлично вяжутся с могучей и суровой лесоозерною природой Севера республики, то здесь, на западе, где природа причудлива, нарядна и разнообразна, но стихии ее сведены к небольшим размерам,—

миниатюрные леса, миниатюрные лужайки, за́води, рощи, горы, утесы,— ей под стать и другие архитектурные формы. Постройки изящны, легки, остроугольны и тоже нарядны, как природа, и тоже тяготеют к миниатюрности, к большим размерам.

В скалах лепится один из красивейших домов побережья — дом отдыха союза композиторов. Остановив машину, взбегаем по ступеням, здороваемся с отдыхающими, и они показывают нам чудесную отделку дома внутри; опять дерево, только дерево, но какое же разнообразие в облицовке стен, карнизов, пола, потолка, в тяжелой и в то же время изящной мебели, в лестницах, в балконах. И все это разнообразие достигается технологией — различной обработкой поверхности дерева, и архитектоникой — различным использованием разрезов, плиток, плоскостей в их связи друг с другом.

Но вот вы подъезжаете к архитектурным группам целлюлозного завода «Питкяранта» и бумажной фабрики «Ляскалла», и здесь сочетание промышленности с сельским хозяйством раскрывается перед вами в самом пейзаже. Связующим звеном этого сочетания встают темные массивы густого карельского леса.

Карельский лес не только сам по себе драгоценен тут как непосредственное сырье для основной промышленности Карелии, производства целлюлозы и бумаги. Он охрана земли и ее плодородия, собиратель и конденсатор влаги. Он отвоевал землю у камня, у гранитных массивов, он не дает высохнуть рекам и речкам, он условие и гарантия для сельского хозяйства. Вот почему «профиль» республики — промышленно-животноводческий и борется республика одновременно и за разворот промышленности, и за подъем молочного хозяйства, и за бумагу на заводе, и за траву на лугах, и за хлеб в поле. Отсюда и родится это своеобразие заводского, промышленного пейзажа.

Завод встает возле воды, которая нужна ему, в окружении леса, которому тоже нужна вода, и в окружении дивных, медоносных пастбищ, которым нужен лес. Но места, где расположены обе промышленные группы, Питкяранта и Ляскалла, не схожи, и потому не схожи архитектурно и сами заводы.

Ляскалля — в узком ущелье, постройки здесь сжаты, вытянуты в высоту, сгруппированы тесно и напоминают замок над искусственным рвом. Питкяранта раскинута шире; архитектурная группа красиво и органично встает над озером, а вокруг обдуманные детали, выдержанные в общем стиле,— подсобные, бытовые здания, киоски, дороги, тротуары, мостики, жилые дома — все это, легкое и изящное, связанное с линиями холмов и перелесков, гармонично разбегается от завода (или сбегается к нему) вместе с волнистою графикой пейзажа, не вступая нигде в разлад с природой. Так строили наши архитекторы рабочий заводской поселок.

Здесь, в Питкяранте, мы прошли по цехам, поговорили с директором завода уральцем Н. Л. Леонтьевым и заместителем главного инженера Н. А. Струнниковым, тоже уральцем.

Почти у всех наших заводов после войны одна главная черта: они стали стройками. Идет производство. И непременно идет строительство: восстанавливают, ремонтируют, достраивают, расширяют. А так как строим мы все же медленнее, чем производим, то производственные процессы упираются в лимитирующие, останавливающие, задерживающие темпы строительных процессов. На Питкяранте мы столкнулись с тем же явлением. Должно быть, икается строительно-монтажному управлению № 7 (принадлежащему Министерству целлюлозной и бумажной промышленности), так часто поминают его здесь и отнюдь не добром. Отсутствуют нужные механизмы, нет механизированной углеподачи, например. А это значит, что множество народу руками (лопатой!) грузит уголь в то время, как здесь, в Карелии, самое дорогое, самое дефицитное — это человек и его руки. Нет и механизированной распиловки древесины, так называемого слешера. А это значит, что множество энергии уходит на распиловку огромных стволов, присылаемых сюда, примитивнейшим ручным способом. И это рядом с высокой техникой производства в цехах, рядом с новым отбелочным цехом, заканчиваемым к октябрьскому празднику, цехом, который здесь сравнивают с «храмом» или с

«больницей». Белый, высокий, полный света и воздуха, цех действительно похож на внутренность храма,— в нем будут делать качественную бумагу.

Но главные трудности и неувязки Питкяранты не в этом. Завод лихорадит от сложного перехода к новым условиям работы, для которых завод не был подготовлен. Раньше изготовление сырья для него, то есть работа в лесу, работа лесозавода — были сложнее; а поэтому технология переработки сырья была легче и проще, и Питкяранта была приспособлена к этой легкости и простоте. Иными словами, уже в лесу, на месте заготовки, двухметровые бревна подвергались так называемой окорке, то есть их очищали от коры, и в таком очищенном виде посылали на целлюлозный завод. Они прямо поступали в барабаны, измельчались в стружку и шли в котлы, где под действием едкого натрия превращались в волокно (целлюлозу). Но сейчас лесозавод посылает в Питкяранту бревна в коре, и так как для очистки их на заводе нет ни приспособлений, ни рабочей силы, то они подчас идут в барабаны неочищенные (или плохо очищенные), и бумага из такой целлюлозы получается грубая.

— Старого ломать не могу, новое должен приделывать к старому, вот в чем беда,— говорит Н. Л. Леонтьев.— Триста рабочих сажаем на окорку, а могли бы справиться с тридцатью. Считаю, что окорку обязательно должны делать поставщики. Но в лесу — свои сложности, своя тяжесть, они тоже спешат выполнить программу и взваливают окорку на плечи завода.

Очень вредит Питкяранте одно обстоятельство, которое не мешало бы серьезно продумать руководству республики.

На северном побережье этот завод — крупнейший промышленный участок; здесь и жилищный поселок не мал — народ ведь лепится к заводу, здесь много молодежи, семейных. Но этот крупный центр не является одновременно районным центром, хотя, казалось бы, естественно должен стать им. Районный центр находится в 27 километрах от завода, в Импилахти.

Надо отчетливо представить себе здешнее малолюдие, чтобы понять все значение такого расстоянья. Как

часто нужно обращаться в районный центр, какие вопросы возникают ежедневно, ежечасно, решаемые и согласуемые с райкомом, райисполкомом! А тут — попробуй, одолей расстоянье, когда машины и бензин, что называется, считаны, а время и тем более. И большой, крупный промышленный центр чувствует себя часто беспомощным.

В бытовом отношении это тоже бьет чувствительно: далеко универмаг; нет и фуражного магазина, а для рабочих, имеющих коров, это очень тяжелая вещь.

Руководству республики нужно учесть законные пожеланья рабочих. Тогда легче станет заводу справиться и с трудностями освоения, и с выполнением программы...

Закат обливает озеро оранжево-зеленым светом. Пали росы, и лесной запах, запах прели и мха, стал сильней лугового. Машина мчится на городские огни, словно чуя покой и отдых, как мы, задремывающие от избытка впечатлений...

Но сон прогнан. Мы на улицах чистого, хорошенького городка с коробочками нарядных построек — Сортавалы, иначе Сердоболя.

ОСТРОВ ВАЛААМ

Пройти городок Сортавалу из конца в конец можно в какой-нибудь час. Но у него курортное расположение. Поднявшись на высокую гору, окаймленную парком, видишь с каменного парапета редкой прелести панораму на все четыре стороны горизонта. И все они — разные.

Волнистая линия мягких, зеленых холмов; темный бархат лесов и рощ; лягушечьи-яркие, светло-зеленые пятна полянок; залитые красным и голубым цветом склоны (иван-чай и лесные колокольчики!); россыпь игрушечных домиков, четкие желтые змейки дорог, колоннада заводских труб — и Ладога. Смесь бирюзы и аквамарина, подернутых сизой рябью волн, отражающих седину облаков... В ясный день можно стоять тут и любоваться, поворачиваясь вокруг своей оси, на все четыре стороны широко распахнутого мира, мира удивительной красоты и муравьиного неустанного труда человеческого.

Но нас потянуло озеро. Ни с горы, ни с пристани не увидишь того, чем гордится Ладожское озеро,— знаменитого острова Валаама. Туда ездят экскурсии, там сейчас расположен совхоз Питкяранты, питающий все заводское население своими овощами. Там есть сельсовет и даже почта. Но несколько месяцев в году, когда уже начнет подмерзать озеро, но еще не замерзнет твердо, доступа туда нет.

Летом на моторном катерке до острова три с половиной, а в плохую погоду и четыре часа езды, не всегда приятной: в волнение катерок и покачивает и заливает, а волнение часто случается на Ладоге.

Как мало мы знаем иногда о людях, делающих свое дело на незаметной, невидной работе! Начальник пристани в Сортавале и капитан катерка — бравый речник, типичный помор — казалось бы, сидят на тихом деле: один отправляет и принимает скромную ладожскую «флотилию», другой водит ее. Но оба они, случается, успеют заглянуть к себе домой на час-два в сутки. Непрерывно ходят и грузы и пассажирские пароходы; непрерывно требуется перевозить людей «на тот берег Ладоги». И капитан, ступая с кормы на пристань, разомнет разве ноги в короткой прогулке, да и опять на корму, в свою будочку.

Тут к слову будет упомянуть о ЦК профсоюза речников — он упорно обходит скромных работников сортавальской пристани, забывая посылать им путевки. Уже давно не получали путевок в санатории ни капитан, ни начальник пристани, а им это остро необходимо. Внимание к людям, самому драгоценному, что есть у нас, очень важная вещь в условиях Карелии!

Если взглянуть на Ладогу сверху, увидишь на водной поверхности множество плавающих бочек, так называемых «банок», указывающих пароходу, где лежит фарватер, безопасная дорога, по которой и надлежит пробираться. На Ладоге обширный архипелаг, много и островков-одиночек, дно озера неровно, каменисто, и фарватер в иных местах очень узок. Мы уселись на борту в тихий солнечный день, и катер скользнул по зеркальному озеру.

Медленно разворачивается уже озерная панорама и тоже на все четыре стороны. Отходит игрушечный городок с его хорошенькими коробочками домов и чистенькими улицами; проплывают один за другим лесистые острова, уходит направо красивый берег, а впереди только «банки» и озеро, но бесконечный водный простор через час-другой пересекается тонкой длинной полоской на горизонте. Это показалось длинное тело острова Валаама. Чем ближе к нему, тем отчетливей

его профиль. Уже становится видимым строгий, устойчиво прямолинейный очерк монастырской церкви и острый шпиль колокольни рядом с нею. Эти две твердые вертикали на темном горизонтальном теле острова с продвижением катерка все явственнее, все отчетливее; сияет золотом купол, возникают краски — синяя с пурпурной; катер входит в тихую гавань острова Валаама, где триста лет назад были древние русские скиты и деревянная церковь, сожженная шведами, и где, указом Петра Великого, в 1715 году был «возобновлен» монастырь, но уже каменный.

Этот монастырь на острове, как и многочисленные скиты, ютящиеся на других маленьких островках, отделенных от главного узенькими тихими проливами, похожими на венецианские каналы, представляет собою большую художественно-историческую ценность. Стены его богато расписаны. Фрески в Валаамском монастыре служили десятки лет объектом бесконечных паломничеств сюда, они много раз описывались, вопроизводились, о них существует большая специальная литература. На Валааме упорно утверждают, что в позднейшей росписи храма участвовал И. Е. Репин (в эпоху своего пребывания в Финляндии).

Я не буду сейчас подробно рассказывать о живописных и всяких иных сокровищах Валаама, скажу только, что этот ценнейший исторический древнерусский памятник, жутко пострадавший во время войны, погибает от сырости. Фрески буквально осыпаются с его стен. Окна были разбиты при бомбардировке, дождь, а зимой снег и град заливают и засыпают внутренность храма и скитов, чудесные фрески сыреют, а потом сохнут, и, если вы дотрагиваетесь до них рукой, они, как червячки, мгновенно сворачиваются под вашими пальцами бесчисленными крошинками и сыплются пригоршнями на пол.

Это нельзя так оставить. Взываем ко всем организациям, кому ведать надлежит,— вспомните о жемчужине русского искусства, о красивейшем уголке в идеальных природных условиях, о Валааме, и сохраните его для советского народа!

ДОРОЖНЫЕ МЫСЛИ

Дальше на северо-запад, почти до границы Ленинградской области, идут основные молочно-животноводческие районы республики. Мы объездили два из них — Ладенпохья и Куркийоки. Боюсь надоесть читателю, но невозможно опять не заговорить о природе. Казалось, мы исчерпали всю красоту этого изумительного побережья, исчерпали и все богатства русского словаря, чтоб описать ее, но вот опять с каждым километром пути все новое и новое... Как его передать?

Раздвинулись и стали шире зеленые просторы по обе стороны дороги, дорога отошла от озера. Эти просторы стали холмистыми, мягко-округлыми, с чередующимися пятнами светло-зеленых низин. Луга и пестрые полянки, нагорные рощи всех оттенков зеленого цвета, темные хвойные леса в прогалинах и ущельях, мягкие, легкие очерки гор. И над всем этим разнообразием цветов и форм — теплый дождь, позолоченный косыми лучами солнца, которое и не подумало спрятаться за тучу.

Дождь никого не спугнул, на лугу все так же скульптурно-монументально пасутся большие белые с черными пятнами коровы, глядя перед собой выпуклыми меланхоличными глазами из-под белых ресниц; все так же сидит на камешке пастушок с хворостинкой и, как все пастушки, мастерит себе что-то из бересты или прутиков; все так же промелькнет редкий велосипедист с

залитым дождем озабоченным лицом; все так же ходят и делают свое дело люди во дворике одинокого «коттеджа», промелькнувшего перед вами на опушке леса... Как одиноко тут жить! Кто тут живет?

Оказывается, живут наши колхозники, волей неволей используя оставшийся жилой фонд прежних мелких хозяйчиков, селившихся на расстоянии нескольких километров друг от друга. Очередная задача республики — и задача огромной важности — свезти эти одинокие дома в наши обычные деревни. Колхозники, расселенные так далеко друг от друга, очень страдают от этих просторов, мало утешаясь их красотой. Страдает и учительница в таком же одиноком и отдаленном здании школы. Наши советские крестьяне привыкли к общественному быту, необходимому для полноты личного быта, к избе-читальне, к клубу, где можно посмотреть кино и пьесу, послушать лектора, к столовой, к яслям, к детскому саду, ко встречам друг с другом, ко всему тому, что приближает жизнь деревни к жизни города, сглаживает различие между ними. И колхозники западных районов Карело-Финской республики говорят на собраниях: «Надо свозить хутора. Мы люди советские, не привыкли жить в берлогах. Мы в деревню хотим, на́ люди». Я не придумала слово «берлога». Именно так и назвали здешние колхозники старую мелкособственническую хуторскую усадьбу со всеми ее «удобствами».

Из бесед со встретившимися людьми, из заездов на маслобойные заводы, на животноводческие фермы, из посещения большого здешнего совхоза вынесли мы впечатления, совершенно заслонившие для нас красоту природы. Огромны трудности, с которыми приходится здесь справляться республике. Тут и сложный процесс жилищного строительства колхозов, когда и людей, и механизмов, и стройматериалов и, главное, времени не хватает; тут и особые трудности молочного хозяйства, долгий и длительный процесс акклиматизации голландской породы в здешних условиях, для голландки новых и непривычных; тут и недостаток в кадрах, главная местная беда. Но попробуйте поговорить об этих тя-

желых условиях с местными большевиками, и вы ярко, быть может с исключительной яркостью, вспомните об особенном характере наших трудностей.

Казалось бы, если так трудно акклиматизировать новую породу скота и добиться ее обычно высокого удоя, то не лучше ли вернуться к старой местной мелкой породе карельских коров, неприхотливых и приспособленных к северу? Но руководитель района ответит вам: «Нет, возвращаться назад мы не будем, это было бы неверно. Мы создадим здесь великолепное молочное хозяйство, и голландки отлично тут приживутся, ведь луга-то у нас какие, трава какая, лучшей на свете нет! Поработать надо для этого, и мы поработаем».

Только так и может ответить большевик, помнящий слово о наших трудностях, сказанное Сталиным в июне 1930 года:

«Но характеристика наших трудностей будет неполной, если не принять во внимание еще одно обстоятельство. Речь идет об особом характере наших трудностей. Речь идет о том, что наши трудности являются не трудностями упадка или трудностями застоя, а трудностями роста, трудностями подъема, трудностями продвижения вперед. Это значит, что наши трудности коренным образом отличаются от трудностей капиталистических стран. Когда в САСШ говорят о трудностях, имеют в виду трудности упадка, ибо Америка переживает ныне кризис, т. е. упадок хозяйства. Когда в Англии говорят о трудностях, имеют в виду трудности застоя, ибо Англия переживает вот уже несколько лет застой, т. е. приостановку движения вперед. Когда же мы говорим о наших трудностях, имеем в виду не упадок и не застой в развитии, а рост наших сил, подъем наших сил, продвижение нашей экономики вперед. На сколько пунктов продвинуться вперед к такому-то сроку, на сколько процентов выработать больше продуктов, на сколько миллионов гектаров засеять больше, на сколько месяцев раньше построить завод, фабрику, железную дорогу,— вот какие вопросы имеют у нас в виду, когда говорят о трудностях. Следовательно, наши трудности, в отличие от

трудностей, скажем, Америки или Англии, есть трудности роста, трудности продвижения вперед.

А что это значит? Это значит, что наши трудности являются такими трудностями, которые сами содержат в себе возможность их преодоления. Это значит, что отличительная черта наших трудностей состоит в том, что они сами дают нам базу для их преодоления» *.

С тех пор мы привыкли называть наши трудности «трудностями роста». Это замечательное и глубокое определение, смысл которого по-новому переживаешь в Карело-Финской республике. Он означает, что всякий раз, как нам надо решить трудную, кажущуюся подчас непреодолимой задачу, разрешение ее кроется впереди, а не позади, в движении вперед, развязывающем все новые и новые ресурсы, а не в возвращении к пройденному. Так это в молочном хозяйстве республики, в лесном хозяйстве, в судьбе целлюлозного завода Питкяранты, в жилищной проблеме, в разрешении проблемы кадров. Для последней движение вперед — это прежде всего электрификация и механизация. А для электрификации вся земля республики с ее тысячами озер, таящих энергию в своей тишине и зеркальной красоте, с ее сотнями речек, несущих энергию в быстром, извилистом беге своем, создает необычайно благодарные условия.

Надо только помнить о большой помощи, которую оказывает хозяйству малая электрификация. В Армении, например, кроме больших централей, ставятся на речках простейшие сооружения, «микрогэс», и деревням без всякого труда, без всяких усилий (только два кило тавота в месяц!) обеспечивается днем ток на полях, вечером свет в домах. Небольшие гидроустановки на озерах могли бы принести огромную пользу республике, особенно на параллельной работе с большими станциями. Нужны лишь энтузиасты этого дела!

Назад, в Петрозаводск, мы возвращались уже по

---

* И. В. Сталин, Сочинения, том 12, стр. 303—304.

другой, северной дороге, мимо большого районного центра Ведлозеро.

Но нет, не мимо. Как в Олонце, так и здесь, в Ведлозеро, пережили мы с наибольшей силой животворное советское чувство счастья от видимых, осязаемых итогов большой работы, проделанной республикой за истекшие 25 лет. Казалось бы, глуховатое место Ведлозеро — в стороне от железной дороги, почти на воде так тесно надвинулось оно своими северными карельскими домами на светлые воды разлившегося здесь множеством рукавов извилистого озера. Но вместо ожидаемой глухомани — оживленный и культурный центр с веселой, живой молодежью, с хорошими стариками, патриотами родного селения, со школой-десятилеткой, где в составе преподавателей есть доценты, с большим зданием клуба, где каждый вечер местные жители могут видеть кино и где очень неплохая библиотека-читальня. Мы зашли в нее, застав в читальном зале девушек, углубившихся в газеты.

На полках около 9 тысяч книг. Только что вышел в Киеве красивый том «Избранного» поэта Павло Тычины. Как сердечно обрадовался бы замечательный украинский поэт, если б увидел свой том в руках белокурой, серьезной карелки в далеком северном селе, где заря с зарею сходится над серебристыми туманами озера...

Отрадно знать, что 25 лет партийной и советской работы, душевного труда и напряжения, светлой мысли нашей партии, двигающей родину вперед и вперед, ко вселенскому счастью коммунизма,— что неустанный труд этот, которому в республике только что подвели двадцатипятилетний итог, так наглядно виден в повседневном быту маленького районного центра!

Петрозаводск, июнь 1948 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы начинаем путешествие по земле одной из цветущих республик нашего великого Союза.

Армения — страна древняя, культуре ее свыше двух тысяч лет. Материальными следами и древнейшими памятниками этой культуры полны ее долины и ущелья.

Но Армения и очень молодая страна,— ее социалистической культуре сейчас, когда я начинаю рассказ о ней,— весною 1950 года,— всего тридцать с лишним лет. Однако за это тридцатилетие для народного счастья сделано больше, чем за прошедшие две с лишним тысячи лет. Армянский народ, получивший от историков имя «многострадального», только после установления советской власти в Армении, с ноября 1920 года, стал полным хозяином и творцом своей жизни, смог зажить счастливо и полнокровно.

Трудно поспеть за живою жизнью нашей Советской страны! В самую минуту рассказа о ней уже стареет и отходит в прошлое многое такое, о чем ты говоришь в настоящем времени, и становится реальностью многое такое, о чем народ еще мечтал, как о будущем. Но, может быть, потому и особенно важна для нас эта трудная повесть про сегодняшний день, постоянно по-новому осмысляющий прошлое и постоянно несущий и рождающий будущее.

Книга делится на две части. В первой читатель получит общие сведения о Советской Армении, ее

природе, климате, флоре, фауне, горах и реках; о жизни армянского народа в прошлом, об участии его в Великой Октябрьской революции, о защите им родины в годы Великой Отечественной войны, об истории социалистического строительства в Армении, об ее расцвете в наши дни. Во второй части дается (по мере сил и возможностей автора) более полное и конкретное описание наиболее характерных районов Армении во всех особенностях их географического, хозяйственного и культурного облика.

ВЪЕЗД В СТРАНУ

ПРИРОДА, ИСТОРИЯ. СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

I

Поезд из Тбилиси в Ереван отправляется обычно поздно вечером. Пассажир переходит из одного климата в другой, — из Грузии, более мягкой и в западной своей части овеянной близостью морского бассейна, в Армению, сухо-континентальную и далекую от моря,— поздней ночью, в темноте и во сне. Лишь очень старые люди или больные сердцем, просыпаясь, на первых порах чувствуют перемену давления, тяжесть какую-то, в которой и сами не могут разобраться. А поезд в это время подходит к перевальной точке: он на высоте около двух тысяч метров над уровнем океана — на станции Джаджур. И хотя ему предстоит спуститься вниз, а пассажиру, который собрался поездить по Армении, не миновать еще десятка перевалов и спусков, но уже ниже чем на несколько сот метров он не опустится, потому что вся Советская Армения расположена высоко, закинута, как на ладони, под самое небо и ее средняя высота — 1 500 метров [1] — почти вдвое выше Кисловодска, а такие отметки самых низких точек, как 500—800 метров, встречаются, лишь как редкое исключение. Немудрено, что переход из соседних стран в Армению

[1] Примечания автора к книге «Путешествие по Советской Армении» см. в конце тома (*ред.*).

был всегда резко ощутим для путешественника, и об этом сохранились интересные свидетельства, как очень древние, так и более современные.

Две тысячи лет назад римский полководец Лукулл шел со стороны Таврских гор походом на Армению. Чтобы обеспечить войско продовольствием, он выбрал для похода конец лета, когда вокруг уже созрел хлеб и началась жатва. Но Лукулл обманулся: чем дальше двигались его солдаты, тем больше лето отступало и переходило в весну. Плутарх рассказывает об этом так: «Лукулл, перейдя Тавр, впал в уныние, найдя поля еще всюду зелеными. Слишком запаздывали здесь времена жатвы вследствие низкой температуры» [2].

Много столетий спустя, в 20-х годах прошлого века, Пушкин спешил нагнать армию Паскевича, находившуюся тогда под Эрзрумом. Поэт верхом въезжал в Армению уже с другой стороны — из Грузии, через крепость Гергеры, по дороге, которая нынче заброшена и заменена другой, того же приблизительно направления, связывающей районные центры Армении — Степанаван (раньше Джалал-оглы) и Калинино (раньше Воронцовка) — со столицей Грузии Тбилиси. Условно определив географическую границу Грузии и Армении, Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум» необычайно точно указал на разницу их климата: «Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я... очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мной расстилались злачные, зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был уже другой» [3].

Характерное описание оставил нам путешественник-географ Линч. Если Пушкин тонко передал особенность высокогорного климата Армении, чувство свежести и прохлады ее долин, то Линч, наоборот, оттенил сухость и континентальность Армении по сравнению с лесистыми ущельями Грузии.

В 90-х годах прошлого века он въезжал в нее другим путем: со стороны Ахалцихе и Ахалкалаки. Будучи географом, Линч попытался передать читателю то особое чувство пейзажа, чувство «лица земли», которое складывается по мелочам, по черточкам из точных познаний тектоники, из строения горных хребтов, зрительного восприятия красок, связанных с представлением о почвенном покрове, о растительности,— словом, из того научного понимания, с каким географ глядит на природу и чувствует ее.

Линч со своими спутниками только что пересек красивейшую часть Грузии — Боржомское ущелье и Абастумани с их великолепными хвойными лесами, а до этого он любовался на могучую растительность грузинских субтропиков и надышался теплым, влажным воздухом Черноморья. И вот: «...не успели мы еще далеко отъехать, как наступила полная перемена ландшафта; откосы долины расступились, и перед нами раскрылась далекая перспектива. Это был... типичный для Армении ландшафт... Взгляд свободно пробегает по открытому, почти лишенному растительности пространству, характерной особенностью которого является целый ряд выпуклостей на рыхлой поверхности, начиная от пригорков и холмов на переднем плане до убегающих вдаль волнистых очертаний, более высоких горных массивов, изменяющих цвет и краску при каждой перемене на небе. От чрезмерной сухости земля трескается и крошится; почва богата и, без сомнения, способна давать богатые урожаи при хорошей обработке. Но вся культура, которую мы видели, заключалась в маленьких клочках желтого жнивья и слегка вспаханного поля... Местами эти возделанные клочки прерываются каменистыми пространствами... Плодородная почва гола, как вода, и ландшафт на огромном протяжении носит прозрачный, розовый и буро-желтый колорит. От всей картины веет ширью и одиночеством; воздух прозрачен и свеж...» Линч отметил обилие памятников древней архитектуры в Армении: «Построенные на крутых откосах, высоко над обширными пространствами равнин и гор, извивающихся рек и одиноких озер, они неотразимо действуют своим контрастом с пустынной

природой и в то же время являются как бы спокойным прообразом ее величавых форм».

«Но где же селения? Ведь должны же здесь где-нибудь жить поселяне, собирающие эту скудную жатву и вспахавшие эти клочки земли. Для этого они выбирают откос холма или подъем небольшой возвышенности; виднеются одни только двери и фасад их жилищ, задняя же сторона, как погреб, врыта в поднимающийся грунт; надо подойти очень близко к такой деревне, да еще при дневном освещении, чтобы заметить в ней присутствие человеческого элемента... Характер этой местности поразил некоторых из нашей компании своей странностью; только мой двоюродный брат и я, уже побывавшие во Внутренней Азии, узнали в прозвучавшей здесь в первый раз ноте начало знакомой мелодии. Мы молча продолжали путь, углубившись каждый в свои собственные размышления под обоянием одних и тех же чар. Через печальный ландшафт вьется маленькая речка и пробегает белая линия дороги. Здесь и там на краю воды или за неправильной береговой линией усыпанного гальками русла маленький фруктовый сад или клочок огорода, засеянного картофелем...» [4]

Я нарочно привела для читателя эту длинную цитату, потому что в ней Линч коснулся почти всех особенностей природы древней Армении. Она возникает тут во всем своем континентальном своеобразии: с сухой, трескающейся от безводья почвой, но богатейшей, если только приложить к ней руки, создать искусственное орошение с малой ее обжитостью,— признаками жизни у редких источников воды,— у канала, ручейка, над речным ущельем, где группировались и архитектурные памятники прошлого и клочки обработанной земли; с ее, казалось бы, такой страшной однотонностью почти безлесного, волнистого пейзажа, а в то же время с таким изумительным многообразием игры света, когда каждое изменение в небе, каждое плывущее облако меняют цвет и очертания далеких горных склонов; с прозрачной и свежей сухостью ее воздуха, необычайно бодрящего и необычайно ясного, где все словно лежит на расстоянии протянутой руки,— и тень играет строительную роль в пейзаже, усиливая его

оптическую стереоскопичность; и, наконец, со странным земляным жильем, так называемым «хацатуном» или «глхатуном» — по-армянски, «карадамом» — по-азербайджански,— черной избой, подземельем, где сухая вулканическая, крепко обитая почва зимой сохраняет тепло, а летом прохладу. Линч не только всего этого коснулся как географ, но и наметил общий вывод,— он заговорил о «прозвучавшей ноте знакомой мелодии». Для тех, кто уже знает прелесть армянского нагорья, дышал его крепким воздухом, наслаждался ясностью его неба, прелестью его красок, очарованием больших пространств, приближенных к вам необычайной чистотой воздуха, природа Армении действительно напоминает песню, которую узнав, хочется петь и петь, повторять без конца, потому что при повторении она становится для вас все краше и краше.

2

Каждая особенность земли имеет свое выражение в цифрах и фактах ее истории. Горы Кавказа, в юго-восточной части которого лежит Советская Армения, кажутся нам очень древними,— ведь древностью веет от одного названия горы Арарат. Но геологи считают эти горы еще очень молодыми: до сих пор свежи следы могучих горообразовательных процессов, когда-то раскалывавших и сжимавших здесь недра земли.

Вот что говорит, например, наш советский вулканолог, академик А. Н. Заварицкий об этих процессах: «Рельеф этой страны и вместе с ним существенные черты климата, почвы Армении, распределение водных источников, с которыми так тесно связана здесь вся жизнь, ряд полезных ископаемых и прежде всего те замечательные материалы, из которых построены прекрасные здания армянских городов, самый вид армянских деревень — все это отражает собой историю недавнего геологического прошлого Армении и прежде всего говорит о тех вулканических извержениях, которые сравнительно недавно происходили на ее территории...» [5]

Армения не только полна свежих следов этой деятельности, но здесь еще и сейчас ощущаются подземные толчки большей или меньшей силы, потому что многие горы Армении — это потухшие и полупотухшие вулканы. В течение последней четверти прошлого века в Армении произошли два больших землетрясения, порядком разрушившие ее города Ленинакан и Горис. Не состарился и патриарх Арарат. Отголоски бурных событий в его недрах то и дело дают себя знать в виде обвалов, наводнений, трещин, а в 1840 году он похоронил на своих склонах большое армянское село Ахури. Потоки застывшей лавы покрывают склоны армянских гор. А территория самой Советской Армении — это лишь часть того огромного «вздутия земной коры», которое, по словам некоторых географов, протянуто «через всю Азию с востока на запад, от Эгейского и до Японо-Китайского моря» [6].

Своеобразное положение всей республики высоко в горах сочетается с большою ее изрезанностью, часто делающей очень трудными сношения отдельных районов друг с другом. Если посмотреть на карту, можно увидеть, как вся она исчеркана коричневыми хвостиками горных хребтов. На самом севере, где начинается Грузия,— Мокрые горы, носящие ныне названье Гукасянских и Кечутских, Базумский и Памбакский горные хребты, идущие параллельно друг другу и разделенные узким ущельем реки Памбак; в центре — хребты Гегамский, Южно-Севанский, Севанский и Мургуз, обрамляющие синее зеркало высокогорного Севанского озера; на юге — Зангезурский, Баргушатский и Айоц-дзорский хребты.

Эти хребты Армении идут двумя рядами: на севере они почти параллельны; в центре они ломаются, расходясь вокруг озера Севан; на юге то снова сближаются, то расходятся в стороны. Между горными хребтами лежат Памбакская, Зангезурская и другие долины, Лорийское и Ленинаканское плато, большая центральная Араратская равнина.

Но горные хребты прорезываются еще десятками других незначительных ущелий, и многие из них прячут свои небольшие долины, в которых уже тысячелетия

полосой шла жизнь армянского народа, как сосредоточивается она в них и сейчас. Вот почему с древнейших времен сохранился в Армении своеобразный учет долин, счет на долины. До сих пор можно услышать у армянских сказителей про злое чудовище, обложившее родник или захватившее речку, чтобы сторожить от смертных число долин, не давая никому их сосчитать [7]. Любопытно, что еще в 95 году до нашей эры, когда молодой царевич Тигран II был заложником у парфян, он, по свидетельству Страбона, должен был отдать Парфии в виде выкупа за свое освобождение «семьдесят долин» [8].

Над этим морем горных хребтов, ущелий и бесчисленных долин стоят, осеняя их, две горы, как постоянные величавые спутницы армянского пейзажа. Одна — Арарат (по-армянски — Масис), высотой в 5 с лишним тысяч метров, — возносит свое белоснежное двуглавие над Арменией, зимою и летом оставаясь закованной в вечный снег; она, правда, находится сейчас за рубежом республики, в пределах Турции, но это гора армянской истории и легенды, гора армянского пейзажа, неотъемлемая от него, как Везувий от Неаполя, и потому описание Армении без нее немыслимо. Другая — Арагац (по-азербайджански — Алагез) — потухший вулкан, высотой в 4095 метров; вершина его с поздней осени до позднего лета окутывается в снег, не очищаясь от него целиком даже в самые жаркие дни. Четыре выступа Арагаца стоят в небе, как полураскрытый бутон гигантского гранатового цветка, а пологие склоны почти незаметно сползают к огромному основанию, захватывающему изрядный кусок горизонта.

Кроме этих двух гор, как основных слагаемых армянского пейзажа, есть свои высокие вершины у каждого горного хребта Армении. Будь они на низинах, Армения казалась бы вся покрытой кристаллами высоких гор. Но эти зубцы только венчают высокое нагорье, средняя высота которого — вспомним! — сама по себе равняется высоте хорошей вершины. И потому эти горы не очень выделяются, подчас их не заметишь, а главное — не запомнишь. А между тем самая высокая вершина Зангезурского хребта, гора Капуджух, достигает

солидной цифры — 3 917 метров; вторая, Демур, того же хребта, немногим меньше — 3 381 метра; а третья, Гоги, Айоц-дзорского хребта,— 3 134 метра.

Вокруг Севана тоже немало крупных вершин высотою от 3600 с лишним метров: Варденис Южно-Севанского хребта; Аждаак, Спитакасар и Гехасар Гегамского хребта; Карахач Севанского хребта; Инал хребта Мургуз. Значительно меньше их, но зато гораздо известнее у народа и другие горы — чудесная Лалвар Памбакского хребта, вся овеянная и старой и новой поэзией; гора Ара, по имени мифического армянского царя Ара Прекрасного; Змеиная гора... С каждой из них связаны многочисленные легенды. Но одна из самых любимых народом гор, неустанно воспеваемая поэтами,— это Арагац, о котором поет Аветик Исаакян:

Ты, Арагац, алмазный щит
Для молнийных клинков.
Хрустальный твой шатер стоит
Приютом облаков...

(Перевод В. Державина)

И днем и ночью родники
Друг с другом говорят.
Бегут в долину ручейки
с твоих шелковых пят...[9]

(Перевод В. Державина)

Арагац — это важный экономический фактор, дающий Армении и богатые пастбища и воду. А вода, как уже сказано выше, всегда была у армян самым драгоценным «ископаемым».

3

От морей Армения отделена горной стеною и отстоит от них на расстоянии в 170 километров от Каспийского и в 150 километров от Черного, если считать по прямой линии. Правда, в самом центре армянского нагорья имеется огромная чаша пресной воды, редчайшее высокогорное озеро Севан, о котором говорится, что оно «самое большое из высоких озер и самое высо-

кое из больших. Переведя эту формулу на язык цифр, скажем, что расположено оно на высоте 1 906 метров над уровнем океана, а территорию занимает в 1 413 квадратных километров; и хотя это величина небольшая по сравнению с нашими крупными озерами (Севан занимает тринадцатое место после Аральского и Каспийского морей, Байкала, Ладожского, Балхашского, Онежского озер, Иссык-Куля, Ханки, Рыбинского моря, озера Чаны, Чудского и Сивашского), но среди европейских озер Севан кажется огромным,— он превышает, например, знаменитое Женевское озеро в Швейцарии почти в два с половиной раза. Севан действительно заменял армянскому народу море; он так и назывался в древних источниках Гегамским морем, а в сказках именуется морем и до сих пор. Но именно то, что делает озеро Севан живописным и оригинальным по его положению,— высота этого озера,— до последних лет не приносило никакой особенной «выгоды» Армении. С окружающих озеро горных хребтов в него, правда, впадает около тридцати рек и речек, бьют на дне его и подземные ключи, но само озеро служит истоком лишь одной единственной реки — Занги (на древнеармянском Раздан), а впадающие в него горные речки обладают слишком коротким течением, чтобы успеть оросить по пути много земли.

Расположение Армении высоко в горах, вознесенность ее над соседними странами как бы уводит с ее территории реки, а не приводит их к ней. Стекая по двум противоположным направлениям, они представляют собой две речные системы, уносящие свои воды из пределов Армении: реки, тяготеющие к Куре, и реки, тяготеющие к притоку Куры — Араксу. Так, речки, текущие к северу, уносят свои воды в Куру и в ее приток Храми. Веселый зеленый Памбак, берущий свое начало с Джаджурских гор, и шумливая Дзорагет, вытекающая из Мокрых гор, соединяясь вместе неподалеку от железнодорожной станции Туманян (раньше Колагеран), уже под новым названием реки Дебед, вливаются в Храми, а с ним — в Куру. Реки Агсев, Гилясдзор, Ахум, Тавуш, Хндзорут и другие, текущие примерно в одном с ними направлении, тоже впадают в Куру.

А реки другой системы, текущие к югу,— Азат, Веди, Арпа, Воротан — впадают в другой приток Куры, широкий и быстрый Аракс. Но, даже уходя в разные стороны, все армянские реки — и через Аракс и через Храми — сливают свои воды в Куре. Одна из самых известных армянских рек — это Раздан, или Занга, впадающая в Аракс. Словно вытягиваемая гигантской воронкой из Севана, падает река Занга вниз, к долинам Армении, как струя, стекающая из чаши. Она пробивает себе русло в складчатых базальтах, сперва стоящих гофрированными столбиками по ее берегам, особенно живописным в ущелье курорта Арзни, потом вырастающих в массивное великолепие колонн под городом Ереваном.

Мы уже видели, как высокие горы Армении кажутся невысокими. Если взглянуть с этих гор на быстрые речки Армении, то они покажутся неподвижными. Словно тут и там небрежной кистью художника наложен штришок серебра,— то ли залежалая полоска льда в зелени, то ли оброненный бежавшим Мсрамеликом, побежденным врагом Давида Сасунского, гигантский осколок кривой сабли. В хаосе гор и хребтов глазом нельзя различить главного — падения этих рек. Иные как будто идут даже снизу вверх. Но неподвижные реки, как и невысокие горы,— один из оптических обманов этой большой высоты. Прежде всего маленькие армянские речки совсем не безобидны. Усыхая и мельчая зимой, они становятся грозными от селевых вод. Летом в 1946 году одна из таких незаметных речушек, протекающая через Ереван,— Гетар, вздувшись до высоты человеческого роста, хлынула на улицы города.

Взлетим на воображаемых крыльях к истоку одной из этих маленьких рек, в туманы и мглу Мокрых гор. Здесь, в вечной сырости, где тяжело танцуют и ползают сизые клубы облаков, зарождается первое движение маленькой речушки. Собравшись с силами, подкормленная таянием снега, частыми дождями, непросыхающей влагой, она уже захлопотала о беге — вниз, вниз, потому что бег — это бытие воды, вечно стремящейся к своему уровню. И вот речка побежала, сперва между голых, каменистых склонов, потом луговинами, нагорь-

ими, шипя, вниз, заскакивая по дороге то в одну сторону, то в другую, усыхая зимой от голода, мелея, едва журча, потому что усохли и обмелели ее кормильцы — окрестные ручьи и ливневые воды, раздуваясь и входя в силу весною и осенью, становясь почти страшной в своем половодье, с разбегу вдруг вырываясь из старого русла и находя себе новое. Вот она падает в объятия другой такой же реки, столкнувшись с ней на крутом повороте.

И теперь перед нами уже не маленькая, капризная Дзорагет, а шумная, пышная Дебед, родившаяся от слияния Памбака с Дзорагетом,— река в крутых скальных берегах, между склонами, поросшими кудрявым лесом, поющая чудесную, неумолчную песню всех горных рек, наполнившая шумом своим огромное ущелье. Она не прибежала,— она падала с высоты, проявляя великую силу падения, потому что, стремясь к своему уровню, на коротком сравнительно пространстве она спустилась на много сот метров вниз.

4

Это общее качество армянских рек. Большое падение (текут с высоких гор), неравномерность режима (весной многоводны, осенью мелеют), извилистость (часто меняют русла), полная непригодность для судоходства и не всюду пригодность даже и для сплава леса, казалось бы, признаки отрицательные. Но при советской власти они выросли в признаки положительные. Известно, какое огромное значение имеет для нашей социалистической страны электрификация. И советские энергетики не могли не обратить внимания на удобство использования армянских рек под гидростанции. Каменистые ущелья в узких местах так и просятся под плотины, плоские вершины каньонов хороши для проведения каналов, а склоны гор для водонапорных труб,— и в Армении гидроэнергетическое творчество началось очень рано, еще на заре нашего социалистического строительства.

В 20-х годах с огромным воодушевлением была построена первая гидростанция под Ереваном по архитектурному проекту академика А. И. Таманяна, а вслед за нею более крупная районная гидростанция на Дзорагете, показавшаяся тогда, в конце 20-х годов, венцом технических трудностей. Но уже вслед за ней, в 30-х годах, был разработан один из своеобразнейших проектов в мире: проект спуска вод Севанского озера (до 50 с лишним метров) на несколько станций вдоль реки Занги системой каскадов.

Расстелите перед собой карту. Вот очертания озера, похожего на бегемота с большой приподнятой головой, перехваченной у шеи двумя мысами — Норатусом и Артанишским. Озеро огромно, однако главная его особенность не величина, а высота расположения. В высокогорной Армении, средняя высота которой чуть ли не вдвое превышает высоту Кисловодска, озеро Севан лежит выше этой общей средней высоты страны — на отметке 1 916 метров над уровнем океана. Как уже сказано, Армения — страна гидроэнергии; чтобы выжать энергетическую мощь из ее горных рек, инженеры отводят их воду длинными каналами, а потом сразу бросают ее вниз по трубам, искусственно создавая напор. Когда озеро лежит в яме, как Айгер-лич, его заставляют силою электроэнергии бросить свои воды наверх, чтобы напоить лежащую наверху землю. А тут над всею безводной страной с ее вулканической почвой, жаждущей влаги, вознесена огромная чаша с водой, вознесена — и удержана наверху. Мы знаем из первых уроков физики, что мяч, поднятый наверх и застывший у вас в руках,— это пример потенциальной энергии, потому что, если вы его просто выпустите из рук, предоставив самому себе, он совершит действие, упадет вниз. Таким мячом, поднятым вверх в состоянии потенциальной энергии, стоит над жаждущими полями Армении синяя чаша Севана, загнанная под облака. Мысль использовать Севан, обрушить воды его на Араратскую долину не нова. Она как-то сама собою приходит в голову. Но первый проект спуска севанских вод, предложенный царскому правительству за год до мировой войны 1914 года, не учитывал интересов народа, а имел в виду выгоды иностран-

ных капиталистов, вроде Нобеля, имевших в Закавказье свои концессии. По этому проекту предлагалось прорыть туннель из Севана до реки Агстев (Акстафы), спустить севанские воды в эту реку, а из нее в Куру, сделав эту последнюю полноводной, а по пути поставить несколько гидростанций. Этот проект обезводил бы всю Армению, обмелил бы единственную большую реку, протекающую в центре страны — Раздан (Зангу), отнял бы у Армении ее красоту, озеро Севан, не дав ей взамен ничего.

Против этого проекта восстала тогда вся армянская общественность. Инженер С. Манасерьян самым тщательным образом изучил озеро Севан и его своеобразный режим. Поверхность озера, это громадное зеркало, под прямым и беспощадным горным солнцем испаряет огромное количество воды в воздух, пропадающий бесплодно. Ветер гонит севанские тучи из Армении: если они проливаются дождем, то не на землю, а в пустынных каменных кручах горных хребтов, не принося никому никакой пользы. Уменьшить площадь севанского зеркала — значит уменьшить ежегодное испарение, огромное количество влаги, уходящей в воздух бесплодно. А вода Севана, брошенная вниз, оросит плодороднейшую землю, превратит пустынные места в леса, рощи и сады.

Изучив режим Севана, его периодические понижения и повышения уровня, совпадающие с таким же глубоким дыханием других бассейнов Азии — Ванского, Урмии, Аральского моря,— С. Манасерьян выступил с предложением «севано-зангинского гидроэнергетического проекта», который с тех пор оброс огромной научной литературой, был разработан крупнейшими армянскими специалистами. По современному проекту Севано-Зангинского каскада озеро Севан в течение пятидесяти лет должно понизиться больше чем на 50 метров.

На карте, отмечающей глубины Севана, озеро нарисовано сперва одним общим контуром, потом внутри этого контура сделан другой, а внутри этого второго — несколько кружков в юго-восточной части, маленьких, словно зерна лоби, и извилистый кружок побольше

в северо-западной части. Раскрашены эти контуры по-разному. У берегов — бледно-голубым; здесь глубина озера ничтожна, 10—20 метров; дальше почти все огромное пространство озера, за исключением небольших кружков, окрашено чуть погуще,— здесь глубина 30—40 метров; одинокие кружочки в юго-восточной части, в своем роде ямки в озере, еще темнее,— глубина их 50—59 метров; и, наконец, темный извилистый кусок у северо-западного берега: это как бы корень всего озера, его самое глубокое дно—глубина его 75—99 метров.

Теперь представим себе, что мы стали спускать воду из озера. Идут годы. Прошло пятьдесят лет. Спуск остановился. Образовался новый баланс, новое «статус-кво». На юго-востоке озеро высохло; в огромном обнажившемся каменно-мшистом пространстве сохранились два-три крохотных озера — лужицы, глубиной от одного до девяти метров, тоже обреченные на усыхание; на северо-западе остался Севан — Севан в миниатюре, далеко ушедший от своих западных берегов, с глубиной от 25 до 49 метров. Стекающие с гор речки (их около тридцати) по-прежнему будут течь сюда; русла их искусственно направлены в оставшийся небольшой бассейн. Зеркало озера (мелкая, но более обширная юго-восточная часть) сократилось в большей пропорции, чем объем воды озера,— и это уменьшило и его испарение; маленький Севан зажил своей новой, сбалансированной жизнью. А отданная им вода — где она?

О спуске Севана армянский народ говорит с великой болью. И это естественно. Нельзя без чувства горечи видеть из года в год обмеление и уход от берегов этой красы армянской земли, одного из самых прекрасных озер в мире! Но попробуем мысленно шагнуть на простор всей республики, на берега того же Севана. Вода его, одиноко существовавшая на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, вышла из своего ленивого бездействия и дышит сейчас повсюду, по всей стране, изгоняя с ее равнин сухую безжизненность пустыни. На каждом шагу можете вы повторить: ведь это действие Севана, дыхание Севана.

Он дышит в могучем электрическом токе, позволившем поднять промышленность республики на небыва-

чую высоту. Он живет в белом ароматном хлебе, какой вы найдете сейчас в каждом сельпо, в каждой армянской деревне. Он поднимает сельское хозяйство, оплодотворяя земли ручьями живительной влаги, тысячами водных артерий новой системы орошения.

Дыхание вод Севана дает себя знать с весны, когда бегут струи, взятые у наполнившейся водою Раздан, по сухой и жадной араратской ниве, всюду вызывая из земли бурный рост ожившей растительности.

По стоку севанских вод встают несколько гидростанций. Вверху, в самом озере, встала подземная Озерная станция. Пониже — мощный Канакиргэс. Когда весь Севано-Зангинский каскад заработает сразу и полностью, мощность его дойдет до нескольких сот тысяч киловатт, а вниз, на сухие поля Армении, хлынут в год сотни миллионов кубометров воды. Эту воду разберет земля. И мы даже в мечтах не можем представить себе сейчас, какие пейзажи развернутся перед глазами правнуков наших и детей этих правнуков. Армения не всегда была такою, какой мы ее знаем,— прозрачно-сухой страной камня и голых зеленых нагорий. А. Г. Магакян в своей книге «Растительность Армянской ССР» говорит о ее далеком прошлом: «В третичный период (до миоцена включительно) Армения была покрыта лесами тропическими и субтропическими». Эта древняя растительность, эти дремучие леса давно вымерли; теперешний лес в Дилижанском ущелье, у Нахкадзора, в Зангезуре — лес сравнительно молодой и недавний. Но сохранились на древней земле Армении, памятью о тысячелетиях, прожитых ею, так называемые реликты — выжившие древнейшие виды. Из древнетретичных лесных реликтов еще попадаются в Армении гирканский клен и тис. Густые, дремучие леса покрывали в древности берега Севана. Двадцать лет назад, роя землю у истока Раздан, нашли череп зубра; близ села Цовак вырыли череп лесной куницы; у деревни Зод нашли кусок оленьего рога; а со дна Севана сплошь да рядом рыбаки вытаскивают ветвистые рога оленей. Севанские леса были полны лесного зверья. Но озеро — одинокое озеро — при всем обилии воды в нем сохранить эти леса не смогло. Истребленные человеком, вырубленные,

пожженные, обглоданные бесчисленными стадами, ушли отсюда леса, оголив на сотни километров армянское нагорье.

Когда водный потенциал — чаша с водой, вознесенная вверх,— превратится в энергию кинетическую, упадет и разольется по земле, из вулканической древней почвы поднимутся не только хлеба,— на ней зашумят сады и новые рощи, миллионами семян брошенные в землю. И через десятки лет «молодое, могучее племя» лесное пойдет от этих новых деревьев. Но если Севан, озеро Севан, не смогло сохранить вокруг, на своих берегах, древнего армянского леса, то рощи и сады, молодые рощи Армении, возникшие на земле, обильно напоенной севанской водой, смогут сохранить и влагу и более мягкий климат будущей Армении.

Дерево даст тень и приют новым ручьям и рекам, сохранит их от усыхания; дерево приютит тысячи пернатых, даст почве удобрение и укрепление. И быть может, в новой, лесистой Армении гениальные инженеры будущего с помощью новой, могучей атомной энергии сумеют «обратить» растраченную влагу, вернув ее снова в озеро, капля по капле восстановив его зеркальную гладь...

Технический проект Севано-Зангинского каскада связывает задачу энергетики с орошением, но и маленькие гидроэлектростанции Армении решают такую же комплексную задачу. По самому характеру своего рельефа Армения как бы создана для этих маленьких станций, для местного, своеобразного сочетания проблем водоснабжения и энергетики.

Именно здесь, впервые в нашем Союзе, незадолго до войны — по инициативе тов. Микояна — были поставлены крохотные «микрогэс»: разборные гидроустановки на 10 киловатт, требующие самых небольших приспособлений. Выгода их для районов и сел республики, где они дают вечером свет, а днем энергию для ряда сельскохозяйственных работ, так велика, что за время войны Армения не только создала свой завод этих установок, но и начала производить для них специальные генераторы.

Нельзя не вспомнить и еще одну замечательную постройку — станцию Айгер-лич, где из озера, лежащего как бы в ямке между высокими берегами, при помощи электроэнергии, полученной от реки Раздан, накачивается по трубам вода высоко наверх, на два яруса, и полукружием каналов растекается вдоль пашен.

Ни на месяц не замирала в Советской Армении строительная работа, связанная с водою, с устройством воды. Особенно бурно развернулась она в последние десять лет. Огромное значение имела для Армении новая система орошения, принятая в Хакассии. Она почти тотчас была подхвачена армянскими колхозами и уже помогала кое-где очень ощутимо облегчить движенье машин по сплошной земле, выиграть земельное пространство и сэкономить воду.

Была начата также и огромная работа по изучению подпочвенных артезианских вод Араратской долины, по проведению каналов, строительству водопроводов. Новым, социалистическим предприятиям необходима была вода. А когда нашему хозяйству что-нибудь нужно, оно тотчас же это осуществляет. И драгоценная вода брызнула вверх из земли, потекла с далеких гор в долины Армении, закованная в цемент и трубы. А попутно она щедро одарила и те пространства, мимо которых текла к своему главному потребителю.

Села, еще не имевшие водопроводов, веками питавшиеся застойной водой, подчас даже не колодезной, а собираемой из ливневых вод, от таяния снега, от дождя, получили драгоценную чистую воду горных родников. Стоит сравнить замечательные цифры: до Октябрьской революции, в 1914 году, на все деревни Армении было лишь 65 километров водопровода, обслуживавшего 52 тысячи человек; в 1940 году, на двадцатом году жизни Советской Армении, в ее сельских местностях было уже 660 километров водопровода, которым пользовалось 300 тысяч человек. Но если в 1940 году, до Отечественной войны, имелись водопроводы в 15 районных центрах, то уже к концу 1944 года, когда шел четвертый год напряженнейшей войны, число их почти удвоилось,— свои водопроводы получили уже целых 23 районных центра.

А это ведь не просто технические сооружения. Провести в Армении воду — значит оросить те ее земли, которые лежат пустынными и сухими, без орошения, и, освоив их под пашни, изменить их облик. Но и не только это. Мы помним великолепные строки Маяковского, сравнившего свое поэтическое наследство с наследием инженерного гения Рима. «Весомо и зримо», как в римских акведуках, сочетается в гидросооружениях Армении чисто инженерная техника с бессмертием искусства, с архитектурным выражением художественной мысли народа.

В деревне Санаин сохранилась одинокая постройка XIII—XIV веков: оформленный архитектурно родник. По своей основной цели это вполне инженерное дело: вода, отведенная из горного родника, бежит в узком, выложенном камнями туннеле под определенным углом падения. Но она притекает не просто к раструбу или бассейну, а в художественный архитектурный павильон.

Такая потребность украшать, архитектурно обрамлять воду, веками жившая в армянском народе, смогла найти свое массовое воплощение лишь при советской власти. Когда в колхозы Араратской равнины в годы Отечественной войны потекла драгоценная чистая струя, крестьянам показалось кощунством облекать ее в обычный железный кран.

Они пришли в Верховный Совет республики ходоками от богатого Паракарского колхоза: «Хотим украсить воду, средства на это имеем, отпустите нам самого лучшего художника». Просьба была уважена, в Паракар для архитектурного оформления родничка был направлен талантливый молодой архитектор Рафо Исраэлян, и у колхозников появился первый родник — стелла — в армянском национальном стиле, с использованием богатого архитектурного наследия древней Армении и с напоминанием, высеченным на каменном фронтоне, о героях, защитниках родины, уроженцах этого села. Так журчащая неиссякаемо струйка воды стала символом бессмертия, связав современный подвиг народа с ежедневной его потребностью и выразив эту связь классическими линиями армянской архитектуры.

5

Страна превосходной архитектуры, каменистая Армения в то же время и страна всех необходимых материалов для стройки. Огромны в ней залежи известняков, травертина, гипса и превосходной пемзы; все разновидности строительных песков — крупно- и мелкозернистых, гальки и бута — рассыпаны по речным долинам; на родине армянского классика, поэта Туманяна, в деревне Дсех, есть сырье для огнеупоров: около пятидесяти месторождений глины питают десятки заводов кирпича и черепицы.

На выставке тридцатилетия Советской Армении по графикам, развешанным на стенах, можно было видеть, как бурно растет в республике промышленность стройматериалов, отражающая и общий рост ее строительства. Выделка кирпича в Армении в 1950 году по сравнению с 1938 годом увеличилась почти в двадцать раз. Производство черепицы в Армении только за пять лет увеличилось больше чем в четыре раза. Бурно растет и добыча пемзы. А какие фабрикаты изготовляются из песков и глины Армении! На той же выставке можно было любоваться цветными тометовыми плитками для кухонных полов и стен, тометовыми плинтусами, красивыми мозаичными ступенями для лестниц. Глины в Армении самых разнообразных цветов; известь есть и белая (араратская), и темная (джаджурская), пемза серая (анийская), желтая (из Пемзашена), черная...

Но с искусственным кирпичом спорят армянские туфы, издавна заменявшие народу кирпич. Сколько их

и какое разнообразие оттенков! Под Ленинаканом, на склонах Арагаца, возле селения Артик, разрабатывается знаменитый артикский туф. Его сухие и легкие плиты можно встретить в зданиях Москвы, из них построен машинный зал восстановленного после войны Днепрогэса,— их нежно-розовая, фиолетовая и золотистая окраски не тускнеют и не грязнятся от времени, и стены из артикского туфа не нуждаются в штукатурке. Но еще прекраснее армянский мрамор.

Геологи говорят: «Уникальные месторождения армянских туфов и пемзы не имеют у нас аналогов. Нельзя указать аналогов и армянским мраморам, отличающимся исключительной красотой раскраски и рисунка» [10].

Спускаясь в подземные дворцы Московского метро, любители камня узнают своих уральских и алтайских друзей: малиновый родонит (орлец) с черными прожилками, словно веточками дерева, на станции «Площадь Маяковского»; фантастические пейзажи рисунчатой орской яшмы; однообразную, как серые облака над горным хребтом, но изящную в своем волнистом рисунке алтайскую яшму... Не так известны армянские камни, между тем они щедро участвуют в облицовке метро. Черный мрамор метро с золотистыми и белыми жилками — это армянский мрамор из Давалинского и Хорвирапского месторождений Вединского района; бледнозеленые, причудливые, как вода в аквариуме, колонны одной из прекраснейших станций метро, «Киевской»,— это знаменитый агамзалинский «мраморовидный оникс» из-под Еревана. Светлые станции «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Автозаводская» облицованы белым мрамором, испещренным розовыми жилками,— из Агверанского месторождения Ахтинского района Армении. К перечисленным надо еще прибавить серый, всех оттенков, арзакендский мрамор.

Много находят в Армении и прекрасных поделочных камней — агата, халцедона, оникса, сердолика [11]. Минералоги могут набрать здесь отличные образцы для коллекций. Необычайны куски зангезурской медной руды с гнездами горного хрусталя, с тяжелыми подвесками свинца, с примесями малахита и лимонита. По до-

роге к озеру Севан — острые и гладкие камешки, похожие на куски доменного шлака или на черепки дорогого темного фарфора. Это обсидиан, заменявший первобытному человеку ножи и лопаты. Археологи при раскопках находят в Армении древние бусы и украшения из мелких розовых сердоликов неправильной формы. Это свой, армянский сердолик молочно-розового цвета, чуть тронутого аквамарином, напоминающий морскую волну при закате.

Недаром народный архитектор Армении А. И. Таманян, проектируя лучшие свои здания, никогда не забывал поделочного камня; он привлекал его на облицовку зданий и мечтал о возрождении каменной инкрустации, мозаики стен и полов. Мечты его сбылись. В 30-е годы мы любовались поделочными камнями и мраморами главным образом в Геологическом музее. Сейчас все эти богатства пришли на потребу человека, широко вводятся в быт. Их привели к человеку машины, облегчившие чудовищно трудоемкую работу каменотеса. Армянский Институт сооружений поставил себе задачу: заменить медленную ручную обработку камня механической. И под руководством проф. Касьяна решил эту задачу. Механик тов. Карагезян придумал метод фрезерования туфа; на основе его опытов группа авторов (тт. Касьян, Тер-Азарьев, А. А. Акопов, Р. В. Акопов и другие) сконструировала станки, дробящие твердые породы вибрационным способом, режущие камень термическим способом, давшим замечательные результаты. Так ворвалась механизация в самую кустарную, самую древнюю профессию армянского труженика, в ручную работу каменотеса.

Есть странная, необъяснимая связь между красками неба и камня, характером небесного пейзажа и окраской местных минералов, словно элементы и в их газообразном и в их застывшем состоянии любят ложиться одинаково, строятся по «местным» признакам и живут в избирательном сродстве со своею природой. На Урале замечаешь это по яшме, как бы повторяющей удивительные тона и рисунки уральского неба. В Армении нет разнообразных красок, присущих нашему Северу, но в ней есть та сухость, легкость, перистость, необычайная,

едва касающаяся глаза нежность тона и рисунка, какую невольно подмечаешь и в небе и в камне. Помню один утренний рассвет на вершине Лорийского каньона, минуту неподвижности перед самым появлением солнца, похожим в горах на вспархивание птицы. Когда блеснет золотой ободок солнца над горизонтом, это чувство всеобщего вспархивания охватывает вас почти физически, как ветерок, пробегающий по траве, по камню, по щеке, по волосам. А ветра нет,— только блеск пролился на землю, и движение прошло от первого солнечного луча. В одну такую минуту старый геолог Ованнес Тигранович Карапетян, так много потрудившийся для Армении в советские годы, творец ее геомузея и автор целого ряда геологических исследований, отбил молотком и протянул мне кусок так называемого ажурного кварца, в изобилии находившегося на горе.

Я увидела камень, как бы инкрустированный в середине кружевным, тонким фарфором, молочно-белым, с голубым ободком, проходящим по его краям, как зубцы изящной вышивки. Все словно запечатлелось тогда в этом куске ажурного кварца: и раннее утро, и нежная птичья перистость облаков, и прошедшее по траве движение, и холодок, и горная чистота воздуха.

Помню еще, как внизу, в том же каньоне, в первый год строительства Дзорагэс рыли шурф под дождем. Не видно ни облачка в небе, солнце светит, а сбоку откуда-то пронесся косой дождь. Мокрый рабочий без шапки вылез из шурфа и, отряхиваясь, раскрыл ладонь. Там влажно блестела находка — горсть кристалликов аметиста, крупных, словно капли розового дождя, только что упавшего на нас неведомо откуда.

Но геолог видит связь камня с пейзажем иначе, чем художник. В своих «Воспоминаниях о камне» покойный академик А. Е. Ферсман рассказал, как он понял впервые геологическую карту по аналогии с туркменским ковром. Перед ним ожил ее внутренний «рисунок» — история становления Земли; он увидел «расплавленный океан еще раскаленного земного шара; на нем отдельные острова более светлых гранитных пород, первая твердая кора земли; страшные бури и катастрофы потрясают эти первые щиты, сгибая, обламывая их, зали-

ми потоками расплавленной лавы, разрушая яркими солнечными лучами, заливая первые пустыни первым ливнем первых туч. А под ними еще кипят расплавленные магмы, те, что застыли потом в глубинах океана в черные скопления базальта...»[12] И дальше Ферсман рисует последовательное складывание земной тектоники, образование осадочных пород и пород вулканических, магматогенных. Для каждого участка нашей планеты эта тектоника своеобразна, и каждое своеобразие предопределяет ту или иную группу ископаемых, могущих тут оказаться, и то или иное возможное их залегание в земле: пластами, жилами, гнездами. Видеть этот рисунок кожуры земли внутрь, в его пространственную, многокилометровую глубину,— значит хорошо представить себе «геологические предпосылки» данной страны и ее металлогению, то есть происхождение ее рудных богатств. Наша необъятная родина еще мало изучена с этой металлогенической точки зрения. Маленькая республика Армения, в прошлом исследованная классиками геологии и географии, а за четверть века советского строительства — целой школой советских геологов, тоже еще не может похвастаться полной изученностью: с каждым годом открываются в ней все новые и новые богатства. Только в 1945 году советские геологи смогли обобщить найденные ими закономерности в первую металлогеническую схему Армении, по которой страна поделена на шесть тектонических зон...

Что же имеется и чего нет в Армении?

Прежде всего, как уже говорилось выше, в этой вулканической стране просто несметны богатства строительного камня. Использование этих богатств увеличивается с каждым годом не только потому, что растет добыча камня, но и потому еще, что сами отходы от производств, связанных с глиной, кальцитом, известью, пемзой и т. д., дают в свою очередь ценнейшее сырье для новых строительных материалов.

Большое промышленное значение для всего нашего Союза имеют армянская медь и молибден. Подобно тому как на Урале в отдаленные времена варили в ямах, заменявших самую примитивную печь, железо из богатых уральских руд, так и древнейшие народы

Армении с незапамятных времен умели использовать медную руду. Первобытный человек, живший в Армении, пользовался чистою медью, позднее он научился приплавлять к меди олово и получать бронзу. Так — очень рано — начался в Армении бронзовый век. Предметы из чистой меди найдены были при раскопках в Алавердском и Ленинаканском районах, бронзовые орудия — на Севане, в Зангезуре, в Араратской и Ширакской долинах.

Интересное открытие удалось сделать археологам: они нашли в Ленинакане и под Ереваном (при раскопках в Кармир-Блуре) каменные формочки для отливки бронзовых предметов — секир, плоских топориков, различных украшений. В Ленинакане была обнаружена даже целая первобытная «литейня» — каменная мастерская с формочками для литья. В Ереванском государственном историческом музее можно увидеть предметы конца третьего тысячелетия до нашей эры, то есть начала бронзового века (раскопки музея в 1936—1937 годах у села Шенгавит), а также второго и первого тысячелетия до нашей эры (раскопки в Шенгавите, Ленинакане и Кармир-Блуре).

Медь так давно выплавлялась в Армении, ее так выкачивали концессионеры в XIX веке, что одно время казалось — залежи ее уже исчерпаны, тем более что богатое Алавердское месторождение как будто подходило к концу. Но вот в последние годы одно за другим открываются новые богатейшие источники медных руд.

Есть в Армении небольшое количество различных ценных ископаемых. Водится, например, золото,—и россыпное по речкам, и связанное в медных рудах с серебром, с цинком; есть немного свинца, кадмия, кобальта, извлекаемых при переработке медных концентратов в Кафане. Такие элементы, как висмут, сурьма, ртуть, попадаются в столь ничтожных количествах, что и говорить о них не приходится. Немногим больше их таллия, мышьяка и серы. До сих пор в Армении не найдено бокситов; мало марганца, мало угля, а там, где он есть, он плох, то есть очень еще молод.

Я пишу, что в Армении нет бокситов. Но те, кто видел в Араратской долине корпуса большого алюминие-

ного завода, могут спросить с удивлением: а как же сырье, если нет бокситов? Дело в том, что вместо бокситов в Армении есть для алюминия другое сырье: алунит и нефелин.

Для другого легкого металла, магния, очень важного в промышленности, тоже есть здесь богатейшее сырье — доломиты, открытые лишь за год до Отечественной войны неподалеку от Еревана. Нужно еще упомянуть о базальте, алавердском барите, больших залежах хромита. Все это — нужнейшее промышленное сырье. На витринах Геологического музея Армении, начало которому положили коллекции О. Т. Карапетяна, весь этот мир земных рудных ископаемых расположен в его металлогенической логике, с указанием его промышленного значения. Многое впервые начато производством именно тут, в Советской Армении, как, например, плавка базальта; другое успешно привилось здесь и стало мощным, как производство карбидо-кальция из давалинского травертина; третье, оригинальное по производству, огромно по своей роли в хозяйстве, как, например, извлечение из азота воздуха ценнейшего удобрения — цианамидкальция, необходимого для почвы Армении. Кироваканский химический комбинат уже успешно вырабатывает этот продукт, а колхозы вносят его под зябь. «Камень» (точнее — порошок), извлеченный из воздуха энергией речной воды, пошел на питание земли, чтобы помочь ей родить хлеб!

6

Линч, побывавший в Армении в конце прошлого века, говорит о «маленьких клочках желтого жнивья» среди буро-желтых, пустынных, заваленных камнями пространств невозделанной земли. А между тем есть свидетельство армянского историка Моисея Хоренского о том, что во II веке до нашей эры, при первом армянском царе династии Артаксидов Арташесе I, «не было невозделанной земли в Армении ни на горах, ни на полях» [13].

Как бы ни было преувеличено это свидетельство, Армения исключительно плодородна, и сейчас, в условиях советского строя, она действительно вся возделывается — и на горах и на полях. Ее богатейшая вулканическая почва требует только одного: чтоб ее поили. В Араратской долине она состоит из серозема, хоть и бедного перегноем, но зато богатого углекислой известью; на высоте 1 300—1 700 метров — из каштановых и бурых черноземов; еще выше — из горного чернозема, дающего питание дивным альпийским лугам. Сероземы Араратской долины при искусственном орошении могут дать «египетские» урожаи, две жатвы по некоторым культурам в год. Они хороши и под хлеб и под хлопок. «...Грунт этот, при поливке, плодородности неимоверной»,— писал в прошлом веке И. Шопен [14]. А на каштановых и бурых черноземах великолепно растут сады и виноградники.

Но земля Армении всегда требовала приложения большого, терпеливого труда. Ее надо расчищать от камней подчас на десятки километров; надо кое-где удобрять; надо поить,—восточные, юго-восточные и южные ее части нуждаются в искусственном орошении [15]. Ведь в Армении не только мало рек, но и очень мало осадков, меньше всего выпадающих там, где ниже местность, то есть как раз в тех местах, где занимаются земледелием, где потребность в осадках сильнее всего.

Если б мы могли с высоты птичьего полета внимательно оглядеть всю землю Армении, мы нашли бы древние следы этого кропотливого труда, приложения рук человеческих почти на каждом ее «шагу»: высохшие, полузасыпанные канавки, едва видимые остатки древнейшей оросительной системы, старинных шлюзов, перемычек, бассейнов. Часто новые каналы проводятся по незабытым трассам старых, как бы воскрешая угасшую традицию древней культуры. А культура земли у армян начинается с незапамятных времен и очень высока. Взять хотя бы следы оригинальных водохранилищ — искусственных озер. На Арарате и на горе Араилер по горным уступам сохранились впадины от бывших водоемов, сообщавшихся друг с другом; весной они наполнялись водой от таяния снега, летом вода из верх-

них озер стекала в нижние, а оттуда — на пашни. Араилерские озера снабжали поливною водой селение Егвард, славившееся лучшей в Армении пшеницей. Долгое время эта древняя слава лепилась к деревушке Егвард только как ничем не оправданная легенда. Но после Октябрьской революции две советские женщины, А. А. Егиян и А. А. Мкрчан,— обе кандидатки биологических наук и мичуринки,— вывели новый, замечательный сорт пшеницы и назвали его «егварди-4». Это исключительный по своей высокой урожайности сорт. Во всем нашем Союзе есть еще только один, подобный ему. И слава новой, советской пшеницы затмила легендарную славу древней.

До нас дошло немало источников, из которых видно, что Армения (как и вся Передняя Азия) была родиной многих сортов пшеницы, ржи, винограда, целого ряда плодов и орехов и даже таких кормовых трав, как персидский клевер, люцерна и вика. Люцерну (по-армянски аспаст), по свидетельству Плиния, перевезли даже из Армении в Грецию как корм для утучнения скота. Французский писатель Виталь Кинэ пишет, что «во всей Передней Азии римляне не знали страны, которая лучше бы обрабатывалась, чем долина реки Аракса»[16]. Раскопки древнейших могильников в Лори и Севане, Зангезуре, Шираке и Араратской долине часто обнаруживают среди предметов бронзового века сельскохозяйственные орудия из бронзы — вилы, серпы — и даже остатки ячменя и пшеницы в сосудах.

Но если раньше армянский крестьянин трудился под ярмом иноземных завоевателей и собственных господ, светских и духовных, если раньше плоды этого труда отнимались у него поработителями, наместниками, князьями, духовенством и тяжкий, подневольный труд часто был для него проклятием, то после Октябрьской революции, когда армянский народ стал хозяином своей земли, страстная тяга к свободному труду на земле воскресла в нем с огромной силой. Немудрено было Линчу увидеть жалкие желтые «клочки жнивья», если до революции в Армении орошалось при помощи каналов только 60 тысяч гектаров земли. Сейчас в Советской Армении эта цифра увеличилась почти в четыре раза — оро-

шается свыше 200 тысяч гектаров. Но проведение каналов, начатое с первых же дней советской власти в Армении, идет сейчас таким бурным темпом, что приведенную цифру не стоит фиксировать. И дело не в одном только росте,— изменилась самая система орошения.

В нашей стране удачный опыт, примененный где-нибудь, хотя бы в самом отдаленном уголке, с быстротой искры облетает весь Союз. Такой была судьба новой системы орошения, примененной в Хакассии и в других местах. Вместо трудного и дорогого строительства длинных каналов, берущих много воды и занимающих много территории, там стали пускать воду по временным узеньким выемкам, лишь на то время, когда требуется оросить землю. Это дало возможность свободно двигаться сельскохозяйственным машинам, зачастую стесненным в своих движениях большими каналами. Этим создалась четверная экономия: на капитальном строительстве, на эксплуатации, на расходе воды и на занимаемой под канал территории. Следовало бы добавить и пятую экономию — времени. Для Армении, где каждый клочок пригодной под пашню земли на учете, новая система орошения крайне выгодна. Колхозники тотчас же ее подхватили.

За последние годы шагнула вперед и техника строительства магистральных каналов. Сюда обратилась изобретательская мысль. Чтоб прекратить постоянно досаждающую просадку грунта на канале, изобретатель В. Канаян предложил делать гидроизоляцию из дешевых и находящихся под рукой местных материалов. Это заменило дорогостоящий цемент, и канал с гидроизоляцией получился ровный, без просадок. Механизирована очистка каналов, производившаяся раньше вручную и бравшая много сил и времени. Упростилось самое управление оросительной системой. До последнего времени приходилось в лучшем случае довольствоваться телефонной связью. Каналов — много; знать одновременно, где какой горизонт воды, чтобы принять нужные меры,— дело громоздкое, пока-пока созвонишься из конца в конец. А сейчас армянский Научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации создал особый аппарат, с помощью которого горизонты

ения в каналах передаются на расстоянии по радио или проводам, и диспетчер сидит у пульта управления, как железнодорожник, пуская воду, как тот пускает поезда.

Помогая правительству, народ взял дело постройки каналов в собственные руки. Целые деревни выходят на строительство, работают подчас днем и ночью, иной раз даже и не на себя, а на соседа, добровольным даром для него; так бескорыстно участвовали, например, калининцы (жители Калининского района) вместе со степанаванцами (жители Степанаванского района) в строительстве законченного после войны большого канала, который дал воду районам Степанаванскому и Алавердскому.

Стоит сравнить эту бескорыстную взаимную помощь водой, оказываемую друг другу армянскими селениями при советском строе, с тем, что случалось тут в недалеком прошлом. Ключ от железных замков, висевших на шлюзах (подъемных досках в бетонированных стенках, пропускавших и задерживавших воду в каналах), хранился у деревенского распределителя воды — «мираба». Захочет мираб — и у крестьян воды будет поровну; не захочет — кого обделит, кому прибавит,— и в результате смертные бои из-за воды между дворами, деревнями, волостями, родами. Так было не в одной только Армении, а и в соседнем Азербайджане, на земле Нахичеванского края. Там над селением Кюки было озеро Канли-гёль (Кровавое). Названо оно так потому, что летом, во время побоищ из-за воды, нередко случались тут убийства и кровь поселян стекала в озеро.

И подобно тому, как на Алтае или в Джунгарии самой нестерпимой и самой жестоко наказуемой кражей была кража коня, так и в Армении много веков была самой нестерпимой и в то же время самой частой, хотя и смертным боем наказуемой, кража воды. Сто лет назад очевидец писал: «Кража воды здесь так обыкновенна, что нерадеющий лично об исправном выделе надлежащей части из общественной канавы» мог лечь спать зажиточным, а проснуться нищим [17].

В Советской Армении вода щедро потекла на пашни, почва получила удобрение; любовный, самозабвенный труд приложен к земле. И полупустынная земля

покрылась садами и виноградниками. Технические растения — хлопчатник, кунжут, герань, табак и многие другие — получили небывалое развитие; выросла большая обрабатывающая промышленность: хлопчатобумажная, табачная, сахарная, лакокрасочная, славящаяся на весь наш Союз консервная и др. И если в годы Отечественной войны армянские колхозники расширили не только технические культуры, но и свое зерновое хозяйство, а картофель даже начали вывозить, то уже в послевоенную пятилетку здесь, впервые за сотни лет, начинают обходиться собственным хлебом, постепенно отказываясь от привозного.

7

Вертикальная зональность Армении, ее изрезанность хребтами, ущельями и долинами представляет для путешественника непрерывную смену контрастов. На протяжении одного дня он может пережить внизу, на нижней террасе, знойное лето полупустыни с 50 градусами жары на солнце, с сухим, удушающим ветром, несущим целые тучи мелкой вулканической пыли. Поднявшись на 1000 метров повыше, он попадает в дивную весну альпийских нагорий, с ветерком, напоенным благоуханием трав и чуть охлажденным, словно кусочек льда в стакане воды, дуновением снегов с вершины Арагаца. В лесных чащах Кафана он может попасть в тяжелую сырость и голубоватый туман, вдруг наползающий неизвестно откуда, несущий дыхание меди и даже цветом похожий на прибрежные ее окислы вдоль узкой лесной речки. Но на склонах Дилижанского ущелья путешественник встретит совсем иной лес,— полною грудью вдохнет чистый, густой, крепко смолистый запах соснового бора. Наконец он может попасть в снежный буран на Арагаце и вступить в пределы, правда очень небольшие, вечной мерзлоты над Севаном. «...В Армянской области путешественник может в один день перейти от полярного мороза до тропического зноя, то есть почти целую четверть круга земного шара» [18].

Но при всем разнообразии отдельных своих ярусов в основном Армения благодаря ее общей высоте и от-

отдаленности от моря все же страна сухо-континентальная, с резкими колебаниями между зимой и летом, днем и ночью. В июле днем тягостно оставаться на улице в Ереване, — так паляще-знойно континентальное лето; но вот пала темнота, ранняя, гораздо раньше, чем наступает она в северных широтах, небо заискрилось мириадами очень ярких, очень близких звезд, и тотчас же пришла прохлада, тянешься к платку, пальто, к чему-нибудь, что можно набросить на плечи: ведь все-таки здесь высоко, и высота чувствуется в холодке разреженного воздуха, едва только догорит на небе нестерпимая печка солнца.

И такой же контраст, несколько более умеренный, и в ущелье Дзорагета, в Степанаване, в Дилижане. Приятно и даже не слишком жарко посидеть летом в тени на сухих, теплых иглах соснового леса в Дилижане, но никак не заснешь на них после захода солнца, как заснул бы в сосновом бору средней полосы России, с его сравнительно теплой ночью. Холодно! Высота ночью не шутит, зажигайте костер, если не хотите идти под крышу, сырости нет, но вы продрогнете.

Осадков выпадает в Армении, как уже сказано, мало. Огромная водная площадь Севана дает много испарений и могла бы, казалось, напоить Армению дождями, но эти дожди проливаются в пустынных горах. Чем выше в горы, тем больше осадков и тем чаще твердые осадки — град (иногда величиной с голубиное яйцо) и снег. С гор часто стекает в долины холодный воздух, создавая во вторую половину дня вихревые ветры. В Ереване и на курорте Арзни они нередко превращаются в сухие, пыльные грозы, без капли влаги. Обычные грозы в Армении коротки и сильны; далеко не всегда они безобидны. Одно мгновенье, — что-то как будто остановилось в природе, притихло, поникло, потом зашуршало, зашелестело, и вдруг потоки ливня с неба, серого, цвета стали, сплошного, как стена, едва пробиваемого урчанием грома и белыми зигзагами молний. Через десять — пятнадцать минут такого ливня, увеличенного селевыми потоками до размеров настоящего бедствия, могут произойти внезапные наводнения. Так случилось в 1927 году в дачном местечке

Дилижане: крохотная река, которую гуляющие переходили без моста по камешкам, вдруг вздулась огромным потоком, снесла ближние дома, раскачала с корнем деревья, покатила пудовые камни, вырвалась на улицу, неся на себе домашнюю утварь, заборы, скамейки. Но такие грозы единичны на памяти поколений.

Осень в Армении — всюду — лучшее время года, не только потому, что осенью созревает все, чем богата армянская земля, но и необычайной ровностью погоды, тишиной, щедростью яркого, уже не жгучего солнца, четкостью гор в прозрачном небе.

С декабря начинается зима, выпадает снег даже и в Ереване, бывают морозы, случается — до 25 градусов. Холодная и крепкая зима, без оттепелей, стоит в Ленинакане. За Аштараком, в горном районе Апаран, снег заваливает дороги иной раз в рост человеческий. Сейчас эти дороги открыты для движения круглый год, но еще пятнадцать — двадцать лет назад снег не разгребали здесь до весны. А весна в Армении приходит сразу, бурная и короткая, тотчас переходящая в лето. Одуряющий запах желтых цветов пшата (Elicagnus angusti folia) стоит в это время по деревням и вдоль речек Араратской равнины, пропитывая теплый воздух.

Главное очарование климата Армении, то, что делает его здоровым и надолго оставляет в вас потребность снова сюда вернуться и снова почувствовать его,— это редкая чистота и прелесть воздуха, вытягивающего, вызывающего вас из четырех стен дома «на улицу», на простор, и притом в любую погоду, кроме самых жарких часов лета.

Есть такие счастливые комнаты в домах или дома на улицах, войдя в которые чувствуешь их особо удачное расположение в отношении света и солнца. Про всю Армению, как страну, хочется сказать, что она както особенно удачно расположена в отношении света и солнца, словно вся «вынесена наружу»,— такое окружает вас огромное обилие воздуха, который требует глубокого, усиленного вдоха не только потому, что он сильно разрежен, но и от превышающего обычную норму присутствия озона в нем (вместо O_2 здесь O_3). Сухость этого воздуха, малое количество влаги в нем

делают пронзительно-четким все пространство вокруг, волнистые линии горизонта, свет и тени в архитектуре, и хотя воздух разрежен, им необыкновенно легко дышится и из-за этой его идеальной сухости и чистоты.

Такое наслаждение воздухом испытываешь еще только в глубинах Азии, в нашей Сибири, на границах Джунгарии и кое-где на Урале, где 50-градусные морозы переносятся сердцем легко из-за малого количества влаги в атмосфере.

В Армении тысячелетиями было развито летнее кочевание «на кочевку», где люди живут в палатках, обвеваемые воздухом день и ночь, и согреваются лишь куском кизяка, брошенным в круглое отверстие земляного очага — тонира — и к ночи в тлеющих углях и пепле сохранившим небольшое тепло. Не одни только скотоводы-кочевники со своими стадами, а и зажиточные горожане целым домом, всей семьей отправлялись на такие своеобразные «дачи» по склонам Арагаца, в долины Цахкадзора (Дарачичага), расстилающие над Ереваном свои необыкновенные ковры ярких, крупных, душистых цветов и ароматнейших травок — эфироносов. Сейчас этот горный воздух, это целительное солнце Армении стали доступны народным массам, сделали ее всесоюзною здравницей, и лучшие курорты ее посещаются больными всех советских республик.

8

В Армении, с ее богатейшими вулканическими недрами, было множество минеральных источников. Простой народ знал о них еще в глубокой древности и веками пользовался ими с лечебной целью.

Когда после революции, в 1925 году, была отправлена первая экспедиция на разведки выходов минеральных вод [19], она обнаружила немало следов такого использования целебных источников. Возле них, за обмятой травой, за окислами на камнях, чернели древние каменные ямы, стояли арбы и шалаши; в нехитром жилье, почти под небом, жили больные, стекавшиеся сюда за исцелением. Еще в 1926 году, возвращаясь из монастыря Татев вниз, в ущелье, по головоломной зан-

гезурской тропе, которую и лошадь не брала,— нужно было сводить ее, держа под уздцы,— я сама наткнулась на один такой местный курорт — древний щелочной Татевский источник. В каменном водоеме, отгороженном от дороги, прямо под солнцем мерцала и булькала минерализованная вода, теплая на ощупь. Натекая из-под земли, она тут же уходила куда-то, сохраняя в яме одинаковый уровень.

Некоторые из этих старых источников были широко известны в старину, например «Кенсали»,— хлоридно-карбонатно-натриевая вода,— в 30 километрах от Еревана к северу, в ущелье реки Занги [20]. Когда-то в ней не только купались,— ее разливали и пили. Очень хороша другая вода — «Ах-Гел» в Давалинском районе, возле цементного завода. Для рабочих этого завода свой, широко популярный курорт, оказывающий им помощь, дающий возможность тут же, у себя под рукой, подлечиться, имеет огромное значение. Ах-Гел приятен на вкус, слабо минерализован, не очень горяч (24,5°).

Бóльшая часть выходов минеральной воды в Армении, насчитывающихся до двух сотен, имеет лишь свое местное значение. Огромное их разнообразие — и по составу, и по температуре, и по дебиту — сейчас расклассифицировано по двум группам: гидрокарбонатная группа — представитель ее «Джермук», и сульфатно-хлоридная группа — представитель ее «Арзни».

С изучения вод Арзни в 30-х годах и началось, собственно, настоящее курортное строительство в Армении. Воды Арзни выходят возле деревни того же имени, в 18 километрах от Еревана, в ущелье реки Занги. Место здесь голое, маложивописное, но настолько в геологическом отношении интересное, что возникший курорт получил своеобразный, крайне оригинальный и привлекательный вид. Занга протекает тут в сплошном базальте. Земля на берегу зыбкая, торфянистая, словно вата. Причудливые сталактиты —известковые осадки— на свисающих вниз растениях; оторвешь такую сосульку, разломишь пополам — в середине зеленая ниточка, остаток растения. Выветрившиеся ниши в камнях, пещеры по берегу Занги — все носит след работы воды. Над этим ущельем и вырос курорт, хотя, кажется, ему

и повернуться негде. Но берег Занги взят в красивую каменную набережную, на его террасах разбиты цветники и парки, среди молодых деревьев поднялись прекрасные здания ванн и курзала, новый дворец-санаторий по проекту архитектора С. А. Сафарьяна, красивые фонтаны, скамейки.

И — дыхание богатыря источника, самого Арзни. После каптажа он дает 1 860 тысяч литров в сутки,— хватает его и на курорт, непрерывно растущий, и на собственный завод углекислоты. Вода крепко минерализована (до 13 граммов солей на литр); один источник, более сильный, идет на ванны, другой, послабее,— питьевой. Этикетку «Арзни» на бутылках с бодрящим, шипучим, как нарзан, столовым напитком сейчас можно найти во всех крупных городах СССР. Помогает Арзни сердечникам, особенно при подагре и остром ревматизме. Курорт, победивший эти голые скалы, побеждает своими насаждениями и горнодолинный бриз — пыльный, сумасшедший ветер, задувающий пополудни. Раньше он поднимал тучи пыли и бросал их в ущелье; сейчас пыль исчезла, и ветер угасает в парке.

С 1940 года соперником Арзни сделался Джермук, горячий источник, к которому первые исследователи и проехать не могли. Прекрасная дорога идет сейчас к нему. Больные могут ехать со стороны Зангезура, и со стороны Норашена (Азербайджан), и со стороны Севанского озера (Мартуни). Сам курорт входит административно в Азизбековский район. Летом он оживает. Слава его выросла особенно в дни Отечественной войны, когда здесь лечились тяжело раненные и инвалиды. На горных склонах несколько санаторных зданий. Вместо старинных ям — хорошие ванны. Вода, соперничающая с карловарской в Чехословакии, бьет щедрой струей, до 400 тысяч литров в сутки, пар встает над ее кипением — 62° температуры! В недалеком будущем здесь раскинется большой курортный город.

Кроме этих двух всесоюзных бальнеологических курортов, Армения славится климатическими станциями. В Дилижане давно работает туберкулезный санаторий, имевший до войны отделение и для больных волчанкой; дома отдыха есть в Кировакане, Цахкадзоре (Да-

рачичаге), в сосновых рощах Гюлягарака [21], в Ахтале. Уютный детский санаторий открыт над Ереваном, в пригороде Норк. Сюда привезли в первый год войны истощенных ленинградских детей Выборгского района.

Но, пожалуй, лучший отдых в Армении для тех, кто еще молод, чье сердце еще здорово и крепко и легко может перенести разреженный воздух двухтысячеметровой высоты,— на острове, среди синих вод Севана.

Озеро, тихое по утрам, начинает закипать в четыре часа дня,— над волнами появляется пена, холодный ветер пронизывает весь островок, огромные волны бьют в него, выбрасывая на узкий берег кругляки красивых кремневых пород.

На острове — отличный дом отдыха, обращенный к солнцу. Ежедневно подвозит к нему пароход все, что потребно для хорошего советского курорта, и загорелые, крепкие отдыхающие, в майках и сандалиях на босу ногу, карабкаются по отвесным склонам крохотного островка, проникают в труднодоступную бухточку, необыкновенно живописную, ныряют с узкого берега в очень глубокие, прозрачные воды озера, любуются бурными прибоями в четыре часа и впитывают всей кожей исключительное здесь солнце, а всеми легкими—исключительно чистый, без единой пылинки воздух. Особенно хорошо на островке в лунные ночи, когда озеро кажется сплошным серебряным кипением, ощущаемым почти на слух, словно однотонная льющаяся в эфире музыка.

9

Еще недавно первым впечатлением от растительного мира Армении была его оазисность, садовость, словно вся здешняя зелень искусственно выращена людьми возле источников воды. Относилось это прежде всего к Араратской равнине. Народная поэзия тоже сохранила нам эту особенность — нигде вы не встретите в песнях и стихах эпитета «дремучий», «дикий», описания «чащи», «темного леса», «трущобы», хотя в незапамятные времена густые лесные чащи и были в Армении; не поет народ ни о сосне, ни о ели, ни о березе, хотя ель и сосна

и [illegible] кое-где: по Дилижанскому ущелью, возле Степанавана, растут леса из армянской сосны (Pinus armena), а у Цахкадзора попадаются березовые рощи. Почти ничего, разве только у древних историков,— не встретите вы о платане, о дубе, грабе и буке, хотя они, как и красное дерево — тис, попадаются в зангезурских лесах. Зато очень часто упоминается грустное дерево Армении — ива; о ней поет и народный армянский поэт Аветик Исаакян:

Ночью в саду у меня
Плачет плакучая ива,
И безутешна она,
Ивушка, грустная ива...[22]

(Перевод А. Блока)

Ее вспоминает и лучший поэт X века Грикор Нарекаци:

Стан,— что ивы ствол...[23]

(Перевод В. Брюсова)

Если представить себе флору Армении только по армянской поэзии и сказкам, то она окажется почти сплошь садовой: гранат, чинара, тутовое дерево, миндаль, грецкий орех, абрикос, яблоня — с удивительным названием «тарекан» (то есть «годовая»: можно сохранить ее яблоки в течение года), любимое армянами дерево пшат, виноград, хмель, шафран, бальзамин, роза. Поэзия воспроизводит даже особенность их садовой посадки — рядами, клумбами, возле жилищ. Аштаракский поэт Смбат Шахазиз в стихотворении о весне, когда он «бредет» навстречу «зеленым холмам, уходящим в даль», говорит о встречных деревьях в странной их симметрии, словно за садовой оградой:

Деревьев ряд чуть слышно шелестит
Зелеными кудрями...[24]

(Перевод Ю. Ходасевича)

А другой поэт, Александр Цатурян, вспоминает старое тутовое дерево как друга, как члена семьи:

Там был я пестуном нежным храним —
Деревом тутовым милым моим.
Ветви раскинув над ветхой избой,
Било по кровле оно под грозой[25].

(Перевод Ю. Верховского)

Любопытны по навязчивому соблюдению симметричности волшебные сады в армянских сказках; вот, например, сад старшей матери дэвов (злых духов): «В том саду шел ряд гранатовых деревьев, потом ряды цветов, сперва ряд красных, потом белых, потом голубых; еще был в саду родник и два подсвечника по обеим сторонам, по правую и по левую» [26].

Все это, казалось бы, подчеркивает садовый характер здешней растительности. Между тем, повторяем, в глубокой древности густые леса покрывали бо́льшую часть Армении, а в южной (притаврской), находящейся сейчас вне пределов Советского Союза, был даже и строевой лес, поскольку в арабских источниках есть указания на вывоз его из Армении как предмета торговли. Исчезали армянские леса постепенно.

Огромный вред нанесли им стада, объедавшие кустарники и молодняк. По всей нынешней трассе железной дороги, проходящей Лори-Памбакским ущельем, на глазах одного поколения в прошлом веке редели леса, оползал почвенный покров склонов ее гор, обнажались под уходящей почвой скалы, а вместе с ней усыхали и роднички, исчезала влага. Ко дню установления в Армении советской власти лес занимал здесь менее чем 10 процентов всей территории, сохранившись кое-где лишь по руслам рек, в ущельях Зангезура, Дилижана, Иджевана и других, а на остальной части территории преобладали сухолюбивые растения — ксерофиты. В строительстве дерево было самым дефицитным материалом,— его приходилось завозить из соседних республик. Жечь его на топливо в деревнях показалось бы кощунством,— в целом ряде районов и до сих пор топливом служит кизяк — навоз, смешанный с землей и особо просушенный. Еще в 40-х годах было трудно достать в Армении деревянную мебель, деревянные двери и рамы для строительства домов.

И все это сейчас становится, а кое-где уже стало, прошедшим днем, историческим воспоминанием. На примере маленькой Армении можно видеть огромный размах и всю — почти сказочную — быстроту осуществления того великого процесса, который войдет в ис-

торию человечества как социалистический план преобразования природы.

С обезлесиванием начали в Армении бороться уже с первых лет существования советской республики: ежегодно проводили лесонасаждения, сажали деревца там, где их никогда не было до революции,— в деревнях, по улицам, в местах, отведенных под парки культуры и отдыха. Сотни тысяч саженцев высадили над Ереваном, по Канакирскому и Норкскому горным склонам. Сперва они темнели черными точками барашков, похожих кустарников,— сейчас это уже густой лес, возобновляющийся естественно, самосевом, дающий летом тень и ограждающий город от пыльных бурь и бризов. Но массовый характер разведения лесов начался с конца 40-х годов,— в горных местностях — посевом в траншеи, (5 000 гектаров только в 1950 году), а на равнинах — гнездовым способом Лысенко. Весной 1949 года для борьбы с засухой и суховеями заложено было в Армении 120 километров полезащитных лесных полос. В передовых колхозах Ахурянского, Арташатского, Ахтинского, Калининского, Октемберянского районов встали густые рощи молодых деревцев. В республике образовалось добровольное общество «Друг растений», члены его оберегают саженцы, пропагандируют культуру леса, участвуют в лесопосадках.

В 1950 году в Армении посеяли дуб. И вот что замечательно: метод Лысенко, революционизировавший разведение лесов, оправдал себя именно на этой дорогой лесной породе, на дубе. А в Армении хоть и мало осталось леса, хоть и не было дерева топливного, строевого, драгоценные породы еще держались там, где остался лес: как белые призраки, светятся стволы в целых рощицах буковых деревьев; в два-три обхвата стоят коренастые грабы, кудрявые дубы, великолепные ореховые деревья (Nux juglans), достигающие под селением Микоян исполинского роста. И сейчас начаты в Армении работы по разведению именно этих драгоценных пород. Сеют, кроме дуба, еще и платаны, разные сорта клена, посеяли каштан, хурму, фисташку. А из дешевых сортов сажают тополь, растущий необыкновенно быстро: воткнешь прутик в землю — и принялся.

Уже весь облик Армении начал заметно меняться; уже, когда вы едете, струится зеленый шелк деревьев справа и слева от дороги; уже начинаешь слышать совсем другие разговоры. Раньше, бывало, от крестьян, архитекторов, инженеров, экономистов то и дело услышишь «дерева у нас нет», «дерево у нас дефицитное», а сейчас не редкость совсем другие слова: «дерева у нас много», «дерево у нас превосходное». Двинулось к человеку из армянских лесов драгоценное поделочное, открылись мебельные фабрики. Заглянув на одну из них, можно полюбоваться отполированными разрезами стволов этих замечательных деревьев Армении,— необычайно хороши их причудливые, никакой фантазией неповторимые рисунки, особенно ясеня, платана, остролистого клена.

Растительность Армении делят обычно на три зоны: внизу флора полупустыни, повыше степная, еще выше — горно-луговая. Казалось бы, как мало растительности! А между тем эта на первый взгляд скудно одаренная растительным покровом страна всегда была очень интересна для ученых всего мира именно в ботаническом отношении. Интерес этот особенно ярко разгорелся после Октябрьской революции, когда начался могучий процесс освоения наших природных богатств новой, воистину народной, советской наукой.

С первых лет существования Советской Армении можно было встретить здесь всевозможные научные экспедиции, посвященные прослеживанию первоистоков культурных растений, шедшие по следам древнейшего сорта пшеницы, которой в Армении было 200 видов, и других злаков. Армения насчитывает до 2 500 растительных видов; среди них много съедобных и полезных человеку, и есть эндемичные, присущие только ей одной, нигде, кроме Армении, не встречающиеся,— например, несколько видов ячменя. Недаром современные ботаники утверждают, что «Армения является одним из переднеазиатских очагов происхождения ряда культурных растений» [27].

Эти научные изыскания отнюдь не только отвлеченны и описательны: они теснейшим образом связаны с практикой выведения новых видов. Мичуринцы-агро-

номы ведут неутомимую работу по преобразованию растительных видов, по введению в культуру дичков, по выведению новых сортов не только садовой, но и мировой флоры.

Из старых культурных растений, кроме яровой и озимой пшеницы, в Араратской долине поспевают хлопчатник, рис, просо, ячмень, рожь, полба, лен, горчица, клещевина (из которой делается касторовое масло) и др., причем хлопок известен уже с глубокой древности. Любопытнейшее явление наблюдается кое-где: сама собою родится хорошая дикая рожь (Secale cereale). На высоте 1 800—1 900 метров растет сахарная свекла необыкновенной сладости (ее начали разводить недавно даже в суровом климате Ленинаканского района, и она отлично пошла), масличные и садовые культуры.

Армения в подлинном смысле слова — страна садов. Ее крупные твердые персики и абрикосы, отлично консервируемые, славятся на весь Союз; виноград ее очень богат и насчитывает свыше девяноста сортов — от обычного лечебного сорта «воскеат» (раньше назывался «харджи») до янтарно-прозрачного, нежного и лишенного косточек «назели» (по-старому «аскари»).

Распространена в Армении и культура яблок. В нагорных районах — Спитакском, Артикском, Мартунинском, Нор-Баязетском, Ахтинском, Сисианском, Азизбековском, где никогда раньше не было садовых культур, сейчас разводятся мичуринские и европейские морозоустойчивые сорта. В Арзакянде акклиматизировалась антоновка; чудесный, фарфорово-чистый, крупный «кальвиль» водится в Горисе; небольшие румяные яблоки Микояновского района, ароматом напоминающие анис, получили бы пять с плюсом на дегустации у самых придирчивых садоводов.

Плоды Армении имеют очень большую сахаристость и плотность (за счет влажности). Это делает их исключительно вкусными в варке и консервировании. Виноград особенно хорош для сладких вин, муската, портвейна и отличен для крепкого коньяка. В последние годы удалось получить и хорошие столовые сорта — «Айгешат» и др.

Долго не было в Армении традиций своего парникового, оранжерейного хозяйства; поэтому даже в Ереване, столичном городе, не встретишь, бывало, ягод, плодов и овощей вне сезона. Приходилось ереванцам ждать естественного созревания, «сезона», а он наступает поздно и кончается рано. Только в июне поспевает в садах, на ветвистых старых шелковицах, нежный плод белой и черной туты. Жители стелют на землю чистую простыню, крепко трясут дерево, и пышная ягода осыпается вниз. Есть ее надо тут же, не оставляя «на завтра», потому что она быстро дает сок, обмякает и вянет. Несколько недель — и вот уже нет тутового сезона; и вам кажется, что вы так и не успели вдоволь налакомиться утоляющей сладостью этой мягкой ягоды с ее твердым жгутиком зеленого стебелька внутри вместо косточки. Так же быстро сходят черешня и абрикос. Персик в ряде районов держится с августа по октябрь. Сравнительно быстро проходит и виноградный сезон. В ноябре уже редко где, разве только у очень уж рачительного хозяина, вы найдете еще свежие кисти на увядших лозах, аккуратно увязанные в специальные полотняные мешочки. Но у большинства лозы стоят сухие и голые,— скоро их закапывать в землю,— а виноградные кисти перекочевали в подвалы, где они висят, подвязанные на жердях, покрытые легким налетом пыли, сморщенные, пожелтевшие,— уже полуизюм, а не виноград, и слишком сильная сладость никак не позволит вам съесть их много. В то время как в Средней Азии, в Крыму, в Москве вы еще могли лакомиться свежим виноградом, в Ереване вам приходилось довольствоваться вот таким полуизюмом.

Так же быстротечен был и сезон овощей. Древнее огородничество знало культуру лука, стручков «бамия», бобовых, тыкв, дынь (особенно славился сорт «дутма»), баклажан, помидоров, арбузов; ближе к Грузии — огурцов. Но картофель совсем молод: сперва его начали разводить на своих огородах солдаты линейных батальонов, потом первые поселенцы — из России.

Да и они не сразу и не всюду взялись за огородничество. В старом Нор-Баязетском уезде (входящем сейчас в Севанский административный район) они ока-

зались, например, на единственной тогда проезжей дороге из Грузии в Персию (через Севан — Ереван — Джульфу) и сочли для себя выгоднее заняться извозом, нежели землей. Когда в 1903 году в эти места приехал, в чине «районного надзирателя», некто В. Ю. Медзыховский, он застал и описал это занятие извозом, сразу обогатившее переселенцев. Но была проведена Ереванская железная дорога — и переселенцы занялись землей и овощами. Сам же Медзыховский первый начал в Нор-Баязетском уезде разводить овощи. Он заметил, что в растениях «...низкорослость замечается очень резко, очевидно, с целью большего приспособления утилизировать тепло, как бы отыскивая для себя почвы». И он же отметил и необычайную силу солнечных лучей в Армении, заставляющую растения щедро отдавать свои соки: «...ввиду особой интенсивности солнечных лучей на высотах испарительные токи растений, очевидно, значительно повышены... Этим надо объяснить особый сильный аромат выращенных здесь душистых цветов»[28].

С того времени, как Медзыховский начал в Нор-Баязете свои огородные опыты, много утекло воды. Каждый район Армении имеет сейчас и свои овощи и картофель. С картофелем здесь произошла целая революция: вместо прежних уставших и малоурожайных сортов в огород победно вошел молодой советский сорт «Лорх».

Если в 1937 году под картофелем было только 6 077 гектаров, а урожай его никогда не превышал 56 центнеров с гектара, то уже к 1946 году площадь его увеличилась значительно больше чем вдвое и почти вдвое поднялся урожай (до 100 центнеров с гектара). Десять лет назад в большей части армянских деревень не было в обычае есть картофель, а сейчас за обедом вас непременно угостят им,— рассыпчатым, поджаренным в масле, хрустящим, с маринованными овощами и травками на закуску.

Больше чем втрое выросла площадь под овощами: с 1 810 гектаров в 1937 году до 6 тысяч гектаров в 1944 году. В постановлении пленума ЦК ВКП(б), состоявшегося в феврале 1947 года, было отмечено, что

Армения (в числе некоторых других республик и областей) «превысила довоенный уровень урожая картофеля и овощей в колхозах», и ей ставилась на второй год послевоенной пятилетки задача «дальнейшего расширения посевных площадей и повышения урожайности» овощей и картофеля. Был в постановлении и еще один важный пункт. Он положил конец той сезонности употребления овощей, о которой я писала выше, потому что слова в параграфе 37 о принятии мер к тому, чтобы «обеспечить всемерное развитие парниково-тепличного хозяйства для снабжения городов и промышленных центров в зимне-весенний период ранними овощами и зеленью», относились, конечно, и к Армении.

В послевоенную пятилетку все эти задания были выполнены и перевыполнены. «Расширение посевных площадей и повышение урожайности» помогло до известного предела обеспечить республику своим собственным хлебом. «Развитие парниково-тепличного хозяйства» уничтожило сезонность пользования плодами и овощами: ереванцы получили январские свежие огурцы, помидоры и редиску.

Резко повысилась и культура табака в республике. В древности армянские табаки «цхахот» славились своим ароматом, и редкая семья не разводила у себя в садике для собственных нужд табак. Потом его стали выращивать меньше, и только сейчас культура его снова необычайно распространилась. Некоторые районы, например Шамшадинский, старейший табаководческий район Армении, получают сорт «трапезунд» исключительного качества.

В этих больших победах сельского хозяйства Армении участвует множество факторов общекультурного порядка: и общий рост советской хозяйственной мощи, тяжелой промышленности, материального богатства страны; и огромная помощь науки, двинувшейся, как никогда и нигде в мире, на служение народу — во всем нашем великом Союзе; и местные факторы, имеющие принципиальное значение в армянском земледелии,— например, расширение озимого клина, летняя посадка картофеля, летняя посадка некоторых кормовых трав. Новые научные идеи дают агрономам в Армении вол-

победив власть над коротким вегетационным климатом, раскрывают перед агробиологами необъятные горизонты для новых и новых опытов. Трудно воображению даже представить себе, куда мы шагнем завтра.

Лучшим, чем вправе гордиться Армения,— это ее альпийские луга на склонах Арагаца, Гегама, в Лори, в Степанаване, в дачном местечке Цахкадзор над Ереваном. Весной эти луги превращаются в яркие пестрые ковры от изобилия крупных цветов всех оттенков, от ярко-синих и голубых до пурпурно-красных и малиновых. Густой, одуряющий аромат стелется над лугами. Трава не очень высока, очень густа и разнообразна. К запаху цветов примешиваются крепкие запахи эфироносов, майорана, мяты, чабреца, полыни. Маленькие крепкие армянские пчелки с тугим звоном отрываются от цветка и тяжело летят, почти падая в воздухе.

Цахкадзор по-армянски, или Дарачичаг по-азербайджански, так и значит: «Долина цветов». Поэт XVI века Давид Саладзорци, живший на старой армянской земле возле Эрзрума, примерно в тех же климатических условиях, оставил нам целую поэму «Восхваление цветов», из которой я приведу отрывок:

Вырастают тысячи цветов, у них различен цвет и сок,
И запах разный, и красой один другого́ превозмог.
Древа плодовые в цвету, оделись ива и дубок;
Вот распустился первоцвет, лишь снег последний с гор утек,
Вот отражается в воде, сверкает желтый ноготок,
Лишь минул оттепели срок, гора ликует и лужок,
Все превращается в цветы — вершины, склоны и излог.
Ущелье радо: в нем цветы — что многокрасочный платок,
Багряно-желтый вот тюльпан, узорный бархат — лепесток.
И, с ежевикою сплетясь, мали́на свой растит шипок.
Нафаф, чинара, базилик,— их запах сладок и широк.
В виссон одетый амарант и шпажник острый, как клинок.
Гвоздики бархатный наряд, нарцисса алый ободок!
Я буду славить все цветы,— мускатный цвет н василек.
...Вот молочай, глава цветов, зеленый цвет и белый сок.
...Цвет чемерицы темно-синь, на ней сурьмы лежит мазок.
...Столбом поднялся коровяк, и злак колышет колосок.
Собрались все цветы гурьбой, от них пчеле великий прок.
...Полыни беден серый цвет, но у бедняжки прян листок,
Цветет вдали от всех цветов; ее соседи — чобр и дрок.
...Шафран н кум цветут в горах, где близ вершины склон отлог.
...Хастут редчайший — для врача и цель и жалобы предлог.
С ним не сравняется в цене и полный денег кошелек.

...Бессмертник летом и зимой всех лучший из цветов цветок,
Не засыхает никогда, ему и старость не в упрек;
Цветы морские нунуфар пустили корень свой в песок,
Их можно было бы сорвать, когда бы змей их не стерег.
...Старался долго, и цветы я разобрал и здесь иарек.
Они вселенной красота, на звезды вышние намек[29].

(Перевод С. Шервинского)

Вся поэма целиком, в сто с лишним стихов, представляет собой как бы поэтический гербарий флоры Армении. Она же говорит и о целом ряде других вещей: о ботанике у древних армянских писателей; о старой культуре фармацевтики, распознавании лечебных свойств растений; о раннем развитии пчеловодства; об исконной любви армянского народа к цветам, которые чтутся, как «красота вселенной» и «намек на вышние звезды». Попробуйте пройти по улице Еревана с букетом,— вас гурьбой обступит крохотная детвора, вы увидите сияющие глаза, десятки протянутых ручек и услышите просящее, настойчивое, умильное: «Дай, дай!» И это в городе, где цветы вовсе не редкость, где почти у каждого есть свой садик или хоть горшок с цветами, где в семьях от деда и бабки к внукам переходят любимые, огромные, выхоленные лимонные деревца в кадушках, цветущие круглый год и круглый год дающие плоды.

Среди армян известна и более материальная любовь к пахучим травам — к рехан, майорану, мяте, тархуну (Dracunculus), падринджу (Mellisa moldavia) и др. Нигде в мире, кажется, не едят с пищей так много этих свежепромытых водою травок, как в Армении — и просто, и с горячей пищей, и заворачивая в плоский хлеб с сыром. Существует азербайджанская пословица: «Достоинство розы соловей знает, достоинство зелени — армянин».

Немудрено, что попадающие в Армению путешественники не могут остаться равнодушными к ее дивным альпийским луговинам. Вот слова одного из них о Цахкадзоре, писанные в 80-х годах прошлого века:

«Невозможно описать красоту этих долин: здесь шумит горный поток с кристаллически прозрачною холодною водою; там просачивается из скалы родничок и с тихим журчаньем сбегает по ковру зелени и цветов;

перед нами красиво обрисовывается округленная вершина Алибека, покрытая светловатою зеленью; вдали узорною серебристою лентой извивается река Занга, древний Раздан, отделяя лесную область от безлесной части Дарачичагского магала»[30].

Чудесные альпийские луга армянских нагорий не могли не повлиять на долголетие местных жителей. В конце 20-х годов прошлого века образованный чиновник русской службы И. Шопен, получивший от графа Паскевича Эриванского задание подробно описать только что вошедшую тогда в состав России Армению, застал ее на самой низшей ступени благоустройства. Крестьяне в ряде горных районов жили в подземных норах, незыблемо сохранившихся тысячелетия такими же, как они описаны у Ксенофонта и Геродота. В городе Эривани ни о какой канализации не было и помину, нечистоты отравляли воздух, питьевая вода была полна бактерий. Грязь и пыль, обилие всякого рода насекомых и мухи создавали постоянные источники заразы; уже не говоря об оспе, трахоме, в Армению захаживали и чума и холера. И вот, несмотря на эти тяжелые условия жизни, Шопен столкнулся с любопытным явлением очень большого долголетия жителей, правда, не всюду и не в городе. Он составил статистические таблицы доживших до 100 и свыше 100 лет армянских мужчин и женщин по отдельным районам и деревням Армении. И оказалось, что даже в условиях нищенского существования так целителен армянский горный воздух, что у армян на каждые 100 тысяч жителей в среднем около 108 человек доживало до 100 лет и свыше 100 лет — процент очень высокий, почти вдвое превышающий общую норму долголетия людей на земле. В деревнях Апарана Шопен застал стариков не только 100 лет, но и 120, 130; в Дарачичагском районе во всех, без исключения, деревнях были столетние, также и на Севане, а в Даралагязе он нашел стариков даже 140 лет![31] С тех пор к этим благодатным природным условиям прибавился могучий социальный фактор.

Жизнь при советской власти так далеко шагнула вперед, страна так неизмеримо выросла и благоустроилась, что армянский народ во многих деревнях и местеч-

ках потребовал переименования своих старых поселений. Когда-то названия их продиктовала нужда, вызвало насилие. Поэт Ованнес Шираз, один из любимых поэтов армянского народа, замечательно рассказал об этом в своей поэме «Названия наших сел».

...Название села...—
В нем дедов скорбь до нас дошла.
...Село мое! Как режет слух
Твое название «Тай Чарух»,—
«Непарный лапоть», что за вздор,
Так называться до сих пор!
Тебя какой-то злобный враг
Встарь окрестил глумливо так.
Из века в век неся беду,
Народа высмеял нужду.
А сколько нам наносит ран
Названье злое «Хонах хран» —
«Гостеубийца»! Отступил
Век черных дел и черных сил...
Любой хозяин хлеб и кров
С гостями разделить готов...
Во весь свой рост встал человек.
Названья сел, и гор, и рек
С ним вровень встать должны сейчас...[32]

(Перевод Т. Спендиаровой)

Республика покрылась таким количеством больниц, амбулаторий, диспансеров, что в Армении, как и в других республиках Советского Союза, здоровье всего населения стало одним из основных признаков роста нашего социалистического государства. И, быть может, лучшим свидетельством здоровья армянского народа является песенка, задорно спетая зангезурским колхозником, ашугом Ата, когда ему было уже 92 года, о новом городе Ереване, в котором он тогда только что побывал:

...Гляжу — и дух не перевесть:
В пять этажей дома и в шесть!
И можно вдоволь пить и есть!
Пустыня стала раем!

Асфальты, как полы, блестят,
Трамвай идет вперед, назад,
Автомобили вдаль спешат.
И мнится: нет числа им!

Весь город раньше был в горсти:
Раз плюнуть было обойти.
Теперь не меньше дня пути,
Стал город целым краем[33].

(Перевод П. Панченко)

Так жизнерадостно и отнюдь не по-стариковски поет древний старик, родившийся в 1848 году!

Но вернемся к армянским лугам, связанным с одной из интереснейших проблем советского сельского хозяйства, — с проблемой создания кормовой базы для резко увеличивающегося поголовья скота и повышающегося уровня удойности коров. Кормовая база в Армении очень мала, очень недостаточна. Много тому причин, — и трудность резкого расширения площади под кормовыми культурами при одновременной необходимости расширения ее под зерном и техническими растениями, и нехватка до самого последнего времени своих семян. Получается парадокс: кормовая база мала, а луговых трав, таких, как в Армении, по сочности, аромату, вкусу, питательности редко где в мире найти. Этот парадокс был принят за исходный пункт одной интересной работы: введения в культуру новых диких растений, искусственного их выращивания и размножения. Специальный научный институт в Армении — Институт полевого и лугового кормодобывания — занимается этим делом. Он работает в общем по 35 видам диких растений, превращая их в культурные корма: собирает семена, высевает их, с осени 1950 года началась селекция. Многолетняя дикая ежа сборная (Калининского района) и козлятник,— морозоустойчивый, засухоустойчивый, богатый белком,— растут в лесных районах. Вика многолетняя, растущая в среднегористых местностях, дает урожай до 15 лет, может стать конкурентом люцерны и эспарцета... И сколько еще таких дичков, становящихся своими, «ручными»! Но польза от культивирования луговых растений не только в освоении дичков. Дикий природный луг не весь съедобен для животных: он имеет до 80 процентов вредных растений. И вот самый процесс культивирования, внесение удобрений, распашка луга и т. д., меняют состав травы, изгоняют из нее ядовитые и вредные растения, дают преоблада-

ние полезным и питательным. Так подготавливаются условия для еще одного могучего натиска на природу, чтоб победить в недалеком будущем и это «узкое место» армянского сельского хозяйства — недостаточность кормовой базы для растущих стад.

10

Армения — одна из древнейших стран мира, и племена, ее населявшие, жили здесь за две тысячи лет до нашей эры. Что-то очень первобытное, почти языческое, сохранилось в отношении армянского народа к природе, выраженном через его фольклор, особенно через сказки и легенды.

Множеством легенд окружают армяне свои горы. Подчас эти легенды имеют под собой очень реальную почву. Таков рассказ о пастухе, бросившем палку в горное озеро Сев-лич, находящееся у самой вершины Арагаца; спустя некоторое время палка будто бы вынырнула далеко внизу, в маленьком озере Айгер-лич. Пустоты и шумы, всегда наблюдавшиеся на Арагаце, обилие в нем подземных вод, просачивающихся в виде множества родников, невольно наводили на мысль о существовании какого-то подземного стыка между этими двумя озерами или большого подземного водного бассейна под Арагацем; шумы эти были предметом специального изучения геологов и гидрологов, подтвердивших наличие «подземного Севана» у подошвы Арагаца.

Легенды связаны с вершинами гор, с одинокими ручейками, с купами дерев. Одной из стариннейших форм язычества было у армян гадание по шелесту листьев платанов, считавшихся в Армении священными. Моисей Хоренский говорит, что сын Ара Прекрасного, Анушаван, «...был прозван Сосом, потому что... был посвящен в платаны Араманеака, что в Армавире» [34]. Шелест листьев этих деревьев и колебание их при тихом или сильном дуновении воздуха составляли в течение долгого времени предмет гадания в земле Хаев.

Но ни с чем, быть может, не связывалось у армянского народа столько детского, наивного мифологизирования, сколько с миром животных. Легенды об Ара Прекрасном донесли до нашего времени своеобразнейший зороастрийский культ собак — Аралэз. Эти священные собаки (иногда изображавшиеся даже в древних миниатюрах) по приказу царицы Шамирам (Семирамиды) должны были вылизывать раны мертвого Ара, чтобы воскресить его. Отголоски этого культа сохранились кое-где на Востоке в запрещении убивать собак. В Армении не осталось от него и следа. Здесь нет, например, такой массы собак, самостоятельно, без хозяев, обитающих в городских кварталах, не боясь быть уничтоженными, как бездомные собачьи стаи в Константинополе. Но зато Армения — родина особой породы овчарки — верного друга и помощника чабана. Овчарки достигают здесь подчас исполинского роста, пушисты, умны, преданы своему хозяину, свирепы к чужому. На дальних кочевках они могут разорвать незнакомого человека, если он подойдет близко к стаду. Но закон гостеприимства, свято чтущийся в Армении, как и всюду на Кавказе, своеобразно усвоен и этими пушистыми «львами кочевок». Путник, забредший в палатку пастуха, может спокойно сидеть у земляного очага. Овчарка рядом с ним будет трястись мелкой непрерывной дрожью, — она тоскует: ей нельзя укусить гостя. Хозяин возьмет ее голову, откроет клыкастую пасть с красным дрожащим языком и предложит гостю вложить в нее свою руку. Пес будет судорожно тявкать, но не укусит. Повизгивая от горечи, он оскорбленно отползет куда-нибудь в угол палатки, жмуря свои налитые кровью глаза, чтоб только не видеть чужака,— но вы в жилье в полной безопасности от него.

Не перевелась в Армении древнейшая обитательница ее нагорий — змея. Множество мифов и сказок окружают ее, целая гора — Змеиная — названа ее именем; есть даже своеобразная потомственная профессия целителей от змеиных укусов. В селеии Арарат недавно умерла знаменитая Джаваир, старая крестьянка, переселенка из Персии. Она так хорошо лечила от змеиных укусов, что Наркомздрав в 20-х годах взял ее на

учет и даже платил ей зарплату, а ряд ученых исследовал способы достигнутого ею иммунитета от змеиного яда. После ее смерти дочь, унаследовавшая материнский иммунитет, стала продолжать профессию матери. В Гарни есть люди, промышляющие ловлей и укрощением змей не хуже Джаваир. Они обычно вызывают змей из нор особым свистом, носят их на себе — вокруг шеи, за пазухой и в рукавах (змеи любят человеческое тепло) — и демонстрируют в селениях за плату. У Жоффруа де Сен-Илера, знаменитого натуралиста, есть рассказ о том, как он, будучи в Египте, сам научился вызывать змей свистом [35].

Старики, живущие в Арташатском районе, любят рассказывать о змеиных войнах, которые они будто бы видели собственными глазами. В предгорьях Змеиной вдруг начинала пылить дорога, оттуда доносился неистовый шум, — это тысячами ползли навстречу друг другу, как серые палки, змеиные роды. Они страшно, пронзительно свистели. Потом начиналась война родов: извиваясь и прыгая в воздух, длинные тела бросались друг на друга, сшибались в воздухе, как тысячи хлыстов в чьих-то незримых руках, а потом, после сражения, по всей этой дороге было «видимо-невидимо» змеиных трупов. И беда, если случалось человеку приблизиться к такому побоищу,— он от ужаса превращался в каменный столб...

Известный специалист по змеям А. Б. Шелковников долго жил в Армении, изучая местные роды змей и собирая фольклор, в котором есть упоминание о змеях. Как и в Осетии, такой фольклор отчасти связан со старинною минералогией.

У осетинов в некоторых семьях, хранятся древние камешки-талисманы, которые никому никогда не показываются. Они будто бы с величайшим трудом добыты в опасной охоте на змей, «прямо из змеиной пасти», потому что этими светящимися «лунными камнями» змея, когда ползет, освещает себе ночью дорогу. В Армении сохранилась другая древнейшая легенда: камень изумруд привораживает к себе глаза змеи и «выпивает» их: чем дольше смотрит змея на изумруд, тем мутнее ее глаза, и под конец они вытекают. О влиянии зеленого

нести на змей говорит и великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви в поэме «Сокровищница тайн».

Существует два основных вида змей в Армении. Один, не ядовитый, называется здесь «шахмар»,— это очень красивая змея, пурпурной окраски, в пятнах. Укус ее безвреден, но шахмар очень зла, она может кинуться на человека. Иной раз, извив свое тело, голову к хвосту, она колесом, с необыкновенной быстротой катится по дороге. Другой вид из семейства гадюк называется в Армении «гюрза»; это очень ядовитая тварь, укус ее бывает смертелен, она черного цвета, небольшая, с типичной головой гадюки. Но читатель не должен думать, начитавшись или наслышавшись рассказов об армянских змеях, что вот, приехав в Армению, он сразу увидит их чуть ли не на каждом шагу. Это, конечно, чудовищное преувеличение. Можно десятки лет прожить в Армении и до конца дней своих не увидеть ни единой змеи. С осени и до лета они вообще исчезают,— заползают глубоко в землю и погружаются в зимнюю спячку.

Из хищных зверей в Армении есть волки,— уничтожение их считается в деревнях общественным долгом, так как волки, бывает, задирают овец и коров; медведи, - армянский медведь небольшого роста, лакомка, очень добродушен и «не ввязывается ни в какие драки», предпочитая уйти от хлопот подальше в лес; в горных ущельях и близ рек водятся кабаны, барсуки, дикие кошки, рыси, выдры, куницы; в окрестностях самого южного пункта Армении, Мегри, изредка попадается леопард, верней — пардовый барс, мечта местных охотников. Есть несколько домов в Мегри, где вместо ковра вы увидите красивую пятнистую «леопардовую» шкуру на полу, но их немного,— наперечет во всем селении.

Много в Армении и лисиц; случается — видишь из автомобиля где-нибудь на повороте изящный и острый ее силуэт. В Кироваканском районе есть питомники, где лисиц разводят искусственно (Лермонтовский лисий питомник). Интересное животное в Армении — это гибкая, длинная водяная крыса. Охотники ценят ее за

шкурку. Много и полевых вредителей: сусликов, тушканчиков.

Из нехищных млекопитающих прежде всего нужно назвать двух редчайших животных, нигде, кроме Армении, не водящихся,— это так называемый дикий каменный баран (армянский муфлон) и дикий безоаровый козел. Охота на них запрещена. Зато охотникам есть чем поживиться в Армении,— очень хороша и увлекательна охота на обыкновенных козуль, серн, оленей, зайцев (последних тут великое множество), а из птиц— на жирных куропаток и прочую дичь. На фазанов, водящихся в Армении, охота запрещена.

Не такие страстные стрелки, как сибиряки и уральцы, армяне все же любят занять свой досуг охотой. В Армении есть Общество охотников. Надо сказать, что этот род занятий, точнее, этот род человеческого пристрастия, так же как игра в шахматы, несмотря на общие черты, роднящие всех охотников (как есть общие черты, роднящие всех шахматистов), имеет в каждой стране свой национальный оттенок, по которому, например, охотника армянина всегда отличишь от страстного охотника средней полосы России (мы знаем его по Тургеневу) или Урала и Сибири (о нем можно прочесть в охотничьих рассказах Мамина-Сибиряка и Бондина). Армянский охотник любит охотиться в компании; чувство природы связано у него с наслаждением от общества друзей, подчас отодвигающим самую цель (пострелять, принести полный ягдташ) на второй план, а на первый ставящим прогулку как таковую, пикник, веселый пир «на лоне природы».

Засиживаясь до глубокой ночи у костра, забывая подчас диких гагар, на которых задумали идти на рассвете, или неуловимого дикого кабана, облава на которого послужила предлогом для выезда из города,— веселые люди, армянские охотники, часами рассказывают за бутылкой друг другу всевозможные истории. Но это не «охотничьи истории» барона Мюнхгаузена, то есть не обычное привирание с прикрасами о собственных приключениях, а полные тонкой наблюдательности воспоминания о случаях и фактах из животного мира Армении. Так однажды я слышала у охот-

...него привала рассказ о том, как целое стадо белок переплыло Аракс, «эмигрируя» из Ирана в Армению: маленькие пушистые зверьки, никогда не бывшие водоплавающими, пустились вплавь, держа — каждый — прямую крепкую веточку в зубах, помогшую им добраться до соседнего берега. Правдивость этого рассказа мне позднее подтвердили ученые-зоологи. Иной раз удается подстрелить охотнику и необычную залетную гостью далеких стран, и тогда он непременно расскажет о ее форме и оперении; ведь над Арменией, случается, пролетают из Египта и других стран самые неожиданные в этих местах представители пернатых, вроде, например, птицы эспри, чьи перья когда-то носили на шляпах. Эта живая наблюдательность армянского охотника сделала его близким другом зоологов, и между Охотничьим обществом и научными учреждениями в Армении установился тесный контакт. В реках и озерах Армении много хорошей рыбы; лучшая из них — форель. В Севане несколько сортов форели, самые известные — ишхан, с мясом розового цвета, и гехаркуни, с белым мясом. В Араксе попадаются сом и красная рыба; осетр, севрюга. В Занге — небольшая, но очень вкусная «голубая рыбка».

Из птиц водятся в Армении орлы, соколы, ястребы (в древности — непременные спутники и помощники в охоте, заменявшие собак), филины, совы и сычи; весною соловей, ласково называемый во всем Закавказье «бюль-бюль», наполняет сады и рощи своим серебристым пением; возвращаются в старые фамильные гнезда аисты; треугольником, заунывно курлыча, пролетает журавлиная стая; устраиваются, не боясь людей, прямо под рукой у вас, бесчисленные ласточки,— все это свои, родные птицы, запечатленные в любимых народных песнях: «Крунк» — журавль, «Цицернак» — ласточка [36].

Огромно количество летучих мышей, особенно возле скал, в каменных ущельях. Чуть стемнеет, начинается их неслышный полет, словно куски черного бархата кружатся в воздухе,— и невольно боишься под вечер прикосновения пыльных, мягких, неживых каких-то, перепончатых крыл. Среди всевозможных ящериц и

лягушек попадается и тот вид зеленой лягушки, что употребляется гастрономами во Франции; множество пиявок в прудах, еще недавно служивших одним из самых могучих местных лечебных средств, да и сейчас с успехом применяемых как отсасывающее при гипертонии.

Мириады мошек нарождаются летом в Араратской долине; особенно несносны москиты в Ереване, делавшие там летнее пребывание очень тяжелым для новичка. От них спасала лишь густая марля на окнах. Сейчас и от комаров, и от москитов, и от других вредных насекомых успешно избавляет «ДДТ». В жарких пустынных местах под камнями можно найти колечки скорпионов (чаще безвредных, серого цвета; изредка черных, чей укус ядовит); в комнаты забегают сороконожки, случается — и скверный гость: фаланга. Ежи, муравьи, аисты, друзья человека в Армении, уничтожают змей и ядовитых насекомых, моль и саранчу, облегчая человеку борьбу с ними. Нужно сказать тут об одном древнем насекомом армянского нагорья, в настоящее время уже исчезнувшем. В старых арабских географиях часто встречается упоминание о том, что из Армении вывозились в другие страны, как предмет постоянной торговли, красящие червячки. Это кошениль; самец ее серого цвета, крылатый, а самка — небольшой бескрылый червячок, дающий при надавливании красную краску, исключительную по густоте и прочности. С изобретением анилиновых красок кошениль, как и растительные краски, потеряла свое значение, хотя для коврового промысла растительные краски ценны и сейчас.

Дивные альпийские луга Армении делали ее всегда страною животноводческой. С древнейших времен она славилась своими конями. Еще народы Наири, жившие на территории теперешней Армении, по-видимому, разводили коней. Когда ассирийский царь Салманасар III (860—825 годы до нашей эры) вторгся в страну Наири, он «вывел» оттуда как военную добычу и «коней подъяремных»[37]. И арабы и греки (Геродот) упоминают о вывозившихся в Финикию из Армении прекрасных конях как предмете специальной торговли. Ксенофонт писал, что армянские лошади меньше персидских, но в

них больше огня. О том же пишет Страбон: «Армения имела прекрасные пастбища для лошадей... а армянский сатрап посылал персу ежегодно по 20 000 жеребят для празднества Митры»[38].

Сейчас в Армении два конных завода: один в Ереване (арденская и английская породы), другой — в Зангезуре (местная порода). На ипподроме в Ереване можно увидеть прекрасных коней,— и с Хреновского конного завода, и маленьких лошадок буденновской породы, и армянских длиннохвостых скаковых карабахской и зангезурской крови. Это призовые кони, участники многих закавказских скачек.

С крупным рогатым скотом работа начата сравнительно недавно. До революции в нынешнем Степанаванском (бывшем Джалал-оглынском) районе молочное хозяйство было в руках местных кулаков и заезжего швейцарца, некоего Готлиба. Породистые коровы нужны были им прежде всего как высокоудойные, — для того чтоб иметь побольше молока на выработку швейцарского сыра. Завозились эти породистые коровы отовсюду, без всякой системы, всевозможных пород,— и красные степные с Северного Кавказа, и голландки, и симменталки, и швицы. Никакой селекционной работы с ними не велось. И толку от них для местной маленькой коровенки с ее ничтожным удоем тоже не получилось. В 1918 году сюда ворвались турецкие военные части, разгромили и разграбили сыроваренный завод и угнали этих племенных коров.

Настоящая, научно поставленная племенная работа началась здесь лишь по установлении советской власти. Первые же советские техники и агрономы начали работу по улучшению местного стада. Сперва находили и отбирали лучших животных с признаками породы. Потом был открыт случной пункт для крестьянских коров. В 1924 году в Степанаване организовалась первая Государственная племенная ферма, в 1934 году образовали Государственный племенной рассадник, взявший в свои руки контроль и руководство племенным делом. Из хаоса разноплеменных стад медленно отслаивались наиболее подходящие для местных условий породы; с течением времени отпали голландки, показали свою

меньшую приспособленность симменталы, на первое место вышел швиц-производитель. Но швиц уже давно растворился в новом стаде, в создании которого огромную роль сыграла украинская «либединская» порода. От либединского быка-производителя Зубра, сына рекордистки Зины, выведены были уже свои местные племенные линии.

Так два десятилетия создавалась новая армянская порода рогатого скота — лорийская, и сейчас она стала уже совершившимся фактом. Прекрасные, высокоудойные, крупные коровы с особо крепкими, стройными ногами и особо твердыми копытцами, как у диких коз, приспособленными пробираться по каменному руслу горных рек и по скалистым горным дорожкам,— такова новая лорийская порода..

Овцеводство известно здесь с древнейших времен — ведь Армения родина курдючной овцы. Но лишь в советское время оно стало воистину культурным. Целых пятнадцать лет в одном из совхозов на Арагаце велась работа скрещивания местной овцы с мериносом, целью которой было получить новую породу, совмещающую и курдючность (качество местной овцы) и тонкорунность (которою местные грубошерстные овцы никогда не отличались). В результате была выведена новая замечательная порода «балбас»,— «армянская жирнохвостая»,— с курдюком, с полутонким волосом и с очень вкусным мясом. Другие домашние животные,— буйволы, одногорбые верблюды (двугорбые, вывезенные сюда из Средней Азии, плохо приживаются в здешнем климате), ослы, свиньи, мулы. Местный осел (ишак) — небольшого роста по сравнению с сильными и крупными хамаданскими ослами, но он выносливое и полезное животное по переноске тяжестей. В глухих горных местах, куда можно добраться лишь с трудом, вам навстречу вдруг катится огромный — с одноэтажный дом — шар свежего сена. Сперва кажется, будто его кто-то скатил с горы вниз и он сам валится по камням, но потом из-под шара вы вдруг замечаете изящные маленькие копытца, осторожно, словно по клавишам, перебирающие по камням: это терпеливый и кроткий ослик, навьюченный так, что ноша, по объему во много

раз больше его самого, заменяет хозяину в этих неприступных местах канатную подвесную дорогу.

Нужно еще упомянуть о пчелах. В армянских колхозах пчеловодство составляет очень крупную отрасль хозяйства, особенно в Алавердском, Азизбековском и Степанаванском районах. Среди пчеловодов Советского Союза армянская пчела славится. Опытной станции пчеловодства в Армении за год до Отечественной войны удалось добиться мирового рекорда продуктивности пчелиной семьи. Интересен метод, применяемый для выращивания в одной пчелиной семье до 100 штук маток, предложенный А. М. Котоглян: вырезаются маточники и кладутся каждый отдельно в клеточки, а клеточки помещаются по 30 штук на одну раму. Рабочие пчелы сквозь клетку не могут убить лишних маток и нормально питают каждую из них. В дневной час маточник выставляют прямо на улей, матка вылетает, оплодотворяется и летит обратно. Ее тотчас помещают в пчелиную семью, и она ведет себя дальше нормально. Так удается из одной пчелиной семьи получить много пчел. Трудно представить себе что-нибудь более вкусное, более напоенное ароматом цветов, чем светло-золотой сотовый мед в Микояновском и Лорийском районах.

11

История армян очень сложна, и, как и у многих древних государств на Востоке, была и у Армянского государства эпоха своей территориальной экспансии. Давным-давно, за две тысячи с лишним лет, при армянском царе Тигране II Великом (95—56 годы до нашей эры), границы Армянского государства охватывали огромное пространство — от берегов Каспийского моря до песков Палестины. Потом эти границы резко сдвинулись. В течение последующего времени Армения много раз теряла свою государственную самостоятельность, подпадала под власть то Персии, то Парфии, то Рима, то Византии; завоевывалась то арабами, то сельджуками, то монголами; была делима между Ираном и Турцией. Наконец в XIX веке часть ее вошла в состав

России, и связь с великим русским народом, сближение лучшей части армянской интеллигенции с передовой русской интеллигенцией, армянских рабочих с революционным русским рабочим классом оказались решающим фактором в ее дальнейшей исторической судьбе. Вместе с русским, грузинским, азербайджанским пролетариатом армяне — рабочие в Батуми, в Баку, в Тбилиси, в Александрополе, в Алавердах,— на рудниках и на заводах, на буровых и на транспорте,— всюду, где только работали они, вступили в революционную борьбу с самодержавием и капитализмом за новое, справедливое общество на земле, и в 1920 году Армения стала свободной республикой в великом Советском Союзе братских республик.

Во все времена своего исторического существования — самостоятельного и подчиненного — армянский народ сердцем своей родной страны считал как раз ту часть, которая в XIX веке отошла к России, а сейчас составляет сердце советской республики Армении,— Араратскую долину. В Араратской долине армяне во все исторические эпохи своей жизни не переставали чувствовать себя на своей исконной земле; с Араратской долиной, не меньше чем с Ваном и Ефратом, связывали они свои древнейшие языческие мифы и сказания; недаром армянский географ VII века Анания Ширакаци, перечисляя пятнадцать областей, составлявших древнюю Армению, называет центральною область «Айрарат».

Когда в IV веке Армения сделала христианство своей государственной религией, опять-таки в Араратской долине остался центр всего армянства. Сюда особенно тянулись мечты рассеянных по свету зарубежных армян, как к древнему клочку земли, где свыше двух с половиной тысяч лет жили армяне и предки армян.

И здесь, наконец, после Великой Октябрьской социалистической революции, армянский народ, с братской помощью великого русского народа, под руководством партии большевиков, обрел тот общественный строй, который обеспечил ему свободу и национально-культурное развитие, привел его на путь социалистического строительства.

Советская Армения охватывает территорию в 30 000 квадратных километров по горизонтальному исчислению. Наибольшая ее длина — 370 километров, наибольшая ширина — 200 километров. На севере она граничит с Грузией, на востоке — с Азербайджаном, на юге и на юго-западе — с Ираном и Турцией.

С двумя братскими советскими республиками, как и с двумя другими соседями, ее связывает железнодорожное сообщение. С Грузией эта связь поддерживается, кроме обычных поездов, и дизельным экспрессом Ереван — Ленинакан — Тбилиси через Лорийское ущелье. С Азербайджаном ее соединяет достроенная в недавние годы круговая железная дорога Ереван — Джульфа — Ордубад — Минджевань — Баку, проходящая частично по берегу реки Аракс. С территорией Турции Армению соединяет железнодорожная линия Ленинакан — Карс. Непосредственная граница Армении с Ираном очень невелика, так как основную пограничную полосу здесь занимает Нахичеванская АССР, входящая в состав Советского Азербайджана и расположенная в длину около 150 километров вдоль иранской границы. Пограничный с Ираном город Джульфа находится в Нахичеванской АССР. Связь Армении с территорией Ирана осуществляется железнодорожной линией Ереван — Джульфа — Тебриз. Между столицами закавказских советских республик поддерживается регулярное воздушное сообщение.

Как ни мала территория Советской Армении, но на небольшом сравнительно пространстве она задевает почти все наиболее характерные районы действия исторической Армении, кроме Вана (древнего армянского княжества Васпуракан), Эрзрума и, разумеется, Киликии. Входят в нее и Гугарк (теперешний Лори); и древнейшая область Гегамского моря (теперешний Севан); и кусок воинственного Сюни, никогда не подчинявшегося завоевателям и населенного мужественными, прославившимися своею храбростью армянами (теперешние Зангезур и Мегри); и сердце Армении — Араратская долина, с ее развалинами древних стен столиц Армении — Армавира, Арташаты и Двина, с ее Эчмиадзином и классическими памятниками армянского зод-

чества; и красивый Азизбековский район (бывший Даралагяз), с бесчисленными в горах руинами; и возделанный, цветущий Аштарак, куда очень редко ступала нога неприятеля; и зеленый Шамшадин, с развалинами средневековой крепости Тавуш; и плодороднейшие долины Ширака, откуда свыше двух тысяч лет назад, если верить Моисею Хоренскому, пошла народная поговорка, не забытая и по наши дни: «Коли у тебя глотка Шарая, то у нас не ширакские амбары», порожденная исключительным обилием и плодородием полей Ширака.

О каждом из этих своеобразных мест можно прочесть не только у древних историков, но и в новой армянской литературе. Так, о Сюни рассказывает исторический роман Раффи «Давид-бек» [39]; о Шамшадине, Гугарке, Гарни и других местах Армении можно прочесть в изящных и поэтических романах Мурацана [40]; об Аштараке — в этнографических повестях Перч Прошьяна [41] и во многих других книгах, о которых речь у нас будет ниже.

Перед народом Армении встает его родина во всем необычайном многообразии пейзажа, в богатстве исторических воспоминаний, в густом насыщении древними памятникам,— ведь стоит только отъехать на 2—3 километра от столицы республики, как начинаются встречи с этими памятниками, и нет уголка в горах, где их не нашлось бы; а главное — в необъятном богатстве новой, социалистической культуры, превратившей всю ее в цветущий сад. Сколько чудесного разнообразия на этой земле с ее одиннадцатью городами, из которых три главнейших — Ереван, Ленинакан и Кировакан — растут буквально не по дням, а по часам, превращаясь в крупнейшие промышленные и культурные центры, а другие — «районного подчинения» (Алаверди, Кафан, Октемберян, Эчмиадзин, Степанаван, Нор-Баязет, Горис, Артик) — еще вчера напоминали простые поселки и деревни, а сейчас все более принимают настоящий городской облик, имеют свою многочисленную интеллигенцию, застраиваются, перепланировываются, гордятся своими театрами, школами, промышленностью.

Казалось бы, 200 километров в ширину и 370 в длину — это несколько часов автомобильной поездки в оба конца. Но вот в 1922 году собрался в Ереване I Всеармянский сельскохозяйственный съезд [42]. И самыми интересными докладами были на нем доклады «с мест» — от семи уездов (тогда еще они не назывались районами). Слушали эти доклады с жадным вниманием, в кулуарах ловили делегатов и расспрашивали их отдельно с неистощимым любопытством. Задаваемые вопросы показались бы нам теперь очень наивными, словно речь шла о луне. Ведь до некоторых из этих уездов в те дни почти нельзя было добраться удобными средствами сообщения. В старый Даралагяз не было хорошей колесной дороги, а имелась только верховая тропа; в Зангезур, вернее в центр его, правда, имелась дорога, но не было ни машин, ни повозок, ходивших туда, и ехать приходилось опять-таки верхом; еще небезопасны были в те годы дороги,— на путешественников нападали бандиты; немыслимо трудна была связь между отдельными деревнями, разделенными пропастями, каньонами, скалами. Жители этих деревень спускались подчас по таким тропинкам, которые, если б снились они человеку во сне, заставили бы его проснуться в ледяном поту от кошмара.

Так было в 1922 году. С тех пор в Армении построено много шоссейных дорог. Но можно ли сказать, что все уголки Армении, особенно в таких районах, как Зангезур и Микоян, Шамшадин, Мегри и горное окружение Севана, известны и исхожены армянами вдоль и поперек? Конечно, нет. Жизни, пожалуй, мало, чтобы собственными ногами исходить эти 30 тысяч квадратных километров Советской Армении, заключающие в себе чуть ли не все доступные воображению контрасты и красоты природы.

За годы советского строительства это познание, правда, облегчено очень многим: не только дорогами и растущей культурой страны, но и тем, что тесно связано с ее ростом,— новым административным делением территории. Прежние девять «уездов», дошедшие до

нас от персидского владычества, когда Армения делилась на такие же большие клетки, «магалы», создавались главным образом по признаку физического деления страны — по течению рек и по орошаемому этими реками пространству. Но течение реки — это разнообразие «четырех этажей» природы: пустынные снеговые вершины, где зарождается речка, цветущие луговые нагорья, по которым бежит она вниз, долины, где она замедляет свой бег, и, наконец, болотистые или низменные устья, где она кончает свою обособленную жизнь. Каждый этаж имеет характерный признак пейзажа, и характерные условия для преобладания того или иного вида хозяйства, и свой климат, и свою почву, и свои навыки у населения.

Поэтому строители Советской Армении установили первоначальное административное деление республики по принципу так называемой вертикальной зональности. Сперва старые уезды были распределены по трем зонам: горной, где в ходу было лишь летнее кочевое скотоводство; предгорной, где появляются зерно и табак, и низменной, где поспевают хлопок, рис, овощи, виноград. Уезд превратился в район. Но клетки этого первоначального районирования страны все еще оставались очень большими.

Когда, лет пятнадцать назад, новый человек впервые приезжал на работу в район, его встречало бесконечное разнообразие. Чего только не было в его районе! И горные недра с рудниками и заводами, и черноземные почвы, и кусочек пустыни, и дивные лесные уголки. В одном месте зрела рожь, в другом — рис. А культура земли требовала прежде всего правильного землеустройства, введения травопольного севооборота, где земле давалась бы возможность структурного восстановления, чередуемого с посевом наиболее подходящих в этой местности и для этой почвы сельскохозяйственных растений. Нужно было «микрорайонировать» землю, точно знать, где и какие места ее наиболее пригодны для такой-то и такой культуры.

К примеру, у тогдашнего руководителя огромного Ленинаканского (раньше Александропольского) района не только был «хлопот полон рот», но и зачастую

трудно ему было разобраться, на чем ставить ударение в своем хозяйстве, имевшем самую общую характеристику: на необычайно ли плодородных, еще не изученных в полной мере почвах, разных по своему составу; на богатейших ли месторождениях особо легкого, особо качественного розового туфа; на самом ли городе с его молодой промышленностью; на лугах ли с давнишним развитием животноводства. Отдаться одинаково каждому из этих слагаемых во всем их разнообразии, знать вглубь каждое из них и одинаково тянуть их в те первые годы советского строительства было подчас не под силу руководству района.

Сама жизнь диктовала в то время необходимость разукрупнять районы. Процесс дробления районов, сопровождаемый точным определением качества почв и подготовкой, а местами и введением травопольного севооборота в колхозах, особенно интенсивно начался с 1935—1937 годов. Вместо одного Ленинаканского образовалось целых четыре района; и когда говорили Гукасян, то знали, что это прежде всего район животноводства; Ахурян — это сахарная свекла; Артик — это туф и свекла; Агин — это зерно. А сам Ленинакан — это второй крупный центр республики. Позднее, с ростом и усилением материальной базы каждого района, с начавшимся процессом укрупнения нескольких небольших колхозов в один, более мощный, узкая специализация района сменилась естественной необходимостью «комплексности», чтоб все нужное было в районе у себя под рукой. Исключительно выросла в последние годы также и роль подсобного хозяйства. И сейчас, когда мы говорим Ахурян — то это в основном сахарная свекла и зерно, а в то же время и животноводство; Октемберян — хлопководство и животноводство, а в то же время и зерно; Басаргечар — самый крупный зерновой район, а в то же время и табак, и животноводство, и т. д. Вот почему, столь же естественно и необходимо, как пережитый в конце 30-х годов процесс разукрупнения районов, в начале 50-х годов республика встала перед необходимостью слияния некоторых районов друг с другом, и вместо

существовавших тридцати восьми районов указом 19 марта 1951 года их стало меньше [43].

Изменения в экономическом облике районов отражаются и на самом принципе районирования. Обычно их группировали географически на пять комплексов: районы низменной зоны, полугорной зоны, горной и высокогорной зоны, Зангезурской зоны и зоны Севанского бассейна; сейчас эти районы группируются уже по экономическому признаку в восемь экономических комплексов:

I. Центральный энергетический и промышленный район (включая Ереван).

II. Араратская долина.

III. Зангезур — Азизбеков.

IV. Ширак.

V. Алаверди-Кироваканский промышленный район.

VI. Лори.

VII. Северо-восточный лесной район.

VIII. Севанский бассейн.

В этих районах свыше тысячи населенных пунктов, свыше тысячи колхозов и двенадцать совхозов, главным образом виноградарских. В Армении одиннадцать городов; к ним надо прибавить девять поселков городского типа и четырнадцать рабочих поселков.

Не следует думать, что широкая масса армянского населения уже хорошо изучила все восемь комплексов своей страны, состоящих из тридцати трех районов. Ведь только небольшое число этих районов лежит на линии железной дороги или пользуется пароходным сообщением, как районы Севанского бассейна. Остальные представляют собою так называемую «глубинку», куда попасть можно лишь на автомобиле. Для большинства же наших читателей эти тридцать три названия ровно ничего еще или почти ничего не говорят. Но мы постараемся в дальнейшем сделать их,— если не все, то хоть часть из них,— живыми для читателя, раскрыть перед ним пейзаж этих мест, картину районов с их особенностями, обычаями и хозяйством,— словом, показать ему живой кусок природы, обжитый живыми людьми.

13

Но сперва — кто же эти живые люди, составляющие армянский народ, свыше двух с половиной тысяч лет невероятным упорством и настойчивостью тяготевший к родной армянской земле,— и тем упорнее, чем больше разбрасывала его судьба по всем остальным странам?

Армяне — один из древнейших народов мира. Название «армен» упоминается впервые в конце VI века до нашей эры.

Близ иранского города Керманшаха на Бисутунской скале сохранились клинообразные надписи персидского царя Дария Гистаспа на трех языках — древнеперсидском, мидийском и вавилонском. В этих надписях упоминается об армянах как о самостоятельном народе, имевшем свое государство, и рассказывается о поразительном упорстве и мужестве, с каким они в пяти сражениях, борясь с превышавшим их численно завоевателем, отчаянно отстаивали свою независимость. Вот эти места:

«Говорит царь Дарий: Армянина Дадрша, слугу своего, я отправил в Армению, сказав ему: иди разбей мятежников, не повинующихся мне. Дадрш выступил. Когда он прибыл в Армению, мятежники, собравши свои силы, пошли на него войной. Есть в Армении город под названием Зуза; тут они дали сражение 8-го числа месяца Туравахара (19 апреля 521 года). Аурамазда мне помог: помощию Аурамазды войско мое жестоко разбило войско мятежников... Говорит царь Дарий: вторично собрали свои силы мятежники и пошли против Дадрша войной. Есть в Армении крепость под названием Тигра; там дали они сражение 18-го Тураваахара (28 апреля). Аурамазда мне помог: помощию Аурамазды войско мое жестоко разбило мятежников... Говорит царь Дарий: в третий раз собрали свои силы мятежники и пошли против Дадрша войной. Есть в Армении крепость под названием Ухяма; там дали они сражение 9-го числа месяца Тайграчи (20 мая). Аурамазда мне помог: милостию Аурамазды войско мое жестоко разбило мятежников. После того

Дадрш ждал меня, пока я прибыл в Мидию... Говорит царь Дарий: после того отправил я в Армению Вахумису Перса, слугу своего, сказав ему: иди разбей войско мятежников, не повинующихся мне. Вахумиса выступил. Когда он прибыл в Армению, мятежники, собравши свои силы, пошли на него войной. Есть в Ассирии область под названием Иззала; там дали они сражение 15-го числа месяца Анамака (18 января 520 года). Аурамазда мне помог: милостию Аурамазды войско мое жестоко разбило мятежников... Говорит царь Дарий: снова собрали мятежники свои силы и пошли войной против Вахумисы. Есть в Армении область под названием Аутияра; тут дали они сражение 30 Туравахара (1 июня 520 года). Аурамазда мне помог: милостию Аурамазды войско мое жестоко разбило мятежников». Профессор Г. А. Халатьянц, по книге которого «Очерк истории Армении» я цитирую Бисутунскую надпись, комментируя ее, говорит, что армяне «последовательно разбивали персов и даже наступали в Ассирию», покуда «араратская династия не была упразднена Дарием, и страна, подобно другим вассальным государствам, была обращена в сатрапию». Произошло это в 519 году, то есть в VI веке до нашей эры. Понятно, что для античных писателей Запада армяне уже были древним народом.

Предки армян искони жили у подножия Арарата. Моисей Хоренский, крупнейший из древних армянских летописцев, рассказывает о легендарной истории праотца всех армян, Гайка, вычитанной из «ученой книги», якобы переведенной с халдейского на греческий и найденной в Ниневийском архиве некиим сириянином, Мар-Абасом Катиной, «мужем разумным и сведущим в халдейской и греческой письменности»: когда праотец Гайк со своим сыном Арменаком и другими сынами, дочерьми и внуками, «числом около трех сот», не желая покориться вавилонскому царю Бэлу, вышел из Вавилона и пришел поселиться в землю Араратскую, «у подошвы одной горы на поляне», то выбранное им место поселения не было необитаемым, а там «жило уже небольшое число прежде рассеявшихся людей, которых Гайк подчинил себе» [44]. В другом месте Моисей

Хоренский приводит об этом событии целую цитату из Мар Абаса Катины: «На южной стороне этой равнины, близ горы с продольным основанием, еще прежде жило небольшое число людей, которые добровольно покорились полубогу». И в третий раз возвращается Моисей Хоренский к тому же факту, как бы особо привлекая к нему внимание, потому что считает его немаловажным: «...Историк говорит нечто [достойное] удивления: «до прихода коренного предка нашего, Гайка, во многих местах нашей страны разбросанно жило небольшое число людей» [45].

У Гекатея Милетского в одном из фрагментов (№ 190) сохранилось свидетельство о хайях: «Рядом с землей вехиров живут хои, с хоями соседят с востока аниары». Советский ученый говорит по этому поводу: «В имени племени хои можно видеть последний пережиток именования древнейшего народа, жившего за 1300 лет до нашей эры в Армении: хайаса. О государстве Хайаса, войнах против его царей и договорах с ними много говорят хеттские летописи» [46]. Сами армяне всегда, на протяжении всей своей истории, называли себя хайями, то есть сынами Гайка, а свою родину — Хайастан, то есть страною хайев. Но всеми другими народами они назывались армянами, а страна их — Арменией. Под этим именем мы встречаем их у Геродота, Страбона, Ксенофонта, Тацита, и оно же осталось у них и по сегодняшний день. Новейшие исследования приводят любопытные свидетельства о древнем родстве армян со скифами. Вот что читаем об этом у академика Гр. А. Капанцяна: «Киммеры и саки, эти перекроители этнической и политической карты древней Малой Азии, начиная с конца восьмого века до нашей эры, оказывают сильное давление и на хайасцев, либо подчинив их себе, либо же сделав их своими союзниками в борьбе с ассирийцами, а возможно и с урартцами... Армянский первый «венценосец» Гаройр Ска-орди (то есть сын сака), несомненно, сакского (скифского) происхождения, и недаром армянский историк Корюн армян называет «асканазским домом» от имени Ашкеназ, считаемого скифом (саком)»... Академик Капанцян приводит даже некоторые общие

слова у армян и у саков (скифов), такие, как «книга» (арм. Knikh — печать); «колдовать» (арм. Khaldeaj — халдей); имя бога Яр (Ярило) (арм. Ар — Ара) и пр., а также легенду об основании города Киева тремя братьями Кий, Щек и Хорив, перекликающуюся с подобной же легендой у армян об основании города Куарс братьями Куар, Хорреан и Мелти [47].

Я привела эту длинную выписку для того, чтоб показать читателю, как рано, с незапамятных времен, начинаются взаимоотношения предков армянского и других закавказских народов со скифами. Эти взаимоотношения отразились и в общности отдельных словесных корней и в сходстве исторической легенды, приведенной у Нестора-летописца. Для нас все эти факты бесконечно дороги и драгоценны, они говорят о том, как издавна, органически связаны были народы, живущие по обе стороны Кавказского хребта, с народами, населявшими территорию древней Руси. В Большой советской энциклопедии (т. 51, «Скифы») при перечислении различных скифских и близких к ним племен сказано по поводу скифов: «...устанавливается непосредственная преемственность между скифами и позднейшим славянским населением, вошедшим в состав Русского государства». Так тянутся нити исторического тяготения закавказских народов к русскому — можно сказать — из тьмы веков, из седой древности.

В различные исторические эпохи армянам приходилось сниматься с насиженных мест, покидать родную землю, рассеиваться по чужим странам. Эти массы беженцев на чужбине расслаивались. Зажиточная верхушка обычно приспособлялась к новым условиям, усваивала чужие культурные традиции, делила интересы местных господствующих классов и часто совершенно утрачивала свое национальное лицо [48]. Наоборот, армяне-труженики, особенно беженцы-крестьяне, всегда оставались верными своему национальному началу. Рассеянные по лицу земли, они прочно помнят или представляют себе по рассказам людей бывалых место исхода своих предков — Араратскую долину. Отсюда некоторые черты «землячества», сближающие армян тружеников на чужбине, заставляющие их селиться ря-

ном, на одной улице. Во многих больших городах — в Марселе, во Львове, например,— есть Армянская улица, где рядом селились армяне ремесленники. Это чувство землячества народ пронес через тысячелетия своего рассеяния по земной планете. Он сохранил его в теплом местоимении «ты» армянского языка, до сих пор в величавой своей античности более присущем духу языка вместо обращения на «вы» к единственному лицу, введенного в более позднее время.

Ярким примером верности своему народному началу и в то же время правильности исторического понимания своей классовой задачи может служить армянин пролетарий, кадровый рабочий и коммунист, отдавший свою жизнь за свободу Франции, Мисак Манушян. В детстве он жил в Турции; осиротев, перебрался во Францию, поступил на завод Ситроена, получил пролетарскую закалку, вошел в коммунистическую партию. Но не забыл родного языка — писал по-армянски стихи и редактировал армянский журнал. Немцы, захватив Францию, бросили Манушяна в концлагерь. Он оттуда бежал в Париж и стал командиром Интернациональной партизанской бригады. Были в этой бригаде французы, бельгийцы, испанцы, итальянцы. Манушян с неслыханной смелостью, среди бела дня, на улице в Париже бросил гранату и убил несколько фашистов. Бригада его совершила 150 крупных диверсий, уничтожила графа фон Шёнбурга, отправлявшего французских рабочих в Германию, и фон Риттера, ведавшего дорогами, по которым транспортировалось вооружение на Восточный фронт, против Советского Союза. Осенью 1943 года Манушяна вместе с двадцатью двумя товарищами захватили фашисты. Процесс о нем и его бригаде длился два месяца. Манушяна и его товарищей расстреляли за несколько дней до освобождения Парижа. Когда над городом взвился трехцветный флаг, на могилу партизан пришли с цветами и флагами представители всех французских партий, объединенных Комитетом сопротивления, и одну из улиц Парижа назвали Рю Манушян — улицей Манушяна. Перед смертью Манушян просил жену поехать в Советскую Армению, и жена его, Мелинэ, отправилась в долгий путь по осво-

божденным дорогам, запруженным солдатами, мимо разрушенных городов, испепеленных деревень в Советскую Армению, храня на груди предсмертное письмо мужа, переданное ей через Красный Крест. Мисак Манушян писал, что умирает спокойно и с ясной головой, просил ее уехать в Советскую Армению, повезти туда его стихи, передать поклон родной земле.

Как только в огне Великой Октябрьской социалистической революции родилась Советская Армения и впервые за много сот лет армянский крестьянин вышел спокойно засевать родную землю, зная, что так же спокойно соберет урожай и никто уже не будет стоять над ним с оружием, никто не сожжет его дом, не вырежет его семью, не угонит корову,— многие зарубежные армяне-труженики потянулись на родину.

В конце 1949 года Ереванская киностудия выпустила очерк «За Биченагским перевалом». Фильм посвящен передовому в Армении колхозу «Бекум» («Перелом») и одному из таких тружеников, Айрапету Агаджановичу Симоняну, приехавшему в Советскую Армению из Ирана.

Айрапету Симоняну было тогда 48 лет. В 1946 году вместе с большой группой зарубежных армян он впервые вступил на советскую землю. Айрапет Симонян был принят в члены высокогорной артели «Бекум» Сисианского района и стал во главе звена высокого урожая.

За три года в семье переселенца произошли большие перемены. Она живет в светлом, благоустроенном доме, построенном на средства, отпущенные в кредит советским государством. В личном пользовании Симоняна овцы, птица, огород. В 1949 году на заработанные трудодни Симонян получил более 100 пудов хлеба, 30 пудов картофеля, 140 килограммов масла, сыра, меда...

В Ереване на кабельном заводе работает прекрасный, знающий мастер Ерванд Утуджян. Он много перевидал на своем веку. Родился в Смирне и пережил турецко-армянскую резню; бежал от нее в Грецию; из Греции в поисках работы добрался до Франции и здесь,

в городе Лионе, у фабриканта Граммона проработал на кабельном заводе 23 года.

«Целых двадцать три года своей жизни отдал я Граммону,— рассказывает Утуджян.— Работал в полном смысле в поте лица, а не смог получить в Лионе даже отдельной комнатушки. Нас там за людей не считали, у нас была кличка «sales étrangers» — грязные иностранцы. Да мы и жили в грязи, в нищете, в холоде. Климат в Лионе ужасный, туманы, дожди, вода питьевая для бедняков отвратительна. И вот я переправился на родную землю, в Советскую республику Армению. Нельзя передать словами, что переживаешь. Ты вдруг чувствуешь, что ты сам, жена твоя, дети твои стали людьми, стали гражданами, полноправными, полноценными. И то, что попрекают, что презирают в стране капиталистов, труд твой, мозолистые твои руки,— здесь дает тебе право гражданства, дает право гордо носить голову на плечах, гордо ходить по улице. Я стал расти. Поступил на Ереванский кабельный завод простым чернорабочим; через два месяца сделался мастером; а еще через два — заведующим отделом. Выполняю 150 и более процентов. Мы с ноября уже выполнили годовой план. Говорю «мы»,— а кто стал бы у Граммона говорить «мы»! И я радуюсь на жену мою, глядя, как она культурно живет, как ходит в кино, в театр... Да всего не высказать, что рвется из души!»

Таких, как Утуджян, много сейчас на заводах и фабриках Армении. Есть среди репатриантов и большие ученые, например бывший профессор Сорбонны, химик-почвовед Мкртыч Тер-Карапетян. Он получил в Ереване в свое распоряжение лабораторию и создает для республики много полезного. Так, из хлопковых отбросов и овсяной лузги при помощи гидролиза он вырастил дрожжи, а из этих дрожжей извлек дешевый полноценный белок для подкормки животных, близко подходящий к белку животного производства. Но гидролиз стоит дорого, и тогда профессор Тер-Карапетян сам сконструировал аппарат, в девять раз ускоряющий производство дрожжей и обходящийся без компрессора. Называется этот аппарат «новая ускоренная пропеллерная установка».

В огромном большинстве своем репатрианты отлично прижились в новых для них условиях, давших им возможность полного творческого раскрытия своих сил. Преобладающая их масса — люди труда, выходцы из рабочего класса, члены зарубежных коммунистических партий, беднейшие представители крестьянства.

Как-то несколько лет назад, весенним вечером, в свежем, похолодевшем воздухе я услышала звуки французской речи,— мы тогда подъезжали к новому, еще не достроенному, но уже полному народа клубу в поселке Нор-Себастия, в нескольких километрах от Еревана. Все вокруг было армянское: и черное низкое небо с очень крупными, близкими звездами; и плоскокрышие новые домики с глинобитным забором, с молодыми, недавно посаженными деревцами, едва распустившимися в прохладе еще очень ранней горной весны; и корпус новой шелкоткацкой фабрики с освещенными окнами; и арычок вдоль дороги, веселый, раздувшийся от таяния снега в горах,— а речь не армянская.

Шли две девушки в клуб, видимо очень торопясь, чтобы успеть захватить места; мелькнули в свете фар темно-румяные щеки, взбитые колбаской надо лбом черные густые волосы; хорошие женские армянские глаза с их вечной великотруженической кротостью,— и французские слова! Это были замечательные ткачихи, вернувшиеся на родину из Валансьена. Остановив их, мы разговорились с ними. И на вопрос: «Ну, что вы там делали, во Франции, как там жили?» — они ответили совершенно по-простонародному, как говорит во Франции крестьянство, с безличной частичкой «on», заменяющей самоуверенное и индивидуальное местоимение «je» (я): «on a travaillé». В буквальном переводе — «оно работалось», о себе как бы в третьем лице, но в третьем лице от всех земляков. Это, по правде, и непереводимо в точности, но сразу говорит вам о том, с каким классом там жили и общались армянские труженицы.

Величайшим счастьем для всех этих людей, не имевших на чужбине никакой перспективы, было возвращение на советскую родину.

В старой народной песне «Крунк» изгнанник спрашивает у пролетающего журавля:

«Крунк! Куда летишь? Крик твой — слов сильней!
Крунк! Из стран родных нет ли хоть вестей» [49].

(Перевод В. Брюсова)

Но в этой старой песне крунк не отвечает: хороших вестей нет. Ответ изгнаннику дала другая, новая песня, написанная молодым советским поэтом Геворком Эмином. В ней журавль, покинувший «опаленные кровли», «пожары», «поломанные гнезда» Армении, спустя годы снова возвращается — и не узнает ее: на прежних пепелищах цветут сады, птицы вернулись в гнезда. Поэт посылает журавля к изгнанникам вестником счастья, зовущим их на родину.

ПЕСНЯ О ЖУРАВЛЕ

Ты, улетая, на крыльях нес
Пепел Армении,
Были глаза твои полны слез
В годы гонения.
Тихо курлыкал ты: «Не вернусь
В долы зеленые,—
Там только смерть, стенанья да грусть,
Кровли спаленные».
Где ж от армянской кручины, где
Спрятаться, странствуя?
Видел на суше ты, на воде
Долю армянскую.
Слышал ты кинувших край родной
Сирых изгнанников,
Слышал призывы: домой, домой,
Жалобы странников...
Всюду гнездо твое, бедный друг,
Было поломано.
Сколько пожаров, мечей и вьюг,
Птичьего гомона!
Вот и решил ты, серый журавль:
«Смерть неминуема,
Лучше умру средь родимых трав,
Ветром волнуемых».
А возвратившись, увидел ты
Чудо нежданное —
Землю сухую покрыли цветы,
Розы багряные.

Залюбовался сам Арарат.
С царственной завистью
Хочет шагнуть в этот пышный сад
С новой завязью.
Вьется дымок. А ветви полны
Птичьими гнездами,
Тонкие лозы отягчены
Спелыми гроздьями.
Друг, ты на крыльях сюда принес
Пепел отчаянья,
Влагу скитальческих дальних слез,
Давние чаянья...
О, отнеси ты с армянских нив
Золото колоса,
Снега с вершин и родной призыв
Братского голоса!
Ты у Аракса воды спроси,
В небе сияния,
Горстку родной земли отнеси
В земли скитания.
Друг, улетай и вновь возвратись
С нашими братьями,
Встретит вас горная наша высь
Лаской, объятьями.
Больше не станут звать журавля
Бедным изгнанником,
Примет, любя, родная земля
Жаждущих странников[50].

(Перевод В. Звягинцевой)

14

Старый венский искусствовед, профессор Стржиговский, высказал в предисловии к своему труду очень глубокую и интересную мысль.

«Еще сравнительно в недавнее время,— пишет он,— во второй половине первого тысячелетия, существовал, наряду с средиземноморским, широкий путь сообщения из Персии через Армению и Черное море с Южной Россией и придунайскими странами, который оттуда шел во все области Европы. Этот путь уже в древнейшие времена играл исключительную роль для народов и по богатству своих разветвлений мог бы быть сравнен лишь с теми странствиями, какие вели народы серединной Азии через Алтай. В связи с этим следовало бы, наконец, спросить, по какому, собственно, праву исто-

рические науки всегда оглядываются на Италию, Элладу и Южный Восток и почти совершенно исключают из своих исследований этот древний, гораздо более далеко идущий путь странствий и культурных взаимодействий между Севером и Востоком? Кто может утверждать, что предпочтение к культуре греков и римлян приводит нас в наиболее естественное, а поэтому и наиболее плодотворное русло изысканий?»[51]

Именно частью этого пути ходили и древние русские купцы по словам арабского писателя Ибн-Хордабде («Книга путей и царств», вторая половина IX века): «Купцы русские ходят на кораблях по реке славянской (Волге), проходят по заливу Хазарской столицы, где владетель берет с них десятину. Затем они ходят к морю Джурджана (южная часть Каспийского) и выходят на любой им берег. Иногда же они привозят свои товары на верблюдах в Багдад»[52]

На этой древней магистрали, по которой шло развитие человеческой культуры, конечно, не в меньшей степени, нежели по другой, более поздней и гораздо более изученной дороге «Южный Восток — Эллада — Рим», на древней этой магистрали, где, быть может, древнейшие культуры Индии и Китая, их техника, поэзия, мифы текли к народам Европы, где славяне с незапамятных времен встречались и общались с культурными государствами Закавказья,— лежала и маленькая Армения. Историк Я. А. Манандян, рассказывая о постройке древнейшей столицы Армении, Арташаты, пишет, что «выбор местоположения города был сделан удачно как с военной, так и с экономической точек зрения». Почему? Потому, что «через равнину Арташаты пролегал магистральный путь транзитной торговли, шедший из Средней Азии и Китая к черноморским портам»[53].

В памятниках армянской письменности, поэзии, архитектуры, в армянских средневековых учреждениях, если подойти к ним под углом зрения мысли, высказанной Стржиговским (то есть с точки зрения развития культуры по второй древней магистрали между Китаем, Индией, Персией, Византией, народами Закавказья, Русью, славянством и Европой), можно найти

много неожиданного и ценного, что покуда еще далеко не полностью изучено и учтено наукой.

Не так давно несколько ученых Грузии, Армении и Азербайджана выступили с теорией «раннего Ренессанса» в Закавказье[54]. Что представляет собой эта теория одновременно и увлекательная и спорная? Со второй половины XII и в начале XIII века Армения временно вошла в состав Грузии. Это был блестящий период правления грузинской царицы Тамары. Армянская наука, философия, поэзия, чувство государственности, эволюция языка, общественная жизнь приобрели в те дни некоторые черты, напоминающие в своей совокупности эпоху, известную в истории под термином «Ренессанс». Но черты эти появились в Закавказье значительно ранее итальянского Возрождения. Они были прерваны в своем развитии нашествием монголов. Вот эта хронологическая «ранность» элементов Ренессанса и заставила закавказских советских ученых поставить проблему «раннего Ренессанса на Востоке, предшествовавшего итальянскому». Строго говоря, «ранним» был не один только «Ренессанс»; можно сказать, что и некоторые этапы развития средневековья, особенности феодализма, организация ремесленников, революционные крестьянские движения — все это значительно раньше наметилось на Востоке, нежели на Западе. Традиции тут восходят к древнейшим временам, прослеживаются до Египта и Китая. Но как бы спорны ни были все эти вопросы, ясно одно: огромное поле для научных исследований открывается в Закавказье перед историком.

В этой книге нет возможности дать последовательный и исчерпывающий очерк всей истории Армении, однако многомиллионный советский читатель часто встречает в искусстве братского народа — на сцене, на экране, в книгах — древние мифы и легенды, исторические события, образы деятелей прошлого, и ему хочется знать о них подробнее, увидеть их на развернутом историческом фоне. Чтоб хоть отчасти ответить на эту потребность, я даю читателю в приложении к книге краткий очерк той части истории Армении, которая больше всего отразилась в памятниках литературы.

Когда мы с новых, завоеванных нашим народом исторических позиций обращаемся сейчас к прошлому, мы видим, что при всем разнообразии фактов армянской истории она тоже прошла периоды, на которые мы привыкли делить историю других народов. Так, у армян есть своя «предыстория», свой легендарный период с чертами родового общества,— примерно за две тысячи лет до нашей эры. Есть своя «древняя история», период уже исторический, примерно с VI века (до нашей эры) по 303 год (нашей эры), когда армянский царь Трдат III принял христианство и провозгласил его государственной религией. Есть своя «средняя история» – типичное средневековье, со всеми присущими средним векам особенностями: феодализмом, вмешательством церкви в дела государства, особыми земельными регламентами для крестьян, цехами для городских ремесленников, крестьянскими войнами, внешне окрашенными религиозно-сектантским налетом, а по существу классово-революционными восстаниями угнетенных против угнетателей. Есть своя «новая» и «новейшая» история с утратой государственной самостоятельности, но с ростом собственной буржуазии, часто предававшей свой народ и прислуживавшей очередным хозяевам.

И наконец есть своя светлая, советская история, когда в огне Великой Октябрьской революции родилась Армянская Социалистическая Республика, давшая армянскому народу мир и прочное счастье.

Я сказала, что прошлое Армении укладывается в привычные для нас исторические периоды; но есть в этом прошлом и одна особенность, отличающая его от истории других народов. Порождена эта особенность отчасти сложностью географического положения Армении «на проезжей дороге», сделавшего ее ареной почти непрерывной борьбы.

Невозможность удержаться своими силами против нашествия более могущественных народов, необходимость искать поддержки у соседей, распри этих соседей за обладание Арменией, распри внутри самой Армении между различными ее князьями, обилие государственных образований, деливших Армению на «Ве-

ликую» и «Малую», на первую, вторую, третью и четвертую, на отдельные княжества со своими династическими родами и периодами возвышений и падений; времена государственной самостоятельности, сменявшиеся порабощением; разнообразие сил, участвовавших в борьбе за нее: Парфия, Рим, Сасанидская Персия, Византия, арабы, сельджуки, монголы, а в новое время шахская Персия и Османская Турция; исход части армян из метрополии в Киликию и создание ими совершенно нового средневекового государства, Киликийского, просуществовавшего целых 300 лет (1080—1375 годы),— все это очень дробит и множит фактическую сторону событий, мешает историку охватить ее в единой концепции.

Трудность увеличивается еще и потому, что древние и средневековые историки оставили нам в наследство как раз эту дробность: историю династий, монастырей, завоеваний, почти ничего не рассказав о самом народе. А ведь в то время, как и свои правители, и чужеземные завоеватели, и знать, и отдельные представители духовенства делили Армению, разрывали ее на части, обессиливали во внутренних распрях,— в это самое время в убогих подземных жилищах, тех самых, где, по слову поэта Исаакяна:

> ...у очага, перед огнем,
> Гусаны наши пели песни и запивали их вином,
> И в песнях славили победы, и пели гимн богатырям,
> Врагам предсказывая беды, и поражение, и срам [55],—
>
> *(Перевод М. Зенкевича)*

в этих убогих норах тысячелетиями жило и непрерывно трудилось на родной земле армянское крестьянство — историческая сила древнего армянского народа.

Историки почти не говорят о крестьянах в своих летописях, но если за Армению жадно боролись иноземцы и собственные князья, если к ней хищно тянулись Рим и Парфия, Византия и Персия, если ее непрерывно затопляли арабы, сельджуки, монголы, то потому, что она была лакомым куском, потому, что поля ее были тучны, нагорья покрыты садами, луга — стадами, а это

было делом рук армянского крестьянства. В Армении было что грабить, было кого обкладывать податями, над нею выгодно было властвовать. За пять столетий до нашей эры наемные греческие войска, уходя из Месопотамии, прошли через Армению, и возвращение их описал Ксенофонт. Он подробно рассказал, как эти войска застали тогда в Армении плодороднейшую страну, еще без городов, с одними селами, где были и пшеница, и ячмень, и все виды домашнего скота, и мед, и пиво, и вино, и птицы, и плоды, и масло, и всякие благовония, и краски, и домашние ткани. Армянское крестьянство жило тогда в подземных норах, остатки которых как исторические памятники сохраняются в наши дни, и плоды его рук собирал через своего сатрапа персидский царь. Уже в этом коренное отличие древней Армении от античного мира, строившего свое хозяйство на труде рабов.

Судя по концепции, принятой академиками Б. М. Грековым и Я. А. Манандяном, древняя Армения знала рабов лишь как военнопленных, работавших большей частью в качестве «домашних слуг» у знати, но института рабства в ней не было. Основною производительною силою по этой концепции в Армении и в древности и в средние века были трудолюбивые полусвободные крестьяне — «шинаканы» или «рамики» — последнее название охватывает также и позднейший городской податной, полусвободный класс.

В феодальный период, когда уже выросли в Армении города и шел живой торговый обмен с соседними странами, положение крестьян стало тяжелее. Их облагали податями, кроме своих владетелей, также и все завоеватели, подчас по двое сразу; их опутывали десятки всяких местных налогов и отработок: они должны были отдавать часть урожая помещику, десятину (так называемый «птух») церкви. С половины VI века был введен, кроме натурального, и денежный поземельный налог. Чтобы получить деньги, необходимые для уплаты, крестьянам приходилось или за бесценок продавать свое добро, или идти в лапы к ростовщикам. Между сборщиками податей и ростовщиками они зачастую

бились до конца дней своих, не в силах справиться с долгом. А за неуплату с ними жестоко расправлялись кредиторы — побоями, истязаниями, казнями. Рамиков, не имевших возможности платить дань, били, вешали, зимой бросали в ледяное озеро. И все-таки знаменитая армянская пшеница поспевала на полях и не только кормила завоевателей, собственных хозяев, ораву их челяди, сборщиков податей, ростовщиков, деревню и город, но и вывозилась за границу, вплоть до главного города арабского халифата Багдада.

В средневековой Армении мы видим и городских ремесленников, составлявших вместе с крестьянами несвободное сословие рамиков — «аназат» (азат — свободный, ан — частица отрицания). Когда был раскопан из земли и описан в трудах исследователей город Ани, наглядно открылось, что каждая группа ремесленников в Ани жила в особом квартале: были раскопаны специальные кварталы кожевников, плотников, кузнецов, седельщиков, оружейников и т. д. Эти ремесленники были объединены в производственные союзы, называемые «амкарствами» (амкарства сохранились со своим ритуалом в Закавказье даже до начала XX века!).

Работы армян-ремесленников в Ани, этом городе «всемирно известном» [56], стояли на очень большой высоте. Армян-каменщиков приглашала на свои строительства Византия. «Продукция ремесленной и художественной промышленности, найденная во время раскопок,— пишет академик Манандян,— ярко показала, что культурная жизнь Ани и городов Багратидской Армении находилась на более высоком уровне развития, чем в средневековых городах Западной Европы» [57].

Это не безответственное утверждение. Крестьяне и ремесленники Армении, Грузии и Азербайджана в первое тысячелетие нашей эры прошли те процессы и создали те институты, которые у европейских ремесленников и европейского крестьянства наблюдаются намного позже, в XIV—XVII веках. Армянский народ, как и его закавказские соседи, имел древнейшие культурные традиции. Не забудем, что, когда он вышел на широкую историческую арену, многие азиатские страны еще были

культурнее Греции. В предисловии своем к биографии Плутарха С. Я. Лурье пишет: «В VI веке Восток еще был значительно культурнее Греции, и передовые люди Греции, желавшие просветиться, ездили на Восток — в Египет и Вавилон»[58]. Добавим от себя — и в Индию и в Палестину, как сделал в свое время один из глубочайших эрудитов греческих, Пифагор. С этим Востоком народы Закавказья имели многочисленные связи. Армяне могли учиться мастерству и у соседних древнеазиатских народов, как позднее и у лучших греческих и еврейских мастеров, которыми заселялись еще при Арташесидах (Тигране II и др.) строившиеся армянские города. Из глубин Китая, намного опередившего Европу в ряде производств (шелк, бумага, лак), в ряде искусств (живопись, резьба, книгопечатание), в обработке земли, еще в древности в Армению эмигрировали целые княжеские роды с многочисленными челядинцами и войсками,— и трудно допустить, чтобы общение с Китаем не оставило в Армении никаких следов, никаких навыков, никакого опыта, занесенного на новое место с далекой родины, так же как невероятно, чтобы более поздние торговые связи армян с Индией, Персией и Аравией не обогатили взаимно их народы. Мы находим трогательную характеристику китайцев у отца армянской истории Моисея Хоренского. Он пишет о них с той чудесной конкретностью, с тем знанием, какое предполагает и личное знакомство и общение между народами. «Тчены (то есть китайцы),— пишет Хоренский,— миролюбивее всех народов, живущих на лице земли.. Дивна и страна их обилием всех плодов. Она украшена всеми растениями; богата шафраном, шелком, павлинами; в ней множество диких коз... говорят, что фазан, лебедь и тому подобное, составляющее у нас изысканную пищу, и то для немногих, там — пища общая. У вельмож счета нет драгоценным камням и жемчугу. Одежда, считаемая у нас роскошною и не многим доступною, у них во всеобщем употреблении. Это — о земле Тченов»[59]. Сказки армянские с древнейших времен тоже повествуют и о Китае («Чинмачина») и о Египте («Мсыр»).

Между правителями восточных стран почти непрерывно велись войны. В самой Армении распри и борьба за власть разрывали древние нахарарские роды; но глубокие классовые связи, вызванные общностью нищеты, задавленности и беспросветного труда, соединяли армянских ремесленников и армянское крестьянство с тружениками соседних стран — Грузии и Азербайджана.

Армянское крестьянство, начиная с VII века, почти непрерывно восстает против своих эксплуататоров. И вот что удивительно и заслуживает стать предметом специального изучения советских историков: в Иране восстал Маздак, создатель своеобразнейшего учения «общности имущества»; его учение воскресил и обновил в IX веке знаменитый революционный вождь азербайджанского крестьянства Бабек. Как и Маздак, последователи Бабека внешне связывали свои революционные лозунги с особым, религиозным сектантством, корни которого уходят в глубь зороастризма. В то же время в Армении крестьянство восстало, выдвинув в VII веке в учении христианской секты «павликиан» (названной так по имени вождя движения Павла-Погоса) идеи, очень близкие к маздакизму: отрицание частной собственности, общность имущества, общинные порядки, отрицание церковных обрядов и т. д., хотя сами павликиане эти идеи относили к раннему христианству, а церковь считала их одним из проявлений еретического христианского сектантства. Ясно, что и здесь и там эти восстания разоряемого податями и измученного крестьянства по существу направлены были против одних и тех же сил — помещичьей знати и духовенства, и, разливаясь, они захватывали и соседние народы.

Движение павликиан [60] длилось в Армении с перерывами около трех веков, а на смену ему в X веке вспыхнуло новое восстание так называемых «тондракийцев» [61] (по имени деревни Тондрак, где оно оформилось), выставившее примерно такую же программу, что и павликиане в Армении и хурремиты [62] в Азербайджане, и направленное против того же класса угнетателей. Невыносимо тяжкое положение крестьян, вымы-

рающих от голода целыми областями, было характерным явлением тех веков и для Китая. В этой связи нельзя не упомянуть об одном факте.

В XI веке, почти тотчас за крестьянскими войнами в Закавказье и Малой Азии, в Китае происходил интереснейший социальный эксперимент. Замечательный государственный деятель, родившийся в 1027 году, Вань Ань-ши в течение пятнадцати лет пытался осуществить одну за другой ряд социальных реформ [63]. Были голод и мор, несколько лет неурожая, население обнищало, вымирали целые деревни, и китайский император разрешил Вань Ань-ши действовать. Вань Ань-ши обложил огромным налогом богатых, для «равенства между бедными и богатыми»; покрыл северные урожайные провинции «государственными складами», куда ссыпалось все зерно, а потом распределял его равными долями по южным голодающим провинциям; ввел кредитование беднейших крестьян в виде займов «под зеленые побеги»; раздавал семена для посева, создав для этого специальный фонд; наконец начал в Китае ряд колоссальных общественных работ (строительство дорог, мостов и т. д.), втянувших огромное число безработных. Он посягнул даже на четыре священные классические книги Китая, создав к ним свой собственный комментарий. В. И. Ленин писал о Вань Ань-ши, ссылаясь на определение Плеханова, что он «китайский преобразователь XI века, неудачно введший национализацию земли» [64]. К сожалению, историки ни разу еще не пытались разработать вопрос о возможном взаимодействии этого опыта с Ближним Востоком и Закавказьем, об отражении его в азиатском фольклоре, о некоторой идейной общности и даже сходстве судьбы этого эксперимента с идеями и судьбами крестьянских восстаний в Азербайджане и Армении, а между тем сейчас каждый факт исторического взаимодействия между нами и великим китайским народом, пошедшим по пути коммунизма, особенно интересен и дорог. Сходство проявляется и в том, как относятся армянские, азербайджанские, китайские, персидские и арабские ранние источники к этим событиям. При всей разнице религий и культур историки, писавшие о них, принадлежали одинаково к

классу собственников, правящему классу, официальному духовенству или зависели от них. В Армении — это князья, католикосы и другие духовные лица; в Азербайджане, Персии и Аравии — слуги халифата, министры в лице, например, Низамульмулька; в Китае — ненавидящие все революционное консервативные историки. И все эти писатели, все без исключения, пишут о восставших с глубокой яростью, с отвращением, пытаясь очернить их учение, клевеща на их цели.

Крестьянские восстания в оболочке религиозного сектантства, но вызванные невыносимым экономическим гнетом и защищавшие реальные интересы тружеников, характерны и для европейских государств, но там они вспыхивали главным образом в XVI веке. Вот что говорит об этом Ф. Энгельс: «Революционная оппозиция против феодализма проходит через все средневековье. В зависимости от условий времени она выступает то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания». И немного выше: «Во время так называемых религиозных войн XVI столетия вопрос шел прежде всего о весьма положительных материальных классовых интересах, в основе этих войн также лежала борьба классов... Если эта классовая борьба носила тогда религиозный отпечаток, если интересы, потребности и требования отдельных классов скрывались под религиозной оболочкой», то происходило это потому, что в средние века все науки превратились в отрасли официального богословия, и поэтому «...революционные, социальные и политические учения должны были представлять из себя одновременно и богословские ереси» [65]. Восток опередил в этом отношении Европу на несколько столетий. Но только ли опередил? Корни исторических процессов уходят обычно в бездонную глубь времен. Чтобы не брать на себя ответственности за смелую мысль, процитируем академика Манандяна: «Армянские секты павликиан и тондракийцев, подвергавшиеся в Армении жестоким преследованиям, периодически выселялись в Болгарию и другие страны, где они «если не бросили семя, уродившееся в богомильство и далее в альбигойство, то вызвали новое брожение и потоками своей крови оплодотворили почву для более

счастливых европейских реформационных движений»[66]. Это не значит, разумеется, что они стали каким-то решающим фактором в зарождении «крестьянского социализма» в Европе, вызванного общими социально-экономическими условиями своего времени.

Ту же параллель можно провести и в устройстве цехового института. В наших среднеазиатских республиках цехи были уже очень давно, имели свои узаконенные правила и обычаи, свои празднества и театрализованные шествия. В Грузии своеобразный цеховой институт представляли собой амкарства — профессиональные ассоциации ремесленников, сохранившиеся до начала XX века. Корни цехов уходят глубоко в прошлое. Организацию цехов, ритуал их, связанный с излюбленным числом «четыре», с особым уважением к кожевенному делу как ведущему, со статутом мастеров, подмастерьев и учеников, можно проследить на Востоке до X века, а в Китае и еще того ранее. Разумеется, у нас нет данных, чтобы ставить знак равенства между среднеазиатскими ремесленными братствами, закавказскими амкарствами и древними цехами на Востоке, но организация их не могла не возникнуть под воздействием более древней культуры. Одно несомненно: как крестьянские войны, так и цехи были в Армении и в ряде других стран Закавказья, Средней Азии и Ближнего Востока намного раньше, чем в Европе, хотя, если быть точными, может быть, следовало бы не называть их цехами, а говорить о профессиональной организации ремесленников.

Интересно отметить, как именно армянские трудовые классы, крестьяне и ремесленники, никогда не замыкавшиеся в какой-либо национальной ограниченности, широко отзывавшиеся на революционные брожения соседних народов,— именно они-то и оказались наиболее стойкими носителями идеи национального единства, обнаружили удивительную верность родной земле и родной культуре. А в то же время армянским переселенцам, как и армянскому крестьянству, остававшемуся на родине, присуще было постоянное историческое тяготение к великому русскому народу, характерное и для закавказских соседей Армении — Грузии и Азербайджана.

Сношения армян с Россией начались очень давно. Учебник «Истории армянского народа», выпущенный в 1951 году Академией наук Армянской ССР, указывает, что «до IX века общение армян со славянскими племенами носило случайный характер. После IX века сношения армян с русскими и через Кавказ, и через Черное море, и через Балканы принимают уже постоянный характер». Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского», основываясь на показаниях летописца начала XIII века («Киево-печерский патерик»), пишет об армянах-врачах в древнем Киеве: «Во времена Мономаховы славились в Киеве Армянские врачи: один из них (как пишут), взглянув на больного, всегда угадывал, можно ли ему жить, и в противном случае обыкновенно предсказывал день его смерти» [67]. В Киев, мать городов русских, стекались вместе с византийцами и армянские ремесленники, ученые, каменщики, живописцы и преследуемые у себя на родине сектанты: так на Киевской Руси были даже основаны павликианская и тондракийская общины. В упомянутом мною учебнике приводится целый ряд примеров культурных взаимодействий армян и русских в X—XIII веках: армяне переводят с русского на армянский «Житие Бориса и Глеба»; русские переводят с армянского на русский «Житие Григория Парфянского (Просветителя)», «Житие блаженных дев». Этот литературный интерес отражается и в живописи: «Среди фресок храма Спаса-Нередицы в Новгороде Великом находились изображения Григория Армянского (Просветителя) и Девы Рипсимии». В московском храме Василия Блаженного есть притвор «Григория, просветителя Армении». В то же время русские иконописцы в XIII веке доходят до Армении и оставляют в армянских церквах следы своей деятельности: «Одна из лучших церквей Ани была расписана русским иконописцем». Насколько такие связи не были случайными, показывает процесс их расширения из века в век, участие в них армян, переселившихся в западные государства: «В XV—XVI вв. армяно-русские экономические, культурные и политические сношения» велись не только через армян, живших на Ближнем Востоке и в Закавказье, но «и через посредство крымских и поль-

ских армян. В битве при Грюнвальде (1410), когда объединенные русско-польские войска нанесли сокрушительное поражение немецким тевтонским рыцарям, бок о бок со Смоленскими полками сражались и армянские отряды, набранные из жителей европейских армянских колоний». Каждое завоевание Россией городов, где имелось армянское население, сопровождалось восторженным отношением этого населения к русской армии как освободительнице. Так было при завоевании царем Иваном IV в 1552 году татарской столицы Казани, а в 1556 году Астрахани. Так было и в последующие века при завоевании Карса, Еревана, Эрзрума и т. д.

История Армении в последующие века, XVII и особенно XVIII и XIX,— это летопись мучений армянского народа под игом персидских и турецких завоевателей. Многочисленные послания армянских католикосов к западноевропейским правительствам и «братьям христианам» с мольбою о помощи остаются тщетными.

В 1801 году к России присоединилась Грузия. В Восточной Армении, граница которой приблизилась к России, выросли надежды на помощь своего великого соседа.

Еще в XVIII веке сюникский князь Исраэл Ори [68] поехал в Россию, добился приема у Петра I и, рассказав ему о положении дел в Персии, просил военной помощи, обещая поднять армян. Петр Великий действительно выступил в 1722 году против Персии. Тем временем армяне, соединившись с грузинами, под водительством армянского полководца-патриота Давид-бека, подняли восстание. На короткое время (1722—1728 годы) Давид-беку посчастливилось продержаться независимым в своем княжестве, но персы жестоко отомстили армянам. Эти события были экранизированы у нас в фильме «Давид-бек» по роману Раффи, переведенному на русский язык, и отражены в большой героической опере композитора А. Тиграняна «Давид-бек», найденной посмертно в его архиве и хорошо завершенной музыкантом Г. Будагяном.

Обращались армяне за помощью и к Екатерине II. Она послала им войска под командованием Валериана

Зубова. По открытым недавно архивным документам, опубликованным историком Абгаром Иоаннисяном в его большом труде «Россия и армянское освободительное движение в 80-х годах XVIII века» (Ереван, 1947), Екатерина II серьезно задумывалась даже о создании независимого «армянского царства». Вот что пишет по этому поводу Абгар Иоаннисян: «Все материалы свидетельствуют с полной несомненностью, что русская дипломатия всерьез занималась в то время вопросом о создании из земель, подвластных Ирану, армянского государства, намечая даже в будущем возможность расширения границ воссозданной Армении за счет населенных армянами турецких провинций. План этот являлся при этом не только личным проектом Г. А. Потемкина. Он полностью поддерживался коллегией иностранных дел и, в частности, таким видным и влиятельным дипломатом и государственным деятелем, как Безбородко». В 1785 году из-за осложнившейся политической обстановки на Кавказе план этот был, впрочем, оставлен. Войска Зубова были отозваны, а персы в отместку опять опустошили Армению в 1796 году.

Однако же тяга к великому соседу не обманула армян. В 1826 году Персия выступила против России, вероломно арестовав русского посла, и в начавшейся войне русские разгромили персов. По Туркманчайскому договору в 1828 году к России перешла вся Восточная Армения, а персидское правительство обязалось беспрепятственно отпускать армян переселяться в Россию. Во время последующей русско-турецкой войны, при взятии русской армией Карса и Эрзрума, армянская молодежь всячески помогала русским войскам. Сохранился прелестный рассказ Пушкина о том, как страстно тянулись армяне оказать эту помощь, сразиться в рядах русской армии, принять участие в великом деле освобождения родины:

«Мы въехали в Карс... Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани... Мы остановились у одного дома довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей.

Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговоря с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньшой брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по нескольку месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь Паскевича.

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мной в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми... Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце, с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и о сражениях» («Путешествие в Арзрум»).

Странным образом этот юноша, реальный спутник Пушкина, воскрес через два десятка лет в замечательном романе Хачатура Абовяна «Раны Армении» — первом романе, положившем начало новой армянской литературе.

Крепость Карс русским войскам пришлось снова обагрить своей кровью через несколько десятков лет, в ночь с 5 на 6 ноября 1877 года. Ночной штурм Карса — один из самых блестящих эпизодов русской военной

истории. Современники рассказывают о нем как о беспримерном: «Событие это беспримерно не только в летописях нашей военной истории, но и в истории всех народов. Никогда и нигде до сих пор не штурмовали ночью такой крепости. А крепость эта была поистине могущественна. В ней природа тесно сплотилась с искусством; четырнадцать отдельных фортов и батарей при 303 орудиях, с 20 000 гарнизоном составляли грозную силу, против которой мы имели всего 35 батарей, 48 эскадронов и сотен и 138 орудий; соединительные траншеи, волчьи ямы, фугасы дополняли силы долговременных построек, возведенных, кстати сказать, английскими и немецкими инженерами». Два генерала армянского происхождения тоже принимали участие в этом штурме — граф М. Т. Лорис-Меликов и И. Д. Лазарев. Среди русских солдат, бравших Карс, были овеянные славой севастопольцы. В штурме участвовали грузины, имеретинцы и абхазцы, дравшиеся с безумной храбростью. В одну ночь Карс был взят, убито до 3 тысяч турок, захвачено в плен до 9 тысяч, среди них 5 пашей и 800 офицеров. Когда коменданта цитадели Гусейн-бея спросили, почему турки не сдали Карса без боя, чтобы избежать кровопролития, Гусейн-бей хмуро ответил: «Такую крепость, как Карс, нельзя было сдать без боя» [69]. До такой степени защищен был Карс природой и искусством инженеров!

Хотя Восточная Армения, войдя с 1828 года в систему старой, самодержавной Российской империи, и подпала под обычную политику царизма, политику подавления и разделения «инородцев», как тогда говорилось, но все же это был переход из азиатского средневековья в более передовые экономические и культурные условия, и в этих условиях армяне неизмеримо выиграли. Важным ключом к этому выигрышу послужил русский язык. Приобщившись к нему, армяне после отсталой азиатской Персии оказались вдруг в очень высокой общественной среде. Их молодежь, студенчество, интеллигенция встретились с русской молодежью, студенчеством, интеллигенцией, а эти передовые слои русского народа были полны революционного брожения, воли к борьбе за улучшение и перестройку жизни, воли

к свободе. Большие мировые горизонты раскрыла перед армянами русская книга, великая русская литература.

Я уже упомянула о «реальном спутнике» Пушкина, воскресшем через два десятка лет. Когда генерал Красовский во главе русских войск вступал в Ереван, в Эчмиадзине находился юноша, уроженец армянского села Канакер, получивший монашеское воспитание в монастырской школе, с суровой перспективой впереди — остаться монахом. Этот юноша был Хачатур Абовян, родоначальник новой армянской литературы. Можно с уверенностью сказать, что если б не воздействие русской культуры, если б не русское художественное слово и великая его сила, вряд ли принял бы на свои плечи молодой Абовян единоличный подвиг создания родной литературы, да и вряд ли смог бы его осуществить.

До этого времени образование в Армении носило церковный характер. Книги писались и печатались на древнеармянском языке, грабаре, уже малопонятном для народа. В потрясающем предисловии к своему роману Хачатур Абовян рассказывает: «Мне пришлось иметь учеников, и какую бы армянскую книгу я им ни давал, они ничего не понимали; между тем русские... книги они понимали и охотно читали. И это было весьма естественно, потому что в этих книгах говорилось о любви, о дружбе, о привязанности к отчизне, о смерти, о борьбе и т. д., между тем в армянских книгах — только о боге и святых. Но ведь и среди армян бывали герои, с жизнью и деятельностью которых следовало познакомить общество... Безотрадное положение армянской литературы причиняло мне такую боль, что я часто искал уединения, скитался по горам и долинам, размышлял и обдумывал... Я решил во что бы то ни стало написать какое-нибудь произведение, восхвалить в нем свой народ, рассказать о деятельности какого-нибудь национального героя; но для кого писать? Ведь народ не поймет моего языка!.. Как же быть-то? С кем я ни говорил, все были того мнения, что наш народ не охотник до просвещения, что наш народ не любит читать, но я видел, как этот же народ нарасхват читает «Робинзона» и «Повесть о медном городе». Знал я и то, что у всех известных народов два языка — старый и новый.

Я знал также, что на свадьбах, на собраниях, на базаре, на улицах народ наш с большим удовольствием слушает слепых певцов — ашугов. Долго думал я и, наконец, решил отложить в сторону грамматику и риторику и самому сделаться таким же ашугом...»

Но диалектов вокруг было так много, что за пределами данной местности их тоже уже не понимали. В Карабахе говорили одним, острым и образным народным языком; в Нахичевани на Дону (где была большая колония армян) — другим, перемешанным с крымско-татарскими словами; в Аштараке — третьим; в Лори — четвертым; в Ереване — пятым. Хачатур Абовян остановился на ереванском, и время показало, что он был прав.

«И вот однажды,— продолжает Абовян свой рассказ,— распустив учеников на масленицу, начал я обдумывать все то, что с детства слыхал и видел... Вспомнил я тогда и своего Агаси — и выбрал его своим героем... Не успел я написать и одной страницы, как зашел ко мне приятель мой, доктор Агафон Смбатьян. Я хотел было спрятать лист, но не мог; он попросил прочесть ему. Я весь дрожал во время чтения; того и гляди, думал я, покачает он головою, нахмурится, как другие, а затем если не в лицо мне, то про себя станет смеяться надо мною. Но не тут-то было! «Если так будете продолжать,— заметил он,— выйдет прекрасная вещица». Мне хотелось от радости кинуться ему на шею и горячо поцеловать его. По уходе его я весь был поглощен вдохновением. Было 10 часов утра. О пище я совершенно забыл. Армения, как ангел, стояла надо мною и воодушевляла меня... До пяти вечера я не ел и ничего не пил... Домашние просили, сердились, но я не обращал на них никакого внимания. Когда я написал 30 страниц, природа взяла свое: глаза сомкнулись. Всю ночь мне казалось, что я сидя пишу... Пусть теперь зовут меня невеждой; у меня развязался язык, мой дорогой народ!.. Кто владеет мечом, пусть сперва отрубит мне голову, пусть вонзит этот меч в мое сердце, потому что, пока язык мой движется во рту, я буду кричать: «На кого это вы подняли меч свой? Разве вы не знаете армянского народа?» Только бы ты, мой дорогой народ,

полюбил еще не смелый язык твоего сына, полюбил бы так, как отец лепет своего ребенка!» [70]

Так родилась первая книга новой армянской литературы, роман «Раны Армении», где с детской чистотой и классической ясностью описаны народные обычаи (масленица в Канакере), нападение персидских феррашей на армянскую девушку, смелое вмешательство юноши Агаси, уход его в горы с группой смельчаков, где он начинает партизанить, видение древнего города Ани, начало персидской войны 1826 года, бегство Агаси в лагерь генерала Мадатова, служба его в русской армии и, наконец, вступление с генералом Красовским в завоеванный русскими Ереван. В этой первой книге новой армянской литературы, рожденной под воздействием передовой русской литературы, отразилась глубокая, выстраданная любовь армянского народа к русскому, характерная для всего последующего развития армянской классики. Народный поэт Армении Ованес Туманян писал о Хачатуре Абовяне: «Целую историческую эпоху, важный период истории дают «Раны Армении»... Армянский народ... устремив взор на Запад, молил о помощи то одну, то другую европейскую христианскую державу. Вековой опыт, ход истории и течение времени показали, что эти надежды и упования надо возлагать на Россию... Поистине восточная политика могущественной России и надежды многострадального армянского народа соответствовали друг другу... Со взятием Еревана к России присоединился армянский народ, находящийся по эту сторону Масиса, и с того дня в жизни и в истории армянского народа открылась новая эпоха. Осуществились вековые чаяния кавказских армян...» «Раны Армении» — «это и вопль патриота, исполненный скорби и стенаний, и национальная эпопея, дышащая силой и гордостью, и панегирик облагодетельствованного и спасенного, полный слез радости, благодарственных возгласов и благословений... И в этом секрет того, что она у нас считается священной книгой» [71].

Хотя Абовян не пишет о том, как труден был ему его подвиг, но сейчас, изучая в Литературном музее Армянской Академии наук в Ереване рукопись его

романа, мы как бы присутствуем при рождении литературного армянского языка, ашхарабара, который вовсе не вышел готовым из-под пера писателя,— Абовян трудился над ним, тщательно отшлифовывал его, выбирая слова, приспособляя и развивая синтаксис.

Но самое главное, решающее, великое значение этой книги было в найденном Абовяном основном ее человеческом содержании, том простом, первом, что двигает людскою историей, составляет нерв жизни и отдельного человека и целого народа. Абовян нашел не «побочную» тему, не случайный материал, не голую выдумку, хотя бы и остроумную, нет,— но по примеру тех русских книг, где он читал «о любви, о дружбе, о привязанности к отчизне, о смерти, о борьбе», армянский писатель нашел *основную тему* — тему о родине, о борьбе за свободу народного развития. И он понял, что создание родной литературы невозможно *без правды*, без реального знания родной жизни, и прежде чем засесть писать, он «начал обдумывать все, что с детства слыхал и видел», то есть действительный опыт жизни.

Роман Абовяна имел огромнейшее значение для армян. Он указал реалистический путь развития всей новой армянской литературе. Аштаракский писатель Перч Прошьян рассказывает, как однажды, когда он, молодым человеком, промокнув от дождя, постучался в Тбилиси к своему земляку, тот положил перед ним только что изданный томик «Ран Армении» (он вышел из печати уже после смерти Абовяна). Прошьян погрузился в чтение и с первых строк испытал настоящее потрясение. «И чего только не происходило со мной! Хорошо, что хозяин дома ушел и при мне никого не было, а то стоило бы меня связать и отправить в дом сумасшедших»,— рассказывает он в своих воспоминаниях. А когда хозяин вошел в комнату, он обрушился на него: «Скажи, что это? Что делает с нами Абовянц?» [72] И тут же захотел *продолжить* дело, начатое Абовяном. «Купил я в магазине бумаги и чернил, на пять копеек хлеба взял в пекарне и на целый день заперся в своей комнате. Превратив свое колено в стол, писал. Писал я «Сос и Вартитер».

Аштаракская повесть Перча Прошьяна до сих пор служит в своем роде энциклопедией деревенских армянских обычаев Аштарака. Он тоже не выдумывал. Под влиянием Абовяна он брал жизнь, реальную жизнь, какой она была вокруг него.

Огромным было значение «Ран Армении» и для Микаэла Налбандяна, блестящего армянского публициста, одного из интереснейших революционных демократов середины прошлого века в России. Принадлежавший ему экземпляр романа весь испещрен его замечаниями, и сам он называл Абовяна «замечательным сыном армянского народа»[73]. Микаэл Налбандян был другом Герцена и Огарева, встречался с Бакуниным и И. С. Тургеневым, сидел одновременно с Чернышевским в Петропавловской крепости и умер в ссылке от чахотки. Вот что писал М. А. Бакунин в письме к жене своего брата, Н. С. Бакуниной, 16 июня 1862 года о Налбандяне: «Он золотой человек — весь душа и весь преданность»; и в письме к самому Налбандяну от 24 апреля 1862 года: «...вы так полюбились старому Тургеневу...»[74] Очень высоко ценили Налбандяна Герцен и Огарев. В совместном своем письме к Серно-Соловьевичу они рекомендовали его в сердечнейших словах, полных высокой моральной оценки: «золотая душа, преданная бескорыстно, преданная наивно до святости», «преблагороднейший человек; скажите ему, что мы помним и любим его». А в письме к Тургеневу А. И. Герцен еще раз подтвердил эту оценку: «...записку эту тебе доставит благороднейший и добрейший доктор медицины и армянин Налбандов. Прими его мило; он вполне заслуживает»[75]. Не забудем, что «преданность до святости» относится к революции, что все это писалось революционными демократами Герценом и Огаревым в 60-х годах прошлого века. Всей своей деятельностью, своим прекрасным и чистым творческим обликом, своей принципиальностью, своими неутомимыми, страстными выступлениями в армянском журнале «Северное сияние» против реакционных сторон тогдашней армянской жизни, против буржуазии, кулачества, духовенства, наконец своей смертью борца Налбандян завещал армянам помнить об основных потребностях народа, служить им,

быть в неотрывной связи с передовым фронтом великой русской культуры. И завет его не остался бесплодным. Поколения передовой армянской молодежи воспитались на его статьях. Много армян, ставших позднее большевиками, обязаны первым пробуждением своего революционного сознания литературному наследству Налбандяна. Воспитывающее влияние оказало оно и на передовой отряд армянских писателей.

В стихах армянских поэтов начинают звучать гражданские мотивы. Талантливая поэтесса Шушаник Кургинян [76], родом из города Александрополя, под влиянием революции 1905 года пишет стихи, направленные против «ликующих и праздно болтающих». Прямым учеником Налбандяна называет себя первый армянский пролетарский поэт Акоп Акопян [77], выдвинувшийся в конце прошлого века. Если в стихах Кургинян социальные мотивы затронуты еще наивно и несмело, окрашены жалостью и жертвенностью, то поэзия Акопяна уже настоящая поэзия борьбы. С 1904 года Акопян — в рядах фракции большевиков РСДРП; он ведет пропагандистскую работу, откликается на политические события живыми и яркими стихами, бичует «националистов», «эстетов», ушедших от жизни, вводит в поэзию тему индустриального труда. Он сам сказал о себе, что своими стихами пел

...бодрости песнь тем, кто духом упал...
Потрясавшую землю я пел мировую грозу...
Человечества веру воспел в грядущий путь...
Чудеса я воспел, рожденные в жестких руках,
Победной борьбы этих рук величавый размах [78].

(Перевод Н. Тихонова)

На всех этапах революционной борьбы, а позднее советского строительства, раздавался его бодрый и мужественный голос поэта-большевика. Он был в стихах партийным пропагандистом, несшим в массы важнейшие партийные лозунги. Его стихотворение «Еще удар», написанное в Тифлисе в октябре 1905 года, откликается на выпущенное 26 марта того же года Кавказским союзным комитетом РСДРП воззвание «Что выяснилось?», обращенное ко всем кавказским рабочим. В этом воз-

...нии говорится, что после петербургского восстания царское правительство дрогнуло. «Оно издало даже «прокламации», где умоляет пролетариат сжалиться над ним и не «бунтовать»! Что все это значит? А то, что пролетариат — сила, что в пролетариате царское правительство видит самого страшного, самого беспощадного врага, своего могильщика... Пролетариат — вот то ядро, которое сплотит вокруг себя всех недовольных нынешними порядками и поведет их на штурм царизма». И в меру своих поэтических сил армянский поэт-большевик в ответ на поставленную в воззвании цель: «Организовать восстание — прямой долг нашей партии», несет в массы задаиие партии:

ЕЩЕ УДАР

Рабочие! В борьбе собой
Пожертвую, но снова — в бой!
Еще удар, чтоб трон царя
Стал прахом и взошла заря!

Герои в битву шли стеной.
Их кровь, их жизнь была ценой,
Чтобы свалить царя. Но он —
Увы, еще не сокрушен!

Царь о пощаде молит нас?
Не стать бы жертвой нам сейчас.
Построимся плечо в плечо,
Удар еще, удар еще,

Еще удар, чтоб трон царя
Стал прахом и взошла заря! [79]

(Перевод А. Гатова)

Вместе с русским народом и другими народами, населявшими Россию, армяне принимают активнейшее участие в освободительной борьбе, неуклонно возраставшей с конца прошлого века и завершившейся Великой Октябрьской социалистической революцией.

Условия, в каких находилась основная масса трудящихся армян, были нелегки. У себя в Закавказье, там, где хозяевами предприятий были капиталисты-армяне,— рабочим армянам приходилось получать меньше заработной платы, нежели та, которую получали рабочие в центральных губерниях России. Так, в 90-х годах

прошлого века на Алавердских рудниках за шестнадцатичасовой рабочий день армянин получал от 20 до 70 копеек.

Земля была собственностью помещиков и монастырей. В лорийской деревне Ахпат, например, из 10 тысяч десятин земли 8 500 принадлежали помещику, князю Баратову, 500 — другим помещикам, 500 — монастырю, и только оставшиеся 500 — всей основной массе крестьянства, которой ничего не оставалось, как на кабальных условиях брать в аренду землю у того же Баратова. Тяжелую участь армянского крестьянского мальчика из семьи бедняка описал Ованнес Туманян в рассказе «Гикор», бессмертном по своей художественной силе. Своими руками на явную гибель вынуждены были отцы отводить изголодавшихся, несчастных детей в город на «учебу» к купцам и ремесленникам, превращавшуюся в жесточайшую форму эксплуатации. Горькую долю вечной труженицы, армянской крестьянки, подслушал Ованнес Туманян в народной песне о веретене, превратившейся под пером поэта в жемчужину армянской лирики.

ВЕРЕТЕНО

Ты вертись, веретено,
Не ленись, веретено,
Для сирот, веретено,
Ты оплот, веретено.

Лунный свет в окно упал,
На веретено упал.
Ночь я целую пряду,
Пряжу белую пряду.

Я пряду сквозь слезы нить,
Чтобы сирых прокормить.

Ты вертись, веретено,
Не ленись, веретено,
Для сирот, веретено,
Ты оплот, веретено.

(Перевод Т. Спендиаровой)

Так же тяжка была участь бедняка в соседней княжеской Грузии, в соседнем бекском Азербайджане, в капиталистическом Баку. Закавказские социал-демо-

кратические организации учили армян-трудящихся, что интересы их лежат в объединении с трудящимися грузинами, азербайджанцами, русскими. И армянские железнодорожники-александропольцы (нынешние ленинаканцы) присоединяются к общероссийской железнодорожной забастовке 1905 года; ахпатские крестьяне в 1903 году выходят на царского пристава с камнями и палками, совсем так, как выходили с дрекольем ревдинские углежоги на Урале; четыре тысячи армянских шахтеров под руководством замечательного большевика Сурена Спандаряна [80], бастуют в Алаверди в 1906 году; в Баку рабочие-нефтяники армяне рядом с азербайджанцами участвуют в стачке 1904 года. Именно совместная революционная борьба с рабочим классом России, школа большевистской партии воспитали такого крупного большевика, как Сурен Спандарян, светлой памятью которого гордится армянский народ. Мальчиком пятнадцати лет Сурен начал серьезно заниматься марксистской литературой. С 1898 года работал вместе со Сталиным, Ладо Кецховели и А. Цулукидзе в Закавказье; студентом в Москве, по поручению Московского комитета РСДРП, выполнял революционное задание в Краснопресненском районе; в августе 1906 года руководил забастовкой на Алавердских медных рудниках в Армении; в 1906—1907 годах вел партийную работу среди железнодорожников в Гяндже (ныне Кировабад в Азербайджане, до революции — Елизаветполь). В декабре 1911 года он делает, в порядке подготовки к общепартийной конференции, доклад в Риге. Центральный комитет латышской социал-демократической партии был в то время меньшевистским, оппозиционно настроенным к предстоявшей конференции, и Спандарян, преодолев сопротивление, добился у собрания единогласного решения участвовать в конференции. В 1912 году он активный участник Пражской конференции. В марте 1912 года его арестовывают в Балаханах, и он сидит в тюрьме в Баку вместе с другим крупнейшим армянским большевиком, Степаном Шаумяном. Пожизненно сосланный в Сибирь в 1913 году, он в кандалах отправляется в енисейскую ссылку. В 1914 году он проводит маевку в лесу. Вторично высылается в село

Монастырское Туруханского края. В ссылке Спандарян заболевает и 11 сентября 1916 года умирает в Красноярске, не дожив лишь немногим больше года до Октябрьской революции. Так вместе с волнами общего революционного движения в России, армянский народ на практике учится классовой солидарности, и лучшие сыны его, вырастая в борьбе, становятся в ряды великой партии большевиков.

Степан Шаумян писал о Спандаряне в армянской газете «Пайкар» (1916 г., № 38): «Сурен принадлежит к той новой идейной молодежи армянского происхождения, которая порвала все идейные нити с армянской национальной интеллигенцией и объявляет, что она ничего не унаследовала от предыдущих поколений армянской (националистической) интеллигенции и ей нечему учиться у нее. Сурен — порождение новой общественной жизни и среды. Его учителями не были и не могли быть Ст. Назарян, Арцруни, Раффи, Христофор Микаэлян. Его духовными учителями были Чернышевский, Белинский, Плеханов, а затем — Маркс и Энгельс». Шаумян в этой статье проводит резкую разделительную черту между двумя противоположными путями развития армянской общественной мысли. Как раз в начале XX века, опираясь на свою и чужую буржуазию, в Закавказье активизируются буржуазно-националистические партии, к которым принадлежала и армянская партия «Дашнакцутюн». Эта партия как основу своей программы провозгласила «единство нации», примирение классов, «обще-национальную борьбу за освобожденье», тем самым изолируя армянское революционное движение от русского. Но, лишая это движение классовой борьбы и классовой солидарности с рабочим движеньем русского и других народов, она неизбежно скатывалась к буржуазному национализму, прибегала к методам индивидуального террора, к безответственному авантюризму, делала ставку на богатую армянскую буржуазию и под флагом любви к нации унижала и топтала в грязь национальное достоинство армян, обивая пороги политических «прихожих» зарубежных держав.

Дашнаки отлично знали, что западные державы не

рых предавали армян. Когда Россия после войны с Турцией 1877—1878 годов предложила включить в условия мира гарантии реформ в населенных армянами турецких вилайетах, английское правительство, боясь укрепления авторитета России на Востоке, вмешалось в это дело и сорвало его. Когда турецкому правительству пришло в голову, придравшись к русским симпатиям турецких армян, высказывавшимся ими открыто в начале войны 1914 года, одним взмахом раз навсегда покончить с «армянским вопросом», германский империализм благословил Турцию на небывалое в истории физическое истребление армян. Что произошло тогда в Турции, очень напоминает зверства гитлеровцев над беззащитным населением оккупированных районов. Армян закалывали в их жилищах; поджигали в запертых домах, казнили без суда; погружали на баржи, отталкивали от берега и топили; угоняли в «ссылку» в Месопотамию, не давая по дороге ни есть, ни пить, и они тысячами гибли в пути. Так расправлялись и с крестьянством и с городской интеллигенцией — поэтами, писателями, музыкантами. Вся Западная Армения была превращена в пустыню; умерщвлено, по неполным данным, опубликованным в «Синей книге», свыше миллиона армян. Спаслись те, кто бежал в Россию, среди них бездомные сироты-дети, из которых позднее выросло немало крупных деятелей, таких, например, как физиолог Езрас Асратян, поэт Наири Зарян[81] и многие другие.

И в Закавказье политика «Дашнакцутюн» приводила к резне.

Когда в России уже было советское правительство, в 1920 году, в Армении до глубокой осени еще удерживались дашнаки, грабя страну, отдавая ее во власть иностранцев, искавших в Закавказье точку опоры для подавления ненавистного им большевизма, приводя братские народы к искусственно раздуваемой ненависти и резне. Трудно себе представить, что тогда творилось в закавказских республиках, где у власти была буржуазия. Чтобы сохранить за собой экономическую власть, каждая из этих республик лихорадочно печа-

тала собственные «дензнаки», которые, при растущей инфляции, обесценивались с часу на час, и население таскало их с собою в чемоданах и тюках. Обмен этих «дензнаков» совершался с чудовищным произволом. Экономика была подорвана, крестьянство доведено до последней степени нищеты. Правящая кучка вела себя «халифами на час». Но такими «халифами», чьи права над жизнью армян были марионеточными, чья власть была получена из рук Англии и Америки ценою продажи родного народа. Найденные после бегства дашнаков документы обличают их с полной ясностью. Поэт Геворк Эмин в своем письме исландскому писателю Халдору Лакснессу, опубликованном в первом номере «Дружбы народов» за 1949 год, рассказывает об этом времени:

«В мае 1918 года армянские дашнаки провозгласили Армению «независимой республикой». Каков был характер этой независимости, понять нетрудно. Армянские дашнаки поочередно признавали своими покровителями империалистов Германии, Италии, Англии и Америки. Ориентация менялась в зависимости от того, какая из «держав-покровительниц» наиболее рьяно выступала против Советской России. Английская ориентация дашнаков проявлялась особенно ярко в тот период, когда англичане, пользуясь своими военными базами в Иране, активно участвовали в интервенции против Советской России на Кавказе. Затем английскую ориентацию заменила американская». Подобно нынешним антинародным буржуазным правительствам европейских стран, дашнакское правительство в Армении видело в «помощи» империалистов единственное средство «против ширящегося революционного движения». Как вели себя в эти годы дашнакские министры? Найдена докладная записка тогдашнего министра иностранных дел дашнака С. Тиграняна (от 4 февраля 1919 г.) на имя главы дашнакского правительства Хатисова о «необходимости могучего покровительства какой-нибудь сильной державы для мирного процветания и существования Армении», причем этой «сильной державой» должна быть такая, для которой «Армения представляет политический и экономический интерес»,— и в обмен на

«протекцию» этой «державе» должна быть обеспечена особая позиция во внутренней жизни, что и составит суть протектората».

Нельзя сказать яснее о продажной роли дашнаков, нежели этот документ.

И вот началось «мирное процветание Армении» при помощи «держав-покровительниц». Голод и эпидемии обрушились на страну. Крестьянство покидало насиженные места, вымирали и обезлюдевали целые деревни. Лавины голодных людей катились за помощью в города, но в городах было не легче. Каждый день умирало в Ереване от голода на улицах по 65—70 человек.

Семенной фонд был съеден, засевать нечем. Деревня Гечерлу писала в своем прошении на имя дашнакского правительства о том, что с декабря 1918 года она потеряла до 70 процентов жителей, а из 850 десятин земли смогла засеять только 45 десятин.

По нищей, опустошенной Араратской долине бродило до 40 тысяч армянских сирот, питавшихся травами и кореньями. Кукурузная мука и тряпье, прибывавшие из Америки, становились предметом спекуляций для дашнаков; американские приюты должны были воспитывать несчастных армянских сирот в духе христианского ханжества, смиренномудрия, тупой колониальной покорности своим господам.

Летом 1917 года мне довелось побывать в одном из таких американских приютов для слепых. Еще не свершилась Октябрьская революция, но народные массы были уже разбужены. Читать газету, узнавать про события дня, чувствовать себя частицей огромного целого учились самые одинокие, самые необщественные люди, учились дети и подростки. В этом расширении узких интересов дня, в выходе из личной жизни, в осознании себя частью очень большого целого были великое счастье и новизна, особенно остро чувствовавшиеся молодежью. Между тем молодые парни и девушки, запертые в приюте и подчиненные почти тюремному режиму, ничего об этом не знали. В американский приют для слепых не доходило дыханье никаких перемен. Было страшно смотреть на кучку слепых людей, искусственно лишенных того, что дороже зрения,— живого чувства

своей эпохи. Утром они сидели в каком-то тупом безмолвии за рабочими столами и делали щетки. Молча они поедали из больших фаянсовых чаш свою ежедневную кашу за обедом. И вечером они должны были развлекаться. Развлеченье состояло в том, что слепые, составив оркестр, одну за другой проигрывали заученные вещицы, одни и те же изо дня в день, в той же последовательности,— и завершалось все это вечерней молитвой, пропетой странными, мертвыми, угаснимн голосами. И в звуках оркестра и в голосе хора чувствовалось то страшное, безвыходное напряжение, какое застыло на лицах этой слепой молодежи, в их невидящих глазах из-под тяжелых, насупленных лбов. Словно кричали они и жаловались на бессмысленность их странного, мертвого существования, словно не было воздуха вокруг них,— и они задыхались, вынутые из элемента времени, как рыбы, вынутые из воды.

Я тогда не поняла сразу, почему так страшно было смотреть на них и слушать их, и приписала тяжесть своего впечатления несчастью самой слепоты. Но вот через несколько лет, в Советской Армении, на выборах, я столкнулась с совершенно новым явлением, с общественной жизнью слепых, с их организацией, их большой культурной и политической работой; я услышала их яркие, свежие, живые выступления, их полные силы и жизни голоса, увидела их разгладившиеся лбы,— слепые стали свободными, счастливыми гражданами нового мира, окунулись в советскую деятельность, и она связала их с народом.

Отупляющее и антиобщественное воспитание, характерное для американских и английских приютов в Армении, и притом не только для слепых, но и для здоровых армянских сирот, жалкие подачки, умножавшие в разоренной стране спекуляцию и хозяйственную разруху,— такова была помощь, шедшая в Армению со стороны «держав-покровительниц».

Армянский народ не сносил всего этого безропотно,— он ответил целым рядом восстаний против дашнакского правительства. Они вспыхивали в Шамшадине, в Вайоц-дзоре, в Нор-Баязете. Бастовали железнодорожники Александрополя. Во всех районах имелись

вые подпольные организации большевиков. Они готовили народ к общему восстанию. И в мае 1920 года это восстание вспыхнуло. В историю оно вошло под названием «Майского».

Дашнаки подавили его со зверской жестокостью. Большевики, руководившие им, мужественные сыны народа, чьи имена стали в стране бессмертными — Гукас Гукасян, Степан Алавердян, Саркис Мусаэлян, Баграт Гарибджанян,— были замучены и убиты. Центром «Майского восстания» был Ленинакан, тогда Александрополь. После поражения Гукас Гукасян хотел с группой восставших пробиться в Азербайджан, на соединение с Красной Армией, но дашнаки окружили их у Арагинского ущелья и всех зарубили.

Ноябрь 1920 года стал поворотным в истории армянского народа. Большевистские организации Закавказья во главе с товарищами Серго Орджоникидзе, Кировым и Микояном оказали огромную помощь трудовым массам Армении в организации восстания против ненавистного дашнакского правительства.

В это время в Москве наступала зима. Молодая Советская республика переживала бурные дни борьбы и стройки. Толпы собирались перед каждой расклеенной на стене газетой. С фронтов шли радостные вести. Красная Армия громила и гнала врагов. А время было нелегкое: не хватало хлеба, не было дров; москвичи жили в нетопленых квартирах, сами раздобывали где-нибудь для своей «буржуйки» бревнышко, звали добрых знакомых помочь распилить его, а потом, поработав ослабевшими руками, угощали друзей кипятком вместо чая. По уменьшившемуся формату «Правды», по бледному цвету типографской краски, можно было видеть, как стеснена республика. И все-таки, голодая, сокращая и урезывая потребление, советский русский народ чувствовал здоровую и крепкую тягу истории в будущее, в завтрашний день. И, голодая, он помогал другим республикам.

Холодным утром, в субботу 4 декабря, на стенах появилась маленькая страница «Правды» № 273 от 4 декабря 1920 года. В ней возвещалось новое, яркое событие: дашнакская Армения пала, Армения стала совет-

ской. Под общим крупным заголовком «Да здравствует советская Армения!» шла передовица, подписанная И. Сталиным.

«Армения, измученная и многострадальная, отданная милостью Антанты и дашнаков на голод, разорение и беженство,— эта обманутая всеми «друзьями» Армения ныне обрела свое избавление в том, что объявила себя советской страной.

Ни лживые заверения Англии, «вековой защитницы» армянских интересов; ни пресловутые четырнадцать пунктов Вильсона; ни широковещательные обещания Лиги наций с ее «мандатом» на управление Арменией— не смогли (и не могли!) спасти Армению от резни и физического истребления. Только идея Советской власти принесла Армении мир и возможность национального обновления»,— так говорилось в передовице.

Вслед за нею шло телеграфное приветствие, посланное Ленину 30 ноября восставшим Каравансараем (ныне Иджеваном), куда вступили части XI армии. Оно начиналось взволнованными словами,— это был язык революции: «Да будет известно вождю мировой революции, что крестьяне Дилижанского и Каравансарайского районов, возмущенные преступной политикой дашнакского правительства и углубляющейся анархией в стране, подняли знамя восстания...» За этой телеграммой шла еще телеграмма, от Серго Орджоникидзе из Баку, с кратким изложением событий, и ответное приветствие Ленина. В. И. Ленин телеграфировал в Ереван, на имя председателя Революционного военного комитета Армении: «Приветствую в лице вас освобожденную от гнета империализма трудовую Советскую Армению. Не сомневаюсь, что вы приложите все усилия для установления братской солидарности между трудящимися Армении, Турции, Азербайджана. Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин. Москва, 2 декабря 1920 года».

Армения стала советской!

Но перед большевиками была почти пустыня. Отступая в Персию, дашнаки безжалостно рубили и жгли за собой все, что только можно было уничтожить. Путь от Еревана в Давалу, самый цветущий в Армении, превра-

тился в сплошное пепелище, где курились жалкие горстки золы, оставшейся от армянских деревень. Были порублены сады, пожжены рощи. В горных районах не прекращался сыпной тиф. Крестьянам не только нечего было есть, но и нечем было сеять,— не осталось семян для весенних посевов.

А дашнаки, и отступив, не унимались. Они соединились с турецкими оккупантами, еще задерживавшимися в Александропольском уезде для совместной борьбы с ними против своей родины. Они снова и снова звали на помощь Францию, Англию, Америку. Они взывали к меньшевикам Грузии. В тот год в Грузии еще держалось правительство меньшевиков (оно пало лишь в феврале 1921 года), и вот нашлась «солидарность» и у националистов: грузинские меньшевики объявили, по просьбе армян-дашнаков, экономическую блокаду Советской Армении.

Во время подавления контрреволюционных мятежей (в Верхнем Гарни в Зангезуре) пало много стойких большевиков: Липарит Мхчан, Арменак Будагян, Ермоленко и др.

Между тем лучшие люди Армении, в их числе и передовые писатели, приветствовали установление советской власти в родной стране. Поэт Ваган Терьян, один из наиболее тонких и образованных армянских поэтов, еще до этого энергично работал в рядах коммунистической партии; когда в конце 1917 года был организован Комиссариат по армянским делам, его комиссаром был назначен Терьян. В Центральном государственном архиве сохранилась его докладная записка об ассигновании «шести с лишним миллионов рублей для оказания помощи беженцам-армянам». После установления советской власти в Армении, в 1920 году, Ованнес Туманян писал в частном письме: «Наше спасение заключено в России. Дашнакское правительство показало все свое ничтожество и несостоятельность... Дружба между мной и большевиками от Москвы и до Еревана тесная. Я обратился с письмом в ревком и к Ленину, конечно, имея в виду общие интересы... Наше будущее, как я и говорил всегда, да и вы это знаете, связано с Россией, и чем свободнее будет Россия, тем лучше для всего

мира. Теперь каждый может быть спокоен в своем доме, зная, что уже нет опасности, нет резни и начинается свободная, культурная жизнь» [82].

Как ни тяжело было Советской России в первые годы революции, когда чувствовалась острая нехватка в предметах самой насущной необходимости, молодая русская социалистическая республика щедро помогла армянскому народу. 9 апреля 1921 года Владимир Ильич Ленин телеграфировал тов. Серго Орджоникидзе: «Получил вашу шифровку об отчаянном продположении Закавказья. Мы приняли ряд мер, дали немного золота Армении...» [83] В 1922 году Москва послала Советской Армении 25 вагонов мануфактуры, 100 вагонов пшеницы, 620 тысяч рублей золотом на развитие хлопководства; иваново-вознесенские текстильщики переслали армянским рабочим в подарок полное оборудование для Ленинаканской текстильной фабрики, на 18 тысяч веретен; Москва ассигновала ей ежемесячную дотацию.

Когда все закавказские республики и весь Кавказ стали советскими, стала ясной великая потенциальная сила нового общественного строя, смело поставившего задачу разрешения самых путаных и острых межнациональных споров. То, что раньше, при буржуазно-националистических правительствах, казалось незаживаемой язвой, нераспутываемым узлом, очагом вечной угрозы, источником вековых распрей,— спорные вопросы территорий, государственных имуществ, наличие национальных меньшинств в каждой республике и т. д.,— все это сейчас распутывалось и развязывалось при помощи мудрых организационных мер, принимавшихся партией большевиков.

Разрешение национального вопроса было прежде всего тесно сплетено с решением целого ряда хозяйственных вопросов. Три года хозяйничания буржуазно-националистических правительств не прошли для Закавказья даром. Советские Закавказские республики вели в эти годы замкнутую жизнь. Они имели свои дензнаки, свои пограничные посты и таможенные барьеры. Это обессиливало республики в политическом отношении, помогало кое-где тайком укрепляться и проводить-

ям буржуазно-националистическим настроениям и мероприятиям; ослабляло советскую власть на рубежах Ближнего Востока; это мешало общехозяйственному развитию Закавказья, дробило его экономически именно тогда, когда советская экономика в этих республиках еще недостаточно окрепла. Необходимо было создание для всех трех республик одного федеративного правительства. И 3 ноября 1921 года Кавказское бюро ЦК РКП(б) приняло на пленуме решение о создании федерации закавказских республик. И Закфедерация была создана на конференции трех ЦИКов (Армении, Грузии и Азербайджана) 12 марта 1922 года; она помогла хозяйственному и культурному расцвету трех молодых социалистических республик и была ликвидирована в 1936 году, с принятием Конституции Союза ССР.

Но вернемся к Армении 20-х годов. Если в соседних с нею республиках уже были собственные промышленные очаги, такие, как нефтяные промыслы в Баку, с политически сознательным и окрепшим в революционных боях пролетариатом, и если эти промышленные очаги не были уничтожены гражданской войной, то в Армении картина была иная. Маленькая страна, бывшая отсталою колонией царизма с примитивнейшим и убогим сельским хозяйством, с незначительным количеством рабочих и с подавляющим процентом обнищалого крестьянства, оказалась опустошенной и разоренной дашнаками. И эту страну большевики должны были превратить в цветущую социалистическую республику с собственной развитой промышленностью.

Один замечательный документ встает над первыми годами строительства Советской Армении. Он был написан в Москве 14 апреля 1921 года, напечатан в Тбилиси в газете «Правда Грузии» 8 мая 1921 года и обращен к коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики. Это было письмо Ленина, ставшее на долгие годы путеводной звездой для партийных и советских работников Закавказья.

Ленин писал в этом письме: «...как ни важен национальный мир между рабочими и крестьянами национальностей Кавказа, а еще несравненно важнее удержать и развить Советскую власть, как переход к социа-

лизму». А для этого надо, «чтобы коммунисты Закавказья поняли своеобразие их положения, положения их республик, в отличие от положения и условий РСФСР, поняли необходимость не копировать нашу тактику, а обдуманно видоизменять ее применительно к различию конкретных условий». Среди указанных Лениным коренных отличий на третьем месте та особенность кавказских республик, что они — «страны еще более крестьянские, чем Россия». Ленин писал: «Сразу постараться улучшить положение крестьян и начать крупные работы электрификации, орошения». «Орошение особенно важно, чтобы поднять земледелие и скотоводство во что бы то ни стало». «Орошение больше всего нужно и больше всего пересоздаст край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму» [84].

Это письмо в жизни Закавказья сыграло огромную роль, и великий смысл его продолжает раскрываться и до сих пор.

По определению Ленина, Армения была странею еще более крестьянской, чем Россия, и возродить ее, поднять ее хозяйство, укрепить переход к социализму — значило прежде всего помочь крестьянству, начавши крупные работы по электрификации и орошению.

Что же представляло собою в те дни армянское крестьянство? Оно прежде всего было основной производительной силой в Армении и преобладающей массой ее населения. Еще в первые годы включения Армении в состав России население ее было в огромном большинстве крестьянским. За полвека, предшествовавших Октябрьской революции, это мало изменилось. При царизме, к концу первой мировой войны, подавляющая часть населения Армении так и осталась крестьянской, города росли слабо, и в них почти не было промышленности. До революции Армения могла похвастать в сущности только медными рудниками в Зангезуре и Лори; медеплавильными заводами в Алаверди и Кафане (но те и другие почти сплошь были отданы царским правительством на хозяйничание французским концессионерам); сыроваренным заводом в бывшем Джалал-оглы (ныне Степанаване), открытым швейцарским предпринимателем Готлибом, да коньячным заво-

дом в Ереване, принадлежавшим русскому капиталисту Шустову. Жалкое существование влачили зачатки местных промыслов в двух городах, Ереване и Александрополе, да винные, шелкомотальные и прочие кустарные заведения в деревнях.

Крестьянство в Армении не было однородно. Небольшая его часть — садоводы, владельцы виноградников (особенно в Аштараке и Эчмиадзине) — имела кулацкое хозяйство, держала сезонных рабочих, заводила у себя собственные производства. Владельцы больших поголовий скота и хороших пахотных участков тоже применяли наемный труд, делали масло и сыр, вывозили продукты на рынок. Но подавляющая часть армянского крестьянства задыхалась от малоземелья и нищеты. Выше я рассказала, в каких кабальных условиях жили крестьяне деревни Ахпат, владевшие лишь одной двадцатой посевной площади, тогда как помещику и монастырю принадлежали девятнадцать двадцатых. Но по сравнению с апаранцами и жителями других горных районов ахпатцы были почти богачи.

Трудно себе представить сейчас степень тогдашней крестьянской нищеты в Апаране. Борясь за клочки земли, годные для посева, ютясь в земляных норах, не зная горячей пищи, из поколения в поколение трудились апаранцы без проблеска чего-то лучшего впереди. Одежда истлевала на изможденном теле старух, глаза их слезились от трахомы, голые дети ползали возле дымного очага на земляном полу, обреченные на ту же трахому. Когда проезжаешь горными ущельями Армении, часто видишь на склонах россыпи камней, словно какой-нибудь мифический великан накатал их, играя, сверху. Столетиями армянские крестьяне должны были очищать землю от этих камней. Подобно тому как в густых уральских лесах вырубали деревья и корчевали пни, отвоевывая землю для распашки, так армянские крестьяне «корчевали» камни — миллионы камней! — корчевали потому, что камни вросли глубоко в землю, отлежались в ней, и приходилось не убирать, а вырывать их.

Суровый климат, безводье, малоземелье сделали армянского земледельца терпеливым, трудолюбивым,

упорным в труде. И эти же условия были причиной, заставившей их искать спасения в выгодах совместного, артельного труда. Историки упоминают о древнейшем существовании крестьянской общины [85]. Она сохранилась до самой революции. Происхождение ее очень любопытно и характерно в Закавказье не для одних армян, но и для азербайджанских кочевников-скотоводов,— и характерно не только тем, что в поисках выхода из нищеты крестьяне стихийно устремлялись к совместному использованию земли, но и тем, до какой степени ярко раскрывается вся безнадежность таких попыток при старом общественном строе, при капитализме.

Что же это были за артели? Армянские крестьяне с давних времен практиковали, особенно в Араратской долине, подушный надел земли, носивший название «ампачарекство». Полный надел, «амп», был рассчитан на семью из шестнадцати душ; четвертной надел, «чарек»,— на семью из четырех человек. Но так как надел в общине исходил только из четного числа, а было много семей с нечетным числом членов, и так как большие семьи имели в своих руках много земли, а маленькие, особенно из трех человек, не могли ни развернуться на своей земле, ни разделить ее на огородные, грядковые и всякие другие культуры, нужные в хозяйстве, то маломощный армянский крестьянин издавна стал бороться со своим малоземельем тем, что маленькая семья, «дым», соединялась с другими такими же маленькими семьями в своеобразные товарищества, так чтобы общее число членов стало четным и могло составить «амп» или даже несколько «ампов».

Это любопытное явление в старой армянской деревне очень идиллически, с явным уклоном в народничество, описал в большом научном труде профессор С. А. Егиазаров [86]. Но даже и ему, наивно верившему, что вода ставила предел богатению кулаков, пришлось сделать существенную оговорку: «хотя и здесь изворотливые мироеды стараются обходить обычное право». Никакое «ампачарекство» в Армении, как и сельские общины в других странах, не могло бороться с ростом капитализма в деревне, с безудержной кулацкой эксплуатацией, с обездоливанием бедняков не только в их

праве на хлеб, но и в их праве на воду. Больше того, они сами становились пособниками кулаков. Изворотливые мироеды легко обходили обычное право, подкупали мирабов, ставили «хранителями воды» своих людей, дававших воду в первую очередь на земли богачей, и это вызывало подчас кровавые столкновения в деревнях. Повесть Перча Прошьяна «Из-за хлеба», переведенная и на русский язык, правдиво рисует такие столкновения в одном из аштаракских сел. Она показывает, как в сельские старосты избирались обычно кулаки или ставленники кулаков; как они, в полном согласии с местным начальством,— урядниками, приставами,— проводили в деревне свою кулацкую политику, от которой ни «управы», ни защиты бедняку искать было не у кого. Много пришлось потрудиться нашей партии, чтоб с корнем вырвать местное кулачество, перевоспитанием выкорчевать собственнический инстинкт у середняка-садовода, вывести армянскую деревню на светлый путь коллективизации,— и беднейшие слои армянского крестьянства были ей прочной опорой в этой борьбе.

Треть века — такая капля времени по сравнению с морем тысячелетий! За треть века в дореволюционном мире так ничтожно мало менялось и в облике городов, и в лице всей страны, и в лице поколения, что людям одного поколения мир казался незыблемо устойчивым в своих формах. Но за треть века в Советской Армении все стало неузнаваемо новым. Мы сейчас видим страну в ее современном цветении культуры, в ее непрерывном развитии и преобразовании. И уже бледнеет в памяти поколений трудный путь, каким превращалась отсталая, глухая окраина царской России в свободную и культурную советскую республику.

Ленин указал на особую важность о р о ш е н и я для сельского хозяйства Армении; он писал, что в Армении орошение нужно б о л ь ш е в с е г о, что оно больше всего пересоздаст край, поднимет земледелие и скотоводство. Важность и нужность орошения Ленин, однако же, видел не только в его исключительной роли для подъема и процветания края, а и в том, что оно «похоронит прошлое, укрепит переход к социализму» [87].

Укрепит переход к социализму! Недаром Владимир Ильич связал в общем понятии «крупных работ» вместе орошение и электрификацию. Переходом к социализму, к созданию тяжелой промышленности, созданию материальной и духовной культуры, к созданию своих технически образованных многочисленных кадров индустриальных рабочих, своей новой, советской интеллигенции и послужили эти работы, где орошение земли связано с получением электрического тока, а электрический ток связан с механизацией трудоемких работ, с созданием промышленных очагов, с облегчением и устроением человеческого быта.

Первые, нехитрые мелиоративные работы начала 20-х годов... Эчмиадзинский канал имени Ленина с его ночными кострами на трассе и задушевными беседами рабочих у костров; первая маленькая гидростанция в Ереване, казавшаяся верхом индустриальной мощи; Ленинаканская текстильная фабрика; восстановление крестьянских жилищ в сожженных деревнях, а с ним вместе — поиски стройматериалов, создание цементного, пемзового, базальтового производства, первых очагов химической промышленности; собирание сирот, бродивших по обнищалой земле, терпеливое обучение их, постройка детских домов, школ и больниц; съезды, конференции — эти университеты первых лет революции — и выковка новых людей, работников первой пятилетки; начало могучего колхозного строительства и с ним вместе общий подъем деревни: агротехнический, культурный, лично-бытовой и общественно-бытовой; производство удобрений и среди них — цианамида кальция из азота воздуха; проникновение в деревню машин; доро́ги, доро́ги, доро́ги, каналы, водокачка Айгерлич, водопроводы... по сравнению с первым каналом имени Ленина — мощный Ширакский канал, воспетый в 1924 году родоначальником армянской советской поэзии, старым, но юношески бодрым Акопом Акопяном в первой армянской «индустриальной» поэме:

Ты создан, Ширканал. Тебя
Поил по капле пот людской:
Теперь он плотью стал твоей —
Быстротекущею рекой.

Ты слышал тысяч кирок звон,
Испуганного камня дрожь;
Гимн изобилью ты поешь,
Основу новой жизни ткешь...[88]
(Перевод А. Тарковского)

По сравнению с первой гидростанцией в Ереване — казавшаяся огромною стройка Дзорагэс, описанная в романе «Гидроцентраль». И вот уже гигантские очертания Севано-Зангинского каскада, перед которыми померкли размеры Дзорагэс; и такой маленькой кажется сейчас и эта станция!

Но какими маленькими ни казались бы нам сейчас эти первые стройки республики, такие несовершенные и по технике, и по объему, и по срокам выполнения, в каждой из них присутствовало то особое качество, внесенное новым, небывалым в истории человечества общественным строем, которое каждую из них делало крепостью, материальным укреплением на великом пути перехода к социализму.

Аграрная страна становилась индустриальной. Весь наш великий Союз из страны по преимуществу аграрной становился индустриальным. Но в Армении, как и в других экономически наиболее отсталых республиках Союза, это становление протекало с быстротою, превысившей общую быстроту процесса развития всего нашего Союза. В цифрах, по сравнению с годом наивысшего экономического расцвета в старой царской России, 1913-м, это выглядит так: к концу второй пятилетки валовая промышленная продукция СССР превысила такую же продукцию 1913 года в восемь с половинной раз, а валовая продукция промышленности Армянской ССР — валовую продукцию старой «Эриванской губернии» — в двенадцать с половинной раз.

Тут сказалась не только разница между материальной оснащенностью всей территории старой России по сравнению с убогими начатками промышленности, какие имелись в 1913 году на глухой губернской окраине, но и мудрая политика большевиков, последовательно и неуклонно поднимавшая индустриальную культуру наших самых отсталых и самых отдаленных от центра

республик, превращавшая их в могучие крепости социализма, в показательные участки комплексного социалистического хозяйства.

За две первые пятилетки в Армении выросли и начали давать продукцию 43 крупных промышленных объекта.

Во время Отечественной войны все силы армянского народа вместе с братскими народами всех союзных республик брошены были на оборону родины в армии и в тылу. И в эти годы республика освоила 270 новых видов промышленной продукции и стала давать фронту 300 различных видов изделий.

В послевоенную пятилетку, законченную досрочно, здесь выросло еще около 60 больших промышленных производств и 27 старых было реорганизовано и расширено. А ведь каждый из перечисленных объектов — это сложное большое целое, сцепляющее и поднимающее, как узелки на клетках большой сети, сразу все наше социалистическое бытие с его материальной и духовной культурой, с необычайно быстрым развитием и ростом нового, советского человека. Настолько быстро и целостно, захватывая всю страну и все области ее хозяйства, совершался и совершается этот процесс, что уезжающим из республики на год, на два, а потом возвращающимся в нее, трудно бывает узнать улицы родного города или селенья, новым предстает облик родного человека,— и в этой стремительной силе изменения всегда чувствуется не только пройденный путь, но и очертания завтрашнего дня, бесконечная перспектива развития. Так видишь перед собой в переднем стекле мчащегося автомобиля далекую ленту дороги, ежесекундно бегущую на вас, схватываемую, преодолеваемую, но — все уходящую и уходящую в будущее, зовущую и зовущую вперед...

Цифры говорят сухо. Но есть место, где они оживают, освещенные предметами и фотографиями; это место — отчетная выставка, ставшая неизменным спутником наших юбилейных дат, конференций, съездов. К празднику тридцатилетия Советской Армении в нескольких залах Ереванской филармонии была открыта для десятков тысяч зрителей такая выставка.

Представим себе человека, знавшего только глухой старый губернский городишко Эривань, где почти каждая самая простая мелочь быта человеческого — спички, чернила, веревки — привозилась издалека. И вот он входит в раскрытые двери выставки, и ему навстречу встает изо всех углов, со стен, с витрин хозяйство молодой советской республики, правда, не все, а только часть его, потому что здесь не показаны мощные промышленные предприятия Кировакана и Ленинакана, сюда не вошли огромные городки-комбинаты искусственного каучука и алюминия, здесь нет дыхания больших гидростанций Севано-Зангинского каскада, нет раздвинутого, широкого, до неузнаваемости изменившегося пейзажа самой страны, такого пустынного тридцать лет назад, а сейчас насыщенного стройками, заводами, жильем человеческим, шагающими мачтами электростанций, механизмами, зелеными насаждениями, дождевальными установками, бороздами бесчисленных разборных водоканавок,— все это сюда не вместилось. Но и то, что показано тут, могло бы ошеломить, потрясти вошедшего человека,— такою громадной переменой развернется перед ним настоящее по сравнению с прошлым.

Заводы,— главным образом те, что вступили в строй во второй половине 40-х годов, после Отечественной войны,— открывают выставку. Целая колонна из добротных резиновых автомобильных шин у входа. Кабели всех видов,— огромные аккуратные мотки тонкого, толстого, темного, золотого металла,— провод гибкий антенный; провод толстый для прокладки в железных трубах; очень толстый кабель для электрической разведки нефти; голый провод для воздушной электрической сети; провод с резиновой изоляцией, в пропитанной оплетке из хлопчатобумажной пряжи; кабель шланговый тяжелый... и еще множество живых, скрученных змей всех видов и толщины, созданных, чтоб лечь дорожкой для электрического тока. Сборище великолепных станков, больших, изящных, лакированных: вертикально-сверлильный, токарно-винторезный, прецизионный.

А вот совсем новое: камнефрезерные станки, целый

букет приспособлений, режущих инструментов, созданных разделывать и резать не металлическое тело, а камень. За стеклом — измерители, веером распахнутая, точная, дорогая аппаратура, приборы электродинамические,— умные, сложные вещи с запечатленной в них мыслью, вещи, продолжающие наши органы чувств,— ощупывание, вглядывание, вслушивание. Удивительно изящные силовые трансформаторы трехфазного тока, от маломощных до крупных; синхронные генераторы, тоже от малых до крупных. Щиты управления для сельских электростанций, стройные, как страничка со стихами. Горизонтальная спиральная гидротурбина; знакомая, вытянутая вертикально колонка-микрогэс на 20 киловатт, вся в одну человеческую обнимку, как хороший ствол дерева, и весит всего 1300 килограммов, а от этого милого небольшого гэсика освещаются деревни, крутятся колеса мельниц, механизируются полевые работы...

Все это сложное богатство вырабатывается в Армении, делается новым поколением армянских рабочих и инженеров на многочисленных передовых заводах, многие из которых носят высокое звание «всесоюзных»: Всесоюзный ереванский шинный завод; завод «Ереванкабель» всесоюзного Министерства электропромышленности; завод малых гидротурбин; Всесоюзный электромашиностроительный; Всесоюзный станкостроительный; Ереванский машиностроительный; механический Ерместпрома; компрессорный; завод электроточных приборов; химический завод... А между образцами тяжелой промышленности по разным углам — часовой завод выставил армию будильников, суконная фабрика развернула замечательные по отделке сукна, фаянсовый завод со своими изделиями, лакокрасочный и несчетное количество других экспонатов, всевозможных предметов быта, производимых большими заводами «между делом» — отопительных колонок, кухонных плит, ванн, дверной и оконной арматуры,— в качестве перехода ко второму отделу выставки, большому залу армянских стройматериалов.

Как могло быть создано такое богатство разнообразных видов промышленности, подняты такие произ-

водительные силы в пустынной и нищей до революции стране за ничтожный срок времени — каких-нибудь три десятилетия? Если взлететь над широким простором нашего Союза и проследить глазами стальные ниточки рельсовых путей, опоясывающих его тело с севера на юг и с востока на запад, то мы увидим червячки поездов, бегущих с Урала и Украины, из Москвы и Ленинграда, из многих, многих мест с назначением «Ереван» или «Армянская ССР». На товарных платформах едут в Армению автомашины «победа», едут тракторы и экскаваторы, едут молотилки, едут станки. В каждую вещь в Армении вложены усилия всего советского народа, в каждое дело в Армении вложена энергия всего Советского Союза. Хозяйство Армянской республики — это яркий узелок всей нашей могучей социалистической системы хозяйства, узелок, через который пульсирует кровь единого, непобедимого организма. Вся страна помогала Армении вырасти, и всей стране отдает Армения плоды своего роста: этот превосходный кабель, эти шины, эти турбины, эти распределительные щиты и сельскохозяйственные электроподстанции...

Но вернемся в первую залу и посмотрим, как говорит цифры, когда им помогают предметы и фотографии. Возле стенда Ереванского шинного завода висит любопытный график. Он показывает трудовые затраты в человеко-часах на выпуск одной условной автомашины. Завод молодой, он начал выпускать продукцию в 1946 году. И на этом заводе:

в 1946	году—	на одну условную автомашину человек затрачивал	25%	труда
„ 1947	„	уже только	9,2%	„
„ 1948	„	„	7,2%	„
„ 1949	„	„	5,1%	„
„ 1950	„	„	3,4%	„

График не живопись, не скульптура, не песня, не художество, и красивые, чистые, прочные резиновые шины рядом с ним — не предметы искусства; но с какой силой,— с силой, равной песне,— голос этого графика действует на ваше воображение! Ведь о чем говорит он нам? О том, что с каждым годом все более и более механизируется процесс изготовления. О том, что за счет

этой механизации делается все больше и больше покрышек и шин. И о том, что технически растет и меняется человек на заводе вместе с изменением и культурой труда,— новый армянский человек наступающей эры коммунизма.

Поглядим в лицо этому новому человеку. В прошлом, мы знаем, в Армении почти не было рабочего класса, как и не было своей промышленности. Сейчас на этих огромных заводах с их совершенными механизмами, в этих крупнейших производственных комбинатах, обросших целыми собственными городами, вдохновенно работают десятки тысяч армянских рабочих и инженеров. В каждом углу выставки, рядом с альбомами, где помещены фотографии цехов и продукции завода, есть альбомы лучших людей этого завода, известных по именам всей республике, а может быть, и за ее пределами. Возьмем для примера альбом «Ереван-кабеля». На этом заводе много операций и соответственно много специальностей: волочение, скрутка, отжиг, обмотка, листование, наложение резиновой изоляции всевозможными способами, скручивание трехжильных кароттажных кабелей, оплетка хлопчатобумажных пряжей, контроль, отгрузка. Работают и мужчины и женщины. В альбоме представлены все эти специальности, портреты начальников цехов и мастеров, оплетчицы тов. Галстян, прессовщика тов. Погосяна, вулканизатора тов. Баласаняна, бухтовщицы тов. Манукян, тросильщицы тов. Оганесян и многих, многих других, вальцовщиков, волочильщиков, обмотчиц, скрутчиц,— девушек с красивыми бровями, с кудряшками на лбу, с длинными косами, с ясными лбами; молодых людей с умными, пытливыми лицами. Вам кажется, вы рассматриваете альбом с выпуском университета, с дипломниками, со студентами и профессорами,— так высоко интеллигентны эти лица, такое в них присутствие мысли, своей собственной, осознанной, уже постоянной мысли, проложившей складочки у переносицы, у рта, засветившейся в глубине глаз, украсившей улыбку. И все молоды, начальники цехов — такая же молодежь, их почти невозможно отличить от рабочих; а пожилые мастера как будто тоже помолодели, подтянулись... Но-

ное поколение пришло в наш мир, поколение строителей коммунизма.

Аграрная страна стала индустриальной. Бывшая глухая Эриванская губерния сделалась цветущей социалистической республикой с собственной тяжелой промышленностью, с высокой культурой сложного машиностроения, станкостроения, производства тончайших измерительных приборов высокого класса и точности.

Но и сельское хозяйство молодой республики не осталось на обычном уровне, оно прошло все фазы социалистического развития, и наблюдать его сейчас, наблюдать те процессы, что происходят в нем,— значит заглядывать сквозь сегодняшний день, как сквозь большое распахнутое окно, в сияющие сады грядущего.

В «классической стране малоземелья», как называли Армению старые агрономы, с каждым годом ширилась площадь, становившаяся годной для обработки. Очищались от камней и распахивались горные склоны ущелий. Большие иссушенные безводьем пространства поила вода новых и новых каналов. Минеральные удобрения, привозившиеся издалека, стала все в большем и большем количестве производить сама республика. Сохранять влагу в земле, смягчать сухой и знойный воздух начали помогать целые рощи молодых деревьев,— лесосев и лесопосадки двинулись походом на безлесные равнины. Все мощнее и крепче становились колхозы,— и коллективная форма хозяйства вывела армянского крестьянина из его тысячелетней нищеты. Впервые за всю историю Армении на полевые работы вышла женщина. Муж не давал ей раньше становиться за плуг,— это считалось мужским делом. Сильная и выносливая, молчаливая, бесконечно терпеливая армянская женщина взяла во время войны мужскую работу в свои руки и показала чудеса энергии и трудоспособности.

Неуклонно из года в год увеличивался озимый клин — за три года войны, например, он вырос на десятки тысяч гектаров, а если заглянуть глубже в прошлое, то увидим, что рост его особенно усилился с 1937 года — за семь лет на 88 721 гектар.

Что означало это увеличение для Армении? Весна на армянском нагорье холодна, а лето засушливо. Бы-

вает, что яровые еще и вызреть не успеют, а уже погорят от солнца. И другое бывает: в нагорных районах падает град с голубиное яйцо. Не успеют вылезти слабые, бледненькие ростки яровых, как их перемалывает град,— и опять неурожай. А озимые сеют под снег, сеют хорошими семенами высокоурожайных местных сортов «слфаат» и «гюльгани», которые к осени у вас под рукой, время есть отобрать их,— и они набирают за зиму влагу, вызревают уже крепкими ко времени града и обеспечивают хлебом горные районы, где раньше постоянно страдали от недородов.

Озимые берут от армянской земли соки, которые без них пошли бы на сорняки: озимые питаются за счет солнца,— их вегетационный период долог. И в результате не только не истощают землю, но после них некоторые пропашные культуры (свекла, например) чувствуют себя здесь лучше, чем после яровых.

А если вспомнить, что озимый клин, как правило, помогает регулировать и вводить севооборот, то станет особенно ясным, насколько окрепла и шагнула вперед культура сельского хозяйства в Армении за истекшие годы. Но вместе с ростом озимого клина мичуринская наука подсказала Армении и такое средство борьбы с условиями климата и вегетационного периода, как замечательный способ летних посадок. Летний посев кормовой травы суданки, летняя посадка картофеля уже дали свои результаты.

В мае 1950 года Совет Министров СССР поставил перед Арменией задачу: добиться, чтобы в ближайшие годы республика смогла себя обеспечить собственным хлебом. Это огромная задача. Для выполнения ее Армения должна к 1957 году расширить посевную площадь зерновых в колхозах с 280 тысяч гектаров до 460 тысяч гектаров, причем 400 тысяч гектаров должно быть отдано под пшеницу и только 60 тысяч гектаров под другие зерновые культуры. Но для победы одного расширения площади мало,— необходимо удвоить и урожайность зерновых, а это означает серьезнейшую борьбу за высокую культуру обработки земли, за удобрения, за механизацию полевых работ, за правильный севооборот. На XV съезде Коммунистической партии Армении

было отмечено, что одним из главных вопросов дальнейшего развития сельского хозяйства Армении является борьба за пшеницу. К этому вопросу должно быть приковано внимание партийных и советских организаций, а также колхозов.

Вместе с подъемом урожайности зерновых год от году поднимается в Армении и урожайность трудоемких ценных растений. Даже в те годы, когда хлеб был дороже всего, в труднейших условиях войны, расширялась площадь также и под техническими культурами. В республике выросли посевы табака и свеклы; решительно завоевали Армению картофель и овощи. Идут работы над выведением длинноволокнистого хлопка, разводятся герань и казанлыкская роза, дающие ценное масло.

Развитием перерабатывающей промышленности послевоенная пятилетка закрепила рост этих ценных культур; построены сахарный завод, новые консервные фабрики, расширен Ленинаканский текстильный комбинат, завод лаков и красок в Ереване и многое, многое другое.

Армения, никогда не имевшая своих семян для посева кормовых растений, сейчас создала свои превосходные семеноводческие хозяйства, превращает многие дикорастущие травы в культурные кормовые. Орошение Араздаянской степи и других земель даст Армении много десятков тысяч гектаров дополнительной поливной посевной площади. Вместе с этим ростом поднимается и культура труда, множатся кадры опытных работников. Сельское хозяйство насыщается механизмами и электричеством, вся Советская Армения становится страной сплошной электрификации: на 1 февраля 1951 года из 666 колхозов республики было электрифицировано 456. По сравнению с 1940 годом доходы колхозов увеличились больше чем в четыре раза, и в 1950 году число колхозов-миллионеров в такой сравнительно небольшой республике, как Армянская, выросло до 112. Насколько высока сегодня культура сельскохозяйственного труда в Армении, показывает быстрое увеличение числа выдающихся работников и работниц полей. Если в 1948 году здесь был только один Герой

Социалистического Труда, то в 1950 их стало 116, и за эти два года 2 600 колхозников получили ордена и медали.

Я почти ничего не сказала о садах и виноградниках Армении. Ими она славилась с глубокой древности. Но между садами мелких собственников в 1913 году и большими колхозными и совхозными площадями в наши дни — огромная разница. Новая, передовая агротехника резко изменила в Армении урожайность,— сады по-новому удобряются, новыми средствами борются в них с вредителями. Сбор плодов увеличился в Армении в четыре с половиной раза. Любопытной статистикой занялись люди в 1944 году. Знаете, сколько пришлось тогда винограда на каждую душу населения в Армении? Около шести пудов. Если бы можно было хранить его, любой из жителей республики мог бы круглый год есть по восемь килограммов винограда в месяц! А в послевоенной пятилетке сады и виноградники получили дополнительную площадь. Надо еще сказать о передвижении плодов в верхние зоны. Закавказье ввело мичуринские методы позднее, чем Север и средняя часть России. Но армяне уже почувствовали благодетельную силу гибридизации, продвижения новых выведенных сортов туда, где раньше не росли яблоки, не созревали помидоры. Замечательные люди, последователи Мичурина и ученики Лысенко, работают здесь, смело вводя их методы, высоко поставив селекционное хозяйство. Сад проникает все выше и выше, и уже в Зангезуре созревает апорт, в Мартуни — антоновка, в Даралагязе — прекрасная анисовка и груша, а в Апаране — такие овощи, которых раньше, прожив там безвыездно всю свою жизнь, многие апаранцы и в глаза не видели. Предстоит массовая прививка дичков, превращение огромного количества диких плодовых деревьев в лесах Зангезура и Айоц-дзора в культурные сорта.

Одной из важнейших послевоенных задач перед Арменией, как и перед всем нашим Союзом, встала задача выполнения трехлетнего плана развития общественного животноводства. Она очень сложна для каждой советской деревни после разрушений войны. Но

в Армении выполнение этой задачи осложнилось еще и полной недостаточностью кормовой базы. Только одним увеличением поголовья тут ничего нельзя было достичь. Малорослых и малоудойных армянских коров следовало превратить в высокоудойных, породистых; прежнее малопродуктивное кочевое животноводство — сделать культурным, стойловым. Процесс этот начался в сущности с первых лет существования республики, но особенно необходимым он сделался после Отечественной войны, когда удалось, на опыте осуществляемой трехлетки, правильно нащупать пути решения задачи: создание и расширение кормовой базы; выведение своей республиканской породы рогатого скота — лорийской; переброска ферм в верхние, горные зоны республики; освоение нового метода воспитания телят, холодного, и много других мероприятий, вплоть до создания своих семеноводческих хозяйств по травосеянию. А среди этих мероприятий очень важным был для животноводства, как и для всего социалистического сельского хозяйства Армении, рост облегчающих труд человеческий механизации и изобретательства.

Возьмем простейшее средство орошения — каналы. Много веков строились они традиционно, без особенных технических новшеств. Сейчас, как я уже писала выше, новая система орошения водоразборными бороздами вместо постоянных каналов, отнимающих много времени, сил, денег, воды и земли, в Армении уже налицо, и, например, только в одном колхозе (имени Микояна) магистральный канал сократился с 49 километров до 21, легче стало ухаживать за ним и поддерживать его, отвоевана лишняя земля, по которой проходил магистральный, меньше расходуется воды. Но дело не только в этом, не только во введении новой системы. Электрификация трудоемких работ подтолкнула изобретательскую мысль, и мы видим, как в самой старой, самой консервативной технике проведения и эксплуатации каналов, технике, выработанной, казалось бы, бесспорным опытом тысячи поколений, наступили резкие изменения. Сколько было, например, страданий с просадками грунта в каналах и как дорого, в какую «копеечку» влетала борьба с ними, цементирование,

бетонирование. А вот тов. В. Канаян из НИИГ * Армении предложил делать гидроизоляцию из местных материалов, и это дешевое средство выровняло дно канала, уничтожило просадку. Не меньше мук было с ежегодной очисткой каналов, производившейся вручную. Сейчас очистка каналов почти наполовину механизирована. Сложно и хлопотно было управление оросительной системой,— сейчас диспетчер, сидя у своего пульта, как железнодорожник, управляет пуском воды, словно поездом. Дождевание табака, электродоилка, электрострижка овец, электропоилка, переброска и откачка воды, механизмы на полях, управление ими — всюду тяжелый ручной труд человека отступает перед легкой и неутомимой рукой электричества. Это отражается и на росте связи, на культуре дорог. Возьмем дорожные мосты: простые, проложенные колесами крестьянских арб, послушно идущие то круто вверх, то круто вниз, то в овраг через речку, то на горку — вслед за естественным профилем матушки-земли; старые сельские дороги мостов не требуют, арба или ишак и так пройдут по ним. Но машине идти по ним невозможно. Машине нужна трасса. А там, где трассируются дороги, где они строятся культурно, необходимо нужны и мосты. И цифры ясно говорят на своем языке: в 1920 году дорожных мостов в республике было только 328, а в 1950 году их стало 1055...

Если заглянуть в планы наших колхозов, поговорить с бухгалтерами и экономистами рай- и сельсоветов, МТС и совхозов, посидеть во время горячей работы в кабинете председателя колхоза, принимающего десятки посетителей, и вслушаться, вглядеться, вдуматься во всю эту бурную жизнь нашей сегодняшней деревни, то придешь к несомненному неожиданному выводу: да разве «деревня» это? Да разве кое-что в ней не напоминает процессы, происходящие в нашей промышленности, в городских учреждениях? Механизация, рационализация, борьба за экономичность, приложение изобретательской мысли, обновление технологии, комби-

* Научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации.

нирование, кооперирование, рост комплексности — и новые люди! Новое поколение людей, лицо человека, освещенное мыслью, лицо читающего, думающего, заинтересованного человека. «Советская власть плюс электрификация» постепенно снимает в деревне разницу между сельскохозяйственным и промышленным трудом «Советская власть плюс электрификация» постепенно снимает в деревне разницу между трудом физическим и умственным. И это становится видно простым глазом, переходит в действительность.

И сам собой напрашивается еще один вывод, ясный из всего вышеперечисленного: участие науки в этом великом культурном процессе, повседневная, постоянная, неутомимая роль армянских ученых, армянской Академии наук во главе с ее президентом В. А. Амбарцумяном в решении практических вопросов сельского хозяйства и промышленности

Я перечислила несколько новых явлений, характерных для сегодняшней Советской Армении. Но характерны они не только для нее,— эти явления типичны для многих мест нашего необъятного Союза, они представляют собою «социалистическое содержание» его большого и единообразного хозяйства. Между тем Армения глубоко своеобразна. и по своему географическому и по климатическому положению, и одно только перечисление того, что есть в республике и что будет в ней в ближайшие годы, еще не даст читателю полного знания о ней. Для полного знания необходимо увидеть, в чем «необщее выражение» лица этой маленькой республики, в чем своеобразие узловой формулы ее хозяйства, первые шаги которого начертал Ленин, как «орошение» и «электрификацию». Вулканическая горная страна, полупустынное царство камня и солнца, Армения вошла в семью советских республик, обращая свои минусы в плюсы. Безводье потребовало искусственного орошения, а при особенностях водного режима в Армении, профиле ее горных ущелий, высоком падении ее речек — искусственное орошение легко и естественно сочеталось с гидроэнергетическими установками. Вода, направленная в каналы и брошенная на турбины, сослужила двойную службу — напоила землю и дала Ар-

мении дешевый киловатт-час. А дешевый киловатт-час — это как раз то, что ищут в первую очередь химическая промышленность и электрометаллургия, потребляющие электроэнергию в огромном количестве. Понятно, что именно с химической промышленности и начался индустриальный рост Армении, пришли в нее каучук и алюминий и разрослись целыми заводами-городками.

Но на химической промышленности этот рост не закончился. Химическая промышленность потянула за собою развитие новых производств, использующих ее отходы; подняла индустриальную культуру республики, вырастила опытные рабочие кадры и всем этим облегчила и отчасти обусловила бурный рост машино- и станкостроения в Армении. Сейчас новые отрасли тяжелой промышленности, электромашиностроение в особенности, уже начали определять собою индустриальное «лицо» республики. За них, за их большое будущее говорит сама жизнь, соседство большого металлургического завода в Грузии, близость Баку с его заводами, с которыми Армения легко и выгодно кооперируется, получая от них необходимые части и детали.

В горных ущельях Армении почти не было дорог, а поискам дорожных трасс всегда помогают геологи, так же как и поискам воды. Бездорожье и безводье не только не остановили, но наоборот — стимулировали работу геологов, и победа над ними, над бездорожьем и безводьем, шла рядом с освоением богатых недр армянских гор. А новооткрытые рудные недра, в свою очередь, подтолкнули и дорожное и жилищное строительство. До Октябрьской революции никому и в голову не пришло бы смотреть на маленькую «Эриванскую губернию» как на место будущих геологических открытий. Наоборот, в ходу были утверждения о том, что вся она уже изрыта и перерыта, что медь в ней исчерпана и вообще больше искать в ней нечего. А между тем в наши дни объем геологоразведочных работ в Армянской ССР значительно увеличился.

Республика бедна лесом, и для строительства пришлось искать камень. Тогда вулканические горы раскрыли все несчетное богатство своих чудесных туфов, своего декоративного камня, своего базальта, кальцита,

немзы, глины,— и строительные материалы Армении пошли служить не только ей, но и всему нашему Союзу. В то же время бедность дешевым строительным лесом обострила вопрос о буке и дубе, тисе и грабе, которыми богаты армянские леса,— и не только в смысле практического использования этого дорогого поделочного материала, но и в смысле искусственного разведения (при лесопосадках) именно этих лесных пород.

Так, диалектически раскрывая в каждом природном недостатке возможные преимущества, превращая постоянным приложением творческого труда свои природные минусы в плюсы, отражая на себе общий социалистический план преобладания природы, связующий в единый организм весь наш огромный Союз, но и сохраняя свое своеобразие, вырастала Советская Армения. При всех недочетах сельского хозяйства, растущая материальная мощь маленькой республики и героический труд ее народа позволили ей досрочно выполнить послевоенный пятилетний план и уверенно пойти навстречу второй послевоенной пятилетке.

Рост материальный связан с культурным ростом. Чем была Армения до революции? Забитой, отсталой провинциальной глушью. В Ереване и мечтать не смели об университете. Школы можно было перечислить по пальцам. Население, не выезжавшее за пределы Армении, никогда не видело трамвая. Керосиновая лампа в деревнях была роскошью даже у кулака. Те же, кому удавалось получить образование в России, большей частью оставались там и растворялись в русской интеллигенции. Только очень немного врачей «практиковало», как тогда говорилось, в Ереване,— их знали не только в Армении, но и в соседней Персии. Ереванского старожила, доктора Ованнесяна, имевшего на главной улице свою собственную больницу, построенную в стиле «модерн», приглашал к себе делать операции персидский шах.

Суховатый и благовоспитанный, в длинном сюртуке, доктор Ованнесян был специалистом на все руки: хирургом, терапевтом, акушером, аптекарем — сам делал и раздавал все лекарства. Он доживал свой век уже после революции, когда вокруг в городе разрослись

государственные больницы, клиники, амбулатории, аптеки. До революции крестьяне отдаленных районов не знали, что такое лечение, а ереванцы не знали, что такое рентген. Как недавно все это было и каким уже невероятным кажется оно нам сейчас,— чем-то старинным, почти анекдотическим, а ведь люди моего поколения видели это своими глазами и притом вовсе не в ранней молодости!

Сейчас в районные больницы, высоко в горах, приходят колхозники и колхозницы, чтобы сделать рентгеновский снимок. В количественном выражении это значит, что в Армении, почти не имевшей до Октябрьской революции медицинской помощи, а тем более бесплатной, уже к 1947 году для медицинского обслуживания населения имелось 98 больниц, 217 амбулаторий, 300 фельдшерско-акушерских пунктов,— а через пять лет и это число покажется до смешного маленьким. Нужно еще помнить, что, кроме увеличения общего числа больниц и других общественных зданий, идет и само преобразование этих зданий: из глинобитных в кирпичные, из одноэтажных в многоэтажные.

Неизмеримо выросли культурно-просветительные учреждения. В стране, по далеко не последним данным (которые, кстати сказать, непрерывно меняются в сторону роста), 17 высших учебных заведений, где обучается около 13 тысяч студентов; 49 техникумов с 9 600 учащимися; 9 ремесленных и 5 фабрично-заводских школ с 1185 учащимися и свыше тысячи обычных средних и начальных школ с 280 тысячами учеников. Остановимся на последней цифре. Главным показателем поднимающейся культуры наших советских республик служит, конечно, общее образование всей массы их населения. Советская Армения уже несколько лет как сделалась страной всеобщей грамотности. На XIV съезде Коммунистической партии Армении была поставлена уже более высокая задача: сделать обязательным всеобщее семилетнее обучение в деревнях и десятилетнее в городах. Этим закладывались основы не одной только грамотности, но и общего образования народа. И задача выполняется успешно, нужное количество школ на селе и в городе уже почти создано. Школы строятся

непрерывно, и педагогов становится все больше и больше.

Но не только школа способствует распространению культуры и образования в народе. Вся наша советская жизнь на каждом шагу открывает неисчерпаемые возможности для самообразования.

В Армении, как и всюду в Союзе, с каждым годом все серьезней и глубже втягиваются коммунисты в политическую учебу. Труды классиков марксизма-ленинизма переводятся на армянский язык, издаются большими тиражами. Подъем общего культурного уровня народа — это та органическая база, на которой естественно вырастает и научно-исследовательская работа армянских ученых. В 42 научных институтах Армении около 1400 научных работников. До войны в республике имелся филиал Академии наук СССР (Армфан), а в годы войны в Ереване была организована своя самостоятельная Академия наук, стянувшая к себе разбросанные силы крупнейших армян-ученых и тесно связавшая их с практическими проблемами республиканского хозяйства. На 1950 год в Академии наук числилось 26 действительных членов, 17 членов-корреспондентов; в состав ее входило 35 институтов и 700 научных работников, докторов, профессоров и кандидатов. Среди армянских ученых немало женщин. Я уже писала выше о знаменитом сорте пшеницы «егварди-4»; ее вывели ученый секретарь Института генетики и селекции растений, кандидат биологических наук Армик Егикян и старшая научная сотрудница института Амалия Мкртчян. Вся страна знает замечательного химика Аракси Бабаян. Кроме нее, еще две женщины, Дарья Бабаян и Виргиния Микаэлян, имеют степени доктора наук; 17 женщин — кандидатов наук работают в научно-исследовательских институтах Академии, и 50 женщин ведут научную работу в области медицины.

Самые глухие в прошлом районы получили свои театры; всего их в республике 27, а библиотек 621; сельских клубов — 919; городских клубов — 10. В каждом районном центре есть свой Дом культуры, а республика в целом имеет 135 киноустановок.

Печальна была судьба армянских детей до революции. Не говоря уже о беспризорных и сиротах, в бедных крестьянских семьях и при отце с матерью было немногим лучше малышу: глаза его гноились от дыма очага, он заражался трахомой, его безобразила и часто ослепляла оспа, от которой в деревнях не было лечения. Сейчас в прошлое канула оспа, исчезла трахома, побеждена беспризорность; в республике открыто много детдомов, яслей и детских садов. Надо при этом еще и еще напомнить читателю, что приводимые цифры не стоят на месте, они непрерывно движутся вверх, по кривой роста, и то, что верно для вчерашнего дня, сегодня уже оказывается устаревшим, а назавтра будет оставлено далеко позади.

В Армении, кроме армян, имеются и другие национальности: русские, азербайджанцы, курды. Цветущие и крепкие колхозы русских, районные центры, особенно такие, как бывшая Воронцовка, а сейчас Калинино, занимают почетное место в хозяйстве республики, славятся культурным молочным хозяйством, знаменитым пчеловодством, отличным огородничеством. В столице Армении есть хороший русский театр, русская республиканская газета; немало книг на русском языке издают и Академия наук и Арменгиз (Государственное издательство Армении). Но пользуются ими не одни только русские,— почти все население Армении говорит по-русски.

Резко изменилась после революции судьба курдов в Армении. Народ, не имевший до Октябрьской революции своей письменности и почти не оседлый, получил свой шрифт, свои учебники, свои школы, воспитал собственную интеллигенцию. Курдские ученые ведут сейчас серьезную исследовательскую работу в Академии наук Армянской ССР. Кто приедет в центр курдов, Аликочак, сможет присутствовать на ярких, талантливых спектаклях курдского театра.

Но особенно сильно сказалась советская национальная политика на взаимоотношениях армян и азербайджанцев, живших до самых последних лет в Армении. В 30-е и 40-е годы здесь издавались на азербайджанском языке республиканская и районные газеты. Арме-

…ии посылала азербайджанцев депутатами в республиканский Верховный Совет и в Верховный Совет СССР. Ереванский педагогический институт имел азербайджанский сектор с тремя факультетами; кроме него, в Ереване находились азербайджанский сельскохозяйственный техникум, педагогическое училище, две средние школы; и в Центральной библиотеке, и в детской, и в городской есть азербайджанские отделения. О районах говорить нечего,— везде были свои средние школы. С переселением части азербайджанцев на родину, в соседний Советский Азербайджан, эти данные несколько снизились в количественном отношении.

Есть многонациональные села, где бок о бок в одном колхозе дружно живут и работают армяне, русские, азербайджаицы (Чайкент, Конкан), и все они одинаково любят свои родные села, как родину. Азербайджанцы гордятся знаменитым своим ашугом — поэтом Алескером, родившимся в Басаргечарском районе Армении, и другими уроженцами республики — прозаиком-новеллистом Акпером Ереванлы (А. Сулеймановым), пишущим на современные темы и одновременно готовящимся к научной деятельности; поэтом Джалалом Сардаровым — уроженцем Котайка.

Поэт Джалал Сардаров вырос в селе со смешанным населением. «Общий труд крепко породнил у нас соседа с соседом,— рассказывал он в 1947 году.— А что дал нам, и азербайджанцам и армянам, этот новый, счастливый труд, я лучше скажу только что написанными мною стихами».

Вот эти стихи азербайджанского поэта, уроженца Армении·

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА В НАШЕМ КОЛХОЗЕ

Весною — по склонам встают зеленя,
В долине нарциссы цветут.
И тянет к труду и к любимой меня,—
Потрудимся! Славен наш труд.
А летом склоняется колос тяжел.
Земля, как бесценный алмаз!
Кудрявой лозою наполнился дол,—
Наш труд не обманывал нас.

А о с е н ь ю — щеки у яблок горят.
И каждый дарами богат.
Мы двери раскрыли, тондыр разожгли,
Чтоб гостя уважить могли.
З и м о й не смолкает на свадьбах зурна,
Неведомы скука и боль.
Чья скатерть дарами земли не полна,
Когда на ладонях мозоль? [89]

(Перевод М. Шагинян)

В этом росте нового человека нашей земли, в перечне культурных ценностей, создаваемых народом, ярко встают главные, обобщенные черты советского гуманизма. Труд, пронизанный светлой и радостной работой пробужденного разума; мысль, взлетающая тем выше, чем сильней и крепче она опирается на практику; страстная преданность новой, советской родине, питаемая соками любви к человечеству; уважение и понимание чужой национальности, рожденное глубоким и правильным освоением своей собственной... И во всем этом — счастье неутомимой борьбы за будущее, преодолеваемых трудностей, сознательного творчества истории, нерасторжимой связи с коллективом, то великое счастье опоры на народ, на массу, без которого нет коммуниста.

Не сразу и не легко выковывались эти черты.

Нужны были годы и годы непреклонной борьбы большевиков, чтоб расчистить почву для роста этих новых черт. Нужны были годы и годы упорной воспитательной работы, выкорчевывающей старую психику частного собственника, темноту рабской приниженности, опасливость одиночки, чтоб дать простор для роста этих новых черт. Изо дня в день, из месяца в месяц терпеливо, упорно, самоотверженно направляла этот рост и развитие наша великая партия. Она воспитывала людей на пашнях, в школах, на кочевках, в шахтах, в вузах,— воспитывала их везде и всегда, направляя народную мысль на высокие нравственные идеалы, заложенные в основе советского строя, уча их гражданскому, политическому самосознанию. И какая духовная сила требовалась для этой работы!

Одну встречу я запомнила на всю жизнь. В ней, как

солнце в капле воды, засверкала для меня вся великая воспитательная работа, ведущаяся нашей партией в народных массах. Случилось это на заре советской власти в Армении, еще в те времена, когда существовал в уездах (тогда еще были уезды, а не районы) так называемый женский отдел и заведовали им завжен, городские девушки, чаще всего молодые, только что окончившие партийную школу. Я должна была как специальный корреспондент «Известий» проехать из Гориса в Сисиан и отправилась просить транспорт и попутчика в уездный комитет партии. Дорога предстояла трудная, «пошаливали», как тогда говорилось, то есть нападали и грабили, а то и убивали одиноких путников; транспорт существовал один — верховая лошадь. Мне хотелось найти солидного попутчика, милиционера, обмотанного патронташем и с маузером у пояса. Но каково же было мое смущение, когда, придя еще до свету к зданию укома, где уже тихо посапывали у изгороди две оседланные лошади, я увидела вместо милиционера худенькую девушку в нарядной блузке, выутюженной юбке и ажурных чулках. Девушка, видимо, первый раз ехала верхом,— ей подставили табуретку, и она, взобравшись на седло, обеими руками ухватилась за поводья. А впереди было 40 километров трудного и опасного пути!..

— Вы знаете дорогу? — неприязненно спросила я.

— Спросим! — ответила девушка.

Секретарь укома, усмехнувшись, хлестнул тонкой веткой наших лошадей, и мы потрусили вперед по неизвестной дороге в белеющем, едва начинавшемся рассвете необъятного Зангезурского нагорья. Всю дорогу я неистово злилась. Спутница моя ехала чересчур медленно, с серьезным лицом, и было видно, что мускулы ее натружены от непривычного напряжения; она не жаловалась, очень оберегала от пыли и ветра свою блузку и юбку, аккуратно поддерживала платочек на голове, чтобы не сбилась прическа. Спросить о дороге было не у кого, но ориентировалась она лучше меня по незаметным признакам, о которых знала, видимо, заранее. Я торопилась и нервничала. И наконец уже к вечеру утомительнейшего дня мы добрались до Сисиана. Ее

встретили у ворот Совета, и она, сойдя с лошади, долго стояла в кучке встретивших ее людей, обмахиваясь чистым платочком и оживленно с ними беседуя. Я знала, что все ее существо было смертельно утомлено. Даже мне, до этого две недели не сходившей с седла, было трудно размять кости и сразу шагнуть не вразвалку,— а ведь спутница моя в первый раз ехала верхом! Обе мы почти не ели в дороге. Но по спокойному ее лицу ни о чем этом и догадаться было нельзя. Постояв, она взяла под руку соседа и медленно, переговариваясь со спутниками, пошла к Совету, чистенькая, аккуратная, словно и не сделала сорока километров верхом.

Я сдала лошадей, раздобыла где-то теплый чурек с сыром и отправилась вслед за нею в полуоткрытые двери Совета. Уже стемнело; в мигающем свете керосиновой лампы вся комната была полным-полна армянских крестьянок. Сидели на скамьях, на полу, облепили стол, стояли у стен. Кое-кто держал грудного младенца; замужние были повязаны по старинному обычаю — платком от уха к уху, закрывающим рот и всю нижнюю часть лица. Десятки черных блестящих глаз с детским любопытством так и обшаривали мою завжен, сидевшую за столом в президиуме. Видно было, что они по-своему судят и взвешивают всю ее, от волос до кончика туфель, видят и подмечают, как она держится, одета, причесана. Гортанная армянская речь завжен лилась свободно, убедительно. Когда она кончила, я попыталась было сунуть ей в руку кусок чурека,— но если бы я предложила ей не хлеб, а живую змею, спутница моя не отдернула бы руку с бо́льшим негодованием.

Очень медленно и не сразу, вынуждаемые вопросами, словно нехотя, из-под платка, стали говорить женщины. Постепенно платки были сдвинуты на подбородок, на шею, конфуз прошел, голоса окрепли, началась горячая, страстная беседа с жестом, со скрипом. Каждая потянулась к столу, к завжен, и какая-то очень старая крестьянка, полуслепая от трахомы, со впалыми щеками и натруженными большими руками вековечной работницы, неожиданно ласково назвала мою молоденькую спутницу, по летам годившуюся ей во внучки, словом «майрик» — матушка...

Собрание кончилось только к рассвету. Ночлег нам отвели на сеннике в школьной комнате. Соседка моя долго ворочалась и не могла уснуть. Руки ее, лежавшие поверх одеяла, дрожали мелкой дрожью. Она пожаловалась:

— Вот, сама не знаю отчего, сердцебиение по ночам и руки дрожат.

Я не выдержала:

— Почему вы не дали себе отдыха, не поели хлеба, не напились воды? Кому нужно это молодечество, притворство?

Завжен поглядела на меня с удивлением:

— Вы, должно быть, не знаете... Ведь это же был *актив, собрание актива!* Ведь я в деревню первый раз приехала. Хороша я была бы, если б сразу за хлеб и за отдых! Как же можно не уважать *общество*?! Они и слушать бы меня не стали. Работать бы не смогла!

Так в звездном свете зангезурской ночи я тоже получила незабвенный для меня урок высокого партийного такта, партийной этики. И много раз потом, на бесчисленных съездах и совещаниях, когда свободная, выросшая, государственно мыслящая крестьянка Армении поднимала в широком жесте с трибуны свою коричневую от солнца и земли руку и речь ее вольно неслась в зал, я вспоминала другую руку,— бледную городскую руку завжен, дрожавшую нескончаемой дрожью на сеннике случайного деревенского ночлега.

Преданно работали сотни коммунистов и коммунисток в Армении. И в людях крепло государственное сознание, а вместе с ним незаметно, неуловимо начал меняться и самый физический облик армян. Выпрямилась спина у крестьянина, открылось лицо у женщины, стройней стали ножки ребят. Конечно, и это восстановление шло не само собой. Медицина, проникиув в глухие углы, погнала оттуда оспу, трахому, рахит, ревматизм, грязь, заразу. Диспансеры повели борьбу за народное здоровье. В деревню и город весело вошла физкультура, завоевав молодежь. До революции Армения и не мечтала о спорте. Если в деревнях еще игрывали на празднике в лахт и устраивали борьбу, то горожане и пред-

ставления не имели о лечебных свойствах ритма и движения.

Сейчас ни один праздник в Армении, как и во всем Советском Союзе, не обходится без каких-нибудь элементов физкультуры. Но красивейший из наших праздников — это Всесоюзный физкультурный парад, на котором красота и молодость, сила и гибкость, ловкость и грация в строгой дисциплине ритма показывают зрителям, как похорошел наш народ, как он полнокровно счастлив, как властен над своим гибким и здоровым телом. И армяне на этом параде отнюдь не последние! В республике выросли все виды спорта, в ней гордятся своими спортсменами, завоевавшими мировые рекорды, такими, как тяжеловес С. Амбарцумян, гимнаст Грант Шагинян. И они не одни,— с каждым годом множатся лучшие из лучших,— чемпион по боксу Э. Аристакесян, чемпион СССР по классической борьбе С. Вартанян, республиканская чемпионка по бегу, легконогая Назик Аветисян, капитан футбольной команды Г. Кармирян,— и много, много других атлетов, альпинистов, борцов, тяжеловесов... Спортивное общество «Колхозник», организовавшееся в деревнях Армении, сразу же вовлекло в свои ряды десятки тысяч колхозников.

Но в памяти моей встают не эти массовые организации, не те из имен, что облетели весь мир,— Грант Шагинян, С. Амбарцумян,— не блестящие всесоюзные парады. В памяти моей — первые шаги физкультуры, деревянная эстрада маленького горняцкого клуба в городе Кафане осенью 1925 года. На этой эстраде шел самодеятельный спектакль, устроенный шахтерами в честь пятой по счету годовщины советизации Армении. Под звуки зурны и барабана мужчина, одетый в крестьянское женское платье, за неимением подходящей женщины-актрисы, подбоченившись, обменивался с другим актером, игравшим придурковатого крестьянина, отменными армянскими остротами. Зрители шумно одобряли. Пьесе было с полсотни лет. Когда занавес упал, нас таинственно попросили подождать немного, не расходиться. Готовилось еще что-то необычайное, что-то не отмеченное в программе. Снова поднялся занавес, сцена была пуста. Деревянный пол посыпан песком. Под

звуки музыки справа и слева вышли, ритмично вскидывая голые коленки, четыре человека. Они были в трусах. Они шли, красные, как раки, с намокшими от пота затылками, смертельно сконфуженные, не глядя в зал, но шли храбро, словно исполняя серьезную задачу. И зал совершенно затих. Выстроившись в ряд, четыре человека вдруг, как по команде, раздвинули руки, выставили правые ступни и начали делать чисто, аккуратно, хотя еще напряженно и неловко дыша, фигуры гимнастики. Это был первый физкультурный номер, виденный мною в молодой республике Армении. Четыре горняка Кафана, один азербайджанец и трое армян, все четверо — типичные кавказцы, с хорошими, застенчивыми глазами-черносливами, вдруг показались мне странно знакомыми, виденными где-то и в Москве, и в Туле, и в Новосибирске, и в Минске, и под Полтавой. Откуда это, что это?

— Ишь, советские ребята! — сказал кто-то громко в зале. И тайна о б щ е г о выражения, тайна несомой в будущее новой, широкой, сплотившей миллионы людей молодой нашей культуры, пионерами которой чувствовали себя эти сконфуженные, но торжествующие первые шахтеры-физкультурники на заре революции в далеком уголке Армении, стала ясной для всего зрительного зала.

Так во всем, что создавалось и создается на нашей земле — и в самом большом, и в самом малом, и в государственных делах, и в тысяче культурных мелочей,— сквозь национальную форму выражения росло и растет у нас о б щ е е для всего Советского Союза социалистическое содержание, несокрушимый фундамент любви и дружбы между народами нашей земли.

ЗАНГЕЗУР

ДВА СЛОВА О ДОРОГАХ

Еще недавно в Армению вел только один железнодорожный путь, связывавший все три столицы трех республик Закавказья — Баку, Тбилиси и Ереван. Сейчас, словно две раскинувшиеся руки, дорога раздвоилась в два обхвата. Одна бежит с севера на Тбилиси, через Сухуми, по берегу Черного моря; другая на Баку, через Махач-калу — Дербент, по берегу Каспийского моря. Из Тбилиси дизель-экспресс в несколько часов доставляет вас давно проведенным путем, через Лорийское ущелье и Ленинакан, в Ереван. А из Баку по новой дороге, достроенной в годы Отечественной войны, вы въезжаете в Армению по ущелью Аракса, через территорию Нахичеванской АССР, входящей в Азербайджан.

У столицы Армении, Еревана, обе эти дороги смыкаются, образуя кольцо.

Мы проедем с читателем по обеим дорогам, въехав в Армению со стороны Азербайджана, а выехав из нее Лорийским ущельем в сторону Грузии.

КАФАН, ГОРОД МЕДИ

Позади остались синие волны Каспия. Весь день вы едете знойной равниной; ночью в грохот колес врывается шум быстрых вод Аракса, бегущего навстречу

поезду. Ранним утром, откинув оконную занавеску, вы видите яркую смену пейзажа.

Станция в узком ущелье. Слева — серо-пенная лента Аракса, справа — желто-серые скалы. Но на ложбинке — свежая зелень, а в расщелинах скал — алые маки, свежеголубые пучки незабудок, заросли шиповника, осыпанного нежным розовым и белым цветом. Воздух уже не зноен, ветер доносит запах цветов и горного луга. Вы — на маленькой азербайджанской станции Минджевань. Слева от вас, за Араксом, лежит — рукой подать — иранский Азербайджан. Справа, за стеною гор,— одна из красивейших частей Советской Армении — Зангезур. Это родина храбрых сюникцев[90], никогда не прятавшихся от врагов, не избегавших боя; родина трудолюбивого и смелого крестьянства, не раз восстававшего против своих князей, духовных и светских, место деятельности одной из крупнейших средневековых академий Армении — Татевской;[91] отсюда родом государственный муж Исраэл Ори, понявший, что только союз с великим русским соседом спасет маленькую Армению от зависимости и уничтожения; и, наконец, сейчас этот уголок своеобразной горной природы превратился в крупнейший промышленный центр.

Сойдем в Минджевани, покинув на время поезд. Медь тут уже чувствуется. Вот колея железнодорожной ветки с цепочкой платформ. Паровоз, пыхтя, проделывает нехитрый маневр. На платформах — необычный груз: россыпь темной, красно-коричневой, тяжелой и чистой земли; это очищенная руда, медный концентрат с высоким содержанием меди. Ее подвезли сюда из центра Зангезура, города Кафана, а повезут в другой медный центр Армении — Алаверди, где она пойдет в печи медеплавильного завода. Железнодорожная ветка Минджевань — Кафан, протяжением в 39 километров, пересекает границу между Азербайджаном и Арменией и приводит прямо в центр небольшого, но быстро растущего промышленного города Кафана. Он стоит в узком ущелье, по берегам шумной речки Вохчи, в чистые струи которой вливает свои мутно-бурые стоки маленькая ядовитая речонка Капан, принимающая в себя заводские отбросы.

Медь была известна в Зангезуре еще в незапамятные времена. Плавить ее начали больше ста лет назад. В 1846 году некто Розов впервые получил дозволение от русского правительства открыть здесь медеплавильный завод. Позднее Кафан взяли в концессию французы, прибрав сперва к своим рукам Алаверди. Старый Кафан отстраивался французскими концессионерами в 10-х годах нашего века. Забираясь сюда, французы позаботились о воде и свете в домах дирекции, о магазинах, кафе, аптеке для служащих, но тщетно пытались бы вы найти здесь хоть какие-нибудь следы заботы о тех, кто добывал под землей медь и плавил ее в ватержакетных печах; рабочие в Кафане, местные и пришлые — из соседней Персии, не имели человеческого жилья и не помышляли о столовой.

После революции старый Кафан стал перерождаться. Медленно-медленно сквозь черты старого быта проступил родной для нас, новый, советский быт. И сейчас Кафан — большой рабочий центр, где все говорит о хозяине-рабочем. Своя крупная гидростанция в недалеком ущелье, мощное компрессорное хозяйство, ремонтно-механическая мастерская, многоэтажные корпуса шахтерского городка, три средние школы, театр, детсады, ясли. В городе появилась зелень. На крохотных, остающихся еще свободными участках, по крутым склонам лепятся индивидуальные огородики рабочих. Но это вторжение молодых деревцев и огородных грядок только ярче подчеркивает новый, промышленный облик Кафана.

Станция железной дороги вдвинулась в самый центр города; погрузка и транспортировка механизированы, совершаются с невиданной здесь раньше быстротой, и руды много,— целые горы ее движутся из рудников на платформы. А раньше, бывало, семенит ослик по горным тропам, таща в корзине руду на станцию; копают шахтеры вручную в полутемных, лишенных вентиляции шахтах руду, задыхаясь от удушливого воздуха, и сползают на десятки саженей вниз по головоломным лестницам-гезенкам, у которых нет даже площадок. Сейчас рудники попросту не узнать. Подобно внешнему облику города, изменилась и вся картина работ.

На рудниках так называемой Ленгруппы устроена большая капитальная штольня длиной в 4,5 километра. Она ведет до самого Кафана, упрощая и механизируя доставку руды. Ослики бесследно исчезли. С высоты 500 метров на уровень капитальной штольни руда спускается бремсбергом, на штольне подхватывается электровозом и бежит по рельсам до самого Кафана. Бурение тоже механизировано. Что это значит, говорят цифры: если в 1926 году норма для ручного бурения была 0,4 кубометра в смену, то сейчас эта норма 4 кубометра в смену!

Но главное — все заводское хозяйство в целом здесь умно и радикально реорганизовано. В Кафане больше не плавят медь,— здесь только обогащают медную руду. Детище ленинградского «Механобра», прекрасная, современная флотационная фабрика, по последнему слову техники размывает и собирает руду из частей пустой породы; а потом темным, мягким, пресованным концентратом идет эта руда на север республики, в Лори, на станцию Алаверди, где и плавится в печах Алавердского медеплавильного завода.

Велики ли богатства Зангезура? Много ли тут меди? И какова эта медь?

Месторождения в Зангезуре преимущественно жильные, идущие параллельно с востока на запад, под очень крутым углом падения, иногда почти вертикально вниз. Зангезурские месторождения имеют капризные особенности: то, уходя вглубь, медные жилы расширяются, и разработка их чем дальше вниз, тем все выгодней; то, наоборот, они выклиниваются книзу. О таких месторождениях трудно сказать заранее, сколько в них в целом запаса меди. Вот что мы знаем о Кафане сейчас: «Можно с достаточным основанием утверждать, что никогда еще промышленные перспективы его не были столь реальны. По сравнению с 1933—1935 годами запасы месторождения увеличились сейчас значительно. При этом не только выявлена мощная рудная зона» в одном из прежних, казавшихся исчерпанными рудников, «но и намечена реальная возможность выявления подобных зон и в других площадях. Из всего сказанного следует, что Кафан находится на подъеме»[92].

По качеству зангезурская медь — одна из первых в мире. Единственный недостаток зангезурской руды — это ее трудноплавкость. Пустые породы, в которые заключена здешняя медь,— андезит, кварцевый порфирит,— очень тверды и туго плавятся; поэтому богатую зангезурскую руду плавить труднее, чем трехпроцентную уральскую, заключенную в менее твердые породы. Но именно это и привело к нынешней остроумной организации Кафана, выделившей обогащение и флотацию как основное местное дело, а плавку переведшей в Алаверди.

Медная промышленность — это не единственная гордость маленького городка в ущелье. У Кафана есть замечательное прошлое. Когда за несколько километров от города, в теснине высоких скал, построили гидростанцию, неожиданно приблизили этим к кафанцам и памятник прошлого — развалины крепости Давид-бека, к которым трудно было пробраться из-за крутизны троп. Гидростанция, впрочем, была только первым шагом к крепости, находящейся за перевалом; продолжая пробивать дорогу в живописном ущелье к молибденовым залежам Каджарана, притянувшим к себе внимание геологов еще в 1939—1940 годах, кафанцы сделали доступной и крепость, куда сейчас можно делать интересные прогулки. Прошлое заговорило для школьников, оно ожило для взрослых.

Свыше двухсот лет назад армяне договорились с грузинами о взаимной военной помощи против персидского хана. Из Тбилиси в Кафан приехал талантливый армянин-полководец Давид-бек, служивший в грузинской армии, и Кафан стал местом средоточия сюникских военных сил. Давид-бек построил наверху, в Алидзоре, неприступную крепость, развалины которой еще отлично сохранились. В стенах Алидзора происходили военные советы. Когда в 1724 году в Араратскую долину вторглись турки и взяли, сломив отчаянное сопротивление армян, сперва Карби, а потом, после многомесячных боев, Ереван, сюникская армия стала оплотом армян против турок. А когда турки двинулись на Зангезур и захватили несколько районов, Давид-бек укрепился в Алидзоре. И старые, мшистые стены развалин,

если б заговорили они, могли б рассказать сейчас, как выдержали храбрецы сюникцы и турецкую осаду и штурм. Со всех сторон с криками, со всей современной им техникой — лестницами, факелами для поджога — обрушились турки на крепость. Но сюникцы отбросили их и в свою очередь смелой неожиданной ночной вылазкой обратили турок в бегство [93].

А сейчас над стенами крепости вьются стрижи и ласточки, старые камни расшатывает вечнозеленый вереск и кузнечики верещат в обступившей их густой благовонной мяте.

КАДЖАРАН

Живя в Кафане, трудно и представить себе, какие прогулки можно делать в его окрестностях.

Две дороги — одна из Кафана в Горис, другая из Кафана в Каджаран — могли бы привлечь к себе самых страстных любителей красоты и сильных ощущений. Это не только красивые дороги с непрерывно меняющимся, разнообразным горным пейзажем,— это и страшные, хотя вполне безопасные дороги.

На каждой из них есть перевальная точка,— несколько десятков метров, пробитых в скале и огибающих эту скалу по карнизу, идущему полукругом над бездонной пропастью. Они, эти страшные несколько десятков метров, переносят вас сразу из одного мира красоты, высоко вознесенного над одним ущельем, в другой мир — такой же прекрасный, но вознесенный уже над новым ущельем, куда вам предстоит теперь спуститься.

Кто не боится высоты, покидает на этих перевалах машину и предпочитает пройти их пешком. Он будет вознагражден за такую прогулку. Он на всю жизнь сохранит ощущение головокружительной высоты, разверзнутой бездны под ногами, отделенной только одним шагом, только доброй волей самого человека, невольно сдерживающего в себе соблазн: сделать еще шаг, подойти ближе, еще ближе... Мелкими, мельчайшими точками кажется в зеленой мгле этой бездны жилье человека, и желтым шнурком пролегают протоптанные козами тропки.

Начинается новая дорога на Каджаран прямо в городе; она весело бежит некоторое время вдоль реки, почти на одном уровне с нею. Потом поднимается.

Слева от вас вниз и вниз уходит река; далеко внизу показываются очертания гидростанции в зелени маленькой рощи. Справа от вас мягкими зелеными волнами, то выдаваясь ребром вперед, то уходя вглубь, идут один за другим складчатые горные склоны; и шоссе послушно огибает каждую из этих складок, незаметно поднимаясь все выше и выше. Над зеленью этих складок стоят кирпично-красные зубцы голых скал. И, словно насмехаясь над вами, недоступные ни для каких охотников, прыгают по этим скалам с невероятной воздушной грацией дикие козы. Их не достать никакой пулей... Они это знают. Вот одна стала на самом конце скалы, стоит неподвижно, как изваяние, скосив рога, и вам кажется, что она глядит на вас вниз и смеется янтарными глазами.

Приблизился горный мысок, носящий название Сурикап. Перевал, пробитый в скале, огибает его. За Сурикапом уже можно увидеть Алидзор и каменные руины крепости. Начинается широкий простор Каджарана — суровая стена гор у самого верховья реки Вохчи. На этой суровой высоте родится первое биение пульса маленькой речки. Совсем недавно здесь все было дико и безмолвно. Сейчас внизу вырос целый промышленный городок, стоящий на новом богатстве Армении,— на залежах молибдена.

ВЕРХОМ В ГОРИС

Спустившись назад в Кафан, следует предпринять еще одно путешествие по Зангезуру — проехать в Горис. Но чтоб оценить всю прелесть этой поездки, лучше отказаться от удобного местечка в автомобиле, достать верховых лошадей и договориться с хорошим, знающим старые тропы проводником,— ведь еще недавно эти старые тропы были здесь единственными. Путь предстоит дальний — с ночевкой. Путь предстоит трудный — по ущельям и перевалам, по карнизам и склонам, где осыпается земля из-под ног прямо в пропасть. Путь пред-

стоит тяжелый — под едким зноем кафанского солнца, под укусами оводов и комаров, в туманах кафанского леса. И нет прекраснее этого длинного, трудного и тяжкого пути, который закалит ваше тело и долго-долго потом будет вспоминаться вам во всех незабываемых своих подробностях!

Спать надо лечь пораньше. Задолго до рассвета, в темноте, вы вдруг просыпаетесь, услышав, как переступают ногами под вашим окном привязанные лошади и как шумно дышат они, втягивая мягкими губами из мешка крупный золотой ячмень. Недоспанная ночь, холодок между плеч, чернота неба вверху, словно колодец глубокой воды, где колышутся блестками звезд ее струйки, неполное ночное сознание, когда еще тянет к себе подушка, поиски ногой невидимого левого стремени, взлет на невидимое седло,— и баюкающий, как люлька, ход лошади... Долго еще вы не увидите земли, но зато ночь в горах откроет вам пейзаж неба — зрелище, которого иные горожане так и не узнают до конца дней своих. Вы то и дело засыпаете в седле, вздрагиваете, пробуждаетесь и каждый раз дивитесь, что не свалились. Мягко ступает конь сперва вдоль невидимой речушки, потом — набирая высоту, хрустя железной подковой по мелкому камню. Темными силуэтами проходят, словно кланяясь и исчезая, скалы.

В четвертом часу — бледный восход утренницы над горами, уже медленно отходящими от темного небесного фона. Ночь на исходе, утренняя звезда ярка, ясна, расширена неестественной шириною перед вашими затуманенными от усталости глазами,— и такою восходит на бледнеющем небе, торжественно борясь с его побледнением своим напряженным блеском. Все вокруг, подобно ей, напряжено и расширено; ночь занята работой; вокруг, на земле, словно таинственная смена декораций за занавесом в театре: звук отдается чем-то неестественно-громким, словно что-то переставляют и передвигают, заколачивают гвозди в густую тишину. Вы отдыхаете глазами на небе, к которому привыкли за эти несколько часов ночной езды, и вдруг замечаете, что это прочное небо уходит от вас все дальше и дальше, а ближе и ближе придвигается, становясь видимой и чувствуемой,

земля. Рассвет как бы снимает покров, под которым ночь так таинственно сменяла свои декорации: в перламутровом блеске лежат леса; белеют, как повитые пухом, стволы буковых деревьев; вокруг мшистого остова гигантской скалы вьется колючий кустарник с ярко-красными ягодами; твердая и лакированная ветка гранатового деревца вытягивается вам навстречу с фарфоровым, красным, как мясо, цветком, сидящим прямо на круглом плоде. Ухо расслышало первое чириканье птицы; сейчас встанет солнце. И точно: над острыми вершинами гор, заслонившими горизонт, появляется золотой венчик, за ним — острый сверкающий диск. Сразу лес и прогалины, ущелья и долины, речка и придорожная трава — все налилось шумящими потоками солнца, все засверкало и зашумело, словно кто-то уронил тишину и она разбилась на тысячи осколков. Вещи получили краску и теплоту, и от земли встало то, чего ночью не было, и отсутствие чего, быть может, и отделяло вас так от земли: встал запах. Солнце словно выжало пот из расселин и почвы,— тысячью знойных ароматов пахнуло на вас, органическими частицами тленья из-под вековых камней, испарением воды, сладким дыханием множества цветов, гниющими частицами древесных стволов, запахом листьев груш и грецкого ореха, десятками эфироносов. А вместе с пóтом земли, тоже в один миг, облепили вас мошкара и осы, дернулась вперед лошадь, и жесткий конский хвост в самозащите хлестнул вас по щеке, замелькали на цветах яркие хрупкие бабочки, заверещали жучки, засвистели цикады, зашелестели ящерицы, и медленно, в царственных кольцах сворачиваясь и разворачиваясь, хозяйкой выползла погреться в солнечном кругу на камне змея. Недолго длится наслаждение солнцем,— скоро оно становится мýкой.

Лес отступает все ниже, дорога вьется по неприступным карнизам. Скалы вокруг сдвигаются; вот они уже стоят торчком, каменными вертикалями. Ущелье так глубоко, что страшно взглянуть вниз, страшно глядеть вперед. Лошадь ставит ногу осмотрительно и не сразу; но приходит и этому конец, когда, сдунув с почерневшей морды тяжелые капли пота тяжелым дыханием из вос-

пленных ноздрей, она совсем останавливается: здесь надо спешиться. Проводник, слезая, дает и вам сигнал слезть. Дальше надо идти, ведя лошадь на поводу. Всадник помогает ей, она — ему; оба передают друг другу натянутым поводом иллюзорное ощущение большей безопасности. Срываясь, сыплются вниз камешки из-под ваших ног, а там, внизу, едва слышно шумит древняя армянская речка — свидетельница многих славных дел — Воротан.

Когда вы чуть попривыкнете к мрачным очертаниям голых скал, к этой вертикальной пропасти и, главное, к этим масштабам, которые своей грандиозностью неизбежно уничтожают ваш страх,— вы начинаете себе казаться чем-то вроде мухи, ползущей по потолку головой вниз. Как у мухи не кружится и не может кружиться голова за несоизмеримостью окружающих масштабов с пределом ее восприятия, так и вы побеждаете страх несоизмеримостью высоты и глубины ущелья с размахом вашего эмоционального отклика. Минута — и вы привыкли, бездумно ступаете за лошадью проводника, осмотрительно, как она, ставите ногу пяткой набок и уже с любопытством озираетесь, дыша полной грудью.

Над вами, на скале, как бы продолжая отвесную ее вертикаль, сырые, стройные, в невыразимо гордой красоте своих изящных пропорций высятся... Но тут надо сделать оговорку: высились. Еще в 1925 году, когда привелось мне впервые проделать описанный путь, я могла любоваться великолепием одного из самых мощных памятников средневекового армянского зодчества — знаменитым Татевским монастырем, чьи стены венчали вертикальное ущелье над Воротаном. Землетрясение разрушило его, и сейчас от Татева остались одни стены.

Вот что рассказывается о постройке Татевского собора: «В 895 году епископ Ованнес с помощью князя Ашота построил прекрасную церковь во имя Петра и Павла; в 100 локтей вышины был ее купол на двух столбах. Окончив постройку этого собора в 11 лет, епископ Ованнес воздвиг недалеко от церкви, насупротив южных дверей, «удивительный столб, сложенный из мелких камней». Здесь в XIV веке существовала знаме-

нитая богословская школа, в которой учился армянский философ Григорий Татевский.

Много раз подходили сюда враги и разоряли монастырь, но никто не разрушил Татев с той страшной силой, с какою ударила эти стены земля. Когда на исходе X столетия сюда вторглись арабы, они сожгли церковь и «хотели было разрушить и знаменитый столб, но видели чудо, а потому не дотронулись до него и до большой церкви». Летописец не объяснил, какое чудо увидели арабы, а «чудо» — замечательный фокус инженерного и архитектурного искусства — здесь было и дожило до наших дней.

Усталая, взошла я на самый верх площадки и, сдав лошадь проводнику, с наслаждением вдохнула воздух высот. У старых армянских построек, расположенных высоко в горах, он не только обычно разреженный, бодрящий и прохладный, но и отдает старинною памятью тысячелетий, ароматной сухостью вереска, озоном мха, точащего камень своими сырыми корешками, голубиным пометом,— множество голубей живет в старых колокольнях,— неуловимым дыханием самого древнего камня, тронутого бактериями. И все это плывет, как пузырьки над чашей, на волне теплого, идущего снизу, из глубокого ущелья, густого, плотного нижнего слоя воздуха, растворяющегося в холодке верхних слоев.

Стройные серые стены — глубокого, благородного оттенка. Здесь был обнесенный колоннадой портик, где, по примеру Платоновой академии, обучение происходило на открытом воздухе. Изящная вязь армянского древнего орнамента покрывала плиты. Строитель Татевского монастыря был странным и остроумным архитектором; он построил монастырь с бесчисленными неожиданными тайничками, где можно было прятать и людей и оружие. О тайничках этих никак нельзя было догадаться снаружи: узкие, незаметные щели в стенах рассчитаны были так, чтобы дать внутрь полное дневное освещение, а в то же время остаться незаметными извне.

Спускаемся на гладкие серые плиты двора и тут видим «чудо», отпугнувшее арабов: высокую, стройную колонну на постаменте. Она кажется монументально-

неподвижной, но сделана с фокусом: дотроньтесь до нее рукой, и колонна закачается на своем полукруглом каменном базисе. Но, раскачиваясь, она никогда не падает, а возвращается в исходное положение. Много архитекторов и инженеров перебывало в Татеве, чтобы разгадать тайну этого «чудо-столба». Думали, что под колонной положена ртуть и что базис вогнут наподобие коленной чашечки. Но секрет сооружения так и не раскрыт.

Стрижи и ласточки летают сейчас над висящей, как разорванное кружево, стеной Татевского монастыря, уцелевшей среди развалин. Мусор покрыл дворик, пустынно там, где строгие колонны окружали портик. Но даже землетрясение пощадило знаменитую колонну. Впрочем, другая страница истории разворачивается сейчас перед нами.

В 1925 году, когда я была здесь, все хозяйство монастыря умещалось «на блюдечке», на небольшой площадке Татева. А в IX—X веках картина была другая.

По скудным данным летописей видно, что село Тэх было подарено монастырю царицей Шахандухт; деревни Арцив и Бертканеч куплены епископом Давидом; деревни Татев и Норашен подарены монастырю князьями; к X веку монастырь имел 5 деревень, а к XIII — 677 деревень. Руками крестьян, ставших закрепощенными, монастырь прорыл в X веке большой канал Акнер. О том, как богат был Татевский монастырь, можно судить по сохранившимся данным о другом маленьком монастыре: там епископ Гют обладал 1000 голов крупного скота, 12 тысячами баранов, 700 верблюдами, 600 лошадьми, 400 ослами. Каким же богатством располагал большой Татев! А теперь вспомним о положении крестьян и горожан в IX веке. Из них выколачивали дань арабские чиновники: «Рамиков, не имевших возможности платить дань, колотили чем попало, вешали и часто зимой заставляли раздеваться и залезать в озеро» [94]. Когда возвысился армянский княжеский род Багратидов и армяне получили свое национальное правительство, из крестьян стали выколачивать дань не меньше, а гораздо больше. Если при Омайядах, в VII—VIII веках, Армения платила 500 динаров дани, то при

Багратидах, в X веке, она должна была платить уже 120 тысяч динаров. А к дани прибавились местные налоги — подушный, поземельный, за имущество, за ловлю рыбы, за соль, за орошение, отработки всякого рода, обильно взимавшиеся собственными князьями, духовными и светскими [95]. А тут еще войны и междоусобицы, ложившиеся всей тяжестью на плечи крестьян. В X веке был страшный неурожай, голод и мор. Крестьяне, закрепощенные Татевским монастырем, не вынесли,— они восстали. Первой восстала деревня Цура-берд, за нею другие. Шесть лет, с 909 по 915 год, боролись мужественные жители горных сел. Цураберды отказались платить налоги, осадили и разгромили ненавистный им монастырь, с великою ненавистью против церковного ига вылили на землю драгоценное мирро, считавшееся святыней, убили помещика-епископа Тер-Акопа. Монастырь запросил помощи у царя Васака, и деревня Цура-берд была разрушена до основания.

Когда смотришь отсюда по прямой линии на горные гнезда деревень вокруг этого головоломного ущелья, представляешь себе армянина-крестьянина, кропотливо трудящегося над клочками пахотной земли, разбросанной между скал, и видишь, как грозы и ливни смывают эту скудную землю, как солнце и засуха палят и сжигают ее, как льется десятками лет крестьянский пот, увлажняя эти клочки,— а хищная длань монаха вместе с десятками рук царских и чужеземных сборщиков, чиновников, богачей, кулаков протягивается к собранному с таким трудом урожаю,— когда представишь себе все это на короткий миг, уже по-другому, не с чувством любования его архитектурой, взглянешь на неподвижную сень монастыря.

В эпоху гражданской войны палачи-дашнаки сделали Татев своею штаб-квартирой и сбрасывали отсюда в пропасть захваченных ими в плен большевиков. Внизу, у места гибели коммунистов, воздвигнут памятник и сюда собираются сейчас колхозники, чтоб послушать районного агитатора...

После ночевки у разведенного костра спускаемся опять вниз по невероятной крутизне, уже переставшей пугать. На самом дне ущелья — минеральный источ-

ник, скапливающий свою теплую, пузырьками восходящую кверху воду в двух древних каменных ямах-цистернах, к которым вместо ступеней ведут простые камни. В 20-х годах крестьяне Татева ежедневно сбегали к нему со своей кручи, чтобы принять целебную ванну. Если б приложить сюда человеческий труд, провести фуникулер, взяв у самой речки для этого энергию, Татев мог бы стать горно-климатологической и туристско-альпинистской станцией в сочетании с бальнеологическим курортом.

В ущелье над бурным Воротаном — естественный мост, который по общекавказской традиции называется тут «чертовым». Собственно, и не мост это, а гигантский известковый нарост над рекой, под которым она совершенно исчезает, и только слышится ее заглушенное ворчанье в земле. Минеральные источники, всевозможные, так и бьют здесь из-под земли. Ветка, брошенная в них, через сутки становится красивой окаменелостью. Скалы вокруг изъедены и излеплены известью. Невольно твердишь про себя, под ритмический стук копыт, стихи зангезурского поэта Амо Сагияна, воспевшего в годы Великой Отечественной войны свой родной Воротан:

Где на сомненья ранних лет ответа я искал,
Там, словно кони на скаку, застыли глыбы скал,
Там туч тяжелых караван, плывет, плывет, плывет...
Внизу мой старый Воротан... Шумит водоворот[96].

(Перевод В. Звягинцевой)

По холодку весело идут кони — и путник опять окунается в хаотический мир камня, раскрывающийся в свете утра с острой отчетливостью: нагромождения скал, оврагов, круч, горных обвалов, естественных акведуков и арок, кремневых, зеленоватых холмов, похожих на брошенный великаном и заплесневелый от времени щит. Нельзя сразу понять ни плана, ни смысла в этих нагромождениях. Но тайна зангезурского хаоса имеет свою геологическую разгадку. Тектонику этой страны создали не только внутренние катастрофы, а и внешняя игра стихий, деятельность воды. Вода обсосала и обнажила каменный остов гор, отмыв его от «мяса», вода размыла чудовищные зубья вокруг Гориса, проела и

прогрызла дикие пропасти и ущелья Татева, накатала скалы, как шары и валуны, друг на дружку. Вся эта часть Зангезура была когда-то дном огромного морского бассейна. Море затягивало водой то, что не должно быть видимо, как дно чаши. Но море ушло — и беспорядок обнажился.

Нас начинают обгонять колхозники. Зангезурцы — рослый и статный народ, привыкший к стремени. У них репутация отличных вояк, оправданная ими в Великой Отечественной войне.

Они воевали в прошлом с арабами, с персами, с турками. Восставал народ против собственных князьков-помещиков («меликов») и духовенства, которое частенько бивал. Но не совсем обычна зангезурская манера драться,— она сохранялась до конца прошлого века. Естественным прибежищем для враждующих служили пещеры. Местами для уничтожения врагов — пропасти, обрывы. Над ущельями, прямо на проезжие тропы, глядят природные бастионы — сотни пещерных дыр. Туда прятались с оружием, оттуда метали копья, кидали камни, лили горячую жидкость. Хитроумный архитектор Татева повторил в своих тайниках и подземельях только то, к чему привык житель Зангезура в горных скалах и пещерах.

Первый по счету перевал от Кафана к Горису лежит у входа в лесное ущелье, делая около сорока зигзагов по зеленому склону гор. Второй перевал — уже над самым Горисом и напоминает Сурикап, только еще более страшный. Это естественный проход в каменной гряде, за которой спуск к центру Зангезура, городу Горису. Тяжелеет шаг лошади. Оводы искололи ваше лицо своими пронзающими неожиданными укусами. Внизу, у ваших ног, словно в глубокой воронке или на дне игрушечной короны, окруженной пиками острых гор, встает Горис, своеобразный, не похожий ни на какой другой город. С высокого карниза видна его планировка — ровные улицы с квадратным, открытым пространством в центре.

Двадцать лет назад «окраиной» его были пещеры в окружающих скалах. Там, словно пчелы в восковых сотах, копошились жители. Деревянные двери висели у

входа в пещеру, из каменных дыр сверкал электрический свет, озаряя железную спинку кровати или накрытый стол,— в пещеры шли провода. Люди обжились там, свыклись со своим каменным жильем. Сейчас «соты» опустели, их обитатели переселились в город. Прекрасные темно-серые домики-коттеджи вытянулись вдоль улиц, большие жилые корпуса поднялись между ними, выросли новое здание больницы, банк, новая школа. В городе разбит парк. Горис получил 5 километров водопровода,— вода проведена из горной речки Акнер, за 15 километров от города. Весь народ вышел на эту стройку.

Еще недавно казалось, что хозяйственное назначение Гориса — это развитие плодоводства, животноводства, племенного коневодства — и только. Со всех концов гор на пустырь в центре города сгоняли колхозники молодняк. Пустырь превращался осенью в ристалище. Вот молодой паренек пробует себе по нраву коня. Он боком сидит на его спине, машет руками, гикает, и гладкий конь, отъевшись на кочевке, взвивается, как мячик, оставляя за собой пыльную ракету. Вот он кружит по пустырю раз-другой, потом бросает возле вас копыта — совсем как ловкие косточки в руках у игрока в «нарды», и косит красным глазом, шипя губою над деснами,— отличный конь, хоть сейчас на местный конный завод.

Трое толстяков торгуются возле блестящего, выхоленного, серого с белой подпушиной ослика, стоящего, свив задние ножки друг с дружкой и устремив на покупателей два кротких упрямых глаза, словно это он их выбирает, а не они его. Дальше — неописуемая толкотня и вонь, торговля овцами. Блея, трусят жирные стриженые бараны, нагулявшие себе такой курдюк, что хозяин тащит его за своим бараном обеими руками, едва переводя дух. А иной сообразительный зангезурец подвязал под жирный овечий зад тележку, и овцы везут на ней собственные курдюки...

Так было двадцать — двадцать пять лет назад. Но современный Горис изменился — это уже не сельскохозяйственный, а настоящий промышленный центр. Как в преддверии Зангезура, в Кафане, вас охватывает и

здесь чувство встающей в республике индустриальной культуры, отодвигающей в прошлое впечатления сравнительно недавних лет. Картинка, нарисованная мною выше, кажется жителям Гориса почти легендой. Лицо сегодняшнего Гориса — это механический завод и трикотажная фабрика. Марка города — «Сделано в Горисе» — появилась на продукции общереспубликанского значения. И городское, рабочее выражение проступило сквозь прежние черты районного сельскохозяйственного центра.

Но, быть может, самым ярким показателем культурного и промышленного роста районного центра служит тот факт, что этот центр уже начинает удовлетворять возросшие потребности окружающих его колхозов. Каковы эти потребности у горисского колхозника? В прошлом бедняк, нынче колхозник артели «Авангард» Артем Шалунц подсчитал трудодни своей семьи за истекший год,— ни много, ни мало — 2150. На каждый из них одного только зерна полагалось по 3,5 килограмма. И Артем Шалунц сидит над листом бумаги, записывает, что нужно купить в городе, а семья собралась вокруг, и каждый добавляет что-нибудь от себя: хороший зеркальный шкаф для одежды; три больших ковра на стены комнаты для гостей; никелированные кровати с пружинными матрацами для каждого члена семьи — чтобы культурно, спокойно спать, набираться сил для работы. Все это Шалунц закупит в своем районном центре, Горисе, и много другого — от шелковых чулок до радио и патефона, велосипеда и футбольного мяча. Не нужно ехать в столицу республики!

КОЛХОЗНЫЙ ПРАЗДНИК В ТЭХЕ

Четыре дороги ведут из Гориса.

На юг — в Кафан; оттуда мы только что приехали, перевалив через тяжелый и высокий (до 3 410 метров) Баргушатский хребет.

На северо-запад — в деревню Ангехакот, откуда идет дорога в Айоц-дзор через мягкий Воротанский перевал (2 344 метра),— здесь мы тоже побываем.

На юго-запад,— собственно, не из Гориса, а из той же деревни Ангехакот,— в соседнюю Нахичеванскую автономную республику, входящую в Азербайджан, а главный город ее Нахичевань на Араксе. Не доезжая до Ангехакота, можно свернуть к знаменитому водопаду Шаки с его родниками чистейшей вкусной воды и с его новой гидростанцией и заехать в другой районный центр — Сисиан.

На северо-восток — в Азербайджан.

Тот, кто побывал в Кафане и Каджаране, съездил в Сисиан и, наконец, из Гориса проберется наверх, к азербайджанской границе, охватит в сущности то, что мы называем в узком смысле Зангезуром с его тремя основными районами: Кафанским (горнопромышленным), Сисианским (пастбищно-пахотным) и Горисским (садово-пахотным). Обозначение это, конечно, грубо условно, потому что в Зангезуре не отделишь слишком резко земледельческий район от скотоводческого.

По последней из перечисленных дорог поднимаемся к восточной границе республики, навестив сперва одно из самых странных мест на свете — село Хндзореск.

Подъезд к нему — вдоль колхозных полей, куда жители села поднимаются на работу. А откуда они поднимаются, не сразу увидишь. Для этого надо слезть с машины, миновать колхозные амбары и подойти к самому краю круглой пропасти, уходящей вниз, как воронка. По внутренним склонам этой каменной воронки, или колодца, и расположено в пещерах гигантским амфитеатром село Хндзореск. Поймав глазами какой-нибудь движущийся предмет, можно понемногу разобраться в пещерном лабиринте. Движется женщина с кувшином на плече. Она, словно капля, оторвалась откуда-то сверху и катится вниз по едва заметному карнизу в один человеческий шаг шириной. Головоломная тропинка над пропастью — это здешний главный проспект. Постепенно начинаешь различать и переулки — сотни морщинок от жилья к жилью, с камня на камень, по зазубринам ущелья, по каемкам над пропастью, с пробоинками для ног. В день два-три раза ходят по всей диагонали этих сеток, словно снящихся вам во сне,

женщины Хндзореска вниз — за водой, наверх — на работу. Жилища лепятся одно над другим, как соты. У некоторых на крохотном «пятачке» перед входом натаскана земля, отгорожена плетеной ивовой изгородью, и здесь, как в корзинке, разбит цветничок, стоит деревце, видна борозда от огородной грядки. И куры роются в навозе, и корова приходит в стойло из стада, и сушится белье, и молотят что-то на земле, и чешут на железных чесалках, сидя на пороге, овечью шерсть. Глядишь на них — и невольно думаешь: сколько надо иметь энергии, живя здесь, для исполнения самой обычной программы дня,— для путешествия за водой, сбора топлива, отправки ребят в школу! Какую стройность и силу, остроту зрения и выносливость нужно приобрести и воспитать в себе, чтоб ползать по этим вертикалям и таскать тяжести в гору!

Интересна экономика этого своеобразного села. Казалось бы, в таких трудных природных условиях жители его должны жить скудно, а между тем хндзорескцы с помощью советского государства и колхозного строя добились большого хозяйственного расцвета. В Отечественную войну они собрали средства на танковую колонну, дали Советской Армии много мяса, масла и шерсти. И любят они свой обжитый уголок, заботятся о его культурных нуждах. На 500 домов здесь клуб и три библиотеки; молодежь и взрослые одинаково тянутся к знанию, к учебе; 9 профессоров вышло при советской власти из этой горной деревушки, 17 агрономов и около 30 врачей. А за время Отечественной войны из села Хндзореск вышло немало командиров. Это сравнительно небольшое деревенское местечко дало Советской Армии 168 офицеров; среди них генерал-майор Сергей Карапетян, гвардии полковник Нерсес Балаян, полковники Е. Карапетян и С. Саркисян. Нет, кажется, ни одного человека на селе, не состоящего в родстве с офицером Советской Армии.

Тут же в Горисском районе есть еще одно село — Караундж. Опять головокружительный амфитеатр, домик лепится над домиком, как ласточкино гнездо. Опять тропинки по вертикали и впечатление от походки людей, как от бега мяча,— люди не идут, а катятся, скаты-

ваются с этих невозможных склонов. И снова думаешь: ну, где же тут развернуться хозяйству, где выбраться на широкую дорогу достатка, в каком живут колхозы Араратской долины? А между тем здесь произошел недавно вот какой случай. В селе Ка́раундж (как и везде в Армении) мощно развивается спорт; молодежь увлекается футболом, гимнастикой, она хочет иметь свой стадион. Десять лет назад даже слово «стадион» прозвучало бы для старых жителей Караунджа как «абракадабра», а уж значение его показалось бы просто диким баловством и сумасшествием,— отдать ровную землю там, где каждая сажень ее на вес золота, ребятам на пустую забаву,— не дико ли, не преступно ли? Колхозники имели в центре деревни небольшую площадку, которую и поделили под приусадебные участки, под личные огороды. И вот в 1950 году часть этой ровной площадки была добровольно отдана колхозниками села под стадион для молодежи. Тут не одна только выросшая сознательность, тут и выросший достаток. Караундж — колхоз-миллионер. Членам его артели попросту уже невыгодна возня с собственным огородиком,— трудодень дает им вернее и больше...

К вечеру, покинув Хндзореск, добираемся мы до большого села Тэх.

Название «Тэх» безлично, по-армянски оно означает просто «место». Входит это село в сельсовет Дыг-Горисского района. Дорога поднялась на широко раскинутые луговины, голые горы вокруг оснежены, справа по склону горы огромное древнее кладбище, желтые частые плиты с высеченными старинными крестами. Село основано в 700 году армянами, бежавшими сюда из Персии, от персо-армянской резни. Сохранился каменный дом первых переселенцев — прямоугольная, замшелая и сырая постройка VIII века. Здешний колхоз имени Красной Армии, «Кармир Банак», гордится своим прекрасным хозяйством, своевременной, а часто и досрочной сдачей продукции государству, счастливой своей жизнью, своими знатными людьми.

Наша машина остановилась там, где уже стояли многочисленные фаэтоны съехавшихся на праздник гостей, неподвижные «эмки», расседланные кони с меш-

ками ячменя у самых морд. Все быстрее и быстрее темнело, сразу сделалось холодно, не разглядеть было ни улиц, ни зданий, ни нарядов окружающей толпы. Но вот в нескольких местах запылали костры, и в их фантастическом свете закачались фигуры стряпух над котлами, с длинными медными мешалками в руках, острые профили музыкантов над дудками, городские костюмы многочисленных гостей. Попировать с колхозниками в честь досрочной сдачи государству хлеба приехала интеллигенция Гориса — врачи, строители, инженеры.

Воздух ночного села весь пропитан дымным запахом печеного мяса. На десятках костров крутятся сотни шампуров — тонких вертелов, унизанных кусками баранины. В котлах вываривается жирная крупа в волокнах совершенно разварившегося мяса,— ароматная «ариса». Остро пахнет молодым красным вином. На гигантских подносах женщины вносят в комнаты кусочками нарезанный белый овечий сыр, маринованные травы, жесткую, целыми кочанами замаринованную капусту.

Колхозные бригады пируют каждая в своем помещении. В клубе колхоза уселись пятая и шестая бригады; в здании средней школы — первые четыре бригады. Женщины сидят чинно, рядышком, в праздничных длинных одеждах, повязанные шалями, торжественные и молчаливые.

— Поглядите-ка на этих,— говорит бригадир-колхозник, поднимая ковер над входом в отдельную маленькую комнату: там, за длинным столом, такие же нарядные, сосредоточенные, молчаливые, в бараньих папахах на головах, расселись — надежда семьи, бывшая опорой села во время войны,— мальчики, еще не успевшие стать взрослыми. Но каждый из них в годы войны работал, как взрослый мужчина.

Почетная отдельная горница отведена старикам сельчанам; им не сидится, они прохаживаются, смотрят, критикуют, покрикивают, курят свои «козьи ножки», подмигивая на суетящихся стряпух. Среди них почтенные, глубокие старики, за восемьдесят, за девяносто лет.

Комнаты, где начинается пир, изукрашены коврами

С потолка до полу вдоль стен висят эти ковры — темнотые, вышитые и домотканные, из местной овечьей пряжи, местной растительной окраски. В полумраке не разглядишь их рисунка, а рисунок должен быть очень хорош,— зангезурские, как и карабахские, ковры оригинально резки по формам, по причудливым фигуркам коней и орнаментам, по контрастным краскам. Почти каждый район в Армении делает особые ковры, передавая их стиль из поколения в поколение.

Хорошо отдохнуть после напряженного труда! Хорошо чувствовать досуг,—долгую, нескончаемую праздничную ночь, после которой можно всласть выспаться. Гусан не жалеет песен,— кончает одну, начинает другую. Деликатно вытерев после жирной баранины седые расчесанные усы, музыканты опять берутся за свои инструменты: похожий на гитару, с очень длинным стволом, т а р, издающий под косточкой нежный, воркующий, голубиный звук; к я м а н ч у, род скрипки, по которой водят смычком, поставив ее прямо, с упором на колени, и встряхивая время от времени ее тельце с несоразмерно большим брюшком, и б у б е н, который держит обыкновенно певец, отбивая в него такт, поднимая его к самому уху, склоняя его, как щит, когда затягивается медленная, за душу берущая песня, или молниеносно работая им под быструю, рассыпчатую плясовую.

Звонкий женский голос завел песню, потом встала первая женщина,— и покуда за столом едят, в круг начинают выходить танцоры.

Армянка танцует не столько ногами, сколько руками, вытягивая их в длину, поднимая, отводя от себя в стороны, глядя вбок, на свои разведенные в стороны пальцы, на приподнятую, сжимающуюся, разворачивающуюся, плывущую в воздухе выразительную ладонь. Это кажется однообразным; но для того, кто видел много армянских народных танцев, пластика вытянутой руки с отставленным мизинцем, с перебором пальцев полна бесконечного, неповторимого разнообразия. Две тысячи лет этой пластике ручного танца. Две тысячи лет существует ее традиция именно здесь, в Сюни, в горах Зангезура.

Летописец рассказывает, что однажды Бакур, родоначальник сюникских князей, пригласил Трдата Багратуни «на вечерний стол».

«Трдат, разгоряченный вином, увидел женщину, чрезвычайно красивую, по имени Назеник, которая пела руками» [97].

Когда прекратили «петь руками» колхозницы, вышли вперед старики, вынули из-за пазух большие носовые платки, отряхнули их, готовясь к танцу. Изумителен этот танец возраста. Каждый из стариков две трети своей жизни прожил еще до советской власти, сложился в прошлом, сформировал в прошлом свой характер и привычки. Многое перевидал старый человек, еще больше перенес на своей спине, нажил защитную крестьянскую хитринку. И вот он выступает, крепко подвыпивший, развязанный своим возрастом от излишней скрытности: старый я человек, что с меня возьмешь! И танцует медленно, упиваясь бытием, танцует сам свою жизнь — вот она, в забавном подъеме ног, во взмахе платка, которым он, мужчина, играет в воздухе, как танцующая женщина кистью руки. Пусть в прошлом ему приходилось гнуть свою спину — не обойтись было без этого,— а сейчас все ж таки он хозяин, все ж таки он голова. И, слегка подтрунивая над самим собою, он старыми ногами затейливо выкручивает вензеля, хитро обходя заминки возраста и ревматизма.

Неожиданно встрепенулся и кукарекнул первый утренний петух на селе. Взлаяла спросонок на чьей-то крыше собака. Посерел, словно старческой сединой прошился, воздух вокруг. Ночь отходила, отступала от окон, но было уже видно, что предстоит на весь день густой туман, обычный для этих мест. В десяти километрах от Тэха, на границе Азербайджана, Курдистанское ущелье без конца поставляет эти плотные, как молочный кисель, туманы, расползающиеся по всему здешнему нагорью.

— Хватит на целый день,— определил, выйдя на веранду, шофер, щупая глазами серую мглу.

Надо было ехать, оставив колхозников доплясывать и допевать последние песни.

* * *

Не заезжая назад, в Горис, поднимается машина над городом, чтобы направиться на запад, в Айоц-дзор. И очерк Зангезура, с его величавой каменной скульптурой, вылепленной солеными пальцами моря, с его пещерами, ямами, хаосом камней и скал, туманом Кафанского леса, дыханием меди, постепенно уходит вниз в молочном тумане утра. Как бы последним взмахом его, прощальным движением камня, встает в двадцати шести километрах от Гориса, у самого шоссе, обточенный тысячелетний черный камень-фаллус, предмет поклонения в древние времена, похожий на черепаху с небольшой выпуклостью поверх ее щита.

Дорога взвивается кверху, на горные пастбища, и яркая, свежая зелень, зелень, почти не тронутая осенью, но уже тронутая первым утренним серебром зимы, охватывает путника своей резкой, хрустящей прохладой.

АЙОЦ-ДЗОР

ЧЕРЕЗ ВОРОТАНСКИЙ ПЕРЕВАЛ

Быстрая речка Воротан — раньше она называлась Базарчаем [98] — невелика, но довольно длинна. Прежде чем сбросить свои воды в Аракс, она пробегает изрядное расстояние, роясь в земле, выгрызая в скалах узкое ущелье, а рядом с нею, держась за ее извилины, то становясь проезжей, то превращаясь в пешеходную, вьется прибрежная тропа. Речка спешит вниз по течению; наша дорога торопится вверх, против течения, туда, где берет река свой исток. И прорытое водой ущелье показывает людям, где легче устроить настоящую, большую пологую дорогу для машины и телеги, чтобы перевалить через горный хребет. А перевалив через него, вступить в новый мир — ту часть горной Армении, которая раньше звалась Даралагязом, а сейчас зовется Айоцдзор.

Дорога из Гориса на Микоян доходит до деревни Ангехакот, оставляя за собой, как я уже сказала выше, ответвление на Шаки, знаменитые шакинские водопады, и центр Сисианского района, Сисиан (в 12 километрах от места разветвления). До самой деревни Ангехакот она следует за рекой Воротаном. Но здесь предстоит им разлучиться. Дорога — старинная, добротная, пологая, видавшая на своем веку древние караваны купцов (летом 1945 года в одном из здешних селений найден

был клад серебряных римских и других монет), поднимается на запад (на Биченагский перевал), к центру Нахичеванской АССР, городу Нахичеваии на Араксе. А речное ущелье уходит вверх, на северо-запад. Свернем вместе с ним. Нам предстоит подъем по новой дороге, взбирающейся все выше и выше вдоль левого склона этого речного ущелья. Мы перед большим перевалом, носящим имя реки, впервые проложившей тут путь для человека,— «Базарчайским» по старому названию, или Воротанским, как он зовется сейчас. Сколько придется позднее пересечь таких горных хребтов Армении! Мы уже пересекли с читателем перевальные хребты между Кафаном и Горисом. Но то были короткие, почти не ощутимые для путника, дорожные подъемы и спуски, замечательные главным образом отвесной крутизной и высотой своей перевальной точки. Воротанский, предстоящий нам сейчас,— это уже типичный горный переход из одной речной системы в другую, с долгими, длинными врезывающимися все выше и выше в горную стену зигзагами дороги. Всегда будет жить в памяти путешественника по Армении вкус и аромат первого перевала, открывшего перед ним то, что характерно для всех армянских перевальных участков: постепенное, нарастающее чувство строгости природы, суровости и требовательности ее к вам.

Подъем начинается медленно, незаметно, но неотвратимо,— с гудения машины. Словно тяжелый жук в полете, гудя, набирающий высоту, мотор начинает жадно сосать бензин, всей грудью идя на приступ земли,— и тянет, тянет наверх. Воздух вокруг все разреженней, земля вокруг все оголенней. Отступили деревья, за ними исчезли кусты. Вдоль разреза дороги — богатый, сочный черный отвал перегноя, богатейшая почва (так называемый горный чернозем). Горизонт увит перьями близких сизых облаков; солнце не хочет выйти,— серый, свинцовый отблеск ложится вокруг и в странной гармонии чего-то трудного, чего-то напряженного сливается с тяжелым гудом мотора. В ушах начался легкий звон, грудь дышит чаще, глубже. Большое село Спандарян проходит суровым видением квадратных, как часовни, овинов с куполом собранной соломы,

черными столбиками кизяка, длинным, выбеленным прямоугольником колхозного амбара. Дети на улице ярко румяны и одеты тепло. Холод уже покусывает вам щеки. На окраине села — старинное кладбище с армянскими горизонтальными плитами, приподнятыми под прямым углом у изголовья, словно маленькие сидящие сфинксы, так не похожими на острую вертикаль стоящих плит мусульманского кладбища. Подъем, подъем, он в полном разгаре, он идет нарастая,— машина берет зигзаги.

Если взглянуть сверху на бесчисленные петли этих зигзагов, которыми дорога осиливает крутизну горного склона, трудно с непривычки поверить, что вы тут проехали. Но привычному человеку не страшно. Он глотает колючий ветер, бьющий ему в лицо, и глядит на обе руки шофера, поминутно резко перекручивающие рулевое колесо то в одну, то в другую сторону, не замедляя, а даже, наоборот, прибавляя на поворотах скорость. Вот перед вами простор голого неба с плывущим облаком. Секунда — и опять желтая стена прорезанного угла в камне, и опять упирается машина в край пропасти, и опять сворачивает вдоль горного склона, все выше, выше, в безмолвие высоты, где не чирикнет птица, не каркнет ворона, не зазвенит бубенец, не взлает собака, и только в крепком, легком, легчайшем воздухе, жадно ища кислорода, легкие ваши раздуваются, как мехи, прохватывая все нутро ваше чудной суровой прохладой... Хорошо!

Вода вдоль дороги подернута «салом» первого льда. Величие пустынного зеленого мира по обе стороны перевала; большое русское село перед последними зигзагами перевальной точки. Что за люди забрались работать, дышать и жить на этой суровой и голой высоте! Богатырши, повязанные шерстяными платками, ярко румяные от ветра, проходят по улице, безразлично глянув в вашу сторону — в сторону жителя низин. Горьковатый сизый дым от кизяка в печи сливается с подмороженным запахом помета на земле. Далеко внизу — спутник перевала, роющийся в земле, черный отсюда, как змейка, Воротан.

Перевал осилен, сейчас пойдет спуск,— спуск в новый мир ущелья, названного в древности, после страшного землетрясения, «Ущельем стона» — Вайоц-дзор [99], а сейчас получившего новое название «Армянского ущелья» — Айоц-дзор. Опять встанут звуки и краски, тяжелее сделается воздух, короче вздох. Но прежде чем спуститься по новым бесчисленным зигзагам вниз, осень настигает вас на перевале зимним бураном. Недаром лежали свинцовые облака. Недаром с утра спряталось солнце. Снег вдруг пошел сразу, мокрыми хлопьями, не пошел — повалил. В одну минуту все исчезло в его хлопьях. Забегала стрелка по окну кабинки шофера, соскребая снежную корку со стекла. Но стрелка бессильна. Мокрые пальцы шофера, не останавливая хода, то и дело высовываются с тряпкой, чтоб обтереть снаружи окно. Засветился желтый, мутный свет фары, чтобы сразу показать в своем луче сумасшедшую пляску снежинок. И все-таки хорошо,— хорошо среди сурового величия гор, окаменевших под серым широким небом, в необъятном пространстве, даже в душном, захватившем сердце метании снежного бурана!

Снег исчез так же внезапно, как начался. Вместе с шофером, румяный, усталый, окрепший от борьбы со стихией, от выскакивания в снег, вытаскивания машины, мокрый от ветра и пота, пьете вы жадно воду прямо из кувшина в деревушке Терп и с наслаждением, впервые, сыплете пальцами на сухой лаваш сероватый, перевитый зеленой травкой, весь в крошинках, ароматный деревенский сыр.

ДЖЕРМУК

Айоц-дзор — ущелье, замкнутое Южно-Севанским и Зангезурским хребтами,— как будто продолжает соседний Зангезур. А между тем оно сразу, с первого въезда в него, с преодоления Воротанского перевала, раскрывается глазу в новом, ни с чем не сравнимом своеобразии. Воротан помог дороге пройти ущельем, а сейчас дорога, резко забирая влево, вступает в новую речную

систему Арпа. И суровость отходит, словно из рук невидимого художника выпали тюбики с белилами, со свинцовой краской, оставив на полотне теплый, золотой, чистый тон. Весь облик природы становится здесь мягче и живописней.

Большое село Чайкенд. Новая речка бежит в зеленых берегах, открывая красивые скалы, небольшие рощицы, плетеную изгородь выхоленного сада, сложенные кем-то для непрерывно идущего строительства пирамидки камней. Блеск воды переменчив: то голубой, то серый, то черный,— отражение клочка неба, тучки, скалы. Дорога, изменившая Воротану, уже тесно сдружилась с рекой Арпа, то бежит по горному склону, высоко над нею, то быстро спускается к ней, перебрасывается мостом на другой ее берег. Следы работы человека заслоняются горами, горы прячут жилье и удобные клочки пахотной земли в глубоких своих складках, а земли, годной под пашню, так мало, что не будь колхозов с их более совершенными методами обработки земли, ее не хватило бы на здешних крестьян.

Дорога разветвляется. Едем сперва направо, где в 28 километрах находится горный курорт Джермук.

Несколько лет назад при Центральном институте курортологии в Москве состоялось совещание. Оно было посвящено почти неизвестному тогда курорту в Армении, не менее, если не более древнему, нежели чехословацкий курорт Карловы Вары. Подобно тому как в стародавние времена больные стекались в Карловы Вары, чтоб по неписаной традиции пройти «ускоренное лечение», то есть выпивать до сорока кружек горячей минеральной воды в день, лежа в постели,— подобно этому в незапамятные времена на костылях плелись люди по головоломным горным тропкам, на высоте горного хребта, чтобы, тоже по неписаной традиции, по трое, по пяти-шести человек сразу залезать до самого подбородка в каменную яму, наполненную горячей водой. Вода была проточная. Она непрерывно обновлялась. Вода была минеральная. И люди сидели в ней ни много, ни мало, как по нескольку часов, а иные любители и ночевали в ней. И, приняв две-три такие ванны, больные чувствовали облегчение, ревматики расправ-

ляли согнутые кости, хромые бросали костыли (так рассказывает неписаная легенда) и шли домой. Разные имена давались этому народному курорту в разное время. Сейчас за ним укрепилось название «Джермук».

Выше я уже указывала, как высоко оценил Джермук проф. Н. Н. Славянов. Оценку эту разделяют и другие ученые.

Заслуженный деятель науки проф. В. А. Александров сказал о нем: «По физико-химическому составу источник действительно приближается к Карлсбадскому. Главное отличие в температуре... но это не умаляет значения источника, поскольку воду приходится охлаждать при принятии ванн на том и на другом курорте». Директор Института курортологии проф. С. Н. Соколов подвел общий итог этой высокой оценке: «Курорт Джермук представляет собой действительно исключительное явление... В отношении физико-химических свойств источник термальный и одновременно газовый, содержащий редкие металлы. Ценность этого источника несомненна» (Протоколы совещания от 17/IV 1945 года. «Джермук». Издание Министерства здравоохранения Армянской ССР. Ереван, 1948, стр. 255—263).

С тех пор как был вынесен этот авторитетный суд, прошло несколько лет. За эти годы лучшие врачи Армении и такой выдающийся геолог, как А. П. Демехин, произвели целый ряд исследований. Было клинически изучено действие воды на больных: влияние Джермука при питье на изменение просвета сосудов, на секреторную деятельность желудка, на желчеобразование, желчевыделение, на диурез, на холецистит, на функцию поджелудочной железы и т. д.; влияние ванн Джермука на изменение биологического состава крови, на сердце, на лечение ревматизма, артритов, периферической нервной системы и т. д. Словом, проделаны были необходимейшие исследования для уточнения действия нового курорта и возможности правильного отбора больных. А в то же время курорт строился и обстраивался, рос и развивался. Вместо трудной горной тропы к нему было проведено удобное шоссе, вместо прежних палаток на горных склонах забелели корпуса санаториев,

пролегли дорожки, выросли парковые насаждения, появились бювет и красивое здание ванн.

Ущелье, ведущее к Джермуку, совсем не похоже на ласковые лесные склоны Карловых Вар. В дикой его красоте, в шуме глубокого Арпа внизу, в странных гофрированных базальтовых столбиках вдоль каменных стен самый привередливый альпинист найдет для себя неожиданную, неиссякаемую новизну. Не похоже горное курортное плато на Карловы Вары и по климату: там воздух насыщен влагой, высота чуть больше 300 метров, дышать в лесном тесном ущелье не очень легко, часто моросит дождик; а здесь — высота 2 000 с лишним метров над уровнем моря. Шутка сказать — высота целой хорошей горной вершины! И воздух разрежен и совершенно чист от пыли, солнце шлет ультрафиолетовые лучи, целительные сами по себе; весною на такой высоте одуряюще благоухают цветы; горизонты открыты во всю ширь, прогулок куда хочешь, во все стороны — сколько угодно, хотя и не помечены они для удобства аккуратными номерками и указателями; и, наконец, водопад — великолепный, могучий, раскрывающий всю гамму своего льющегося стекла — с треском распахнутого веера, узкого вверху и широкого книзу... Все собралось для исцеления, для отдыха, для восстановления сил, для радости усталого человека в этом далеком, почти нетронутом уголке. Нет предела богатствам нашей родины, дающей все очень щедро, полною горстью,— и за этими горами, пограничными с братским Азербайджаном, лежит в Азербайджане другое такое же богатство, аналогичный источник Исти-Су. Целых два «Карлсбада», два аналога знаменитым мировым Карловым Варам в двух советских республиках!

«ШВЛИЧКА»

Вернувшись из Джермука, продолжим свой путь по оставленному нами шоссе. Еще немного, и опять разветвление,— за мостом, налево, в 5 километрах, остается большое, богатое село Азизбеков, названное так по имени одного из двадцати шести бакинских комисса-

ров, азербайджанца-большевика тов. Азизбекова. Еще недавно оно было центром небольшого отдельного района, Азизбековского. Сейчас в прежний район влился соседний, Мнкояновский, и весь этот объединенный район сохранил название Азизбековского; но центром его сделалось большое село Микоян. Машина мчится дальше, мимо зеленых, замшевых от множества разных мхов каменных глыб, оторвавшихся в давние времена с высот и заваливших землю. К самой дороге подкатываются россыпи разорванного, битого камня; они устилают склоны, делают землю недоступной не только для трактора — для горного плуга. Крестьяне спускаются сюда убирать руками один камень за другим, освобождая от них вдавленную, примятую землю.

До революции крестьяне здесь жили скудно. Проехать из Айоц-дзора в Ереван можно было с огромным трудом и только верхом, и только в определенную часть года, когда тропинки были проходимы. Центр его, бывшее селение Кешишкенд (нынешний Микоян), считалось недоступным и нездоровым, подверженным всяким эпидемиям местом. Его жалкие подземные жилища — «черные избы» — курились, как сурочьи норы, напоминая слова поэта:

С юга и севера дымок пошел,
Горбится, словно кусты,—
Это идет из армянских сел
Горький дымок нищеты...[100]

Для того, кто помнит все это, въезд в первую большую деревню Азизбековского района, мимо густых, обведенных каменными оградами колхозных садов, полон неожиданности. На картах деревня эта обозначена странным именем — Малишка́. Местные работники называют ее по-русски — Малышкой, хотя это совсем не маленькое, а богатое, широко раскинутое, непрерывно строящееся село. Интересен рассказ, откуда взялось его первоначальное название.

После взятия Еревана Паскевичем персидские армяне стали сотнями переселяться на территорию русской Армении. Подобно старым русским переселенцам,

они высылали вперед ходоков, чтоб «обглядеть» и выбрать место. Ходоки нашли место с небольшим озерцом. Косые лучи солнца золотили его. Жирная земля лежала по склонам гор. «Ме лич ка» — донесли ходоки своим землякам: «Одно озеро имеется!» И сто шестьдесят лет назад сюда перебрались крестьяне со своим скарбом и скотом, так и оставив краткую формулу названием нового селения. Годы высушили маленькое озеро, давно уже нет его здесь, забыто и первоначальное название; из «Ме лич ка́» образовалась сомнительная Малишка́. Но какая же это Малышка!

Навстречу машине, посмеиваясь от большой радости, навеселе, сдвинув папаху на затылок, шел типичный местный житель,— крепкий совсем не по-стариковски, плотный, мохнатобровый, румяный семидесятилетний колхозник Конос Григорьян. Про жителей Малишки ходит такой рассказ: будто они сторожат проезжих, нападают на них «среди бела дня», отпрягая коней, облепляют кузов машины, хватают поводья верховых коней и берут путника в плен своего неслыханного и невероятного гостеприимства. Конос Григорьян — права или не права легенда — остановил машину, упрямо встав посреди дороги. Он разговаривал сам с собой, называя себя «дядя Конос». Он советовал самому себе не упустить добрых людей.

Волей-неволей «добрые люди» пошли за старым колхозником к нему в дом.

Конос идет, ступая не очень твердо, напоминая вам, что сейчас по всему Закавказью, где только есть виноград, давят его в своих крестьянских давильнях и что один густой дух молодого бродящего вина — м а д ж а́ р у армян, м а д ж а р и́ у грузин — способен свалить с ног без пригубления самого напитка. Неизвестно, хлебнул ли Конос вина, но он, без всякого сомнения, хлебнул на своем веку горького горя. Древнюю защитную хитринку в его глазах побеждает сейчас какой-то непреодолимый внутренний восторг, детское хвастовство, опьяняющее Коноса больше вина. Он ведет вас по улице, ежеминутно оглядываясь: тут ли они, приезжие. Он поднимает тяжелый дубовый сук, служащий естественной «калиткой» для ворот. Мы стоим в просторном,

изрытом птицей дворике и видим два дома,— два дома, поставленных рядышком. В одном из них Конос жил в прошлом; в другой переехал недавно. Одному 160 лет! Другому всего несколько лет. Но правильнее было бы сказать, что первому дому не 160 лет, даже не 1600 лет, а много больше.

Перед нами древний «глхатун» или «хацатун»—черное земляное жилье. Вход в него поддерживается двумя кривыми столбами, между которыми висит плотная дверь на замке. Окон нет. Земляное жилье имеет лишь верхнее дымовое окошко над вырытым в полу очагом, называемым по-армянски «тондыр» или «тонир».

В очаге, внизу, обычно тлеет кизяк; по внутренним конусным стенкам очага армянка спускает на палке особую плоскую подушку, на которой растянут тонкий, раскатанный, как лист бумаги, хлеб — лаваш; она быстро пришлепывает его к стенке, и покуда опустит другой, первый успевает уже выпечься.

Нежней луча, ходящего
По заячьим ушам,
Тундырь печет прозрачные
Листовки лаваша...[101]

Много таких листов печет хозяйка, то опуская, то вынимая из печи плоские подушки. Печет и на сегодня и про запас, складывая еще теплые листы, как салфетки, вчетверо и укладывая их друг на друга, чтобы потом, по мере надобности, подавать к обеду, опрыскивая свежей водой.

В таких темных «глхатунах» тысячелетиями жили поколения армянских крестьян; морщинки лица и рук их пропитывались чуть ли не на всю жизнь серым оттенком земли, глаза их выедали постоянная темнота и дым. Была еще комната в «глхатуне» — древний «от'ах», горница для гостей, открытой своей стороной примыкавщая к коровнику, чтобы зимою теплое дыхание скотины грело помещение. В «от'ахе» есть следы своеобразной архитектурной мысли: он прямоуголен, вдоль стен его скамьи, в углу нечто вроде маленького камина под деревянным сводом, иногда украшенным нехитрым орнаментом, вырезанным по дереву. Здесь

в долгие зимние вечера собиралась семья, зажигали коптилку, женщины пряли, мужчины беседовали; сюда заходил деревенский гусан, или сказочник,— таких сказочников много еще в каждой деревне. Так и ютились люди в своей земляной норе, без света, без чистого воздуха, в дыму земляного очага.

Конос Григорьян сунул ключ в замок и широким жестом распахнул деревянную дверь в свое старое жилье, превращенное сейчас в кладовку. Только на днях свезли сюда «трудодни» всей семьи. Чего-чего тут нет! Горожанину может показаться смешным детское тщеславие Коноса. Но тот, кто помнил не одну долгую зиму терпеливой, жестокой голодовки, когда у всей семьи опухали десны, западали губы, когда не у кого было разжиться горсткой ячменя, чтобы сварить тарелку жидкого «танов-спаса»[102],— тот поймет, что́ испытывает сейчас старый колхозник, водя добрых людей по своему «глхатуну». Он обтирает горлышко огромного глиняного сосуда, выпачканное белым «мацуном» — острым кислым молоком; хлопает ладонью по клети,— облако тяжелой мучной пыли встает над ней; подмигивает на колбасы, кругами подвешенные к притолоке; снимает со стенки сосуда плотную золотую каплю меда; ударяет кончиком своей воловьей сандалии по бесчисленным мешкам с крупою в углу и кивком головы показывает на тяжелые гроздья винограда, подвязанные к древесным сухим сучьям под потолок. Из-под земляного пола идет крепкий запах, там карасы с молодым вином. А сколько солений и варений, пуды красных ягод шиповника, увитые веревочкой ожерелья луковиц, красного перца, сушеные ароматные травки для супа: рехан, тархун, чабрец, мята...

Тем временем молчаливая жена Коноса быстро и весело возилась в новом доме — стелила на стол новенькую зеленую клеенку. Новый дом, рядом со старым, был построен, как сейчас всюду строят в армянских селах, квадратным двухэтажным каменным зданием со стеклянными светлыми окнами и плоской крышей. Внизу — кухня, нечто вроде сарая, наверх ведет наружная деревянная лестница; обязательно открытая веранда и две хорошие жилые комнаты с же

лежными кроватями, коврами на стенах собственной работы, швейной машиной, тахтой, радио, патефоном, книжною полкой.

Все село, раскинутое на холмах вперемежку с садами, кажется большой новостройкой. Детский сад на 150 ребят, детдом для сирот, своя отличная электрическая мельница, свой дизель, кузнечная мастерская, столярная, где выделываются крестьянские подводы, ковровая мастерская, 5 колхозных ферм. В 1944 году насадили новый виноградник на 40 гектарах и сейчас уже собирают новый виноград. В 1947 году провели свой водопровод, взяв воду за 12 километров.

Солнце в зените. Мы снова едем. Все словно разрумянено его щедрым, ликующим светом: розовые, круглые лица, искрящиеся глаза, яркий ситец на ребятишках, красноватый отсвет земли вдоль дороги, скалы, кудрявые от кустарника. Это бесконечные заросли шиповника, которому здесь, кажется, конца нет. Он в Айоц-дзоре особенно витаминозен, и задолго до нашего культа витамина «С» здесь употребляли его сладкие, красные, мягкие плоды в пищу, очистив серединку от волокон. Кто-то из нас вдруг вскрикнул и приподнялся на сиденье: в красном луче солнца, тоже вся красная, с навостренными ушами и острым рыльцем, над самой дорогой спокойно стояла лиса.

Увидев машину, она не спеша повернулась и даже не побежала, а пошла от нас, волоча за собой, словно шлейф, слегка приподняв его, чтобы не касался травы, большой пушистый, пылающий на солнце хвост. И только под неистовые наши крики: «Лиса! Лиса!» — затрусила под конец рысцой, лениво, словно чуя, что ни у кого из нас нет ни ружья, ни повадки охотника.

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР МИКОЯН

Разные есть поселения в Армении. Ереван возник в глубине большой котловины; персы назвали его «счастливою ямой». Есть села, раскинутые вдоль каналов и рек, с красивыми уличками-каналами, в которые опускаются стены домов, зеленые от вечной сырости,—

так расположен Аштарак. Есть села, где крыши одних домов служат двориками для других, построенных прямо над ними чуть ли не по вертикали отвесного ущелья,— так отвесно стоит большой районный центр Мегри.

Ни на одно из этих мест не похож районный центр, куда сейчас въезжает машина. Время — после полудня, к закату. Солнце еще во всей своей силе,— его удлиненные лучи бросают на склоны гор какой-то малиновый свет. Прямая и чистая главная улица поднимается в село снизу наверх, идет, как по дамбе, по возвышенному месту и на другом своем конце, словно в стену, упирается в горный склон. По одну ее сторону (вверх по склону) стоят хорошие дома, спинами в горы, и зеленые сады; здесь — почти все главные здания района, банк, отличный жилой дом, гостиница, почта, редакция районной газеты, школа-десятилетка, особняк детдома. По другую сторону... Но другая сторона и отличает Микоян от всех остальных армянских районных центров.

Словно длинная балюстрада, или бульвар над высоким берегом, или терраса отеля, обрывается эта сторона спуском вниз, где тоже расположены здания, но к зданиям этим надо спускаться по ступенькам. Здесь, среди зелени,— трикотажная фабрика района, собственный пищевой комбинат (в каждом районном центре он обязательно имеется), ряд других городских зданий, расположенных ниже уровня улицы. А за ними — необычайная панорама, богатство таких красок и простора, что вам кажется — вы на курорте: зеленое ущелье со снеговыми вершинами в пролете, яркая синева, переходящая в бледное золото наверху, с дымно-розовым пологом над самыми горами, с прозрачной, цвета воды, морской зеленью, уже тронутой сумраком на востоке, с кипением малиновой лавы на западе. Снизу идет дымок, подмешивая немного черни к аквамарину. Рыжей охрой встают дорожные камни. И теплый малиновый оттенок солнца надо всем,— над крашеными стенами домов, над выбритой зеленью лугов с убранными стогами, на щеках детей, даже на «микояновском» сорте небольших мичуринских яблок, круг-

ных, очень красных и очень вкусных. Вот таков сейчас бывший грязный, захолустный, глухой Кешишкенд, куда почти невозможно было добраться двадцать лет назад.

Вместо грязной пробоины с непросыхающими лужами навоза — мощеная улица с остановившимся на углу «зисом». Вместо жалких домишек, темных по вечерам,— залитые электричеством большие дома районной больницы, амбулатории, собственного театра. Раньше тут не было даже почты,— с 1945 года район имеет автоматизированную телефонную связь. Никогда старый кешишкендец не слыхивал о своих режиссерах, о своей театральной труппе в районе. А сейчас он читает на яркой афише, отпечатанной в собственной типографии, о том, что в его, Микояновском, районном театре силами местной труппы, в постановке местного режиссера Липарита Нерсесяна, идет новая пьеса Гургена Боряна «Высоты»... И когда, свернув папиросу, он сует руку в карман за спичками, то на этикетке этой коробки стоит: «Спичечная ф-ка в Микояне». В глуши, где и света по вечерам почти не было,— своя собственная спичечная фабрика!

Вечером в театре путешественник увидит местную интеллигенцию. В районе очень много ее: учителя и учительницы, медицинские работники, городские служащие, музыканты оркестра сазандарей, духового оркестра, работники местной газеты, учащиеся, да и сама театральная труппа из 30 человек. В Микояне нет вуза, но много студентов: это заочники педагогического института; в районе 7 полных десятилеток, 24 семилетки, 5 начальных школ. Каждую субботу приезжают сюда из Еревана крупные лекторы, потому что и здесь, как по всем нашем Союзе, люди страстно тянутся к общему и партийному образованию, к научному докладу, техническому фильму, хорошей популярной книге — ко всему, что образовывает и обучает человека.

Интересно вообще сравнить современный Айоц-дзор с тем, что застала здесь советская власть. На первом сельскохозяйственном съезде Армении в 1922 году делегат тогдашнего Даралагязского уезда сообщал в докладе, что, кроме населенных деревень, в уезде имеется

23 ненаселенных: население (азербайджанское) при дашнаках покинуло эти села. Сады почти погибли от болезней. На все крестьянское население в уезде была одна «сельскохозяйственная коммуна» с восемью членами. У беднейшей части крестьянства не было посевного зерна. В Исти-Су (нынешний курорт Джермук) не было ни одного врача; на весь Даралагязский уезд вообще был только один врач. Возле источника жили в палатках. Путь на курорт был такой: по железной дороге до станции Норашен, потом 50 километров в фаэтоне до Кешишкенда и оттуда несколько десятков километров пешком до источника,— все вместе занимало три-четыре дня...

Сейчас здесь нет ненаселенных сел. Всюду в колхозах проведен правильный севооборот. Сеют пшеницу, ячмень, рис, лен; кроме животноводства, здесь развито птицеводство; колхозники, кроме кур, имеют и отдельную ферму индеек в деревне Колулджа. Сеют табак; сады выхолены; имеется старинная роща грецких орехов, огороды, пчелы (в одной только Ме лич ка́ на ферме 700 пчелиных семейств!). Колхозы начали организовываться в районе в 1928 году. Сейчас бедных сел уже нет вовсе. Район послал Советской Армии за время войны 600 полушубков, 1500 тысяч рублей на танковые колонны, на строительство самолетов, внес 700 тысяч рублей в фонд обороны и отправил в подарок на фронт множество ящиков с продуктами.

В быстром росте района немалую роль сыграла электрификация. Речушки и ущелья его так и созданы для «малой гидроэнергетики». Именно здесь и появилась первая ласточка будущей сплошной электрификации деревень — микрогэс.

Года за два до войны Москва прислала в Армению опытную маленькую гидростанцию на 10 киловатт. Без всяких хлопот и затрат, почти даром, дает такая станция энергию: днем — для полевых работ, ночью — для освещения, кино и радио. Ее хватает на лесопилку, силосорезку, молотилку, а если поставить две рядом на параллельную работу, то и на многое другое. Советское правительство сразу увидело огромное значение этой микрогэс для горных деревень. Ереванский завод имени

Лепсе взялся ее освоить. Работали люди с подъемом, разобрали и собрали машину с предельной быстротой, понимая, чем она станет для родных деревень, и освоили ее производство в полтора месяца. В 1940 году были изготовлены две, а в 1941 — четырнадцать микрогэс. Из этих первых маленьких гидростанций четыре достались Айоц-дзору еще до войны, две — деревням Шатуни и Таратун, третья — колхозу «Елпин», четвертая — курорту Джермук. Сейчас число микрогэс значительно выросло и растет с каждым годом.

В глухом ущелье, на речушке, падающей с большой высоты, стоит стройная колонка, запертая на замок. Работает и управляется она автоматически. «Тратим мы два кило тавота (масла) — и получаем энергию, вот и вся недолга́»,— лаконично определяет секретарь райкома выгоду такой станции. Прекратившееся было за войну производство микрогэс сейчас поставлено в Армении на широкую ногу. В Ереване делают и свои генераторы, раньше получавшиеся с Урала. И скоро весь этой район с его красивыми ущельями, удобной водой, набирающей напор в своем беге, получит десятки своих гидростанций и зальется электрическим светом. Селение Микоян лежит на скрещении больших путей. Мы приехали сюда из Зангезура, а выедем в Норашен. Но мы могли бы проехать отсюда и на Севан, повернув у деревни Гетап и поднимаясь от нее все выше и выше; перевалить Южно-Севанский горный хребет красивейшим в Армении перевалом, Айоц-дзорским (2 410 метров высоты), и спуститься к районному центру Мартуни. Только выбрать время нужно для этого,— перевал труден, его заносят ранние снега, с него долго не сходит поздний снег,— и лучше всего выбра́ть для этой поездки солнечные дни сентября. Мы это и сделаем позднее, когда попадем с читателем в область Севана.

Раным-рано, чтоб не пропустить утреннего часа в горах, минуя темный силуэт старой колокольни, выезжаем из Микояна. Дорога идет вниз мимо пожелтелых, но все еще кудрявых садов и пересекает ущелье у студеной речки кристально-чистой воды. Забираем налево от Гетапа, по новой дороге, до самого Арпа. Вершины вокруг уже оснежены. Камнями усеяна земля. Облака

похожи на твердый взбитый белок в яркой синеве неба. И чего только не водится в здешних скалах и кустарниках: кавказские медведи, множество лисиц, кабаны, дикие козы, уйма зайчишек, хорьки, змеи. Любители птичьей охоты могут поживиться тут дикими утками, бить ястреба, увидеть орла. Любители соловьиного пения услышат тут в рощах целые «соловьиные декады»; пролетают в свой час, курлыкая, журавли, вьют свои привычные гнезда аисты, стоит на одной ноге цапля в полях. Ночью машина зашибет на дороге не одного зайчишку, ослепленного фарами. Спуск в долину реки Арпа и сама эта долина простираются на несколько часов пути. Но прежде чем спуститься вниз по дороге, сделаем на пути остановку, побываем в гостях у Героини Социалистического Труда, замечательной армянской женщины Анаит Багдасарян. Она бригадир в колхозе имени Калинина и зимой 1950 года впервые побывала в Москве как делегатка Второй Всесоюзной конференции сторонников мира.

СЕЛО АРЕНИ

Здесь была рассыпана когда-то горстка жалких земляных нор. Чем жили обитатели этих нор? Ежедневной борьбой за горсть ячменя, коротким безрадостным днем, кончавшимся с заходом солнца. Закатится солнце — и засыпают люди у чуть теплого тонира, в тех же самых лохмотьях, в каких работали днем, сунув ноги поближе к теплому отверстию очага. Изредка знали они и веселье, приход в деревню сказочника, собрание в чьем-нибудь от'ахе позажиточней, при свете коптилки, и мерную речь о хазаран-блбуле (тысячеголосом соловье). Не в очень далеком прошлом,— а на глазах у людей моего поколения было все это. Сейчас мы въезжаем прямо на площадь селения Арени, пересекаемую дорогой. Здесь — колхоз имени Калинина,— в нем десять Героев Социалистического Труда. Какова его экономика? Сеют пшеницу, ячмень, рис, клевер, разводят табак, овощные культуры, кукурузу, свеклу, виноград. Всех хозяйств на колхоз 150 дворов, площадь колхоза —

142 гектара. Место осталось то же, каким было и сорок лет назад,— узкая полоска по обе стороны реки, чуть пологий скат ущелья, тесновато, горы стоят справа и слева, и камни, целая россыпь камней. Кажется, повернуться некуда. А теперь войдем в правление и послушаем, что говорят колхозники, о чем их думы.

В просторной комнате вокруг стола, крытого красным кумачом,— собрание. Посередине возвышается микрофон,— для тех, кто болен и остался дома, речи транслируются на дом. Кто-то стоит у телефона и говорит с одним из Героев,— у каждого Героя Социалистического Труда имеется на дому телефон. Вопросы на повестке дня самые разнообразные,— о строящихся новых улицах и домах, уже спроектированных в мастерских Еревана. Далеко за реку пойдет через будущий мост будущая улица. Разговор о стройматериалах, о лесонасаждениях. Будет расширена площадь под пшеницей — куда, где? Там, где сейчас россыпь камней. Их берут, их выкорчуют из земли, как пеньки. Разговор о колхозной ферме, критикуют удой, положение с кормами. Вспыхивают споры о клевере, о полученном недавно быке-швице, об улучшении местной породы... Все это разговоры про завтрашний день. И вы чувствуете — у колхоза есть перспективы, каждый колхозник видит и осязает их, как реальное, он верит и не может не верить в свой завтрашний день. Да и как ему не верить, когда день сегодняшний ведет его, словно сам собой, в завтрашний, ведет, как идущая все вперед дорога. День сегодняшний открыт перед вами,— идите смотрите на графики, на планы, на образцы здешних культур, развешанные по стенам. Два хороших портрета, писанных масляными красками явно хорошим художником (колхоз пригласил, заказал и оплатил из своих накоплений): портрет Т. Д. Лысенко и портрет И. В. Мичурина. Под каждым каллиграфически выведенные надписи. Под первым: «Социалистическое земледелие нуждается в развитой глубокой биологической теории, которая помогла бы быстро и правильно совершенствовать агрономические приемы возделывания растений и получения от них высоких устойчивых уро-

жаев». И под вторым: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача».

Спустимся вниз, на площадь. Там красивый родник, архитектурно оформленный; Доска почета, с которой, среди других лиц, глядят на вас теплые материнские глаза Анаит Багдасарян; двухэтажные хорошие здания; в глубине площади — закусочная, куда сейчас пронесли ведерко с живой форелью из реки Арпа. Тихо пройдя саженей 500 по улице, вы можете заглянуть и на почту, где сейчас распаковывают полученные для подписчиков села́ газеты и журналы: на 150 дворов — 156 экземпляров районной газеты, 55 республиканской армянской, 5 республиканской русской; получается «Правда»; кое-кто из ребят и молодежи выписывает и «Пионерскую правду», и «Комсомольскую правду», и армянскую «Литературную», и журналы. Три библиотеки,— три обязательные библиотеки для каждого села, как это принято сейчас в Армении (сельская, клубная и школьная). Семилетка. Собственная гидростанция. Аренигэс на 75 лошадиных сил. Баня. Хорошая больница на 10 коек... Ничего в этом нет нового или удивительного, так сейчас почти в каждом советском селе. Удивительны, может быть, только сами колхозники, их развившийся, свободный, чистый язык, их умение передать в слове тонкое наблюдение, обобщенную мысль.

Прежде чем пойти в гости к Анаит, разговоритесь о ней с колхозниками,— и, подумавши, каждый по-своему скажет, чем она заслужила свою славу. «За многое уважают у нас Анаит,— говорит один, самый старый.— Хорошо знает землю, да не всего участка в целом, а каждого угла на своем участке. Нет того, чтоб удобрять всю землю одинаково или сажать рассаду где придется. Она знает, куда какой табак лучше посадить, куда какое удобрение лучше внести. И людей своей бригады тоже насквозь видит, умеет так поставить каждого, чтоб он мог развернуться. Ума от людей не спрячешь. Умного человека в работе все чувствуют, хватаются за него руками». Самый молодой замечает в Анаит другое. Он, густо краснея, вставляет в разговор свое слово: «Она не строгая, никогда не кричит, в движениях —

быстрая такая, а сама худенькая, маленькая, со всеми ласковая. В самую страдную пору забывает, что у нее есть очаг,— для нее существует только поле на свете. И сейчас — больная, бронхит у нее, а никак не удержишь в постели, все беспокоится о бригаде». И наконец берет слово средних лет колхозница. Та высказывается за всех женщин: «Много значит в колхозе молва. Про нее дурной молвы не услышите. Овдовела, мужа на войне убили, сердце отдала детям, сама трудится. Жизнь у нее чистая, как стеклышко».

Из всех этих отзывов встает незаурядный облик незаурядного советского организатора, умного, сильного, сердечного. И вот мы входим в открытые выбеленные сени деревенского дома. Куры, шурша, бегают по маленькому двору. Ветер метет и крутит осеннюю, отжившую, рыжую пыль. Не пахнет дымком, не встает над трубой голубая струйка. Анаит лежит в постели, больная, положив поверх одеяла горячую руку. Голова повязана по самые брови. А в чисто убранной и подметенной комнате, где стоит лишь самое необходимое,— видно, хозяйке нет времени заводить в ней уют и красоту,— ходит, хозяйствуя, пожилая соседка, пришедшая помочь Анаит по дому. И когда, широко раскрыв глаза от неожиданности, Анаит приподнимается нам навстречу и знакомый теплый материнский взгляд, только что глядевший на нас с Доски почета, встречается с нашими глазами, мы чувствуем, как тяжело ей, страстной труженице, лежать в бездействии, как тянет ее, словно птицу, вон из комнаты-клетки, в осеннюю свежесть улицы, в большой кабинет правления, в клуб, на собрание, к своей бригаде, своему коллективу, неразрывной частицей которого она себя так кровно, так жизненно сознает...

Долго, уже отъехав от Арени, вспоминаем в машине тихую беседу с этой новой армянской женщиной, так любимой в своем колхозе. Как будто ни о чем особенном не говорилось, но впечатление от большого и настоящего человека, живущего на земле правильной жизнью,— как впечатление от высокого, настоящего искусства: вы ощущаете всем, что есть глубокого и человечного в вашем собственном сердце, что перед

вами — норма, настоящая норма поведения и бытия,— норма, а вовсе не исключение и не частный случай. Таким должно быть все на нашей земле. И с особой, острою силой ощущаешь красоту мира вокруг, красоту природы.

Дорога, дорога,— красные скалы справа, черный Арпа, как гигантский добрый змей из египетского папируса[103],— слева. И всю дорогу — часами — музыка его быстрого бега, ласковое, непрерывное, негромкое урчанье воды, клекот водяного голоса, перекликающийся с клекотом мотора.

Вот сбоку мелькнул интересный полосатый камень, похожий на сидячий античный торс без рук и ног. Мы все ниже, ниже; мы как-то поворачиваемся от солнца, оказываемся в невыгодном неласковом положении от него,— и только сейчас остро чувствуешь особенность покинутого Айоц-дзора: он удобно лежит под солнцем, он как-то по-особому хорошо расположен, математически хорошо, под углом падения солнечных лучей.

Царственно всплывают на горизонте две сахарные головы Арарата. И вместе с мошкарой охватывает вас знойная духота долины. Машина спускается к станции Норашен в Нахичеванской АССР, на той самой железной дороге, которую мы покинули несколькими станциями раньше, в Минджевани.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ. МЕГРИ

Прежде чем продолжать путь машиной из Норашена в Ереван, неплохо опять вернуться в покинутый нами вагон и с хорошим соседом, человеком бывалым и рассказчиком, поездом проехать по земле Азербайджана — Нахичеванской АССР — до станции Мегри.

Люди пользуются тут железной дорогой лишь очень недавно. Раньше они двигались вдоль Аракса пешком или верхом. Ущелье Аракса тут очень узко, ветер неистов. Бывалый человек, знающий здешние места вдоль и поперек, еще помнит, что это значило — идти на ветру вниз или вверх по Араксу. Лошадь шаталась под седоком, всадник не мог протянуть вперед руку,— ее

отталкивала назад встречная волна воздуха; еще хранят в памяти старожилы, как один старик, попав под страшный порыв ветра, задохнулся и умер от разрыва сердца. Так ездили от Ордубада по течению Аракса до поворота в ущелье речки Мегринки, чтобы по этому более тихому ущелью подняться к армянской «Атлантиде» — культурному маленькому Мегри, центру Мегринского района Армении.

Сам район невелик: узкая полоска его выходит на железную дорогу сперва станцией Мегри, потом разъездом Мегри, потом деревней Карчеван, славящейся своим сладким карчеванским вином. Именно на этой недлинной полоске (около 40 километров) и лежит единственная граница Армении с Ираном. Чтобы попасть в Мегри, слезают не на станции, а на разъезде Мегри, у самого ущелья, откуда остается лишь несколько километров до самого центра. И без объяснений понимает путешественник, почему Мегри — «Атлантида». Крутые горы справа и слева, похожие на турьи рога, вылезающие из густой шерсти садов; чувство «края света», тупика, страшной сжатости, узости, оторванности от всего мира, словно вы в щель упали, откуда нет выхода к остальной территории республики. И в этой глухой, тесной, зажатой непроходимыми кручами щели вдруг возникает видение населенного места с учреждениями, домами, школами,— амфитеатром, крыша на крыше, стена над стеной,— словно утонувшего в горной расщелине. Поселок с населением, уже десятки лет не знающим неграмотных, с огромным процентом людей, получивших высшее образование, с родовой — из семьи в семью — интеллигенцией, город учительства, педагогики, общественной деятельности, с кооперативом, основанным еще в 1901 году,— в районе, полностью электрифицированном.

Когда, после Октябрьской революции, появился в 20-х годах первый проспект «Советской энциклопедии», одними из первых откликнулись мегринцы, подписавшись на девять комплектов; выписали они и педагогическую, техническую и всякие другие энциклопедии.

Войдите к мегринцу гостем в дом; вам покажется, что вы в квартире городского советского служащего,

имеющего после служебных часов свой ежедневный досуг. Чисто и изящно убрана комната; хозяева приоделись — встретить вас; на раскрытом пианино ноты — кто-то играл этюды; цветы в горшках политы — кто-то о них позаботился; рыжий котенок играет с клубком — кто-то вязал здесь, сидя у окошка, на тахте. Книжные полки живут, переплеты книг — старые, страницы перелистаны, отмечены закладкой. Смятый газетный лист, сложенный вдвое,— с очками в старинной оправе поверх него — сдвинут на угол стола. Кто-то читал тут, учился, размышлял...

Но поживите в этом доме день, два, три, и вы увидите, каким крестьянским, неутомимым трудом добывается этот досуг. Хозяин — с рассвета в колхозных садах. Хозяйка прилегла лишь к утру,— она выкармливает шелкопрядов. Орден на груди у нее — за высокую сдачу коконов. А это значит — каждые три часа пригонять на двор ослика, навьюченного зелеными ветками туты; каждые три часа, днем и ночью, подкладывать и подкладывать эти ветки прожорливым белым червям, заботливо поддерживать ровную температуру в комнате, входить в нее на цыпочках, медленно приоткрывая и закрывая дверь за собой, чтоб не беспокоить червей, не делать сквозняка.

Мегри с опозданием встречает солнце, встающее из-за отвесной стены скал, и рано прощается с солнцем, сразу после обеда ныряющим за эту стену. Бастионы развалин крепости, круглые, немые, глядят сверху вниз на мегринскую «Атлантиду». Семья садится за ужин, не спеша, вежливо и внимательно ведя застольную беседу с гостем. Так хорошо умеют мегринцы организовать свое время, уничтожая нездоровую спешку и «неуспеваемость» в быту!

В ДОЛИНЕ АРАРАТА

ПЕРВЫЕ КИЛОМЕТРЫ

В Норашене опять садимся в машину.

Круто изменяется облик земли. Горы отходят вам за спину и теряются где-то по правую сторону горизонта. Умолкает Аракс: черные его кольца, словно кольца гремучей змеи, пропадают в песках и скалах. Слева, осеняя стремительный путь ваш в долину, всплывают две сахарные головы Большого и Малого Арарата. Вы еще мчитесь по земле Нахичеванской АССР, мимо азербайджанской деревни Садарак, славной своими педагогами и своей средней школой, созданной руками колхозников. Но вот граница между Нахичеванской АССР и Арменией. Дорога поворачивает к самому сердцу республики, она идет по ее плодороднейшей земле — долине Арарата.

Осень, скудные краски пожелтевшей равнины: охра, киноварь, реже кармин; в отчетливой ясности лежат слоями до горизонта волнистые линии холмов, видные в своих трех измерениях, как в стереоскоп. Одинокие свечи деревьев, пирамидальный тополь, кудрявая зелень за глинобитной оградой, на углы которой, словно греясь на солнце и добавляя густоты к коричневому тону земли, надеты круглые, как головы, глиняные пустые горшки. Буйвол на дороге, сине-черный, с мокрыми ноздрями, мохнатый, уставил длинную морду, собираясь

взреветь. Стадо в облаке пыли, и старый пастух в папахе за ним, прямой и высокий, как тополь. А на небе таким же четким облачком, как эта пыль, стоят без движения облака, взбитые, белые; и в режущей синеве неба близкий — рукой подать,— открытый до пояса, величавый и невозможно прекрасный Арарат, видимый до каждой своей щелочки на склоне.

Так можно мчаться и час и два, не уставая глядеть, как на милого человека, на эту изначальную землю древних легенд, видя в ней только пластику, только сложившееся в веках выражение пустынного одиночества. Но впечатление обманчиво, жизнь вокруг вас кипит, бьет ключом. Осень, работы закончены, воды разобраны, виноградники стоят, закопанные серыми кучками земли, шум на полях и в садах умолк; трудодни свезены в амбары, семенной фонд засыпан. Казалось бы, отдыхом, покоем живет и земля и вода. А между тем вода в этих местах именно «бьет ключом», стучится из-под земли. Здесь, слева от вас, в сторону границы, знаменитая плодородная пустошь — Араздаянская степь, веками превращавшаяся подпочвенными водами в болото; повсюду, куда здесь глаза глядят, лежала сухая на вид, поросшая бурьяном, а фактически заболоченная грунтовыми водами почва — почва изумительного плодородия.

Помню, лет пятьдесят — сорок назад на вербных ярмарках в Москве продавали «волшебное японское деревце», то есть горшочек с землей, немногим больше наперстка. Туда нужно было капнуть воды, и на глазах у вас с легоньким шипеньем и плеском вдруг начинало подниматься из земли странное, бледное деревце, выраставшее полностью в час-два.

Почти таким же сказочным плодородием отличается вулканическая почва Араратской долины. Если дренировать изнемогающую от воды Араздаянскую степь, а страдающую от безводья долину по соседству с ней напоить досыта, то можно поднять здесь из земли богатейшую растительность.

И советская власть в Армении, из года в год осуществляя грандиозный план оросительных работ, строила и уже построила здесь целую систему каналов; в по-

военной пятилетке вошли в эксплуатацию каналы Ленинский, Араздаянский, имени Сталина, Нижне-Разданский, все более или менее связанные с Араратской долиной. Об Араздаянской степи в Законе о послевоенной пятилетке было сказано: «Осуществить работы по орошению Араздаянской степи». И работы по мелиорации тотчас развернулись на полный ход, степь покрылась палатками и дымками костров, целая армия рабочих меняла здесь водный режим земли; республика получила за пятилетку на одном только этом участке до 25 тысяч гектаров поливной земли. Народ наш — творец; неиссякаем источник его творчества, и трудно предвидеть заранее, каким неожиданным новшеством обогатят землю советские люди. Новая система орошения, переменными бороздами, не была предвидена пятилетним планом. А вклад ее в культуру сельского хозяйства уже налицо во всем Советском Союзе.

В старинной армянской сказке о дочери пастуха Анаит поется:

Все наполнились амбары благодатными хлебами.
Честь и слава нашей мудрой златорукой Анаит [104].

Это было сказочным видением фантастического будущего. Но по завершении пятилетки зерновые культуры уже заняли в Армении многим более 300 тысяч гектаров посевной площади, а урожайность резко повысилась,— и недолго ждать времени, когда амбары колхозников переполнятся золотистыми хлебами. Советская власть и золотые руки народа сделают сказку явью.

ЦЕМЕНТ

Справа надвинулись мрачноватые давалийские высоты. Синим кристаллом встал в небе одинокий конус странной Змеиной горы. Шоссе пересекает железнодорожную линию у маленькой станции Арарат. Неподалеку от нее очень важный для Армении, непрерывно разрастающийся и расширяющий свое производство цементный завод.

Все еще преобладает краска пустыни — охра. Богатые карьеры известняка, рыхлого, сухого камня, идущего на цемент, похожи цветом на серо-желтый пепел. Облачко серой, тяжелой пудры встает над ними вместе с гулким отзвуком взрыва,— там бурят перфораторами, подкладывают взрывчатку, и она отваливает огромные глыбы известняка, а потом взрывают и эти глыбы и еще более мельчат руду, доводя ее, как говорят производственники, до нужного габарита.

Нельзя, побывав в Армении, не посетить цементного завода,— для республики, богатой известняками и туфами и ведущей огромное строительство, это одно из важнейших производств. Оно имеет в Армении многовековую традицию. Цемент и бетон, дитя нашего века, были известны армянам тысячелетие (и больше!) назад; лучшие памятники армянского зодчества были образцами древнего «литья». В развалинах можно и сейчас отлично это увидеть: отлетела облицовочная плитка от великолепной гладкой стены с ее необыкновенно плотно уложенными, словно сросшимися друг с другом плитами, а под ней обнажился окаменевший цемент, крепчайший раствор, где различаешь глазами куски битого щебня. Искусство литья в армянском зодчестве было так высоко и так оригинально, что о нем написал профессор Стржиговский в своей книге как о «предвосхищении» армянами за целые тысячелетия строительных принципов нашего века.

Обойти завод можно в полчаса, не забираясь для этого в цехи и не теряя из виду белых голов Арарата. Что происходит на заводе с пухлым, рыхлым, сухим известняком, таким рассыпчатым и бессильным с виду камнем? Он получает таинственную внутреннюю силу — способность схватывания.

Заводские операции по производству цемента кажутся такими обыкновенными. Летят вниз по бремсбергу ковши с разбитым до нужного размера известняком; этот известняк опрокидывается в дробилку, где его измельчают еще больше. Потом элеватор из дробилки подает измельченную известь на шаровые мельницы, где круглыми шарами она прокатывается, давится, мелется до мельчайшего помола, выходя из них уже «шламом».

Но дальше дело сложнее. Дальше этот шлам начинает оживать, обретать тайну схватывания в длинной, узкой (длина — 85 метров!) печи, поделенной на четыре зоны: подсушки, кальцинирования, спекания и охлаждения.

Невольно припоминаются тоже простые, тоже обыкновенные на вид операции, с продуктами совсем другого, живого, растительного мира — с табаком, с чаем: обработка простого табачного листа, концентрирующая в нем никотин, таинственное действие покоя, тепла и влаги, паровая, спокойная ванна, в которой зеленые листки чая темнеют, получая свое качество — «теин». И там и тут очень большую роль в простейших операциях играет само материальное течение времени, кажущаяся пауза, покой...

Из печи известь выходит в виде клинкера. Впрочем, теперь она уже не известняк, она — цемент. Клинкер проверяют тут же рядом в лаборатории на выдержку, на разрыв. Потом он дробится в порошок. А уже цементный порошок и есть та могучая, готовая ожить и скрепиться (под действием воды) сила, которую употребляют как крепящее, схватывающее, связывающее вещество на стройках.

Посмотрев в лаборатории, как много значит для лучшей марки цемента правильное соотношение в клинкере глины и песку и какую роль играет добавка пемзы, мы снова идем, уже ради прогулки, на карьеры новыми глазами взглянуть на невзрачную известковую руду. Но что это? На серой, пыльной стене золотистое сияние. Сидит,— чешуйкой ежа,— круглая великолепная друза, семейство больших плотных кристаллов, тонкими острыми вниз, широкою кроной вверх, словно букет прозрачно-желтых цветов, связанный вместе у стебелька. Это кальциты, и это прекраснейшие минералы для вашей коллекции, если вы потрудитесь отломить их от породы, не повредив друзы. Не так-то, оказывается, безобразно то материнское лоно, из которого создается силач с даром схватывания — нужнейший в строительстве материал — цемент.

Почти каждый завод в республике тесно связан с тем или иным научным институтом, и сейчас уже нель-

зя говорить об одном производстве, не упоминая о работах, проведенных учеными. Цементный завод в республике — один из старейших. Традиции выработки цемента и бетона, как я уже писала, восходят к древнейшему времени. А между тем здесь ведется новаторская работа, связанная с особыми свойствами армянского сырья — глины, песка, пемзы. Обычно на бетон употребляют тяжелый и плотный песок, делающий его тоже тяжелым и плотным. На сооружения, рассчитанные жить века и нести большие тяжести — скажем, фундаменты под плотины, бетонирование подводных площадей и т. д.,— всегда употреблялись только тяжелые бетоны. Но армянский бетон, когда он создается на легком и пористом армянском сырье (некоторые сорта глины и песка), получается тоже легким и пористым. И один из научных институтов Армении (Институт стройматериалов и сооружений Академии наук Армянской ССР) провел над этим бетоном огромную работу, о которой никак нельзя не вспомнить при посещении цементного завода. «Легкий бетон» и «легкий железобетон» (из пористых вулканических пород), разработанный научными сотрудниками института (Р. С. Акопяном, М. З. Симоновым, З. А. Ацагорцяном, В. М. Худавердяном и А. А. Аракеляном), вошел сейчас не только в обычные строительства, но и с успехом стал заменять тяжелые бетоны, ничуть не уступая им по прочности и водонепроницаемости. Пористое и легкое бетонное ложе под водой,— ведь это целая революция в гидротехнике! Ведь это огромное удешевление и технологическое облегчение! И проверенное здесь, в республике, оно может широко войти в строительный обиход всего нашего Союза, там, где условия с сырьем такие же.

Рядом с цементным заводом еще четыре года назад не было ничего, а сейчас вырос черепичный завод. И тут много помог институт. Не сразу добились производственники хорошей черепицы на Ереванском кирпично-черепичном заводе; несколько лет они выпускали до 60 процентов брака. Выработка новой, особой шихты (смеси сырьевых материалов) и нового технологического процесса, положивших конец браку и имевших большое значение для молодого черепичного завода, выросшего

возле цементного,— это заслуга того же Института стройматериалов и сооружений...

Уже к вечеру кончаем беседу с рабочими и двигаемся дальше, к Еревану.

Проезжаем большое, богатое село Арарат, с каменными домами, с широкою улицей. Много жителей села в эту четверть века потянулось в город, в университет, получило высшее образование. Был отсюда родом известный казанский профессор Егиазаров, на чью книгу о городских цехах и сельской общине в Закавказье я ссылалась выше.

Ушли облака с Арарата. В зеленом вечернем небе стоит он во всей теплой ясности своего чистого, близкого, белоснежного профиля. Загораются и первые звездочки. Отложив отъезд на утро, ищем ночлега в радушной семье начальника почтового отделения, в просторной комнате с тахтами, за стеною которой почта. И машина уходит ночевать под навес, где когда-то, впрочем, не так уж и давно,— лет тридцать — сорок назад,— приезжавшие «на почтовых» требовали свежих коней и ругались с ямщиками.

КОЛХОЗ У ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ

Ранним утром дорога лежит свежая и темная от влажной испарины ночи. От села Арарат (бывшего Давалу) до села Арташат (бывшего Камарлю) — гладкое, почти ровное шоссе между сплошными садами. Проезжая весной, чувствуешь жизнь воды в этих местах, но сейчас осень — вода, как и змеи, ушла в землю: отработала свое — и отдыхает. Молчат канавки, шлюзы над ними приподняты, рыжее глинистое дно затвердело, трава по краям желтая, сухая. Над полями тот особый запах — запах снятого хлеба, отслужившей соломы, нового рождающегося перегноя, каким полной грудью дышишь осенью. За линией садов — черные полосы зяби, аккуратные, чистые, как бархат.

Мы едем по самым богатым районам республики, с отлично обработанными пашнями и благоустроенными деревнями. На каждом шагу — новые здания, новые

поселки, которых еще не было два года, год назад. А в то же время эти передовые районы — они и самые древние в Армении.

Именно здесь был когда-то центр ее жизни. Сохранились развалины Двина, старой столицы, построенной в конце III — начале IV века, вышедшей на историческую сцену во второй половине V века и просуществовавшей до первой половины XIII, то есть восемьсот с лишним лет нашей эры. Больше того, к югу отсюда, там, где возвышается холм Хор-Вираб, неподалеку от Двина, живет в памяти народа самая древняя столица Армении — Арташат, основанная за пятьсот лет до Двина, еще во II веке до нашей эры. Это уже глубины истории, неотделимые от легенды. Арташат, именем которой назван сейчас Камарлю, не оставила после себя развалин,— камни ее были растасканы еще при постройке Двина. Но имя ее лепится, как упрямый погорелец, к родному месту, к холму, где, по древним источникам, на самом берегу Аракса находился когда-то город. Аракс с веками переменил русло, он ушел от обеих столиц. А под бывшими стенами Двина, где разбросаны сейчас следы больших произведенных тут археологических раскопок, живет и здравствует богатейший колхоз Армении, колхоз-миллионер.

В 1946 году, по длинной улице,—мимо каменных домов с неизменными садиками с густым старым грецким орехом, с шумящим арыком, вырывающимся из-под каменной ограды, чтоб, пробежав вдоль улицы, мышью нырнуть в щелку другого сада, мимо местного винного завода, изготовляющего армянский рубиновый кагор «Айгешат»,— въезжала я в село и видела, что оно как город: все в лихорадке ремонта. Улицы разворочены, шла побелка заборов и стен, достраивалась баня. В сельсовете кто-то трудился, скрипя пером по бумаге,— писал «проект благоустройства» [105]. В тот год для всего Арташатского района эта забота о перепланировке сел, о постройке общественных зданий, об окраске и побелке заборов, об улучшении дорог, о разбивке своего парка культуры и отдыха, с зелеными насаждениями, об устройстве собственного, для нужд села, кирпичного завода, чтобы раз и навсегда покончить с глиной и

рцом,— эта забота была не случайна. По решению ЦК Коммунистической партии Армении Арташатский район должен был стать образцовым для всей республики. Архитекторы и художники трудились над его обликом. Четверть века назад, отступая перед Красной Армией к иранской границе, здесь уходили дашнаки и на пути своем всё жгли и уничтожали. Путь от старого Камарлю до Давалу был грудой пепла. Жалкий сырец — необожженные кубики из глины, шедшие тут издавна на постройку домов и оград,— рассыпался прахом. Курилась земля от пожаров; не осталось ни жилья, ни деревца; люди, вернувшиеся на пепелища, ютились в земляных ямах, в палатках. Прошли годы, и здесь выросли новые, нарядные поселки. Их начали перестраивать до войны, их продолжали строить после войны. Крестьянский дом по типовому проекту имеет два этажа, с балконами на улицу и на двор.

Так мало времени протекло с 1946 года — и вот уже не только осуществилось это решение, но и много принципиально нового вошло в самые проекты благоустройства района. Укрупнение колхозов потребовало перепланировки старых сел, постройки новых домов. Архитекторы стали работать над архитектурными комплексами,— новыми большими поселками с центральною площадью, с парками культуры и отдыха, с новыми улицами; освоены были новые строительные материалы, новая техника самого строительства; мощно шагнула вперед электрификация. И уже прежние проекты, рассчитанные на ремонт, побелку, очистку, отступают в деревне перед проектами капитального строительства.

В один из новых домов Арташата — первый попавшийся — зашли мы в 1946 году, к величайшей радости хозяйского сына. Мальчик зашлепал босыми ногами вверх по лестнице, криком возвещая появление гостей. Штанишки, надетые на голое тело, сползали с его круглого, сытого животика. Отец — высокий, с военной выправкой, во френче — спустился нам навстречу. У колхозника был интеллигентный и скорей городской, нежели деревенский вид. И это тоже не случайность. 14 октября 1938 года в «Правде» появилась статья «Интеллигенция одного колхоза». Это о колхозе «Арташат»

рассказывала статья. Двадцать лет назад здесь было только десять хозяйств,— их стало четыреста. Колхоз начал получать доход около 5 миллионов рублей в год. Здесь не знали грамоты,— и вот колхозники сами выступают в своем клубе с лекциями и докладами. Красные полотнища на отдельных домах указывали, где клуб и кино, библиотека, две средние школы, детский сад, ясли [106]. А когда возникают культурные учреждения на селе,— это значит растет своя колхозная интеллигенция. Из местного населения вышло семь своих врачей, один работал в частях Советской Армии. Военные сводки о Смоленском направлении читались тут с особым вниманием,— на Смоленском находился знатный земляк, полковник, командир дивизии Карапет Ахназарян. Но даже и не в этом, не в начитанности, не в большом проценте получивших высшее образование была причина высокой культуры, отличавшей колхоз «Арташат». Поговоришь отдельно с хозяйкой, с дочерью, поговоришь за столом с мужчинами,— и увидишь, что они научились мыслить об интересах не только одного своего колхоза. Они непрерывно думают о завтрашнем дне всей республики. Государственной широтой и смелыми планами на будущее полны их замыслы.

Недалеко отсюда много веков назад находились две древнейшие столицы, где когда-то, по словам историков, кипела культурная жизнь, простираясь не только на всю Армению, но и за пределами ее, откликаясь в Иране, в Ираке, в Прикаспии, на Волге (Итиле), у хазар, у славян,— советские ученые ведут раскопки на месте одной из этих столиц — Двина. На наш вопрос хозяин начал рассказывать, как очевидец, о проводившихся тут работах, на которые стекалась деревня и куда она выделяла своих рабочих. Сюда в конце 30-х годов пришла экспедиция Академии наук Армянской ССР во главе с И. А. Орбели. Хозяин предложил проводить нас на раскопки. Идти нужно было далко за деревню, несколько километров, все поднимаясь и поднимаясь на открытую холмистую возвышенность.

По мере выхода из деревни и подъема вы ощущаете смену климата и воздуха. Остаются позади деревенские звуки и запахи,— последняя собака отлаяла, последний

скрип воза, треск грузовиков потонули в воздухе, растаял дымок, а с ним вместе исчез горячий запах хлеба. Все пустыннее и холоднее вокруг. Живительная прохлада высот, необъятные просторы — словно гигантская чаша, по краям которой, едва видимые, синеют далекие горы, с двух сторон осененные обеими снежными вершинами, Араратом и Арагацем. Показались первые плиты развалин, земля тут в яминах, в провалах раскопок; словно кладбище, развернулось перед глазами море лежащих и стоячих плит. Все, имевшее художественную и историческую ценность, вывезено отсюда в музеи, но остался скелет большого культурного центра, с намеками на красоту и пластику его зданий, с частями колонн, обрывками каменного орнамента, пьедесталами из отшлифованного гранита для колонн, капителью с закрученными справа и слева завитками в виде не то ивовых ветвей, не то пальм, с прямоугольниками глубоких фундаментов, с остатками лестниц и с великим множеством глиняных и глазированных черепков, покрывающих землю. Как всегда между развалин, и здесь пробился скромный сухой вереск, качаются стебли высохшей мяты, истоптан серый от пыли чебрец. Повевает ветерком руин, похожим на колыбельную песню веков[107].

Две с лишним тысячи лет назад здесь проходили бесчисленные караваны, потому что, по словам историка, «через эту равнину и именно мимо Арташата пролегал магистральный путь транзитной торговли, шедший из Средней Азии и Китая к черноморским портам»[108].

Отсюда когда-то широкая дорога — внутренний путь Армении для войска, для царей и родичей их — шла в Гарни, названный летописцем «сильной крепостью». И было бы хорошо для туристов делать паломничество в Гарни не из Еревана, как это принято сейчас, а именнно отсюда, по течению реки Азат, и, быть может, даже не на машине и не на лошади, а вот так, пешком, с картой древней Армении в мыслях, под ласковым ветром, еще не успевшим набраться холоду. Медленно спускаясь с холма к воображаемым Гарнийским воротам, где они были в древности, по изъеденным плитам домов, когда-то полных шума и жизни, смещая

время, дыша ароматом вереска, углубляясь в века, помогая себе страницами романа Мурацана [109], полными поэзии, идти и идти к древнейшим развалинам Армении в местечке Верхний Гарни... [110]

Но мы с читателем не пойдем сейчас этой дорогой. Представим себе, что мы взобрались на самую высокую точку в этом высоком ущелье и, прежде чем двинуться дальше, обнимаем взглядом кусок Араратской долины, остающийся нам до Еревана. Видно сверху, как он оплетен дорогами, новыми и старыми. Не путайте дорог с каналами! Их здесь немало. Не путайте каналов с реками! Их тоже немало. Усевшись на мшистый камень, с хорошим окуляром в руках, разберитесь в этой живой, зелено-коричневой карте, расстилающейся внизу на все четыре стороны.

Вот с запада бежит магистраль железной дороги к станции Арарат и, делая поворот, ответвляется в Ереван, продолжая свой путь на юго-восток.

Вот линии главных каналов — голубые, четкие искусственно извилистые, берущие свою воду от большой реки Раздан (по-старому Занги): канал Юго-восточные Киры, идущий до села Арарат; канал Северо-западные Киры, идущий к Аштараку, и новый Эчмиадзинский канал, идущий на Эчмиадзин. Линии рек отличаются от рисунка этих каналов,— они гораздо извилистей, и движение их по руслу произвольней. Огибая с севера западную часть Еревана красивым полукругом, протекает голубая, искристая, порожистая Раздан, впадая к югу от Еревана в Аракс. Тоже с севера, но входя в самый город и пересекая его, строится шумный маленький Гетар. И, наконец,— дороги, целая сеть желтых змеек, расходящихся от Еревана по многим направлениям.

Свернув с Арташатской, покинутой нами дороги, можно заехать на мраморные карьеры. Как не повидать армянского мраморовидного оникса, отложения угасших минеральных источников, с теплым блеском которого встречался москвич в метро на станции «Киевская»! В песках и на песчаных холмах — желтоватое озерко без имени, но не без роду; много таких озер, словно лужиц, на Араратской равнине; они пробивают-

ся снизу, из родников, и говорят о большой жизни внутри земли,— о движении подпочвенных вод, добываемых сейчас бурением.

По всей равнине в последние годы забили артезианские скважины. У желтого озерка — возле самого берега пульсирует родничок, словно рыба играет в воде. Растительности никакой, а стоят каменные карьеры, валяются куски мрамора («аррагонита») разного размера, и некоторые словно повторяют вам карту Армении — желтовато-песочные, розовые, дымчато-белые с голубыми вьющимися прожилками,— не столько мраморы, сколько агаты. Между ними похожие на канифоль золотистые куски полевого шпата. Покопавшись, можно найти замечательные куски для коллекций. И тут опять невольно вспоминаешь Институт стройматериалов,— на этот раз одного из популярных ученых в Армении, профессора М. В. Касьяна. В Армении — неисчерпаемые залежи поделочных камней; но каторжным был труд камнетеса и камнереза. Под руководством М. В. Касьяна были изучены режимы фрезерования камней, разработаны формы резцов,— и вот уже армянские мраморы и туфы режут специальные камнефрезерные станки, создан новый — универсальный — станок, способный справиться с твердыми породами. Одинокий тяжелый ручной труд заменяется машиной...

Дальше, за мраморными карьерами — новый, красивый район имени Шаумяна. Сады и россыпь нарядных домиков. Их не назовешь ни деревней, ни окраиной города: от города они далеко, от деревни их отделяет неуловимо городской облик жителей, отделяют большие корпуса фабрик; в одном поселке фабрика шелка, в другом — трикотажная, в третьем — часовая. Кажется, через десятки лет эти новые поселки или образуют новые кварталы-сады вокруг растущего Еревана, или сами превратятся в промышленные сады-города.

Ниже под этими поселкамн — два крупных центра промышленности. На горизонте — красивая мощная гидростанция Канакергэс, от которой бежит мощный питательный ток. Скоро он усилится во много раз, переводя сюда, к сердцу Армении, сгусток энергии Севана, голубой концентрат севанской крови.

Подальше, в черных силуэтах заводских корпусов и труб, раскинулся давно действующий завод имени Кирова, знаменитый в Армении СК, то есть завод, где производится синтетический каучук и изготовляются из него резиновые изделия. Он так разросся, что живет своею отдельной жизнью, своей экономикой и культурой: тут и театр, и школа, и парк, и больница, и развлечения, и труд, и учеба — все свое. Только самый предмет, синтетический каучук, напоминает о том, что здесь, под Ереваном, используются ископаемые богатства всей республики и сюда по трубам бежит вода из далеких родников.

Завод СК существует в Армении около двух десятков лет; свое поколение рабочих выросло здесь. За время Отечественной войны некоторые заводы искусственного каучука перестали работать. И ереванский СК стал снабжать фронт своим каучуком,— так показала себя на деле великая сила социалистической экономики, создавшей в каждой советской республике свою тяжелую промышленность.

Производство каучука в Армении растет, ассортимент производимого все увеличивается. Но и этого мало. Новые плановые задания требуют от завода еще более синтетического каучука, еще больше тысяч автопокрышек — во много раз больше, чем дал завод в первой послевоенной пятилетке...

Глубоко в котловине, окруженной холмами и волнистой линией гор, на горизонте предстает, наконец, перед нами и самый город, когда-то желтый от глины и кирпича-сырца, а сейчас — видение из туфа, мрамора и асфальта, со скверами, монументами, парками, цветниками, фонтанами,— один из прекрасных и благоустроенных городов, созданных советскою властью в нашем Союзе.

ЕРЕВАН

ГОРОД С БАЛКОНА

В этот осенний час, шесть тридцать утра, должно быть особо темно, густо темно,— ведь мы вступаем в наших широтах в царство длинной зимы. Но квадрат окна передо мной светится странным серебряным светом. За ним лежит город,— в дыму прозрачного, торжественного сияния большой луны, стоящей в утреннем небе, как громадная звезда, а небо уже посветлело, розовеет над горизонтом, и в его розовой дали встают белые, покрытые снегом склоны Арагаца.

В этот двойной час — соперничества ночи и утра — Ереван [111] прекрасен непередаваемой красотой. С двух сторон замыкают его двуглавое седло Арарата и четырехглавие Арагаца. Казалось бы, в бессмертии того, что сделано природой, таким маленьким и ничтожным должно казаться то, что сделано человеком, а между тем именно эти великаны на горизонте, эта совершенная прозрачность воздуха, чистота света, усиливающегося с каждой минутой, и помогают понять всю полноту и все величие архитектурного стиля Еревана, одного из наиболее органичных по стилю городов в нашем Союзе.

Тридцать лет назад его еще не было вовсе. На месте его был совсем другой, пыльный губернский городишко, с немногими крупными домами казенного образца,

какие тогда воздвигались для «казенных присутствий» во всех углах России, независимо ни от характера, ни от истории, ни от географии местности. За главной улицей вставала неописуемая теснота переулков, целое сборище плоскоголовых, однообразных домиков, часто из необожженного сырца, грозившего рассыпаться через десяток-другой лет. На уличках было тесно и грязно. Никто их не подметал. Каждый день с четырех часов пополудни поднимался горно-долинный северный ветер — бриз; он дул с обнаженных песчаных склонов Канакерских гор. И начиналось то, что ереванцы называли «пыльной бурей». С гор неслась тучами мелкая, щебнистая, колючая пыль; с улиц столбом поднималась пыль своя, городская, полная мусора, бумажонок, нечистот. И все это крутилось, плясало в воздухе, забивало вам глаза и рот, хрустело на зубах.

Самое странное движение происходило порой по этим улицам. Ночью спали на ней какие-то животные, похожие на груду серых мешков. Утром они оживали, темные тени людей укрепляли им на спины деревянные домики, и животные вставали, отряхивались. Через минуту по улице проходил караван; он шел из араратских низин через весь город вверх, к Канакеру. Верблюд за верблюдом накладывали шлепающей походкой плоские следы на пыльную землю. От одного к другому была протянута веревка. Покачивая длинной шеей, верблюд приводил в движение грубые и странные колокольца, подвешенные к кадыку,— заунывная музыка странствующих. Это пчелы-путешественницы перебирались через весь город по главной улице «на дачу»: с июня, когда жара в деревнях под Ереваном становилась труднопереносимой, пчеловоды грузили свои улья на верблюдов и отправляли их в горы по единственному шоссе.

Пыли и ветрам в старом Ереване были открыты все четыре стороны: они гуляли в городе невозбранно [112]. Но только одно настоящее шоссе вело в город (из Араратской долины) и выводило из него (в сторону Севана): Ереван был классическим городом бездорожья.

Природа, казалось бы, собрала все свои контрасты, создавая этот город. Летом жара в нем доходит до 40 градусов, зимою морозы — до 20 градусов. По средне-

годовой температуре он подобен городам Севастополю, Балтиморе, Плимуту, Лондону, Парижу, Турину; по средней температуре лета — Алжиру, Барселоне, Флориде; а по средней температуре зимы — Ленинграду, Новгороду, Хельсинки. Но в старом Ереване эти контрасты не умерялись ни наукой, ни благоустройством, не использовались ни медициной, ни искусством. К началу нашего века в нем было немногим больше двух десятков тысяч жителей.

Гордостью города в начале века была прекрасная вода, проведенная из «сорока родников» Кырх-булага, истоков реки Гетар. Но воды в старом Ереване видно не было. Вдоль улиц текли, правда, арыки, но они были грязны и засорены; стояли железные краны, но они были безобразны. Вокруг них никогда не просыхали лужи, толпились женщины с ведрами и чайниками.

Так, открытый для пыли и закрытый бездорожьем для человека, с чудесной водой, обезображенный городским неблагоустройством, с контрастами климата и природы, с красотами местоположения и старины, не использованными ни в сечении улиц, ни в плане; с прелестной рекой Зангой-Раздан, видимой жителю лишь в грязном крутом ущелье под стенами коньячного завода, незастроенном, как загородная свалка,— вот чем был старый Ереван около тридцати лет назад.

А сейчас... Выйдем на высокий балкон, не боясь колючего утреннего холодка. Рассвет уже перешел в яркий день, и в его сияющей голубизне город встает с четкостью хорошей цветной гравюры.

Прежде всего — горы. Они не голы и не песчаны, а покрыты черными точками деревьев. Тысячами, из года в год, высаживали после революции сюда, на эти пустыри, всевозможные саженцы, приспособленные к местному климату. Они крепко внедрились корнями в почву, укрепили ее, покрыли зеленой шапкой,— и канакерскому ветру нечего больше сдувать с этих гор на город. Но и в городе ему нечего сдувать с улиц и крутить в воздухе: блестящий, как зеркало, потемневший от непрерывного действия автомобильных шин асфальт покрыл новые, широкие, идущие во все стороны проспекты Еревана. Сколько их выходит сейчас из города вверх, в

волнистые ущелья гор, и вниз в нескончаемые сады — равнины! Они бегут, извиваясь асфальтом, мимо новых цветущих поселков. Домики тут нарядные, крыши их двускатные, крытые красной черепицей. Там и сям встают широкие стены клуба, или школы, или фабрики.

Вернемся отсюда обратно в город и проследим другую темную ленту проспекта, бегущую в противоположную сторону. Здесь журчит вдоль асфальта Гетар Еще недавно сюда ходили гулять «за город»,— кроме старой каменоломни да заводика строительного щебня тут ничем городским не веяло. А сейчас город двинулся вверх и по берегам Гетара, наряжающегося в каменные набережные. Здесь расположен один из интереснейших институтов Академии наук, Институт стройматериалов и сооружений, и отдельные лаборатории его требуют себе все больше и больше места.

Поедешь по ущелью дальше — и попадешь в тенистые аллеи богатейшего зоопарка. Здесь во время эвакуации побывали звери из Московского зоологического сада: слон Вова, обученный всяким фокусам, и чудесный белый какаду Валя, болтавший целыми фразами и даже отвечавший нам на вопросы впопад и невпопад. Еще два-три узла дороги — и встают пышные брызги водяного каскада в разбитом на склоне горы многокилометровом ботаническом саду. Ереванский ботанический сад еще очень молод, и в зоне полупустыни трудно было сделать его многообразным. И все же много потрудился над ним дендролог проф. Г. Д. Ярошенко. В саду есть образцы интересных реликтов, прекрасный розариум, сосновый парк.

Вернемся и опять проследим ниточки выводящих из города дорог: и ту, ровную, обсаженную деревьями, которая ведет к вокзалу; и ту, что, не спускаясь к реке, взлетает на новый, грандиозный мост, соединяющий на огромной высоте два берега Занги на уровне города; и ту, которая идет вверх, слегка и незаметно повышаясь. Куда она ведет?

Только десять лет назад я ехала тут в самом примитивном экипаже человечества — в крестьянской арбе, везомой быками, потому что иным способом проехать

по этой дороге было нельзя. Ехали долго, шажком, пока внизу одинокой лужицей между вытоптанной стадами травой не блеснуло озерко-пруд Тахмаган-лич,— никому тут не нужное, затерянное, заросшее, без единого жилья вокруг. А сейчас сюда идет трамвай: он идет по блестящему асфальту широкого проспекта Орджоникидзе, обстроенного огромными домами, парками, общественными зданиями, самого городского, самого крупного проспекта в городе. Есть одна особенность в этом новом замечательном ереванском районе, присущая лишь тем кварталам, которые строятся сразу и комплексно. Одиннадцать заводов и несколько промышленных предприятий находятся на этом проспекте, выходя прямо к тротуару своими фасадами. Среди этих заводов есть большие, общесоюзного значения, с собственными лабораториями, с цехами, похожими на гигантские светлые залы. Но заводской характер района, его ярко выраженный промышленный профиль не накладывают никакой печати на облик проспекта, не утесняют его, не обволакивают дымом и копотью,— словом, ничем не напоминают старые заводские районы. Наоборот, огромный парк, целое море зелени, прекрасная архитектура общественных построек, блеск и ширина асфальта делают проспект Орджоникидзе одним из красивейших мест в городе. Он развивается все дальше, он идет к новой застроенной территории, скаковому ипподрому, городку сельскохозяйственной выставки, и одинокое озеро, оказывается, уже впаяно в его черту. Где оно? В красивом Комсомольском парке, построенном для молодежи, среди густых деревьев. На берегу озера лодочная станция, трамплин для купальщиков, вышка для парашютистов, пляж. И само озеро получило новое название — Комсомольское.

Так победили строители Еревана две главные его беды: бездорожье и пыль.

В старом, маленьком Ереване всегда было тесно, и городу, казалось, совершенно некуда развиваться. Но сейчас в новом, большом столичном городе Ереване появилось очень много пространства, его проспекты широки, как в лучших мировых центрах, его площади обширны, а в то же время открылись и новые возможности

для его дальнейшего роста,— и по Гетару, берега которого укрепляются, получают красивые набережные, и к Арабкнру, по широкой улице Баграмяна, той самой улице, о которой поэт Ашот Граши так хорошо сказал в своем недавно вышедшем сборнике стихов:

Улица Баграмяна...
Становятся жизнью планы.
Ты слышишь пилы строителей?
Как скрипки,
Они поют,
На улице командира
Звучит мелодия мира.
По улице генерала
В спецовке шагает Труд.

Улица Баграмяна...
Сквозь ветры и ураганы
Недаром знамя Победы
Пронес наш советский народ.
Деревья
Колышет ветер.
Мир просыпается светел.
Шуми наша славная улица.
Твое направленье — вперед!

Развивается город и далеко на юг, за станцию железной дороги... Зайдите в архитектурные мастерские городского Совета,— вам покажут проекты целых новых кварталов будущего города: комплекс домов Академии наук, комплекс благоустроенных жилых домов, комплекс одноэтажных вилл городка для работников искусств и литературы.

Ереван стал городом зелени. Не забудем, что географически здесь так называемая «зона пустыни». Посадить дерево — нетрудно; вырастить и сохранить его здесь — трудно. За несколько лет в Ереване посадили и сохранили немало скверов, деревьев, бульваров. Зелень обрамляет со всех сторон здание Театра оперы и балета. Выхоленные бордюры зелени оттеняют розовый туф Дома правительства. Зеленым бархатом окружено новое здание ЦК Коммунистической партии Армении. Новые парки отдыха и культуры окутывают Ереван с четырех сторон. Густой лес молодых деревьев поднимается вме-

ле с шоссе на канакерские склоны. И в полный свой голос заговорила в Ереване вода.

Вдоль улиц красивые каменные раковины держат в своей глубине серебряную, день и ночь прядающую струйку живительной питьевой воды. Серебряным веером встают брызги двух фонтанов возле памятника Шаумяну. А красавица Занга вошла в самый город, или, вернее, центр города вышел к ней. Раньше надо было пройти 7 километров, чтобы добраться до красивого базальтового ущелья реки, а сейчас из центра, через подземный туннель-автостраду, вы в пятнадцать — двадцать минут выходите на прогулку прямо в это ущелье. Вам навстречу поет голубая река, несущая свои воды из Севанского озера. Берега ее одеты густым кружевом садов. Прекрасны эти сады в окраске осени: яркая желтизна ив, кроваво-красный цвет груши, коричневая ржавчина дуба. Тонко свистит гудок, бежит из ущелья паровозик,— это действует детская железная дорога, построенная здесь Ереванским дворцом пионеров; бегут вагончики, полные детворы, и гомон реки сливается со счастливым гомоном десятков детских голосов.

Новая Армения строилась почти тридцать лет. Но в послевоенной пятилетке строительство Еревана стало поистине грандиозным [113]. Армянские газеты в середине 40-х годов были полны «видениями Еревана» конца текущей пятилетки. Но, как и всегда у нас, действительность ярко превзошла все самые смелые мечты и планы.

Вместо воображаемого «города будущего» посмотрим сейчас на самый город, каким он стал трудом и волею большевиков за истекшие три десятилетия. В Шехерезаде дух, вышедший из бутылки, скованной печатью Соломона, строит из ничего в одну ночь, по приказу героя, волшебный город. Но вот это возникло без волшебства, хотя оно и прекраснее и богаче любого волшебства. Его создали не из кирпича, а из местного камня — строительного туфа всех цветов и оттенков. Благородный натуральный камень диктовал советским архитекторам и благородные архитектурные формы, органически связанные с классикой родного зодчества. Целая галерея больших общественных зданий, аллеи

жилых домов, и ни один не похож на другой, но нет между ними и безвкусного противоречия: широкие камни фундамента, полуарки и полуколонны фасада, причудливые башенки наверху, красивые линии балконов, высокие открытые пролеты дворов с неожиданным видом на панораму города, на Арарат,— единство стиля, но без всяких декоративных излишеств. Это единство подчеркивается еще резче одинаковым размером каменных плит, идущих на постройку домов.

Два здания особенно хороши. Их ясная, продуманная красота как бы дает ключ к пониманию общего стиля города. Это Дом правительства из розового артикского туфа и Театр оперы и балета; оба — народного архитектора Армении, покойного академика А. И. Таманяна [114]. Он первый поднял голос за необходимость использования богатого древнего зодчества Армении как собственной классической традиции. Но все подлинно национальное, дорастающее до государственного значения, государственной высоты, основано не на одном умении использовать свою местную традицию, а и на творческом сочетании национальных форм с законами исторического развития общества. Академик Таманян был универсально образованным и культурным человеком. Он не просто возродил армянскую национальную архитектуру, а сумел сочетать художественные каноны классики с насущными требованиями великой советской эпохи, с высокой значимостью для народа общественных зданий. Именно это открыло перед молодыми архитекторами Армении широкую дорогу для развития. Ученики и соработники Таманяна: архитектор М. В. Григорян, создавший монументальное, а в то же время такое легкое и окрыленное, словно бегущее по стартовой дорожке своих лестниц, поднимая крылья для полета, здание ЦК Коммунистической партии Армении на проспекте Баграмяна; архитектор С. Сафарян, воздвигший на центральной площади города красивое здание треста «Арарат», с чудесными арками входа, похожими на внутренность створчатой раковины; архитектор Г. А. Таманян, достроивший театр своего гениального отца,— и много других талантливых строителей Армении всю душу вложили в счастливое творчество нашей великой

циалистической эпохи. По городу можно пройти, как по художественному собранию, любуясь очерком новых домов и улиц. Вот большая, залитая светом, центральная площадь. Стремительная фигура Владимира Ильича (скульптор С. Д. Меркуров) встает над нею на гранитном постаменте. Против нее — недавно облицованное белыми плитами и снабженное красивым портиком старое, на четыре улицы выходящее своими стенами, здание Филармонии. Дальше, в северной части города, монументальные колонны Государственного издательства Армении; благородный мотив внутренней двусторонней лестницы — выложенная отполированным розовым мрамором передняя Государственной библиотеки; круглый гармоничный храмик, в своем круговом движении напоминающий знаменитый храмик Браманте в Риме (Государственная обсерватория); строгие, увенчанные скульптурой стены рукописехранилища («Матенадарана»); задумчивый силуэт памятника Хачатура Абовяна в конце улицы, носящей его имя [115]. И высоко над въездом в город со стороны Канакерского шоссе возвышается грандиозный «Монумент Победы» работы архитектора Рафо Исраэляна и того же скульптора С. Д. Меркурова. Он посвящен нашей победе в Великой Отечественной войне.

Но не только в этих отдельных зданиях и даже не только в продуманных архитектурных ансамблях красота и новизна столицы Армении. В середине 40-х годов здесь уже было немало построено великолепных зданий и законченных ансамблей. Но в республике еще не хватало огромного количества мелочей для городского быта — деревянных, фарфоровых, металлических. Дома были построены, а двери и оконные рамы плохого качества; проведены были трассы для новых улиц, но вокруг домов не распланировано, во дворах — строительный мусор. Сейчас появилась комплектность. Прекрасная архитектура в прекрасном обрамлении: все асфальтировано, вдоль улиц деревья в вырезанных на тротуаре квадратиках; к подъездам ведут культурные дорожки; чугунные решетки по рисункам художников; газоны цветов и над цветами — изящная каменная ваза, обелиск, памятник; дорожки в скверах посыпаны песком;

снабжены удобными скамейками. Сама уличная жизнь изменилась. Обязательные переходы по углам, сигнализация для транспорта, чинные новые троллейбусы, масса новых автомобилей — и целое море электрического света по вечерам, тоже обдуманного, тоже связанного с планом и внешним обликом города,— от столбов до фарфоровой арматуры.

Изменилась и внутренность домов, еще пять лет назад создававшаяся нетребовательно, лишь бы взойти по лестнице, закрыть дверь на замок, иметь фортку в окне. Сейчас — красивые лестницы из разнообразных цветных плиток; дверные ручки и замки дорогого, солидного сорта, полы в комнатах дубовые, паркетные, фарфор и мрамор в кухне и ванной, холодильники, кое-где электрические плиты. Блестящая сталь, отполированное дерево, цветной кафель, майолика — все это пока еще не в изобилии, не во многих квартирах. Но город стремится к этому, и комплектность городской коммунальной культуры создает то целостное впечатление от Еревана, о котором я говорила выше.

Не сразу создалось волшебное превращение грязного губернского городишки в передовой центр социалистической республики. При капитализме всегда налицо разрыв между благоденствием отдельной верхушки и благосостоянием всего народа; дворцы там уживаются рядом с лачугами, город небоскребов может подняться среди разоренных деревень, голодных пролетарских окраин. Но чтоб вырос город в нашей стране, как вырос Ереван, коммунистам Армении вместе со всей коммунистической партией, вместе со всеми советскими людьми нашего необъятного Союза пришлось много, много потрудиться. Надо было заложить социалистические основы тяжелой промышленности, обобществленного сельского хозяйства, покрыть страну заводами и фабриками, рудниками и электростанциями, дорогами и механизмами, вырастить, воспитать, вооружить знанием народные массы — не в одной только Армении, а и во всем нашем Союзе, потому что изолированного роста одного какого-нибудь уголка в нашей великой стране, сильной своим органическим единством, нет и не

может быть. Светлая мысль нашей партии, светлый, неутомимый труд всего нашего народа вложены в каждый камень строительства маленькой республики Армении, как и всего Советского Союза.

ВЫРОСЛА СВОЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

В письме к большевикам Закавказья от 8 мая 1921 г., сыгравшем такую огромную роль в жизни закавказских народов, В. И. Ленин писал о привлечении «к строительству хозяйства интеллигенции». И старая армянская интеллигенция горячо откликнулась на зов. С первых дней революции она в большинстве своем пришла работать с коммунистической партией. Вице-президент Петербургской академии художеств, армянин родом, архитектор Александр Иванович Таманян находился в эти первые дни революции за рубежом, в столице Персии, почти без дела и без работы. Революция сперва казалась ему стихией разрушения, но когда неожиданно стали доходить до него слухи о том, что в Армении началось строительство, он поехал работать в Советскую Армению. Для архитектора целая страна, где начал строить весь народ,— редчайший и желаннейший случай в жизни.

Около двух десятков лет народный архитектор Армении Таманян строил новую страну. Он был занят всегда только одним, вся его жизнь слилась с работой, с изучением новых задач городского строительства, изучением памятников Армении, строительных материалов Армении, обдумыванием, обсуждением, созданием проектов и планировок. Во всех городах республики росли его дома, города республики постепенно и верно перекраивались по его планам, продиктованным новыми требованиями социалистического благоустройства. Так возникал новый, советский архитектурный стиль. Роптали мелкие собственники, когда сносились старые дома из необожженного сырца, падали глиняные заборы. Но на месте их прокладывались стройные пролеты улиц, покрывались асфальтом, возникали скверы, пела и прядала в каменной вазе серебряная водяная струйка, выросли

теплые розовые колоннады дома-дворца,— этот дом рос, как драгоценное дерево в лесу, сперва на узкой улице, теснимый прижатыми друг к другу старыми зданиями, потом эти здания пали, как деревья от топора; вокруг него все обнажилось, он остался один на площади, и очерк его стал видимей глазу; он становился все монументальнее, покрывался драгоценным орнаментом, а площадь раздвигалась все шире и шире. Так из скромного первоначально «дома Наркомзема» вырос тамановский Дом правительства. И все выше и выше поднималось круглое здание Нардома, ныне Театра оперы и балета — любимое детище Таманяна.

Ереванцы привыкли к сухой, высокой фигуре Александра Ивановича, к его дымчатым очкам и седой острой бородке. Они часто видели его, шедшего пешечком, не торопясь, по развороченным, в сугробах глины и камня, улицам перепланировавшегося им Еревана. Он никогда не заговаривал о собственном быте, собственных нуждах, потому что он прочно исключил их из собственного сознания. А. И. Таманян приехал в Армению со страстной потребностью — давать и давать, творить и творить, а не брать и не устраивать свое благополучие. Все эти годы он был очень счастлив. Я не помню его вне ощущения им полноты бытия. Люди и учреждения перебирались в построенные им дома. Когда он умер, как-то припомнилось,— с хорошей гордостью за человека, с благоговением к его памяти,— что сам Александр Иванович с большой семьей не успел переселиться в отведенную ему новую квартиру — не хватило времени для этого. Сейчас, когда созданное Таманяном начинает восприниматься слитно, дополняя одно другим, когда раскрывается в городах принцип его планировки, вся армянская архитектурная молодежь воспитывается на его наследии. Так, кроме великого вещественного следа, этот народный зодчий оставил армянам и творческую традицию.

В Баку и Тбилиси хорошо знали чрезвычайно красивого старика, с молодым, горячим взглядом из-под очков, с крутым, ясным лбом, над которым сверкали серебряной белизной кудри, с тонким, изящным ртом на бритом лице. Этот старик любил жизнь, дорожил ею,

любил комфорт и общество; каждый день за обедом, до глубокой старости, он выпивал рюмочку коньяку — «порцию огня», как он шутя говорил. Это был большой армянский писатель, автор романов «Артист», «Хаос», автор «Намуса» и «Из-за чести» — Александр Ширванзаде[116]. Если говорить о комфорте, то жизнь его спокойно текла бы в Тбилиси, где у Ширванзаде была хорошая квартира. Но старый человек, которому пошло на седьмой десяток, перебрался, как юноша, в столицу новой, Советской Армении, по-холостяцки ютился в гостинице, жил путешественником. Он тоже приехал дать, и давал одним своим присутствием, тонкой и высокой культурой человеческой личности, которой веяло от каждого его слова, от старомодной вежливости и наблюдательности. Это был писатель, родившийся для литературы. И, молодая еще, армянская советская литература училась у него прозрачной ясности армянского языка, глубокому реализму, умению раскрывать характеры в движении истории, в их связи с обществом и временем.

Часто сиживали он и другой могучий старик, богатырски сложенный, с румяным, бритым лицом, сочным голосом, громовым хохотом, большой артист, Абелян[117], где-нибудь за крохотными чашками кофе, во дворике голубой мечети, на скамеечке в саду,— и разговор их шел о прошлом. Но то, что раньше, до революции, душителями армянской культуры с пренебрежением расценивалось как местное, провинциальное, ничтожное, оба эти величавых старика сейчас как бы наново разматывали во весь его исторический смысл, и слова их обретали особое звучание для слушавших.

Возрожденный к жизни, освобожденный народ находил свою культуру, осознавал ее звенья: историю театра, традиции актерского мастерства со времен трагика Адамяна и актрисы Сирануш, сложное становление армянского искусства.

Иногда к ним подсаживался маленький, круглолицый, быстрый и нервный человек с ваткой в ушах, одетый небрежно и торопливо,— замечательный музыкант и симфонист Александр Афанасьевич Спендиаров[118].

Внутренним своим слухом он слушал в эти дни будущую оперу «Алмаст».

В тридцатых годах на улицах Еревана молодежь увидела и задумчивую фигуру любимейшего своего певца — Аветика Исаакяна [119]. Он жадно ходил по городу, присматривался, вживался в воздух Армении, в ее творческую атмосферу.

В столице Армении вырастали консерватория, университет. В темно-сером каменном здании возник музей; за четверть века он превратился в одну из ценнейших республиканских картинных галерей нашего Союза.

И через все эти годы прошел в наше время и работает сейчас для него большой мастер, бледный, молчаливый человек — художник Мартирос Сарьян [120]. Если архитектор Таманян был родом с Кубани, то Мартирос Сергеевич — родом с Дона. Он вырос как художник под влиянием русской культуры, получил художественное образование в России. И всю свою большую культуру отдал Советской Армении с первых же дней ее возникновения. Неутомимо и с какой-то тихой, беззвучной страстностью любит Сарьян Армению, рисует ее, не пропускает ни одного творца, ни одного деятеля, ни одного сколько-нибудь значительного работника-армянина, чтобы потихоньку, с удивительной, мягкой непреклонностью не завести его к себе на вышку, где залитая светом мастерская, словно драгоценными камнями, сверкает и греет посетителя своими горячими, ярко декоративными полотнами. Там он тихо усадит его в кресло, отойдет, приблизится, с тонким мастерством легко нанося, в длину всей протянутой руки, мазок на полотно,— и человек заживет, пойманный на портрете.

Поэты любят заходить в мастерскую Сарьяна Один из них написал:

Не спрашивал адреса смуглый шофер
И в узкий свернул переулок.
Закат был как нежный персидский ковер,
Прохладой слегка потянуло.

Приветлив и ясен, навстречу нам шел
Художник, спокойный, как вечер.
И вот — мастерская, полотна и шелк
На кресле. И бурей навстречу

С полотен обрушился, дух захватив,
Мир счастья и ультрамарина,
И горы из солнца, и рыжий налив
Плодов и материй старинных.

И синие звери, и глиняный дом,
И женщины, в тканях суровых,—
Все было и жизнью и сказочным сном,
Весь мир в именинных обновах.

Но это и было правдивою той,
Ликующей, жадною жизнью,
Которой живем мы в своей и простой
И неповторимой отчизне...[121]

Почти все эти большие творцы съехались в Ереван в первые годы Октябрьской революции. Они были тогда еще одиночками; сила их крупных индивидуальностей, яркость их отстоявшихся, уже в полной мере выявленных дарований делала их видимыми так одиноко и отчетливо, словно очертания горных вершин на горизонте. Но шли годы. Советская власть день за днем, месяц за месяцем закладывала материальные основы новой, великой культуры. Творцы перестали быть одинокими, они вошли в союзы архитекторов, актеров, музыкантов, писателей, художников. Ценности, разбросанные по частным лицам, собраны были в музеи. Выросли здания театров, библиотек, школ. И вокруг больших мастеров поднялись молодые, талантливые коллективы, сильные уже не своей одинокой творческой индивидуальностью, не своим накопленным опытом, не передачей традиций, а ярким чувством единства, совместности, общности, кровного родства с народом; их постоянное чувство нового, постоянное продвижение вперед, радостное утверждение жизни — в счастливой опоре на коллектив, без которого они уже не могут полностью себя раскрыть.

Есть в Армении молодой химик Аракси Бабаян. На груди у нее флажок депутата Верховного Совета республики. За что она получила этот флажок? У Аракси Томасовны много заслуг перед родиной. Она имеет немало научных работ. Применив методы академика Фаворского, она разработала простой способ получения одного интересного класса органических соединений,

исходного для целого ряда других полезных веществ, и этот простой способ получил в нашей отечественной химии название «метод Фаворского — Бабаян». Но химиков, и очень талантливых, крупных химиков, сделавших ценные новые открытия, в Армении немало: ведь Армения — это страна развитой химической промышленности. Однако не все они депутаты верховного органа. В жизни Бабаян есть страничка, в которой сама она не видит, впрочем, «ничего особенного»...

Разверните осенние номера армянских газет и поищите в них сведения о приеме в вузы. Огромное количество заявлений. Но даже и осенью 1950 года львиная доля этих заявлений падала на исторический факультет. А пять лет назад те, кто шел на химический, исчислялись единицами. Профессору химии Аракси Бабаян это не могло быть безразлично. Химическая промышленность развивалась в Армении бурно, ей нужны были кадры, а в аудитории так мало студентов! Десятки причин подсказывали объяснение: история увлекала ребят еще со школьной скамьи — увлекала и с помощью армянских исторических романов и наличием древних архитектурных памятников, музеев, знаменитым «Матенадараном» — собранием летописей, постановками в театрах. Но одно, главное объяснение вытеснило все прочие: не умеют **т а к** преподавать химию, чтоб она зажгла, увлекла, потянула заниматься ею все глубже, все дальше; не умеют раскрыть перед школьниками эту интереснейшую из наук! Для Бабаян она была интереснейшей; Бабаян видела в ней все, чем можно было зажечь и увлечь.

И вот она пошла к директору той школы, где училась ее дочь, с необычной просьбой: нельзя ли ей бесплатно руководить кружком для желающих более глубоко познакомиться с химией? Директор ответил: нельзя. Не было такого случая. Нет таких правил. Не получено указаний.

Аракси Бабаян не отступила. Школа отказывает — есть еще Дворец пионеров. В Ереване, как и всюду у нас в Союзе, замечательный Дворец пионеров, ему отведен прекрасный особняк, и в нем — это также общая для нашей родины черта — легко и охотно подхваты-

вается всякая умная инициатива по части самодеятельности ведь сами ребята влияют в этом отношении на руководителей. И Ереванский дворец пионеров гостеприимно отозвался на предложение Аракси Бабаян.

Обратились в школы с просьбой выделить лучших, наиболее интересующихся химией учеников, отвели отдельный уголок, создали свое лабораторное оборудование, назначили часы — три раза в неделю. Так начались занятия Аракси Бабаян по химии с двумя десятками ребят. Не месяц, не два и даже не год длилось глубокое и серьезное увлечение молодого ученого своей добровольной нагрузкой. Она работала так три года, с 1945 по 1947. Она не порывает связи с Дворцом пионеров и в последующие годы. В результате почти все из ее учеников стали студентами химического факультета, одна ученица — у нее в лаборатории и уже подготовила кандидатскую работу.

Глаза у Бабаян зажигаются, когда она вспоминает свою любимицу, способную молодую химичку, которой нет еще и 21 года:

— Это талант! Очень одаренная. Большая будет польза родине от нее. Уже сейчас она ведет нужную, интересную работу...

Маленький как будто факт — вести кружок во Дворце пионеров. Но для него нужно много: нужно государственно взглянуть на связь своей науки с промышленностью; нужно захотеть помочь родине, захотеть, не дожидаясь ее особого зова; нужно страстно любить свое дело, чтоб передать эту любовь ребятам; нужны стойкость, терпение, постоянство в проведении задуманного в жизнь — из месяца в месяц, из года в год. И все это добровольно, от себя, вот именно — «без установленных правил», «без данного свыше указания».

Я привела для читателя этот рассказ об Аракси Бабаян, чтобы яснее показать, какие новые люди выросли в молодой советской республике Армении за истекшие тридцать лет. Новизна этих людей, подчас и незаметная для них самих, проявляется не в чем-нибудь одинаковом для всех, а у каждого по-своему, в самых разных делах и поступках, и надо много привести случаев, о многом рассказать, чтоб подойти для самого себя

к какому-то обобщению, провести под этими делами итоговую черту.

Возьмем, например, большой показатель выросшей культуры республики — данные Министерства здравоохранения и Министерства просвещения. Обычно их называют вам уже в виде результатов или в виде растущей колонки цифр. В 1950 году около 45 процентов всего бюджета в Армении было предназначено на просвещение. Почти половина всех расходов целой республики! Ясное дело, как должно было двинуться вперед образование,— ведь сейчас в Армении обязательно не только всеобщее начальное обучение, но и среднее: 7-классное для сел и 10-классное для городов. Если представить себе, на что потрачены ассигнуемые деньги, то в воображении сейчас же встанут светлые здания, вновь построенные или ремонтируемые, встанет рост числа школ, числа учебников, лабораторий, вспомогательных пособий, школьной мебели, спортивного инвентаря и т. д.

Ну, а теперь зададим себе вопрос: что происходит в школьном деле Армении вне бюджета, как говорится, «бесплатно», без особых ассигнований, в рамках обычного течения жизни? И тут встает прежде всего тот новый факт, который в последние годы становится все заметнее, а раньше был почти невидим, не бросался в глаза. Факт этот — культурный рост самого учителя, армянского учителя городских и сельских школ. Группы городских и районных учителей постоянно используют свой летний отдых на познавательные экскурсии по родной республике, на познавательные поездки в образцовые школы Ленинграда и Москвы; 160 аштаракских районных учителей получают заочно высшее образование, а 11 сельских учителей уже окончили заочно Ереванский пединститут. И это уже не единицы, не исключения. Людей тянет учиться, образовывать себя, расти дальше, а государство дает им эту возможность.

Учитель истории в семеноводческом колхозе «Кармир Октембер» Г. Сенекеримян — заочник пединститута. И он же входит одним из агитаторов в местный колхозный агитколлектив. Агитационная работа стала для него школой отдачи и получения,— той великой школой,

где, творчески отдавая себя, человек внезапно находит могучий метод своего личного культурного роста. В 1950 году он провел в колхозной бригаде беседу «За что сейчас борются труженики деревни Советской Армении?». Уже по заглавию видна постановка темы: не труженики «нашего колхоза», а всей Армении. Что сделал учитель в этой беседе? Он предварительно изучил по газетам обращения к работникам сельского хозяйства октемберянских хлопкоробов, арташатских виноградарей, иджеванских табаководов, гукасянских животноводов и т. д., выписал на бумажку их основные обязательства, продумал и сообщил о них в беседе. Иначе сказать, он связал труд своего колхоза с трудом всей республики, заразил людей трудовым подъемом, дал пережить всеобщность этого подъема, окрылил этим своих слушателей. На людях, на массе людей всегда легко подхватить и поднять свою долю труда. А для себя этот учитель-агитатор приобрел драгоценные знания и по экономике и по агрокультуре Армении,— он, по сути дела, в агитации нашел своеобразное средство и для самообразования.

Но культурный рост учителей резко повышает и культурный рост учащихся. В итоге — повышение знаний учителей, к которому сами они с пробудившейся любознательностью тянутся, отдавая ему законные часы своего отдыха, законный летний отпуск, идет на пользу общего подъема культуры в республике, на улучшение преподавания, на возросшую содержательность и интересность урока, на пробуждение интереса к знанию в учениках. Могучим условием движения к будущему становятся такие личные усилия советских людей, которые не предусмотрены бюджетом или предусмотрены только отчасти.

Заглянем и в цифры Министерства здравоохранения. Вот любопытная страничка. Армения, несмотря на свой здоровый горный климат, всегда сильно страдала от малярии. Болезнь эта заносилась в нее с личинками комаров из Ирана, приживалась на стоячих болотцах, на рисовых полях, затопляемых водой. Но по сравнению с тем, что было до революции, малярия в Армении сейчас сократилась в сорок раз, а по сравнению с

1949 годом — в три раза. Откуда же получилось число три, как его расшифровать? Разумеется, тут играют роль общие меры, огромные гидромелиоративные работы, которые ведутся в Армении из года в год и особенно усилились в нынешнем году, вместе с могучим движением за преобразование природы, охватившим весь наш Союз. Не мала роль и самого Министерства здравоохранения, применившего ряд лечебно-профилактических мер. Из них, как известно, большое место в бюджете занимают специальные малярийные научные учреждения, диспансеры, заливка болот нефтью, хинизация населения и т. д. Но спросим опять: нет ли тут чего-нибудь вне бюджета, чего-нибудь добровольного или хотя бы требующего самой небольшой затраты средств? Да, есть.

Вот эчмиадзинское село Зейва. Болото возле него всегда было рассадником малярийных комаров. Но в 1950 году малярия в Зейва исчезла. Жители, привыкшие, чтоб их «трепало», видят — нет и нет лихорадки, ничто их не «треплет», не клонится голова ко сну. Да и в жилье нет досадного комариного ззу-ззу, тоненького, звеневшего день-деньской в прошлые годы. Чем же спаслось село от малярии? Осушением болота? Ничуть. Болото стоит, как раньше стояло. И личинки злостного комара водятся в нем по-прежнему. Но жилье крестьян свободно от комара, в него он не залетает. Крестьяне сами оградили деревню Зейва от комара раствором «ДДТ»: им были опрыснуты наружные и внутренние стены жилья, и комары, а с ними москиты и другие вредные насекомые, бесследно исчезли. Этим раствором обрабатываются сейчас с блестящими результатами многие села и города Армении.

Два года назад среди школьников и пионеров было поднято массовое движение по сбору и уничтожению сонных зимних мух. Охота на мух велась со всею детской «приключенческой» страстью. И те, кто просыпается сейчас в жаркий летний день, не чувствуют досадного ползания мух по лицу, этой пытки, начинавшейся с первых слабых проблесков рассвета. Мух в комнате нет. И те, кто идет на базар с корзинкой, спокойно подходят к виноградному ряду,— золотистые

гроздья лежат чистые, сухие, они не шевелятся от несметного полчища мух, как это было еще совсем недавно.

Массовое движение школьников поощряется министерством. Ребята знают, что получат в подарок тетрадки, карандаши, школьные пособия. Но они и другое знают: счастье большого общественного дела, прелесть настоящей, полезной борьбы, в которой они, ребята, освобождают свою республику от одного из ее бичей.

Свою новую, блестяще одаренную молодую интеллигенцию воспитал армянский советский народ. Когда-то (десятка два лет назад!) Нор-Баязетский район считался одним из самых отсталых, самых глухих в республике. А сейчас туда едут соседи послушать замечательное слово двух лекторов — Героев Социалистического Труда А. Григоряна и С. Карапетяна — о том, как они организуют труд в своих колхозах. Организация труда — ответственная и сложная наука. Умение почувствовать свои кадры, знать, кто на каком месте хорош, и расставить людей так, чтобы каждый развернулся в полноту своей силы,— это редкое умение стало достоянием рядовых работников, завоевано ими в повседневном труде, воспитано в них великой коммунистической партией.

Все эти черточки нового — близость к своему поколению, отдача себя, своего времени, своей энергии и способностей не «жертвенно», как делалось в далеком прошлом, а естественно и просто, как бы находя свое призвание в этом щедром выходе за рамки обычного труда,— эти черточки нового служат великим мостом для перехода из сегодняшнего дня в завтрашний, и они отмечают новых людей — людей наступающего коммунизма.

•

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ. НАУКА В АРМЕНИИ

С высоты деревушки Канакер идет вниз шоссе, переходящее в широкую улицу Абовяна.

С высоты деревушки Канакер в 10-х годах прошлого века мальчиком спустился вниз, на улицу, полу-

чившую впоследствии его имя, и сам Хачатур Абовян — гениальный основоположник новой армянской литературы и нового языка армян.

Судьба этого голубоглазого худенького человека, широко образованного педагога, искалеченного русским самодержавием и армянским клерикализмом, глубоко трагична, и еще многие десятки лет, может быть столетия, будет обращаться к этой судьбе искусство поэта, скульптора, музыканта, историка в Армении. В старом губернском городе Ереване Абовян работал последние четыре года своей жизни, все больше теряя силы, разуверяясь в возможности помочь родному народу. Конец его так же трагичен, как и короткая жизнь. Он не умер,— он просто вышел из дому и непостижимо исчез немногим больше сорока лет от роду... Никто никогда не видел его трупа.

Но в новый, светлый город Ереван, столицу Советской Армении, Хачатур Абовян вернулся. Там, где он присаживался отдохнуть, у верхнего конца улицы, стоит его памятник,— не очень большая, на первый взгляд как-то незаметная, не бросающаяся в глаза фигура интеллигента 40-х годов прошлого века. Он стоит и глядит на город, на родные камни, на проходящий народ, просвещению и культуре которого отдал столько своих бессонных ночей, столько горячих юношеских дум и терзаний, страстного вдохновения, отчаяния, нежности,— всего того, что сам он назвал «неизлечимою болезнью сердца»; и словно шепчут его губы сквозь камень: «Вот оно, пришло, наступило, сбылось». Потому что пришла, наступила, сбылась новая, органически выросшая культура Армении.

Вся улица Абовяна — живой рассказ о ней. В нашем советском городском быту наблюдается очень интересная вещь: комплексное строительство научных учреждений обычно за городом или у черты города, часто на возвышенном месте. В прошлом это было разве на Васильевском острове в старом Петербурге или в Москве, на Девичьем поле, но там дело шло об одном только учреждении — группе корпусов Академии наук или медицинских клиник. Сейчас, на примере молодого советского строительства Еревана, мы видим,

как не одна только Академия, но и Государственный университет, и Медицинский институт, и лаборатории, больницы, станции, астрономическая обсерватория, государственное рукописехранилище «Матенадаран», Государственная библиотека имени Мясникова стягиваются к одному городскому району. И какое обилие культурных учреждений выросло в этом районе за советское время!

На тротуаре — группа молодежи. Это студенты. Их можно сразу узнать по книгам в руках, по серьезному вниманию в лицах. Здесь, неподалеку,— Ветеринарный институт; по левую сторону проспекта, если идти вниз от Канакера,— большое темно-серое здание Университета. Здание уже старое, не вмещает своих аудиторий, отдельные факультеты стремятся выйти за его стены. Много лет здесь шла большая и серьезная работа; задолго до образования самостоятельной Академии наук и до открытия предшествовавшего ей Армянского филиала Академии наук СССР (Армфан), разнообразная исследовательская, научная, издательская работа велась в Армении в стенах этого университета. Здесь изданы были многие ценные труды историков Я. А. Манандяна и А. Р. Иоаннисяна, оригинальные исследования лингвиста-филолога Г. А. Капанцяна, филологов-литературоведов А. А. Тертерьяна, Русета Оганесяна и др., фундаментальные словари старейшего армянского ученого Рачиа Ачаряна «Этимологический» и «Словарь собственных имен» и т. д. При всей молодости Ереванского университета (он был открыт в 1921 году) он сумел создать свою традицию, и на работах его ученых есть отпечаток этой традиции. Когда в Армении образовалась Академия наук, университетская научная работа не только не была поглощена ею, но и сумела в известной мере сохранить свой самостоятельный отпечаток.

На правой стороне проспекта Абовяна, против университета, в густой зелени сквера с памятником Гукасу Гукасяну работы скульптора Степаняна, расположился красивый маленький павильон обсерватории, опоясанный ожерельем легких колонн. Здесь хозяин — крупный астроном-математик профессор В. А. Амбарцумян [122],

один из оригинальнейших ученых нашего Союза, ныне президент Академии наук Армянской ССР.

Сама Академия наук еще находится во временном здании, на той же стороне улицы Абовяна, где и обсерватория. Но сейчас она разрастается в целый город дворцов и вилл, окруженный садами, получает здания для своих институтов, опытные поля, лаборатории, благоустроенные жилища. В проектах академического городка — любовь к симметрии, к геометрически точному расчленению пространства, завезенная в этот древний восточный город с далекого северо-запада, из Ленинграда.

Для ученых Армении связь с Россией и со всем нашим великим Советским Союзом, с его университетами и крупнейшими учреждениями, очень характерна, — быть может, настолько же, насколько была она характерной и для покойного академика А. И. Таманяна. В семье крупных ученых Советского Союза находятся такие армяне, как В. А. Амбарцумян, выдающийся физик Абрам Исаакович Алиханов и его младший брат и помощник в работе физик Артем Исаакович Алиханян. Многие исследователи, плодотворно работавшие в Москве, Ленинграде и других городах СССР, либо перебрались в Армению, либо отдают ей немало своего времени и сил. Среди них — академик Иван Васильевич Егиазаров, перевезший в Ереван свою замечательную, первую в Союзе, лабораторию по испытанию моделей гидротехнических сооружений; создатель труда по геологии Армении, академик Константин Николаевич Паффенгольц; учитель целой плеяды молодых машиностроителей академик А. Г. Иосифян; академик Г. А. Бабаджанян, ведущий интересную и оригинальную работу в Институте генетики и селекции, и другие. Широкий и смелый русский стиль научного исследования не мог не отразиться на молодой Академии наук Армянской ССР еще и потому, что первым ее президентом был избран Иосиф Абгарович Орбели, не только ленинградец, но и патриот Ленинграда, многолетний директор Эрмитажа, создатель его знаменитого Восточного отдела. Он участвовал в спасении сокровищ Эрмитажа под фашистскими бомбами во время блокады. Он выступил на нюрнбергском процессе фашистских военных

преступников обличителем их варварства. Суд увидел его львиную голову с волнистыми волосами, густыми бровями и бородой, осеребренными сединою, и услышал бархатистый, рокочущий голос превосходного оратора, убедительно доказывавшего, что фашисты не случайно бомбили Эрмитаж, что они хладнокровно и сознательно избирали его мишенью.

Вместе с И. А. Орбели в Ереван приезжали работать сотрудники Эрмитажа — такие крупные ученые, как К. В. Тревер и Б. Б. Пиотровский. Они участвовали в раскопках и изучении древних поселений в Армении, особенно памятников урартской культуры, крепости Кармир-Блур над Ереваном.

За короткое время существования Академии наук Армянской ССР проделаны очень крупные работы. В области гуманитарных наук — собран, критически пересмотрен и переведен эпос о Давиде Сасунском, тысячелетие которого отпраздновано незадолго до Отечественной войны; изданы четырехтомный «Толковый словарь армянского языка» академика С. Т. Малхасяна; монументальная история армянской литературы старейшего ученого Манука Абегяна; ценное исследование Б. Б. Пиотровского «История и культура Урарту»[123], капитальное исследование Тороса Тораманяна «Материалы по истории армянской архитектуры»[124], содержательный труд академика Я. А. Манандяна «Тигран Второй и Рим» и большое количество других работ, частично упоминаемых мною в тексте; проведена конференция по раннему Ренессансу в странах Закавказья, на которой по сути дела были заложены основы для серьезной разработки этого исторического вопроса.

Еще более важные работы ведутся в физико-математической, биологической, геологической, химической, гидротехнической, агробиологической областях. У самых вершин Арагаца поднялась Всесоюзная лаборатория братьев Алихановых по изучению космических лучей; в ереванской низине заработала гидротехническая лаборатория И. В. Егиазарова по изучению моделей для гидроустановок; создана мощная обсерватория в Бюракане, для которой получено прекрасное оборудование.

Над «Историей медицины в Армении» систематически работает академик Л. А. Оганесов и многие, многие другие. Мы не охватываем здесь все имена и все работы, особенно производившиеся после войны, да и не в силах этого сделать. Но мы все же развертываем перед читателями этот список имен, потому что он ярко показывает всю степень внимания коммунистической партии и советского правительства к росту науки и необычайный расцвет науки в маленькой республике, где до революции никаких ученых, кроме монахов, имевших звание доктора наук, вообще не было, а ученым армянского происхождения, разбросанным по всей России и за ее пределами, не нашлось бы применения в тогдашней «Эриванской губернии».

Послевоенная пятилетка потребовала еще большего сближения научно-теоретической мысли с инженерно-технической практикой, с новаторами стахановского движения в промышленности, с Героями Социалистического Труда, мичуринцами-опытниками полей и садов. Это не могло не отразиться самым решительным образом на теме и характере академических работ. Стоит только представить себе, что нужно было сделать в Армении за пятилетку,— и острая нужда в помощи ученых, в новой перестройке их работы сразу становится ясной.

Республике нужны были геологические исследования, нужно было крупное водное строительство,— ведь в одном только Ереване предстояло проведение второго водопровода, расширение водопроводной сети на 40 километров, а канализационной — на 30 километров, то есть увеличение воды в городе в два раза; республике нужны были исследования для целого ряда химических производств в Кировакане, в Алаверди, для завода синтетического каучука, для алюминиевого завода.

За пять лет промышленное строительство в Армении по существу изменило весь производственный профиль республики,— до такой степени бурно развернулось оно. Свыше десяти новых крупнейших заводов в одном только Ереване означали создание и работу десятков новых лабораторий. Все это потребовало помощи химиков, технологов, гидрологов, геологов, техников; все

это определило тематический план десятка институтов Академии наук; все это вызвало нужду и во множестве технических работников средneинженерного состава — мастеров, чертежников,— и в республике создаются сейчас десятки новых техникумов. Наконец разворот строительства проводится под общим для всего нашего Союза лозунгом максимальной механизации. В сельском хозяйстве нужно полностью овладеть травопольным севооборотом, решить вопрос о своей пшенице, поднять продуктивность животноводства, освоить гнездовой способ посева леса.

Ученые Армении щедро и всесторонне ответили на этот огромный запрос. Институт сооружений и материалов, работая над проблемой замены дерева, дал ряд практических предложений, и на заводе имени Дзержинского уже построены станки, которые в десятки раз интенсифицируют тёску и обработку камня; работы института по легкому бетону, по каркасам для высотных строек, как и работы его руководителя, одного из ведущих ученых в области сейсмографии, проф. Назарова, уже вышли за пределы республиканского значения. Институт водноэнергетический опробует и изучает (на действие воды) не только модели основных гидротехнических сооружений республики, но и модели великих строек коммунизма. Институт генетики и селекции неутомимо внедряет в сельскохозяйственную практику новые мичуринские сорта, обеспечивает республику армянской пшеницей. Институт животноводства решает животноводческую проблему, создает продуктивные новые породы скота, вывел ценнейшую породу овец, кроликов и т. д., а Институт растениеводства решает проблему кормовой базы.

Я даю лишь самый беглый перечень институтов, о работе которых,— о каждой работе каждого института,— можно было бы написать отдельную книгу.

Практическое значение целого ряда научных дисциплин и исследовательских институтов при Академии наук видно каждому хотя бы в самом названии института, в самом характере науки. Читателю легко представить себе, как ученые этих наук поворачиваются лицом к практическим задачам. Не так легко представить

себе, что происходит в одной из отвлеченнейших научных областей, в математике, руководимой в Армении моим однофамильцем академиком А. Л. Шагиняном.

Надо сказать, что в Армении своей математики как науки долго не было, не имелось кадров для организации кафедры, для чтения многих факультативных курсов, для преподавания многих традиционных дисциплин. А без развития и движения математики как науки нет и не может быть развития и движения прикладных областей, основанных на математике. И вот академику Шагиняну, помимо его собственной большой творческой работы, пришлось заняться еще и безмерно важным для республики повседневным, терпеливым трудом организатора и педагога. Он помог создать в социалистическом Ереване культуру математики, поднять и воспитать молодые кадры. Сейчас во всем нашем Союзе, да и далеко за его пределами, знают о молодом ученом, избранном в две Академии наук (Армянскую и СССР),— Сергее Никитовиче Мергеляне; в три года окончив Ереванский университет, в полтора года московскую аспирантуру у проф. Келдыша, он написал интереснейшую работу по «Теории наилучших приближений в комплексной области».

Пройдут годы,— и, быть может, то, что встает перед нами законченным очерком уже созданного, большого культурного целого, покажется нам через несколько лет только робким началом гигантского развития науки и техники в Армении.

В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ГОРОДА. «МАТЕНАДАРАН»

Так велика иллюзия низкого расположения Еревана («счастливая яма», «глиняный горшок»), что вы совершенно забываете его высотную отметку — курортную, почти высокогорную, превышающую Кисловодск. В верхнюю часть идут гулять; вверх разрастается будущий город,— к Канакеру, к Нор-Арабкиру; туда протягиваются трамвай, троллейбус; наверх, в старинное предместье Норк, с его виллами, садами и детским санаторием, выезжают «на дачу». Кверху прорезывается,

весь в густой зелени, в лучших архитектурных образцах «индивидуального» строительства, новый проспект Баграмяна. И сюда, у самого подъема вверх, забрались, кроме Академии, университета и больниц, еще и другие важнейшие культурные учреждения республики.

Здесь прежде всего штаб армянской энергетики, великолепное здание Армэнерго, внутри облицованное розовым конгломератом. В прохладу этих высоких комнат с натертым до блеска паркетом стекаются все реки и речки Армении, замирая на стенах «профилями», цифрами будущих киловатт-часов. Всего несколько лет назад в небольшой комнатушке бывшего скромного «водхоза» начиналась эпопея первой районной гидростанции Армении — Дзорагэс. А сейчас Дзорагэс уже «весь в прошлом»: 15 ноября 1932 года он дал первый свой ток Алаверди с одного агрегата; 6 августа 1933 года заработал второй агрегат, прошла линия передачи на Кировакан; 1 июня 1934 года Дзорагэс официально принят в промышленную эксплуатацию; а в июне 1938 года он уже влился в общеармянский куст, вкладывая в этот «общий котел» 14 тысяч киловатт. Третий свой агрегат он отдал освобожденным от немецко-фашистской оккупации районам Северного Кавказа. И люди, работавшие на стройке помощниками монтера, тоже выросли вместе с ней: С. Я. Татевосян стал старшим научным сотрудником, А. М. Аймегикян — главным механиком...

В белом доме с тяжелой колоннадой — Государственное издательство и рядом огромная типография. Тут же неподалеку одна из интереснейших лабораторий Академии наук, руководимая академиком И. В. Егиазаровым, точнее — три лаборатории, соединенные вместе: гидравлики сооружений и потоков, гидроагрегатов, моделирования целых энергосистем. На площадках ее вы можете гулять по модели всего Куйбышевского узла, вы можете увидеть русло реки Волги со всеми сооружениями, существующими пока только на одной модели. Масштаб ее — одна стопятидесятая натуральной величины; это самая большая модель из всех имеющихся в нашем Советском Союзе. На этой модели, подвергаемой действию воды, ученые лаборатории ведут

при помощи новых приборов, измеряющих колебания уровня воды, автоматически записываемые на осциллографе, изучение явлений неустановившегося волнового движения водного потока в пределах Куйбышевского гидроузла.

В изящном особняке Государственной библиотеки, с ее ценными книжными фондами и коллекцией первопечатных книг, с ее крупными вкладами последних лет (книгами бывшего «Лазаревского института» и др.), временно приютился «Матенадаран», в точном переводе «рукописехранилище». Для него, по проекту архитектора Марка Владимировича Григоряна, достраивается окруженное парком, из базальта и прямо в базальтовой скале, особое, величественное здание, с широкой лестницей, ведущей ко входу, со статуями армянских историков по оба крыла, с подземными хранилищами и античной залой для занятий.

Богатства «Матенадарана» составились из рукописных фондов Эчмиадзина, отдельных армянских монастырей, в их числе Ахпатского и Севанского, и многих других источников. Сейчас в нем насчитывается девять с лишним тысяч рукописей и множество фрагментов, пергаментных вставок, от двух до шести страниц, из более древних рукописей, находимых за переплетами, куда их помещали переписчики для придания твердости переплету и чтобы защитить рукопись от сырости.

В 1945 году вышла вдохновенная книга академика И. Ю. Крачковского «Над арабскими рукописями». В ней автор подробно рассказывает о своих скитаниях по лицу земли в поисках нужных ему рукописей. Тихие залы самых разнообразных библиотек, удивительные образы самых несхожих ученых всевозможных национальностей проходят перед читателем. От рукописного отдела Публичной библиотеки и Азиатского музея в Петербурге до «Восточной библиотеки» в Бейруте, Хедивской и Аль-Азхари в Каире; от Национальной библиотеки Парижа до больших и маленьких, шумных и тихих библиотек Алеппо, Иерусалима, Александрии — всюду склоняется русский ученый с любовью над пожелтевшим пергаментом, вчитываясь в далекое, ушедшее время... Но время, оказывается, не ушло, забытые

письмена живут, тихие залы полны великого внутреннего движения. Живой, реальный Египет, живая Сирия, где сейчас борются порабощенные империалистами народы за свое национальное бытие, встают из шелестящих листов тысячелетней давности. Потому что, отвлеченные для буржуазной науки, эти пергаменты конкретны, как кровь сердца народа, для потомков тех, кто писал их, и для представителей новой, социалистической науки, не знающей «мертвых культур» и «мертвых народов». Академик И. Ю. Крачковский, закончив свою книгу, написал в «прелюдии» — предисловии: «Вспоминая свои переживания над рукописями, я не мог не говорить о том, как малейшая деталь работы здесь связывается с широкими вопросами истории культуры, как все в конечном итоге вливается в мощное движение на пути к высоким идеалам человечества» [125].

Для каждого ученого наших национальных республик такое чувство над рукописями, над «малейшими деталями работы» с ними естественно и понятно. Но в Армении к этому прибавляется и другое чувство, которое можно назвать объективной гордостью; древние армянские летописцы и наследство их заслужили славу в кругах ученых.

Много раз значение армянских летописцев критически обсуждалось и переоценивалось, а новые и новые открытия, которыми ученые обязаны армянским рукописям, не прекращаются и до сих пор, потому что богатства их еще не изучены и не исчерпаны.

Армяне-миниатюристы внесли свой вклад в искусство украшения книги, а древние армянские летописи повлияли на создание некоторых мировых мифов и сюжетов,— таких, например, как Ара Прекрасный,— Ярило, Эрос, вечно возрождающийся бог весны, или Агасфер, вечный странник, которому не дозволено умереть. О том, что легенда об Агасфере армянского происхождения, можно прочитать в хронике Филиппа Мускэ, в английской летописи Матвея Парисского, писавшего в XIII веке о посещении армянского епископа, рассказавшего ему эту легенду; на того же епископа ссылается и итальянский астроном Гвидо Бенати, приводя легенду [126].

Но армянские монахи-летописцы забредали в Европу не только в XIII веке, а и в VII, спасаясь от власти арабского халифата. Вот что пишет А. Н. Свирин в своем исследовании «Миниатюра древней Армении»:

«Арабское завоевание способствовало проникновению в Англию и Ирландию монахов коптских, сирийских и армянских, имена которых упоминаются в ирландских молитвенниках, например, египтянин из Disert-Milaig, армянский епископ de Kiïlgh и многочисленные «ромей», то есть византийцы. Эти люди принесли с собою искусство украшения книги... Достаточно взглянуть на евангелие VIII века в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (F, VI, № 8), чтобы убедиться в наличии восточных элементов в ирландском искусстве» [127].

С такими предварительными сведениями мы переступаем порог временного ереванского помещения «Матенадарана». Особый воздух,— суховатый дух пергамента, дыхание пальмовой и кипарисовой пыли от дощечек переплета, металлический запах бронзовых застежек и — словно цветы в комнате — странный аромат древних миниатюр, как если бы художник растирал вместе с тушью, с киноварью, с эмалью и позолотой одному ему ведомые сухие эфирные масла,— охватывает вас. Временное хранилище еще очень несовершенно. Здесь темно, как и полагается, но еще недавно рукописи за недостатком места не были разложены на расстоянии друг от друга, а плотно лежали в сундуках, обитых цветною жестью. Страстный патриот своего дела, директор «Матенадарана» проф. Г. Абов показывает сперва самую старую бумагу в нашем Союзе, бумагу X века, на которой переписаны работы знаменитого математика VII века Анания Ширакаци. Это самая древняя рукопись «Матенадарана» на б у м а г е.

За нею кладут перед вами древнейшую рукопись на п е р г а м е н т е, так называемое Лазаревское евангелие, написанное по армянскому летоисчислению в 336 году, то есть в 887 году по нашему исчислению (армяне вели свой счет с 551 года, принимая его за первый). Но в «Матенадаране» есть и более древние об-

разцы: палимпсест от V века, найденный в переплете рукописи 1283 года, и другие фрагменты VI и VII веков. Евангелие от 1053 года с дивными миниатюрами художника Ованнеса; евангелие 1193 года на пергаменте, с сиянием прочных красок армянских миниатюристов, с фигурами двух заказчиков под одной из миниатюр; евангелие 1411 года — с приписками на еврейском языке. Очень интересна рукопись XV—XVI веков — «Александрия» Псевдо-Калисфена, переведенная на армянский язык, с рисунками художника Акопа. А вот рукопись, вызвавшая в Армении множество разговоров и надежд. Она из Турции, написана в 1280 году. В ней собраны духовные проповеди, а в самом ее конце несколько страничек из некоего Зенона «О добре и зле», перевод с греческого от VII века. История античной и средневековой литературы знает несколько Зенонов. От древнегреческого философа Зенона, как известно, не сохранилось ничего. Работники «Матенадарана» долго лелеяли в тайниках души невероятную надежду: не окажется ли этот их Зенон тем, единственным,— надежда, конечно, мало на чем основанная.

В «Матенадаране» много рукописей, интересных для братских республик,— древнегрузинских и азербайджанских. В дни подготовки к юбилею Низами Гянджеви [128] большим событием было обнаружение «дивана» (сборника стихов) Низами на азербайджанском языке. Есть здесь и «Хамсэ» (пятикнижие Низами, охватывающее пять его поэм) от 1560 года и более редкие экземпляры узбекского классика Алишера Навои [129] — «диван» от 1499 года. В философском отделе среди множества ценных рукописей — несколько переводов Аристотеля. В этом отделе, как, впрочем, и в других отделах, мы встречаем армянских ученых, погруженных в живую работу.

«Матенадаран» — древнейший мир книги и высокой культуры ее — раскрывается в живой и бессмертной связи своей с современностью.

На черном небе над Ереваном зажглись крупные звезды. Внизу, в городе, сразу со всех сторон вспыхнули тысячи огней. Мы прощаемся с древней книгой и по ступенькам сбегаем в современность.

За четверть века до Октябрьской революции в Тбилиси работал геолог Ованнес Карапетян [130]. Он обладал редким талантом — чувствовать и угадывать месторождение, и его нарасхват приглашали для экспертизы всевозможные крупные компании. Закавказье было тогда еще мало обследовано. Карапетян со своим геологическим молоточком пешком обходил неисхоженные ущелья, взбирался на скалы и всюду, щурясь на неожиданную находку, отбивал себе образцы пород или редкие минеральные курьезы. Так изо дня в день он накапливал свой музей, где можно было увидеть красивые кристаллы пирита из медных рудников Армении, тяжелые кристаллы азербайджанского магнитного железняка из Дашкесана, круглые черные зерна, «оолиты», богатейшего грузинского марганца из Чиатури. Геолог мечтал о создании огромного музея в своей родной стране, Армении, о первой литологической карте для нее. И после революции он перебрался со всеми собранными им сокровищами в Ереван, а умирая — завещал их республике.

В первые годы революции молодая девушка Сиран Тигранян, советский инженер-геолог, ездила в экспедицию на практику, проводила ночи у костра, спала в шалашах, с наслаждением взбиралась на седло и давала ласковые имена своей крестьянской мохнатой лошадке. Прошло четверть века. Сиран Тигранян стала заведовать Геологическим музеем в Армении, начало которому положила коллекция О. Т. Карапетяна.

Спустившись по улице Абовяна к центру, почти тотчас за гостиницей «Интурист», во втором этаже небольшого, стиснутого соседними домами особняка находишь этот музей, открытый в утренние часы. Рядом с его экспонатами — учебные коллекции для молодых геологов. Музей не очень велик, но в нем есть постоянное движение к новому: меняются экспонаты, прибавляются отделы вновь открытых месторождений, растет познавательная часть — графики, диаграммы, рисунки на стенах. Лучше всего представлен туф — всех видов и оттенков. Армения, «страна камней», царство строитель-

ного материала, всяческого: и цемента, и глины, и стекла, и черепицы, и кирпича, и пемзы, всего, что замешивается из вулканической глины, песка и кальцита,—встает сиянием красно-желто-фиолетовых туфов на длинных полках. Богато показан поделочный материал, мрамор из Арзакенда и оникс Агамзалинского месторождения под Ереваном, где уже побывал читатель, розовый и голубоватый агат из села Севкар под Иджеваном, куда читатель еще заглянет. Со стены глядит знакомая станция метро «Площадь Свердлова», но кажется, что мы знакомимся с нею на этом рисунке впервые. Шахматные плиты ее мраморного пола совершили далекий путь в Москву: черные квадраты из знаменитого черного арташатского мрамора, белые — из агамзалинского оникса. Серые многогранники ее колонн тоже армянские — из серого арзакендского мрамора.

В музее можно увидеть и золотистые кристаллы гипса из Котайкского района, и севанские хромиты, и медь, и много другого, чем богата республика. Составлена литологическая карта, о которой мечтал старый геолог Карапетян. Много талантливых геологов работает сейчас в Армении. Фундаментальный труд в 80 печатных листов «Геология Армении» написал действительный член Академии наук Армянской ССР К. Н. Паффенгольц.

Если вернуться из Геологического музея к гостинице, видишь по правую сторону от гостиницы приземлившееся здание старой мечети с круглым куполом персидской кладки, с узеньким входом в большой прохладный зал, кажущийся подземным.

Зал мечети используется местным союзом художников — и не только им — для периодических выставок. Тут всегда можно увидеть какую-нибудь городскую новинку, связанную с текущей заботой дня, проекты перепланировок городов, модели новых строек или машин, кустарные изделия; в дни войны здесь была выставка остроумных карикатур художников С. Арутчана и Чилингаряна.

Но чтоб узнать искусство Армении, надо идти вниз по улице Абовяна, дальше, за Геологический музей,

оставляя по правую руку Комитет по делам физкультуры и спорта, к большому, занимающему целый квартал зданию из туфа. Одним своим концом это здание выходит на новую просторную площадь, лучшее место в городе, где стоит огромная прекрасная статуя Ленина. Оно глядит на площадь белою колоннадой портика, спускающегося широкими ступенями к большому бассейну; серебристая водяная пыль от высокого фонтана стоит над бассейном в жаркие дни, обдавая цветники вокруг. Это одно из красивейших мест в городе. Главным входом здание смотрит на улицу Абовяна, когда-то самую широкую в Ереване, а сейчас, рядом с двумя параллельными улицами и особенно с широким проспектом Сталина, кажущуюся только узким переулком; густые деревья по обеим сторонам тротуара,— свидетели десятков лет жизни города,— заботливо выращены в этой «зоне пустыни»; в прохладной тени их во все времена года и особенно весною, когда зацветает пшат, толпой движутся гуляющие. Второй боковой стеной здание заняло весь небольшой переулок, спускающийся к улице Налбандяна. Этот внушительный, облицованный белыми плитами квадрат получил название Дома культуры Армении; и если наверху, в самой верхней зоне улицы Абовяна, сосредоточена социалистическая наука Армении, то здесь, в его «дельте», у главной площади Еревана, помещается Филармония, собраны старое, дореволюционное, и новое, советское, национальное по форме и социалистическое по содержанию, искусство Армении, археология и литература. Три богатых музея — Исторический, Художественный и Литературный — открыты здесь для посетителей; кроме них, музей Революции, размещенный пока на нескольких витринах Исторического музея, и Этнографический — целый калейдоскоп великолепных ковров, национальных костюмов, одежды трапезундской и ахалцихской армянок, амулеты для верблюдов из белых индийских раковин [131], акты о первых колонистах-армянах в России, бархатный альбом с «Указом об основании Ново-Нахичевана и переселении туда крымских армян» и с автографом Екатерины II [132], подписавшей этот указ. Кстати

...ать, в бывшем маленьком городке под Ростовом — ...ахичевани на Дону — местные его жители, армяне, уже не знают своего прошлого и вряд ли видели этот ...из. История его такова: часть анийских армян, эмигрировавших в средние века из Ани в Европу, бежала в Крым, когда там были еще итальянские фактории, и жила там несколько веков; а потом эти крымские армяне подали прошение Екатерине II о том, чтобы она приняла их в русское подданство и поселила в южных степях России. Так был основан Нахичевань на Дону с армянскими деревнями вокруг него. Позднее из Нахичевани на Дону вышло много талантливых армян, в их числе — поэт Рафаэль Патканян [133], знаменитый публицист-философ и революционный демократ Микаэл Налбандян и народный художник Армении Мартирос Сарьян.

Пробираемся с читателем коридорами и лестницами в светлые залы Исторического музея.

Строго декорированы залы, огромно впечатление стиля от расставленных под стеклом, развешанных и размещенных экспонатов. Понять предмет помогает его «отвлечение» — художественные рисунки и чертежи на стене. Мы проходим не только по залам, но и по тысячелетиям, переходя из древнейшего мира, из эпохи кремня, первой стоянки человека начала третьего тысячелетия до нашей эры, палеолита, в конец третьего тысячелетия, эпоху первого сплава, бронзы, когда появляется прекрасный орнамент, изящество предметов ручного обихода и орудия; во второе тысячелетие до нашей эры — крито-микенскую культуру; в первые века до нашей эры — в раскопки урартские; в нашу эру — в раскопки древней Армении — Арташат, Двин; в средние века — в мир Ани, его городскую культуру, классическую прелесть его архитектурных памятников. Примечателен в музее отдел древностей, представленный наиболее богато. Палеолит дан коллекцией А. П. Демехина; начало бронзового века — раскопками у села Шенгавит, несколькими образцами древнейшей, зеленой от времени, бронзы; первое тысячелетие до нашей эры — раскопками у так называемого могильника Редькина в Дилижане, раскопками Кафадаряна у Кармир-Блура,

где открыта урартская крепость VII века до нашей эры; раскопками в Иджеване, в селе Головине, у Нор-Баязета (колесница бронзового века, вырытая покойным археологом Ервандом Лалаянцем еще до революции) и др. Доказательства существования в Армении палеолита, памятников каменного века имеют огромное значение для науки. Советские ученые работают над созданием большого труда по истории культуры в нашей стране, занимающей шестую часть света, и начало древнейшей жизни на ее земле, отвергающееся многими западными учеными, подтверждается сейчас работами археологов. Находки в Сибири, на Алтае, на Урале перекликаются с закавказскими.

В том же здании расположен другой музей, Художественный, точнее Музей изобразительных искусств. И, вступая туда, вы в первом же зале получаете яркое впечатление от его большой и серьезной ценности.

Приезжие гости, видя новую, Советскую Армению, обычно поражаются экономическими переменами в ней. Вместо древней сохи, в которую впряжено было несколько пар волов, ходит трактор по выхоленным полям; передовые колхозные формы возделывания земли, новые, никогда здесь не виданные раньше культуры; вместо ремесленных лавочек вокруг грязного базара — огромная, мощная промышленность на собственной электроэнергии, целые комплексы заводов: химических, машиностроительных, механических, пищевых, текстильных; вместо старого «глхатуна», черной норы в земле со входом, подпертым двумя очищенными от сучьев кривыми стволами,— двухэтажные каменные дома колхозников, обставленные по-городскому.

Но другую перемену, внутреннюю перемену, о которой можно тома написать, потому что она касается не только материального бытия народа, но и философии этого бытия,— народного самосознания, того, как сам народ осознал себя, нельзя понять поверхностным осмотром страны. Эту перемену надо пережить и почувствовать в ее народной жизни, в ее общественных, государственных и культурных учреждениях и, между

прочим, в том музее, куда мы сейчас вошли с читателем.

До Октябрьской революции Армения, страна древнейшего прошлого, неисчислимых, накопленных в веках ценностей, не имела никаких музеев. Это не значит, что она не имела экспонатов для музея. Нет, они имелись в большом количестве. Десятки лет велись раскопки и выкапывались экспонаты археологии. Целый средневековый город Ани выкопал Н. Я. Марр. Описывались архитектурные памятники, издавались альбомы. Кустари делали ценнейшие изделия из серебра, ткали ковры; художники-армяне рисовали; большим мастером, заполнившим картинные галереи царской России и широко известным за ее пределами, был старый маринист, крымский армянин Айвазовский; крупным художником, чьи яркие полотна покупали коллекционеры Европы и Америки, уже был Сарьян. Знали и других мастеров, работавших то в Москве, то в Париже, то в глухих городках провинциальной России,— Суреньянца, Башиджагяна, Фетваджана, Терлемезиана, Агаджаняна... И при всем обилии этих работ не было искусства Армении. При всем обилии экспонатов их нельзя было видеть вместе. Знаменитая колесница бронзового века, вырытая Е. Лалаянцем, стояла у него на квартире в Тбилиси, в комнате, превращенной в «этнографический музей»; город-музей Ани лежал за несколько километров от захолустной станции Ани, на самой турецкой границе; кустари жили в Ване, в Ахалцихе, в городах русских, грузинских, турецких, персидских; картины больших художников плыли за моря и океаны, уходили в особняки богачей, разбредались по десяткам пинакотек.

Было, правда, место, где предметы армянского мастерства собирались и хранились на родной земле и как свое национальное сокровище. Старый Эчмиадзин, местопребывание главы армяно-грегорианской церкви, католикоса, имел свой музей и — больше того — имел культурных собирателей этого музея, умевших вести большую научную работу, епископов с учеными степенями докторов, таких, как Месроп, составивший огромный каталог всех армянских рукописей, Гарегин, автор

большого исследования об армянской миниатюре, и др. Но именно Эчмиадзинский музей и показывал наиболее убедительно дореволюционной Армении, что подлинного музея в ней не было. Собранные в Эчмиадзине отдельные картины, превосходные изделия ванских кустарей, дивные образцы миниатюр, предметы археологии и этнографии производили впечатление тех средневековых передвижных (обычно на колесах) собраний случайных и не связанных какой-либо прочной органической связью предметов, которые назывались в средние века «кунсткамерами»: зачатки музея, но еще не музеи. И богатый музей в Эчмиадзине был в сущности такой вневременной кунсткамерой, где можно было полюбоваться на многое, с гордостью, с удивлением,— вот-де что способны делать армяне,— и, однако же, не пережить встречи с народом в целом, потому что народ был раскидан по земле, не существовало Армении как самостоятельной страны и связь настоящего с прошлым была разорвана, история как бы остановилась.

Буквально с первых же месяцев создания советской республики Армении, когда история Армении началась снова, в августе 1921 года в Ереване был организован и первый настоящий Государственный музей Армении, который позднее распался на три: Исторический, Изобразительных искусств, Литературный. Правительство Армении тотчас отпустило средства на приобретение экспонатов. Много ценных картин Армения получила из Москвы, пополняющей все наши республиканские и областные картинные галереи. За четверть века музей довел число экспонатов до восьми тысяч. И вот что заставляет задуматься. В Эчмиадзине были собраны исключительно армянские вещи; Е. Лалаянц в Тбилиси, в своем «этнографическом музее», собирал только армянские археологические предметы, ставя себе задачей создать и сохранить народные памятники искусства; армяне-археологи, армяне-коллекционеры, армяне-меценаты собирали и составляли, издавали альбомы и описывали предметы по основному признаку — принадлежности их армянским мастерам и творцам. Но, несмотря на такой отбор, эти собрания и коллекции

не создавали национального музея, не давали представления о живом национальном искусстве.

Картинная галерея молодой Армянской советской республики с момента ее создания открыла три раздела — армянского, русского и западноевропейского искусства (потом прибавился и четвертый — иранского искусства),— иначе сказать, вместо узкой ограниченности подошли к задаче государственно. Что же случилось? Армянское искусство в музее зажило среди искусств других народов полнокровной исторической жизнью, показало глубокие свои народные корни, живую культурную связь с великим русским искусством, с искусствами братских республик, особенно закавказских, то есть в сущности и сделалось вполне национальным. Это факт очень поучительный. Он ярко подтверждает простую истину, что государственная самостоятельность помогает нашим советским народам утверждать свое национальное начало при помощи ясного осознания своей исторической связи с передовой русской культурой и во взаимодействии с национальными культурами других советских республик.

В залах Ереванской пинакотеки свыше 8 тысяч образцов. Да еще надо прибавить к ним 2 тысячи гравюр, рисунков и эстампов. Их нелегко обойти и еще труднее перечислить даже только наиболее ценное. В русском отделе можно найти почти всех видных мастеров с конца XVIII века до наших дней, начиная с Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Сильвестра Щедрина, Кипренского, К. Брюллова, Тропинина, Венецианова (представленных подчас прекрасными вещами). Из «передвижников» есть Перов (авторский дубликат картины «Деревенские похороны»), семь работ Репина, пейзажи Шишкина, Левитана, Поленова. Одна из лучших работ Серова — «Портрет Акимовой» — находится здесь. В музее богато представлены работы Сомова, Добужинского, Бенуа, Петрова-Водкина, Остроумовой-Лебедевой, Лансере, Рериха. Из скульпторов — Гордеев, Шубин, Мартос, Коненков, Голубкина.

В отделе западноевропейском посетитель может ознакомиться с фламандской школой (Рубенс —

«Шествие Силена», дубликат лондонского экземпляра; Ван-Дейк — «Снятие с креста»; Теньер; Фейт); с голландской школой (ряд первоклассных пейзажей и натюрмортов Ле-Дюка, Дюжардена, Нетшера, Берхема, Ф. Вувермана и других, до некоторой степени возмещающих отсутствие Рембрандта); французской XVIII века (Фрагонар — «Ринальдо и Армида»; Друэ младший, Грез, скульптуры Фальконе, или, как мы называем его по петербургскому памятнику Петру Великому, Фальконета, Клодиона) и XIX века (среди них головка Курбэ, пейзаж Зиема).

Молодые армянские живописцы, экскурсии учащихся, рабочих, колхозников Армении, ее интеллигенция, городская и сельская, могут не только по одним репродукциям или по музеям других городов Советского Союза, а и у себя дома по этим двум отделам представить себе основные этапы и школы развития дореволюционной русской и западноевропейской живописи. А ученики художественного вуза могут здесь долгие часы проводить за копированием классиков, упражняя свой глаз и свою руку. Художественный институт образовался в Армении сравнительно недавно — с 1945 года. Во главе его стал крупный скульптор, Ара Саркисян. В 1950 году институт закончили 26 человек по всем четырем отделениям: живописи, скульптуры, графики и театральной декорации. Какие традиции своего национального искусства были у этих первых выпускников первого армянского Художественного института? Мы знакомимся с ними в армянском отделе музея.

Этот отдел огромен, и ценность его исключительна. Около 100 рукописей на витринах раскрывают высокое искусство армянской миниатюры различных школ. Музей подготовил издание «Памятники армянской миниатюры в собраниях Советской Армении» — о 125—150 лучших рукописях, хранящихся в музее и в «Матенадаране». Скачок через «бездну времени» — от филигранного монастырского искусства миниатюристов к XVII веку. В XVIII веке армянская живопись ярко показывает связь свою с живописью Грузии и Азербайджана. Целая галерея

живописцев по фамилии Овнатан — шесть поколений даровитой армянской семьи в Тбилиси, начиная с художника Нахаша Овнатана (конец XVII — начало XVIII столетия) и до Мкртума Овнатана и его сына, самого талантливого представителя семьи, Акопа Овнатана, представлена в музее.

Акоп Овнатан, мастер портрета, пишет еще скованно и аскетично, связанный старыми традициями, но уже кисть в его смуглых, однообразных, несколько иконописных по приему портретах пробивает дорогу подлинному реализму, и люди Овнатана — в уголках губ, в движении век, во взгляде, в линии бровей, в морщинах — живут углубленной и исторической конкретностью, воссоздавая типичный образ тбилисского армянина середины прошлого века.

Дальше сразу скачок в XIX век — картины мариниста Айвазовского, художников Суреньянца, Татевосяна, Башиджагяна и других, знакомых советскому зрителю по Третьяковской и другим русским картинным галереям. Вслед за ними — наше советское время, вырастившее за тридцать лет столько армянских мастеров, что их число в десятки раз превышает дореволюционных художников-армян. Советский читатель знает о них по выставкам, происходящим время от времени в Москве, по репродукциям, появляющимся иной раз в журналах. Ограничимся только беглыми словами.

Мартирос Сарьян — выученик русской школы, живописец, достигший большого мастерства в воплощении на полотне ярких красок Армении и Средней Азии, в понимании природы любимого им материала — пастели и темперы. Его чудесные натюрморты, декоративные панно армянских колхозных полей и строек, сияние его полотен, собранных вместе, дают много радости посетителям музеев. В 1951 году он выставил эскиз большого панно «Дружба народов», где все национальности нашего Союза собраны тесною группой, на фоне красивого горного пейзажа, в рамке богатых даров нашей земли. С Сарьяном вместе пришел в Советскую Армению старый мастер-монументалист С. Агаджанян. У обоих училась молодежь, поколение первых лет Октябрьской революции. С. Аракелян, начавший с нату-

рализма, вырос в художника-реалиста: зрелые его вещи посвящены армянской деревне и промышленности. Сестры Асламазян, давшие ряд красочных портретов, продолжают учиться и расти. Мастер армянского пейзажа Терлемезян перебрался в Армению из-за рубежа; он почти не знал влияния русской живописи, как это было у Сарьяна и Агаджаняна. Но, перебравшись в Советскую Армению, он тоже испытал второе рождение. Старые его пейзажи отличались какой-то нарядной красивостью, о которой хотелось сказать: «она — чересчур». Некоторым из них, бегло изготовлявшимся для продажи, грозила подчас даже слащавость. В Советской Армении Терлемезян стал писать глубже и серьезней, изменился колорит его полотен. Он вышел из пейзажа в жанр, в портрет. Мощному дарованию скульптора Ара Саркисяна Армения обязана тем, что имеет много монументальных скульптурных портретов своих деятелей. Романтичны статуэтки Степаняна, нежной лирикой полны работы скульптора-женщины Урарту, неутомимой и неистощимой на темы. Молодой скульптор Никогосян дал ряд небольших талантливых статуэток. Впрочем, он уже не считается «молодым»: целое поколение молодежи пришло ему на смену. Замечательны две скульптурные работы, выставленные дипломниками в годы 1950—1951. Первая — «Непокоренные» (Г. Г. Чубаряна): фигура пойманной девушки-партизанки, дощечка на груди, руки связаны, во всей ее стремительной позе, в откинутой голове столько сопротивления и гордости, что кажется — вот-вот разорвет веревки. Вторая — «Будущие строители» (Аршама Шагиняна). Два подростка в фартуках строителей, оторвавшись от кладки кирпичей, разглядывают чертеж возводимого здания. Один сидит, разложив бумагу на коленях. Другой, стоя, опустив руку с инструментом «мастерком», смотрит через его плечо вниз. Превосходно переданы черты нового в этих полудетях,— любознательность, желанье схватить целое своей работы, заботливый, хозяйский интерес к делу. Это вообще одна из лучших скульптурных работ последних лет...

В отделе графики — изящное мастерство Коджояна, создателя собственной школы, и других графиков. Это

беглый перечень имен лишь нескольких мастеров, сложившихся годы назад. Сейчас к ним прибавились десятки новых имен. Портреты работы Ефрема Савояна, Чилингаряна, Чорекчана, Погосяна (Герои Социалистического Труда), Карагезяна, Тер-Григорьяна; пейзажи О. Зардаряна (Арарат), Бекаряна, Степаняна, Гюрджана, Агабабяна, Е. Асламазян и много, много других. У этого среднего поколения художников уже прочнее связь с современностью. Но особенно ярко раскрывается эта связь в работах молодежи. Классом живописи руководит Эдвард Исабекян, представленный и сам в музее большими реалистическими полотнами. Его ученики — это целое новое поколение художников. К истории революции обращаются К. Варданян («С. Спандарян по дороге в ссылку»), М. Овсепян («С Шаумян на рабочем митинге в Баку»), А. Карагедян и С. Мкртчан («Шаумян у Ленина в Женеве»), Г. Ханджян («На II съезде партии») и др. Самые разные исторические темы интересуют молодежь, от образа национального армянского героя Вардана Мамиконяна (Арам Давтян) до «Взятия Суворовым Измаила» (Айказ Хачатрян). Если в 20—30-х годах армянские художники еще не вполне могли овладеть современною темой и предпочитали пейзаж и натюрморт, то сейчас содержание новых картин резко отличается от прежних. Посетители выставок видят в картинах свою советскую действительность, новый облик советской земли, не похожий на прежний, портреты новых людей, черты которых уже не отделяют резкими особенностями труженика деревни от труженика города. Молодежь с любовью передает жизнь. Вот беглый перечень некоторых тем дипломников: «В литейной», «На ветпункте», «На комбайне», «В гидроэнергетической лаборатории», «Героиня хлопковых полей», «Снова в родной семье», «Нас отметила «Правда», «Ученицы» и др. Я перечисляю работы дипломников 1950—1951 годов. Кое-что из них несомненно перейдет из временной выставки в музей.

Перед тем как снова выйти на улицу, задержимся в одном крыле этого огромного дома: там, где работают два связанных между собою учреждения — Институт

литературы и Литературный музей Армении. В институте было подготовлено к печати полное собрание сочинений Хачатура Абовяна, приуроченное к столетию со дня его смерти (1948). Книга статей С. Спандаряна «О литературе и искусстве» — около десяти печатных листов русского текста, дающая деятелям армянского искусства большевистски глубокие и до сего дня звучащие остро и злободневно критические указания и советы. Собраны 50 вариантов эпоса «Давид Сасунский» к тысячелетию эпоса. Еще в 1940 году курдский ученый Аджие Джнди составил сводный текст курдского эпоса «Кар и Кулуке», а позднее собрал интереснейший героический эпос «Дым-дым». Курды — одна из национальностей, населяющих Армянскую республику, и научная работа в их среде, особенно работа самих курдских ученых,— дело совершенно новое и молодое. В Институте языка подготовлены два словаря (армяно-русский и краткий армянский толковый) и на армянском языке книга «Классики марксизма о языке».

Очень интересны рукописный отдел и архив института. Тут на первом месте «Раны Армении» Абовяна, рукопись 1840 года. Раньше армяноведы знали эту вещь лишь по так называемому «беловому списку», сделанному на разговорном языке ашхарабаре, и отсюда старое представление, будто Хачатур Абовян так прямо и начал писать на ашхарабаре. Но великий основоположник новой армянской литературы прошел нелегкий путь создания литературного языка,— об этом говорит нам сейчас найденный черновик. Первоначальный его текст гораздо ближе к грабару. Абовян не сразу преодолел традицию, он проделал громадную работу над своим романом. Грабар, классический древнеармянский язык, гораздо суше и лаконичней, чем ашхарабар. Страницы романа покрыты бесчисленными исправлениями Абовяна, переводящими лаконизмы грабара на более длинную, но зато более понятную народу разговорную речь. Древнеармянский грабар был чужд многословным формам описания природы или предметов. И у Абовяна, в главе второй, где дается описание ереванской крепости, мы находим в черновике всего десять строк; между тем в беловике, где уже употребляется

разговорный язык, описание это разрослось до девяти страниц. Таких модернизаций отдельных слов, синтаксиса, стиля, формы множество в рукописи. Еще не проделано научной работы над нею, и читатель в полной мере не знает лабораторного труда Абовяна.

Очень интересна и другая рукопись института — «Давтар» Саят-Нова[134] от 1754 года, где грузинские песни записаны и по-армянски и по-грузински, азербайджанские — армянскими буквами.

Среди множества рукописей более позднего времени — оригиналы О. Туманяна, В. Терьяна[135], Р. Патканяна, Ованнесьяна, А. Акопяна и т. д., письма Налбандяна, заметки его на книге Гайма «Гегель и его время»[136], написанные в тюрьме. Русского читателя заинтересует рукопись перевода «Пэпо» Сундукянца[137] на русский язык, сделанного Вааном Терьяном и отредактированного М. Горьким. Ценнейшие для переводчиков замечания Горького можно извлечь из этих его поправок. М. Горький был явно против слишком большой руссификации перевода; где переводчик предлагал взамен армянского слова на выбор несколько русских, Горький обычно вычеркивал все слишком русские, с оттенком простонародности, и останавливался на наиболее простом и литературном слове: например, переводчик предлагал на выбор «отдохни малость», «отдохни немного»,— М. Горький вычеркивает слово «малость» и оставляет слово «немного».

Тут же, в архиве, письмо Горького к А. Ширванзаде от 1 февраля 1916 года, писанное еще старой орфографией, где Горький сердечно благодарит Ширванзаде за хвалебный отзыв, пишет, что знает Ширванзаде и по его вещам и по рассказам, слышанным о нем в 1893 году, когда Горький сидел в тюрьме в Тбилиси, в Метехском замке.

Кроме рукописей, в архиве института хранится личная библиотека Налбандяна. Библиотека М. Налбандяна представляет огромный интерес. Она типична для передового мыслителя 60-х годов прошлого века. Много грамматик,— Налбандян учился всю свою короткую жизнь,— грамматики французского, еврейского, халдейского языков; книги медицинские, работы физиоло-

гов,— Налбандян, как известно, кончил медицинский факультет, и Герцен даже звал его в шутку «доктор Налбандян».

Интересно задумана и разработана выставочная зала Литературного музея. Раньше там был просто отдел советской литературы: книги, портреты, рукописи лучших армянских советских прозаиков — Степана Зорьяна, Дереника Демирчана, Наири Заряна (пишущего и стихи и прозу), Р. Кочара, Хечумяна, Анаит Сагинян, Ханзадяна, В. Ананяна и др.; стихи Аветика Исаакяна, Вагана Терьяна, Акопа Акопяна, В. Давтяна, Ахавни, Сильвы Капутикян, Георга Эмина, Гургена Борьяна, Маро Маркарян и др. Показаны были также и многочисленные переводы русских советских писателей на армянский язык.

Сейчас весь характер выставки изменился. Отличная идея положена в ее основу: дружба литератур Закавказья. Все писатели поданы под углом зрения этой дружбы, и экспонатов оказалось множество,— армянских, грузинских, азербайджанских. Тут и автограф малоизвестного широкому кругу писателей перевода «Витязя в тигровой шкуре» с грузинского на армянский, сделанного Вааном Терьяном (отрывок). Автограф комедии Мирза Фатали Ахундова «Алхимик молла Ибрагим». Прошение Абовяна о разрешении ему преподавать армянский и грузинский языки в первом классе Тифлисской уездной школы. И многое другое, говорящее об исконном интересе трех братских народов друг к другу, исконных культурных связях и взаимоотношениях.

Выходим из нескончаемых зал Дома культуры Армении на площадь Ленина. В ярком свете луны возникает слева волшебное многоарочное полукружие Дома правительства с прямоугольником башни, увенчанной квадратной колоннадой и глядящей вниз круглым белым циферблатом часов; с красиво усеченным углом главного входа. Четкий силуэт памятника Ленину встает над площадью. За ним — темные кущи бульвара, а еще дальше — звонкоголосые фонтаны у памятника Степану Шаумяну. Музыка вырывается из окон, не закрываемых до самой зимы.

Про этот новый район, выросший за несколько лет на пустыре, во всех речах и докладах говорят, что он сосредоточивает в себе 60 процентов промышленности всей республики Армении. Привыкнув к небольшим размерам Еревана, москвич или ленинградец думает домчаться к нему на машине в пять минут. Но мчишься и мчишься, а город не кончается и не кончается, и когда, наконец, доедешь до его «загородной» части, она оказывается и по ширине проспекта имени Орджоникидзе, и по оживлению его, по обилию движущегося народа, снующего взад и вперед всех видов транспорта, по огромным зданиям справа и слева больше похожей на центр столицы, чем нарядные, но спокойные верхние кварталы.

И еще одна особенность отличает эту заводскую окраину от такой же в старых наших городах. Старые окраины, застраивавшиеся задолго до революции, обычно сразу же показывали и свою старую социальную структуру и свою старую технику. Лачуги, жалкие домишки или грязные черные казармы с выбитыми окнами — жилище рабочих. Копоть и дым над трубами заводов, заволакивающие небо, грязнящие крыши, незримо осаждающиеся в легкие. Сами эти заводы с маленькими, тесными цехами, с допотопной техникой, с перепутанными ходами по замусоренным дворам, где внутризаводской транспорт из-за многолетних перестроек до того осложнен, до того затруднен, что и механизировать его трудно; и где и помину нет, наконец, такого «баловства», как хотя бы чахлое зеленое деревце перед окнами цеха... Когда мы сейчас вынуждены на некоторых очень старых заводах реорганизовывать эту тесноту и путаницу, перестраивать ее социалистически (как было, например, на бывшем Путиловском, ныне славном Кировском заводе в Ленинграде, имеющем столетние традиции и не могущем быть начисто снесенным и построенным заново), то перепланировка их отнимает огромное количество и времени и сил человеческих.

Но проспект Орджоникидзе в Ереване строился в основном последние пять-шесть лет. Это комплексное создание уже социалистической эпохи, развернутого нового заводостроительства на основах и новой техники и новых требований жилищного благоустройства. Отличные жилые дома, в садах и балконах, для рабочих. Бездымные или почти бездымные трубы, белые, чистые корпуса, стеклянно-бетонные залы цехов, просторные, обдуманно разрешенные в каждой своей части,— потому что новая технология, поточный метод, стахановский труд, механизация внутрицехового транспорта и т. д.— все это диктует новую расстановку машин в цехах. И чистые дворы с цветниками, с фонтанами, с белыми домиками библиотек, яслей, детских садов.

Вот они, гиганты, не кажущиеся гигантами из-за уютных и красивых оград, выходящие белым пятном своих стен на одну линию с жилыми домами проспекта. Электромашиностроительный завод, молодой, но уже известный на весь Союз, с молодыми, но уже перегоняющими стариков рабочими, 80 процентов которых комсомольского возраста. Станкостроительный имени Дзержинского, отправляющий станки во все края Союза. Автотрактородеталь — один из первых откликнувшийся своими делами на нужды великих строек. Кабельный, еще недавно лишь осваивавший производство, а сейчас уже дающий новый ассортимент кабелей. Шинный, крупнейший в нашем Союзе, славный еще и тем, что работают на нем женщины, показавшие себя передовиками соревнования; учились у Ярославского шинного, когда начинали, а сейчас соревнуются с ним и обгоняют его. Компрессорный — грузит свою продукцию во многие города Союза. Завод малых турбин, освоивший производство турбин для сельской электрификации и посылающий свою продукцию в Среднюю Азию, Азербайджан и другие части нашего Союза. Завод электроточных приборов — ну, этот сам за себя говорит одним своим названием. Карбидный — второй по счету карбидный завод в Ереване. Имени Кирова — огромный химический комбинат, механизированный по последнему слову тех-

ики. Рабочих средней квалификации на нем почти уже нет, — инженеры, техники, мастера — люди высокого класса техники. Это уже сам по себе целый город. На этом комбинате рука об руку работают русские и армяне. Я перечислила лишь главные заводы. В районе есть еще и другие: отличная суконная фабрика, чьи тонкие сукна уже то и дело видишь на москвичках,— эти сукна так и называются «Ереван»; табачная, макаронно-кондитерская фабрика, две мебельные, две обувные, лесокомбинат; заводы металлоконструкций, лакокрасок, стройматериалов, гашеной извести. А если еще прибавить железную дорогу (вокзал, депо), множество строительных организаций, ипподром, постояннную сельскохозяйственную выставку, то Сталинский район предстанет перед вами как целый большой промышленный город. И жизнь в нем — своя особая жизнь.

Вы зашли в райком и попали на заседание. Но не обычного типа. Не похож на обычного докладчика тот, кто стоит сейчас у трибуны. Это молодой паренек с живым лицом и быстрыми, внимательными глазами. Собственно, и не такой уж молодой,— ровесник второго года революции. Но на станкостроительном заводе, где он вырос и первый поднял движение скоростников, этого талантливого токаря, Тиграна Тумикяна, зовут «наш сынок». Не похожи на обычных участников заседаний и собравшиеся в большом зале люди: это всё токари, цвет и гордость своей специальности не одного только, а многих заводов и фабрик района, токари, пришедшие послушать своего товарища. Впрочем, тут можно встретить и не только токарей. Сюда заходит старый изобретатель, бывший путиловец, Агеев Тимофей Иванович; умный лоб его рассечен шрамом,— память об одной из боевых кампаний, проделанных за долгую жизнь; дышит он не легко — от астмы, а глаза светятся молодым интересом ко всему, что касается техники и производства; он — прирожденный изобретатель-педагог, любящий готовить смену; и не одиночек готовить, а сразу целую группу, человек по сорок — пятьдесят. Агеев сейчас начальник опытной мастерской электромашиностроительного завода. Здесь можно встретить и модно причесанную, нарядную, очень еще

молодую крестьянскую девушку Паранцем Мелкумян. Совсем недавно она пришла на завод из Ноемберянского района республики, до смерти боялась и машин и незнакомых людей, ничего не знала. А сейчас делает обмотку быстрее, чем опытная обмотчица на электромашиностроительном в Харькове. Тут и другие знатные люди республики: худощавый и остроумный Роберт Хачатрян, кажущийся старше своих 23 лет,— тоже скоростник; мечтательный и красивый, как девушка, мастер заготовительного цеха Анушаван Геворкян; кажется, слóва громкого не скажет, такой застенчивый и тихий по виду этот мастер,— а у него славная боевая биография, он был беззаветно храбрым солдатом на фронте Отечественной войны. Впрочем, и там, совершая подвиги, оставался верным себе самому: в характеристике, данной ему военным командованием, наряду с храбростью и дисциплинированностью, отмечены «вежливость и тактичность». Большая часть собравшихся — молодые люди, но повидавшие фронт, понюхавшие пороху. А есть среди них и совсем юнцы, такие, для которых Отечественная война — глубокое прошлое, время их детства. Это молодежь годов рождения 1928—1929. Вот два закадычных друга с завода «Автодеталь» — Жора Шагинян и Мартын Арутюнян. Жора — шлифовальщик; не успел выйти из учеников на разряд, как сразу же рационализировал свою работу и на каждой детали сберегает 21 секунду, а за рабочий день перевыполняет план почти в шесть раз. К новому году — 1 января 1951 — Жора очутился сразу в 1960 году. Он депутат Ереванского городского Совета, кандидат партии. Лицо у него юное и простодушное; низко, по самые брови, начесаны волосы, орлиный нос. Его друг, Мартын, тоже, как Жора, ереванец родом. У него такая же короткая с виду производственная биография, но с интересной и необычной подробностью: Мартын начал было работать на двух станках, а вот сейчас перешел опять на один станок. И, перейдя с двух на один, стал давать продукции больше и качеством выше, чем давал на двух станках. Это получилось потому, что он научился брать от одного станка больше, чем мог бы на двух: особо организовал рабочее место, особо

подготовил станок, обдумал каждое свое движение, чтоб не делать лишних. Кроме того, местный рабочий Радик Меликян придумал новый метод особой постановки детали на станок и при этом изобрел тормоз, сразу останавливающий станок, когда нужно, отчего времени и лишнего холостого хода тратится меньше. Вот этот метод Радика Меликяна он и использовал.

В его биографии вот что ново: старшее поколение рабочих тянется за корифеями-новаторами, почти от каждого токаря, например, слышишь о том, что его увлек ленинградец Борткевич, заинтересовал Борткевич. А самое молодое поколение рабочих уже имеет свои местные образцы, своих местных вожаков, как Радик Меликян. И они в гораздо большей степени занимаются спортом, чем поколение среднего возраста. От тех редко-редко услышишь об интересе к шахматам или футболу, а эти — все спортсмены. И если про Тумикяна старшее поколение рабочих говорит «наш сынок», то про этих оно может сказать «наши внучата».

О чем же говорит перед собравшимися рабочими Тигран Тумикян? Он делится с ними замечательным опытом скоростной работы. Он рассказывает, как увлекся ленинградцем Генрихом Борткевичем, как решил применить его приемы и как добился вначале большой скорости; но очень мешала стальная стружка. При скоростном резании она мгновенно накапливалась в огромном количестве и, как лиана, опутывала инструмент. Что тут делать? Тигран Тумикян вспомнил проф. Касьяна, изобретшего прекрасные камнерезные станки. И вот ученый и токарь дружно стоят у станка, ученый помогает токарю — резец проф. Касьяна автоматически подсекает накопляющуюся стружку и не дает ей оплетать инструмент. И об этом идет рассказ знатного токаря.

В Сталинском районе, секретарь которого имеет ученую степень, такие собрания происходят очень часто. Ни одного интересного замысла ни на одном заводе не проходит без того, чтоб бюро райкома не ознакомилось с ним, не заслушало автора и не устроило

обмена его опыта со всеми другими заводами района. Отсюда — массовое движение рабочих за овладение новыми приемами работы.

Заглянем и в кабинет директора электромашиностроительного завода Гугена Тиграновича Чолахяна. Сперва он расскажет историю завода, характерную и для многих других того же района: завод был построен в 1940 году, законсервирован и только в 1947 году передан в Министерство электромашиностроения; профиль его — электромашины для сельского хозяйства. И в 1950 году, несмотря на недостроенность многих корпусов, завод сумел за 11 месяцев выпустить машин в четыре раза больше, чем за весь 1947 год. Так растет техника и производительность труда.

— Назовите Электросилу, Московский трансформаторный, «Динамо»,— среди этих заводов наш занимает пятое место, а достроим корпуса — и выше сядет! — с нежностью говорит директор. И в тоне его слышится такая же законная гордость, с какой когда-то сказал Генрих Гейне в своем знаменитом стихотворении:

Und nennman die besten Namen,
So wird auch der meine genannt...

Перечислят лучших поэтов —
И меня назовут среди них...

Чтобы представить себе дневную выработку этого завода, надо помнить, что число трансформаторов и генераторов, выработанных на электромашиностроительном за один день, больше числа трансформаторов и генераторов, получаемых всеми тремя республиками Закавказья за один год.

К концу 1955 года завод выпустит десятки тысяч передвижных подстанций для сельскохозяйственных работ. Это последнее слово сельскохозяйственной техники. В 1950 году здесь освоили очень нужную продукцию: щит управления. «Мы тридцать лет ждали такой продукции»,— говорят работники сельского хозяйства. На своей железнодорожной станции, рельсы которой въезжают в самый цех, завод грузит и грузит эти стройные, чисто окрашенные масляной краской щиты,

отсылаемые на места «комплектно», то есть вместе с генератором.

Молодостью веет от стен завода. Молоды его рабочие, вчера еще — ученики заводских школ. Молоды его инженеры, пришедшие сюда прямо из втузов — Ереванского, Тбилисского, Бакинского. Молодо самое сырье, на котором завод работает: медь — в основном своя, армянская, из новых плавильных печей; трансформаторное масло — из Азербайджана; металл — из Руставского металлургического завода в Грузии...

Так, на примере только одного района, только одного города, только одной из братских республик нашего великого Союза ярко сказываются плоды мудрой политики большевиков, индустриализовавших наши бывшие глухие окраины.

И в годы великих строек второй пятилетки эти очаги индустриальной культуры стали особым оплотом связи наших народов и тесной их дружбы. Поэмы напишут когда-нибудь о братской помощи стройкам со всех концов Союза, от каждого промышленного очага любой нашей республики. Актом добровольного сверхпланового дара,— дара, охватившего людей творческой радостью,— сделались обязательства, даваемые заводами, фабриками, железными дорогами. Стройки и производства вступили в прямую связь друг с другом, люди их начали переписываться. Строители Цимлянского узла обратились с письмом к Кироваканскому комбинату имени Мясникова — дать им поскорей и побольше карбида лучшего качества. Личное обращение стройки обежало все цехи. И быстрая отгрузка карбида сделалась вопросом чести, дружбы, гордости для рабочих комбината. В Ереване для того же Цимлянского узла местный завод стройматериалов готовил мраморную крошку. Она изготовлялась в соревновании двух смежных бригад, дробильщиков и сортировщиков. Люди выполняли по две — две с половиной нормы в день.

Еще ярче и глубже сложились отношения между стройками и заводами кабельным и компрессорным в Ереване.

Наша страна давно уже знает о шагающих экска-

ваторах. Их острые и длинные профили появились в газетах, о них писали очеркисты. Но экскаватор шагает с помощью энергии, а энергию надо подвести к нему при помощи проводов. Восемьдесят (80!) километров проводов срочно понадобилось экскаваторному заводу «Минстройдормаш». Их должен был дать кабельный завод Еревана. Он отгрузил их раньше срока, и тот, кто принимал накладную, сказал ереванским кабельщикам:

— Товарищи! Жму ваши руки от имени работников экскаваторных заводов за досрочное и качественное выполнение заказа.

Компрессорный завод в Ереване должен был дать Волгодонстрою партию насосов. Комсомольская бригада, изготовлявшая их, вместо запланированных по норме семи насосов в день собирала по двадцать два. Заказ — дело государственное. Он исчисляется цифрами и процентами. Но не исчислить того, что сверх,— страстной борьбы за качество, за срочность, радости от полученной благодарности, личной дружбы и переписки, завязавшейся, например, между строителями Южно-Украинского канала и рабочими-арматурщиками Ереванского электромашиностроительного завода... Подобно многонациональной дружбе людей искусства на совместном труде, посвященном великим представителям литературы, музыки, эпоса, возникает тесная многонациональная дружба строителей и производственников на совместном труде для преобразования природы.

РОЗЫ И ПЕСНИ

Музыка и театр — это вечер в городе, искусственное солнце электрических ламп.

Фабричный гудок — это утро в городе. Последний свой день в Ереване начинаем с первым утренним светом, в машине, свернув от улицы Абовяна к городским закоулкам, чтоб посмотреть легкую и пищевую промышленность, тоже развившуюся за истекшие годы.

В тишине утра, словно омытый росой, лежит полупустынными улицами город, еще немой в центре и на

нинающий жить тем сильней, чем дальше от центра. Широкой лентой уходит вверх, в Арабкир, нарядный проспект Баграмяна,— к первому армянскому часовому заводу. Оттуда расходятся по Армении стенные часы и будильники; туда уже пришло оборудование для изготовления ручных часов.

Внизу, у самой Раздан, высятся серые крепости с превосходным каменным орнаментом на карнизе,— завод «Арарат», где в подвалах дышат тысячеведерные бочки сухой ароматной мадеры, десятки змеевиков концентрируют жидкое золото коньяка, и посетитель пьянеет от одного воздуха. Против Дома правительства, симметрично к нему, вырос архитектурный вариант его, дворец, где разместился трест «Арарат».

По правую сторону от главной городской площади, внизу, виден нежно-голубой купол главной мечети, в квадрате персидского дворика с бассейном и караван-сараями вокруг. На узкий минарет садятся голуби, розовые от солнца. Во дворе мечети пустынно. По левую сторону от площади дорога к рынку. Здесь просыпаются рано. Не так давно здесь был еще во всем своем азиатском своеобразии старый ереванский базар. Сюда с зарею пригонялись груженные последними овощами ослики; шли, неся в кувшинах овечье молоко и холодный мацун (лактобациллин), старые курды и курдянки; первые покупатели вливались в узкий дворик базара. На корточках разжигал свою жаровню продавец люлякябаба (жареного фаршированного мяса в виде узкой котлеты, посыпанной тертым барбарисом); раскладывала листы лаваша армянка в хлебном ряду. Сейчас здесь открыт светлый и культурный колхозный рынок со стеклянными павильонами.

Старый маслобойный завод (он сейчас обновился и производит драгоценные лаки), завод пластмассы, фаянсовый, стекольный, механический (Управления местной промышленности), суконная фабрика — невидимые за оградами, затерянные в еще живучих восточных кварталах, всосанные в желтые, глинистые тона окраин,— эти быстрорастущие очаги легкой промышленности труднее найти глазом, чем заводы-гиганты, над которыми стоят серо-черные пологи дыма.

Подъезжаем к тенистому саду. Никак не узнать на первый взгляд, что мы опять возле завода, одного из крупнейших в Армении, призванного еще более вырасти в ближайшие годы,— консервного. Весною из его открытых ворот вас охватит душным запахом роз. Это не химический запах. Войдя во двор, вы очутитесь на розовой плантации; тысячи кустарников, усеянных розовыми пышными чашечками, краснеющими к середине и бледнеющими к самому краю лепестка: особый сорт «съедобной розы», называемой здесь чайною. Клумбы обрамлены для красоты деревцами японских роз, раскинувших свои гроздья бесчисленных мелких цветов поистине каскадами красного пламени. Над этим розовым полем стелются, гудя, пчелы. Но директор отмахнется в ответ на ваши восторги.

— Это так, пустяки, мелочь, около двух тонн. А мы тысячами эти тонны получаем с колхозных плантаций.

Здесь же в саду ясли для детей работниц (на заводе 95 процентов женщин), тоже увитые розами. Нелегко попасть на этот завод. Вас переодевают, как врача, заменяя ваше городское платье чистым белым халатом, похрустывающим от крахмала. Сорок восемь душевых пропускают рабочих утром и вечером. Как таможенная застава, преграждает вам путь маникюрша, сидящая с арсеналом своих щеток и ножниц у самого входа: покажите руки! Руки,— пальцы, между пальцами,— все надо тщательно промыть, вычистить, обрезать и покрыть лаком ногти, чтобы не занести сюда, в питательный цех, инфекцию. Приемочная еще не завод — она открыта для «улицы»: сюда опрокидывают из мешков сотни тонн привезенных с утреннего колхозного сбора роз. Целые горы пьяного аромата, гималайский хребет тысяч сорванных чашечек, еще со слезинкой росы, не покоробленных солнцем, смятых, но свежих, возникает перед вами; и вам хочется упасть туда, в этот мир целебного цветка, из которого мудрый восточный врач тысячу лет назад изготовлял дорогое лекарство «гюльшакар», розовую эссенцию с сахаром.

Почти тот же самый «гюль-шакар», под названием «розовое варенье», охотно потребляемый и в Москве, и в Архангельске, и в Комсомольске-на-Амуре, изго-

товляет сейчас консервный завод. Продукция его строго сезонная — обрабатывается то, что по временам года дает земля. А так как в высокогорной Армении созревание плодов наступает поздно, то в конце мая можно застать на заводе только один работающий цех, изготовляющий два продукта: розовое варенье, готовое через два часа после поступления сырья, и варенье из грецкого ореха. Сырье для последнего — твердые зеленые шарики совсем молодого и незрелого плода, где зеленая скорлупа еще неотделима от желтоватой и мягкой сердцевины. Орех, в отличие от розы, обрабатывается целых девять дней, прежде чем выйти готовым вареньем.

Мы прошли по всем цехам: очистному, где пальцы (в маникюре!) быстро потрошили чашечки роз, отделяя лепестки от тычинок и стебля; варочному, где в чанах под кранами промывают лепестки, засыпают их в огромные котлы (со змеевиками внутри), варят в простом кипятке и стерилизуют, потом переносят в круглые медные тазы и уже варят их с сахаром. Много тысяч тонн сахара потребляет завод. В конце варки варенью «задают» натуральной лимонной кислоты — и продукт готов; остается дать ему остынуть и разлить в банки.

Более поздним летом на заводе работают все цехи: мясо-овощные, фруктовоконсервные, сухофруктовые; и тогда розовый запах исчезает отсюда, заменяясь острыми озонными запахами очищенного персика, щекочущим нёбо тяжелым и густым запахом томящегося в соку помидоров и растительных масел, разрезанного на ломтики баклажана... Девушка с розовым именем Вартитер (роза по-армянски — варт) переливает в банку золотистое варенье. Когда открылась дорога в осажденный Ленинград, одним из первых послал по льду Ладожского озера в бессмертный город Ленина 90 вагонов своей продукции Ереванский консервный завод.

Пока мы обошли весь завод и, усевшись в блистающей белым лаком и стеклом лаборатории, дегустировали с блюдечек, без хлеба, бесчисленные образчики его производства, жалея, что нет хорошей хлебной горбушки и чая с самоваром впридачу (тайное желание

каждого профана при дегустации!),— утро перешло в ясный и шумный день. Город загудел тысячью звуков, наполнились людьми улицы и учреждения, и мы двинулись навстречу новому знанию. На этот раз — знакомиться с работой армянских архитекторов и музыкантов.

История армянской архитектуры за советское время поучительна не только для Армении,— в ней отразились общие для всей нашей страны культурные процессы. До 1926—1927 годов была построена только первая Ергэс из армянского камня, в стиле древней классической армянской архитектуры. С 1927 года по 1934 год развертывается бурная дискуссия среди архитекторов; молодежь справедливо восстает против стилизации под древность, против насаждения элементов церковных форм в советских зданиях. Появляются и загибщики, перегибающие палку в другую сторону,— к подражанию упадочным западноевропейским образцам. С 1934 по 1938 год в Армении «период исканий»: уже признано, что в основу армянской архитектуры должна быть положена национальная форма. Но как и где ее искать? Одни обращаются к памятникам V и X веков, считая только их классическими образцами для подражания; другие настаивают на изучении и использовании культурного наследства Ани (XII—XIV века) с его городской, светской, более близкой нашим дням архитектурой.

Огромное оживление в жизнь закавказских архитекторов внесло совещание по национальной архитектуре, состоявшееся в 1940 году в Тбилиси. В этом совещании участвовали зодчие и искусствоведы Грузии, Азербайджана и Армении; от каждой республики делалось два доклада — по древней и по современной советской архитектуре. Из Москвы приезжали Алабян, Руднев, Колли, Буров, из Ленинграда — Симонов.

Но самым лучшим учителем армянских архитекторов оказалось растущее народное богатство, растущая советская культура города и деревни, рост техники строительства и стройматериалов,— те материальные условия, которые неизбежно начали переводить отвлеченные рассуждения о стиле и форме в живые, непре-

рывно создаваемые элементы формы и стиля. Массовое развитие художественных стелл — родников, непрерывные заказы на колхозные дворцы-клубы, на индустриальные стройки, на городские жилые дома, осуществление больших ансамблей, работа над малыми формами — оградами, вазами, лестницами и т. д.— все это дало архитекторам большой опыт и помогает вести отборку лучшего и худшего, удачного и неудачного.

В архитектурных мастерских появились женщины. Они создают проекты, строят; и фигурки в синих комбинезонах появились там, где их никогда не было,— на зыбких площадках и лесах многоэтажных зданий.

Архитектура становится в Армении всенародным делом. И уже создание новых кадров, воспитание их, обучение их происходит в самом Ереване, в своем вузе, на своей архитектурной кафедре, руководимой собственными большими специалистами. Это уже не только смена — это кузница кадров, создание новой творческой интеллигенции, идущей из деревень, из армии, из рабочих техникумов, из заводских цехов, из гущи народа.

Читатель, должно быть, уже заметил, какой скачок делает история армянской культуры при переходе от средних веков в наше время. Подобно перерыву в государственном бытии народа, потери им своей самостоятельности, прерывается и запись его культурного творчества, последовательное развитие этого творчества. В истории архитектуры есть материал для изучения древнейшего времени вглубь, к первым векам до нашей эры, есть материал о древнем мире, до IV—V веков нашей эры; есть дальнейшие века — от V до XIV века. Потом — пауза. После окончательной гибели Двина и Ани армяне строят лишь на чужой земле. Новая история армянской архитектуры начинается уже с советского времени. Возьмем литературу — обилие памятников рукописных, начиная с IV века и до XIII и XIV. Есть памятники устные — народный эпос и песни. Очень мало материалов XVI, XVII, XVIII веков. Но с середины XVIII оживает народная песня, расцветает творчество ашуга Саят-Нова; с начала XIX столетия огромное историческое явление в бытии армянского

народа — Хачатур Абовян. Это развитие новой армянской литературы в XIX веке, когда Армения вошла в состав России, обусловлено влиянием великой русской литературы. Но лишь в советское время армянская литература, как подлинная народная литература, расцвела по-настоящему, проникает в народную гущу, превращается в необходимость, в жизненную потребность миллионов людей. Критиками новых армянских книг в газетах зачастую выступают простые люди, и критиками требовательными и строгими,— так, председатель колхоза выступил в печати о книге Тапалцяна «Война», коллектив большого завода разобрал книгу об этом заводе писателя Норайра и т. д.

Возьмем живопись,— с некоторыми отклонениями та же картина. Можно найти древние фрески первых веков нашей эры, можно проследить развитие многочисленных школ миниатюры вплоть до XVI века, с их расцветом в середине века. И явная деградация в века последующие. В середине XIX столетия поднимается одинокая фигура Акопа Овнатана. За ним — несколько художников-армян, работающих в закавказской и русской среде. И опять только с советского времени рождение национального искусства как такового, создание собственного Художественного института.

Приблизительно тот же скачкообразный график можно увидеть и в истории армянской музыки. До Октябрьской революции только единицы, отдельные деятели знали о существовании такой истории. Армяне же в большинстве при словах «армянская музыка» в лучшем случае представляли себе два-три имени армянкомпозиторов, печатавших свои опусы; в худшем — какой-нибудь веселый пир в саду: на Авлабаре в Тбилиси, на окраине Еревана, с приглашенными сазандарями. Стоит возле большого стола на траве еще один столик, маленький, часто без скатерти, уставленный закусками; три человека в старомодной одежде молча рассаживаются вокруг него, торопливо пьют по стаканчику, разглаживая усы после первой выпивки. Потом один достает из-за пазухи косточку, кладет себе на колени длинный, выложенный перламутром, красивый тар, бродит по нему своей косточкой, неожиданно

ударяет ею по струнам,— звук получается глухо-воркующий, приятно затуманенного тембра, словно глубокий голос с хрипотцой. Другой упирает острым концом в колено пузатенькую кяманчу, похожую на скрипку с висячим, как у отъевшегося комара, брюшком, держит ее стоймя и водит взад и вперед по ее сиповатым, пронзительным струнам резкий смычок, сотрясая иногда странным, отчаянным движением щуплое тельце кяманчи. Третий поднял кверху бубны из мягкой ягнячьей кожи, зажмурился и запел, ударяя по ним себе в такт,— запел на бессмертные слова Саят-Нова, на бессмертную тему любви. Слушатели едят и пьют, пьют и едят, подпевают, подносят за очень хорошую песню особо почетный стакан музыкантам... Таков был народный «оркестр», сазандари, спутник свадьбы и праздника в Закавказье, иногда заменяемый зурначами — двумя музыкантами, дудевшими в особые, острые, длинные дудки.

Но армянская музыка никогда не исчерпывалась отдельными композиторами, народными сазандарями и зурной. И у нее была своя длинная история, только от нее осталось, может быть, меньше, чем от других искусств, да и не прочитана, не изучена еще эта история целиком. От глубокой древности дошлн до нас инструментальные сложные произведения — «мухгамы», несомненно связанные с музыкой Азербайджана; дошли до нас духовные песнопения — «шараканы»; дошли до нас народные песни, быть может пережившие сотни поколений певцов, переходившие от древних гусанов и випасанов (упомииаемых в летописях) к городским и деревенским певцам нового времени; дошли до нас так называемые «таги», «вокальные симфонии», по определению музыковеда А. Шаверляна (автора большой книги о Комитасе); мелодии XII века для человеческого голоса, диапазоном в полторы октавы. Правда, старую музыку очень трудно прочитать, она записывалась так называемыми армянскими «невмами» или «хазами», особыми значками без линеек, но один «таг», под названием «Назик», расшифрован и напет на пластинку композитором Комитасом [138].

Внимание к этому, оставленному в веках, музыкаль-

ному наследству, собирание, чтение и издание его, создание музыкальной среды для его восприятия и оценки началось опять лишь в XIX веке. Одним из основателей армянской музыкальной культуры был композитор и педагог Христофор Макарович Кара-Мурза [139], первый и неутомимый пропагандист армянского четырехголосного пения, бескорыстный энтузиаст армянского музыкального фольклора. Борясь с нуждой, с болезнью, с сопротивлением армяно-грегорианского духовенства, Кара-Мурза делал свое незаметное дело изо дня в день, разъезжал по городам, давал концерты, привлекая к участию в них местное армянское население. На смену Кара-Мурзе пришел Комитас (Согомон Согомонян), чьими бессмертными песнями армянская музыка будет питаться еще века. Трагична жизнь и судьба этого необыкновенного человека. Из Турции, где он родился и получил первое образование, он перебирается во второй половине XIX века в Россию, связывает свое будущее с Эчмиадзином, принимает духовный сан (а с ним вместе и монашеское имя — Комитас), страстно увлекается народной армянской песней, собирает ее, аранжирует, пропагандирует в России и за границей. Он тоже наталкивается на недоброжелательство, клевету, скрытое сопротивление духовенства. Ему кажется, что светский культурный музыкальный очаг для армян можно создать в Турции, Константинополе, и он едет туда в 1914 году — на прямую свою гибель — осенью, когда тучи над Европой сгущаются и уже прозвучал выстрел в Сараеве. Мировая империалистическая война застала скитальца Комитаса в Константинополе. Турки выслали его вместе с группой армянской интеллигенции в Малую Азию. В 1916 году он сошел с ума от невыносимых условий жизни и замолк навекн. Последние годы он жил в Париже, в больнице.

Но крылатое имя «Комитас», песни его, в которых он с чудесным изяществом и легкостью сочетал искони армянское народное с глубоко постигнутой мировой музыкальной культурой, зазвучали во всех концах новой, Советской Армении. Звучат они и во всем нашем Союзе. Когда с московской эстрады певица по-армянски запевает знаменитое «Келé-келé», слушатели переживают

встречу со знакомой, любимой мелодией, уже неоднократно волновавшей им душу и на концертах и по радио. Не знаешь, чему поражаться, слушая эту песню: необыкновенно ли долгому дыханию ее мелодии, такой редкой в музыкальном синтаксисе, или необыкновенно глубокому дыханию поэтического слова, чей синтаксис невольно приводит вам на память Фета. Это — народное, но это и вершина искусства. Пусть читатель попробует услышать музыку этих простых слов по-армянски, с подстрочным переводом:

Келе́-келе́-кэлкид мернем
Ко говакан хелкид мернем,
Сиравбр Лорик,
Виравбр Лорик,
Севавбр Лорик, Лорик джан.

Шествуй, шествуй,— готов умереть
за твою походку,
За прославленный ум твой — готов умереть.
Влюбленная Лорик,
Раненая Лорик,
Облаченная в черное Лорик, Лорик джан.

Комитас стал неисчерпаемым источником для трех поколений армянских музыкантов и библией для музыковедов.

...Лестница в зал, где около трех десятков лет ереванцы слушают концерты. Выросли и состарились люди, которых встречали вы в этом зале, иных и совсем уже нет. Заслуженным стал Анушаван Тер-Гевондян, начинавший работу молодым,— сейчас он сам учит поколение молодежи, создал балет «Анаит» и первую детскую оперу, имевшую большой успех в Армении,— «В лучах солнца». Стариком, героем труда стал замечательный педагог Азат Манукян.

Вот прошел в партер стройный и бритый, с нервным лицом, композитор Аро Степанян, ученик М. Ф. Гнесина и Вл. Щербачева. В 20-х годах он только начинал свою деятельность и был молод. Маленькая фигурка А. А. Спендиарова суетливо взбегала тогда на дирижерскую вышку; из оркестра, сияя восточными, острыми тембрами, звучала музыка «Энзели»,— маститого Спендиарова слушал молодой Степанян, начинавший

оперой «Кадж Назар». Сколько было споров вокруг его оперы, внешне лишенной мелодических красот, его слепой любви к ладу, его «полифонического уклона»! В 1951 году со сцены оперного театра звучит его новая опера о нашей советской жизни, о героине труда в колхозе, и послушать ее приезжают на своих автобусах из далеких районов колхозники. В первом ряду сиживал, прислушиваясь, суровый ценитель, редко поднимавший ладони для аплодисментов, В. Карганов, автор исследования о Бетховене. Он привез в Ереван свой замечательный архив и библиотеку и, умирая, завещал их Армении. Уже нет ни Спендиарова, ни Карганова, уже «остепенился» Степанян.

Вместо сурового Карганова много лет в Армении проработал глубокий знаток музыки и большой теоретик X. Кушнарев, учитель целой плеяды блестящих молодых дарований. Память приводит новые и новые образы. Осторожно ведомый под руку, идет в зал старый музыкант, седой как лунь, в темных очках, с напряженным узким лицом и добрыми старческими губами — с детства слепой Николай Тигранян. Он приезжал тогда в Ереван изредка из Ленинакана, где постоянно жил. Позднее Тигранян стал орденоносцем, народным артистом Армении. Ушел тонкий знаток музыки, философ и лирик Романос Меликян, чей голос так мягко звучал, когда он доказывал превосходство восточной поэзии над западной. Его нет, но в кабинете его имени идет плодотворная теоретическая работа.

Много сделали и делают для армянской музыкальной культуры такие деятели, как Мушег Агаян и Шара-Тальян. Большому знатоку армянского мелоса М. Агаяну, помимо всего, что им сделано по истории армянской музыки, в значительной мере обязаны мы и знакомством с подлинным наследством Комитаса,— он расшифровал 100 песен Комитаса с армянских нотных знаков, две песни с голоса на пластинке, одну разыскал в архивах. Шара-Тальян составил вместе с Мушегом Агаяном сборник песен великого армянского певца-поэта Саят-Нова. Советская музыка наших национальных республик накопила уже немалый опыт, обобщение которого двинуло вперед социалистическую эстетику и помогло компози-

торам. Многие армяне, разбросанные по Союзу,— ныне покойный, москвич, композитор Николай Чемберджи, таджикский композитор Сергей Баласанян, ленинградец Леон Ходжа Эйнатов, написавший музыку к 76 спектаклям ленинградских театров,—включались в исторический процесс создания армянской национальной музыки. Большое влияние оказал на этот процесс Арам Хачатурян, [140] композитор, вышедший из рамок родной республики на всесоюзную и мировую арену музыкальной культуры. Нужно упомянуть и очень своеобразного, очень талантливого композитора Егизаряна, стоящего сейчас во главе Ереванской консерватории.

Подросшая смена — молодые музыканты, увлеченные мелодическим богатством Комитаса и русской музыкальной классикой, выросли вместе с ростом родины, прошли все этапы развития новой музыкальной культуры, кончили свою, Ереванскую, консерваторию, и в родном городе все, даже чужие и приезжие, всё еще зовут их сокращенными полудетскими именами: талантливый Котик Арутюнян, хотя он давно уже вырос из «Котика» в Александра, а в 1949 году написал свою чудесную «Кантату о Родине»; композитор и пианист, мастерски исполняющий русскую классику, Арно Бабаджанян, Эдик (Ерванд) Мирзоян, пишущий прекрасные романсы на слова армянских поэтов; женщина-композитор Гаянэ Чеботарян; Гаррик Ованесян и др. Арутюнян и Бабаджанян—ереванцы; Мирзоян—уроженец города Гори. У каждого из них уже наметилось свое музыкальное «лицо».Но они не одиноки, это лишь звездочки в целой плеяде молодых дарований Советской Армении; с каждым годом из этой плеяды молодых выдвигаются новые имена, а вчерашняя молодежь переходит в ряды «старшего поколения».

Но успехи музыкальной культуры в Армении не исчерпываются ростом отдельных мастеров. Эти успехи связаны главным образом с ростом музыкальных коллективов в Армении. Всему Союзу известен прекрасный квартет имени Комитаса; трудно учесть полностью, чем обязана ему армянская музыкальная культура. Год от году совершеннее симфонический оркестр Филармонии, а ведь в 20-х годах о нем здесь и мечтать было трудно.

С большим художественным вкусом руководит композитор-виолончелист Айвазян созданным им джазовым ансамблем. Хоровая капелла, хор народных певцов, гусанов; разлившаяся, как широкое половодье, захватившая все районы, все колхозы музыкальная самодеятельность, организованная в коллективы,— это создано за последние годы, но растет и развивается с неудержимой быстротой.

Заглянем в Филармонию, на концерт одного из замечательных ансамблей нашего Союза, ансамбля армянской народной песни и пляски. В 40-х годах этого ансамбля еще не было. Сейчас его руководитель, ванский армянин Т. Т. Алтунян, народный артист республики. С огромным вкусом он составляет программу, над которой работают и поэты и музыканты Армении. Но даже и в этом первоклассном искусстве есть своя градация, свои «лучше» и «хуже». Лучше — все чисто народное, подслушанное у безыменных музыкантов и певцов. И лучшим нз этого лучшего в 1951 году была песня с хором под названием «Ес пучур эм» («Я — маленькая»). Захватывающая, однотонная мелодия, все повторяющаяся и повторяющаяся. Молоденькая, прехорошенькая, разряженная в шелка и вуаль национальной одежды, исполнительница Л. Кошян, полная грации, сознания своей прелести, не столько танцует, сколько красуется перед залом, играючи-подтанцовывая своей песенке, где повторяется и повторяется «Я — маленькая». Куплеты подхватываются музыкантами, чередуясь с пением, и всякий раз — всё свежее, задористее, и она — всё милее, всё влюбленнее в себя, всё кокетливей, как горностайка на снегу. Все вместе очень хорошо и непринужденно, и где бы ни исполняли эту вещь, она постоянно бисируется слушателями.

...Ереванский вечер еще не перешел в ночь. Выходим с читателем для последней прогулки по городу,— мимо театров: драматического имени Сундукяна [141], где в этот вечер «занят» обаятельный актер Вагарш Вагаршьян; драматического русского; Театра юного зрителя; огибаем темный силуэт Театра оперы и балета, где еще недавно разливалось соловьиное пение замечательной оперной певицы, знакомой и многочисленным русским

советским слушателям,— Айкануш Даниэлян, и где не раз рокотал бархатный баритон любимца Москвы — Павла Лисициана, а сейчас наслаждается зритель тонким искусством Татевик Сазандарян и колоратурным сопрано молодой певицы — репатриантки из Египта — Гоар Гаспарян,— и оказываемся на широком проспекте Сталина. Мы идем в гости к актерам. Часы, проведенные за столом в тесной и дружеской актерской семье, пусть завершат для читателя большое культурно-историческое полотно, развернувшееся перед ним в Ереване.

Круглый стол благоухает поздними, ноябрьскими розами. В их густой и пряный аромат вливается запах пира. Неизменные, любимые ереванцами травки: «авелук» времен Гомера, сперва высушенная, а потом разваренная, похожая вкусом на артишоки, подаваемая пресной, и «дандур» — упругие, сочные стебельки с круглыми мелкими листиками, маринованные с чесноком. Все, чем богат и вкусен армянский домашний стол, созданный руками рачительной хозяйки дома как отличное произведение искусства, разворачивается перед нами под доброй и радостной улыбкой хозяйки: густой ароматный «спас» разливается по тарелкам; благоуханная «долма» следует за ним; огромное блюдо плова, золотого от шафрана, в россыпи рисинок, с прижаренным в масле лавашом вокруг него; гроздья тяжелого сахарного винограда в вазах. Мужчины выпили, и начался разговор.

Заговорили о том, какую роль, вернее кого именно из людей и чью душу и чью судьбу, охотней всего сыграл бы на сцене каждый из сидевших за столом больших актеров. Если б не было готовых пьес, если б не было существующих ролей, если б спросили его, актера, писатели и драматурги, прежде чем написать пьесу, кого он по-настоящему, от души, хочет сыграть...

Подняв стакан с темно-красным «Айгешатом», первым взял слово высокий и смуглый трагик, молчавший до этой минуты, Рачиа Нерсесян, прекрасный исполнитель Отелло. Он родился в Турции, долго жил на Западе и перебрался в Советскую Армению тридцать лет назад.

— Я хотел бы сыграть ностальгию — тоску по родине западного армянина,— медленно начал он свою речь.— Знаете ли вы, что это такое? Родился и всю жизнь живешь среди чужого народа. Странно, сказочно, невероятно представить себе,— сном кажется, просто чьей-то выдумкой,— что есть своя страна, что ты идешь по улице — и армянин-милиционер на углу, читаешь вывески — вывески на армянском языке. Это невероятно представить западному армянину. И вдруг возможность выехать. Я хотел бы сыграть, как попадаю к себе на родину. Я был в Турции страховым агентом, простым страховым агентом, ходившим по чужим домам в поисках клиентов для чужого мне дела. Приехал сюда — стал артистом, народным артистом республики Армении. Я хотел бы сыграть человека, который нашел свою родину и в ней нашел себя!

От его речи прослезилась хозяйка, никогда не жившая на чужбине. Но каждый почувствовал в глубине сердца, что не было родины до Октябрьской революции и у тех, кто родился на родной земле. Словно большие окна распахнулись в звездное небо,— что-то очень дорогое, теплое подступило к сердцу: благодарность настоящему, живому, сегодняшнему, желание поработать для него.

Вторым взял слово веселый, громкоголосый комедийный актер Аветис Аветисян:

— А я бы хотел сыграть простого армянского колхозника, может быть, председателя колхоза,— такого колхозника, который *переживает орошение земли*. Писатель не понимает, что можно переживать воду, как большую страсть. Я хочу сыграть душу нашего народа; простой человек, он любит свою землю, он страдает вместе с ней от жажды, он хочет дать ей напиться, чтоб уродился хлеб, каплю по капле собирает, из камня достает воду,— и вдруг на землю идет враг, фашист, его сын уходит в армию. Тогда он работает, как вол; он хочет собрать невиданный урожай, он намерен поднять на врага колосья, он чувствует воду, как кровь земли. Я хочу так сыграть колхозника, чтоб жизнь его была большой страстью, чтоб зритель по-шекспировски пережил тему его жизни.

Молодой хозяин дома, Давид Малян, с лицом и лбом мыслителя, слушал Аветисяна, уйдя в собственные мысли. Когда очередь дошла до него, он сказал:

— Я хочу сыграть сына этого колхозника. Не того, кто на фронте, а другого сына, молодого ученого, члена партии, оставшегося на важной работе в Ереване. Он привык видеть перед глазами, как у себя в семье, расцвет родины, разворот талантов, пробуждение народа; он все это принимал, как естественное, как то, что полагается в жизни. Но вот война. Распахнулись широкие ворота в другие государства, в другие царства, во все стороны земного шара. И молодой ученый увидел свою родину со стороны, как смелый корабль, заплывший вперед, в будущее. Впереди всех стран в мире плывет этот корабль. И я хочу так сыграть сына колхозника, молодого ученого-коммуниста, чтоб каждый зритель ощутил сердцем, понял разумом, почему он гордится своей родиной.

Потом поднялась круговая песня: пели из Комитаса, из бессмертной «Ануш» [142], пели русские, азербайджанские и грузинские песни, чередуя их с армянскими.

Так розы и песни еще раз встретились в этот день, вернее на заре восходящего нового дня, в сердце Армении — Ереване.

АШТАРАК. ЭЧМИАДЗИН

«СЛАВА ВЕЧНАЯ ПАВШИМ» И СЛАВА ЖИВЫМ

У поэта прошлого века Геворка Додохяна есть стихотворение «Ласточка», по-армянски «Цицернак». Оно было сразу положено на музыку и тотчас стало народным, утратив имя поэта и музыканта. Грустная и красивая мелодия обращена к птичке со словами просьбы, чтоб летела ласточка в родной дом и передала отцу от сына-изгнанника:

Ах, старик,
Плачь о сыне своем!

Чтоб поведала отцу его вечную жалобу:

Расскажи, сколько бед
Я терплю много лет,
Что все дни я в слезах,
Что полжизни уж нет.

Чтоб рассказала ему о беспросветном отчаянии сына:

Для меня небосклон
От зари затемнен,
На глаза мои в ночь
Не спускается сон [143].
(Перевод В. Брюсова)

Эта берущая за душу просьба стала музыкальным выражением любви к родине и тоски по родине.

Но родина в песне имеет конкретные свои очертания, песня обращена к Аштараку, хотя сам Додохян и

родился в Крыму, обращена к тому армянскому селу Аштарак, где было искони армянское население, где сохранился один из чистейших армянских диалектов. Песня рифмует «цицернак» — «Аштарак»; лишь только затягивает кто-нибудь ее первые такты, тягучее, широкое «ци-и-церна-ак, ци-ице-ер-нак», слушатели как бы входят душой в широкое зеленое раздолье аштаракских садов, представляют себе его тень и прохладу, сладкое журчание реки Касах, аромат нагретого поля.

Для республики Аштарак — один из лучших районов по благоустройству, по растущей культуре сельского хозяйства, по растущей зажиточности колхозов. На его полях и виноградниках были показаны образцы неутомимого, творческого труда колхозников, которыми гордится республика.

Для детей Аштарак — место нескончаемой радости. Там, за оградами садов, лучшие в Армении персики, замечательный виноград, кисти которого висят в подвязанных к лозе полотняных мешочках, чтоб они дольше сохранили свою фарфоровую форму и не были поклеваны птицами. Там в каждом доме осенью делают сладкий — «дошаб», густой естественный виноградный сироп (без сахара), замешивают его мукой и окунают в него ядра грецких орехов, продетые на крепкую нитку; «дошаб» обволакивает их, застывает на них — и готов «суджух» (по-грузински «чучхела́»), любимое осеннее лакомство. Там делают и другое лакомство — «алани» — сушеный персик, начиненный грецким орехом, тертым с сахарным песком и ароматами — шафраном, корицей.

Для взрослых Аштарак — место доброго крестьянского вина, которым пропах самый воздух этого селения, вина, пьющегося утром вместо чая, привычного и для женщин и для подростков.

Для филолога Аштарак — родина поэта Смбата Шах-Азиза, романиста-этнографа Перча Прошьяна, в книгах которого правдиво описана старая, дореволюционная деревня с ее отсталым, страшным укладом, описаны старинные аштаракские обычаи, сохранявшиеся до конца прошлого века: «башикертма́», обручение малолетних детей, иногда грудных младенцев, неру-

шимое ни при каких обстоятельствах, даже если, выросши, обрученные не смогут полюбить друг друга; игра в «ханы», в «князья» на масленицу, когда молодежь переодевала одного из своих товарищей в шутовской ханский костюм и ходила с ним по селу «собирать налоги», угрожая тюрьмой, виселицей и т. д.; игра в «лахт», состязание со скрученными полотняными поясами, принятое и в Армении и в Грузии.

Для историка и археолога, наконец, Аштарак — это одно из самых интересных мест в нашем Союзе, где памятники бронзового века — «мегалиты», остатки стен, культовые раскладки камней по кругу, каменные плиты-гиганты, поставленные вертикально, и одна плита, накрывающая их горизонтально,— все эти памятники, известные под названием мензиров, кромлехов, долменов, находятся во множестве, а кроме них, есть еще и другие, уникальные в своем роде,— покрытые тончайшим резным орнаментом большие каменные кресты — «хачкары». По селам Аштаракского района сохранилось много прекрасных образцов и средневековой армянской архитектуры. Читателей, интересующихся стариной, отсылаем к специальному приложению (второй главе «Археологические прогулки») в конце книги. Нас же давно зовет сирена автомобиля за окном — выехать в живой и современный советский район.

До сих пор мы ездили осенью, но сейчас сделаем скачок во времени — в середину лета. Чтоб сразу запел для вас Аштарак стихами Додохяна, нужно увидеть его, когда еще не умолкли поля, колышется колос, зелены сады, живет в арыках вода во всей ее силе и важности, потому что Аштарак — это сад Армении, виноградник ее. Дорога идет в гору,— почти все дороги из Еревана идут в гору. Опять все свежее и крепче воздух, прохладней кожа на вашем лице. Опять мелькают мимо коттеджи и садики, новые поселки, силуэты фабричных зданий. Аштарак подступил внезапно красивым мостом через Касах, за которым крутой подъем в село. Мост был построен здесь в незапамятные времена, но перестраивался много раз, быть может повторяя красивый первоначальный прием: его огромные ниж-

ние пролеты идут по воде мягкими, округлыми арками, а перила лежат над ними на верхнем настиле острыми ступенчатыми углами, как бы воспроизводя и тут любимую армянами диалектику квадрата и купола. Аштарак очень живописен; его главная площадь со старой крепостью и большим светлым зданием школы-десятилетки подошла к самому обрыву над Касахом; его узкие улички вьются змейками в сплошных садах. Бесчисленные арыки поют под воротами. Зеленый канал уходит куда-то в гущу домов, а из ворот этих домов с их нависающими над нижним этажом балконами и сырыми стенами у самой воды переброшены на узкую уличку мостики. Вам преграждают дорогу грузовики и подводы, груженные бочками — изделиями здешних бочаров. Ослики семенят мимо с зелеными связками сена. Во дворе промкомбината в чанах сохнет крупный черный изюм на веточках. Мальчик спускается к водопою на гладком, отъевшемся, невзнузданном жеребце, и жеребец звенит копытом о камень, напоминая вам, что целых десять улиц в Аштараке недавно вымощены. Здесь тоже были усиленно заняты благоустройством, даже во время войны, на исходе ее, были побелены и отремонтированы 1637 комнат в колхозных домах района, 42 школы, 22 клуба. Построено 5 новых клубов, побелен 101 скотный двор.

В чем секрет этих массовых побелок и ремонтов — исправленных мостов и дорог, новостроек, зеленых насаждений, разбиваемых парков повсюду в районах Армении сразу же после войны? В чем секрет переустройств целых сел, строительства целых новых поселений, все более приближающихся к городским, воздвижения дворцов-клубов в последние годы перед второй послевоенной пятилеткой? Ответ только один: это секрет экономики нашего советского строя. В Аштаракском районе много богатых колхозов. Один из них, имени Микояна, даже во время войны получил валового дохода свыше 5 миллионов рублей.

А это не единственный такой колхоз в районе.

Но рост зажиточности колхоза означает рост каждой графы его бюджета. Есть одна обязательная графа в колхозном бюджете, называется она «Капиталовложе-

ния». Капитал вкладывается в здания, в технику, в культуру, в благоустройство колхоза — и тянется вверх ваша личная жизнь вслед за подъемом всего села, каждая капля труда человека остается в новой стене, новой дороге, замощенной улице, посаженном дереве, остается не из-за чьей-нибудь «благотворительной затеи», не случайно, не по капризу богача, а по закону колхозного развития. По закону колхозного развития перелилась эта капля в жемчужные струи нового родника, в 40-х годах архитектурно оформленного в Аштараке.

Машина резко затормозила. Выйдем из нее взглянуть на родник. За годы войны в Аштаракском районе построено пять их,— в самом Аштараке два, в селах Карби, Мугни, Талише по одному. Не знаешь, который прекрасней.

На небольшой площадке — своеобразный архитектурный «триптих»: мраморная стена из трех частей под треугольными крышами, центральная — выше, две боковые — ниже. Внизу перед ними бассейны, куда непрерывно из трех кранов стекают струи воды. На карнизе, под красивыми треугольниками крыш, простая надпись:

СЛАВА ВЕЧНАЯ ПАВШИМ В ВОЙНЕ

Линии родника строги, это лучший армянский классический стиль в его суровую пору. Неумолчно бежит вода, и непрерывно подходят люди наполнить кувшин, напиться из-под крана. Благородный армянский камень кажется раковиной, а вода — стекающим жемчугом. Спутник ваш говорит:

— «Слава вечная павшим в войне!» — это не вообще сказано. В нашем районе есть такие герои-фронтовики, которыми мы, аштаракцы, крепко гордимся. Вот, например, Андраник Ованнесян, сасунец, из села Магда. Он закрыл вражеский пулемет своей грудью. Или из того же села Магда Тигран Карапетян, рождения 1922 года, один сын у матери, очень красивый парень. О нем была заметка в газете Черноморского флота, а мы перевели ее на армянский язык и поместили у себя в районной газете 1 мая 1944 года. Или вот Хачик Багдасарян, о нем написано в семнадцати номерах боевых

гаст. О нем даже песню на фронте сочинили и прислали в район. Коренной аштаракец, 1908 года рождения. Защитник Сталинграда, в бою истребил двести сорок восемь фашистов. Ушел от нас председателем колхоза в Ошакане, вернулся — стал председателем колхоза в Парби. Еще назову замечательного аштаракца: Георгий Борисян, из Егварда. Был рядовым учителем, в Советскую Армию вступил рядовым, потом попал в партизанский отряд. Партизанил два с половиной года, стал начальником партизанского отряда, вступил там в партию, уничтожил со своим отрядом триста шестьдесят девять фашистов. Семья о нем не знала, жив ли он, нет ли, возвращается на побывку — два ордена Красного Знамени на груди.

Он бы еще долго рассказывал, поощряемый слушателями, подходившими сюда с кувшинами. Тонкая струя родника прядала, сопровождая рассказ. Но времени у нас было в обрез, нам не терпелось повидать замечательных аштаракских колхозниц. Покуда мужья сражались, аштаракские женщины работали,— и тут опять приходится вспомнить поэта и его песню,— так она тесно слилась с Аштараком.

Старый, мудрый Аветик Исаакян написал эту песню в дни войны. Армянская крестьянка равномерно качает деревенскую «люльку», но не с ребенком, а ту, где женщины горных районов Армении сбивают молоко на масло, и обращается к мужу-фронтовику со словами: вернешься жив-здоров, без стыда и со славой — накормлю тебя самым лучшим, самым отборным маслом весеннего, майского удоя.

Армянка всегда работала много, работала не покладая рук, но то была преимущественно работа для дома, для семьи; даже в колхозах еще оставалось до войны разделение обязанностей на «мужские» и «женские», и, например, полевые работы считались мужским делом, а те, что ближе к домашним,— на молочной, на птичьей ферме — женским. И что-то древнее, горькое, тысячелетие одной и той же судьбы дышало на вас из складок ее одежды. Тут был неизменный горький запах дыма из земляного очага — тонира, пропитавший каждую ее складку; и тяжелый запах земли

от натруженных коричневых рук, которыми она месила кизяк, лепила нехитрое крестьянское топливо для зимы; и обязательно пронзительный овечий или коровий запах кислого молока, никогда, кажется, не исчезавший, никогда не выветривавшийся. Весь круг забот, весь тяжкий быт крестьянской семьи несла она в складках одежды; и эта одежда у бедняков не снималась по нескольку лет, высушиваясь, выгорая, испепеляясь на солнце, покуда не надевалась поверх нее новая. В Апаране до революции еще были старухи, умиравшие со следами той самой, истлевшей на теле рубахи, которую они надели на себя молодыми женщинами.

С той горькой поры утекло много воды, и как выросла и неузнаваемо изменилась деревня, так неузнаваемо изменилась, выросла, обучилась, вышла на широкую дорогу и женщина.

Читатель видел, что армянское сельское хозяйство не переставало развиваться даже во время Отечественной войны: расширилась площадь под озимым клином, увеличилась посевная площадь вообще, введен правильный травопольный севооборот, возникло свое семенное хозяйство по кормовым травам, проведены новые оросительные каналы, выросло огородничество,— за счет чьего труда и стараний произошло это в тяжелые военные годы?

Ясно, что это огромное вложение труда в землю произведено женщиной, армянской крестьянкой. Не только пришлось ей принять на себя и нести непривычные физические полевые работы, которых она не знала до войны, но и сделаться участницей острейшей борьбы сельского хозяйства за передовые формы.

Поэт Аветик Исаакян в ответ на созданную им песенку получил приглашение в гости. Звал его замечательный колхоз у подножья Арагаца, организованный выходцами из Турции, сасунскими армянами. Поэт увидел перед собою крепкие, приветливые крестьянские домики, густые волны чистых, выхоленных посевов, сады, над которыми жужжат неподвижные, словно ввинченные в воздух пчелы,— и навстречу ему из каждого дома грянула его собственная песня. Он медленно шел мимо открытых дверей, сутулый, подтяну-

пый, склонив свой характерный профиль, и всюду его умные прищуренные глаза встречались с другими — смелыми, смеющимися, ласковыми глазами. Статные сасунки, крепкие женщины, словно сошедшие со страниц эпоса,— высоченного роста, широкой крестьянской кости, с хорошо посаженной головой на плечах — встретили своего поэта, мерно, под пение, раскачивая деревянные «люльки» с маслом Но ласковые глаза глядели на Исаакяна, как смотрит мать на малого ребенка. Ведь для него, для почетного гостя, в этот час встречи крестьянки бросили свою сегодняшнюю большую работу кирки и лопаты, стали на место древних бабок и семилетних девочек и «представили», «сыграли», ту исаакяновскую идиллию, о которой так простодушно поется в песне.

Страстная потребность взглянуть на нее, на эту новую армянскую женщину, гнала нас из колхоза в колхоз,— и всюду нам обещали встречу с ней в сумерки, после работ. А сумерки никак не падали, долгий день не кончался, долгие дороги вели нас по следам вложенного ею труда, по следам кирки и лопаты. Мы проезжали там, где несколько лет назад ничего не было, кроме пустыни. Художники воспели эту пустыню потому, что она была красочно хороша, особенно осенью,— на горизонте одинокий голубой кристалл змеиной горы Илан-даг, вокруг высохшая, рыже-красная на закате библейская земля цвета порыжелой гравюры, и единственная растительность — грубые пучки «лошадиного щавеля» той же гаммы и того же оттенка. Но и воспетая за сходство со старой гравюрой, это была пустыня, пространство, вырванное у человека, лежащее втуне. А сейчас, словно кто-то поднял невидимые заслоны, сюда набежала вода, и чудом сделалось это присутствие воды на земле! Вдоль дороги обильно, без дождя, текут и чмокают, уходя в шлюзовые ямки, бесчисленные серебряные струи, булькает влага в траве, стоит влага по межам пышных густых всходов, убралась вся земля в урожай, выросли вдоль дороги многочисленные сады, свесились над дорогой по узким деревенским улицам «американские» клены, которые и здесь, как в Сибири, растут удивительно быстро и стре-

мятся сплести над дорогой свои ветви зеленым непроницаемым сводом. Чтоб вывести сюда воду, устроить ее, создать ей бесчисленные мелкие русла, из дома в дом, из сада в сад, бросить ее на поля, регулировать, открывать и запирать ее, нужно было по-мужски поработать киркой, рыть землю под невыносимым солнцем, обливаясь потом...

С незапамятных времен в Аштаракском районе было одиннадцать маленьких каналов на одиннадцать селений, и все они питались водой из небольшой речки Амберд. Но так как эти каналы были маленькие и мелководные, вода в них плохо хранилась, усыхала, просачивалась, и ее не хватало. В Аштараке задумали построить один-единственный, большой, полноводный канал на все деревни, с тем чтобы воды хватало с избытком. Строить было не легко. Сперва высоко у подножья Арагаца надо было пробить к месту стройки дорогу, а уже потом начать копать землю. Аштаракские женщины ушли наверх, жили в палатках, спали на земле и почти закончили большое инженерное сооружение, резко меняющее весь водный баланс района. «Работают эти женщины, как асланы»,— почтительно сказал о них старичок учитель. «Аслан» на народном языке — лев. Где же, наконец, эти львы? Когда мы увидим их?

Все крепче и прохладней становился воздух, но запах земли умирал в нем, угашаемый вечерней росой, как темнота гасит краски. Мы шли к последнему колхозу через необыкновенное поле. Оно стояло в рост человеческий, по пятнадцать стеблей из одного корня,— и на тяжелых мохнатых пшеничных колосках были повязаны узкие красные тряпочки. Семь колосков обвязанных на семь необвязанных. Мы притянули к себе жирный колос в бантике — он был безусый, лишенный длинных своих волосков. Бантик означал, что колос «кастрирован». Это было поле семеноводческого колхоза.

Чтобы зерновые колосья не оплодотворяли сами себя (что ведет к постарению, измельчанию семени, падению урожайности), проводится ювелирная работа семеноводов. Растение ставится в искусственные условия, при которых опылителем его может быть только

«дальний родственник», соседний колос. И здесь, как во всем живом царстве, близкое родство, перекипание в собственном соку неизбежно приводит к дегенерации, а отказ от него — к омоложению, к новому биологическому расцвету. За этим полем будущей «элиты», то есть высокосортного, крупного пшеничного зерна, показалось такое же ювелирно обработанное поле ячменя «поллидиума»,— и, наконец, вдалеке блеснул яркий огонек: это вынесли лампу на веранду сельсовета.

Мы побежали на огонек, а за нами, над горизонтом, почти обдавая нас жаром, словно опахивая теплым, нагретым воздухом полей, выкатывался огненный ободок необыкновенно большой луны. В колеблющемся двойном свете, в острых рембрандтовских очертаниях перед сельсоветом двигалась и волновалась толпа. Из сумрака в свет выступали, озаряясь с внезапной яркостью, то круглое молодое лицо с темными щеками, в которых угадывался густой, почти кирпичный румянец; то морщины, бесчисленные, лучеобразные, сухого старушечьего лица с опущенной низко повязкой. Но больше всего было лиц женщин среднего возраста — и это были, наконец, желанные нам «асланы». Невольно замедлив шаги, мы вступили в круг неверного двойного света.

И женщины ждали нас,— ждали нас, как и мы их. Есть в человеке лучшее, непередаваемое,— то внезапное чувство кровной внутренней близости, которое роднит вдруг городского жителя, давно отошедшего от земли, с его народом. Серьезные, хорошие, простые женщины обступили нас. Прохладный ветер обсушил пот с их щек, но еще не остудил жара их разогретых рук, державших тяпки, лопаты,— они пришли сюда прямо с места работ. От них веяло могучим теплом, и каждой хотелось протиснуться поближе к вам и рассказать о себе, очень много рассказать о себе, очень много рассказать, кажется, конца нет, сколько рассказать, но когда до нее доходила очередь, каждая внезапно теряла слова.

И туго, по одному, доставались нам эти слова: зовут Дардо, или Гюлизар, или Нубар; тридцать лет, тридцать два года, двадцать восемь; муж на фронте, пишет, пропал без вести, четверо детей, четверо детей,

четверо детей,— средних лет армянка непременно имеет не меньше четверых, а за сорок — восемь, девять, и это не только в деревне, это и в городе; учатся дети, маленький — в яслях; двести, полтораста, сто восемьдесят трудодней (в середине лета!). Как работается? Трудно, конечно, ну, да время военное, нельзя, чтобы легко, никому не легко. Раньше на полях не умела,— сейчас все могу, любое дело дай — сделаю...

Почти счастьем для них была эта беседа в черноте ночи, при мигающем от ветра свете лампы. Разные — и неуловимо схожие: схожие той человечностью, твердостью, добротностью в чертах, крупных и грубоватых, какая дается большой жизнью. Вся тяжесть времени, весь ответ за урожай, за честь родной земли, за славу своей республики легли на эти плечи, на эти руки, протягивающиеся к вам со всех сторон, чтобы пожать вашу руку. И с великою нежностью и уважением жмешь их одну за другой — крепкие, шершавые, теплые; а они всё тянутся и тянутся, и улыбки стали детскими, дружелюбно сияют глаза... Не подвели эти руки! Славные дочери народа недосыпали ночей, недоедали куска, но не пропало у них ни одно колхозное зерно, ни один колосок в поле. И когда-нибудь о них, «асланах» Армении, как о наших бойцах на фронте, сложат в народе и славой овеянные былины и бессмертную славу мраморных памятников.

ПРОГУЛКИ ИЗ АШТАРАКА. ЭЧМИАДЗИН. АПАРАН

Аштарак — это исходная точка для армянского туризма. Можно сделать сотни прогулок из него, пешеходных, верховых и автомобильных, всякий раз возвращаясь сюда на отдых.

В пяти километрах от него, к юго-западу, лежит богатое селение Ошакана, в кудрявых садах, с таким же красивым и старым мостом и арычками, бегущими вдоль улиц. Не доезжая до него, у края шоссе,— «колонна Морика» (Маврикия), VII века, на высоком постаменте. Тут же в Ошакане находится и гробница

погребенного в 440 году создателя армянского алфавита, крестьянского сына, ставшего одним из ученейших людей своего времени, Месропа Маштоца. До V века армяне пользовались разными письменами — греческими, сирийскими, персидскими. В начале V века сирийский священник Авель привез в Армению от сирийского епископа Даниила составленный им для армян алфавит; но когда попробовали обучать ему, то оказалось, что много армянских звуков не нашли себе в этом алфавите места, и живая армянская речь не уложилась в него. Тогда поехал в Сирию армянский епископ Месроп, побывал в других местах, в Греции, и по возвращении составил алфавит, живущий и до сих пор [144].

В очертаниях армянских букв, если глядеть на них непредубежденным взглядом художника, а не лингвиста, есть что-то до странности, до совпадения отдельных букв схожее с коптским алфавитом. А корни его уходят в большую глубину веков — к иероглифам.

Дальше, к югу от Ошакана,— древнейший город Эчмиадзин с его известным на весь мир памятником древней архитектуры: знаменитым круглым храмом Звартноц (в переводе «Храм бдящих сил»), построенным в 640—660 годах, от которого, как и от дворца рядом с ним, остались один фундамент и осколки плит. Звартноц был раскопан впервые в 1902 году, а предположительно воссоздан в рисунках и моделях, в его трехъярусной, почти вавилонской, симметрии покойным архитектором Тораманяном. Развалины и музей при них — далеко за городом: в самом же городе — красавицы церкви VII века, Рипсимэ и Гаяне, и более поздняя, Шохакат. Церкви отлично сохранились, их содержат в музейном порядке, и стройные пропорции их, удивительно компактные в своем почти инженерном (ничего лишнего!) изяществе, так сроднились с местным окружением, что жители уже вряд ли их и замечают. А жители Эчмиадзина — это колхозники богатейшего и знатного колхоза «Анаствац», в переводе «Безбожник». Расположились они — полями, домами, колхозными пристройками — лицом к лицу с высоким и суровым монастырем Эчмиадзина, в прошлые века бывшим центром национального и религиозного един-

ства армян-грегорианцев; высшее духовное лицо церковной иерархии, католикос, обычно жил в Эчмиадзине. Монахи были привилегированным сословием. С монашеским духовным чином «вардапет» (означающим «архимандрит», но часто понимаемым, как ученое звание), по большей части с высшим образованием, защитившие докторскую диссертацию, обладатели научных трудов, они жили в кельях, работали в прохладных, просторных, удобных залах библиотеки и музея, чувствуя себя хозяевами и ни в чем не нуждаясь. Они кропотливо десятки лет собирали, изучали, классифицировали, описывали древние памятники, миниатюры, изделия кустарей. Своя монастырская типография печатала их труды. Так был создан Месропом двенадцатитомный каталог армянских рукописей, а Гарегином — исследование об армянских миниатюрах. Темный силуэт монастыря встает за высокой стеной; вокруг него — сад, искусственный пруд, чинные, монастырские «службы». Эчмиадзин,— как пишут в книгах и как обычно думают туристы,— очень древен; собор был впервые построен в IV веке. Но от этого первого собора осталось только несколько камней в стене после новой капитальной постройки VII века. А в последующие века собор перестраивался не один раз, купол его — уже нового времени, колокольня поставлена в 1658 году, так что общий подтянутый, нарядный вид Эчмиадзина, каким мы его знаем,— все это уже XVII век.

В Эчмиадзинском районе произошли большие экономические перемены, быть может, более глубокие, чем в других районах Армении. До Великой Октябрьской социалистической революции эчмиадзинские крестьяне были батраками на монастырской земле, потому что здешняя земля принадлежала монастырю. Они трудились и урожай собирали для монахов, живших сытой и выхоленной жизнью господ. Сейчас Эчмиадзинский район — один из крупнейших товарных районов в Армении. Только под хлопком у него тысячи гектаров. И урожайность хлопка в этом районе исключительно высока. Здешние колхозы дают много зерна и винограда государству, а колхозники славятся своей

зажиточностью и культурой труда. Значительная часть награжденных орденами Ленина по сельскому хозяйству Армении — эчмиадзинцы.

В Эчмиадзине расположен большой совхоз с высокой техникой, с огромным разнообразием продуктов. Эчмиадзинцы ввели интересные новшества. Заглянув, например, в совхоз № 3, видишь между виноградными лозами бесчисленными рядами поставленные белые колонки с протянутой проволокой. Сперва они кажутся деревянными, но это не дерево, а бетон. Совхоз впервые начал отливать вместо деревянных колышков столбики из бетона, причем делает это тут же у себя; они заменяют деревянные, служат дольше, выделываются легче, стоят дешевле. Вообще тут уже сами крестьяне начали широко пользоваться местными стройматериалами и вводить их в свой быт.

Приехавшему в Эчмиадзин надо обязательно объездить интересные места, лежащие неподалеку. Займет это несколько часов и по разнообразию впечатлений, сменяющих одно другое, не даст утомиться.

Вот в углублении между холмами — очень красивое озеро Айгерлич, небольшое, окруженное зеленью. У самого озера и на горе над ним — одно из прелестнейших сооружений в Армении, маленькая гидростанция. В ней всего два генератора (в 150 и 450 лошадиных сил) и пять насосов. Но работа ее очень остроумна: взяв по проводам энергию у вод Севана и Раздан, она этой полученной электроэнергией сама берет воду из Айгер-лича, перебрасывает ее снизу вверх — сперва на первый ярус, где проведен «нижний канал», потом еще выше, на второй ярус, где растекается «верхний канал». Так маленькое озерко, загнанное между горами в яму, питающееся подземными водами Арагаца, выбрасывает свои воды наверх, чтоб напоить лежащую выше него землю. Вкус его воды отдает солью, но в озере очень много жирной и крупной рыбы, на дне растут всякие мхи, рыба объедает их и нагуливает жир.

Подойдя к насосам, видишь, как уходят эти насосы прямо в зеленоватую прозрачную воду и сосут ее; в зеленом фосфорическом сиянии воды пляшут десятка два мелких рыбешек, и забавно видеть их рядом с ве-

ликолепной техникой в машинном зале. Поднявшись на третий ярус, видишь этих рыб-путешественниц, втянутых насосом; они весело плавают взад и вперед в каменном коридоре канала, где ждет их неминуемая гибель,— ведь стены и дно здесь лишены всякой питательной растительности. Станция содержится в чистоте и холе, как часть пейзажа. Садовник поливает цветочные гряды, убирает осенью цветы в оранжерею, стрижет деревья, метет дорожки.

Дальше мчится машина, к Октемберяну, и тут в древний холмистый пейзаж врывается новое видение: несколько зданий, разбросанных на горе. Длинный открытый корпус, похожий на внутренность большой машины, с которой сняли покрышку. Все его части обнажены, стоят прозрачным силуэтом без стен, есть только крыша над ними. Это гераниевый завод, построенный в 1937 году. Производство его опасно,— опасно от сильного аромата герани, который в своем сконцентрированном виде может отравить, одурманить рабочего. Вот почему весь завод — на открытом воздухе. Гераниевое масло — одна из необходимых эссенций при выработке парфюмерии, духов. Ряды змеевиков с холодильниками, перегонная труба,— ее загружают 350 килограммами зелени герани, закрывают, пускают в нее 75 литров пара в минуту, выпаривают эфиры и масло, которые идут наверх и охлаждаются при помощи холодильников. Особый аппарат, носящий поэтическое название «флорентийского сосуда», отделяет масло от воды. Из «флорентийского сосуда» оно идет в лабораторию на обработку. На гераниевых плантациях режут сырье: самая «жирная» резка в сентябре, потом вторая, через две недели. Гераниевое масло — дорогой продукт. В лаборатории, если хотите, дадут вам понюхать эту драгоценность,— и вы отшатнетесь, заткнув нос: фу, какая гадость! Но мастер, улыбаясь, подведет вас к молчаливым, не работающим в этот поздний месяц осени, машинам. Он отвернет какую-то трубку, через которую выливалась два месяца назад вода, простая вода, не масло, и даст вам понюхать эту трубку. Нежный, сладкий, томный аромат душистого цветка приятно охватит вас, и вам захочется дышать и

дышать им. «Во всем мера нужна, и для нашего ограниченного обоняния тоже есть своя мера вещей»,— философски скажет молоденькая армянка-лаборантка.

Возвращаясь в Эчмиадзин, вспомним людей, родившихся и выросших тут или связавших с этими местами важный период своей жизни.

В 1864 году здесь, в семье пекаря, родился Ованнес Иоаннисян [145] — старый армянский поэт и переводчик, культурный деятель, проложивший путь классическому поэту Армении Ованнесу Туманяну. Здесь всего несколько лет назад умер старый ашуг Ширин, доживший до девяноста лет. Отсюда родом замечательный большевик Г. А. Атарбеков [146], погибший при аварии самолета вместе с А. Ф. Мясниковым [147]. Это о нем чудесно сказал старый Акоп Акопян в 1925 году:

ГЕВОРК АТАРБЕКЯН

О смелом Ваагне,
Рассеявшем тьму,
Легенду пронес человек:
Он в пламени вырос,
Он умер в дыму,—
Ты тоже такой,
Атарбек!
Я видел, как ты
С зеленеющих гор
Детенышем тигра сходил.

Я видел, как ты,
Рассекая простор,
Орленком над миром парил.
Я видел, как ты
В нарастающий бой
Летел, обгоняя коней,—
Пожар трепыхал
Над твоей головой
Кровавой прической твоей.

Ты умер.
И жизнь твою
Ветер замел,—
Твой голос
Уже не зовет...
Так спи же, товарищ,
Как мертвый орел,
На склонах советских высот [148].

(Перевод М. Светлова)

Жители Эчмиадзина обязательно упомянут и профессора Вагана Рштуни, доктора исторических наук, работающего в Ереване, потому что в районах особенно гордятся своими земляками-учеными. Но о чем вам непременно с большой гордостью расскажут, так это о пребывании в Эчмиадзине в течение нескольких лет подряд замечательного советского полководца, героя Великой Отечественной войны и блестяще образованного человека — Ивана Христофоровича Баграмяна, тогда еще скромного командира полка.

Иван Христофорович родился в Азербайджане, в Гяндже, и там же получил первое свое образование — в техническом железнодорожном училище. Когда началась первая мировая война с Германией, он пошел добровольцем на фронт, пройдя в Ахалцихе в запасном батальоне суровую военную подготовку. С того времени, как рассказывает сам Иван Христофорович, сохранилось у него знание «военных азов» — полевого устава строевой подготовки, шагистики, ружейных приемов, обязанностей часового, разводящего, караульного начальника службы, часового и подчаска полевого караула, дозора и секрета. Юношей прошел он с маршевым батальоном через Персию, девятнадцати лет окончил в Тифлисе школу прапорщиков, а во время Октябрьской революции назначен был в 1-й Армянский конный полк младшим офицером эскадрона. Он сражался во всех боях, связанных с обороной Сарыкамыша и Карса; был участником «Майского восстания» 1920 года на стороне большевиков, был арестован дашнаками, отсидел при них в тюрьме в Джалал-оглы (сейчас Степанаван) и Александропольском каземате. После установления советской власти в Армении 1-й Армянский конный полк был частично включен в состав советских частей; враждебные советской власти офицеры были изъяты из полка или бежали. В числе четырех преданных революции офицеров был оставлен в полку и И. Х. Баграмян, участвовавший со своим полком в борьбе за установление советской власти в Грузии. Именно в те годы, командуя полком, провел Иван Христофорович несколько лет в Эчмиадзине. Казалось бы, он уже так много успел пережить, такая богатая

и полная событий жизнь уже была за его плечами с тех пор, как мальчиком семнадцати лет он пошел на фронт в 1915 году. А между тем это было лишь первым этапом жизни замечательного полководца, у которого впереди были участие в разработке плана взятия Ростова, участие в операции освобождения Ельца, прорыв линии немцев под Жиздрой, участие в Орлово-Курской операции, участие в очищении Белоруссии, в составлении плана взятия Кенигсберга, наконец — Земляпская операция, знаменитый прорыв к морю — блестящие вехи в истории Отечественной войны. Но Иван Христофорович не меньше своих земляков любит вспоминать «эчмиадзинское время», когда он был скромным командиром полка. Именно в этот период, при командовании полком сложились и развернулись лучшие качества будущего маршала И. Х. Баграмяна: его умение чувствовать и понимать солдата, умение воспитывать и выращивать людей, относиться к ним с огромным душевным тактом, привязывающим сердца подчиненных и характерным для атмосферы именно нашей, Советской Армии. Сам И. Х. Баграмян, рассказывая о себе, говорит, что командование полком было интереснейшим этапом его жизни.

Вернемся опять в Аштарак, чтобы проделать уже другую прогулку, совсем в обратную сторону. В Эчмиадзин мы ехали вниз, на юг, к железнодорожной магистрали Ереван — Тбилиси. Сейчас поднимемся кверху, на север, к воздушному Спитакскому перевалу, по которому уже перестают ездить (он заменен более удобным и коротким); но и сейчас хорошо повидать его, окунуться весной в океан заливающих его ярких цветов, а осенью в колючую разреженную прохладу воздуха и кинуть взгляд вниз, на зеленую бездну, из которой вознесся он десятками кружевных петелек-зигзагов.

К Спитакскому перевалу уходит от Аштарака, непрерывно повышаясь, Апаранское шоссе. Вдоль него — красивые деревни Мугни, Карби, Аликочак, Верхний Апаран. С каждой из них что-нибудь связано: в Мугни разыгрались события, описанные Перчем Прошьяном в романе «Из-за хлеба»; в Апаране — высоко в горах —

укрывался герой романа Абовяна «Раны Армении» с кучкой своих товарищей. В каждом селе — исторические памятники, замечательные церкви; и на фоне древней классической архитектуры, не уступая ей, гармонично сливаясь с нею, стоят жемчужинки новой архитектуры, возникшие за время войны: оформленные родники. Если в Аштараке мы видели строгий «триптих» с тремя треугольными крышами, то в Мугни — башенка с плоской, расширяющейся наверху вершиной, урезанной горизонтально и опоясанной под карнизом красивым геометрическим орнаментом, а вокруг крана почти единственное украшение этой башенки-родника — богатый медальон-барельеф. Эти два родника резко несхожи. Когда же вы видите третий, в селении Карби, то не можете не поразиться разнообразием архитектурных замыслов в оформлении родников, потому что новый уже резко отличается от первых двух. Это богатейший «коринфский» стиль, если можно применить сюда понятие греческого ордера. Тоже «триптих», но не скупой и строгий, как в Аштараке, а декоративно разросшийся. Центральная стена в двух полуарках, под треугольником крыши с остро приподнятыми, как у китайских пагод, краями; два боковых фасада — на четырех колоннах, с пышными подушками под сводами крыш, уже не треугольных, а прямых. Родник на площади, прямо против развалин церкви, как молодой новый побег от сухого, голого пня старого дуба. Неподалеку от него — ярко побеленный клуб. Карби — богатое село, со своей интеллигенцией.

В середине 40-х годов я как-то заглянула в клуб — поглядеть, чем жили в ту пору жители Карби. На стенах клуба висели так называемые «ильичевки» с отчетами колхозных бригад. На длинном столе, покрытом красным кумачом, лежали книги: «Фронт» Корнейчука на армянском языке, только что переведенная книжечка очерков Елены Кононенко, большой том Ованеса Туманяна со вложенной в него кем-то закладкой; «Давид Сасунский»; Абов — брошюра. При клубе было несколько кружков: литературный, агротехнический, политграмоты, русского языка, песни и пляски, драматический. Можно было, взяв отчетную тетрадь со

стола, увидеть перечень прочитанных здесь лекций и докладов. Сколько народу посещало эти доклады? В отчетной графе о посещаемости стояли цифры,— на последнем докладе было 84 человека, а предпоследний доклад — о женщине в Отечественной войне — пришли слушать 104 человека — предельная цифра, если вспомнить тогдашний размер клубного зала и объем трудовой нагрузки колхозника. И все это, казавшееся в те годы целой революцией, сейчас кажется незапамятной стариной. Дворцы выросли на месте побеленных хибарок, и в этих дворцах сами колхозники читают доклады, а приезжающие сюда академики проводят научные конференции.

В Карби вы опять вдыхаете знакомый вам, очень разреженный горный воздух,— здесь начинается горная зона. Чем дальше, тем меньше деревьев; за старинным мостом они пропадают вовсе; справа и слева отлично обработанная черная, жирная зябь, простор по обе стороны, хрустящий в зубах ветер,— как хлебная корочка. Сверху, из Апарана, ползут навстречу грузовики с грубой желтоватой капустой; кочаны ее, наваленные на грузовик, кажутся огромными желтыми биллиардными шарами. Самый воздух желтеет, пронизанный холодным солнцем. Аликочак — россыпь домов, ива над камнями, по которым стеклянно журчит ледяной родник, подобие парка культуры и отдыха, вокруг него молодые деревца, клумбы, выложенные кругляками, цветы вокруг маленького водопада. Квадратные овины с высоким, уложенным овально, в форме яйца, стогом соломы на крыше и с черной, жирной пирамидой кизяка, возвышающейся рядом. Дальше в горах — неожиданно великолепная стальная мачта,— это проходит своей дорогой сквозь ущелья и перевалы кружевная линия передачи Дзорагэс. Вообще в Армении на самых, казалось бы, пустынных местах вас встречают одинокие великаны-путники — столбы, несущие провода. Они шагают через пропасти и обрывы, по равнинам и оврагам, вдоль рек и через реки, шагают по-разному: одни — прямые, строгие, четкие, другие — нарядные, раскидав в обе стороны кружевные руки.

За Аликочаком — россыпи камней справа и слева..

Прошел старый облезлый верблюд, качая поклажу. Облака, тени на небе, белые пятна снега в горных расщелинах, пустынно, опять камни. Верхний Апаран, центр Апаранского района, культурнее и обширнее Аликочака. Здесь построен уж третий сыроваренный завод, строится свой кинотеатр, оформлены по проекту Г. А. Таманяна два родника, а действуют целых восемнадцать; ледяная, живительная горная вода, сладкая на вкус,— ее вам подносят в запотелом стакане, как угощение. Воздух слишком разрежен для жителя низин,— с непривычки хочется спать, судорожно зеваешь, заглатывая чудный, бодрящий холодок. И так хорошо на этой суровой высоте, что невольно припоминается давнишняя встреча внизу, под Ереваном, в переселенческой деревушке Новый Апаран (Нор-Апаран).

Наверху в Апаране и от скудости почвы, и от очень большой высоты, и от недостатка хорошего жилья крестьянам всегда жилось плохо, и до революции про Апаран говорили, что это «классическая страна нищеты». В годы 1939—1941 оттуда переселили вниз, под Ереван, четыреста наименее обеспеченных семей. Переселили в заранее построенные, прекрасные, двухэтажные коттеджи, отвели хорошую землю. Я заехала в этот новый колхозный поселок летним вечером. Прямо перед домами колыхалась высокая пшеница. Дети на земле поддерживали огонь в очаге, на котором в котле варился ароматный «спас». Детям было весело. Но старик-дед скучал по Апарану. Ему тут, внизу, как он пожаловался, «воздуху не хватало».

Переселяя вниз горных жителей, советская власть в Армении неустанно поднимает экономику самого Апарана. Здесь в 1941 году были поставлены две первые микрогэс, по 12 лошадиных сил каждая. Непременно надо обойти Верхний Апаран — посмотреть его знаменитые родники, несущие из-под камней драгоценную чистую воду с Арагаца. Возле них заболочено,— это место рождения речки Касах, той самой речки, которая потребовала возле Аштарака замечательного старинного моста с большими пролетами. Прямо над истоком Касаха, на скале, стоит прямоугольная древняя базилика IV века с маленькой двустворчатой

дверью, украшенной растительным орнаментом и фигурами двух барашков. В Верхнем Апаране и строят, и ведут археологические раскопки, и перевыполняют план по главной отрасли местного хозяйства — скотоводству. Построили только за последние годы четыре новые школы, много каменных домов для крестьян, кое-где еще зарывшихся в норы своих древних землянок. В 15 километрах отсюда копают карьеры прекрасного мрамора, на полянах вокруг сажают «лорх», которым славится весь район, капусту. В ущелье на реке, возле деревни Мулки, стоят две красивые микрогэс; они дают энергию и Верхнему Апарану и Мулки, местной мельнице кирпичному заводу, всем механическим установкам, радио, телефону. Небольшой напор, канал длиною в один километр, запертые на замок две колонки — и всё.

На памяти апаранцев нет в прошлом своих «знатных» людей. Подумав напряженно, отвечают вам, что отсюда родом гусан Ашхуж («Резвый») и ученый «вардапет» Беник. Зато десятками назовут они вам людей, трудом и делами которых гордятся сейчас.

Дальше, за Верхним Апараном, шоссе взвивается вверх к Спитакскому перевалу.

Так медленно в широких просторах плывут горы по обе стороны шоссе, перемещаясь едва заметно для глаза, что быстрота вашего собственного движения перестает восприниматься. Начинается холод — настоящий, до озноба. Вдруг впереди в яркой синеве неба нечто неправдоподобное, фантастическое: выскочили фигуры огромных коней разного цвета — рыжие, красные, черные, белые. Кони стоят на пьедесталах в виде крендельков: скачущие ноги, передние и задние, подогнуты друг к другу восьмерками; головы крепко взнузданы и упираются подбородками в грудь; хвосты, взвиваясь, закругляют, как скобки, эти странные статуи, полные напряжения и силы. Но автомобиль заворачивает за угол, видение исчезает. Вы въехали в новое село.

На первый взгляд оно походит на все апаранские села: те же плоскокрышие дома, пирамиды кизяка. Но от апаранских сел его отличают странные украше-

ния на домах. В их глинобитные и каменные стены вделаны мозаичные рисунки из более светлого, чаще всего розового, туфа: кружки, розетки, стрелки, шарики, квадраты; все это друг возле друга, без всякой симметрии, как попало.

В этом месте двадцать лет назад еще существовало меновое хозяйство. Кооператив помещался на складе зерна, вместо кассы там стояли весы, вместо кассира «деньги» принимал весовщик, а сами эти «деньги» приносились сюда в мешках, потому что роль денег исполнял ячмень.

Странная деревня, куда вы попали, зовется Кандахсаз. Ее обитатели — древнейший осколок курдского племени, курды-езиды. Когда я заехала сюда первый раз, был еще жив высокий старик, с больным глазом, в пестрой чалме из разноцветных шелковых платков — шейх, глава курдского рода. Он ходил за нами по всей деревне, а потом пригласил к себе в гости. Жилье шейха, такое же земляное и темное, было обширней, чем у простых сельчан; в коридоре стоял необычный предмет —деревянный стол, а на столе стул, навряд ли употребляемый, потому что тогда в армянских деревнях люди еще сидели на земляном полу, на коврах, на низеньких лавках вдоль стен и употребления стульев почти не знали. Шейх водил нас, видимо, сильно стесняясь своей «роскоши», а потом вывел из жилья другим ходом, и мы очутились среди тех самых странных ярких коней, которые поразили читателя при въезде в деревню,— на старом курдском кладбище.

По старинному, уже исчезающему обычаю курды хоронили своих покойников, ставя над мужскими могилами каменные изваяния оседланных, ярко раскрашенных коней, а над могилами женщин — простые плиты с изображением люльки. Это и придает старым их кладбищам фантастический и в то же время своеобразно художественный вид. Памятники постепенно стираются, осыпаются от времени, краски с них сходят и гаснут, часть памятников уже свалилась вниз, в траву, и лежит с отбитыми головами и хвостами, а все кладбище в целом за двадцать лет, что я не видела его, сильно уже разрушено. И это жаль, потому что

наивное и сильное искусство курдов-езидов стоит того, чтоб его внимательно изучили и охраняли.

Сами курды могли бы сейчас это сделать. За четверть века все у них здесь преобразилось. Советская национальная политика показывает свои результаты с особенной, убедительной силой на этом маленьком племени. За короткое время курды-езиды из кочевников превратились в оседлых колхозников; у них выросла и своя собственная интеллигенция, и своя филология, и свои культурные учреждения, и своя печать. Шрифта у курдов не было,— в Иране и Турции они пользуются арабским. В Армении же Академия наук составила для них алфавит из русских букв. У курдов есть своя классическая литература, свой эпос [149]. Два члена Союза советских писателей Армении — Джаури Аджиэ Джынды [150] и погибший в 1946 году во время аварии в Тбилиси Везир Джаббарович Надиров [151] — одновременно и научные работники: один — Института истории и литературы, другой был прикреплен к Ереванскому государственному университету.

В Ереване ежегодно обучаются десятки будущих учителей-курдов. В глубокое прошлое отходят старые обычаи: многоженство, древние культовые обряды. За время Отечественной войны в самых далеких горных деревушках часто появлялся плотный и бывалый, отлично говоривший и по-русски, и по-армянски, и по-азербайджански Везир Надиров, чтоб прочитать горячую лекцию. Он писал патриотические стихи, создал поэму «Надо и Гюлизар», где герой и героиня сперва идут на фронт, потом, попав в окружение, делаются партизанами,— словом, во всем: в облике, направлении работы, внимании к национальному прошлому, глубокой современности, этот советский человек, культурный курд, олицетворял собою великий принцип развития культуры, «национальной по форме, социалистической по содержанию». В дни полуторастолетнего юбилея Пушкина, торжественно отпразднованного в каждом уголке нашего Союза, множество вечеров и лекций, посвященных Пушкину, устраивалось в курдских колхозах, а школьники-курды звонко читали стихи Пушкина на курдском языке; к юбилею выпущен

был том избранных произведений великого русского поэта, переведенных на курдский язык и изданных в Ереване.

Дальше за Кандахсазом еще одна курдская деревушка — Памб, и начинается подъем бесчисленными зигзагами на Спитакский перевал. Его сейчас минуют, чтобы воспользоваться другим, более удобным и коротким перевалом. Но с высоты обеих перевальных точек вы заглядываете в тот же новый мир, бездну долины, уже полной влаги. Издалека предчувствуются сырость и другой растительный мир, надвигается неуловимое изменение пейзажа. За собой вы оставили одну Армению — классический мир камня и нагорий, азиатскую чистоту сухого воздуха, создающую непрерывную игру теней, неисчислимых в своих цветных оттенках; перед собой вы видите уже другую Армению — более тяжелый, влажный воздух, меньшая прозрачность неба, хвойный лес, лесное ущелье. Любопытный пещерный город в пути, с базальтовыми столбами, потом сады, тополя, сосны, каменные дома, но уже другой, новой кладки. Здесь вместо плоских армянских крыш встают перед вами треугольные, крытые черепицей.

Кировакан — третий по величине и промышленному значению город в Армении — возникает впереди, окруженный мягкими округлыми очертаниями гор, покрытых густым хвойным лесом. Город краснеет черепицами. Он сейчас усиленно озеленяется, на его улицах весной 1951 года высажено 50 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород, а в течение всего года — свыше 150 тысяч деревьев. Этот центр химической промышленности Армении — один из живописнейших городов республики. Дома его похожи на дачи,— с кружевными балконами, выступающими над первым этажом. Это не только город-завод, но и город-курорт, прекрасное место для отдыха и лечения.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА АРАГАЦ

СВИРЕПЫЙ «БУТОН ЗЕМЛИ»

Выходя на улицу, жители Еревана видят по одну сторону горизонта снежный двуглавый Арарат, а по другую его сторону, почти напротив Арарата,— снеговые массивы Алагеза, или, по-армянски, Арагаца [152].

Арарат — скульптурен, одинок, формально закончен; Арагац — разбросан, многоголов, живописен, заслоняет горизонт своеобразной горной кущей, целой рощицей вершинок и склонов. Тянет туда приезжего, особенно в жаркий день, когда белый сахар вулкана рассыпается на жгуче-синем, горячем небе. Но не так-то много жителей Еревана побывало на его вершине,— ведь даже сейчас, когда на Арагац ведет хорошая дорога, путешествие это не очень легко, особенно до полного таяния снегов.

Снежные бури на Арагаце — явление серьезное: они-то и делают этот, в сущности очень доступный, на три четверти пологий, лишенный особых альпийских трудностей подъем предметом серьезного внимания туристов. Главное для восхождения — уметь выбрать такой день, когда снег уже успел сойти со склонов и когда он еще не начал выпадать снова.

Что же такое Арагац для Армении?

Он, во-первых, неизменное слагаемое ее пейзажа. Улыбающийся волнистый очерк его словно антипод

Арарату, и каждый, кто показывает новичку библейскую гору, неизменно поворачивается к ней спиной, добавляя: «А вот Арагац».

Во-вторых, он очень реальное слагаемое армянской экономики. Арагац дает Армении реки и влагу, поставляет для нее строительный камень; склоны его, обращенные к Ленинакану, богаты великолепным туфом; они спускаются к селению Артик розовыми россыпями камня, получившего свое название от этой деревни. Арагац — основное место для летнего выпаса скота. Каждое лето на дивные его луговины перебираются со своими стадами армяне и курды, разбивая свои стоянки на все тех же, постоянных, освященных временем местах. Кочевое скотоводство в Армении идет от глубокой древности. В годы советской власти оно стало источником большой заботы со стороны правительства. С кочевниками велась и ведется постоянная просветительная работа; на кочевках открыты ветпункты, сведшие к минимуму всякие эпизоотии, прежний бич армянских стад. На кочевках есть сейчас все культурные учреждения, какими гордится колхозная деревня: кинопередвижки, ясли, консультации; туда едут лекторы и пропагандисты. А с другой стороны — все больше и больше места в севообороте колхозов занимают кормовые травы, и по этим травам создано свое семенное хозяйство. И постепенно стойловое животноводство вытесняет многовековые обычаи кочевья.

В-третьих, все бо́льшую и бо́льшую роль играет Арагац и в науке. Вулканологи, от профессора Лебедева до академика Заварицкого, с интересом изучали его; гидрологи много раз пытались прощупать истоки пульсирующей во внутренних пустотах Арагаца воды, чтобы вывести запасы ее на поверхность; метеорологи уже много лет как поставили у подножья последней каменной вершинки его свою метеорологическую станцию, изучая тайны «создания погоды». Особенно выросла его роль для советской науки в наши дни. Два крупнейших физика, братья-академики Абрам Исаакович Алиханов и Артем Исаакович Алиханян, создали на склонах Арагаца лабораторию, где уже несколько лет ведут, с группой молодых физиков, свои важные наблюдения.

А у самого подножия Арагаца, в селении Бюракан, построена астрономическая обсерватория, с башни которой президент Армянской Академии наук В. А. Амбарцумян и его помощник астроном Б. Е. Маркарян ведут свои знаменитые наблюдения над звездными ассоциациями.

Наконец, в-четвертых, Арагац — неизменное слагаемое и армянского искусства и армянского фольклора. Не устает петь о нем соловей Армении, Аветик Исаакян. Лучшие художники наносят профиль Арагаца на свои полотна. Благодарно восхваляется он в народных песнях. Когда представишь себе всю эту красоту и богатство, так щедро одарившие науку, искусство, деревню и город своими водою и камнем, травою и горным воздухом, то впечатление чего-то мягкого, мирного, покойного и благодетельного встает от Арагаца. Добрая гора!

Но так ли уж мирен Арагац?

Там, где для нас открываются в нем только польза и ласка, ученые прозревают совсем иную картину. Для них все эти дары — подземные полупустоты с их странными шумами, как губки переполненные ледяной влагой, непроходимые каменные россыпи, рытвины и гигантские прорывы, ставшие ущельями, дивные луговины, развернувшиеся на бесчисленных хребтах и в складках вулкана,— весь этот судорожный мир несимметричных и изломанных форм говорит уже другими голосами — голосами древнейшей геологической драмы. Если можно стихии космические сравнивать со страстями человека, то бесчисленные материальные следы, разбросанные по склонам Арагаца, говорят о глубочайших страстях и страданиях, о непрекращающейся буре, выпавшей на долю этого свирепого «бутона земли». Ученые тотчас скажут вам, что Арагац — один из оригинальнейших вулканов в мире. Он принадлежит к разряду так называемых полигенных вулканов, то есть таких, которые возникли не сразу, а в результате многократных и разнородных извержений.

Подобно цветку, Арагац много раз «лопался», извергая в судорожных спазмах своеобразное «семя», и оно так же, как и цветочные семена, разносилось

вокруг по воле стихий. Извержения Арагаца не явились результатом одного исторического «периода действия», как в вулканах, имеющих строгую форму и одинокий конус. Эти «периоды действия» для Арагаца охватили огромный промежуток времени. Длительно живя и действуя, свирепый «бутон» формировал вокруг тот хаос, ту причудливую группу хребтов и рытвин, которые мы сейчас называем «Арагацем» и которые представляют в сущности не одну гору, а целое семейство гор, целый сад отвердевших в земной коре усилий и перемещений.

Но почему это «семя», то есть вулканическая лава, разливалась неравномерно и какие причины направляли и меняли ее истечение? Лава, извергавшаяся в различные периоды, была неодинакова по составу. Различие в составе влекло за собой и различие в физических свойствах,— иначе сказать, извергаемое обладало далеко не одинаковой способностью застывания, тягучести, растекаемости. В один период извергнутые лавы застыли вокруг кратера сплошным массивом, в другой — они далеко растеклись вниз. Отсюда и групповой характер формы вулкана.

Мы находим на Арагаце пемзу, туф, а в самом кратере огромное количество кварцов. Это значит, что в процессе извержения участвовали газы и под их действием лавы физически перерождались.

Вот что открывают внимательному взгляду материальные отметы, «морщины на челе» Арагаца. По успокоенным очеркам ущелий, по застывшим каменным грудам, по огромной розетке, находящейся над одним из ущелий Арагаца, читают ученые биографию бурную и мучительную. И она оказалась им очень нужной не только для того, чтобы правильно определить происхождение формы Арагаца, но и для того, чтобы отсюда, из этой биографии, спуститься уже к верному пониманию знаменитого наследства вулкана.

Людям, строящим дома из «застывших страстей вулкана», из окаменевшего семени этого грозного земного цветка, очень важно было знать: 1) район и размер распространения туфа, 2) характер его залегания и 3) степень его однородности. Потому что если б артикский туф был в основном не однороден, а разносор-

тен, то и промышленное его значение сильно понизилось бы и добыча была бы сопряжена с кропотливой сортировкой.

Много лет назад, в конце 20-х годов, прослушав лекцию профессора Лебедева о вулкане Арагаце и об артикском туфе, тогда еще только что благодаря усилиям инженера Числиева[153], начинавшем заинтересовывать наши строительные ведомства, я вышла из душного лекционного зала в Ереване на такую же душную июльскую улицу. Истекала духотой летняя ночь. На горизонте, облитый луной, возник легкий кружевной очерк, словно длинная фраза из снега и камня, составленная иероглифами.

Четыре тысячи девяносто пять метров! У многих из нас, прослушавших тогда лекцию, родилась тайная мечта: уйти из этой нестерпимой июльской духоты, уйти в горную свежесть Арагаца, подняться на него, своими глазами заглянуть в кратер. Через несколько дней, в необычное для восхождения время — 14 июля 1928 года, мне удалось выполнить свою мечту. Два десятка лет изменили многое в Армении до неузнаваемости. Изменился и даже отстроился сам Арагац. Но неизменным осталось чувство туриста,— не только месяцы и годы, но десятки и сотни лет это чувство человека, берущего горную высоту постепенно, шаг за шагом, остается все тем же. И я хочу рассказать читателю о тогдашнем своем восхождении на Арагац вместе с двадцатью членами тогдашнего Общества охотников.

Минуя Эчмиадзин, мы доехали до красивой лесной дачи Бюракан, где сейчас построена обсерватория и откуда на рассвете мы должны были выйти пешком. Вокруг нас уже веяло ветром Арагаца. Склоны его надвинулись зелеными луговинами и заслонили горизонт. И вода, которую мы пили, была уже знаменитой арагацкой водой из бесчисленных его подземных родников, пробивавшихся от вершины вплоть до Бюракана.

Мы остановились на ночлег в доме охотника. Это тотчас же угадывалось по великолепному бело-рыжему пойнтеру, беспокойно метавшемуся перед балконом, по ружьям, висевшим на стенах, и по множеству тюфяков, наваленных грудой на балконе, говоривших о частых и

многочисленных здесь ночевках. Покуда подъезжали и собирались участники экскурсии, а раньше прибывшие пробовали и готовили ружья, вечер сгустился в чернильно-черную ночь. Хозяйка понесла в сад тюфяки и ковры, чтобы постелить их прямо на земле и дать гостям выспаться под музыку пробегающего через сад арыка. Ковры легли, придавив десятки маленьких, еще теплых от солнца абрикосов, и десятки других, смутно раскачиваемых во мраке на невидимых невысоких деревьях, теплым дождем посыпались уже на готовые постели.

С улицы неслись звуки деревенской ночи вместе с горьким запахом дыма. Пора было лечь, чтобы завтра встать на рассвете. Запасливые погонщики ослов, с которыми мы договорились насчет поклажи, были уже тут, попыхивая в темноте чубуками, набитыми местным табаком.

Это было около четверти века назад. И, прерывая рассказ, переношу читателя в наше время, в осенний вечер 1950 года, когда мы с поэтом Ашотом Граши уже не пешком, а с большим комфортом, по хорошей дороге, на машине подъехали к Бюракану и на фоне темного звездного неба увидели над откосом за высокой оградой странные очертания высокой башни. Замечателен был этот вечер, проведенный нами в гостях у астрономов. Президент В. А. Амбарцумян был в ту пору в Москве. Б. Е. Маркарян был болен и лежал в постели. Нас встретил хозяин комнаты, куда мы постучались обогреться,— товарищ Ватьян. Он быстро зажег железную печурку, разогрел чай и притащил все, чем был богат, на стол. И разговор, завязавшийся у нас за столом, когда холодный осенний ветер гудел и рвался за дверями, разгоняя тучи, был настоящим звездным разговором. Сперва мы услышали от него немного истории. С 1944 года в Союзе искали наилучшее место для постройки общесоюзной обсерватории. Нужно было южное небо, широкий горизонт, максимум ясных ночей. Подходящие места нашли в Крыму и здесь, в Бюракане. В Крыму начали строить общесоюзную, а здесь республиканскую. Первая очередь в 1950 году уже заканчивалась,— были готовы центральное здание, все

лаборатории и рабочие комнаты, зала обсерватории, библиотека, две башни средних размеров, три павильона для маленьких телескопов, специальная радиолаборатория и т. д. Во вторую очередь вошли — большая башня, гостиница, еще один жилой дом. Сейчас работают три зеркальных телескопа, два астрографа (для фотографии неба), небулярный спектрограф (для изучения тумана) — по своей мощности рекордный у нас, отечественной марки; еще один такой же в Крыму...

Телескопы — на верхней открытой площадке башни. Можно представить себе, как в ветреные, морозные зимние ночи наши астрономы стоят, ничем от ветра и холода не защищенные, часами на этой площадке, припав к телескопу. Каждый специалист любит свое дело. Но то, что мы тут услышали, открыло нам, писателям, такую форму любви к своей специальности, какой мы еще нигде и никогда не встречали.

К концу экскурса в историю неожиданно пришел Б. Е. Маркарян. Он не вытерпел и, услыша о приезжих, забыл о своем гриппе. Но первая половина разговора, когда оба астронома, начав с азбуки, рассказали нам, двум невеждам, о тех больших работах, которые тут ведутся, была для нас менее интересна, чем вторая часть. О ней читатели знают в общих чертах из напечатанных материалов и статей В. А. Амбарцумяна. А вот для второй половины разговора мне хотелось бы найти яркие слова, чтобы передать читателям силу полученного впечатления.

Работе астронома нужна ночь; когда все засыпает на земле, для него оживает небо. И он идет в тишине к месту своей работы, по винтовой лестнице, вверх и вверх, пока не выйдет на открытую площадку. Представив себе «рабочее место» и «рабочие часы» астронома, я, сама не знаю почему, вдруг спросила: «А вам не снятся эти звезды, когда вы, наконец, засыпаете?» Оба астронома переглянулись. И тут мы услышали долгий, совсем не обычного типа, рассказ:

— Если вы увидите астронома за работой, вы сами поймете, снятся ли ему звезды. Трудно описать, где каждую ночь блуждают наши глаза. Навели телескоп на Плеяды, там видим массу звезд неслыханного разно-

образия. Яркие и слабые, среди них разноцветные; яркие выделяются, как алмазы. Когда в лесу много цветов, это дает эстетическое наслаждение,— а тут наслаждения больше, гораздо больше, оно такой силы, что превышает страсть и достигает страшного. Навели телескоп на созвездие Ориона — масса ярких звезд, окутанных газовой туманностью Ориона, которая представляет исключительный и художественный и научный интерес. Или еще. В созвездии Персея выделяется светлое пятнышко, его можно увидеть простым глазом,— это двойное звездное скопление, каждое из которых состоит из сотен звезд. Как сияет, как играет, как действует само это количество — описать невозможно. Для астронома требуются железные нервы. Если иметь слабые нервы и слабый характер, то можно не только «сны видеть», но и с ума сойти. Есть астрономы, заболевшие, не в силах этого вынести. К счастью, в нашей работе есть и формальная часть, и она успокаивает, дает возбужденным до невыносимости нервам как бы разрядку: это когда мы начинаем переходить от образа, от созерцания к числам, к формулам, садимся в комнате за письменный стол для обработки материалов.

После этого рассказа мне захотелось открыть Большую энциклопедию и снова — другими глазами — взглянуть на портреты великих астрономов прошлого. Наверное, отблеск от созерцания неба придал их лицам особое выражение, как ожог огнем на лице у рабочих-металлургов. Ведь они маленькими человеческими очами (очами одного сына земли) смотрели на миллиарды звезд, сестер и братьев нашей планеты, на небо, кишевшее мирами, и смотрели из ночи в ночь, из года в год, до умственного опьянения, до головокружения,— а когда возвращались на землю, то, наверное,— перефразируя Лермонтова,—

...звуков небес заменить не могли
Им скучные песни земли.

Так поэтически закончился для нас вечер поездки в Бюракан. И если кто думает, что искусство пьянит, а

наука — трезвая вещь, тот жестоко ошибается. Для этого нужно лишь заглянуть в большую страсть самой, казалось бы, отвлеченной и математической из всех наук — астрономии.

УЩЕЛЬЕ РЕКИ АМБЕРД

Но вернемся опять к нашему прерванному путешествию, проделанному летом 1928 года.

Можно было начать восхождение со стороны Апарана, горного района, три четверти года покрытого снегом. Этот путь проторен летними потоками кочевников. Почти все апаранские села (армянские и курдоезидские) снимаются на лето с места, чтоб уйти на горные пастбища.

Но выбранный нами путь лежал не через Апаран; он был несколько более длинным и позволил нам увидеть больше, нежели апаранский. Я говорю «увидеть больше» в особом смысле, применительно только к Арагацу. Строение этой горы так своеобразно и многоформенно, что каждый лишний километр пути приобретает не только пространственное, но и качественное показательное значение. Идя на Арагац, нельзя выбирать сокращения и жаловаться на длинноты, если хочешь понять побольше. Что ни поворот, то неожиданность; думаешь, будто зашел в тупик или вплотную придвинулся к последней возвышенности,— но нет, оказывается, это лишь «один из эпизодов Арагаца», как красочно выразился участник нашей экскурсии.

«Эпизоды Арагаца» — их множество — состоят из бесчисленных архитектонических сюрпризов, из закоулочков, из резких переходов от ослепительных, нарядных, густо благоухающих нагорий к мрачным, почти оголенным, холодным ущельям, где местами еще лежит буроватый слой снега.

Ранним утром, когда небо стояло над нами зеленое, словно вода в заводи, и еще спали петухи и собаки, мы вышли из Бюракана. Впереди семенили восемь осликов, груженных провизией, чайниками и теплыми вещами. Охотники, густо обмотанные поясами с патронами, сжи-

мали в руках ружья, разбредясь цепью. Но утро было так тихо и сосредоточенно, что живья — ни птичьего, ни звериного — не попадалось.

Мы миновали ближайшее село, где наполнили фляги ледяною водой, и вступили в красивую дубовую рощу. Эта часть пути, легкая, удивительно напоминает старинную цветную гравюру.

Быть может, такие кудрявые, редко расставленные деревца, удобные для светотени, как этот старомодный дубок над селом; быть может, вот такая изумительная цепь точек и черточек, музыка телеграфного кода, резкая панорама всей Армении, ее нагорий, ее сел и пашен, ее восклицательных перпендикуляров — тополей и одиноких прямых башенок монастырей — все это и кормило когда-то своею формой глаза граверов и родило собою старинное и кропотливое искусство видеть вещи через светотень, через тонкую работу иглы по плоскости...

Дорога поднималась по косогору в рыжих отсветах глины и камня. Дуб кудрявился по склону, и навстречу, выходя из лесу, шли, казавшиеся нам издалека очень маленькими, человечки в больших шапках, гоня хворостиной архаических осликов, навьюченных вязанками сена.

Если же обернуться, возникала Армения,— тоже чем-то вроде старых карт, какие видишь в музеях топографии,— почти вылепленная рельефом и раскрашенная кисточкой. Арарат отсюда, со склонов своего антипода, кажется очень большим, он виден уже до самой подошвы, и его вершины плавают над четкими массивами, озаренными солнцем. Километров восемнадцать мы сделали, не чувствуя дороги, все поднимаясь и поднимаясь. Середина июля чем выше, тем больше стала переходить в начало мая, лето — в весну. Жару и желтый сок поспевающих плодов мы оставили внизу,— здесь же было начало жизни, такое яркое и сильное, что от бальзамических его испарений кружилась голова. Трава вылезала необычайной окраски, целые долины цветов, очень ярких,— думалось, это уже предел яркости, так они были густо окрашены. Но через два дня мы убедились, что ошиблись: на Арагаце из-под снежных полей растут еще более яркие, чья белизна и синева кажутся

глазу почти непереносимыми. Как бы дополняя старомодный стиль пейзажа, и эти цветы с их запахами тоже были глубоко старинными, словно из романов Вальтера Скотта; тут была лаванда, давным-давно выкуренная из нашего обихода искусственными запахами духов; были бальзамин, шалфей, ромашка, дикий укроп.

Поднявшись до глубокого ущелья, по дну которого бежала очень прозрачная речка, мы увидели развалины крепости Амберд — из крупного красноватого камня — с бойницами, башнями, узкими воротами, недавно раскопанной древней баней. Неподалеку от нее — обычной архитектуры церковка, красивая и сжатая, как все древние армянские монастыри, с характерными по углам орнаментами и с разрушенным конусом.

В этом месте, где уцелели тысячелетние памятники эпохи царя Ашота, находится и более древний памятник, на который в эпоху постройки крепости смотрели, должно быть, как на нечто таинственное и священное, и место для крепости выбрали возле него не случайно. Это огромная розетка из застывшей лавы, словно выдутая горлом вулкана, подобно тому, как, раздув щеки, стекольщик выдувает бутылку. Она рыжеет над ущельем, тотчас же обращая на себя внимание. Масса ее настолько симметрична, что кажется искусственной. Из сердцевины идут выпуклые бурые полосы, расширяющиеся к окружности, образуя нечто вроде морской звезды. Именно этот застывший «образ действия» вулкана и позволяет геологам прочесть, какие силы принимали участие в извержениях.

Перевалив по каменистым тропкам ущелье, мы поднялись к крепости и сделали первый привал. Тут еще сопровождали нас признаки покидаемого мира: стояли в кустах, кроме наших осликов, еще чьи-то верховые лошади; валялись на земле консервные банки, разбитые бутылки, бараньи косточки — следы пикника. Сидели и лежали мечтательные люди из города, и старенький «вардапет» лепился возле, добросовестно рассказывая историю царя Ашота.

Должно быть, тут же, спустя шестнадцать лет, сидели, отдыхая, и совсем другие, не городские люди,— могучие сасунские женщины, крестьянки из Апарана,

из аштаракских деревень. Они присаживались на камнях, чтобы отереть пот с лица, дать роздых усталым рукам, минуту-другую отдышаться и воды испить, а вокруг них в траве лежали орудия их богатырского труда — кирки, лопаты, ломы. Отсюда, из речки Амберд, начали эти героини-колхозницы строить в дни Отечественной войны свой знаменитый Аштаракский канал...

Когда после привала мы тронулись дальше, следы присутствия городского человека начали исчезать. Новый мир развернулся перед нами вместе с глубоким и мрачным ущельем реки Амберд.

Это ущелье, параллельное только что пройденному, заставило нашу экскурсию из-за неопытности проводников сделать добрых 20 километров лишних. Мы могли бы пройти верховьем, то есть вдоль хребта Арагаца, до так называемых «казенных палаток», где раньше стоял сторожевой пост и где оставались кое-какие приспособления для ночевки туристов. Но вместо этого обычного для путешественников направления мы двинулись низом. Здесь было мало растительности: снег только еще сходил со склонов, земля лежала мокрая и почти обнаженная. Зато на смену покинутого растительного царства выступало чудовищное обилие другого царства — каменного, которому суждено было, усиливаясь и умножаясь, сопровождать нас до последней точки пути.

Что такое камень на Арагаце, не видевшему этих склонов человеку трудно объяснить. Он лежит черепашьим панцырем, выступая выпуклостями из земли, и подошва скользит по нему — это базальт. Выскакивает по пути клыками, уходящими в землю глубоким каменным корневищем — это туф. Битыми кусками и осколками почти сплошь усыпает не только дорогу, но и склоны ущелья, точно шел тут каменный дождь и остался лежать,— это лава. Грубые сорта туфа, ярко-черного и ярко-красного, похожи по густоте тона на помпейскую стенную живопись.

Камень удваивал трудность дороги. Холод к вечеру стал чувствительным. Пришлось вынуть из дорожных мешков теплое и натянуть свитеры. Но вот вдалеке, по

крутым склонам, показались белые пятнышки полотнищ — первые кочевки, «яйлаки».

Эти яйлаки кочевники занимали, по традиции, из года в год. Каждая деревня имела свое место. Здесь курды и армяне оставались до половины сентября. Сюда приходили не налегке, а со всем решительно имуществом и целым родом. Палатки строили схожие, только армяне любят тепло, а курды предпочитают воздух: на земле из окрестных камней возводилась прямоугольная невысокая стенка, открытая на восток. Вдоль нее вбивались колья. На колья натягивалась приподнятая с середины шестами либо серая парусина, либо простой войлок, концы которого стали от времени бахромчатыми. И все. С востока парусина открыта (у армян она крепче натянута книзу). В самой палатке небольшое углубление, обложенное камнями, служило очагом. Отапливался он кизяком, а кизяк готовился тут же, за палаткой, где женщины скатывали навоз руками, месили его с землей и лепешками раскладывали на камнях — сушить.

Скот на ночь пригоняли сюда же, и наиболее «деликатная» часть его — стельные коровы, овечий и коровий молодняк — спала прямо перед палаткой, мордами в ноги спящих хозяев. Могучие псы, эти мохнатые львы кочевок, охраняли их. Горе вам, если вы ночью подойдете к кочевке, не предупредив хозяев. Пастушья овчарка в Армении страшнее всех хищных зверей.

Ячменный лаваш и острый мацун (кислое молоко) — вот основная пища на яйлаках. Но самое драгоценное здесь — воздух, крепчайший воздух, напоенный всеми земными соками, целебный, сваливающий под вечер путника, раздувающий вам легкие, как мехами. Над землей, явственно полукруглой, стекают созвездия, точь-в-точь как со стеклянного купола капля дождя. Небо еще не почернело. Под ним зябко, ночной холодок. Один за другим с горных склонов спускаются молчаливые пастухи к ужину и ночлегу.

Мы дошли до конца ущелья, образующего полукруглый тупик, уже к самой ночи. Усталость наша сменилась почти полным бесчувствием,— мы сделали в этот день около сорока километров. Последняя ко-

чевка встретила нас огоньками и собачьим лаем, и здесь мы решили заночевать.

Нас провели мимо телят и коров, уже разлегшихся полукругом перед входом в палатку. К деревянному шесту, над которым прикреплена крыша из войлока, хозяйка приделала жестянку с самодельным, тускло горевшим фитилем. В этом неверном свете можно было различить внизу черную ямку очага. Сунув в нее несколько кусков кизяка, курдянка зажгла их и жестом показала нам — снять сапоги и просушить перед очагом ноги. Мы расселись на мягком тюфяке и сунули ноги к очагу, каменные стенки которого были накалены. Трудно передать, какое это наслаждение — греть ноги после тяжелого пути очень холодной ночью, не отделенной от человека ни стеной, ни полом, протекающей сквозь дыры войлока, широко входящей под полог, сыростью поднимающейся от земли. Ночь была всюду, пальцы ее шевелили бахрому в палатке; звезды — такого количества звезд никогда не увидишь в городе — сыпались холодным дождем, видимые в каждую дырочку. В этой курдской палатке я увидела вблизи армянскую пастушью овчарку, о которой уже рассказала читателю в первой части книги.

Большая собака, поджав хвост между тощими лапами, нервно шевелилась за нашими спинами. Она не смела кусать гостей, пребывание в палатке делало нас для нее недоступными. Но, чуя чужих, пес неистово страдал, шерсть на нем вздыбилась. Протянув руку, мы нашли его морду; он безвредно и беззвучно огрызнулся, отведя челюсть, которой мог бы раздробить камень. Потом не вытерпел, жалобно заскулил и был выгнан за неприличие хозяином из палатки.

Тем временем курдянка вскипятила чай. Он был светло-зеленого цвета, из какой-то неведомой травки, на вкус кисловатый и очень приятный. Но даже пить не хотелось, так велика была усталость.

Курдянка тронула меня за плечо. В руке она держала одеяло, служившее верную службу не меньше чем трем поколениям кочевников. Она уложила меня на приготовленном тюфяке в середине палатки. Ночь

проникала во все поры нестерпимым холодом. Огонь в очаге потух. Еще минута — и я, забыв всякую привередливость, натянула одеяло до ушей и заснула крепчайшим сном.

ОЗЕРО КАРИ-ЛИЧ

Утро на яйлаках наступает рано, задолго до рассвета. Не сразу поймешь, где ты проснулся. Конец света, или, вернее, начало света. Висит коричневая бахрома палатки, приподнятой над землей шестами. От угла ее идет к земле крепкая веревка, привязанная к колышку. Под бахромой открывается мир, бледно-зеленый, чуть тронутый перламутром еще не взошедшего солнца. Еще не родились ни звуки, ни запахи,— все в сонной неподвижности. Вокруг спят люди, человек до двадцати. Слева — курд и курдянка с ребенком у груди; подальше — высокий седой курд; справа — старуха, уснувшая позже других и сейчас уже открывшая глаза в голых птичьих веках, лишенных ресниц. Дальше — подростки, маленькие дети, юноши, с открытыми ртами и кудрями на лбу. Между ними, тоже спящая, высунулась круглая бахромчатая морда собаки с крепко стиснутой квадратной челюстью.

Нам посчастливилось в нашем путешествии. Тупичок ущелья Амберд, где мы переночевали, представлял собой одну из «откровенностей» Арагаца, где подземная жизнь воды пробивается наружу и выдает свои тайны. Если бы мы подошли к озеру Кари-лич верховьями, быть может, наши впечатления были бы слабее Выйдя еще до рассвета на яйлаки, мы увидели подъем, который предстояло нам взять,— почти отвесный, очень утомительный, часа на полтора, по горной стене, на крыше которой и расположено озеро. Медленно осиливая каждую пядь земли, от карниза к карнизу, мы с первых шагов почувствовали под собой воду. Еще внизу, до подъема, она доходила нам по щиколотку. Наша обувь промокла и набухла от нее. Но и земля под нами казалась промокшей и набухшей от нее, словно обувь, ступившая еще глубже, нежели мы. Вся гора как будто сочилась водою. Вся гора, на-

жимаемая нами, как будто жала на невидимый источник, и он брызгал из дальних глубин под ее тысячетонной подошвой. Вода, вода, вода — куда ни повернись. Мы просыхали от движения и солнца, и опять мокли, и опять шли. Было очевидно, что здесь пульсирует где-то большая водная масса, быть может, подвальный этаж того озера, чью зеркальную крышу мы скоро увидели наверху.

Погонщики ослов — проводники, к которым мы уже потеряли доверие, шли обходной дорогой, а с нами добровольно поднимались старые курды-езиды, в палатке которых мы ночевали. Они отнеслись к замыслу взойти на Арагац очень недоверчиво, их широкие глаза улыбались: только что начали таять склоны, наверху должен быть сплошной снег, не время, лучше отложить. До озера, однако, они нас довели.

Озеро Кари-лич лежит у подножья высокой горки, сплошь составленной из битого камня, на абсолютной высоте 3 195 метров. На горке есть ниша — и в ней жестяной дождемер, и, по-видимому, здесь бывал кто-то, чтобы справляться о данных этой маленькой метеорологической станции. Берега еще были покрыты снегом, лишь местами оттаявшим. Земля настолько мокра, что мы с трудом отыскали полоску, пригодную для стоянки. Вода лежала тихая, прозрачная у берегов, того особенного синего цвета, какой придают горным озерам молекулы льда. Позднее, уже с последних высот нашего пути, когда и озеро и гора возле него показались нам размером с небольшой бобовый стручок, еще одно красивое явление поразило нас: озеро светилось двойным светом — розовым и голубым. Его кривые края пылали розоватым, очень нежным, лучистым пламенем, а в розовом ободке сияла глубокая одноцветная бирюза. Это потому, что берега Кари-лича мелки, вода исключительно прозрачная, красноватое вулканическое дно просвечивает розовым, а в середине озеро глубоко и дает редкую по своей густоте и яркости синеву.

Из-под снега заголубело множество незабудок. Пока вскипел чай, наша экскурсия занялась спортом: одни, взбираясь по снежным откосам, скатывались на

собственной спине, как на санках, вниз; другие полезли по камням смотреть метеорологическую станцию; третьи по воде и снегу пустились обследовать озеро, пустынное на этой высоте, с его одинокою рябью и прозрачным прибрежным холодом. Они были вознаграждены: на одном из снежных полей им удалось открыть явление, не частое на горных высотах: красный снег.

Не надо представлять себе красный снег чем-то действительно красным и ярким. С виду это скорее кирпичный, грязновато-вылинявший снег. Но если вы натрете им белый носовой платок, то он окрасится крепко, совсем как от кирпичной пудры, какою чистят кухонные ножи. Давя верхний слой подошвой, вы окрашиваете нижние слои. Дело в том, что красный снег — это особые бактерии кирпично-бурого цвета, которые грибками зацветают на снежной поверхности и придают ей необычный вид. Всегда под этим цветением бактерий, если разгрести поверхностные слои, обнаруживается белизна обыкновенного снега.

Между тем время шло, ветер яростно дул на озеро, облака стали гуще. Курды собрались уходить и нам посоветовали тоже, и когда речь зашла о восхождении на вершину, у нас не оказалось ни одного проводника. Напрасно пытались мы упросить, сулили двойную плату, стыдили и укоряли. Но наши спутники были неумолимы:

— Если бы позднее, через месяца полтора... А в такое время!

— Да какое же время?—упрямились мы.—Солнце высоко, пройти можно, холода лютого нет, впереди — до вечера — восемь-девять часов. Разве не успеем вернуться?

Переводчик добросовестно перевел нам курдский ответ:

— Буран идет. Погляди налево, погляди направо. Когда зайдешь в буран, назад не вернешься.

С этим утешительным ответом курды двинулись вниз. А за ними стали собираться и более благоразумные товарищи. Но два самых стойких «арагазца»,— хороший альпинист и охотник Б. да я, поставившие себе задачей добраться до вершины,— настояли на

своем. Мы «выделились» из экскурсии на свой страх и риск. Нам отвязали одного ишачка, кинули наши бурки, вьюки, оставили ячменных лепешек. Ослиный погонщик выбрал подветренное местечко, поставил ишака боком, в защиту от невзгод, и тотчас же растянулся на вьюках. Нам предстояло идти,— куда? Курд посоветовал: «Погляди налево, погляди направо».

Стоило поглядеть! Начиналось необычайное зрелище: пляска туманов. То слева, то справа шли на нас кудри, волокна, вихри густой белой ваты. Они вытягивались, принимали всякие очертания, шлепались друг о друга, валились скопом, опять поднимались, потом вдруг, меняя направление, начинали мчаться в другую сторону. То там, то здесь открывался между ними крохотный кусочек Арагаца, освещенный ярким солнцем. Тогда каждый камень на склоне казался близким, и мы снова решали: идем.

Между тем в нашей экскурсии произошла некоторая заминка. Один за другим к нами примкнули еще пять человек, среди них — вторая женщина. Остальные быстро пошли вниз за кочевниками и скоро перекатывающимися точками исчезли из нашего поля зрения. Теперь нам предстояла уже серьезная задача: правильно организовать нашу маленькую укомплектованную группу и обсудить направление, потому что никто из нас никогда на Арагаце не был, ничего о дороге не слышал и должен был при этом надеяться только на себя.

Арагац лежал впереди, съедаемый вспышками тумана, словно гигантскими языками костра, разведенного у его подножья. Он улыбался нам отдельными уголками, но общий очерк его был все же ясен Справа стояли хребты, казавшиеся более близкими: слева шел пологий и отдаленный подъем, пересекаемый частыми снежными полями.

КРАТЕР ВУЛКАНА

От озера Кари-лич и до вершины Арагаца остается еще 700 метров (данные по одноверстной карте). Но подъем здесь становится настолько крутым и слож-

ным, что в целом надо потратить на восхождение полтора-два часа и не меньше, а, пожалуй, даже больше — на спуск.

Курды предсказали верно: начинался буран. Он мел вокруг легкими щеточками, щекотал лицо,— снег был твердый и колючий, хотя не крупный. Но солнце продолжало показываться сквозь туман то там, то здесь. Как прольется сквозь облака, так опять станет тепло. Ни высота, ни даже подъем сердца особенно не отягощали; напротив, дыхание стало глубже, полнее, пульс насыщеннее. Холод покалывал, подбадривал. Вершина казалась близкой. Мы пересекали ущелье наискось, пока не подошли к первому снежному полю.

Верхний покров снега, лежащего не гладко, а наподобие застывшего кипятка, крупнозернистой кашей, фирном, обледенел и был отчаянно скользок. Приходилось протаптывать углубление для каждого шага, чтоб не скатиться вниз по льду.

Через час мы поднялись на такую высоту, что уже озеро Кари-лич и горка с дождемером стали казаться крошечными. Когда ветер относил в сторону снег и туман, отсюда можно было видеть почти всю Армению. Она лежала под нами ясная и спокойная, в то время как вершина Арагаца казалась качающейся от беспрерывного вихря облаков.

Теперь предстояло осилить последнюю трудность,— мы вплотную подошли к подъему. Если издалека он нам казался буровато-черным и мы надеялись на обычную гору из земли и колючей растительности, то вблизи вершина Арагаца предстала нам, как и горка возле озера, сплошь состоящею из каменной россыпи. Говоря об арагацких камнях, я все время употребляла слова «битый камень», «осколки», «плитки», нащупывая верное определение. Но только у самого жерла вулкана природа подсказала мне верное слово — черепки. Дело в том, что каменные россыпи на Арагаце резко отличаются от обычной груды камней, булыжника, гальки, гранита. Каменные породы невулканического происхождения кажутся нам естественными; их очертания, сглаженные временем, ветром, пылью, водой, движением по речному руслу, чаще всего

круглы. Совсем не то вулканические осколки. Они имеют вид искусственных, и в сущности они и явились плодом высокого искусства обжига, они прокипели, прокалились, проплавились внутри вулкана и были из него выдуты чудовищной силой газов. Мало того, в проплавке они подверглись химической обработке, влиянию сернистых испарений, всевозможных механических и физических воздействий. Поэтому непосредственные массы лавы, застывшие вокруг вулкана, кажутся чем-то вроде искусственных сплавов, выпущенных из печей, кирпичами, черепицей, той затверделой вековечной глиной, из которой сделаны добываемые в курганах сосуды бронзового века. Сходство удесятеряется и от физического свойства лавы принимать, разбиваясь, острые формы битой посуды, битой черепицы. Края разлома иной раз тонки, как стекло, середина изогнута, тарелкообразна. Представьте себе не один слой такой черепицы, а сотни, тысячи слоев, брошенных друг на друга. Представьте себе целую огромную гору (на час подъема), чей более покатый склон составлен сплошь из груды таких битых черепков, красных и черных, больших и маленьких, подобно тому, как дети делают из бирюлек, маленьких деревянных вещичек, целую шаткую гору на столе. В бирюльках надо жестяным крючком таскать предметы из кучи так, чтоб ни один соседний не сдвинулся. А в горе, на которую нам предстояло взобраться, мы должны были уже не крючками, а ногами и руками орудовать так, чтобы ни один камень не свалился нам на голову, чтобы каменный поток не унес нас вниз, чтобы не получить хорошую каменную градину на затылок или ступню.

Здесь во второй раз наш маленький отряд разделился. Пятеро остались внизу, довольствуясь достигнутой высотой и панорамой Армении, а двое, молодой альпинист Б. и я, упрямо полезли дальше. Это было игрушечное путешествие по бирюлькам. Только во сне переживаешь иной раз подобное, когда снится тебе восхождение по веревочной лестнице, ежеминутно обрывающейся. Конечно, на вершину есть удобная, другая дорога, но мы уже не имели времени ее искать. Добро-

совестно, как муравьи, переползали мы с камня на камень, синие от крупного града, сменившего наверху снег. Град бил нас по щекам, ветер пронизывал сборную, кое-как обмотанную вокруг тела одежду — свитер, платок, две кофты, одна на другой; холодные слезы, выжнмаемые морозом, немедленно склеивали ресницы в ледяные сосульки,— но мы все же долезли до одной из вершин Арагаца (3898 метров) и остановились, оглушенные неистовым воем ветра.

Можно было гордиться: в это время года — середина июля — не так-то легко ступить на вершину Арагаца, осенью легко доступную для любого.

Ни спрятаться от ветра, ни передохнуть от него было негде. Набрав снега, мы пытались согреть его в металлической кружке, чтобы напиться воды. Но крупные снежинки, каждая в градину, не хотели таять ни за пазухой, ни даже во рту, за щекой. Пришлось грызть их зубами и есть.

В награду за все усилия нас ждала неожиданная радость. Дикий ветер, рвавший на нас одежду, рвал в то же время и арагацкие туманы. Он их прогонял мимо кубарем, прямо вниз, по скату, и когда последние их клочья задрожали, разорванные по камням, выглянуло вдруг ярчайшее солнце и залило Арагац потоками света. Мы кинулись к краю нашей вершины и заглянули туда, где когда-то кипела и плавилась первоначальная материя Арагаца,— в кратер вулкана.

Но прежде всего — о месте, где мы находились. Это юго-восточная вершина, одна из четырех, симметрично возвышающихся, образуя квадрат вокруг кратера; она стоит острым клыком, отделенная от соседних непроходимыми пропастями. В кратер все четыре вершины спускаются вертикальными стенами, дающими такое головокружительное впечатление обрыва, что смотреть вниз нельзя без содрогания. Окраска стен напоминает мак. Она ярко-черная, отполированная до блеска, и ярко-красная, такая же гладкая, словно ее вылизали языки вечного огня, внизу красные, а наверху темные от копоти. Самый кратер представляет собою овальную воронку, похожую на небольшую долину. Мы, к сожалению, не могли его рассмотреть, так как он был густо

засыпан снегом. Но очевидец, побывавший на Арагаце осенью, рассказывал, что кратер, кое-где поросший травой, покрыт какой-то бледно-розовой кашицеобразной массой, вероятно квасцами,— результат разложения полевого шпата под влиянием сернистых газов и воды.

Отверстие кратера, спрятанное между четырьмя вертикальными скалами, кажется чем-то очень болезненным, словно раскрытая рана или внутренности оперируемого человека. Отсюда родились те ущелья и горы, что мы называем сейчас «Арагац». Этот свирепый «бутон» утих, успокоился, но даже в мертвом своем виде он страшен, как страшны для новичка гигантские «варочки» на красильных фабриках, где кипят химические краски.

АРТИКСКИЙ ТУФ

Обойти южные вершины вулкана и спуститься с ленинаканской стороны потруднее, чем идти назад по прежней дороге. Но если вы сумеете выбрать и выполнить этот более трудный путь, вы уже издалека увидите главное очарование Арагаца — розовый туф. Отдельные домики хорошо обтесаны и гладко пригнаны друг к другу. Цвет этих домов теплый и солнечный, но оценить его в полной мере можно, лишь близко подойдя к самому Артику, где розовой россыпью кубиков, однородных, словно семейство грибков, вырастает перед вами целый поселок. Трудно представить себе что-либо более сильное, жизнерадостное, мерцающее теплотой и мягкостью солнца или розовым светом наливающейся луны, нежели эта группа домиков, выстроенных из неподражаемо прекрасного камня.

Когда гость, заходящий в Ленинакане в управление «Артиктуфа», жалуется, что здесь нет музея с образцами,— ему отвечают: целая деревня у нас музей, две церкви у нас музей, одна от XI века, другая от VII века! И стоят свыше тысячелетия, а полюбуйтесь на туф: сухой, не только не выветрился — еще лучше стал!

И действительно, волшебством кажется странная

сухость древнейших церквей, их чистоплотная, строгая опрятность, неувядаемый стоицизм камня, не тронутого ни мхом, ни микроорганизмами, ни плесенью, ни влагой, нигде не крошащегося, здорового и сухого на ощупь. Невольно вспомнишь обманчивый мрамор Акрополя в Афинах. Его необычный для мрамора золотистый цвет (телесного оттенка) — это лишь изъеденная микроорганизмами поверхность. Он крошится и оставляет у вас на ладони ощущение нездоровой влажности, тогда как артикский туф изумляет своей решительной победой над временем. Не берет его время,— проходят столетия, а он держится все с той же крепчайшей легкостью, с какой вышел из рук каменотеса.

Крепчайшая легкость — вот совершенно точная формула для артикского туфа. Объемный его вес необыкновенно легок, словно вы берете в руку не камень, а кусок папье-маше. Но удельный его вес отнюдь не легок, и частицы этого туфа механически так сцеплены между собой, что при распиловке приходится преодолевать очень большое сопротивление, а крепость камня так значительна, что в него свободно вбивают гвозди, не боясь его раскрошить или раздробить.

Свыше тысячи лет разрабатывали артикский туф ручным способом. Если отойти километра на три-четыре от деревни, все время поднимаясь по склону Арагаца, и взобраться на крутую горку над старинным монастырем, то увидишь перед собой всю ленинаканскую долину, кое-где усеянную розовыми горсточками орехов — деревнями из туфа. Но под деревушками, выступая из-под зеленого покрова пятнами пролитой крови, лежит все тот же туф, и ему конца не видно. Он встает то россыпями, то панцирем черепахи, то бесчисленными круглыми вздутиями, похожими на пузыри. С вершины Арагаца туф растекся расплавленным потоком по всей этой местности, примерно на 50 квадратных километров. Если поковырять землю в любой лужице, в любом пригорке, вы тотчас же наткнетесь на толщу из туфа. И многочисленные ямки и черные дыры говорят о том, что здесь крестьяне ломали туф на постройки.

Каменная симфония не одинакова по цвету. Среди бесчисленных оттенков преобладают два более или менее стойких: сиреневый, напоминающий голубой дымок над деревней, и розовый,— словно камень веками лежал на закате и напоен теплым закатным солнцем.

Каковы запасы этого камня? Установлено, что один верхний участок района имеет, по всей вероятности, около 100 миллионов кубических метров туфа. Но так как строительство требует лучших образцов туфа и прежде всего требует однородности камня по своим механическим и техническим свойствам, цифру эту следует, конечно, сократить. За несколько лет разработки здесь вырос целый промышленный городок, выросла железнодорожная ветка Ленинакан — Артик, туф погружается на платформы, чтобы разойтись по всему нашему Союзу. Распиловка его механизирована. И сам он стал одним из любимейших у нас стройматериалов. Каков же «портрет» этого камня? Возможно ли описать его зримо для читателя?

На глаз это очень пористая масса, похожая скорее на искусственный сплав, нежели на природный камень. Она и явилась результатом недостижимого, высокого искусства обжига и выдутия, в котором принимали участие огонь, ветер и газы, жара́, механическое и химическое воздействие. Если отполировать туфовую лаву, поверхность ее кажется усеянной множеством дырочек и глазков, иногда очень больших. Между ними мелко-зернистая и волокнистая масса, необычайно жесткая и твердая на ощупь, с вкрапленными черными точками и зернышками инородных тел. Так жёсток этот камень, что напоминает вашей ладони щетку. Не только жёсток, но и сух. Впечатление сухости передается даже глазу. Красные кирпичи, например, к которым мы привыкли на севере, сплошь да рядом «намокают», дают впечатление осклизлой мокроты, отсырелости. Сухое оперение птиц, сухие волокна хлопка дают острое увлажнение, мокнут под дождем. Артикская туфовая лава в высшей степени гигроскопична (это значит, что она прекрасно поглощает влагу и обладает способностью дышать), но вместе с тем она не мокнет, не сыреет, не меняет своей сжатой, вернее ог-

штой, высушенности под влиянием влаги. Стены из нее, стоящие свыше тысячелетия, изумляют своей сухостью, своей прочностью,— ни мох, ни вереск, ни мокрицы, ни пауки не гнездятся между плитками, сухими и жесткими, как в первый день кладки. Из этой лавы удается делать великолепные крыши.

Еще одно к «портрету». Пористость, как нам обманчиво кажется, способствует хрупкости. Пористость — бесчисленные дырочки — создает ощущение непрочности, легкой рассыпчатости материала. Но попробуйте расковырять хотя бы одну пору артикской лавы! Вокруг нее частицы материи держатся с несравненной сцепленностью.

Что это значит? Это значит, что здесь природа естественно воплотила тот технологический принцип, к которому мы лишь недавно пришли и который является сейчас величайшим принципом формы: пустота (а в искусстве пауза) есть тоже строительный элемент формы, и максимальной крепости добиваются не от сплошного чередования материальных атомов, а от чередования их вперемежку с пустотами. Пауза — мать ритма, ритм — отец всякой устойчивости, начало формы.

В этом смысле артикская туфовая лава идеальный строительный материал не по своим качествам только, но и по тем технологическим выводам, которые можно из этих качеств сделать.

Формула, о которой я упомянула выше,— крепчайшая легкость — и есть тайна артикского туфа, расшифрованная так: объемный вес уменьшается благодаря обилию пор, то есть пустот. Удельный вес увеличивается благодаря большей силе сцепляемости отдельных атомов, держащихся еще крепче именно из-за увязывающего механического свойства этих пор, или пустот.

ОЗЕРО СЕВАН

ЧАША С ВОДОЙ

На какое бы короткое время ни приехали вы в Армению, одну поездку постарайтесь сделать непременно. По красивым, новым зигзагам машина вынесет вас на Канакерское шоссе. Покуда длится короткий подъем, сквозь нарядный парапет, увенчанный каменными вазами, будет уходить, как бы медленно погружаться вниз, в зелень садов и парков, панорама Еревана. А наверху ждет старый, протоpенный путь, дорога, построенная свыше ста лет назад, в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века. Это великолепное шоссе идет нагорьем, все поднимаясь и оставляя слева, в нескольких километрах от себя, благоустроенный курорт Арзни с его новым громадным дворцом-санаторием, построенным по проекту Сафаряна. Почти параллельно с ним, но навстречу ему, скатывается вниз река Раздан. Два попутчика — река и шоссе — проходят по той же равнине, безлесной и кажущейся пустынною, летом немилосердно палимой солнцем, осенью обдуваемой холодными и резкими ветрами. В районном центре Нижняя Ахта шоссе опять разветвляется, налево отходит дорога в другой курорт — Цахкадзор (Долина цветов). Трудно поверить, что знойный и плоский ландшафт

района может резко измениться на расстоянии всего лишь нескольких километров,— в Цахкадзоре нет зноя, нет пустынной оголенности холмов, аромат тысячи цветов охватывает вас при въезде на курорт, и толпы ребятишек пестрят своими платьицами на его лужайках. Цахкадзор — место отдыха писателей и прибежище для десятков лагерей и детских садов. Молодые армянские матери, несколько лет назад сидевшие здесь вечерами у пионерского костра, приходят сюда вторично, ведя за руку своих собственных детей. Об этом хорошо сказано у поэтессы Сильвы Капутикян:

В Цахкадзоре, в Цахкадзоре
Лес шумит, алеют зори.
В Цахкадзоре был наш лагерь.
Поднимали утром флаги
Мальчуганы и девчата,
Темноглазые галчата.
Высоко шатер маячил,
Долетал до неба мячик.
Как мы жечь костры любили!
Эти дни ушли, уплыли...
...В Цахкадзоре, в Цахкадзоре
Тот же лес и те же зори.
Меж дубов и меж орешин
На гору всхожу неспешно.
Я веду с собой ребенка.
Он мне руку сжал ручонкой...
Так бредем под солнцем летним
Мы путем тысячелетним[154].

(Перевод В. Звягинцевой)

Круглая вершина большой ласковой горы, лес в ущелье, развалины старых церквей, серебристая лента Раздан — вот слагаемые мягкого и необыкновенно привлекательного фона, на котором светлыми пятнами рассыпана горсть каменных домов Цахкадзора. В цахкадзорских березовых рощах когда-то в изобилии водились (попадаются они и сейчас) многочисленные виды зверей и пернатых: олени, серны, черные козлы, барсуки, волки, медведи, кулики, куропатки, утки, чирки, витютни, дупели, бекасы, курочки,— сердце охотника сжимается в этих местах от каждого лесного шороха, каждого птичьего взлета.

Начиная с Нижней Ахты — внимание! Путешественник, едущий впервые, непременно прекратит разговор. Дремлющий — откроет глаза. Видение, ждущее за поворотом в 66 километрах от Еревана, прекрасно, и всякий раз вы глядите на него с ненасытным наслаждением. Высоко в горах, загнанная в глубь материка, неожиданно вспыхивает перед вами голубым пламенем, среди тесных, крутых берегов, усиливающая впечатление континентальности, единственная большая «влага» Советской Армении — горное озеро Севан.

Редко-редко изменяет ему чистая, сухая, словно наложенная темперой, синева. Но тишина этих вод изменяет озеру почти ежедневно в послеобеденные часы, когда ветер, как хлыст, начинает бить по озеру с гор, вздымая огромные волны, делая проезд на пароходе опасным и трудным, а на простой рыбачьей лодке почти невозможным.

Рыбаки в прошлом много десятков лет были здесь арендаторами. «Рыбная ловля столь изобильна, что превышает всякое вероятие; караваны прибывают сюда на верную ловлю, рыбы всегда попадается вдвое против ожидания» [155],— рассказывал очевидец 30-х годов прошлого века. Техника рыболовства — старинная, перешедшая от дедов к внукам,— полна была какой-то поэтической медлительности, и глядеть еще в 20-х годах, как здесь ловят рыбу, можно было часами, наслаждаясь пластикой человеческого жеста, словно растворенной в однообразной прелести пейзажа. Бронзово-красные люди так опалены солнцем, что кажется, полыхают огнем, и краснота их еще усиливается от сверкающей голубизны озера, от которой никуда не спрячешь глаза. Вы прилегли на песок в теплой волне ветра и жужжании мельчайших, вспугнутых с берега, не жалящих, но надоедно гудящих насекомых; вам хорошо от прохлады, умеряющей жаркое солнце, хорошо от близости огромного водного бассейна. Далеко от берега, где-то в невидимых вам точках, растянута под водой рыбачья сеть. Она там стояла, под водой, положенные ей часы, делая незаметное свое дело, то есть переполняясь «проезжими», верней путеплавающими гостями — жирной севанской форелью. Но вот пришла ми-

нута вытянуть сеть,— вторая основная рыболовецкая операция. Не спеша рыбаки становятся один за другим у длинного каната. У каждого из них в руках так называемая «лента» — веревка-пояс, заканчивающаяся деревянной зацепкой. Этими веревками, плотно зацепившими, как зубами, канат, рыбаки тянут и тянут, пятясь назад, сеть из озера, чуть наклоняясь и сгибая под углом колени. Но вот самый крайний с конца снял свою «ленту», обошел всю цепь рыбаков, стал самым близким к озеру — первым в цепи,— ловко закинул «ленту» на канат; деревянная зацепка стиснула его, как зубами; и снова медленное, упорное, почти невидимое в своем усилии, движение к берегу, все дальше от озера; и снова крайний с конца переходит на первое место, захватывая мокрый кусок каната, вытянутого из озера. В лицо вам ударяет кислородным свежим запахом живой рыбы, похожим на резкую струю озона: это показался бочонок на воде — первый предвестник сетей. А вот и самые сети. Уже откуда-то с другой стороны подобралась вторая партия рыбаков, тянувших за вторую половину сетей. Сейчас они почти сошлись вместе, тянут канаты, стоя рядом,— и медленно-медленно выходит из воды верхушка сходящейся сети. Два рыбака, не снимая сапог, входят в озеро и работают уже прямо в воде, прижимая ногами ко дну нижний край сети, чтоб ни одна рыба не выскользнула на свободу; сеть вытянута на сушу, раскрылась; серебряное, золотое трепетание переполнило воздух. Огромные рыбы, извиваясь, бьются и взлетают высоко вверх, падая на своих соседей с плеском, словно это не рыбы, а тяжелые водяные струи. Розовая чешуйка форели, темно-золотое тело ишхана — драгоценные, редкие сорта...

За рыбаками пришли хозяйничать на озеро геологи, археологи, энергетики. Геологам на Севане много поживы. Озеро вынесло сюда, на свои берега, как дети выносят в складках приподнятого платьица, залежи ценных ископаемых: тут и обсидиан, и охра, и гипс, а главное — железистый хромит, которого здесь множество. Дитя второй послевоенной пятилетки, железнодорожный путь под Семеновским перевалом — прямо на

Акстафу, свяжет Севан с Москвою, и все эти ископаемые, так же как много других, еще не исследованных в пустынных горах Севанских хребтов, найдут себе выход и постучатся в будущие пятилетки. Уже сейчас идет в Ереван, чтоб плавиться на стекло, местный обсидиан [156].

Но обсидиан привлекателен не только для геологов, он находка и для археологов. Некоторые из его осколков, находимые у берега, обработаны человеческой рукою,— это остатки каменного века. Для археолога озеро Севан и все его окружение — богатейший источник всевозможных находок, начиная с первых стоянок человечества. «Каменный век процветал некогда около озера Гочка (Севана)»,— эпически рассказывает археолог И. С. Поляков в своем «Дневнике» [157]. А Шопен пишет, что «подробное описание древностей Гёгчайского магала заняло бы целый том и, вероятно, представило бы факты, весьма важные для историй армянской, грузинской и даже персидской. Деревни и ущелья наполнены древними церквами, монастырями, крестами и надгробными памятниками, покрытыми надписями; все доказывает многочисленность и богатство жителей, здесь прежде обитавших» [158]. Советский армянский писатель Вахтанг Ананян в яркой повести «На берегу Севана» использовал эти археологические памятники для увлекательных детских приключений [159].

Но довольно археологии,— о ней читатель может прочесть в «Археологических прогулках». Сейчас в разговор вступает энергетика. И это самый главный разговор о Севане. Он начался всерьез пятнадцать лет назад и продолжается до сих пор.

Каждый, кто приехал на Севан впервые, не может не заметить белую известковую полоску в несколько метров, опоясывающую все озеро. Это начало спуска севанских вод.

В сущности даже и не начало: 38 квадратных километров площади Севана уже нет. Чтоб читатель мог представить себе весь размах этой грандиозной операции, нужны цифры. Севан, в древности Гегамское море, имеет глубину 95 метров, в окружности 260 километ-

ров, площадь — 1413 квадратных километров, объем воды — 58 кубических километров. Вот как уменьшатся все эти цифры после спуска озера:

40 метров глубины
80 километров в окружности
240 квадратных километров площади.
5 кубических километров объема воды.

Это значит, что глубина уменьшится почти вдвое; расстояние вокруг озера сократится больше чем втрое; площадь воды уменьшится в шесть раз; и, наконец, объем воды станет меньше почти в двенадцать раз.

Человеку с воображением можно представить себе, как голубое пламя севанских вод приглушается и приглушается с каждым годом, словно огонь в светильнике, подворачиваемый рукою,— но маленький, сравнительно совсем маленький огонек останется ровно и ярко гореть. Однако же маленький он только сравнительно! Если отвлечься от теперешних морских размеров озера, то перед нами,— не в скалистых и пустынных берегах, как сейчас, а в окружении пестрых, душистых лугов, ореховых и дубовых рощ, тенистая глубина которых будет бережно хранить биение пульса нежных водных артерий,— горных родничков, стремящихся к Севану,— возникнет новое, более живописное, более спокойное синее озеро, вовсе уж не такое маленькое! Ведь для того чтоб обойти пешком озеро по берегу, где, конечно, пройдут и красивые дорожки для пешеходов и широкая лента шоссе, понадобится целых четыре дня, а для очень уж неутомимого пешехода — три дня,— в его окружности около 80 километров.

Куда уйдут спускаемые воды Севана, целых одиннадцать двенадцатых его количества, мы тоже знаем из первой части этой книги. Онн уйдут не испарениями в воздух, не просачиванием в песок и пустоты земли,— словом, не будут истрачены бесполезно,— вся экономика новой, Советской Армении, весь ее преобразованный облик, даже новые черты труда людей на полях,— все это теснейшим образом связано с водами Севана, во всем этом сохранятся и останутся, обратятся и преоб-

разуются драгоценные капли его синих вод. О них будут петь свои песни шагающие линии передачи, чьи распростертые стальные руки понесут через горы и ущелья Армении голубое пламя Севана, преобразованное в электрический ток. О них будут говорить каждая борозда на полях, набухающая водой в часы поливки, каждый шпиндель станков, убыстряющий свои обороты в заводских цехах.

Но вот один осторожный голос: а рыба? Куда денется севанская рыба — как-никак статья в бюджете республики? Не была забыта и рыба. Ей предстоит пережить своеобразный «расцвет», хотя век ее будет укорочен.

Когда создан был проект Севанского каскада, считалось, что рыба в озере сразу погибнет, потому что, во-первых, уничтожатся кормовые запасы для нее и, во-вторых, она не найдет себе места для размножения. Но первые же годы спуска начисто опрокинули все теоретические предположения. Площадь, где были кормовые травы, в силу рельефа дна была небольшой. При спуске озера на 15—16 метров эта площадь значительно увеличилась (дно поднялось, мелких вод стало больше). И рыбы неожиданно получили добавочные «луга», где они могут в изобилии находить себе пищу. Если спуск Севана довести до 25 метров и потом остановить, то рыбное хозяйство от этого выиграет ни много ни мало, а в восемь или десять раз. Это значит, что до спуска на 25 метров, ближайшие три-четыре пятилетки, рыбе станет не хуже, а лучше. Что касается размножения, то уже сейчас в Севане разводят рыбу искусственно. До 50 миллионов мальков спускается в озеро ежегодно. Севанская форель не только вкусная, но и полезная рыба, в ней много иода; она жирнее речных форелей (в ишхане до 21 процента жира). Но, кроме форели, в Севане разводятся сейчас и хромуля (до 70 центнеров в год!), и усачи, и мелкие раки. В водах Севана плавают каспийские лососи... И выходит, что даже рыбное хозяйство Армении выигрывает сейчас от частичного спуска севанских вод, хотя дальнейший спуск Севана (ниже 25 метров) окажется для нее гибельным.

Вокруг Севана расположено несколько районов: Севанский с центром Севан, на северо-западном берегу озера; Нор-Баязетский, с центром в городе Нор-Баязет, занимающий западный берег; богатый и большой Мартунинский на южном берегу, с районным центром Мартуни; еще более крупный Басаргечарский, с центром в Басаргечаре, дугой охватывающий озеро с юга на восток; Красносельский, с центром Красносельск,— на северо-востоке, и курортный поселок Дилижан на северо-западе озера.

И. Шопен назвал когда-то, в предисловии к своему труду, Армению «страною контрастов». Нигде так сильно не переживаешь эту формулу, как в путешествии вокруг Севана. Даже карты севанских районов производят впечатление сложной пестроты.

Мы уже видели, насколько многотонна сама синева озера, когда топограф делит оттенками ее различную глубину. А вокруг этой синевы чего только нет! Бесчисленные веточки черной туши, идущие наподобие ребер человеческого скелета вокруг причудливых синих полосок,— это горные хребты по обе стороны речных ущелий. Коричневая окраска каменистых горных возвышенностей тоже не однотонна: густота тона меняется в зависимости от высоты, и этих изменений коричневой краски множество. Между горными кряжами, растекаясь по желтизне, там и тут брошены зеленые пятна — луговины, леса, растительность. Все вместе дает впечатление густотканного ковра. Но если на карте он пестрый и путаный, то как же разнообразно впечатление от этого ковра при живом и наглядном знакомстве с ним для того, кто захочет изъездить или исходить его из конца в конец!

Мы дышали солнечной тишиной Айоц-дзора, напоминавшей нам «конец света». Это было очень далеко, за стеной горных хребтов и зеленых перевалов, где-то на юге.

Что общего между синей гладью, жарким летним морским привольем южного Севана в Мартунинском районе, широкого, как море, с невидимыми глазу бере-

гами, потерявшимися где-то за синим горизонтом воды, и горными рощами Айоц-дзора, залитыми алым шиповником, с белыми складками снега на горных скатах? А между тем Мартуни и Айоц-дзор — соседи; они плечами упираются друг в друга: отличное шоссе с одним из красивейших перевалов, Айоц-дзорским, соединяет их центры.

Что общего между типичной приморской жизнью Басаргечара, с его экономикой рыбачьих, у воды расположенных сел и богатым Азизбековским районом, сеющим рис, гордящимся своим горным курортом Джермук, изобилием фруктов, вина, меда! А Басаргечар и Азизбеково — тоже соседи.

Поздней осенью 1950 года я поднялась в Мартуни со стороны Айоц-дзора. Внизу, по течению Арпа, было еще совсем жарко. По-летнему, в одних платьях мы сидели на прибрежных камешках, а нам навстречу бежала речная вода, слепя своим сверканьем под солнцем и вскидывая белые гребешки пены; было так жарко, что хотелось войти в ее прохладные струи, выкупаться, смыть дорожную пыль и усталость, а стояли уже последние числа ноября, когда 25 градусов мороза в Свердловске, 20 градусов мороза в Москве, 15 градусов мороза в Ленинакане. Но вот, разморенные жарой и солнцем, мы опять накинули свои шубы, в которых выехали из Еревана, и уселись в «виллис». Айоц-дзорский перевал, раньше называвшийся Селимским, надвинулся на нас своею широкой зеленой стеной.

Можно любить горные перевалы, как любишь людей. Ни одного схожего, у каждого — свое лицо. Ни один не забудешь в его отличии, в его особенностях. А любишь в каждом из них, как во многих дорогих людях, проходящих через жизнь вашу, в сущности только одно и то же, одно-единственное: как в человеке — проявление его человечности, тот идеал, который он сам себе ставит и к которому тянется в делах и поступках, так в перевале — ту высшую точку единственного мгновения наверху, единственного равновесия между двумя безднами, подъемом и спуском, к которой он тянется всеми своими точками, ради достижения которой он создан.

И вот начался медленный подъем по бесчисленным, очень длинным зигзагам — все выше, выше в такой горный простор, с такою открывающейся за нами широтой горизонта, каких ни на одном армянском перевале нет. Мы поднимались, мир за нашей спиной опускался. А за этим опускавшимся миром, широкой бездной из зелени, вырастала на всю линию огромного горизонта (потому что огромно ущелье, от края до края) величественная панорама горной цепи, покрытой снегом. И было удивительно тихо, ясно, дорога все шире и лучше, масса кудрявой зелени, навстречу шли стада и шедшие пешком через перевал колхозники, с мешком за плечами, с груженым осликом.

Чем выше, тем тише, яснее, величественнее. На самом верху, правда, пронзительный ледяной ветер, но вид был так прекрасен и ни с чем не сравним, может быть — с началом мирозданья, такой совершенной, достигнутой тишиной и красотой веяло от него, что мне захотелось дать новое название для этого перевала над необъятным океаном гор: «Великий или Тихий». Но так хорошо было, пока мы оставляли за собою айоц-дзорскую сторону. На верхней точке перевала перед нами открылась другая бездна, севанская. Сперва, правда, блеснуло голубое пламя внизу,—это просиял на минуту Севан, в этом месте очень широкий. Но над ним висело свинцовое, страшное, снежное небо, и не успели мы взглянуть на Севан, как на нас обрушился яростный снежный буран. Ветер тормозил наш «виллис» на скользкой дороге, как заводную игрушку; снег залепил стекло так, что стрелки-метелки застряли в нем, словно воткнутые лопаты. Но навстречу как ни в чем не бывало шли богатыри-пастухи со своими овчарками, а по склону паслись овцы, сотни овец, многосотенное стадо особой здешней породы балбасов. Эти балбасы, белые, жирные, круглые, виляя курдюками, спокойно щипали траву под снегом и только жались боками друг к другу, чтоб теплее было,— тут, на альпийской высоте, раскинуты прекрасные колхозные фермы.

Спустившись ниже, мы пережили еще одну встречу, на этот раз с коровами. Шло большое стадо, и после маленьких, с вогнутыми слабыми спинами, с жалкими

маленькими мордами и маленьким выменем, безродных айоц-дзорских коров, виденных нами в Арени, тут вдруг в глаза бросилось бесспорное, явное, убедительное: прямые спины, крупная шея на широкой груди, прямоугольное, большое тело на сильных ногах, одинаковые длинные морды с тупыми красивыми носами, почти одинаковая окраска шерсти, широкие лбы под рогами и круглые, крупные веки — порода!

Мартуни — большой, широко разбросанный районный центр — стоял раньше поблизости от озера. Сейчас он изрядно ушел от него вместе со спуском вод Севана и все большим и большим обнажением земли. По этому илистому, неровному дну Севана, топкому под ногами, до озера уже не легко добраться. Профиль района в основном — животноводческий. Здесь был когда-то Яныховский племенной совхоз. Были и швицы и симменталы, их скрещивали с местной породой. Сейчас симменталов в Армении почти нет, швицы больше подходят к местным условиям. Да и швицев уже в сущности нет,— они растворились в новых, выведенных нами породах, и производителями все больше служат лебединцы, костромичи... В 1950 году на базе бывшего Яныховского совхоза было организовано племенное хозяйство,— 200 коров племенных и метисов и 600 белых овец — балбасов (белые жирохвостые).

Кажется, рукой подать от центра Айоц-дзора, Микояна, до Мартуни, а разница между ними огромная. Мартуни отличается от своего соседа сенокосными площадями и совершенно другими природными условиями. Если за перевалом нечем кормить коров и летом сильная жара, то здесь летом прохладно и великолепные пастбища. Поэтому сюда летом гонят стада не только айоц-дзорцы, но и азербайджанцы. Лето здесь длинное, вода в избытке. С кормами тут резко повернули к лучшему. Скоту начали давать зерновой корм (овес, ячмень), заложили в 1950 году 6 тысяч тонн силоса (на весь район); дают хлопковый жмых, корнеплоды; сеют эспарцет, начали сеять вику, имеют опытное поле люцерны (чтоб потом распространить ее на весь район); наконец, тоже опытным порядком, посеяли суданскую траву. Посеяли ее поздно, в июне, и оттого она очень

хорошо пошла. А главное — смогли перенести животноводческие фермы наверх, непосредственно на самые пастбища, оттого-то мы и встретили там, в зоне альпийских лугов, и овечьи отары и коровьи стада. Скот там остается круглый год, при фермах организуются посевы кормовых трав.

Овечья порода балбас — замечательная, соединяет и шерсть (более тонкую, чем у обычных овец), и жирность (курдюки — жира до 15 килограммов), и мясо (одно из самых вкусных овечьих мяс — балбасское). Эти овцы сплошь белые, только нос и копытца черные, если где попадается пятнышко — значит метис. В районе в овечьем поголовье 90 процентов овец — балбасы. В Армении эта порода в основном водится именно в Мартуни. Здесь есть и госплемрассадник, выпустивший книгу тов. Айвазяна по балбасу. Айоц-дзорский перевал — на высоте 2 470 метров; вот на этой высоте и расположились фермы.

В каждом колхозе по правилу — четыре фермы. На птичьих фермах завели индеек, и они отлично себя чувствуют в горах. Есть село Астхадзор (Звездное ущелье). Там замечательные чабаны Вано Айрапетян и Ованнес Погосян, получающие от каждых 100 маток-овец не меньше 120 ягнят и сохраняющие всех ягнят в живых.

Круглый год идет в районе работа по табаку: осенью надо готовить рассадник, ямы, рамы, удобрения; ранней весной — парники, рассаживать рассаду, в мае посадка в грунт и до самого ноября уход. Искусственной поливки и прополки табак требует на каждом поле до шести раз. В 1950 году за табак район представил к награждению Героями Социалистического труда пятерых колхозников.

В Мартуни своя ГЭС на реке Адиаман, обслуживающая и машинно-тракторную и машинно-животноводческую станции; кроме того, у колхозов есть две микрогэс. В 1951 году в районе появились электропоилки и электродоилки, а фермы строятся с таким расчетом, чтобы можно было ввести электропроцессы. Проекты ферм получают из Москвы.

Большое строительство идет в районе. Построили машинно-дорожную станцию, МТС, МЖС, лесозащитную — даже по одному факту этого строительства, по увеличению числа и характера машинных станций видишь вокруг, как растет механизация в нашей великой стране, как насыщается пространство машинами, как шагают они через поля, через леса, как становятся у рек, у скотных дворов, у полей, у лесных полос, при дорогах (где-то еще станут?) — и руки человеческие освобождаются, освобождаются, становятся гибче, помогают мозгу делать более сложную, более чистую работу,—так входит коммунизм в плоть и кровь на земле.

Лесозащитная станция собирается посадить на 1 006 гектаров освободившейся из-под Севана земли дубовый лес. И райцентр и шесть кохозов заново планируются, превращаются в зеленые города. В районе два завода, рыбный и консервный, механизированный сыроваренный завод (в селе Вартеник), 6 средних школ, больница на 35 коек, кинотеатр, гостиница на 48 мест и особая гостиница — дом отдыха... Расширяется площадь под зерновыми: в 1950 году подняли 1 000 гектаров, а до 1956 года планируют 4 500 гектаров под пшеницу и ячмень.

От Мартуни всего в нескольких километрах к югу — другой район, Нор-Баязетский.

Дорога почти все время вдоль озера. Хорошей езды на час,— казалось бы, природные условия однотипны. Между тем опять — все разное.

Мартуни — большой, разбросанный на ровном месте, с виду все же более деревенский, центр, вблизи Севана, у перевала, с огромным будущим для животноводства, с интереснейшим новым опытом переброски животноводческих ферм прямо на альпийские луга.

Нор-Баязет—настоящий город, с живописным въездом, опоясывающим его по горному склону, расположенный амфитеатром, дом над домом, и эти тесные старые домики чем-то напоминают остатки старых домов в Тбилиси над Курой. Севан от него на довольно дале-

ком расстоянии — 5 километров; озеро обнажило, кстати сказать, там, где оно отступает, плодороднейшую илистую почву. Не успели оглянуться, как мягко покатили по асфальтированной главной улице с хорошими новыми городскими домами по обе ее стороны, — улице имени Сталина, асфальтированной в прошлом году

Но не только районный центр, а и весь район отличается от соседнего; сильней в нем выражены черты нового, связь сельского и городского, тяга к механизации, высокая общая культура,— и это последнее отличает Нор-Баязет от Мартуни.

Начать с того, что весь район — район высоких урожаев. Он большой (для Армении) — 50 тысяч гектаров. В 1950 году собрали в среднем по 17 центнеров зерна с гектара; отдельные колхозы, например, «Кармир Октембер», где три Героя Социалистического Труда за хлеб,— по 22 центнера с площади в 600 гектаров; колхоз имени Спартака, самый крупный в районе, где семь Героев Социалистического Труда за хлеб, получил по 18 центнеров с 1000 гектаров, а твердой озимой пшеницы по 20 центнеров, причем морозы здесь доходят до 35 градусов, зима суровая, и замечательно, что озимая пшеница под снегом прекрасно переносит эти холода и не вымерзает. С табаком у них тоже хорошо: четыре Героя Социалистического Труда в колхозе имени Батикяна (по 35 центнеров с 12 гектаров), много Героев Социалистического Труда и в других колхозах (по 25 центнеров с 55 гектаров). Видно, что работают слаженно, поднимая весь район.

И сам район не неподвижен,— он в очень заметном движении к будущему. Но иногда это движение к будущему связано с довольно слабым настоящим, и улучшения ждут от радикальных, новых мер. Здесь — другая форма движения к будущему: расширение и рост на очень хорошо подготовленном и самом по себе широком основании. Например, в районе планомерно расширяют посевы, в одном этом году на 1500 гектаров,— к горам, к северу, за счет неиспользованной земли, за счет ликвидации межевых полос и т. д. В то же время планомерно расширяется и сам Нор-Баязет,— к озеру,

в южном направлении, где на освобожденной из-под Севана земле встанет дубрава (сеют кое-где гнездовым способом). Для перепланировки и строительства укрепляется база в самом городе, есть механический завод и кирпичный завод, где из местной глины делают черепицу не только для себя, но и для Мартуни. Чтоб культурно расширять посевы, один из колхозов («Спартак») — целиком семеноводческий,— в нем сеют лучшие сорта, наиболее подходящие для местных условий. С 1951 года отсюда переселены в трудоемкую Араратскую долину 1 200 хозяйств. А это опять-таки означает дальнейшее укрепление колхозных земель и дальнейший рост механизации.

И, наконец, общая культура района, о которой я сказала выше. На 13 колхозов зооветеринарный техникум, педагогическое училище, 7 полных и средних школ, 6 киностационаров, 13 клубов, свой хороший стационарный драматический театр (в городе), 350 учителей, 25 врачей, 3 группы самодеятельности, участвовавшие в олимпиаде. Степень интеллигентности района показывает положение с библиотеками, которых 28 в районе и 3 в городе. Именно в Нор-Баязетском районе одна из лучших библиотек в республике, о которой часто пишут,— в селе Сарухан. В ней отлично поставлена культурная работа,— при ней работают кружки, проводятся читательские конференции, вечера вопросов и ответов, обсуждения новых книг, популяризация опыта Героев Социалистического Труда. Библиотека получила республиканскую премию за хорошую работу, отмечены и другие библиотеки района — в Норадузе, и «Кармир Октембер» и т. д.

Мы едва начали разговор в райкоме, как вошла группа ученых, зашедших проститься с секретарем: это были профессора Ереванского зооветинститута, только что проведшие здесь интересную конференцию по важнейшим вопросам биологии. Печатная программа этой конференции показывает, что никаких «скидок» сделано не было,— научные темы ставились во всей полноте и глубине.

Вернувшись из Нор-Баязета в селение Севан, славное сейчас, конечно, не рыбой, а первой гидростанцией Севанского каскада, Озерной, построенной в самом озере[160] с исключительным техническим остроумием и большим напряжением строителей в их борьбе с природой,— продолжаем наше путешествие дальше на север, к курорту Дилижан.

Покидая селение Севан (бывшую Еленовку), еще долго любуешься бледной синевой озера, уходящего вниз, с крохотным его островком. Шоссе возносится все выше и выше, воздух все холоднее,— опять знакомое, расширяющее вам сердце, поднимающее вам грудь в глубоком вздохе чувство близости перевала. Уходят вниз с каждым поворотом более мягкие и густые тона, солнце становится суровей и холоднее, звуки протяжней и более гулки, встречные стада более длинношерстны, петух на околице деревни не задирист и молчалив; наплыло русское село Семеновка с ярко-румяными детьми и женщинами. Вам хорошо уже знакомы по бесчисленным перевалам эти серьезные глаза у прохожих, этот кубарем подкатившийся комок собаки, беззвучно, в каком-то подобии лая, разжимающей на вас челюсти, эти размеренные движения людей, животных, птиц, словно не желающих задавать лишнюю работу сердцу, и без того серьезно, как насос, выкачивающему из разреженного воздуха необходимые порции кислорода. За Семеновкой начинается подъем на Семеновский перевал, известный каждому, кто побывал в Армении. На верхней его точке остановитесь и выйдите из машины.

Много перевалов перевидала я на своем веку. Помню Чике-Таманский перевал на Чуйском тракте на Алтае,— седловина с двумя горизонтами — перед вами и за вами. Благоухание цветов там так сильно, что кружит вам голову, слепит ресницы непреодолимой сонливостью. Там в траве между россыпью камней растет эдельвейс — редчайший альпийский цветок, острая звездочка из белой мохнатой замши с золотой сердцевиной. Но там оба горизонта похожи: и тот мир, откуда вы вскарабкались, и тот, куда потом начнете

спускаться,— два одинаковых мира, с буйной растительностью, с белка́ми (так зовут на Алтае снеговые вершины) вдали, со стеклянным шумом горных рек, с плывущим в синеве неба розовым облаком, с чернотою огромного случайного кедра, светлой зеленью высокой мохнатой лиственницы. Вы только перевалили из ущелья одной алтайской реки в ущелье другой, такой же.

Но Семеновский перевал в Армении — опять особый перевал. Тут вы меняете миры, переживаете резкую разницу пейзажа, климата, атмосферы, давления, красок, звуков. Схоже было на Спитакском перевале, но там разница двух миров умерялась огромным между ними расстоянием, скрадывавшим эту разницу и делавшим переход постепенным. Схоже было на Айоц-дзорском, но там другие масштабы,— все строже, суровей и безграничней. Здесь вы поднялись из одного узкого мира,—голой земли, голых горных холмов, пустынных нагорий, синевы озера, вкрапленного в обнаженную от растительности горную цепь,— и спускаетесь в другой, тоже узкий мир — в густой сосновый лес, веселый, благоухающий, полный шороха, шума, птичьих песен, журчания ручьев и водопадов, скрипа колес, арбы, мелкого собачьего лая, звоночка велосипедиста, ярких женских платьев, курортной, дачной публики, запаха скошенного сена на лужайках, красных черепичных крыш между зеленью садов и парков. Это Дилижан, лесное ущелье Армении, сравнительно умеренное по климату, мягкое, не слишком жаркое, ровное,— одно из прелестнейших в нашем Союзе.

Курортный городок Дилижан в густом сосновом бору, на берегу типичной лесной речки, раздувающейся от дождей, построен по-дачному. Крыши домов остроугольны, крыты черепицей, тротуары залиты асфальтом, гостиница спускается на площадку, обведенную каменной балюстрадой; местные ребятишки выносят сюда в корзинках сезонные дары леса — ранние лесные фиалки, землянику, клубнику, шампиньоны, речную рыбу. На той стороне ущелья, в густом бархате парка, встают белые корпуса огромного здания санатория для больных легкими формами туберкулеза. Из Дилижана

не хочется уезжать сразу. Вы делаете привал, сперва короткий, потом запах скошенного сена и разогретой на солнце сосновой хвои размаривает, убаюкивает вас, очищает вам легкие,— вы загоняете машину в сторону от шоссе, на зеленую лесную лужайку, и засыпаете здесь, в лесу, освежающим сном на два-три часа. Так мягко бродят по вашей щеке кругляки солнца, пропущенного сквозь колыханье густого дерева над вами, дятел ведет где-то в лесу свой разговор, однообразно выстукивая по дереву «тук-тук»; ласково опархивает волосы ветерок, загоняет вам в легкие густые волны воздуха, совершенного, как исполнение желаний.

Прозаический человек, шофер, не спит. Он всего навидался и надышался. Он знает, что ко всякому впечатлению неизменно примешивается запах бензина,— запах дорожного пути, пройденного и предстоящего. И потому он деловито выкуривает свои папироски на золотом песке лесной опушки, равнодушно внимает дятлу и неравнодушно следит за стоянием солнца в небе, прикидывая оставшееся до вечера время: нужно еще немало километров проехать до ночи.

Отсюда, из Дилижана, через речку на ту сторону вы можете забрать по шоссе налево и долго еще наслаждаться шумящим лесом над головой, проезжая одной из красивейших в Армении дорог — из Дилижана в Кировакан — мимо нескольких деревень с дачниками, мимо выходов многочисленных минеральных источников. В город Кировакан мы уже один раз подъезжали со стороны Апарана и знаем, что он, как Дилижан, имеет внешне курортный вид, хорошо застроен, красив, богато озеленен. Определяет его, однако, не курортное местоположение, а бурно растущее хозяйство. За два десятка лет население его увеличилось в четыре раза; крупный химический комбинат в городе должен еще расшириться. Здесь давно были фабрика меховых и шубных изделий, черепичный завод, всевозможные мастерские. Сейчас этот кустарно-фабричный профиль города перестал господствовать, и хозяйкой Кировакана сделалась мощная химическая промышленность. Десятки школ, театр, кино, ряд лечебно-профилактических учреждений и домов отдыха обслуживают рабо-

чих и новую многочисленную интеллигенцию. Так мало лет отделяет нас от первого «производственного» романа армянских советских писателей, изящного «Белого города» Степана Зоряна, где рассказано о строительстве жилого дома в старом Караклисе, нынешнем Кировакане, а уж и узнать нельзя в описанном им городе ни его строительства, ни его интеллигенции.

Можно сделать из Дилижана и другой, более далекий и менее известный путь — к северу, по шоссе, вниз по течению реки Агстев, красивым, кудрявым, тоже лесным, но более широким и открытым ущельем,— в центр Иджеванского района.

Обычно путешественники проезжают Иджеван, торопясь выехать из республики Армении прямо на станцию Акстафа Закавказской железной дороги (Азербайджанская ССР). Но они много теряют от такой спешки. Дорога эта превосходна, и по выезде из Иджевана, в 13 километрах налево, у Кривого моста, есть поворот, за которым еще 11 километров колесной дороги, доступной и для машины, до деревни Сры. А из деревни уже пешком или верхом в 3 километрах к югу — знаменитое агатово-сердоликовое ущелье, в красивом месте, мало посещаемое, почти не разрабатываемое, исключительно привлекательное для тех, чье сердце неравнодушно к красивому камню. Здесь есть такие образцы розового сердолика, такие агаты с кружевным рисунком, что вы рискуете застрять в этом диком и неприютном месте, недоев и недоспав, лишь бы наполнить мешок свой чудесными образчиками для коллекции.

Но возвратимся в большой районный центр Иджеван. Город и села в этой северной лесной части Армении резко отличаются своей архитектурой от южных. Отличие это наблюдаешь и в Иджеване с его треугольничками крыш. В районе шестнадцать колхозов разводят табак, выращивают картофель («лорх»), имеют развитое животноводство; своя гидростанция на два генератора дает энергию почти всему району. Иджеван — это не только сельский, но и промышленный район с большим будущим. В нем табачно-ферментационный завод, машинно-тракторная мастерская, машинно-тракторная станция, два лесхоза, поставляющих

лес на два районных лесопильных завода, при них цех ширпотреба —делают свою мебель, сундуки, улья. Кроме того, в районе ковровая фабрика (иджеванские ковры с красивым красным фоном, на котором делается во всю величину ковра, в центре его, геометрическим ромбом или квадратом более темный рисунок), кирпичный, гончарный, кузнечный, колесный заводы... Многочисленны культурные учреждения этого лесного уголка Армении. В Иджеване свой театр и кино, библиотека, больница, баня; в районе 20 школ, 6 десятилеток, одна из них — русская. Колхозы Иджеванского, так же как и соседнего с ним Кировакаиского, района полностью электрифицированы. Живут на отлете, до центра республики далеко, и стремятся, чтоб все было под рукой, чтоб ни в чем не было нужды. Но хотя на отлете от своей столицы, хоть и редко заглядывают сюда армянские писатели и столичные лекторы, Иджеван ближе к выходу на центральную закавказскую магистраль; он гордится своим «местом под солнцем», потому что именно здесь впервые, прочно и навсегда, взвилось красное советское знамя; сюда в ноябре 1920 года вошли части XI армии; здесь встретили их восставшие иджеванцы, провозгласившие у себя советскую власть. В 6 километрах от районного центра есть село, раньше называвшееся Кердеван; сейчас оно названо Енокаван. В селе сохранился домик, принадлежавший Еноку Мкртумьяну. В 1917 году в этом домике происходил I съезд коммунистической партии Армении, и Мкртумьян был делегатом на съезде. В 1920 году его убили дашнаки. В годы Отечественной войны отсюда выдвинулся иджеванец, Герой Советского Союза Рубен Газарович Акопян.

Хоть в здешних лесах и немало своих старинных памятников, иджеванцы не станут вам рассказывать о старине. Они поведут вас к домику Мкртумьяна, а перечисляя все, чем гордится район, непременно скажут о литографском камне: есть литографский камень, и много его, пора взяться за разработку.

Как Иджеван стоит на реке Агстев и обращен лицом и дорогой к большой железнодорожной станции Акстафа, так и Берд стоит на реке Тавуш и глядит лицом и дорогой на железнодорожную станцию Тауз. Оба

района — пограничные с Азербайджаном, оба — лесные и табачные, вывозят табак, лес и картофель в соседнюю республику и даже склады свои держат на ее станциях. Надо знать экономическую особенность этих двух районов, чтобы лучше понять их жизнь.

Кажутся они самыми далекими, самыми окраинными в республике, в своем роде «за тридевять земель», за тридевять районов, а на месте вы убеждаетесь, что такое положение в советских республиках, если выводит оно к общесоюзной магистрали, делает иногда эти далекие районы экономически передовыми, помогает им легче и быстрее обращать свои товарные запасы, усиливает и разнообразит обмен и общение. Да и сама природа, климат, внешний облик этого северного, лесного массива Армении, трех районов — Иджеванского, Шамшадинского, Красносельского, граничащих с Азербайджаном, и всего северного нагорья Лори, граничащего своими районами с Грузией, резко отличаются от юга Армении,— особенно в архитектуре домов, облике сел, в самом быту крестьян.

Здесь много русских сел; здесь вкраплены в территорию республики два крохотных кружка, обведенных на карте пограничной линией,— это кусочки Азербайджанской республики в Армянской республике, так же как Башкенд — кусочек Армении в Азербайджане. Здесь, по дорогам к Таузу и Акстафе, много развалин, связанных с именем героя азербайджанского эпоса Кёроглы. Здесь на севанские пастбища гонят скот из соседней республики, по освященному веками обычаю, на старые кочевые места. Здесь армянский картофель «лорх» вывозится вниз, в Грузию. Здесь много шумных горных рек со своим особым режимом, не схожим с режимами рек на юге.

И, учитывая разницу, растет стройное энергетическое хозяйство республики, где остроумный и совершенный куст гидростанций решает одновременно проблему энергетики и орошения, покрывает пики нагрузок юга (то есть часы наибольшего требования на энергию) излишком энергии севера — и обратно. Когда в этот куст вольется вся энергия Севана, она станет регулятором энергетического хозяйства Закавказья.

Здесь, на севере, лес, тень, влага, и не увидишь земляного жилья «глхатуна», не увидишь плоских крыш, неудобных для ската влаги, не увидишь черных пирамидок кизяка возле жилья, потому что нет нужды и смысла забираться в сырые ямы земли, когда есть материал для постройки избы, есть сколько угодно топлива вокруг,— из обычных труб над скатными крышами здесь весело выходит обычный дым, а в железных печках потрескивают дрова. Весь облик селений, весь стиль пейзажа резко отличны от юга Армении. Но и здесь имеется множество памятников армянской старины, один из которых — древняя крепость Берд, называвшаяся в древности Тавуш, встает сейчас перед нами в районном центре Шамшадина, тоже носящем по ней название Берд.

Вокруг мягкий горный пейзаж, красные дубы, поющая речка,— зелено, свежо, округло. Районный центр высоко в ущелье, вечером залит электричеством, двухэтажные каменные дома, городского типа квартиры с хорошей мебелью и иджеванскими коврами на стенах. Над ущельем, давая главный тон районному центру, стоит крупная массивная, с башнями-боками, на неприступной крутизне, крепость ржаво-желтая по цвету, ярким пятном на светлой зелени обнаженного горного ската. Внизу, у подножья горы, древняя часовня. Наверху, в крепости, водоем, куда снизу проведена была вода, еще до сих пор питающая крепость.

Неподалеку от села, тоже на возвышенном месте, открытом всем четырем ветрам, стоит новая, современная советская «крепость», от которой зависит благополучие района,— знаменитая Шамшадинская МТС, знаменитая потому, что в сводках она всегда идет одною из первых. Входишь в просторную механическую мастерскую, видишь загорелые бритые лица механиков, их живые, горячие глаза, толковые и уверенные движения, слышишь их негромкий говор — и чувствуешь, что ты на заводе, среди растущей технической интеллигенции. В маленькой Армении с ее своеобразным рельефом, затрудняющим внутреннее сообщение, каждая МТС в зародыше своем уже МТМ, а каждая МТМ — потенциальный будущий механический завод;

недаром за время войны несколько машинно-тракторных мастерских были преобразованы в механические заводы. Здесь нельзя обслужить землю, не имея заранее у себя всего, что нужно для починки горного плуга и трактора, не имея запасных частей и тех станков и материалов, с помощью которых эти части можно быстро сделать самому. А отсюда уже недалеко и до своего машиностроения.

Стук, сильный и гулкий, из кузницы,— в 1945 году меня пригласили войти туда, посмотреть на знаменитого молотобойца, выдвинувшегося своею работой во время войны. Но сперва посмотрите на молот, попробуйте его поднять. Вы напрягаете все силы — и едва поднимаете на вершок от наковальни это налитое тяжестью чудовище. А теперь поднимите глаза: перед вами молотобоец. Высокая, статная армянская женщина, с детски-озабоченной улыбкой, как у хозяйки, пекущей хлеб,— Шахар Межлумян — белой рукой легко, как перышко, поднимает молот. Он становится частью этой стальной руки, налитой силою, как сам он налит тяжестью. Молот взлетает и падает на раскаленный кусок железа, который держит щипцами на наковальне старичок-рабочий. Одно неверное движение — и молот мог бы отхватить ему руку. Но старик спокоен: он знает, что женщина-молотобоец не сделает неверного движения. Конечно, это великий скачок вперед, сделанный армянкой в дни Отечественной войны; мы видели ее в поле, в трудной работе на рытье канав, видим ее в МТС за кузнечным молотом. Но едва ли не большее и редчайшее, что сделала война,—это уважение и доверие к женской работе, появившееся у армянина, спокойствие, с каким работал у наковальни старик, переворачивая железо под молотом Шахар Межлумян.

Шамшадинский район развивается и богатеет очень быстро. До войны на колхозных фермах насчитывались тысячи голов крупного и мелкого скота. Молодняка выращивали меньше, чем сейчас; во время войны научились холить и беречь молодняк, и за короткое время район увеличил свои стада на несколько тысяч голов. Особенность Шамшадина — коневодство; на пятнадцать колхозов — пятнадцать конных заводов, по

одному в каждом колхозе. Профиль района — зерновой, табачный, картофельный, дровяной; в колхозах — пчеловодство, животноводство, шелководство, сады и бахчи. Раньше здесь не было никакой промышленности; сейчас Шамшадин гордится своим новым ферментационным заводом для табака, своей новой электростанцией. В районном центре свой театр,—но, впрочем, редкий район в Армении не имеет сейчас своего театра!

Солнце уходит за рыжую крепость, золотя мягкие горы вокруг. Зажигаются огоньки. Громче говорит речка по камням, вечерняя тишина наполняется звуками природы, заглушенными днем,— вы слушаете, как ветер перебирает пальцами листья, как водяная крыса, шурша, перебегает дорогу, как свистит жук, падая на землю, как гулко охает и вздыхает ущелье от проходящей где-то далекой сухой грозы.

ЛЕНИНАКАН

СНОВА В ПОЕЗДЕ. АНИ

Медленно уплывает белый ереванский поезд. Даже поздней осенью некуда скрыться от солнца, а летом в вагоне все кажется белым и гудящим, как туча комаров, от зноя. Качается за окном в дыму перистых знойных облаков белое седло Арарата, качается и плывет привычная тень с кивающей, как на рессорах, головой от проходящего по дороге, седого от зноя и пыли верблюда. Уходит и станция «Арарат».

Но дальше — новости, дальше идет уже первое действие Севанского каскада — вода, брызнувшая на сухую, опаленную землю и превратившая ее в сад. Вместо прежней пустыни, безмолвной от зноя,— густая зелень станции с новым названием: Октемберян. Здесь один из крупнейших совхозов Армении; из окон вагона вы видите наваленную на перроне груду полосатых дынь; каждый, кто садится в вагон, тащит с собой ведерко или корзину желтого, как янтарь, винограда.

Медленно ползет поезд к западу, к турецкой границе, набирая высоту. Пустынно справа и слева; словно вымершие — станции. Но вот подул свежий горный ветерок; мы на высоте 1300 метров и забираемся все выше, выше, хотя равнина не меняет своего выжженного солнцем облика «зоны пустыни». Станция Алагез, за которой не видно и не чувствуется прелести арагац-

ких склонов. Слева показался синий осколок стекла на солнце — пограничная лента реки Ахурян или Западного Арпа, сменившего пограничную ленту Аракса. Позже, к вечеру,— станция Ани.

Если сойти на ней сейчас, вы окажетесь в преддверии индустриального центра, со всеми его признаками,— собственной четырехкилометровой подъездной веткой, обилием белой пемзовой муки, усыпавшей пути и платформы, отбывающими и прибывающими инженерами. Месторождение пемзы в Армении настолько богато, что запасы ее кажутся неисчерпаемыми. Анийская пемза, высокая по качеству, идет на север, анийскую пемзу ввозит Баку. Только в последний год войны здесь вырабатывалось 7 310 тысяч тонн «орешков» (мелкий сорт пемзы), 29 тысяч тонн «кусковой» и 344 тысячи тонн строительной пемзы да 12 652 тонны так называемого «пуццолана». Все это было вызвано к жизни за двадцать советских лет.

Ничего, кроме маленькой станционной постройки, здесь не было, когда в 1917 году я впервые сошла тут с поезда. Носильщик взвалил мои вещи на ослика, и мы пешком побрели к переправе по пустынной земле, над которой во всю ширь четырех концов света было раскрыто огромное окно неба.

С тех пор прошло более тридцати лет, а память хранит все мельчайшие подробности этого странного путешествия. Мы шли по донышку необъятного блюдца, по краям которого в небе стояли одинокие и еще разноцветные от заката кристаллы гор. Дорога была плохая, едва видимая в сухой, выжженной солнцем траве. Мы спустились в темноте к Ахуряну, где мельник держал перевоз. Тогда еще были в ходу закавказские боны и армянские «дензнаки», в которых с трудом разбирались и мы сами и перевозчик. Расплатившись, я ступила ногами в треугольный ящик с высокими стенками, заменявший лодку. С берега на берег был перекинут канат, укрепленный где-то в скалах. Мельник ухватился одной рукой за канат, другой — за лопату, которой стал грести против течения. Пока мы добрались до берега, ящик набух водой и отяжелел, как сапог. Потом молчаливое карабканье вверх по невидимой горе, осыпаю-

щейся под ногами, с чемоданом то в правой, то в левой руке. Потом наверху неожиданно выросли, прямо над головой, огромные, циклопически-выпуклые темные стены-башни древнего города в серебряном сиянии звезд.

Мы около часа блуждали по мертвым улицам Ани [161], покуда не выбрались на огонек. И тут нас встретили: очень худой, тогда еще едва начинавший седеть, неторопливый и молчаливый Н. Я. Марр; его сын Юрий, будущий иранолог, а тогда еще подросток, и гостивший у них художник Фетваджан, турецкий армянин, приехавший делать акварельные зарисовки Ани. Мы проговорили всю ночь, а потом с первыми лучами солнца вышли в городище. Может быть потому, что здесь стоял жилой дом-музей, где пришлось провести ночь и чаю напиться, а может быть, из-за Н. Я. Марра, ходившего по ямам и оврагам Ани с видом местного жителя, знающего все, что тут было и как было,— в памяти остался почти живой город, наполненный мягким, с грузинским акцентом говором Марра, звуком его легких шагов и движений, юношески-высоким тенорком его сына и необыкновенно живыми, гортанными восклицаниями Фетваджана, прыгавшего с камня на камень. Для них Ани был рабочим местом, чем-то, что жило с ними изо дня в день, постепенно переходя в книги, на полотно, в музей, и потому само никак на музей не похожее.

Когда мы вернулись в музей, на столе были разложены многочисленные иллюстрированные брошюры серии «Ани», словно сюда ежедневно приходили посетители, как в обычный городской музей.

Сейчас древнее армянское городище Ани, поднятое из-под земли русскими учеными, находится в пределах Турции, а за рекой Ахурян разгуливают турецкие часовые.

Поезд опять идет, поднимаясь по обширной земле Ширака. Название «Ширак», которое носит вся эта местность, как я уже писала выше, дошло до нас с древнейших, можно сказать, незапамятных времен. Вспоминая одного из легендарных праотцев армян, Арменака, Моисей Хоренский рассказывает про него, что он «сына своего, Шарая, многородящего и прожорливого, со всеми его домочадцами отправляет на близкую, добрую и

плодоносную поляну, по которой протекают многие воды за хребтом северной горы, названной Арагацем. По имени его, говорят, и область названа Шираком»[162].

Близкая, добрая и плодоносная поляна Ширака медленно проходит тучными, убранными полями, с которых уже снят обильнейший урожай зерновых и свеклы. Но не всегда и не для всех была она доброй. Мы проезжаем Агинский район, вплотную прижатый к турецкой границе. Здесь, по правую руку от полотна, в нескольких километрах от станции, на большой высоте — около 2 тысяч метров — было когда-то нищее село, где крестьяне голодали, собирая тайком уцелевшие после жатвы колосья на помещичьих и кулацких нивах. Об этом селе говорит поэтесса Ахавни:

Деревню звали Маралик,—
Уныло колос в поле ник.
Босою дочкой бедняка
Глядела я в родной родник.
Меня палил полдневный зной,
А в сердце — дождик проливной:
Колосья собирала я
На ниве не своей — чужой.
Мать станет ужин собирать,
А хлеба неоткуда взять.
Хоть был свидетелем родник,
Что пот пришлось мне проливать.

. . . .

Зовут деревню Маралик:
Колхоз наш знатен и велик.
И дружно трудится семья
Под жаворонка звонкий крик[163].

(Перевод В. Звягинцевой)

В Маралике, богатом и быстро растущем районном центре, не знают чужих колосьев,— все колосья свои... Но уже давно спит поезд, черная осенняя ночь в окне, ночью почти вплотную к рельсам подходит турецкая граница. Выше, еще выше. Паровоз тяжело дышит, подъезжая на рассвете ко второму по величине промышленному центру Армении — городу Ленинакану.

Здесь очень высоко — почти 1535 метров над уровнем океана. Здесь в осенние дни уже очень холодно; в низинах Мегри мы обливались пóтом, а тут вступили на мерзлую землю, под колючие иглы снега. Здесь очень нарядно,— за несколько лет до Отечественной войны Ленинакан стал бурно застраиваться, так же обдуманно и комплексно, по плану, как Ереван. Центральная площадь в городе просто прекрасна. В ее огромном квадрате эффектно стоит прямоугольник большого здания горсовета; от каждого из ее углов пучками лучей расходятся по три геометрически ровных улицы, образуя четырехгранную звезду. Улицы — Кирова, Шаумяна, Спандаряна, Пушкинская и др.— приведены в порядок, хорошо застроены и резко разрушили первоначальный казенный тип планировки, состоявший из шахматной доски параллельных и перпендикулярных линий, носивших вместо названий простые номера.

Старая лагерная симметрия города исчезла. Ленинакан — город на горе — получил свою «геодетту», округлую, соответствующую горной возвышенности планировочную линию, где начинают доминировать кольцо и радиус.

Целая группа строителей занимается сейчас благоустройством города; план его подписывают, кроме бригады архитекторов и крупного консультанта по архитектуре, еще представитель городской санитарной инспекции, инженер по водоснабжению и канализации, ученый-лесовод, специалист по транспорту, инженеры: геолог, электрик, теплотехник и др. И это здесь, в Ленинакане, оправдывается на каждом участке строительства.

Здесь раньше никогда не было много зелени,— сейчас у ленинаканцев свой Парк культуры и отдыха; здесь пили речную воду из Ахуряна,— сейчас, за 38 километров, трубы несут в город родниковую чистую воду Гукасянского района; здесь изредка играли заезжие гастролеры,— сейчас Ленинаканский театр драмы, с его талантливым руководителем и хорошим актерским составом, не только соперничает с ереванскою драмой, но,

случается, и побивает ее (в «шекспировские дни», например, художественное первенство признано за ленинаканской постановкой «Двенадцатой ночи»). Население Ленинакана увеличилось за советские годы больше чем втрое; текстильный комбинат города, один из крупнейших в Закавказье, растет с каждым годом; на втором месте (после Баку) стоит огромный мясокомбинат, где перерабатываются горы мяса, откуда шкура идет на Кироваканский и Ереванский кожевенные заводы и где начинают использовать все отходы, чтобы не пропадали ни кость, ни волос.

Ленинакан — крупный железнодорожный центр с прославленными на весь наш Союз железнодорожниками, а ведь это в условиях Закавказья большой и важный факт. Ленинаканский узел — это семья мужественных, веселых людей, гордящихся своей давней революционной традицией, своим участием в «Майском восстании», своей крепкой спайкой с железнодорожниками всей нашей страны, знаменитыми своими машинистами, мастером паровоза Андраником Хачатряном, получившим 6 ноября 1943 года звание Героя Социалистического Труда, и Гарегином Абаджяном, носящим орден Ленина. Но не в одних этих признаках большого промышленного и культурного расцвета особенность Ленинакана как города, и не только это придает размах его строительству,— тут дело в комплексности роста, в увязанности личного с общественным, близкого с дальним, задач сегодняшнего дня с прицелом на дни грядущие, которая особенно отличает Ленинакан.

В 1828 году, в русско-турецкую войну, здесь никакого города не было, а находилась не на месте нынешнего Ленинакана, а в нескольких километрах от него, маленькая, безвестная деревушка Гюмри. Русские солдаты, воевавшие в этих местах с турками, переделали это название в украинское Гумры, с ударением на первом слоге. Волчий оскал голых гор на горизонте, шоссе, уходящее далеко на запад, в твердыню Карса, не раз обагрявшуюся кровью русских солдат, граница, подступающая к подсобным районам города...

В войну 1828—1829 годов, убегая от организованной турками резни армян, перебралось на русскую терри-

торию, в Гюмри, несколько армянских семейств. Это были главным образом армяне-ремесленники, с крепкими трудовыми навыками, знанием ремесел, древней цеховой традицией, огромной работоспособностью и инициативой. Спустя несколько лет, в 1837 году, царским правительством на месте нынешнего Ленинакана была заложена крепость Александрополь; в 1840 году эта крепость стала уездным городом Грузино-Имеретинской губернии; в 1850 году — уездным городом Эриванской губернии.

Захолустный городок сохранил первоначальную симметрию военного лагеря, казенный и скучный стиль, но население — из местных гюмрийцев и новых переселенцев — придало этой безличной внешней форме города разнообразнейшее и характернейшее содержание. Население было талантливо; оно было инициативно и предприимчиво. Недаром именно отсюда, из Гюмри — Ленинакана, вышли очень многие крупные люди: прежде всего — Аветик Исаакян, нежно любящий до сих пор свой отчий город; три музыканта — Николай Тигранян, Армен Тигранян и Вартан Тигранян; известный ученый и историк естествознания Хачатур Седракович Коштоянц и много других, в их числе и скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров, в интересных мемуарах которого много страниц посвящено его родному городу, старому Александрополю.

Самоуважение старых здешних мастеров — золотых дел, гончарного, ковроткаческого и особенно строительного дела — осталось еще от старинных цехов с их гордостью и достоинством. До самых последних лет дожили, медленно уходя со сцены, старинные обычаи этих самобытных талантов, а главное — их оригинальные приемы работы, передававшиеся по наследству от мастера к ученику. Сохранились и празднества мастеров с их пышным и красочным ритуалом. Один из молодых армянских писателей несколько лет назад создал сценарий про старинные нравы ленинаканских мастеров [164]. Он рассказал об одной из специальностей: «искании воды».

В старом Гюмри было много строителей-самоучек, строивших баню, родник, жилые дома. Первым делом

при таких стройках нужно было уметь находить воду. Большого искусства и своеобразной церемонии требовала эта процедура. Старики медленно, шаг за шагом, шли по земле, почти пробуя на язык и опознавая все скрытые ее признаки. Они ловили особых земляных жучков и пускали целую горсть их ползти по земле. Обычно эти жучки ползли в одном направлении — к источнику влаги. Старики двигались за ними; по пути они выдергивали стебельки трав и пробовали корешок их во рту,— насколько они влажны. Так, медленно, по биению незримой жизни в земле, настоящими следопытами, «пытали» эти мастера воду и — находили ее. И с удивительным искусством, без всяких математических и гидравлических знаний, заставляли ее вытекать наружу. Нам кажется, что профессия ленинаканских стариков водоискателей — остаток древнейшего искусства, великой специальности, следы которой сохранились в Крыму, в Азербайджане, в Средней Азии, в так называемых «кягризах», подземных галереях, особенных азиатских водопроводах, остроумных и совершенно самобытных.

Но наряду с этим «старым» Ленинаканом, еще живым во всей его красочности, новый Ленинакан протягивает могучие ростки в будущее. Бюджет его растет необычайно: в 1913 году город тратит 147 866 золотых рублей; в 1923 году, в нищете и разорении после дашнакской авантюры, истощенный мировой империалистической войной молодой советский город еще бессилен,— он тратит 360 121 рубль в тогдашних обесцененных «дензнаках». Но посмотрите, что случается в 1941 году, в году новой напряженной войны! За период меньше чем в два десятка лет городской бюджет увеличился почти в шестьдесят четыре раза,— и это уже реальные деньги, за которыми стоят реальные ценности: железо, дерево, машины и т. д.

Там, где были лавочки ремесленников, работает 107 крупных промышленных предприятий. В последний год войны в городе было 100 врачей и 600 педагогов, 6 больниц, 5 поликлиник, 4 детские консультации, 19 средних и неполных средних школ, 2 школы ФЗО, двухгодичный педагогический институт, педучилище,

медицинский, полеводческий, железнодорожный техникумы, музыкальное училище,— я перечисляю подробно не для того, чтоб утомить читателя, а для того, чтоб он сам обратил внимание на разнообразие учебного профиля Ленинакана. Город готовит свои кадры по всем нужным ему специальностям; он охватывает профессиональными школами почти всю молодежь своего района. Пожив здесь две недели, побывав на заседаниях в горсовете, на приеме у секретаря горкома, вы не можете не заметить, что город знает, чего он хочет; видит и задумывает надолго вперед, имеет все необходимое у себя. Самостоятелен он и в направлении своего роста. Ереван растет дворцами и виллами вверх, к Канакеру и Арабкиру, подальше от заводов и фабрик. Ленинакан растет вниз, в сторону текстильного комбината, в сторону рабочего района, резко индустриализируясь.

Ленинаканцы сумели угадать в скромном розовом камне, которым крестьяне улицу мостили, строительный материал всесоюзного значения,— и рядом с Ленинаканом вырос «Артиктуф» со своею железнодорожной веткой.

Ленинаканцы на высоте 1500—1800 метров вызвали из земли плод жарких украинских полей — сахарную свеклу, чтобы создать в Армении сахарную промышленность.

Ленинаканцы заглядывают в будущее, готовя среднетехнические кадры, и нет сомнения — запросят и получат в будущем свой собственный вуз или втуз.

ЛОРИ

ДОРОГА «С ТЯЖЕЛЫМ ПРОФИЛЕМ». АЛАВЕРДИ

Рано утром, еще в предрассветном сумраке, поезд отходит от Ленинакана. Поздно досыпать ночь, да и редко кто из пассажиров откажется здесь от удовольствия поглядеть в окно. В полутемноте исчезает лента Ширакского канала. Приближается перевальная точка пути, от которой дорога резко поворачивает направо, к востоку, уходя от турецкой границы. Станция Джаджур (высота около 2 тысяч метров) — известковый завод. По изменившемуся стуку колес, по вспыхнувшему ожерелью лампочек угадываешь вхождение в туннель. Он очень длинен — 2 990 метров. Пока поезд берет его протяжение, быстро прорезывая под землею горный массив, разверните карту: здесь водораздел между двумя мирами, двумя разными пейзажами.

Внизу, на юге,— Араратская равнина, неисчерпаемая в оттенках и формах, создаваемых тенью горных вершин и плывущих в небе облаков. Здесь, на перевале,— еще Ширак с его суровой бескрасочностью и богатством земли, с туфом в Артике, сахарной свеклой в Ахуряне, торфом в Амасии; голубым цветком льна — редким гостем армянских полей — и в Артике, и в Амасии, и в Гукасяне [165]. Дальше, за туннелем, через несколько станций поезд войдет в узкое ущелье реки Памбак, имея слева от себя Базумский (раньше Безобдальский) хребет, а справа Памбакский.

Пассажиры уже не отходят от окон: перед ними одна из прелестнейших дорог нашего Союза, прослав-

ленная не меньше, чем Уфа — Челябинск, названная дорогой «с тяжелым профилем». Мир вокруг вас сузился, стеснился, стал маленьким и уютным. Вдоль полотна запела извилистая горная река, шумная, вспененная; своим шумом она врывается в однообразный стук поездных колес, а на остановках завладевает всем миром звуков, подчиняя и пригибая их подобно тому, как восход луны в небе вбирает в себя и заставляет бледнеть в своем свете слабое сияние звезд.

Так шумен и свеж говор реки на станциях, что вам кажется,— вы у преддверия большой новостройки. На старых здешних платформах, построенных задолго до Октябрьской революции старыми русскими инженерами-путейцами, на платформах, где сама архитектура, общепринятая для всех закавказских железных дорог (стандартная группа железнодорожных зданий, упершихся в высокую стену ущелья, без признака деревни или селения за ними), не говорит ни о какой новизне, ни о каком продолжении, а наоборот,— о тупике, о служебном транспортном назначении, о борьбе с оползнями и ливнями по линии, о неусыпном надзоре за мостами и пролетами, о постоянном уходе за многочисленными после Кировакана туннелями,— словом, о дороге, только о дороге, давно построенной и внимательно поддерживаемой,— казалось бы, неоткуда взяться этому чувству новизны новостроящегося мира. Но два слагаемых порождают его: речной шум и свежие бревна и доски на станционных платформах. Запах свежего леса, очищенного, готового к отправке, резко-озонного, щекочущего ноздри, и плеск воды — настойчивый, высокий приятный уху,— раз захвативши, уже не отпускают вас на всем протяжении этого ущелья. Раскрывается долина Памбака, наполненная гомоном реки и зеленым дымом лиственного леса; наплывает красными черепичными крышами нарядный город-курорт, уже описанный мною выше,— Кировакан.

За Кироваканом справа и слева встает Лорийский каньон, древний Гугарк, с его усеченными горизонтально вершинами, с опускающимися к разрезу железнодорожного пути могучими восьмигранниками рыжих

базальтов, с его светлокудрявой низкорослой зеленью рощ, объеденных по стволам неутомимыми губителями леса — козами и овцами. Что ни поворот дороги, то новый вид из окна; мелькают, как черные пятна-паузы в многокрасочной мелодии пейзажа, многочисленные туннельчики. Звонкая, как река, на которой стоит она, станция Памбак,— эхо разносит гулкий стук молоточка по колесам, тяжкое сопение паровоза, чей-то рассыпавшийся гортанный смех. Опять туннель — и в сиянии раскрывшегося нового ущелья, глубоко внизу, линии высокого полукруглого моста над бездной, как радуга,— станция Шагали с карьерами кварцита. Здесь густой лес с черным бархатом хвои, теплый аромат лесного, нагретого солнцем массива; здесь, недалеко — кружевные, шагающие по горам мачты длинной линии передачи от районной гидростанции на реке Дзорагет. Из лесничества выбегает с шумным лаем собака, припала на передние лапы, но уже не слышно лая,— красный дым обволок ее, поезд идет дальше, к станции Туманян (раньше Колагеран), где в шумный Памбак врывается с Мокрых гор маленькая, сверкающая, капризная лорийская речка Дзорагет. Грудь с грудью сталкиваясь вместе и кипя белой пеной, обе речки отсюда образуют новую, полноводную, более тихую и спокойную реку Дебед.

Мы — в сердце Лори, северной части Армении, давшей нашему Союзу много замечательных людей. Отсюда запел соловей Лори — поэт Ованнес Туманян. Здесь, в селении Джалал-оглы, ныне Степанаван, юношей часто бывал верный сын партии Степан Шаумян. Здесь, в селе Санаин, родился товарищ Анастас Микоян. Над этими горными склонами, весной усеянными цветами, стоит легендарная гора Лалвар, насылая на землю короткие сильные грозы и крупные градины. Здесь исстари, как на Арагаце, привольно было раскидывать летние кочевки, и Лорийский каньон воспели поэты не меньше, чем любимую гору Армении Арагац.

Очарованьем таинственных слов
Горы друг с другом ведут разговор,
Славя в едином хору голосов
Мощный Лалвар — повелителя гор.

...С приходом весны один за другим
Идут караваны к прохладным горам.
Спасаясь от зноя, из жарких долин
Движутся арбы татар и армян.
Звонко в ущелье: бубенчик поет,
Лошади ржут, слышен цокот подков.
Нар * впереди каравана идет,
Страшно рыча, он ведет верблюдов.
Один маслобойку везет с кувшином,
Остов шатра водружен на другом.
Так в талисманах, в кистях, по горам,
Плавно качаясь, идет караван.
Блеет овца, подзывая ягнят,
Вторя корове, теленок мычит;
И, за собою ведя буйволят,
Буйвол вперед перед стадом бежит.
Мчатся овчарки и, за день устав,
Дышат с трудом, тяжко свесив язык.
Где-то щенок, от собаки отстав,
Громко визжит, и разносится визг.
Там пастуха молодая жена,
Крепко дитя привязав за спиной,
Стадо сгоняет. Супругу она
Рада помочь незлобивой душой [166].

(Перевод Норы Адамян)

В идиллической обстановке кочевий разыгрывались большие человеческие драмы. Когда композитор Армен Тигранян задумал создать армянскую оперу, он обратился к поэме Ованнеса Туманяна «Ануш», где жертвою древнего обычая мести «кровью за кровь» гибнут две молодые жизни. И лучшей страницей в опере сделался праздник вознесения (по-армянски «Амбарцум»), весенний праздник, дошедший до христианства из древнейших времен язычества:

Амбарцум настал. Горы зацвели.
Дно долин горит, как ковер, вдали.
Девушки пошли на горы гулять,
Собирать цветы, песни петь, гадать.

Амбарцум — яйла,
Яйла-джан, яйла,
Тени гор, яйла,
Яйла-джан, яйла [167].

(Перевод В. Державина)

---

* Нар — вожак верблюжьего каравана, головной верблюд.

При жизни О. Туманяна старый обычай в Лори был еще жив и не хотел сдаваться. Он держал людей любовью к прошлому, памятью детства. Потом на кочевья пришел новый, советский быт. Потянулись яркие, в красивых плакатах, хорошо оборудованные палатки-вагоны. Они несли газету, книгу, лекарство, совет. На кочевках между шатрами кочевников появились «культпункт», «изба-читальня», «лечпункт», «ясли», «консультация». И эти слова скоро вошли в быт кочевника.

...К полудню ясное лорийское небо становится дымным. Надвигаются очертания заводских труб, мощный профиль медеплавильного завода. Новый большой город встает по обе стороны полотна, стесненного ущельем: станция Алаверди. Это центр одного из крупнейших в Армении промышленных районов, Алавердского.

Мы начали свой объезд Армении с крайнего юга — Зангезура, где обогащенная медная руда грузится мягким, рассыпчатым концентратом в вагоны, чтоб идти в далекий путь на север. Здесь, на севере, кончая свое путешествие по республике, при выезде из нее мы снова встречаем старую знакомую — шоколадный порошок медной зангезурской руды, прибывшей к месту своего назначения. Она выгружается на землю прямо у завода, потому что завод спустился к самому полотну дороги. Раньше только один завод здесь и был, да еще два-три жилых дома, несколько станционных построек и крохотный духанчик, где хозяин лениво ставил вам на прилавок вино и сердито отказывал в стакане чаю: «Не держим!» Но за два десятка лет единственный медеплавильный завод вырос в целый комбинат, задымили трубы сернокислотного и купоросного заводов, побежала чистая родниковая вода по трубам водопровода, поднялся город с магазинами, театром, большими жилыми домами, покрылась асфальтом красивая городская площадь, а на площади встал стройный, похожий на аштаракский, архитектурный «триптих» родника. Городу очень тесно и некуда податься, но он растет вдоль ущелья, карабкается на склоны гор.

За время войны в Алаверди посылалось большое количество лома. Это дало возможность заводу для соб-

ственных нужд плавить металл. Развилось в районе (на родине Ованнеса Туманяна, в селе Туманян, бывший Дсех) производство и своего динасового кирпича (из кварцитов со станции Шагали), который уже вывозится за пределы республики. Быстро растет здешняя химическая промышленность, но не менее быстро развивается и сельское хозяйство. На три завода и два рудника здесь около трех десятков колхозов, в основном зерновых. У каждого колхоза — животноводческая ферма. В пять раз больше, чем в 1940 году, сажают картофеля («лорх»), начали разводить табак. Алавердский район, объединившись с Калининским и Степанаванским, провел Узунларский канал в 42 километра. За благоустройство район получил вторую республиканскую премию. Колхозники обсадили свои улицы деревьями, построили клубы и бани, высушили болота, заложили 150 гектаров виноградников и 300 гектаров леса.

С 1940 года проведено здесь 70 километров дорог, телефонизировано 29 колхозов, а 9 колхозов — каждый — построили по собственной электростанции. В районе 8 десятилеток, 24 начальные и средние школы, плодоводческий техникум, библиотека, ФЗУ при руднике, ремесленное училище при заводе.

А на памяти моей, тридцать два года назад, хлеб сюда надо было привозить с собой, а учиться — уезжать отсюда за сотни километров!

АХПАТ — САНАИН

Поэт Ованнес Туманян писал, начиная свою «Ануш»:

Лори меня вновь неустанно зовет,
Старинной печалью бессонно дыша:
И властно расправила крылья, и вот
К забытому дому стремится душа...
...Счастливая ранняя юность моя!
Любимые лица прошли, как во сне,
Прошли, будто множество ярких цветов,
Что прошлой весной здесь на склонах цвели,
Прошли, как ручьи прошлогодних снегов...[163]

(Перевод В. Державина)

Летом 1917 года этнографическая экспедиция доктора Ерванда Лалаянца — в составе самого доктора, его помощника, молодого турецкого армянина, не говорившего по-русски, мужа моего, филолога-переводчика Я. С. Хачатрянца, и меня — медленно двигалась из алавердского завода наверх, в деревушку Ахпат. Дорога шла по тропе, почти вертикальной, на вершину каньона. Лошади, передними ногами забирая высоту, морщили кожу на крупе, как лайковую перчатку. Попадались мосты, предельные в своем лаконизме: две каменные плиты, поставленные над пропастью, как две карты, ребрами навстречу, в упор друг другу. Час, и два, и три меж кустарников кизила лезли мы на желтую стену.

И вдруг стена исчезла. Ослепленные блеском и светом, мы прикрыли глаза. Вдали так отчетливо, словно каждая черточка заострена линзой,— между землею и небом,— россыпь диковинных церквушек, четких до головокружения. Небо синее, земля светло-зеленая, а церквушки серо-пепельны, цвета пыли, словно занесенной сюда из глубины веков.

Лошади пошли вскачь. Мимо нас неслось нагорье, покрытое кругляками курганов; заливались грозные овчарки; ветер нес на нас горьковатый дымок, запах жилья. И вот уже лошади бегут по пыльным крутым улицам, покрытым соломой и навозом. Потом они закидывают копыта на каменные ступени и въезжают через старинную полукруглую арку на каменный широкий двор ахпатского монастыря, словно собравший сюда со всего необъятного лорийского простора тишину после полудня. Таким я запомнила его навсегда: вознесенным над лорийской степью, выбеленным от жаркого солнца, с кудрями вереска между древних плит, качающимися от слабого ветра, с раскаленною тишиной, полной памяти — вечной, остановившейся памяти о прошлом. Воркуя и гулькая, озабоченно ходили по карнизу сизые голуби; в тени, у самых стен, прижавшись к ним, спал человек, выронив из рук палку и котомку; поскулив, легла в тень огромная овчарка Тулаш. В своем садике под абрикосовым деревом заснул, сидя на табурете и прикрыв носовым платком голову, старенький архиман-

дрит, «хайр сурб», единственный блюститель этих мест,— и, словно сраженные солнцем и тишиной, разморенные усталостью, легли и мы на камни и тотчас заснули. Легкая ручная козочка, джейран, вспрыгнув копытцами, крепкими, как палочки, пробежала по нас,— мы почувствовали ее сквозь сон. Сколько таких дней и ночей пришлось нам потом провести в Ахпате, записывая народные лорийские сказки и песни!

Архитектурная группа Ахпата — один из лучших памятников армянской классики. Но Ахпат не просто древние развалины, каких в Армении много. Он был когда-то оплотом феодализма, центром епископской власти; в XI веке здесь жило несколько сот иноков, и свыше 500 рукописей хранилось под сводчатым потолком низенькой библиотеки. Двойной гнет — помещиков и церкви — ложился на плечи ахпатских крестьян. Мне уже пришлось писать о том, что из 10 000 десятин земли в Ахпате 9 500 десятин принадлежали монахам и помещикам и только оставшиеся 500 — крестьянам. И ахпатцы, так же как зангезурцы, восставали против невыносимого гнета, а за два года до первой русской революции с дубинками и камнями в руках поднялись против царя.

Прошло 34 года с тех пор, как я впервые увидела глухую лорийскую деревушку. И когда я снова попала в Лори, словно не три десятка, а три сотни лет прошумели над ним,— так велики происшедшие здесь перемены. Взять хотя бы другое, глухое когда-то, лорийское местечко Узунляр,— на всех его жителей в первый год революции едва ли нашлось бы пять-шесть грамотеев. Сейчас вы въезжаете в крупное, отстроенное село, где работают две электрические мельницы, два завода. В нем свой сельскохозяйственный техникум, три школы, театр, пять библиотек,— пять библиотек там, где четверть века назад люди не умели прочитать вывеску или подписать свое имя!

Своеобразным дополнением к Ахпату, по той же линии железной дороги, лежит другая станция — Санаин. Но Санаин запомнился мне совсем не памятью 1917 года, как Ахпат, а веселым детским говором в 1944 году, перед самым концом войны. Зеленый маленький «вил-

лис» в полчаса осилил шесть километров до вершины каньона, куда потребовалось бы три-четыре часа езды верхом по прежней дороге. Выросшее, зажиточное, шумное советское село, вместо прежней маленькой монастырской слободки, окружило нас, захватив своими живыми темами сегодняшнего дня.

Одною из таких тем были дети — большая группа детей, одинаково загорелых, но резко отличных друг от друга: одних — черноглазых, армянских, других — беловолосых, с мягкими славянскими чертами, русских ребят из далекого Ленинграда.

Я уже рассказала читателю в первой части книги о том, как привезли в Армению в начале войны 113 бледных и худеньких детей ленинградского детдома № 51 Выборгского района. Они не могли ни идти, ни выдержать тряску езды сюда — от истощения, нервного и физического, и взрослые несли их на руках. Это были дети страшного первого года ленинградской блокады.

В устройстве их санаинского житья приняли участие все колхозники. Директор детсада Гершенок и воспитательница А. М. Огнева скоро стали родными людьми на селе. Они боролись не только за жизнь доверенных им ребят, но и за их ленинградские навыки, за культуру в быту, и вместе со своими детьми они сразу забрали под свое влияние крестьянских санаинских детей. Это был прием укрепления привитых воспитанием навыков путем терпеливой и показательной передачи их другим.

Санаинские дети научились говорить по-русски и петь русские песни; ленинградские дети научились говорить по-армянски и петь армянские песни. Белобровая толстенькая девочка с Выборгской стороны называет любовно Армению «наш Айастан»; в стихотворении, написанном ею к 1 Мая, она пишет о том, как их спасли из кольца блокады и послали сюда, где солнце и ягоды, чудные белые козы и барашки, и все добры к ним, пахнут цветы весной на лугах, и школа, и спальня с постелями, игрушками, ковриками на полу,— совсем как у них в Ленинграде...

Вечером на деревне пахло дымом и хлебной пылью от молотящегося где-то хлеба; не взлаивали собаки, умолкала холмистая улица, погруженная в тишину Та-

кой мирной и безмятежной казалась жизнь этого селения...— Но так ли было это?

В Сананне всего 205 дворов. До войны они не справлялись с планом и должали государству. Между тем во время войны, начиная с первого ее года, здесь сумели перевыполнить все планы по животноводству и зерну; построить пять новых домов для фронтовиков, выйти всей деревней для пробивки в скалах новой, своей дороги; приютить ленинградских детей; позаботиться о школе-десятилетке и ее педагогах...

Кто все это сделал? Санаинские женщины. Они работали на полях и на строительстве дороги. У жен фронтовиков еще в середине лета было свыше 300 трудодней — у Арус Эвоян, Сирануш Закарьян и многих-многих других. Неустанная, неусыпная забота пала на плечи санаинок. И вечерний покой в деревне был обманчив: работа не прекращалась в ней зачастую и ночью.

Санаин — архитектурный близнец Ахпата. Но в нем имеются и гражданские постройки: мост, остаток гостиницы, баня. И если не поленится путешественник пройти всю деревню, чтобы спуститься к ее роднику, он увидит внизу архитектурный родник, изящный прообраз тех, что возникают сейчас в десятках проектов армянских архитекторов: не только художественное, но и инженерное творение. Две низкие и тяжелые наружные полуарки, опирающиеся на массивные круглые колонны; за ними — пространство под сводом, пересеченное третьей полуаркой, поставленной перпендикулярно к двум наружным. Внутри в каменный бассейн бежит вода; она доходит сюда по каменному туннелю, собранная в одно русло из семи различных истоков. Этот родник-водопровод работает с XIII века, и струя его так же прозрачна, как в первый день пуска.

КОЛАГЕРАН И — ПРОЩАЙ, АРМЕНИЯ!

Между Алаверди и бывшей станцией Колагеран сейчас проведено прекрасное шоссе. Но до последнего времени тот, кто захотел бы в неурочный час вернуться

в сторону Еревана назад, на станцию Туманян, которую я все еще, по старой привычке, называю Колагеран, не нашел бы не только проезжей, но и пешеходной дороги и не смог бы из-за туннелей пройти это расстояние по полотну. Единственный выход — это напроситься на паровоз к машинисту какого-нибудь проходящего товарного состава или — если была дрезина — промчаться на дрезине, глядя в обе стороны разворачивающегося Лорийского ущелья.

Вместо того чтобы двинуться дальше по магистрали через Ноемберян к грузинской границе и выезду по железной дороге из республики Армении в Грузию, сядем опять в машину, задержимся в Лори, подышим воздухом Лорийского каньона.

Станция Колагеран знакома мне по четырем годам жизни на строительстве Дзорагэс, как собственная квартира,— закрыв глаза, я могла бы найти дорогу к мосту, под которым, шумя, бежит река; к спрятанному в кустах домику лесничего,— перед ним переступает с ноги на ногу, отмахиваясь длинным хвостом от мух, привязанный конь под седлом; к платформе с узкой дверью на телеграф... Отсюда непременно надо съездить на станцию Шагали, подняться, перейдя полотно на ту сторону, по горной тропе, в селение Туманян, где бережно хранится домик Ованнеса Туманяна, превращенный в музей. Путника вознаградит за подъем широкий простор нагорья, где еще хранится память о гибели Ануш, помнятся древние игры под праздник вознесения и джангулюмы в день вознесения. Прогулка займет не больше суток, в селении можно посмотреть красивое производство динаса на новом заводе, послушать в новой школе учащихся, наизусть знающих стихи Туманяна.

А вернувшись к концу дня, сядьте в машину, чтобы тронуться по Степанаванскому шоссе в последний, прощальный путь по древней земле Армении. Еще предстоит повидать немало. Ярко горят внизу, под шоссе, огни Дзорагетской ГЭС; два-три каменных дома возле нее окружены выхоленным садом; по косогору бегут, извиваясь, дорожки. Машина все поднимается в прохладу и свежесть нового перевала, к незабываемым по

красоте сосновым рощам Гюлагарака, к большому нарядному Степанавану, названному так в честь Степана Шаумяна [169]. Красивый родник бьет на площади, вымощена улица, в тени зеленого сада прячется домик-музей Шаумяна.

Большой сыроваренный и молочный комбинат в Степанаване, гордость района, дает Армении и всему Союзу знаменитое лорийское масло и «швейцарский» армянский сыр. Бывшая старая крепость Гергеры, когда-то описанная Пушкиным во всей ее дикой живописности, стала красивым советским городом с самым здоровым в Армении климатом.

Отсюда — последние километры зеленой лорийской степи, с ее медоносными лугами, знаменитыми пчельниками, лучшими в республике стадами — вот они сходят, красные от заходящего солнца, тучные, отъевшиеся, с необычайно крепкими, приспособленными для гор копытцами, в своей торжественной медлительности, с лорийских нагорий в долину.

Дальше — бывшая Воронцовка, теперь Калинино. Еще дальше — граница Грузинской ССР.

Но помедлим немного у огней Дзорагэс...

Образ природы,— как и настоящее большое искусство в книгах и на экране,— всегда умеет передать глубину времени, чувство пройденной, прошедшей жизни. Мы живем, не ощущая ухода жизни. Мы не носим в сознании всей длины прожитых дней, как ту катушку фильма, хранящую протяжение кадров, которая, чтобы начать воплощать образы, должна разматываться. Но вот, проездив с читателем по всей маленькой стране Армении, с бесконечным разнообразием и богатством ее древнего и нового облика, я снова оказалась там, где прожила четыре года, работая над романом «Гидроцентраль»,— на втором участке строительства районной Дзорагетской гидростанции, в шести километрах от станции Колагеран, по Степанаванскому шоссе (названному мною в романе Чигдымским), над речкою Дзорагет (названной мною в романе Мизинкой). И словно размоталась большая катушка фильма до последнего кадра,— от этого знакомого облика зем-

ли вдруг острое, как от большого искусства, ощущение расстояния прожитого времени, чувство прошедшей жизни:

Любимые лица прошли, как во сне,
Прошли, будто множество ярких цветов,
Что прошлой весной здесь на склонах цвели,
Прошли как ручьи прошлогодних снегов...[170]

Самые счастливые периоды моей прожитой жизни — жаркое лето в Ахпате в 1917 году, четыре бурных года в Колагераие (1927—1930) — связаны с землею Лори, с рассказами о Мокрых горах, где создается погода для Армении, с градинами, побивающими посевы, с бурей, идущей от горы Лалвар, с лорийским крестьянством — молчаливым, умным, берущим легко, в сандалиях из буйволиной кожи, самые трудные тропы, по которым, кажется, и коза не пройдет.

Лори — зеленое море ущелий, стоящих вертикально, с обрубленными, плоскими, как столы, вершинами, где почти недоступно одна от другой, как птичьи гнезда, разбросаны крестьянские деревушки. В великой бедности и непрерывной борьбе за ячменную лепешку жили там столетиями крестьяне, едва общаясь друг с другом, почти не выходя за пределы кучки своих маленьких домиков, и десятками лет терпеливая лорийская женщина несла на плечах кувшин с водой, набираемой из родничка за несколько километров от ее земляного жилья...

И мне захотелось окончить книгу одним, дорогим мне, образом, развитие которого шло в обратном порядке,— не от молодости к постарению, а от старости к помолодению.

Когда в 1927 году пришли в эти горы первые городские люди с теодолитами и стали вымеривать и провешивать, намечая трассу будущего канала, а со станции Колагераи пошли грузы строительных материалов и возле круглоголовой базальтовой скалы (позднее названной Кошкой), стоящей над речкою Дзорагет, по зеленому склону раскинулся деревянный городок второго строительного участка,— нерешительно потянулись лорийские крестьяне вниз, в рабочие бараки. Они шли с мешком картофеля, с густым буйволиным молоком в бутылке из-под боржома, чтобы продать скудные дары

своей убогой земли городским людям. Приглядевшись, кое-кто из них остался на стройке — работать.

В деревянном бараке, где я жила первую зиму, сторожем был один из таких крестьян, беднейший из бедняков, Шакар. На строительстве его звали «дедкой». Он шел горбясь, говорил шепотком, с трудом сводя бескровные губы над цынготными деснами. Из-под мохнатых бровей глядели добрые крестьянские глаза; цвета его волос разглядеть было нельзя,— мохнатая баранья папаха и днем и ночью сползала у него на самые брови; щеки Шакара были покрыты серой, неровной щетинкой. Носил он и летом и зимой какой-то вывороченный тулуп, из которого лезли во все его дыры клочья свалявшейся шерстяной ваты.

Невнятно бормоча что-то себе под нос, ходил Шакар из барака в барак, таская на плечах дрова, стругая щепочки для растопки; орудовал самодельной метлой, начисто подметая коридоры; ставил нам чайник с кипятком под матрац на деревянную койку, чтобы подольше сохранилось тепло; изредка скупо сообщал свои деревенские новости: отелилась корова, заклевали петуха в драке.

Первые месяцы на стройке были трудные. Мы спали в шубах,— сквозь щели барака зимней ночью, прижмурясь, можно было увидеть серебристые усики звезд. Волки подходили вплотную к баракам и выли от голода. Собаки хрипели им в ответ, забиваясь под половицы. Потом медленно, день за днем, стала налаживаться жизнь, проступили великие очертания нового нашего быта, заработал местком, пошли дела в клубе, всколыхнулась молодежь. И старый Шакар стал захаживать к комсомольцам; стоя в дверях, прислушивался к чтению газеты, вставлял слово, два.

На спектаклях, на митингах в душной маленькой комнате клуба, куда люди набивались заблаговременно и терпеливо сидели, ожидая начала, Шакар сперва лепился к стенке, не снимая своей папахи, потом начал присаживаться. Потом вдруг услышали мы его рассудительный шепоток с места, перешедший в откашливание, в неожиданно приподнятый голос: Шакар начал выступать с трибуны по местным вопросам.

И как-то, окликнув его по привычке: «Дедка, воды в ведре ни капли!»,— я подняла глаза на нашего, виданного и перевиданного, знакомого до каждой щетинки в бороде, старика и — ахнула: не стало бороды у Шакара. Он побрился у тех самых цирюльников, что открыли свое заведение под деревянным навесом в городке. Он снял папаху, на голове у него была кепка. Снял и тулуп: строительство выдало ему «прозодежду», защитного цвета брезентовый френч. Давно уже начал Шакар, долгие годы питавшийся сухим чуреком и мацуном, захаживать в столовую и осторожно, обжигая губы с непривычки, пробовать горячего борща. И Шакар вошел в тело, окреп. Шакар отдал визит в рабочую баньку, прежде чем сесть на чурбачок перед лихим городским цирюльником. Помину не осталось от цынги, губы у старика плотно сошлись над деснами.

Старик... Но полно!

«Сколько же тебе лет, Шакар?» — спросила я, не веря своим глазам.

И оказалось, что нашему «дедке», нашему «старику» Шакару, которому мы голосами внучек и внуков жаловались, бывало, на всякие свои досады и горести, всего-навсего т р и д ц а т ь д в а года! Советская жизнь на стройке вернула этому забитому лорийскому бедняку его настоящий возраст. Он вошел в свои утраченные годы вместе с новым, советским бытом: собраниями в клубе, где и его голос вдруг приобрел значение, книжечкой члена профсоюза, неведомым раньше интересом к газете, к новостям за пределами знакомого десятка километров; новым, рабочим сознанием, заставившим его во все по-хозяйски вмешиваться; наконец горячею пищей в столовой, городской рабочей одеждой.

Не жалко прожить жизнь и приблизиться к ее последней грани, если и ты, наравне с другими, поработал вот так, изо дня в день, чтоб возвратить тысячам, десяткам и сотням тысяч людей родного тебе народа их естественный возраст,— их молодость, отнимавшуюся от них сотнями лет нужды и темноты и засиявшую для них в нашем молодом и прекрасном мире!

1949—1951

ПРИЛОЖЕНИЯ

КРАТКИЙ ОЧЕРК ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ АРМЕНИИ, ОТРАЖЕННОЙ В ПАМЯТНИКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Легендарная история праотцев армянского народа — глубина двух тысячелетий — опирается на главный свой источник — летопись Моисея Хоренского, чудесный язык которого и правдивая манера изложения с постоянным прибеганием к народному эпосу делают его одним из интереснейших древних писателей не только для маленькой Армении. В полусказах, полулегендах он дал наметки родового быта «праотца Гайка», описал войны с Вавилоном и Ассирией и драматический эпизод любви ассирийской царицы Шамирам (Семирамиды) к армянскому царю Ара Прекрасному, ответившему ей отказом на предложение «взять ее в супружество». Этому эпизоду суждено было перейти в миф и своеобразнейшим образом преломиться у Платона в X книге «Политейи». Но сперва послушаем Моисея Хоренского:

«Шамирам в сильном гневе, в сопровождении многочисленного войска, спешит проникнуть в землю Армянскую и напасть на Ара. Но по всему было видно, что она шла не с тем, чтобы умертвить его или преследовать, но чтобы, покорив его и взяв в плен, заставить его исполнить волю ее и желание. В страстном своем желании она,— как поется о ней в Песне...— стремительно

является на поле Ара, названное по имени последнего Айраратом». Ара не захотел ей сдаться и был убит. Именно тогда Шамирам приказала своим богам с собачьими головами, «аралэзам», лизать его раны, чтоб оживить Ара. Когда ей это не удалось, Шамирам обрядила одного из своих любимцев в одежды Ара и распространила слух, что боги вернули его к жизни. «Пустивши в ход эту молву по земле Армянской и убедив всех», Шамирам «положила конец войне» [171]. Мы видим у историка, при всей величавой наивности рассказа, реальный эпизод столкновения Армении с Ассирией и нежелание Армении подчиниться чужому владычеству. Можно сказать, что в древнейшей истории Армении эта борьба армян против ассирийского владычества представляет собою одну из интереснейших страниц. Историкам следовало бы показать, как реальное столкновение двух народов, патриотическая борьба маленькой Армении с гораздо более сильной Ассирией и нежелание ее подчиниться чужому владычеству отразились в легендах, сказках, народных мифах. Так именно поступают сейчас советские историки и поэты. В прошлом, однако же, получилось обратное: реальный эпизод стал легендой и даже превратился у идеалиста Платона в антиисторический миф.

Пущенная в ход молва о воскрешении Ара из мертвых осталась жить, перешла в другие страны, в другие века. Армянин Ара стал странным мифическим человеком (якобы заглянувшим «по ту сторону бытия»). Что он увидел там, когда был мертв? Рассказал ли об этом живым, когда вернулся из небытия? Да, рассказал, и рассказ его послужил прообразом странных видений «Ада», созданных Данте. В «Политейе» Платон пишет: Жил Ира, сын Армении... Он был убит на войне [172]. Ожив на костре, когда его погребали, Ира подробно описал «что там видел». Платон заставляет его нарисовать стройную концепцию звездной системы, образы трех парок, картину ада и рая, странствование душ и сознательный выбор ими будущих своих судеб при новом воплощении. Так древний армянский миф превратился в отвлеченный художественно-дидактический образ у эллина Платона, а от него перешел к великому

итальянскому поэту. Но превращения мифа не прекратились на этом. Академик Капанцян в своем труде «Мифотворческий образ армянского «Ара», еще не вышедшем из печати, собрал большой лингвистический материал, позволивший ему провести параллель между древнеязыческим славянским богом весны, Ярило,— богом вечно воскресающего земного плодородия — и мифом о воскресшем Ара.

В краткий промежуток древней истории Армении, когда Армения была совершенно самостоятельна и управлялась своими царями, Арташесидами, интересны четыре царствования. При Арташесе I было проведено землеустройство. Моисей Хоренский рассказывает, что «Арташес приказал определить границы деревень и полей, так как он увеличил народонаселение армянской земли введением в нее многих чужеземцев, водворяя их в городах, долинах и равнинах. Пограничные знаки утвердил он такие: приказал обтесать четырехгранные камни, выдолбить в середине их круглое углубление, зарыть их в землю и поставить на них четырехугольные башенки, слегка возвышающиеся над землею». Он же позаботился о культуре в стране, потому что его предшественники «не имели понятия о главных науках и искусствах... О сменах недель, месяцев и годов... не было им знакомо, хотя у других народов это было введено. Суда не ходили по озерам и рекам нашей страны, не было снастей для рыболовства, земля возделывалась не везде, а в редких местах. По примеру (жителей) северных стран и у нас питались сырым мясом и тому подобным. И все это приводится в строй в дни Арташеса».

Облик Арташеса остался в памяти народа сильно идеализированным. Это о нем складывали народные певцы — гусаны и висаны — эпические песни, и про него сложилась легенда, будто при нем не осталось невозделанной земли ни на полях, ни на горах. Во всяком случае, он был преобразователем своей страны, первый перенес центр армянской жизни в Араратскую долину, построив на ней и сделав столицей город Арташату (источники рассказывают, что Ганнибал, карфагенский царь, бежавший в Армению после падения Карфагена, помог своими советами Арташесу в построении Арта-

шаты и выборе для нее места); наконец, именно при Арташесе, к началу II века нашей эры, по свидетельству Страбона, «разноплеменное население Армении стало говорить на одном, всем понятном, языке (армянском»). Сын его Артавазд I был прямой противоположностью своему отцу. Армянские предания почти до наших дней донесли народную ненависть к нему. В Аштараке, как и во многих других армянских местностях, сохранился обычай, по которому в пятницу на страстной неделе раздается стук,— это будто бы снова заковывают цепи, держащие под землею Артавазда. Эти цепи в течение года разгрызаются преданными царю псами, но народ ежегодно их снова скрепляет.

От той поры остались два обломка надписей арамейскими письменами в Нор-Байазете.

Вторым интересным царствованием эпохи Арташесидов было царствование Тиграна II, прозванного Великим. Оно было во всех отношениях противоположно предыдущему. При всей скудости исторических свидетельств мы все же ясно представляем себе по этим свидетельствам деятельность Арташеса, как направленную на внутреннее положение страны. Он благоустраивал основу народной культуры — земледелие, сколачивая культурное единство народа на базе родного языка, армянского, доступного всему «разноплеменному населению Армении». И от этой большой, плодотворной деятельности даже до нашего времени — через бездну двух тысячелетий! — дошли вещественные памятники — пограничные знаки землеустройства.

Совсем иную память оставил по себе Тигран II. Вместо вопросов внутреннего устройства он занялся внешними завоеваниями; вместо единства и мира принес Армении лихорадку непрерывных войн и разногласий; вместо упрочения роли родного языка и на базе его национальной культуры, он резко повернул на Запад, ввел чуждый народу греческий язык как официальный язык господствующего класса. Тигран II связал свою судьбу с одним из ярчайших людей древнего Востока, понтийским царем Митридатом, женившись на его дочери и разделив с ним его вражду к Риму. В то время Рим был могущественной державой и вступить с ним в

борьбу было делом большой смелости и большого риска. Тигран отважился на эту борьбу. Первые десятилетия он имел огромный успех: одну за другой завоевывал территории, расширив к 80 и 70 годам (до нашей эры) границы Армении от Каспия до Палестины. Но, воюя с Римом, Тигран II в то же время всячески перенимал и насильственно насаждал в Армении греко-римскую культуру: вводил греческое просвещение, ставил в языческие армянские капища статуи греческих богов, построил и роскошно изукрасил новую столицу — Тигранокерт, заселил армянские города греческими ремесленниками и купцами. Эта армянская экспансия, однако же, не была прочной. В 63 году (до нашей эры) римский полководец Помпей разгромил Тиграна II и подчинил его Риму. В 56 году (до нашей эры) Тигран II умер.

После его смерти пропасть между народом и верхними слоями общества в Армении еще более углубилась. Как ни тяжело жилось народу, обремененному всякими налогами и поборами, разоряемому непрерывными войнами, все же он оставался верен своему укладу. Крестьянство говорило по-армянски, создавало и хранило свои песни, свой эпос, свои танцы, где носителем движения была рука. В деревнях имелись свои зачатки народного театра: представления под звуки народного гусанского инструмента — бамбирна.

Прекрасна первая запись древнего армянского эпического сказания, которой мы обязаны Моисею Хоренскому:

В муках рождения находились Небо и Земля;
В муках рождения лежало и пурпуровое Море;
Море разрешилось красненьким Тростником;
Из горлышка Тростника выходил дым;
Из горлышка Тростника выходило пламя;
Из пламени выходил юноша —
У него были огонь — волосы,
У него была борода — пóлымя
И глаза (словно два) солнышка [173].

Приведя эту песнь о рождении Ваагна, носившую уже и в его времена печать седой древности, и критически сопоставив ее с мифом о Геркулесе, Моисей Хоренский пишет: «Мы собственными ушами слышали,

как пели эту (песнь), сопровождая ее бамбирном». А пока народ жил своей жизнью, в городах, при дворе преемника Тиграна II, Артавазда II, уже ничего не осталось армянского, там обязательной была греческая образованность, говорили на греческом языке. Там мы застаем настоящий греческий театр с профессиональными актерами.

Любопытна личность Артавазда II. Моисей Хоренский дает ему убийственную, хотя и противоречивую, характеристику: «...Артавазд не совершил никакого подвига мужества или храбрости. Он весь был предан яствам и питию; бродил, блуждал по болотам, по чаще тростников, по крутизнам, охотясь на онагров и кабанов; не заботился ни о мудрости, ни о храбрости, ни о доброй памяти: служитель и раб своего чрева, он утучнял только его. Обвиняемый своим войском в праздно-любии и чрезмерной прожорливости, и в особенности за то еще, что Антоний отнял у него Месопотамию, он запылал гневом, приказал собрать много десятков тысяч войска... спустился в Месопотамию и прогнал оттуда римские войска». Римский историк Тацит, и особенно Плутарх, представляют Артавазда несколько иным. У Плутарха в биографии Марка Красса он тоже и весельчак и кутила, но в то же время разумный полководец, давший римлянину Крассу очень дельный совет, как идти против парфян. Но Красс пренебрег его советом, не помог Артавазду, когда парфянский царь Ород (или Гирод) пошел против армян. И вот положение изменилось: Красс побежден и убит парфянами, а тем временем Артавазд и Ород уже заключили мир. Вот что рассказывает Плутарх:

«Гирод уже помирился с Артаваздом армянским и согласился на брак его сестры и своего сына Пакора. Они задавали друг другу пиры с попойками; часто бывали у них и греческие представления. Ибо Гирод был не чужд греческому языку и литературе. Артавазд же сочинял даже трагедии и писал речи и исторические сочинения, из которых некоторые еще сохранились. Когда ко двору была привезена голова Красса, со столов было уже убрано, и трагический актер Язон декламировал из «Вакханок» Еврипида стихи, в которых говорится об

Агаве. В то время как ему аплодировали, в зал вошел Силлак, пал ниц перед царем и затем бросил на середину зала голову Красса. Парфяне рукоплескали с радостными криками, и слуги, по приказанию царя, пригласили Силлака возлечь. Язон же передал одному из актеров одежду Пенфея, схватил голову Красса и, впав в состояние вакхического экстаза, начал восторженно декламировать следующие стихи:

Мы несем с горы в свой дом рога убитого недавно
оленя,
Добычу счастливой охоты...

Всем присутствующим это доставило наслаждение».

Тут мы видим Артавазда не только знающим греческий язык (подобно Гироду), но и пишущим на нем трагедии, речи и исторические сочинения, уцелевшие до времен Плутарха, но, к сожалению, до нас уже не дошедшие.

Образ Артавазда II оживает в конце его царствования. Конец этот таков: вслед за Крассом на Парфию напал Марк-Антоний и, считая Артавазда виновным в своих военных неудачах, в 34 году до нашей эры вступил в Армению, хитростью и коварством захватил Артавазда в плен, увез его в Египет и там держал в заключении, объявив, что «дарит» его Клеопатре и что если тот «преклонится перед египетской царицей», то получит свободу. Артавазд, этот «легкомысленный весельчак», поэт и кутила, сколько ни старались его палачи, не захотел преклонить головы перед Клеопатрой. Историк Дион Кассий замечает по этому поводу, что «армяне выказали величие духа, заслужив тем славное имя». В 31 году до нашей эры Артавазд был казнен, и Тацит, уж никак не обнаруживающий особого пристрастия к армянам, поступок Антония с Артаваздом заклеймил словами «преступление Антония» («scoelus Antoni») [174].

И, наконец, последняя страничка Арташесидской династии: в годы, когда мощь Рима уже ослабела, на переломе между двумя историческими эрами, между античным и феодальным обществом, в Армении царствовала женщина, Эрато, сестра Тиграна IV, един-

ственная (если не считать Изабеллы Киликийской, царствовавшей некоторое время в Киликии) армянка на троне. По сохранившимся свидетельствам, она вела смелую и очень энергичную политику. Таковы наиболее интересные фигуры из древней армянской истории.

Основы феодального строя были заложены в Армении еще при Арташесидах, то есть до нашей эры. Уже тогда видим мы нахараров — князей, владельцев вотчинных земель; видим полукрепостное крестьянство, связанное с нахарарами сложными земельными отношениями; видим наряду с ним военных рабов, занятых на тяжелых работах. Языческие храмы имели, как позднее христианская церковь, свои большие земельные участки, свое хозяйство, и при помощи «прорицаний» жрецы вмешивались в дела государства. Когда в 63 году нашей эры на смену армянской династии Арташесидов пришла парфянская династия Аршакидов, феодальный строй в Армении окончательно оформился. Царь Трдат II Аршакид, став христианином, в 303 году нашей эры объявил христианство государственной религией Армении. Полетели в огонь языческие культурные ценности, произведения искусства, древнейшие рукописи; запрещены были веселые представления, гонению подверглись актеры и скоморохи; но в то же время христианская церковь завладела материальными богатствами и землей языческих храмов и так же, как жрецы, стала вмешиваться в государственные дела. Любопытная личность того времени — царь Пап; он боролся с нахарарами за укрепление единовластия; боролся с церковью из-за ее вмешательства в светские дела; предание говорит, что он даже умертвил тогдашнего главу церкви, католикоса Нерсеса. Укрощать непокорных нахараров помогал ему полководец Мушег Мамиконян. Римский историк Аммиан Марцеллин оставил нам биографию Папа, а современный советский прозаик Степан Зорян написал о нем большой исторический роман [175].

В общем, говоря словами академика Манандяна, «Как в эту, так и в последующие эпохи средневековья, внутренняя жизнь в Армении развивалась в формах феодального строя, который многими своими характер-

ными чертами напоминает феодализм Западной Европы. И здесь, как и в Западной Европе, феодальное общество представляло собой многоэтажное здание сословного характера, причем господствующим классом являлась и здесь военно-землевладельческая. знать, эксплуатировавшая сидящих на ее землях и подвластных ей крестьян»[176].

При Аршакидах, почти тотчас после принятия христианства, произошло другое важное событие в жизни армянского народа: гениальный крестьянский сын, ученый монах Месроп Маштоц, изобрел армянский алфавит в 394—395 годах, как это доказал академик Манандян; этот алфавит заменил арамейские и греческие письмена и положил начало собственно армянской письменности. Могила Месропа в селе Ошакане сохранилась до наших дней и окружена уважением и любовью народа[177]. Еще и до изобретения своего алфавита у армян была большая литература, главным образом историческая.

Первый историк, чьи сочинения дошли до нас, был Агафангел, писец царя Трдата III, описавший на греческом языке историю крещения армян и составивший жизнеописание проповедника христианства в Армении Григория Пахлавуни, прозванного Просветителем. В том же веке и тоже по-гречески описал Фауст Византийский (по-армянски Павстос Бюзандаци) историю преемников Трдата III до раздела Армении. На сирийском языке сохранилась, тоже от IV века, история Тарона (одной из частей Армении), написанная Зенобием Главком. В те времена много молодых армян отправлялось, чтобы получить высшее образование, не только в Византию и Александрию, но и в Афины, где один из таких ученых армян, слушатель софиста Юлиана, Паруйр (в римских источниках Proeresius), был даже почтен особой статуей в свою честь за исключительный талант красноречия[178].

С изобретением месроповского алфавита в Армении появляется литература уже на своем, армянском языке, достигающая особого блеска в V веке в лице Моисея Хоренского (по-армянски Мовсеса Хоренаци), отца армянской истории. В свое время и он для довершения

образования был отправлен в Южную Европу и Египет. В армянских летописях мы находим различные периоды истории, описания отдельных армянских княжеских родов, борьбы с ересями, борьбы за независимость, против персидского владычества, нашествия арабов, истории Агвани, Багратидов, всеобщей истории. Выдвигается и ряд своих крупных ученых: среди математиков знаменитый Анания Ширакаци (VII век); философы Давид Непобедимый (VI век) и Григорий Магистр (XI век); врач Мхитар Гераци (XII век); юристы, составившие два судебника: Мхитар-Гош (XII век) и киликиец Смбат Коннетабль (XIII век).

Уже в V веке был осуществлен замечательный по своей точности перевод на армянский язык библии, считающийся лучшим из существующих переводов, а в последующие века переведен на армянский язык целый ряд произведений античной литературы; причем некоторые из них, например «Хроника» Евсевия Кесарийского, «Апология» Аристида Афинского и др., сохранились только в армянском переводе.

Академик Манандян указывает, что «обширная историческая литература армян, самая богатая среди литератур Востока, служит ценным источником для изучения истории не только Армении, но также Персии, Византии, Грузии, Азербайджана и почти всех народов Ближнего Востока» [179].

Армянские источники были не раз использованы мировою наукой. Есть специальные исследования об их ценности и значении. Знали их и русские историки. Так, Н. М. Карамзин в первом томе своей истории, упоминая о хазарах, пишет: «Еще с третьего столетия они известны по армянским летописям» [180]. Европейские ученые, говоря об армянах-летописцах, почти всегда подчеркивают их правдивость, основательность, суровый дидактизм, но в то же время, за исключением Моисея Хоренского, и некоторую их сухость. И все же, пожалуй, лучшую характеристику им,— опять же за исключением Моисея Хоренского,— дал поэт Аветик Исаакян в 1939 году в стихотворении «Наши историки и наши гусаны».

I

В уединенье темных келий, в глухих стенах монастырей,
Историки, от скорби горбясь, перед лампадою своей,
Без сна, ночами, запивая заплесневелый хлеб водой,
Записывали ход событий на свиток желтый и сухой:
Нашествие орды кровавой, несчастья гибельной войны,
Врагов жестокую расправу, крушение родной страны.
Оплакивали Айастана жестокосердную судьбу
И уповали неустанно, что бог услышит их мольбу.

II

А в сельских хижинах убогих, у очага, перед огнем,
Гусаны наши пели песни и запивали их вином,
И в песнях славили победы, и пели гимн богатырям,
Врагам предсказывая беды, и поражение, и срам.
В сказаньях их в борьбе кровавой вступал в бессмертие народ.
Они нам завещали славу передавать из рода в род,
Они для счастья нашей жизни сумели вольный дух сберечь
И наготове за отчизну держали молньеносный меч [181].

(Перевод М. Зенкевича)

Ко времени полного утверждения христианства в Армении Римская империя, при императоре Константине, разделилась на две части: восточную, с городом Византией на Босфоре, позднее названном, по имени императора, Константинополем [182], и западную, собственно римскую. В 395 году восточная часть стала самостоятельной империей, под общим именем Византии, а Рим начал все больше и больше утрачивать свое влияние на Востоке. Почти одновременно с разделом Рима была опять поделена, по зонам влияний, и Армения,— западная ее часть отошла к Византии, а восточная, с исконным центром армянского народа, Араратской долиной, присоединена к Персии.

Разделились не только территории,— разделились и сами армяне, на века подпав под воздействие совершенно разных культурных и государственных начал.

На Западе Византия управляла своими колониями при посредстве имперских чиновников, и армяне почти совершенно утратили свою государственную самостоя-

тельность. На Востоке Персия дала известную власть армянским феодалам, нахарарам, и часто даже назначала своих марзпанов (правителей) в Армении из армянских нахарарских родов. Нахарары, опираясь на церковь, боролись друг против друга за власть, и это ослабляло государственную силу армян. Но были среди них и патриоты, восстававшие против иноземных угнетателей и бесстрашно боровшиеся с подчас втрое и в пять раз превышавшим их численно противником.

Один такой патриот, Вардан Мамиконян, надеясь на помощь Византии и западных князей, а также на своих восточных соседей-нахараров, в 450 году поднял восстание против персов. Не получив помощи, Вардан не уклонился от битвы и в 451 году встретился с грозными полчищами персов, во много раз превышавшими его народное ополчение, на равнине Аварайра, возле нынешнего Маку. Армяне бились как львы. Вардан и его сподвижники пали в сражении. И хотя персидские войска массой своей задавили героическое ополчение Вардана, это не было поражением, потому что героизм борьбы с более сильным врагом, борьбы насмерть, показал персам, какие силы сопротивления таятся в армянском народе, а самим армянам послужил вдохновенным примером для будущего. Через тридцать лет восстание, возглавленное племянником погибшего Вардана, Ваганом Мамиконяном, повторилось уже в союзе с Грузией и Албанией. Об эпохе Вардана написан замечательный роман-эпос «Вардананк» армянским писателем и академиком Дереником Демирчаном.

Восставали армяне и против Византии,— с нею отношения охладились после Халкедонского собора (451 год), на который Армения не послала делегата под предлогом войны с Персией.

С VII века начинаются нашествия арабов. Сасанидская Персия завоевана ими, взяты Сирия, Месопотамия; ряд нашествий обрушивается на Армению, у которой нет сил устоять против них. Арабский халифат несет с собой новую религию — ислам. Подчинившаяся халифату Персия принимает его (в своеобразной форме шиитства, отличающейся от правоверного суннитского мусульманства), но Армения стойко борется за свою ре-

лигию, ставшую после отделения от православия не только религиозным, а и национальным признаком самобытности армянского развития. В борьбе с арабами выдвигается армянский полководец Теодорос Рштуни. Восстания против арабов отличались большой мощностью и велись с яростью,— в 703 году на реке Араксе 2 тысячи армян разбили 5 тысяч арабов. Князь Мушег Мамиконян и князь Смбат Багратуни с пятитысячной армией дерзнули выступить на Евфрате против 30 тысяч арабов, дав с отчаянной решимостью всенародную клятву: «Умрем мужественно за страну и народ наш!» В IX веке складывается гениальный народный эпос «Давид Сасунский», тема которого — героическая борьба маленького горного Сасуна против арабов.

Господство арабского халифата длилось 233 года — с 652 по 885 год. К концу IX века начинается возвышение одного из армянских нахарарских родов, Багратуни. Князь Ашот Багратуни получает от халифата в 885 году корону Армении и становится царем. В эпоху Багратидов возвращается государственная самостоятельность армян, но длится она недолго. При Багратидах вырастает значение Ани как столицы Армении. Из маленького поместья на реке Ахурян (неподалеку от нынешней станции Ани) возник великолепный средневековый город, с дворцами и церквами, с кварталами ремесленников, с многочисленными улицами и площадями. При Багратидах устанавливается центральная власть, некоторое время успешно боровшаяся с раздорами и соперничеством отдельных нахарарских родов, стремившихся к независимости. Но из-за предательства князей в 1045 году городом Ани овладевает Византия.

Кто хочет хорошо представить себе эпоху Багратидов, должен прочесть роман Мурацана «Геворк Марзпетуни» — один из лучших наших исторических романов. Есть что-то возвышенно-трогательное в том, как в конце 90-х годов прошлого века создавался этот роман. Труженик автор, весь день поглощенный своей бухгалтерской службой, необходимой ему для куска хлеба, становился с наступлением ночи властелином огромного, им самим созданного мира. В сырой маленькой комнате, при свете огарка он писал, охваченный видениями

прошлого. По страницам летописей, по отдельным словам историков, по картинам развалин, которые летом он обходил пешком, странствуя в горах Армении, по гениальным догадкам, шаг за шагом, глава за главой воскрешал он X век, царствование Ашота II, Железного, образы армянских феодалов, армянских женщин. Мурацан (Григор Тер-Ованнисян) при жизни так и не был оценен как писатель. Он работал с величайшим, вдохновенным бескорыстием — для потомков. И сейчас его книга — лучший памятник воскрешенной им эпохи.

С 1048 года началось нашествие на Армению турок-сельджуков, вызвавшее массовую эмиграцию армян в восточные страны Европы. Оставшиеся тесней сближаются со своими соседями в борьбе против завоевателей. Со второй половины XII века усиливается и расширяет свои пределы соседняя с Арменией Грузия, в состав которой входит на короткое время и Армения, управляемая ставленниками Грузии, князьями Захаридами, армянами по происхождению. Вместе с Грузией вступает Армения в блестящий век царицы Тамары.

С 30-х годов XIII века Армению затопляют монголы. За ними идут туркменские племена. Опять волна армян-переселенцев идет в Крым и на Северный Кавказ, в Европу и Египет. Идет она и в Киликию, где в 1080 году основывается и по 1375 год существует самостоятельное армянское Киликийское царство. Основатель его — армянский князь из рода Багратидов, Рубен, по которому династия властителей Киликии стала называться Рубенидами, или Рубенянами.

Поглядим на карту. Между Черным и Средиземным морями выдвинулась извилистая суша — Малая Азия; на севере вдоль Черноморского побережья встает она Понтийским горным хребтом, а на юге, вдоль средиземноморских берегов, высится зубчатой стеной горного Тавра. Все это извилистое южное побережье Малой Азии, опускающееся к зеленой долине Евфрата и к желтым пескам Аравии, было некогда местом, где происходили большие исторические события. Сюда из Средиземного моря в устье реки Сиднус, как называли ее римляне, величественно вплывал корабль Клеопатры, египетской царицы; сохранившиеся исторические детали

встречи Антония с Клеопатрой в Киликии были не раз впоследствии использованы в мировой поэзии и драматургии. Здесь бились когда-то с персами войска Александра Македонского. Тут, в городе Тарсе, провел свое детство римский гражданин, иудей по происхождению, Савл — будущий апостол Павел. И здесь в средние века проходили на Восток крестоносцы. Словом, это та часть Малой Азии, которая носила название Киликии.

В 1836 году английский путешественник Джон Гарн проехал через Киликию, делая много зарисовок для своего будущего альбома, посвященного Малой Азии. Он увидел страну, почти неприступную по своим диким скалам, обрывающимся в глубокие пропасти; синее море, омывающее отвесные берега у приморского порта Аяс, разрушенные города, руины замков на уступах гор, остатки древнего канала, соединявшего город Тарс с морем, и самый Тарс — старый восточный город, с минаретами и садами, с древними римскими воротами в северо-восточной части и развалинами античного театра над рекой. Джон Гарн застал тогда в городе 200 армянских семейств [183].

Сюда, в эти неприступные горы, бежал багратид Рубен, когда византийцы убили в 1079 году последнего анийского царя Гагика II. Рубен захватил и удержал за собой сперва одну крепость; сын его прибавил другую; потомки его, особенно князь Торос II и царь Левон II, расширили границы своего царства на всю географическую Киликию. И сейчас в оставшихся армянских монастырях, в красивых арках мостов, особенно моста-акведука Бейланского перевала, в развалинах средневековых замков, в пещерных жилищах Селевкии, удивительно схожих с нашим Горисом, сохранились следы армянской архитектуры, армянского Киликийского царства, самостоятельно существовавшего около трех столетий. Валерий Брюсов пишет о нем: «Киликийское царство XIII — XIV веков как один из центров духовной жизни всего человечества. Армения во второй половине средневековья сумела создать на Востоке очаг истинной культуры, выдерживая одна «борьбу со всей Азией» [184].

В городах Киликии, Тарсе, Сисе, в портах Аясе и Мерсине, в Селевкии, в горном гнезде Зейтуне шла типичная жизнь средневековья. Бросали якоря корабли «из Генуи, Венеции, Нима, Монпелье, Севильи, Брюгге, Лондона, Мессины, с Майорки, с Крита, из Турции» [185]. Но, переняв европейские обычаи, одежду и имена, армяне сохранили прежнюю общественную структуру, и, например, под их средневековыми коннетаблями и сенешалями скрывались в сущности национально-армянские наследственные звания «спарапетов» и «азарапетов», переходившие из рода в род. Высокое искусство миниатюры, живопись, поэзия, ремесло процветали в Киликии; множество рукописей, увезенных армянами со своей родины, было спасено от истребления. Искусство музыки ценилось в Киликии так высоко, что «специалист по пению имел звание философа, то есть любомудра» [186]. О киликийском периоде армянской истории есть обстоятельный роман дореволюционного армянского писателя Дзеренца «Торос, сын Леона» [187].

Можно сказать, что в 1375 году, с падением Киликии, прекратилась история Армении как самостоятельного государства, для того чтобы снова начаться уже в XX веке, с 1920 года, как история советской республики Армении.

Мы уже видели, как в древности разрывали Армению на части Парфия и Рим, Персия и Византия. В 1453 году Византия пала, и на ее месте возникло новое государство — Османская Турция [188]. А немного позднее, в 1502 году, произошла перемена в соседней стране, Персии: ардебильский шах Севефи захватил власть в Персии, создав новую династию — Севефидскую. Армянское крестьянство очутилось по обе стороны границы. Когда между двумя государствами, Османской Турцией и Севефидской Персией, враждебными друг другу, вспыхивает в начале семнадцатого столетия война, продолжавшаяся тридцать пять лет, она становится братоубийственной бойней для армян, вынужденных сражаться с обеих сторон и физически истреблять друг друга.

Лишь в первой половине XIX века (с 1828 года), когда часть Армении вошла в состав России, начинается

для армян новая эпоха развития народа. Но только после Великой Октябрьской революции, со дня провозглашения Армении Советской Социалистической Республикой, армянский народ познал свободу и счастье.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ

ГАРНИ И ПЕЩЕРНЫЙ МОНАСТЫРЬ ГЕХАРД

Над ущельем Гарни (древнего Азата) стоит замок, «сильная крепость», по словам Моисея Хоренского. Там десять веков назад, в такую же осень, измученная ревностью, часами глядела на двинскую дорогу царица Саакануйш, тоскующая жена Ашота Железного. Послушаем эпический рассказ Мурацана:

«Грозна и величественна была природа вокруг плоскогорья, увенчанного крепостью. Гигантские скалы, причудливые утесы, страшные пропасти, глубокие ущелья, прекрасные горы с гордыми зубцами вершин — все это простиралось от ближайших окрестностей крепости до самого горизонта. Перед крепостью, стремясь с высоты, мчались вспененные воды потока, впадающего в реку Азат. Прорвавшись сквозь теснину, они соединялись с другой рекой и, лениво змеясь, выбегали на просторную долину Двина, орошая и питая прохладой сады Востана... С севера, кроме полукруглых стен и башен, нависали скалы, которые вдали сливались с горой Гег. С востока и запада крепость была защищена стенами и башнями, сложенными из гладко обтесанных глыб базальта, скрепленных свинцом и железом... На юго-восточном холме, почти у крепостных пределов, как поднебесные великаны, высились мрачные строения царского замка с зубчатыми башнями и великолепный летний дворец Трдата, портики которого поддерживались двадцатью четырьмя высокими ионическими колоннами. Еще целы были статуи и высокие резные своды дворца — произведения римского искусства. Из-под его портиков, как на ладони, виднелись

за́мок с жилыми помещениями и караульными и суровая красота окрестности».

Чтобы так ясно представить себе эти портики дворца Трдата I, построенного в I веке нашей эры, и этот вид сквозь них на все четыре стороны ущелья, Григор Тер-Ованнисян (Мурацан) пешком прошел из Еревана мимо крохотного озерца Тохмакан-лич, мимо покинутых на летнее кочевье селений, мимо высокой деревушки Толк, а оттуда — в большое селение Верхний Гарни. Он лазил по скалам и пещерам, брал в руки серые куски базальта, ища в них секрета их тёски и сшивки, находя следы железных и свинцовых креплений. Он миновал свергающийся вниз водопад, горное гнездо Гохт, вьючную тропу и вступил в узкий, высеченный в скале каменный проход, по которому добрался до знаменитого пещерного, или «вдовьего», монастыря «Айриванка», иначе «Гехарда» («Монастыря святого копья»). Так армянский классик Мурацан воскресил по обломкам далекое прошлое.

Мы пройдем с читателем по тем же обломкам, которые остались и от храма и от крепости, но к Верхнему Гарни мы приблизимся не со стороны Еревана, а оттуда, куда без конца глядели воспаленные от слез и бессонницы глаза ревнивой царицы Сааканушш,— со стороны древней двинской дороги.

Поднимаемся, поднимаемся,— и вот мы на залитой солнцем площади. Солнце придает всему ущелью вокруг слоистую, трехмерную выпуклость; оно вызывает целый букет оттенков у одной-единственной краски, которую мы зовем одним-единственным словом — «тень»: краски, производной от силуэта той вещи, на которую под разными углами упало солнце. Складки ущелья, где растет лес, полны синей, сине-черной, бархатной тени; глубины ущелья, где клубится река, полны тени дымчатой, редеющей; сизая острая тень легла от скал на песок; серая тень, разорванная, как кружево, качается от дерева. И прямо перед глазами лежат тени от развалин, словно нарисованные коричневым, переходящим в золото, карандашом. Хочется рассказать об игре этой единственной «бесцветной» краски потому, что она создает для вас очень яркое чувство глубины.

Мир, куда вы попали, очень глубок; он глубок и во времени и в пространстве, он схватывается глазами и чувством не на плоскости, а многослойно, как если бы вы глядели на него в стереоскоп.

На земле, усаженной абрикосами, среди современных следов чьего-то заботливого хозяйничания — вспаханной грядки, забытого ведерка, воткнутой в землю лопаты — встают перед вами развалины — чисто выраженный коринфский стиль в его кульминации, но с примесью восточных мотивов. Сохранился фундамент небольшого центрального зала, к нему ведут ступени. Справа и слева от входа — широкие плиты. На них высечены фигуры атлетов, толстые и округлые, но исполненные резкой и грубой силы. Вокруг стоит и лежит множество плит, орнаментов, колонн, частей фронтона и капителей. Отломанный угол фронтона с двойным рядом капилляров и богатейшей растительной отделкой сохранился целиком.

Гехард — монастырь, высеченный в скале. Главное здание построено в XIII веке; пещерный, внутренний монастырь, весь из монолита,— немногим раньше. Чтобы сейчас добраться до входа в него, нужно лезть по камням. В монастыре три этажа необыкновенной красоты, свет падает через круглое отверстие в куполе.

ПАМЯТНИКИ АШТАРАКСКОГО И ЭЧМИАДЗИНСКОГО РАЙОНОВ

От Еревана Аштарак отстоит в 18 километрах по прямой к северо-западу. Он лежит на реке Касах, у южного склона Арагаца, а эти склоны были густо заселены с древнейших времен, и не только заселены,— здесь шла большая, культурная жизнь. В VIII веке до нашей эры калдоурартские цари покорили жившие тут племена и оставили об этом так называемые «ванские надписи» — клинописи на камнях здешних селений. Какие названия встречаются на карте! К юго-западу от Аштарака село Шамирам, Семирамида,— по имени древней вавилонской царицы; выше над ним — Арудж, или Талиш, где сохранилась урартская надпись; еще

выше Кош, или Кох. Сама этимология имен говорит о древности, о живучести названий, державшихся за эти места около трех тысячелетий. От Аштарака до Шамирам вся местность полна следов родового строя Армении. От Шамирам до Коша, пишут археологи, «мензирами, кромлехами и долменами усеяно все поле»[187]. Интересно было бы взять в руки карту и пешком идти от деревни к деревне, погружаясь в этот мир отдаленнейшей, первобытной старины. Ведь в самом деле и по шоссе от Аштарака на Апаран и вокруг этого шоссе нет, кажется, деревни, где не нашлось бы, на что поглядеть. Кромлехи и долмены есть в деревнях Восневаз, Ошакан, Дягир, Кош, Талиш; клинописи — в Талише; остатки старых погребений, постоялых дворов, крепостных стен — в Парби, Оргове, Мугни, Ошакане, Егварде, Амберде; пещеры — в Карби, Вараджаларе, Оганаванке, Сагмосаванке, Терси... В селе Ахце мы спускаемся в склеп IV века, крыша которого на уровне земли. В нем надгробные плиты, на стенах барельеф: птицы, клюющие виноград; человек с распростертыми руками, на которого набросились львы. Странные, сильные очертания стремятся передать вам о каких-то душевных символах, о жизни, прожитой в борьбе с большими страстями. По свидетельству историков, здесь похоронены кости армянских аршакидских царей, вырытые персами из родовых могил и отбитые армянами. В селе Уджан входим в пещеру с еще более древними барельефами; в селе Парби смотрим одну из старейших христианских базилик. Это IV—V века, прямоугольные, простые строения, темные, вытянутые в длину; их можно увидеть во многих местах Армении; есть одна и наверху, в Апаране; иной раз на их крыше — нехитрое подобие колокольни, поставленное в более позднее время. Из Парби родом историк V века Лазарь Парбский. Множество крепостей и дворцов, древних и средневековых,— только имей терпение карабкаться по скользким, обтянутым мхом камням, вспугивая свернувшихся ужей. Древние бойницы, подземные ходы — для людей и для родника, протоптанные в скале дорожки,— сколько поколений оставило тут отпечатки

своих ног! И огромное число старых церквей и храмиков, жемчужинок армянской архитектуры.

Вот одно из самых современных сел, нарядное, с богатейшим колхозом,— село Егвард, на всю республику славное своей пшеницей. Стоит оно под высокой горой, когда-то названной персами «Разорванное чрево»,— потому, вероятно, что с древнейших времен эта гора была изрезана каналами, и в остатке кратера с прорванным краем устроено искусственное водохранилище. Возле нее, рядом с современными светлыми колхозными домами, можно увидеть три эпохи армянской архитектуры: остатки первобытного поселения, древнего кладбища; суровая линия базилики VI века Катугике («Кафедральной»), на восьми колоннах из обтесанных плит, полуразрушенная, как разрушена и соседка ее, церквушка того же века. В трех километрах от села — их современник, храм Заравор («Могущественный»), с орнаментом на карнизе, с виноградными гроздьями и плодами граната, высеченными вокруг окна, с обвалившимся куполом. Если б могли эти трое перекинуться словом-другим, они прошамкали бы зияющими ртами своих развалин о суровом блеске своего времени, о строительстве VI—VII веков, назвав самозванкой, легкомысленной вертушкой, модницей стоящую среди них изящную церковь Астватцацин («Богородицы»), лучшую из армянских церквей начала XIV века.

Есть еще один памятник в Аштаракском районе, о котором хочется поговорить особо. На южном склоне Арагаца сохранилась крепость, так и называющаяся армянским словом «крепость» — Амберд. На треугольном мыску, над речками Амберд и Архашен, стоит она свидетелем эпохи Багратидов, с башнями замка в северо-западном углу, с тайным подземным ходом в юго-западном. Однако не об этой крепости идет речь. Выше над нею и над левым берегом реки Архашен есть камни с высеченными на них рукою древнейшего человека грубыми фигурами рыб. Это так называемые «вишапы». Откуда они дошли до нас? О каких странных мифах и представлениях говорят они нашему времени языком своих древних дней? Тайна окутывает эти вишапы, веющие странной силой и чем-то первично-наглядным, как

первая буква, вышедшая из-под пальцев ребенка, первое «А», которое он рисует домиком с перекладиной. Что же рисует очертание вишапа? Вместо чего тут рыба? Какое понятие живет в ней неотделимо от образа?

Первые христиане в катакомбах Рима чертили рыб на стене, но вишапы древнее христианских символов, древнее нашей эры. Археологи думают, что вишап дошел к нам от времени, когда существовал культ воды. Древнейший из культов, он был естественным для Армении, где во все века ее жизни и в наши дни условием всего, что можно получить из почвы, является искусно найденная, проведенная, собранная, запруженная вода.

Но память подсказывает вам другой, более сложный образ — образ великого философа из Милета, одного из «семи мудрецов» античного мира, Фалеса [190], в VII веке до нашей эры, примерно в эпоху создания вишапов, сказавшего о воде, что она — первооснова всего живого. Невольно кажется, что философский тезис Фалеса «вода — первоисток бытия» лег в основу культа воды, забредя в Армению из Малой Азии, от которой сюда рукой подать.

В Эчмиадзинском районе надо посетить Звартноц [191], побывать у истоков армянской архитектуры. В куще дерев — вход на территорию «Храма бдящих сил». О построении его рассказывают историки: Себеос в VII веке, Асохик в X—XI веках, Самвел Анеци в XII веке. Цитаты из них можно прочесть в музее. Под ярким, прямым солнцем, охлажденным осенним ветром, в рыжей земле, побуревшей траве, неподвижно четкие лежат древние плиты круглого храма с его ясным и видным глазу фундаментом. Светский орнамент, впервые появившийся на церковном сооружении именно в Звартноце,— листья винограда. За фундаментом храма — раскопанная баня, сбоку длинные ряды дворцовых палат, покои католикоса, зал заседаний, трапезная, пристроенный уголок, где расположился музей, в котором собрано все, что раскопано в Звартноце. Вы останавливаетесь против большого барельефа, изображающего

бородатого серьезного человека с тяпкой и лопатой в руках — инструментами виноградарства. Это Ованнес, главный мастер-строитель храма, о котором чудесно рассказал в поэме советский армянский лирик Гехам Сарян [192].

Старый хранитель музея Асатур Ованнесян служит здесь уже двадцать пять лет. Он когда-то работал с Н. Я. Марром, стал знающим человеком, усвоил термины археологии, и в Армении полушутя, полусерьезно старика зовут «профессором». Внизу, под землей, сохранились развалины древнейшей часовенки. Старухи армянки, еще соблюдающие обряды религии, упрямо налепляют там свечки и вешают платочки. Когда мы наклонились посмотреть часовню, одна такая свечка мерцала внизу. Старик сторож вдруг юношеским движением соскочил вниз, потушил о камень свечу и, подняв к нам старое смеющееся лицо, почти цитатно сказал по-армянски: «Когда солнца нет — пальто надо, когда солнце есть — пальто не надо!» Солнцем взошла над Арменией новая советская действительность.

ПО БЕРЕГАМ СЕВАНА

Попробуем забыть о красотах, окружающих нас на высокогорном озере Севан, и вместе с каким-нибудь археологом совершим прогулку по берегу,— «слепую прогулку», как назвал бы ее обыкновенный турист, потому что не придется глядеть на красоту озера и гор, меняющуюся с каждой извилистой частью шоссе, а только на «предметы археологии» Вышли мы из машины в селении Севан (бывшая Еленовка), где шоссе разветвляется налево (на север) и направо (на юго-восток). Мы отправляемся направо, к городу Нор-Баязету.

«Около берега, на протяжении большем одной версты, тянется ряд каменистых, из лавы, возвышений. Эти-то возвышения служили приютом человеку. Высоты, наиболее значительные, играли роль главных укреплений; самые высокие части их обложены глыбами лавы в виде стен; иногда стены из лавы окаймляют возвы-

шения в два ряда; правильно выложенные стены тянутся от одних холмов к другим на протяжении нескольких саженей... Бóльшая часть стен (до нескольких квадратных верст) уже сильно разрушена. Между стенами в открытых пространствах было жилье; от него остались груды камней в виде четырехугольников и ямы. В верхних слоях почвы, состоящей из чернозема и золы, находятся кости различных животных — лошади, коровы, овцы, а также благородного оленя»[193]. Делая в этих местах раскопки осенью 1879 года, археолог нашел в них три сасанидские монеты, чеканенные при Сапуре I, в 238—269 годах нашей эры.

Дальше, возле деревни Ордаклу,— большая доисторическая пещера; на крутом берегу — развалины крепости; в селении Айриванк — древнейший монастырь, давший свое имя селению, а разбойникам, хозяйничавшим тут в прошлом веке,— своеобразную «резиденцию», где они укрывали коней, награбленное и укрывались сами. Здесь узкую береговую полосу стеной закрывает с запада высокая гора Уч-Тапалар[194], к югу от деревни Ачкала встают три громадные усеченные вершины, на одной из которых — часовня, куда за исцелением болезней когда-то двигались с разных концов Армении паломники. В озеро врезается мыс Норадуз, а навстречу ему, с той стороны Севана, острым концом возвышается мыс Ада-Тапа. Эти два мыса, охватывающие озеро, как две застежки пояса, представляют собою два конца седловины, залитой водою. Не доходя до мыса Норадуз, в нескольких километрах на юг,— один из самых замечательных феноменов природы: «Песчаная гора... над уровнем озера в 300—400 футов. Потоки воды промыли себе скаты... Подмытые водой слои приняли форму фантастических строений, фронтонов, беседок; иногда размытые слоистые отложения имеют форму мечетей и башен, которые разрисованы поперек красивыми слоями песчано-глинистых отложений»[195]. Это приют доисторического человека. Если подплыть сюда на лодке и проникнуть внутрь, найдешь много пещер с нишами, камни, заменявшие жернова; был здесь найден в прошлом веке и обломок железа, по-

видимому от котла. До деревни Шоржа (над мысом Ада-Тапа) с востока еще есть дорога, минующая прибрежные деревни на южном берегу, с заездом в районный центр Басаргечар, родину президента Академии наук Армянской ССР В. А. Амбарцумяна; дальше — заболоченное маленькое озеро Гилли; но, уже начиная с деревни Шоржа и до крайней северной точки озера Цовагюх, вообще по берегу почти нельзя пробраться: он обрывист и прорезан узкими, острыми ущельями, уходящими вниз, как трещины в стенах старой каменной крепости. Таково это озеро для путешественника-археолога, со всем богатством памяток, оставленных человеком на протяжении его бытия, с доисторических дней и доныне. Нельзя даже сказать, что озеро с его неприступным восточным берегом исследовано хотя бы наполовину. Здесь возможно еще много находок. В 1934 году Эрмитаж совместно с Институтом истории и материальной культуры Армении вел работу на берегу Севана, возле Колагерана, где стоит древняя урартская крепость с надписью на скале, произвел съемку и основательные раскопки, давшие много предметов урартского времени [196].

АНИ

Ани оставляет единственное в своем роде впечатление, и его хорошо бы сравнить с посещением другого откопанного города — античной Помпеи. Там подчищенный и даже как бы вылизанный археологами и туристами город-музей с мертвыми колоннами у входа в мертвые стены, с сохранившейся на стенах глазурью черно-красных фресок в виде летящих женщин в развевающихся вуалях, с ровными рядами фундаментов и мелкой россыпью квадратных камешков стенной мозаики в уголке, словно нарочно заготовленной для того, чтобы турист забрал себе несколько кусочков на память; с застывшими окаменелостями — человеческими фигурами, собаками, залитыми лавой и ставшими лавой,— под витринами. В Помпее все стало экспонатами. Искать там социальные контрасты просто не прихо-

дит в голову,— кажется, будто жизнь каждого помпейца — это квадратная вилла с вазой в саду, с чудесными фресками на стенах,— так строилось музейное дело на Западе! Но город Ани в том виде, в каком он показывался туристу после революции,— это разрез конкретно исторической жизни средних веков со всеми ее классовыми и социальными противоречиями. «Маленький Ани, последнее убежище армянской государственной мысли в коренной Армении, стоит перед нами, как живой, с вещественными документами его былой жизни»,— говорит Марр. Весь он — на высокой треугольной площадке, между слиянием рек Ахурян и Аладжи (или Алаза). Высокие речные ущелья защищают его с юго-запада, а на юго-востоке и северо-западе стоит стена массивной кладки из тесаных камней, построенная в 964 году. Здесь, в этом треугольнике,— наиболее древняя часть Ани, исконный армянский стиль, еще не измененный влиянием многочисленных завоевателей. Сохранились развалины здания, по-видимому судилища,— обнажена внутренность его зала в низких и толстых колоннах, поддерживающих арки полукруглых сводов на мощных плитах-подушках. Царь Смбат, сын и преемник Ашота, построил позднее вторую стену вокруг новой части города; круглые башни этой Смбатовой стены и встретили нас ночью, когда мы поднимались к Ани. Самые старые из сохранившихся памятников, кроме стены Ашота и судилища,— это знаменитый крест-камень (хачкар) 952 года и несколько церквей, из которых наиболее известен Собор богоматери. Он типичен по своей кладке, описанной профессором Стржиговским: залит внутри стен цементом со щебнем, а снаружи облицован прекрасными тесаными плитами; прямоугольное здание, в венке ажурных наружных полуколонн и фальшивых арок, с узкими щелями окон, отделанных рамками тончайшего орнамента, и до сих пор остается образцом замечательного зодчества для армянских архитекторов. Потом Ани последовательно переходит из рук в руки: византийских правителей, мусульманской династии Шеддадидов, грузинских царей, ставленников Грузии, армянских князей Захаридов, и позднее — монгольских завоевателей.

Каждый новый хозяин накладывает на Ани свою печать. Рядом с христианскими церквами появляются мечети и минареты, мавританские мотивы вторгаются в орнамент грузинской фрески, и надписи входят в церкви, сама орнаментация делается все сложнее, богаче и многостильней, вбирая в себя новые элементы. А город растет и растет, улицы мостятся, проводится издалека водопровод, о присутствии которого говорят многочисленные ниши-раковинки на улицах и перекрестках; семь прекрасных каменных мостов перекидываются через реку Ахурян. Вырастает ремесленная и торговая часть, кварталы ремесленников, кузнечные, кожевенные, плотничьи, седельные, оружейные и котельные ряды. Вместе с торговым ростом Ани растет его богатство, резче становятся социальные противоречия, дороже каждый клочок земли на маленькой площади Ани. Историки-летописцы анийского периода сохранили для нас сведения о паразитической роскоши «верхушки» анийского населения, о жизни которой они говорят, как библейские пророки о Содоме и Гоморре. Богатые анийцы и особенно анийки были так изнежены и ленивы, что каждая мелочь подавалась им рабами и служанками; они не слезали с носилок и колесниц даже для того, чтобы войти в церковь, а приказывали выносить к ним евангелие из церкви. Город Ани гремел своей музыкой, театральными зрелищами, непрерывными пиршествами; он славился красотой своих женщин. Когда аскеты-монахи приходили в Ани, чтоб образумить «детей гибели», анийцы вытворяли над ними почти «эллинские» (по остроумию) шутки. У них имелось два аналоя — высокий и низкий. Когда появлялся высокий монах-обличитель, ему тотчас ставили низкий аналой, на котором ему трудно было прочесть письмена евангелия; когда монах-обличитель был низенький, ему ставили высокий аналой, до которого он не мог дотянуться, чтобы заглянуть в евангелие. Покуда шутил, пировал, пил и пел паразитический Ани, другая часть населения надрывалась в непрерывном труде. Окраина города Ани напоминает опустелую окраину Гориса в Зангезуре. Городская беднота, люди простые и незнат-

ные жили, за неимением «жилплощади», в земляных норах, в выемках и пещерах, сохранившихся и до сих пор. Жалкие остатки их быта наряду с дворцовым великолепием главных кварталов говорят лучше всякой летописи о социальном облике средневекового Ани. В 1319 году, по словам летописцев, Ани пострадал от сильного землетрясения. Анийцы, оставшиеся в живых от нашествия монгольских полчищ и после катастрофы, разбрелись во все страны мира, и потомки их оказались впоследствии у нас в Крыму, в Нахичевани на Дону, в Григориополе, а за рубежом — в Польше, Румынии и других странах.

ОТ МУРМАНСКА ДО КЕРЧИ

МУРМАНСК

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Поезд приходит в Мурманск к вечеру. Но уже с самой зари, от станции «Полярный круг», вы не отходите от окна, вживаясь в своеобразие Кольского полуострова. Тундра: невысокий кустарник, редкая ель, уходящие за горизонт голые горы; вода во всех видах — болота между кочек и камней, шум горной порожистой реки, подернутые ледяным салом остановившиеся озера, серо-стальной цвет снега и неба; серое, некрашеное дерево станционных построек и сами эти станции, так похожие одна на другую, с такими диковинными названиями: «Пояконда», «Африканда». Африканда в Заполярье!

Кажется, так однообразен этот мир, где в конце апреля еще нет весны. А между тем с каждой остановкой, с каждым часом пути вы словно вчитываетесь в великую книгу бытия, где человек — советский человек, хозяин природы — должен был начать все создавать сначала: покров земли, ее флору, фауну.

Земля тут черная, и в первую минуту кажется плодородной. Но вот подмечаете вы ее странную мертвенную рассыпчатость, как бы перистость — она бесструктурна. Чтобы эта земля могла рожать, нужно потрудиться над ней, помочь ей накопить перегной, засевать ее травами, выкорчевывать ее камни, отводить от нее болота.

И на станции Хибины мы видим расчищенные от снега, крытые стеклом парнички, здание оранжереи, хозяйственные постройки — это ПОВИР — Полярный отдел Всесоюзного института растениеводства, главный форпост борьбы за землю на Кольском полуострове. Пожалуй, нигде так ярко не проступают интереснейшие связи в природе, взаимодействия растений с почвой, насекомого с растением, как именно здесь, за Полярным кругом, в многолетней работе этого института.

Травосеяние тут до зарезу необходимо не только потому, что нужен корм для скота, а и потому, что нужно оживить, организовать почву, сделать ее структурной.

Пчеловодство необходимо не из-за одного меда — заводить пчел рекомендуется, даже если придется вначале их самих прикармливать привозным медом, даже себе в убыток, потому что нужны пчелы не только для меда, но и для опыления, для поднятия урожайности огородных растений. И в ПОВИР, где появились первые пробные улья, уже резко повысилась урожайность огурцов.

За Полярным кругом до революции и не помышляли о животноводстве. Только оленьи стада ходили здесь, пощипывая скудный болотный мох. А нынче возле станции Апатиты широко раскинулись животноводческие фермы знаменитого совхоза «Индустрия». История о том, как обживались в Заполярье привезенные сюда коровы,— любопытна. Сперва они крепко держались старых условных рефлексов и знать не желали новых условий. Они неимоверно страдали от сплошной темноты долгой полярной ночи, от сплошного света долгого полярного дня.

Газета «Полярная правда» интересно рассказывает, как коровы скучали и переставали есть зимой, как, не выходя из коровника, ухитрялись заблудиться,— не в пространстве, а во времени — и как «скотникам приходилось помогать им выбираться из этого астрономического лабиринта, затемняя коровник во время полярного дня и освещая его ярким электричеством во время полярной ночи». А сейчас из завезенных сюда холмогорок, ярославок и других пород путем многолетнего уме-

лого подбора и скрещивания выводится новая заполярная порода — хибиногорская, статная, выхоленная, с хорошей удойностью.

Есть по пути в Мурманск маленькая остановка «Пулозеро». Там на шоссе возле нарядного автомобиля можно увидеть и оленью упряжку. Отсюда в нескольких десятках километров начинаются богатые колхозы оленеводов, цветущие деревни маленького северного народа саами (лопарей), вымиравшего до революции. Дальше, в глубину полуострова, добираешься только на оленях, да и то не во всякое время года...

И всюду: в молодом красавце городе Мончегорске с его промышленностью, в Кировске с его несметными рудными богатствами, в богатейших и крепнущих оленеводческих и рыболовецких колхозах — чувствуешь заботу о создании культурного покрова земли, о распространении акклиматизированных растений и животных. На Севере особенно ярко сказывается роль большевика-творца, превратившего глухую тундру в одну из крупнейших промышленных областей нашего Союза.

Приехав в Мурманск, в первую минуту даже огорчаешься из-за малой внешней нарядности города. Если не считать широкого и прекрасного проспекта Сталина, знакомого по фотографиям в наших журналах, здесь еще только рождаются очертания города, прокладывается его первый чертеж сквозь деревенскую кривизну и холмистость, сборища деревянных домиков по склонам, ни с чем не сравнимую мурманскую грязь.

Но людям удобно жить в этом молодом, рождающемся городе, потому что главные коммунальные нужды в основном удовлетворены. Раны, нанесенные врагами (76 процентов города было во время войны разрушено бомбами!), начали здесь залечивать в первую голову с важнейшего: починен водопровод, действует канализация, вновь уложено все кабельное хозяйство, четко работают телефон и радио, город залит светом, и энергия в избытке; тепло дает своя ТЭЦ.

Лучшие здания в Мурманске — жилые дома, большие, прекрасные каменные дворцы. Невольно спрашиваешь: «А что это? Театр? Исполком? Обком?», — и по-

лучаешь в ответ: «Жилые дома, квартиры наших рабочих, моряков, служащих».

Самое драгоценное и нужное здесь, на Севере,— человек; и забота о том, чтобы привлечь сюда человека, чтобы было ему где, и не просто где, а хорошо и удобно жить, чувствуется тотчас же. Ведь вся огромная область, весь замечательный Кольский полуостров, головой бегемота протянувшийся между Баренцовым и Белым морями, строится и осваивается трудами этого приезжего, нового человека.

Кроме небольшой группы местных поморов, живущих по южному берегу полуострова, да упомянутых выше саами, здесь нет коренных жителей, аборигенов. Если кто-нибудь из здешних работников может похвастаться, что прожил тут четверть века,— это уже почетный ветеран Мурманска; проработавшие 5—6 лет считаются старожилами края. Но нередко вы услышите от горячего местного патриота, успевшего изучить мурманские проблемы назубок, неожиданный ответ, что он приехал сюда лишь полгода назад.

Местные жители — вологодцы, кировские, архангельские, ленинградские — уже как-то утряслись и обжились, типизировали черты северного русского человека, даже говорок свой создали.

У мурманчан страстная любовь к своей родной области, гордость ею, острое чувство ее непрерывного движения в будущее, как если б все они жили не на мурманской земле, а на корабле, с его могучей тягой вперед. И потому так безбоязненно, словно на море, обсуждаются здесь свои неполадки и промахи, так откровенно-практически принимается критика, словно это и не критика вовсе, а добрый совет.

Строительство здешнее молодо: с двадцатых годов нашего века. А земля здешняя стара, и она искони русская. Еще в XIII веке здесь промышляли рыбу русские люди. Старинный город Кола, неподалеку от Мурманска, упоминается в Новгородской летописи под 1264 годом.

Жаль, что мало еще известно об этой замечательной советской области на нашем крайнем северо-западе: о том, как русский народ отстаивал ее столетия назад от

иноземных нашествий; о том, как именно русский ученый Н. М. Книпович прочитал секреты теплых течений Ледовитого океана и продвижение промысловой рыбы; о том, как после Октябрьской революции Кольский полуостров волею советского народа впервые начал осваиваться, полностью раскрыл свои огромные богатства, застроился, покрылся дорогами и городами; о том, какую роль в Отечественной войне сыграл незамерзающий Мурманский порт, сколько героев дали мурманчане родине, как бурно растет Мурманск после войны...

Сколько в Мурманске тем для историка, для поэта, для художника! Кто раз побывал здесь, тому невозможно забыть очарование этого необычайного места, его странную цветную гамму бело-черно-голубой туши, когда снег еще не сошел с волнистых гор, в белизне его — темные пятна проталин, голубая лента залива, голубым проступает невысокое из-под тучек небо. А за этими скудными красками так и чувствуешь источник близкого, яркого света, источник рвущихся в небо ярчайших тонов, спектра, ту лихорадку магнитной близости полюса, которую люди испытывают здесь, в повышенном ощущении жизни, в размахе творческой энергии, в неутомимой, кипучей деятельности.

ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ

Сказавши «ловля рыбы», мы обычно представляем себе приятное летнее занятие, связанное с той первой частью гениальной мичуринской формулы, где упоминаются два слова: «милость природы». Сама природа, светлый фон ее: тихая заводь, речка, вскипающая у порога, камешек на соленом морском берегу, где сидишь с удочкой, раздолье воды за бортом рыбачьей лодки, обилие неба, воздуха и времени,— все это кажется неотъемлемым от такой рыбной ловли.

Но в Мурманске это «курортное» представление тотчас же умирает. В Мурманске понятия «промысел», «промышлять», относящиеся к рыбе, теснейшим образом связаны с промышленностью, с производством. Мурманская рыба составляет значительную часть об-

щей добычи рыбы в нашем Союзе. Основная ее масса — треска, пикша, окунь — донная, то есть ходит в открытом море по дну косяками на глубине подчас 300—350 метров. Попробуй взять ее обычным неводом! А природа здесь — Заполярье, а море здесь — Баренцово. Оно всегда беспокойно, а в бурю ветер доходит на нем до 12 баллов: ведь близко полюс, а поблизости от полюса все стремительно. И не быть бы в Ледовитом океане рыбе, если б не теплое течение, превращающее, вопреки широтам и долготам, Арктику в Атлантику.

В этом суровом и прекрасном мире царствует вторая часть мичуринской формулы: не ждать, а взять надо у природы ее богатство, нужное людям. И люди берут его, берут активно, а не пассивно.

Тут прежде всего не ловят, а «тралят» рыбу — слово, прижившееся в русском языке со времен Петра Первого. Искусство траления связано с научными прогнозами, со специальной разведкой. Оно производится особым орудием лова, тралом — мешком из каната, на стальном тросе, снабженным целым рядом сложных приспособлений, чтоб вести его по дну, не давая ему рваться о коралловый грунт, чтоб держать его на дне раскрытым для рыбы, чтоб сообщить его отдельным частям пловучесть. Такое орудие лова — почти механизм, а управление им — сложное мастерство. Надо уметь спустить трал без перекосов, надо все время, тонко зная и выполняя технические процедуры траления, держать в уме его живую цель: поймать рыбу, удержаться на рыбе, то есть не сойти с рыбьего косяка. Для этого нужны огромная выдержка, терпение, опыт, характер.

Добыча рыбы в Мурманске (и частично ее обработка) ведется на особых кораблях, называемых траулерами и составляющих свой, траловый флот. На каждом траулере в команде десятки людей, и вы здесь никогда не услышите, чтоб эту команду называли рыбаками. Они моряки, носящие на суше свою морскую форму; если на океане они этой формы не носят, то потому, что на траулере они не только моряки (управляют и ведут корабль в трудных условиях), но и добытчики и завод-

ские рабочие, по 18—20 дней кряду ведущие напряженную работу, одну из самых тяжелых работ вообще. Ее трудно себе представить, не повидав.

На два-три дня заходит траулер в свой порт, береговая команда разгрузит и снарядит его в новый рейс, заправит солью (соли нужно до 20 процентов от веса всей предполагаемой к засолке рыбы),— и траулер опять ушел на работу. Длинной лентой Кольского залива выходит он в океан, к «банкам», о которых получен научный прогноз и сигналы судна-разведчика, что рыба там есть. Сложные аппараты на траулере помогают поискам, дают знать о глубинной линии, по которой нужно вести трал. Секундами считает хорошая команда время и при спуске и при подъеме трала.

Но вот тонны свежей рыбы вывалены на палубу, и морская команда превращается в рабочих. Она тут же на траулере, в открытом море, как медведя на охоте, «свежует» рыбу, поднимает на длинные столы, отмахивает головы, вспарывает, потрошит, солит — и в трюм; собирает, сушит, перемалывает «мелочь» — все, что отброшено,— и затягивает в мешки рыбью муку — прекрасный корм для скота, для птицы, удобрение для земли; быстро запаивает банки с жирной консервируемой тресковой печенью; сливает в сосуды первую, еще не очищенную отжимку — рыбий жир,— и уже готовыми фабрикатами, полуфабрикатами, замороженной идет эта рыба в порт.

Не меньше семи-восьми раз в сутки спускают и поднимают трал; в морской глубине в зависимости от качества грунта он выдерживается от двух часов (если хорош грунт и не рвет трала) до 40 минут (если плох). И пока выдерживается, нужно успеть справиться наверху, на корабле, с десятками центнеров добытой рыбы, чтоб новая добыча не нашла на старую, чтоб не образовалось завала.

Вокруг опускаются и поднимаются то бока, то нос шумно дышащего, терпеливого корабля, похожего на кита, соленые волны окатывают палубу; они могут смыть мелочь, ценную печень. А в полярную ночь прибавляется черная, прочная темнота, для которой неделями нет рассвета. Ведь и в полярную ночь не прекра-

щается мурманская добыча рыбы. И работа кипит на траулере в темноте и в качке.

Кто же эти моряки-рыбаки, эти герои тяжелого, напряженного, смелого и рискованного труда?

Проходим в порт через большие ворота рыбокомбината. По асфальтовой дорожке, идущей внутренним двором, между заводами — засолочным, рыбьего жира, консервным и другими,— то и дело провозят мимо нас молчаливые люди в серых халатах тачки с блестящей, влажной, уже разделанной рыбой. Больше всего серостальной трески с белой полоской, идущей вдоль ее туловища от хвоста до головы, и такой же пикши с полоской черного цвета. Есть и розово-алый окунь, нежный, с выпученными глазами; пласты хищной зубатки с пятнистой, как у змеи, чешуей; нежное, белое мясо палтуса. Это прилов к основному, треске и пикше, сезон которых в полном разгаре.

Тачки на мгновенье останавливаются на весах, покуда женщина в очках быстро запишет их вес, и развозятся по заводам.

Ветром пахнуло в лицо: мы вышли к причалам. В разное время дня и ночи, во все времена года подходят с моря могучие мурманские траулеры. Их силуэт необычен. Широкая корма, округлая линия носа, похожая на вздутую голову кита, белая рубка с трубою — почти живое впечатление обитателя моря; и название траулера большею частью рыбье: «Семга», «Лещ», «Треска», «Ерш», «Скумбрия»... Одни пришли, привезя в трюмах большой улов, побывав в горячих схватках с морскими стихиями, еще запыхавшиеся от борьбы, от работы, с мокрыми, обмытыми палубами, и словно замерли у причала, раскрыв, как жабры, свои трюмы.

По канатной воздушной дороге плывут кверху из этих трюмов круглые, большие «сампы» — деревянные бадьи, наполненные рыбой; покуда полная сампа взлетает наверх, к элеватору, следующую уже наполняют внизу, в трюме. Другие грузятся для нового рейса. Идешь по узкой длинной «улице» порта, между причалами, под навесами элеваторов, с которых капает на тебя пахнущая свежей рыбой вода, мимо одного, дру-

гого траулера, наблюдая живые сцены, выгрузки и погрузки, видя так близко, вплотную к себе, широкие кормы этих необычайных кораблей,— и начинаешь понимать людей, любящих свой тяжелый труд, связанных крепкой, душевной связью со своим флотом, с его напряженной, не замирающей, могучей трудовой жизнью.

У причала стоит траулер «Макрель»; на пристань неторопливо сходит стройный рыжеватый моряк, в полной форме, чисто выбритый — помощник капитана по политической части тов. Кравченко — «помполит», как здесь говорят. Сутки назад он вместе с другими моряками стоял по колено в рыбе, резал и чистил ее, а рыбьи чешуйки облипали его одежду. Но сейчас на «Макрели» и рыбьего запаха нет: все вычищено. В этой пловучей фабрике душевые и ванна, как на хорошей городской квартире. Подъезжая из двухнедельного, трехнедельного рейса к порту, моряки избавляются от рыбьего духа, надевают чистую форменную одежду, бреются.

В своей каютке у зеркала прихорашивается юнга — красавица девушка, румяная, как ягода малина, в кудряшках, завившихся от влаги и ветра, с пухлыми, красными от мытья палубы руками,— это она отмыла траулер от рыбьей крови и слизи. Наде Пятошихиной еще нет и двадцати лет, она из Кировской области. Отец погиб в Отечественной войне, у матери полон дом ребятишек, а тут дядя, сам моряк, сманил девушку во флот: поплавай на траулере, матери поможешь и сама человеком станешь. И Надя на вопрос, как в океане, от качки не страдает ли, легко поводит плечом и весело показывает зубы и ямочки на щеках: «А что ж качка? В качку, как обыкновенно». Ну, а в сильную, в ураган? А в сильную капитан и штурманы на рубке, а они, матросы, фильм смотрят, собеседование ведут, книги читают...

И мы находим в библиотеке траулера зачитанные, затрепанные томики (она передвижная; их много, таких библиотек, обходящих корабли),— в отважный труд на Ледовитом океане, берущий по двадцати часов в сутки, ворвалась молодая советская книга. И она как-то устроилась во времени, вошла в уплотненный график,

и словно раздвинулся график, прибавилось времени, потому что от книги, от чтения, оттого, что открыла книга молодому своему читателю, моряку, новый, необъятный мир захватывающего интереса, открыла ему наслаждение чтением, работать стало легче, работа идет осознаннее, быстрее.

Мурманский траловый флот славится замечательными людьми. Капитана Буркова знает весь Союз. Старый морской волк капитан Михов по своему возрасту, как тут говорят, уже «выплавался», и сейчас он один из знаменитых инженеров по орудиям лова. Десятками можно назвать прекрасных капитанов и стахановцев-моряков, во много раз перевыполняющих план добычи и обработки рыбы.

Эти лучшие из лучших рука об руку работают с учеными, с Полярным институтом морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). Моряк и научный работник, как стахановец и академик на заводе, сообща получают в Мурманске Сталинские премии (биолог-мурманчанин Ю. Ю. Марти и капитан тралового флота Г. П. Корольков). Романы можно писать об этой совместной работе. Кто из москвичей не охотится в гастрономах за знаменитой селедкой «полярный залом»? А ведь прежде чем она попала на наш, советский стол, за ней пришлось поохотиться не в гастрономах, а в необъятном Ледовитом океане.

Мурманская сельдь не донная рыба, ее ловят не с траулера, а с судов меньшего размера. Но эта мурманская сельдь уходит неизвестно куда нагуливать себе мясо и жир. Чтоб открыть тайные «курорты» сельдей, ученые в ПИНРО долго изучали и теплые течения, и рельефы грунтов, и скопления питательных веществ,— словом, все те факторы, что влияют на передвижение рыб. Они метили живую мурманскую селедку, подобно тому, как кольцуют птиц, и у берега снова пускали ее в море, запоминая место и время спуска.

Когда наши моряки, вспарывая брюхо большой рыбы, вдруг находили там меченую сельдь, они тотчас засекали время и место ее нахождения и давали знать в институт. Так, шаг за шагом, по десяткам улик и примет, прослеживалась тайная дорога сельди, пока не

нащупали место, где можно было ее, ожиревшую, выросшую, отъевшуюся, перехватить.

Я сравнила траулеры с фабриками и заводами. Сравнение справедливо еще и потому, что на этих плавучих маленьких предприятиях возникают и развиваются самые неожиданные формы поднятия производительности труда. Тотчас подхвачен был почин Корабельниковой по борьбе за комплексную экономию продукта. Легко беречь там, где мало; очень трудно беречь там, где много. До сих пор множество рыбьих потрохов смывалось с палубы водой, выбрасывалось; при потрошении, бывало, отхватывался и кусок печени; сейчас, когда весь этот несчитанный избыток принялись считать, переводить на рубли, видеть глазами получающуюся экономию, моряки стали по-хозяйски придирчиво подбирать каждый обрезок, каждую жилку — на перемол.

Родились комсомольско-молодежные вахты; на траулере «Грозном» очутились четыре земляка-комсомольца — русский, эстонец, белорус и еврей — все из Белоруссии — и решили организовать свою вахту. Во главе ее стал Петр Савченко — парень с замечательной, хотя и короткой, биографией: пришел на корабль, никогда не видавши моря, через полтора месяца сдал техминимум на матроса III класса, спустя немного — на матроса I класса, а поработав всего два рейса, сделался помощником тралмейстера — специальность, которой овладеваешь десятком лет работы. И боевая комсомольская вахта показала, как из мелочей складываются большие дела, из сбереженных секунд вырастают дни и месяцы; она потянула за собой молодежь других траулеров.

Мурманчане отличились в Отечественной войне. Некоторые из них посмертно получили звание Героя Советского Союза. Один такой герой, бывший рабочий одного предприятия, комсомолец Анатолий Бредов, при освобождении Советской Армией Петсамо стоял насмерть, один сдерживая пулеметом натиск гитлеровцев. Память об Анатолии Бредове жива. Один из траулеров назван его именем. Почти вся команда этого траулера — молодежь. Она любит и уважает свой корабль,

как живого, родного человека, все силы кладет на то, чтоб «Анатолий Бредов» получил награду за досрочное выполнение плана, был славен не одним именем, а и делами.

И вот с большой добычей, веселый краснозвездный приходит «Анатолий Бредов» из очередного рейса к мурманскому причалу. Бывает, к приходу траулера стоят в порту женщины — это жены пришли встретить своих мужей, с которыми они видятся день-два в месяц. Но «Анатолия Бредова» встречают мать и отец, встречают не моряков с траулера, а самый траулер, весь корабль с моряками. Учащенно дыша от быстрой ходьбы, идет по ступенькам, бережно ведя под руку свою «старуху», отец покойного героя-комсомольца.

Много отцов в нашей родной стране потеряли своих сынов на фронте, много матерей годами чувствуют боль от раны, от пустого места у стола, где сидел сынок. Но мать и отец Бредова по-своему счастливы, боль их утишена. «Я прихожу к вам в гости, как к сыну»,— говорит старик отец, лаская рукою корму траулера, словно это живая сыновняя рука.

И молодежь собирается вокруг почетных гостей, слушает их рассказы о сыне, чувствует сердцем, как все в нашем светлом мире связано одно с другим, как переходят подвиги одних в живой и высокий труд других, как надо равняться по лучшим, по прекраснейшим и как хорошо жить и работать на советской земле.

Мурманск, 1950

ПРОГУЛКА НА КИРОВСКИЕ ОСТРОВА

1

У каждого города есть какие-нибудь свои преимущества: местоположение, климат, пути сообщения, отметка над уровнем моря, природный фон — снеговые вершины, морская даль, густые леса, широкая речная пойма... Но не каждый город может похвастаться тем, что эти его преимущества целиком использованы для жителей.

Одно из больших преимуществ Ленинграда — вода. И она была в свое время хорошо использована его первыми строителями, введена в классические архитектурные ансамбли. Она широко использована при советской власти, чтоб раскрыть не только зримую красоту города, но и сделать наслаждением самую жизнь в нем, наслаждением для дыхания, движения, отдыха. Вот вы вступили на ленинградские улицы в душный летний денек, когда градусник показывает 30° в тени. И замечаете, что вам уже не душно, словно приехали вы не в огромный промышленный центр, а на курорт. Северные, бледные краски неба с преобладанием тускло-голубых тонов; щедро положенные белила, словно выпущенные из тюбика рукой художника прямо на полотно; белые горки облачков, белые линии на горизонте, чуть разбавленные тем свинцовым оттенком, который мы нежно именуем «сизым» на голубиных крыльях. Небо с его облачками отражается в каналах, по которым тихо

скользят лодочки. Молчаливые мальчуганы с длиннейшими удочками неподвижно стоят над водой, опершись на гранитные парапеты. А ветерок говорит вам, нежно пробежав по щеке вашей, что это еще не вся вода, это — лишь преддверие воды: там, за кружевным очерком дворцов, голубым, холодным пламенем вспыхнет перед вами Нева с ее белыми речными трамвайчиками, а за Невою опять каналы, озера, пруды и бьющие в изрезанный берег уже солоноватые, уже шумящие глухим прибоем морские волны...

Вода использована здесь при советской власти для широчайшего озеленения города, для превращения больших его пространств в сплошные цветники. И так как изобилие воды делает здешнюю почву всегда чуть-чуть влажной, зелень садов и парков Ленинграда имеет тот ярко-зеленый, особый оттенок, какой сочетается у вас в воображении с очень ранней молодостью: «молодо-зелено».

Идите вдоль набережной, наслаждаясь бессмертной красотой Невы, вплоть до Летнего сада и поверните в тенистую его аллею. Это тот Летний сад, над кудрявыми главами которого пронеслись великие, трудные годы: он зарастал, забурьянивался, содрогался под фашистскими бомбами, стоял на запоре за решеткой; его мраморные статуи были зарыты в землю, его дорожки были безлюдны. И если вы долго не были в Ленинграде или за недосугом не заглядывали сюда в короткие сроки приездов, вам предстоит без устали восхищаться и поражаться: все, все, как раньше, все цело, сохранено, приумножено, открыто для народного пользования. Классические линии скульптур и крупные надписи у их подножия с рассказом, что каждая обозначает. Мифы древности, светлые и жуткие, обезоруженные, высветленные ясным разумом нашей эпохи. Детишки бегают мимо них по аллеям Летнего сада, зная и страшного бога Сатурна, и пышноволосую богиню Флору, и кудрявую головку Весны, но предпочитая им всем дедушку Крылова — один из лучших в мире памятников, окруженный барельефами главных персонажей из басен.

Но вот вы дошли почти до конца сада, где белеет стройный мраморный Антиной. Где же конец? Напра-

во, вместо огромной пустынной площади Марсова поля, встает такая симфония зелени всех оттенков, осененная жемчужными струями фонтана, что вы долго-долго стоите неподвижно, не в силах оторвать от нее глаз. А сосед шепчет вам на ухо: «Вы поглядите на Марсово в конце июля, в августе, когда вся пестрота распускается,— ведь это сплошной цветочный газон на десятки гектаров!»

Но превращение справа не единственное, и впереди ждет вас новость. Летний сад переходит в большой Михайловский сад. Правда, так было и раньше. Но со стороны канала Грибоедова в этот сад не было входа, а сам он был порядком запущен и не очень любим ленинградцами. Сейчас великолепная его решетка разомкнулась, открыв доступ к зеленому массиву прямо с канала. Сад вычищен, выхолен, превращен в парк. Меж липовыми его аллеями благоухает на полянках свежее сено. Старый, обветшалый павильон Росси, стоявший в углу сада, как доживающий свой век музейный памятник, ожил: в нем открыта детская читальня. И думаешь, что за счастливцы ленинградские дети: так незаметно, на каждом шагу, в каждом углу родного города подстерегает их строгая красота линий, выдержанная гармония стиля, совершенство пропорций! Растут, и вкус их воспитывается, формируется, складывается как бы сам собой от обилия согласованных, постоянных художественных воздействий. Но и это еще не все!

Большое зеленое пространство трех сливающихся друг с другом садов в самом сердце города; вода каналов и река создают тот высший, необходимейший комфорт для существования человека, который химики выражают в формуле, а медики в двух словах: «хороший воздух». Хороший воздух — это чистота дыхания, обилие озона, отсутствие пыли и бактерий, это глубокие «вдох» и «выдох» физкультурника, дающие здоровье и радость.

Казалось бы, город-курорт. Но в этом городе чистого, свежего дыхания, в самом городе, на одной из его окраин, раскинулся еще и настоящий курорт — с санаториями, домами отдыха и густыми зелеными садами.

2

Каменный остров, а с ним вместе соседние — Елагин и Крестовский — сделались теперь своеобразным ленинградским курортом.

Чтобы оценить это в полной мере, надо вспомнить, чем были острова до революции. Городские бездельники, желавшие покутить, мчались на собственных «выездах» на острова. Мимо лачуг, населенных рабочим людом, мимо покосившихся заборов и глухих переулков в безлюдную тишь, где модный ресторан принимал бездельника в укромный «отдельный кабинет»; на пресловутую Стрелку, откуда в бинокли смотрели на далекую линию горизонта; на дачи — редкие богатые дачи, укрывавшиеся в тиши и зелени Елагина... Все это было доступно единицам. Помню, в конце прошлого века в компании студентов я как-то отправилась в зимний воскресный день на острова. Мы долго ехали на конке, везомой двумя лошадьми. Потом шли пешком, сквозь снег, по засыпанной снегом дороге, дошли до пустынной Стрелки и даже спустились на лед залива, чтоб поглядеть на короткий зимний закат. Но было пронизывающе-холодно, пустынно, безлюдно. Четыре часа понадобилось, чтоб добраться до Стрелки, и столько же, чтоб унести ноги оттуда.

И большая вода, и зелень, и воздух, и пространство — все это было у старого Питера, и все это лежало втуне, лежало неиспользованное, недоступное для народа.

Сейчас, чтоб добраться сюда, нужно меньше часа. Со всех сторон города по земле и воде бегут на острова десятки трамваев, речных и сухопутных, мчатся велосипедисты, мотоциклисты, спортивные лодки. Солидно шуршат шинами по асфальту автобусы — это едут курортники с путевками: одни — в желудочно-кишечный санаторий, другие — в кардиологический, третьи — в однодневный дом отдыха; приедут, проведут размеренный, насыщенный отдыхом и удовольствием длинный день среди цветов и деревьев и как бы урок покоя и размеренного режима получат на смену городской спешке... Десятки тысяч, а иногда и сотни тысяч людей

едут сюда на спортивные праздники, на народные гуляния, чтоб провести выходной. И какое богатство предлагают им Кировские острова!

Стадион, рассчитанный на сто тысяч человек. Огромный Парк культуры и отдыха. Водная станция со всеми наслаждениями жизни на веслах: путешествия по десяткам соединенных в одну артерию прудов и каналов, мимо сказочно-зеленых берегов, под музыку, как в панораме «Спящей красавицы»... Музыке в этом месте отдыха и лечения отдано почетное место, и это требует особого разговора.

3

Одна из самых старых лечебных традиций в мире — хорошая симфоническая музыка на курорте. В узаконенные часы, до наступления сумерек, в парках курортов всего мира звучат симфонические оркестры. Вокруг открытой «раковины» гуляют курортники, и музыка щедро доносится и до тех, кто сидит на скамьях, и до тех, кто забрел в дальнюю аллею парка, и до тех, кто двигается со стаканом в руках к бювету, чтоб выпить очередную порцию минеральной воды. Казалось бы, эта старая традиция — обязательная музыка в пять часов дня — родилась только как летнее развлечение в давние времена, когда еще не было радио и кино, а молодежь говорила: «Пойдемте в парк на музыку»,— как сейчас говорят: «Идем в кино».

А между тем хорошая симфоническая музыка на курортах, ежедневная, бесплатная, в часы, когда еще не зашло солнце и каждому полезно пребывание на воздухе, музыка, овевающая вас вместе с воздухом, с запахом цветов, с бликами солнца сквозь листья парка,— это не только развлечение, но и могучий лечебный фактор, гармонически действующий на нервную систему, укрепляющий и успокаивающий ее. Сотни врачей и психологов приходили к этому выводу, подчеркивали благотворное действие музыки.

С сожалением надо сказать, что этот проверенный, испытанный лечебный фактор начал понемногу исче-

зать из нашей курортной жизни, заменяясь обычными вечерними (а вернее, и ночными, так как кончаются они около полуночи) платными концертами в закрытых помещениях. Приходится иной раз слышать: «К чему содержать целый оркестр, когда есть радио и в каждом санатории чуть ли не ежевечерне кино?» О том, может ли радио заменить симфонические концерты в парке, стыдно и говорить в наше время, когда то же радио постоянно и убедительно, в лекциях и беседах учит советского человека любить и понимать серьезную музыку, воспитывает культуру музыкального слуха, раскрывает звуковую магию великих мастеров симфонизма, приглашая его идти и слушать — идти и слушать не на мертвой радиоволне, а непосредственно на концертах чистый, неискаженный звук музыкального инструмента...

Но Ленинград — центр большой музыкальной культуры — не изменил музыке. Он славился летними концертами в Павловске, на которые съезжался когда-то «весь Петербург». Сейчас он славится концертами на Кировских островах. Ленинградская филармония ведет здесь большую, благородную работу популяризации и пропаганды музыки. В специальном музыкальном лектории проводятся концерты-беседы «Как научиться слушать симфоническую музыку». Не сразу дается эта наука. Еще есть у нас такие «любители музыки», от которых можно услышать: «Скучища была — один оркестр *без ничего*». Фраза, которой следовало бы исчезнуть из нашего лексикона. «Без ничего» — значит без пения или без танца, то есть без более доступных форм выражения музыки. Но в лектории начинает раскрываться перед слушателем душа каждого инструмента, составляющего оркестр; объясняются его особый голос, прелесть и значение его тембра, роль, какая дается ему обычно в сложной партитуре симфонии. И слушатель начинает учиться «читать» музыку, он уже различает беседу инструментов в оркестре, может следовать ухом за каждым отдельным голосом,— и какое это редкостное, возвышенное, очищающее душу наслаждение! Музыка стала массовой — в подлинном значении слова — на Кировских островах. Четыре раза в неделю здесь даются бесплатные концерты для тысяч и тысяч

слушателей. Но здесь вообще считают тысячами. Несколько тысяч ленинградцев собирается в парке на «Поляне песен». Это не для слушателей. Это для участников. Собравшись, они поют вместе, и грандиозный хор, где поющие наслаждаются пением и слушают сами себя, создает в его чистом виде тот «праздник песни», где не должно быть разделения на исполнителей и слушателей, а каждый участник — одновременно и слушатель.

4

Ленинградские белые ночи, когда заря с зарей сходится! Тысячи раз было описано их очарование. Но вот затухают жемчужно-серебристые тона в небе, перестает их отражать большая вода Ленинграда, к серебру подмешивается вакса обычной ночи: белая уходит, она кончается. И в Парке культуры и отдыха на Кировских островах устраивается массовый праздник конца июня — проводы белых ночей. По древнему русскому обычаю, положено душе «крепиться» и «развеивать грусть по ветру»,— проводы на Руси всегда были веселые, с песней, шутками, танцами: проводы масленицы, проводы лета. Весело провожают ленинградцы и последние белые ночи.

Вот она опустилась на землю в серебре своего тумана, матовая, тускло светящаяся, последняя белая ночь. Тысячи ленинградцев на Кировских островах, но так много здесь большого лесного пространства, всяческих аттракционов, тенистых аллей, что обычной скученности от множества гуляющих тут совершенно не чувствуешь. В театре на воде (это тоже одна из особенностей здешнего парка) идет «Лебединое озеро» в прекрасном исполнении ленинградского балета. Вода входит слагаемым в зрелище, плеск ее словно баюкает музыку. А вот купол Планетария. Здесь происходит беседа «В мире звезд». Белая ночь спрятала звезды, но здесь, на искусственном небе, они загораются для сотен любознательных глаз. Дальше идет другая беседа, и ее слушают с напряженным вниманием: «Почему бывают белые ночи?» Поэзия подковывается тут наукой. К чести

ленинградского отделения Общества по распространению политических и научных знаний надо сказать, что темы для лекций здесь выбираются интересные, неожиданные, неистощимые по разнообразию; поучение почти всегда связано с показом, с использованием всех неисчерпаемых богатств Ленинграда, этого города-музея, живущего острой современностью.

Дальше, на танцевальных площадках парка, кружится молодежь — это «балы молодежи», как они называются в программах. На эстрадах— выбирай любую— тоже интересно: в одном месте вечер старинного водевиля; в другом — концерт классической музыки на тему «Весенние мотивы»; в третьем — большой вечер юмора и сатиры, сюда приехали в гости артисты московской эстрады.

Все это множество удовольствий на деловом языке дирекции парка называется сухим словом «мероприятия». Они очередные, они обходят эстрады и театры. Но в парке есть и постоянные учреждения в постоянных павильонах, куда каждый праздничный день идут толпы ленинградцев. Идет целая семья — отец, мать, двое детишек — в гости к тому, чье имя дано островам,— к Сергею Мироновичу Кирову. Большой павильон, где расположена выставка, посвященная жизни и деятельности Кирова, вмещает только основные экспонаты. О них подробно рассказывает экскурсовод, и как только замечает он, что вас особенно заинтересовал какой-нибудь документ, непременно добавит: «В городском музее у нас это полнее, обязательно побывайте в городском музее!»

Много народу, большей частью молодежь, заходит и в другой постоянный павильон — павильон технической консультации. О нем одном, о его посетителях, о его экспонатах, постоянно обновляющихся, можно целый рассказ написать.

В этом павильоне филиал Постоянной промышленной выставки Ленинграда. Здесь периодически показывается все новое, чем могут похвалиться ленинградские заводы: новые станки, машины, технологические процессы. Сейчас здесь демонстрируются (в действии) большая оплеточная машина, сложно, в несколько ме-

таллических нитей, оплетающая резиновый кабель; установка для электрической полировки цветных металлов; станок-автомат, сам откусывающий часть стальной трубки и делающий из нее винт, и т. д. Но больше всего ленинградцев в том углу, где отведено место вовсе не Ленинграду, а Средневолжскому станкостроительному заводу, что в Куйбышеве. Знакомое имя бросается в глаза с плаката: В. А. Колесов. Это имя часто упоминается в газетах, а я, признаться, до сих пор не знала, в чем новаторство В. А. Колесова. Протискиваюсь вперед. Консультация так консультация! Хочу в точности узнать о В. А. Колесове. И консультант дает мне ясную, понятную справку, понятную и потому еще, что она дается у самой машины. В. А. Колесов — автор метода силового резания металла; он увеличил подачи резца в пять — десять раз, и соответственно этому стружка из-под резца выходит бо́льшего сечения... До сих пор скоростники побеждали время временем: они намного ускоряли обороты, и стружка, тонкая, красная, раскаленная, вилась из-под резца, как огненная струйка. А Колесов побеждает время пространством: он ускоряет работу, сразу захватывая резцом столько стального «мяса», сколько стачивается скоростниками лишь за много оборотов. Так образно раскрылась передо мною новая творческая ступенька в поступательном движении нашей техники. Разумеется, для силового резания потребовалась и соответствующая переделка самого станка...

Течет белая ночь, глубоко забирает резец нашей жизни за душу, за весь аппарат нашего восприятия, насыщенный множеством впечатлений. Но одно — самое прекрасное — все же еще остается для рассказа. О нем, правда, нужно не ночью и не в сумерки, а рассказать уже на следующий белый ленинградский денек.

5

Тут же, на Кировских островах, где все устроено на здоровую потребу человека, есть один необычный санаторий. Называется он «Мать и дитя». Едешь к нему пар-

ковой дорогой, на которой вдруг перед самой машиной вырастает огромный сказочный дуб — словно пушкинский «дуб зеленый». Но опоясывает его не «златая цепь», а солидная ограда, как бы узаконивающая его вторжение на дорожный асфальт. Дуб посажен здесь рукою Петра. Столетия сберегли его, и даже строители, проводившие тут дорогу, уважили старика. Дуб встречает вас, как в преддверии сказочно необычного.

Когда-то в двух нарядных виллах жили барон и баронесса Таубе. Две виллы превратились в два корпуса нового санатория. В одном из них отдыхают «мамы» — так их зовут здесь и врачи, и сестры, и сиделки, и сами они, знакомясь с вами, привычно называют себя «мама такого-то малыша».

Дело в том, что в этом санатории отдыхают матери вместе со своими новорожденными. Сюда принимаются дети в возрасте от двух недель до трех месяцев. Другой корпус отдан для отдыха тем, кому еще только предстоит стать мамами, то есть беременным на последних месяцах. Каковы же смысл и цель этого особого профиля санатория?

Заглянем к мамам. Здесь они по профсоюзным путевкам со всех концов нашей Родины. Есть приехавшая даже с Курильских островов. Домашняя хозяйка, акробатка, учительница, чернорабочая, научный работник, студентка Института советской торговли — все виды труда, все профессии... Каждая — с новорожденным, кое-кто — с двойняшками. Была тут и работница с «Красного треугольника», имевшая тройню — трех превосходных мальчишек, до того похожих друг на друга, что только мать могла угадать, кто — кто. Продуманный, правильный режим, оздоровительные процедуры, воздух, зелень, питание — все это, как в других санаториях. Но вот необычное: беседы о рациональном кормлении и воспитании своего ребенка; лекции о правах советской женщины, о советском законодательстве, касающемся брака, семьи, женщины; семинары по обучению кройке и шитью детского белья, по изготовлению детской пищи. Оригинально поставлены лекции на литературные темы: для слушательниц делается библиографи-

ческий обзор одной какой-нибудь новой книги, рассказывается ее содержание, раскрывается тема. Так была проведена недавно беседа о романе «Семья Рубанюк».

Нелегко забудутся заложенные здесь прочные навыки физического и духовного режима. Культура быта — великая вещь, и драгоценны ее семена, заброшенные в душу человеческую, когда она жадно раскрыта для восприятия.

Из комнат мамаш входим в детскую, предварительно надев марлевую сетку на рот в добавление к больничным халатам. Младенцы — один краше другого, глубоко серьезные, какими бывают новорожденные, чистенькие, выхоленные, упитанные — лежат по своим кроваткам, лежат и кричат «уа-уа», потому что пришло время для их кормления. И в этом первом рефлексе на определенный час пищевого режима, в свободном, неспеленатом лежании без постоянного тискания в материнских объятиях, в ровной, прохладной температуре детской тоже чувствуются зачатки здоровой культуры тела, здорового, нормального характера. Скоро заполнится мамами комната для кормления. Предварительно каждая достанет из своего ящичка белый халат, каждая, щипцами захватив тампончик из дезинфекционного раствора, вытрет им свою грудь. И мамы рассядутся по удобным стульям со скамеечками для ног, возьмут каждая своего младенца... И халаты, стулья, скамеечки, антисептика — все это тоже запомнится для будущего, все это найдет свой отголосок в домашнем быту.

Великая вещь — советская культура, тихо, невидно, в самых разных областях нашей жизни делающая свое большое, непрерывное дело перевоспитания человечества! И слава незаметным труженикам, миллионам советских людей, несущим эту культуру в массы своей самозабвенной работой!

Таковы Кировские острова, очерченные бегло и далеко не полно. Мы рассказали о них читателю не только потому, что отдых на Кировских островах приятен и поучителен, но и потому, что он может стать типовым. Потребности советского человека растут, и растут не

механически, не сами собой: они пробуждаются, воспитываются, расширяются с общим ростом нашего общества, с помощью бесчисленных больших и малых работников советской культуры. В этом смысле опыт Кировских островов интересен как замечательный пример для всех городов нашего Союза. И санаторий «Мать и дитя» мог бы стать типовым для десятков и сотен таких же учреждений во многих областях и республиках нашего великого Союза.

Ленинград, 1953

КЕРЧЕНСКАЯ СЕЛЕДКА

КОНФЕРЕНЦИЯ В КЕРЧИ

Зайдите в любой рыбный магазин нашей столицы. Взгляните на витрину — какое множество сельдей: дальневосточная, тихоокеанская, каспийская, полярная... Нет только одной, и этой одной вы почти нигде не найдете. Столетняя слава и гордость русского рыбного рынка, самая вкусная сельдь в мире — керченская — исчезла. Да что столетняя! Две с половиной тысячи лет назад в Керчи ловили и солили ее; киммерийцы, скифы, греки, византийцы ели ее. В древнем городе Тиритаке на Керченском берегу, раскопанном сравнительно недавно, отрыли целый рыбный комбинат из шестнадцати каменных ванн для соленья рыбы, а рыбьи кости, найденные в них, оказались селедочными. Что же прервало двухтысячелетнюю традицию? Куда исчезла знаменитая керченская сельдь?

Чтоб ответить на этот вопрос, я поехала в город Керчь, названный скифами в древности Пантикапеем, то есть рыбным пунктом. Мы ехали машиной из Феодосии через весь вытянутый между двумя голубыми морями (Азовским слева и Черным справа) равнинный Керченский полуостров. Справа и слева уходила к горизонту земля, уже убранная, кое-где слабо зеленевшая озимыми. Редкие стада щипали сухую травку возле

дороги. Редкие деревушки — в десятке километров друг от друга. И только в самом начале пути необычное, сказочно-странное видение, словно из гоголевской «Майской ночи»,— белые, длинные, многооконные дома, неподвижно отраженные в пруду — нет, не в пруду, а в куске мертвого зеркала, брошенном на мертвую землю. Таким неподвижно каменным стояло это отражение в твердой, мертвой и все же прозрачной поверхности чего-то, что должно было быть водой, что мы остановили машину, и я побежала к берегу. Почва подо мной гнулась и проминалась, как торфяная, а следы прошивались серебром, проступавшим из-под земли. Чем дальше, тем больше серебра, покуда не захрустело оно под ногами. Тяжелое прозрачное зеркало оказалось соленым озером, а усадьба за ним — солеварней.

Чем дальше вглубь полуострова, тем ощутимей недостаток влаги. Даже название районного центра «Семь колодезей» напоминает о воде. На полпути от Керчи пошла скудная, серо-пепельная от пыли цепочка лесных насаждений, бежавшая вдоль дороги несколько километров. Видно было, как выхаживали каждое деревцо и как трудно, а все-таки прижились они здесь. Казалось бы, бедность вокруг. А вот же деревня в садах, нарядные домики под черепицей, жирные гуси, табунок золотистых коней. Проходившая женщина рассказала нам, что тут, слева, овощной совхоз, строится томатная фабрика, выращивают в основном помидоры. Миновали и эту деревню и еще озерко, откуда берут целебную рапу для здравниц, и перед нами в кружеве каких-то металлических сооружений открылось опять море, Керченская полукруглая бухта с далеким Таманским берегом перед нею — весь этот ни с чем не сравнимый своеобразнейший пейзаж, где глубокая, тысячелетняя древность переплелась с острейшей современностью. С какой бы стороны ни въезжали вы в Керчь, земля вокруг вас взрыта, на горизонте бугры, насыпанные рукой человека тысячи лет назад. Похожие на гигантских кузнечиков, присевших перед прыжком, металлические сооружения, мелькнувшие перед нами на горизонте, оказались «отвальными мостами» — машинами для отвалки керченской железной руды, лежащей вокруг в несчетном изобилии.

И там же, где отваливают руду, раскапывают и древний военный город Илурат. В зоне железной дороги раскопана Тиритака, на территории заводской стройки разрывается некрополь — древнее кладбище простых людей, с орудиями их труда, знаками профессии: точильным камнем, торговыми гирьками,— и археологи всюду работают бок о бок с железнодорожниками, инженерами, каменщиками. В двух километрах от Керчи раскопана античная сельскохозяйственная усадьба с винодельней, скотным и птичьим дворами, и мы видим, как трудились на этой безводной земле люди задолго до нашей эры.

Нигде в мире, пожалуй, не ощущаешь так слитно и неразрывно жизнь человеческих поколений, бессмертное продолжение жизни, как именно в Керчи, среди ее археологических раскопок и современнейших строек... С этими мыслями въехали мы в город, где старенький, тесноватый, жутко разрушенный и еще не восстановленный после войны центр окружен полукругом молодых, бурно разрастающихся заводских окраин.

Гостиница, наполовину достроенная, была переполнена Я попала в разгар научной конференции по Азово-Черноморскому рыбному бассейну и словно в Москве очутилась: знакомые по биологическим сессиям лица, седовласая голова и генеральские погоны большого ученого, академика Е. Н. Павловского... Видно было, что эта конференция имеет важное значение, что она связана с новыми решениями нашего правительства, с повышением плана вылова рыбы для Азово-Черноморья на целый миллион центнеров в новом трехлетии.

Азово-Черноморье по добыче рыбы занимает в нашем Союзе только четвертое место — за Дальневосточным, Баренцово-Белым и Каспийским рыбными бассейнами. Но все же оно дает почти вдвое больше рыбы, чем Балтийское и Северное моря, вместе взятые. И дело тут не только в количестве. Советский народ с его землей от океана до океана, с огромнейшим разнообразием природных условий его рек и морей может выбирать себе по вкусу любую рыбу, а среди них азово-черноморская — одна из самых вкусных. Еще до революции

славилась дешевая вяленая тарань с ее красноватым, сухим, необыкновенно вкусным мясом и плотной оранжевой икрой. Шемая и рыбец в их янтарном жиру, мягкие, почти прозрачные, вообще не имели соперников на закусочном столе. В черноморских санаториях, Геленджике, Гаграх любили копченую барабульку, с которой легко, как перышко, сдергивалась чешуйка, а мясо было мягко и вкусно. О керченской сельди нечего и говорить: на любом мировом конкурсе разных сортов селедок она вышла бы на первое место. Но список еще не исчерпан. А кефаль, скумбрия, камбала? Лещ, судак, ставрида, пеламида? Все это ценная рыба. И если прибавить к ней севрюгу и осетра, настоящие сардины и шпроты (а не барабульки и тюльки, изготовленные под сардину и шпрот), то дары Азово-Черноморья предстанут во всем их богатстве.

Ставя огромной важности задачу повышения потребления в Советском государстве, наше правительство имело в виду вовсе не одно только увеличение количества продуктов. Во всех приказах и постановлениях отразилась забота о повышении качества продукта. Отразилась она и в приказе министра легкой пищевой промышленности, где ясно и недвусмысленно говорится о выпуске улучшенного ассортимента рыбы, об огромных мероприятиях по улучшению ее обработки и т. д., а в части Азово-Черноморья так прямо и сказано, что того самого миллиона центнеров, на который должен возрасти улов здешней рыбы в 1956 году, необходимо достичь путем увеличения вылова ценной рыбы. Новый план возрастает, значит, за счет именно тех вкусных и питательных сортов, которые я перечислила выше. Прежде чем пойти с читателем на керченскую конференцию по рыбе, надо нам крепко запомнить именно эти ясные указания партии и правительства.

Итак, с корабля — на бал, из машины — на конференцию, проходившую, за неимением подходящего помещения у города, в театре эстрады. Лучшие люди бассейна собрались здесь, не говоря уж о столичных гостях: ученые из местного института, с экспериментальных баз, рыбные инспекторы, самоотверженные болельцы за рыбу, знатные рыбаки, чьи имена гремят по всему Кры-

му и Приазовью, изобретатели, механизаторы, делегаты с Кубани и Дона.

Первые доклады носили спокойный и познавательный характер. Они вводили собравшихся в тайны морей, Черного и Азовского, знакомили с постепенным изменением взгляда ученых на эти моря. Черное, например, считалось бедным: на дне его ядовитые скопища сероводорода, кормовая растительность почти отсутствует, рыба не мечет икры, ие размножается в его негостеприимных водах... Но вот найдено в них множество икринок шпрота, установлено икрометание в Черном море пеламиды и тунца, в самом сероводороде обнаружено присутствие жизни, микроорганизмы. И уже вместо бедности заговорили о богатых рыбных запасах Черного моря. Другой доклад также последовательно и методично ввел нас в историю развития орудий лова, начиная с обыкновенных рыбацких неводов и до активных кошельковых сетей.

Представляешь себе весь огромный запас человеческой энергии, тратящийся на освоение и познание морских глубин; всю смекалку и остроумие в поисках за лучшими производительными орудиями лова, наконец весь этот мир непрерывной практики, борьбы со стихиями моря и ветра, чудесных, загорелых, сильных людей, потомков смелых беглецов, когда-то бежавших от царя и крепостничества на «вольные земли» и положивших начало потомственным родам керченских рыбаков. Невольно думаешь: конечно, вся эта энергия обращена на вылов самой замечательной, самой лучшей рыбы Азово-Черноморья... И вдруг в ваши уши залетает комариное словечко «хамса». Оно начинает звучать в выступлениях все чаще и чаще. Вы припоминаете, что такое хамса? Мелкая, жирная морская рыбка, которую в детстве когда-то, если жили вы в этих краях на морском побережье, с удовольствием поедали и в ухе и на сковородке, потому что свежая, прямо из сетей, она приятна на вкус. Но ведь ее, ростом с мизинец, не доставишь свежей за тысячи верст. И ее так ничтожно мало делают в хорошей обработке. Память рисует вам ларек где-то в Подмосковье, пропахшего рыбой мрачного продавца и гору какой-то мелкой, сухой, изогнутой, как

стручки, соленой рыбешки, которую он неуважительно сыплет из ящика на весы, продавая без обертки («несите свою»). Как попала она сюда, в речи больших тружеников моря, эта хамса? И оказывается, что Азово-Черноморье, не выполняющее плана из года в год, забивает свои прорехи именно хамсой. Львиная доля плана покрывается ею. Усилия ума и смекалки конструкторов, механизаторов, знатных мастеров лова, морские флотилии, сети — словом, все, о чем мы тут слышим, брошено почти целиком на вылов хамсы. И, словно в ответ на наши невольные мысли, встает новый оратор, рыбак из Керченского рыболовецкого колхоза имени Сталина, мастер высоких уловов, бригадир Ткаченко. Он говорит: «Нам надо на миллион центнеров повысить улов ценной рыбы. Ученые уверяют, что она есть в море. Но мы вместо поисков и усилий с молчаливого, а иногда и письменного согласия главка план выполняем за счет молоди. А на следующий год понижается запас ценной рыбы. Ловим нитку, а куда она годна? Говорят, годится на кормовую муку. Но какая из нее мука? Непитательная продукция!»

Страстно поддерживают его другие рыбаки. О том же говорят научные работники. Инспектор рыбного лова тов. Пурик напоминает, как тов. Микоян еще в 1936 году на приеме работников рыбной промышленности говорил о необходимости воспроизводить рыбу, давать ее запасам возобновляться, хозяйничать культурно. А мы? Запасы самой ценной рыбы у нас подорваны, мы стремимся выловить «числом поболее, ценою подешевле», а числом поболее идет мелкая рыба, она ловится ставными мелкоячейными сетями, и в эти сети попадает молодь крупной рыбы, гибнет до 30 процентов молоди ценной сельди. Гибнет огромное количество молоди севрюги — в результате общий улов осетровых из года в год падает!

Все в зале ждали с нетерпением (и мы тоже), что скажет на это заместитель начальника главка азово-черноморской рыбной промышленности. И все в зале (как и мы тоже) были разочарованы его выступлением. Вместо того чтобы собрать и обобщить в своей речи все сложности и препятствия, затрудняющие рыбакам вы-

лов ценной рыбы, и обещать ударить по этим препятствиям, объявить им борьбу, устранить их, вместо мобилизации рыбаков на точное выполнение приказа министра он сказал (стенограмма): «Сейчас мы не можем переходить на дорогостоящие породы, сразу не можем... Мы можем хамсой на 80 процентов заменить дорогостоящую рыбу».

Так в первый же день по приезде в Керчь удалось мне подвинуться на шаг — пока только на один короткий шаг — в решении вопроса, куда же делась керченская селедка. Но конференция дала еще и другое знание. Она показала, как борются сами рыбаки за правильный, государственный, а не формальный подход к выполнению плана, как широко и ясно понимают они ответственность не только перед сегодняшним, но и перед завтрашним днем советского рыбного хозяйства и как смело начинают поправлять и подталкивать в этих вопросах своих ведомственных руководителей.

ВОПРОСЫ ЛОВА

Трудно представить себе место, более обласканное природой, нежели Керчь. Начать хотя бы с ее положения на стыке между двумя морями. Они разные по климату и по богатству. Азовское холоднее, но богаче кормом для рыб. Черное теплее и удобнее для зимовок. Сельдь, например, боящаяся холода, идет весной для нагула и нереста в Азовское море, а зимовать отправляется в Черное. Сколько удобств для рыбьего царства в этом удивительном месте, именуемом Азово-Черноморским рыбным бассейном! Длинные косы, вдвинувшиеся в пролив со стороны Таманского берега, чудные илистые лиманы Приазовья, удобный Таганрогский залив — этот детский сад для рыбьего потомства, куда скатываются ежегодно миллионы мальков,— простор для путеплавания, а ведь вся рыбья жизнь в этих длинных и долгих странствиях, во время которых рыба нагуливает жир, совершенствуется физически, приобретает вкусовые качества...

И в самой Керчи, на Керченском полуострове, все

под рукой для рыбной промышленности. Соль, нужная для засола, добывается тут же. Помидоры для консервов взращивает керченская земля. Напоить ее — и весь полуостров покроется садами, сможет стать овощной базой для Крыма.

Но вот в этих на редкость удобных и счастливых природных условиях начали поступать тревожные сигналы от древнейшей обитательницы этих мест — рыбы. Казалось бы, живи, жирей, размножайся, но уловы ценной рыбы стали год от году падать. И сама рыба, по утверждению научного работника Доно-Кубанской станции кандидата технических наук тов. Л. П. Миндер, стала худеть: «За последние 5—10 лет наблюдается понижение жирности рыб и их вкуса. Лещ средних размеров, например, имел раньше 8—12 процентов жира, а сейчас только 4—6 процентов; хамса раньше имела 20—27 процентов, а сейчас только 16 процентов».

Что же изменилось в природных условиях Керчи, так повлияв на морское население? Старые, опытные керченские рыбаки из здешних колхозов могут рассказать вам это простыми словами. Все живое любит чистоту своего жилища. И рыба любит чистое, спокойное, знакомое дно, любит свои привычные течения, свои атласные илистые азовские лиманы, особо любимые таранью. Но лиманы зарастают камышом, и рыбаки, знающие рыбьи повадки и нужды, в прошлом выкашивали камыши, чтоб очистить для рыбы проходы; при большом половодье Кубани сама река разбивает камыши, разливается протоками, где рыба может пройти, и тогда вдруг снова появляется тарань, как случилось в 1935 году. Но это бывает редко, а лиманы зарастают все гуще, потому что сейчас и уже много лет человек перестал заботиться о своей кормилице: никто не очищает лиманов, не косит камыша, не прорывает для рыбы протоков, потому что это «нигде не предусмотрено». И первое, что необходимо сейчас сделать,— это предусмотреть покос камыша на лиманах, мелиоративные работы, благоустраивающие рыбьи пути и жилища.

Однако это еще не все. Чудесные косы, словно созданные для рыбьих приютов и, значит, для успешного рыболовства, как длинная бахрома, протянулись с бере-

гов в пролив; среди них такие большие, как коса Чушка и коса Тузла. Но о Тузле лучше и не заговаривать с керченскими рыбаками. Коса Тузла была их золотым дном, сюда подходило теплое течение из Черного моря, и здесь оно задерживалось, а вместе с ним задерживалась и сельдь, когда в феврале — марте она возвращалась в Азовское. До пяти тысяч простых сетей выставляли на нее рыбаки, не считая волокуш и других орудий, и брали ее десятки тысяч центнеров. Хорошо ловилось тогда и у других кос — Чушки, Опасненской, Камыш-Бурунской...

Но четверть века назад Тузлинскую косу прорвало, и образовалась та самая Тузлинская промоина, или «прорва», как ее называют рыбаки, о которой здесь слышишь чуть ли не на каждом шагу. Холодное течение из Азовского моря ринулось в эту промоину к Черному, разгоняя рыбу, и сельдь уже не может задерживаться у Тузлы. Вот почему пал ее улов. И не одна сельдь. Если ее здесь теряется для вылова по нескольку тысяч центнеров в год, то сотнями тысяч можно исчислить потери и на хамсе. Рыбаки требуют: закройте Тузлинскую промоину! Как язва у человека, нам эта прорва!.. И уже десять лет идет гадание, как на лепестках ромашки, «любит — не любит»: закрыть — не закрыть? А сделать это, чтобы вернуть нормальный водный режим в проливе, необходимо и возможно: горы доменного шлака целым хребтом стоят на берегу, из них делается бетон, и хватит этого бетона на десятки таких промоин и десятки нужных строек.

Наконец самое дно пролива. Внимательным глазом можно заметить возле одной из кос странное вагнеровское видение корабля-призрака: мрачной какой-то мелодией поднимается из волн остов мертвого судна, весь заросший ракушками, облепленный водорослями, затянутый плесенью времени. К нему никто не приближается, его никто не трогает, хотя, может быть, в нем есть нужный и ценный для людей груз. А корабль не один. Морское дно не было очищено после войны, и сейчас оно похоже на кладбище техники, захламливающей острым железом старинные рыбьи пути.

Похороненная техника мстит живой, передовой

технике — она мешает ей войти в жизнь. Дело в том, что из всех орудий лова самый прогрессивный сейчас в этом бассейне активный лов так называемыми большими кошельковыми сетями. Он прогрессивен не только потому, что дает большие уловы и позволяет брать массовые скопища рыбы, когда она в открытом море идет косяком. Он прогрессивен и потому, что широкое его применение позволило бы упорядочить пользование ставными неводами. Именно в эти ставные невода вместе с хамсой постоянно попадает молодь ценных пород. Рыбаки рассказывают: вынешь такую сеть в Таганроге в июне, и глядеть больно: совсем как голубой туман на горизонте, голубым светится в котле, полном мальков, которые в этом месяце кишмя кишат в заливе,— миллиарды будущих рыб пропадают... Так вот, широкое и умелое ведение кошелькового лова могло бы положить конец безобразному уничтожению молоди, потому что кошельком, как сказано выше, ловятся косяки рыбы, а в косяк никакая молодь ценных пород не попадает, рыба идет однотипная... Но захламленное морское дно мешает кошельковому лову. Тонкая сеть кошелька рвется на глубине, и рыбакам с ней хлопот полон рот; даже так называемые малые кошельки, и те рвутся: из 100 непременно 75 за каждый замет будут с обрывами.

Ясно, как белый день, что очистка дна пролива — неотложная задача. Но вот оказывается,— эта ясная задача не по вкусу главку азово-черноморской рыбной промышленности. Там смотрят сквозь пальцы на предпочтение рыбаками старых, менее прогрессивных орудий лова, в частности кольцевых неводов, а добыча ими почти вдвое меньше: зимой в Черном море, например, там, где кошельком взято 2 350 центнеров хамсы, кольцевым неводом поймано лишь 1 220 центнеров. Не то же ли это, что тянуть колхозника с трактора на конную тягу, с механической картофелекопалки на ручную?

Рыбаки отлично это понимают. Умный и государственно мыслящий бригадир колхоза имени 12-летия Октября А. Н. Горбенко сказал на конференции в адрес главка:

— Министр нам приказывает устранить все то, что мешает успешному лову. Захламленное дно пролива мешает успешному лову. Значит, надо очистить пролив. А главк вместо этого принимает решение пустить в пролив 50 кольцевых сеток и малых кошельков. Что это, как не обход препятствий, желание уйти от прямой задачи — очистки пролива путем отказа от более прогрессивных орудий лова?

Да, приведение в порядок азовских лиманов, очистка дна пролива, заделка Тузлинской промоины — это все трудоемкие, дорогостоящие, длительные работы, а план выполнять надо. Но ведь от того, что мы вчера вывернулись на хамсе (загубив с нею миллиарды ценной рыбы), сегодня вывернемся на лове кольцевыми неводами (отмахиваясь от блестящих усовершенствований большого кошелька, от успехов отдельных знатных рыбаков, от усилий таких изобретателей и рационализаторов, как товарищи Овчаренко, Столяренко и другие), — от всего этого нам не станет легче завтра, а, наоборот, станет еще труднее. Представим себе на миг завтрашний день бассейна: правительство направит сюда большую технику; сотни голов обмозгуют новые активные глубоководные орудия лова; миллионы будут отпущены на усовершенствование этих орудий, и все это, как новая, блестящая, дорогая мебель, въедет в грязную, неприбранную, запущенную, захламленную квартиру. Не должно этого случиться!

Именно увеличение плана добычи позволяет ставить и решать радикальные задачи, решение которых только и поможет его выполнить. Вот как надо смотреть на дело, в просторечии это называется «взять быка за рога». И после очистки станет на очередь одновременно с широким развитием активного лова мудрый, хозяйский вопрос об упорядочении самой технологии лова, об отношении человека к рыбе.

Мы засиделись как-то в правлении одного керченского колхоза. Чудесные люди, богатырь к богатырю, от пожатья которых вашу руку ломит до самого плеча, разговорившись, давали мудрые советы, как помочь общему делу. Советы были разные, но в каждом из них чувствовался не только большой опыт мно-

гих и многих лет ловли: нечто неуловимое, отсутствующее и в докладных записках специалистов и в книгах ученых почуялось в них — особенное, знающее, теплое отношение к рыбе.

Один сказал: «Сейчас все побережье уставлено ставными неводами, рыба идет, и пять тысяч препятствий на ходу,— нет ей покоя! А рыбе не только планктон, ей и покой нужен. Вот и теряет вкус, да и размножается меньше». Заговорили о перегородках, какие сейчас рекомендуются в ставных сетях для отделения более крупной молоди сельди от хамсы и тем хотя бы частичного ее спасения. «Ну что ж перегородка,— сказал другой рыбак,— молодь, она нежная, в хамсовой гуще, пока до перегородки дойдет, сколько ее поранится; а при самой пустячной ранке ей все равно не жить, не вырасти. Это как снять с человека последнюю рубашку, да и выпустить на волю — иди, бог с тобой!»

Множество услышанных нами речей — и от рыбаков, и от инспекторов рыбного лова, и от работников экспериментальной базы и местного института Азчерниро,— если разобраться и подытожить общее в них, сводится вот к чему: самое крупное зло — это массовая установка мелкоячейных ставных неводов в Азовском море в июне, когда скатывается туда с нереста молодь сельди, а в Керченском проливе в весенний (апрель — май) и осенний (сентябрь — октябрь) периоды ловли хамсы. Как раз тогда она идет тощая и невкусная, а ловить ее в проливе лучше всего в декабре и кошельковым методом в открытом море. Ставные сети следовало бы выпускать с укрупненной ячеей — не меньше 22 миллиметров, чтобы никакая молодь в них не задерживалась, а вообще-то упор делать на активный лов. Хорошо бы на какой-то период, на год-два, сделать запрет ловли мелкоячейными сетями — в Керченском проливе весной, а в Азовском море в июне — июле,— тогда запасы сельди быстро восстановились бы. Вот эти немногие положения слышали мы буквально от всех, начиная с простых рыбаков и кончая инспекторами лова. Многие считают, что делать кошельковые сети надо из капрона, а не из хлопчатобумажной пряжи, как сейчас, потому что с последними зимою ра-

ботать невозможно, так трудно их всякий раз просушивать, и это мешает популяризации кошелькового лова.

Сами рыбаки давно стремятся ловить крупную рыбу вместо той «нитки», о которой они говорят с сокрушением. Колхоз имени 1 Мая, находящийся на самом левом краю полукруглой Керченской бухты, возле выхода пролива к Азовскому морю, давно мечтает о том, чтоб его специализировали именно на такой ловле. Председатель колхоза М. М. Запорожец, стоя у карты, говорит нам: «Все условия сошлись, чтобы нам тут специализироваться на ценной рыбе. Мы, как говорится, прямо на ее перехвате, когда она идет осенью, нагулявшаяся, из Азовского в Черное; мы тут первые, никак она не минует нас. Этот вопрос мы обсудили на заседании правления и на общем собрании; решено обратиться в министерство с ходатайством: специализировать колхоз имени 1 Мая на ценной рыбе!» Почин М. М. Запорожца, думается нам, следовало бы поддержать как первую ласточку больших перемен, назревающих в рыбном хозяйстве Азово-Черноморья.

ВОПРОСЫ ОБРАБОТКИ

Рыба принадлежит к числу так называемых скоропортящихся продуктов. По мере вылова ее надо есть или так обрабатывать, чтобы она могла выдержать и большие расстояния и большое время. Поэтому все вопросы улова и увеличения улова превращаются в вопросы «абстрактные», если они не связаны теснейшим образом с вопросами обработки рыбы. И тут сразу же в Азово-Черноморье мы сталкиваемся со своеобразной местной «диалектикой рыбной промышленности».

Больше всего в Черном море вылавливается хамсы и тюльки: план стараются выполнить именно за счет этой рыбы, так как ловить ее легче и лов ее широко освоен, а самой этой рыбы в море очень много, в то время как ценные сорта ловить труднее, массовый лов их почти еще не освоен, и только сейчас, например,

предлагаются усовершенствованные орудия лова на кефаль, которой в море тоже очень много и вылов которой можно было бы увеличить по крайней мере в два раза.

Дельфин — романтическое животное Черного моря, воспетое еще древними греками,— любит вкусную рыбу и поедает ее во множестве. Ученые вычислили, что этот античный зверь фактически «держит в своих руках весь рыбный промысел Черного моря», поскольку мы научились покуда брать с одного гектара этого моря всего два килограмма рыбы, а дельфин берет 50 килограммов с гектара. Так вот, мы еще уступаем дельфину пальму первенства по вылову ценных рыб и довольствуемся покуда массовой рыбкой — хамсой и тюлькой.

Но пусть не думает читатель, что взрослая, вошедшая в тело хамса (не «нитка» по возрасту!) — плохая рыбка; нет, это хорошая и вкусная рыбка с чрезвычайно большим процентом жира. Попади она к потребителю в хорошей обработке, никто не пожаловался бы. Но что означает хорошая обработка хамсы? Представьте себе, читатель, что вам надо сшить одежду на миллиарды крохотных человечков, «мальчиков с пальчик». Что легче: одеть полмиллиона людей или миллиард крохотных человечков? Портные с ужасом откажутся от этого последнего заказа, требующего чудовищной кропотливости и старания. Но если заказ обязателен? Тогда портные поищут и найдут выход. Что церемониться с этим копошащимся миллиардом! И вместо того, чтобы шить человечкам подряд рубахи, блузки, штанишки, да еще фасонные, они набросят на них гуртом какую-нибудь марлю, в которую высунут свои ручки и ножки бедные «мальчики с пальчик», давя друг друга, задыхаясь, приминая свое тельце и чудовищно его искривляя.

Примерно это самое и получилось у нашей рыбной промышленности с хамсой. Ничтожнейший процент ее обрабатывается маринованием и копчением, редко-редко найдешь этот продукт в магазинах; а вся главная масса — не менее 90 процентов — идет на грубый засол. Но и засол тоже не плохая вещь, если солить ак-

куратно и укладывать рыбу в бочки рядами. Но на миллиарды не напасешься рабочих рук, миллиарды крохотных рыбок, если их каждую укладывать, потребуют такого количества человеко-часов и такой оплаты, что (даже если удастся найти нужное множество рабочих) стоимость дешевой хамсы вырастет чувствительно. И поэтому в керченских засолочных цехах массовой рыбе оказывают и массовый «подход»: ее сыплют с солью в бочку, где она усердно приминается и наполовину превращается в «лопанец», то есть лопается, выпуская лучшую свою ценность — жир — в соль, иначе сказать — теряя свой вкус и питательность. Такою — высохшей, искривленной, соленой — идет она дальше, как дешевый продукт, отпускаемый на вес без тары, за тысячи километров к неприхотливым потребителям. Можно ли, обозрев все это в совокупности, считать, что такое выполнение плана удовлетворительно для Советского государства?

Но и ценную рыбу, крупную рыбу мы не всегда обрабатываем так, чтобы она дошла до потребителя во всей полноте своих ценных качеств. И тут вопрос упирается не только в недостаток холодильников, механизмов, хорошей тары, нужных цехов. Консервы потеряли многое из своей вкусности и питательности и отчасти даже годности к долгим срокам безопасного хранения оттого, что мы вынуждены были отказаться от употребления прованского масла. Сейчас мы могли бы для наиболее ценных сортов вернуться к этой старой, оправдавшей себя и экономически более выгодной для консервов технологии (масло — отличный изолятор, и в нем дольше сохраняется консервируемый продукт!).

Не нашли мы еще и секрета такого холодного копчения, при котором продукт был бы так же популярен у потребителя, как быстро портящийся, но вкусный и сразу разбираемый в магазинах товар горячего копчения. А стоило бы проверить в наших рыбных магазинах судьбу многих товаров холодного копчения,— скажем, крупной дальневосточной скумбрии! Сколько ее списывается как испортившийся продукт, сколько изымается санитарным врачом как уже негодной для

продажи! Между тем в Москве в тех же магазинах примерно на день — два, а в некоторых на часы мелькнула мелкая черноморская скумбрия по очень высокой цене и была расхватана молниеносно, потому что москвичи тотчас же оценили ее необыкновенные вкусовые и питательные качества. Почему не продумать этот случай? Ведь убыток на испорченном, непроданном, невкусном товаре — вещь показательная, так же как молниеносная распроданность вкусного товара, и ее-то прежде всего должны были бы принять во внимание руководители рыбопромышленных и планирующих организаций.

Обработка рыбы — большое и старое искусство. И как во всяком искусстве, она имеет своих замечательных мастеров. В керченском колхозе имени 1 Мая, как и в других рыболовецких колхозах, есть свой засолочный цех — нечто вроде филиала большого керченского завода. Это огромный, очень чистый двор с большим рыбонасосом, которым по конвейеру прямо из прибывшего с лова судна высасывается длинным потоком серебристая рыба и поступает в большие засолочные ванны, стоящие тут же. Так чисто в цехе, что нет даже противного запаха сырой рыбы, а вот из дверей открывшегося каменного помещения пахнуло даже очень приятным запахом, каким-то теплым, знакомым, солнечным,— запахом копчения, где к аромату вкусной рыбы еще прибавляется горьковато-аппетитный запах дымка. В этом здании подвешена коптящаяся барабулька, тоже небольшая рыбка, но висит каждая в отдельности, а внизу горят кучи из древесных опилок, горят медленно, и стены вокруг, где коптится рыба, лоснятся от жирной, блестяще-черной атласной копоти.

Здесь мы были посвящены в тайны горячего и холодного копчения, технология которого не изменилась, быть может, не только с средних веков, но и с древних времен. Мастером своего дела работает здесь старый заслуженный рыбообработчик, уже сорок лет занимающийся рыбой, Спиридон Дмитриевич Бузина. Худенький, живой, но не быстрый в движениях («Поспешишь — людей насмешишь»), в очках на прищуренных глазках, словно хотят эти глазки взглянуть на вас

не в очки, а непременно из под-очков, Спиридон Дмитриевич просто говорит, без хвастовства в голосе: «Моя рыба — образцовая, когда выходит, на ящиках стоит фамилия Бузина».

Сколько секретов и приемов знает такой мастер! И сколько их, чудесных, старых рыбообработчиков, отлично понимающих все, что требуется для вкусности рыбы! До сих пор ни разу ни главк, ни министерство не удосужились собрать вот таких старых, опытных мастеров-рыбообработчиков вместе с инженерами и механизаторами на совещание по качеству обработки. И о том, как сделать холодное копчение вкусным, качественным; и о том, какая рыба какой обработки требует, а может быть, дальневосточная скумбрия и вовсе не годится для холодного копчения? И о том, как доставлять кефаль свежей до потребителя (ведь она вкуснее наваги), и о кефальей икре, хорошо изготовленной, и о вялении... Об этом особый разговор! Наш народ всегда, с давних времен любил вяленую рыбу. Попробуйте послать лесорубам в далекие уральские леса вместо бочек с лопанцами хамсы хорошую вяленую тарань! Но, скажут мне, ведь вялим воблу, а это — дело сезонное, летнее, вяленая вобла много времени не выдерживает, сохраняется плохо. Это правда, только речь идет не о вобле. Хотя и воблу (сухую, с мясом ржавого цвета, мало питательную) расхватывает потребитель тотчас, как она появляется, но вобла ни в какое сравнение с таранью идти не может. Тарань крупнее, жирнее, питательнее и несравненно вкуснее. А главное — все дело в вялении. Искусство вяления тоже требует своего мастера.

— Ежели тарань хорошо провялить,— говорят знающие обработчики,— да держать ее в сухом месте, то она смело будет храниться целый год без порчи.

Вот какой ценный, годный для дальних перевозок и долгого хранения и в то же время дешевый пищевой продукт могли бы мы иметь, если бы сумели возродить запасы тарани в Азовском море и создать ее качественную обработку. Вообще совещание старых мастеров рыбообработки вместе с молодыми специалистами

могло бы многое подсказать этим последним — и в области улучшения массовой обработки и в области ее механизации.

Жалобы потребителей на то, что некоторые сорта рыбной продукции стали менее вкусными, нежели раньше, отнести надо не только за счет вопросов обработки. Я уже писала в предыдущей главе, как в научно-исследовательском институте подметили падение жирности у леща и хамсы за последние годы. Знаменитая керченская селедка тоже несколько утратила свою прежнюю жирность. Здесь, кроме упомянутых выше причин — загрязнения дна и лиманов,— играет некоторую роль и сокращение времени нагула рыбы, сокращение путей ее плавания. Жизнь рыбы — в движении. Трудно представить себе те огромные расстояния, которые она «изживает». Смерть рыбы — в неподвижности, в засыпании. И когда на путях обычного продвижения рыбы встречается новое, неожиданное препятствие, путь рыбы сокращается. А это значит, что сокращаются и средства для ее биологического созревания, для ее полноценности. Нам надо научить рыбу обходить новые препятствия.

Так, на пути обычного следования керченской сельди стала Цимлянская плотина. Ее строители не забыли о рыбе, они создали удобный «лифт», по которому рыба могла бы подниматься и опускаться, продолжая свой тысячелетний, знакомый путь. Но создать средства перехода — еще мало, надо приучить рыбу ими пользоваться, а сельдь не пошла к лифту, повернула назад, укоротила свой обычный путь. Между тем наши биологи могли бы поставить задачу выработки у рыбы условного рефлекса на прохождение лифта, освоение его. Пчелы долго не хотели садиться на клевер, они его облетали. Тогда наши ученые-пчеловоды путем использования аромата клевера притянули пчелок на клевер. Неужели же мичуринский подход к рыбам,— разумеется, иными приемами, нежели к пчелам,— не оправдал бы себя?

В этой области, как и в области разведения и возрастного выращивания рыбы в искусственных и природных небольших водоемах, сделано у нас еще очень

и очень мало. А между тем в Азово-Черноморье такие водоемы есть, и кефаль, например, можно было бы в них выращивать в большом количестве. Об этом не раз поднимал вопрос инспектор Крымрыбвода тов. Шадаев.

И еще одно замечание. Из всех видов обрабатывания рыбы, скажет вам любая хозяйка, все же самое вкусное и питательное для человека — это из сети в кастрюльку и на сковородку. Хорошо, если бы наше централизованное снабжение всегда имело в виду интересы и нужды людей, не только живущих за тысячи верст от места вылова данной рыбы, но и под самым, что называется, носом у него,— ведь люди-то такие же, советские, и потребление там такое же, советское, как и всюду. Но попробуйте в Керченской гостинице в разгар, скажем, ловли хамсы или тюльки, а в Мурманской гостинице в разгар ловли семги (о прочих бассейнах не знаю) заказать жаренную на сковородке хамсу или семгу — вы их не получите. Вам ответят: на базе их нет. Попробуйте в Керчи в рыбных магазинах найти керченскую селедку, горячего копчения барабульку, вам предложат полярную сельдь и дальневосточные консервы. Только на рынке, у маленьких досочек, сдвинутых куда-то в сторонку, два-три рыбака-любителя вытащат перед вами из мешка «знаменитую селедочку» и даже «селяву на славу, семь целковых пара».

Множество вопросов притянула за собой эта «знаменитая селедочка», и все же они далеко не исчерпаны.

Керчь, 1953

ГЛУБЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

1

Старый друг, узнав, что я еду в Керчь, сказал мне: «Вы попадете в сердце нашей археологии! Вы увидите замечательные вещи, о которых в прошлом веке заговорил весь просвещенный мир; пойдите первым долгом в Керченский музей, в склеп Деметры, в Царский склеп!»

Но я не послушала старого друга и тотчас по приезде в Керчь пошла изрытой и крутой дорогой на зеленый горб, одиноко стоящий прямо среди центральных керченских улиц и носящий имя царя Митридата. Поднявшись на него, вы, не выходя из города, прямо попадаете «за город» — на широкий зеленый простор, овеянный неповторимым воздухом Восточного Крыма: смесью соленой морской свежести, и сухого степного запаха полыни, и пожженной солнцем травы. С вершины этой горы при некоторой доле воображения можно охватить мысленным оком весь Керченский полуостров — эту полосу древнейшей земли между двумя синими морями: Азовским и Черным. С вершины этой горы, где некогда понтийский «агрессор» Митридат VI Евпатор покончил, как говорит легенда, с собой, не вынеся поражения, и где сейчас возносится вверх великолепный памятник славы наших войск, можно загля-

нуть и в глубь времени, увидеть на три тысячелетия назад, задуматься над пройденными тут ступенями развития разных культур и народов: древних обитателей этих мест — сначала киммерийцев, а потом скифов, и сарматов, и античных греков, пришедших сюда торговать и «эллинизировать» Крым.

Наконец с вершины этой горы, стоя вот так, на ветерку, обдающем нас йодистой влагой моря и полынной сухостью степи, неплохо представить себе и всю историю русской археологии, начавшейся на заре XIX века именно тут, в Керчи, и все прошлое столетие чуть не на девять десятых определившейся именно керченскими раскопками, а сейчас, в советское время, тут же, на керченской земле, с особой остротой пережившей свое новое рождение и свой новый, социалистический расцвет... Словом, многое можно представить себе и обдумать с горы Митридата. И я задумалась, глядя вокруг, не о том, что было здесь три тысячи или две тысячи лет назад, а только о маленьком промежутке времени в сто тридцать три года.

Если б древний пепел земли мог хранить легкие отпечатки человеческих ног, гора Митридата сохранила бы как святыню следы быстрых шагов, проложенных по ней ровно сто тридцать три года назад. Где только не находит советский исследователь эти следы, по каким путям и дорогам, в каких областях культуры не пролегли они, каких только углов не коснулись за короткую жизнь — половину нормальной человеческой жизни! Вскользь брошенное замечание, беглое слово, мимолетный, но орлиной зоркости взгляд — и вспышка молнии для исследователя, на миг выхватывающая контуры из темноты. Сто тридцать три года назад по этим склонам прошел Александр Сергеевич Пушкин.

В сентябре 1820 года он писал из Кишинева своему брату Льву Сергеевичу:

«С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи,— думал я,— на ближней горе посереди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных,— заметил

несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни — не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею,— вот все, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками; какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий — но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится» *.

В тот год Пушкин мог видеть с горы Митридата жалкий городишко в две улицы; домов тогда в Керчи, по словам историков, было меньше, чем курганов вокруг; пустынные берега с избенками рыбаков и земля, разделенная между крупными помещиками. Правда, в земле было железо, и про железо уже слышали заграничные хищники. Археология, как всегда, рождалась тут случайным следствием экономической и хозяйственной жизни своей эпохи. Роют фундамент дома — и натыкаются на древний склеп; разрабатывают руду — и попадают в засыпанное веками жилище; пашут землю — и вырывают клады: зеленые от времени монеты, металлические кувшины, глиняную посуду; строят дом — и тащат на постройку лежащие вокруг с незапамятных времен плиты, обтесанные рукой человека, подчас с орнаментом, с непонятной надписью... Так прошлое стучится в жизнь, и сделанное рукой человека тянется из земли опять к человеку. А самое замечательное в этой смычке веков — обжитость, обработанность одних и тех же уголков земли, куда упорно, тысячелетиями тянется воля человека, где он снова и снова после пожаров, землетрясений, вулканических извержений, опустошительных войн разводит свои огороды и пашни, закидывает свои сети, строит свои дома и крепости, ограждая их каменными стенами. В этом смысле Керченский полуостров — один из самых благодарных уголков земли для одной из самых, казалось бы, бесстрастных и обращенных лицом в прош-

* А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, Академия наук, 1937, т. 13, стр. 18.

лое наук — археологии,— но в действительности страстной и злободневной науки, глубоко связанной с современной ей жизнью.

Сокровища, о которых мечтал Пушкин, были вскорости выкопаны из-под «насыпанной веками» земли. «Француз», которого упомянул он, был, вероятно, археологом П. Дюбрюксом, заложившим своей домашней коллекцией древностей будущий замечательный Керченский музей. Открытый еще при жизни Пушкина, спустя шесть лет после его прогулки на Митридатову гору, в июне 1826 года, музей этот, гордость Крыма, носит сейчас имя А. С. Пушкина.

Но бурное развитие русской археологии в прошлом веке было сковано и русским самодержавием и русским капитализмом. Деньги на раскопки давались теми, кто хотел получить дорогие античные предметы искусства, достойные украсить тогдашний «императорский» Эрмитаж, бывший личной сокровищницей самодержавцев. А эти чудеса античного искусства находятся обычно в могилах «сильных мира сего», и археологи вынуждены были все свое внимание обратить на раскопку уникальных, единичных объектов: курганов, царских усыпальниц, богатых склепов. Много прекрасного было вырыто ими из-под керченской земли! Дивные расписные вазы, тончайшей резьбы деревянные саркофаги царей, изящнейшие ювелирные украшения из золота — все это носило название «керченских древностей», все это пленяет сейчас в витринах Эрмитажа. Кое-что скупленное и просто награбленное во время Крымской войны англо-французскими войсками, оккупировавшими Керчь, было вывезено из России. Русские помещики не отставали от иностранцев. Они рыли древнюю землю и продавали найденное за границу. По керченской земле бродили люди, одержимые «керченской лихорадкой». Советский человек знает и остро переживает чувство находки. Наших детей воспитывает романтика краеведческих экскурсий, когда можно открыть для науки неведомое еще растение, неотмеченную рудную жилку; наши рабочие живут пафосом открытия новых, более быстрых и совершенных приемов производства; наши колхозники знают вдохновенную радость открытия, когда выводят

новые сорта злаков, находят новые способы обработки земли. Даже просто в поисках милого камешка на берегу счастлив советский человек радостью находки. Но как далеки эти радости от горячки купли-продажи! А в прошлом столетии одержимые искатели древностей из «любителей» горели именно этой жаждой купли-продажи, подобно авантюристам-золотоискателям где-нибудь в Клондайке. И древности, необходимые для науки, покупались и продавались; керченские лавки были полны ими. Тщетно пытались археологи бороться с расхищением драгоценных свидетельств истории: на суде оправдывали расхитителей.

Если все же стараниями русских ученых русская археология прочно стала на ноги, а вырытые керченские древности во многом помогли изучению древнего Боспорского царства, то само это изучение в силу ограниченности материала носило односторонний характер. И в глуби веков, как сейчас, цари и вельможи предпочитали всему родному импортное, уникальное, завезенное из-за границы; а массовыми местными предметами обихода пользовался простой народ; как и сейчас в странах капитала, «сильные мира сего» через головы народных масс якшались с завоевателями — врагами культуры побежденного народа.

Эллинская колонизация Восточного Крыма повела к усиленному импорту, к внедрению на Крымском побережье не только предметов выработки Эллады, но и самого античного стиля греков, их орнаментики, технологии, моделировки. Чернолаковые вазы, уникальные предметы ювелирного искусства из царских гробниц и погребений знати — все это был эллинский Крым. И как раз изучением эллинизма в раскопанных древностях, правда, в своеобразном местном преломлении, и занялась первоначально русская археология. Чтоб выйти на широкое поле обобщений, искать не уникальные предметы, а массовые свидетельства минувших веков, изучать не быт властителей, а жизнь общества, народную жизнь, нужно было начать раскапывать в широких масштабах не только курганы и склепы, но и места, не обещавшие «дорогостоящих» находок, то есть большие городские поселения — обиталища простых людей — и

большие массовые некрополи (кладбища) — захоронения рядовых жителей. А на это царская казна денег не отпускала. Вот почему, несмотря на ценные находки, о характерных особенностях культуры Боспорского царства было известно в прошлом веке все же очень немного; несмотря на явно неэллинские, своеобразные, местные черты, пробившиеся через «греческий стиль» изделий боспорских художников и ремесленников, все еще мало было известно о коренных жителях Крыма и их роли в развитии культуры древнего Боспора. И вот почему о жизни самого народа, о создателе вырытых ценностей, изготовленных в городах древнего Боспора, о труженике, о ремесленнике, о воине, о пахаре Восточного Крыма археология прошлого века ничего почти не знала и не говорила.

«Керченская лихорадка», подобно всем лихорадкам, в начале нынешнего века пошла на убыль. Все уникальные объекты, а с ними вместе и все ценные предметы были выкопаны, выбраны, вывезены из Керчи. Опустела, казалось бы, керченская земля. Так крепко уверены были люди в полной «раскопанности» Керчи, что даже и в наши дни можно еще услышать: «Вы в Керчь? Оттуда уже все вывезено, там больше нечего искать археологам, это яркая страница прошлого русской археологии!»

После Октябрьской революции наша отечественная археология вступила в новую эпоху. Именно там, где родилась русская археологическая наука,— в Керчи — происходит сейчас и ее перестройка на принципиально новых началах. С 1932 года здесь работает наряду с другими Боспорская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Академии наук СССР. Руководитель ее, советский ученый, автор большого труда о Боспорском царстве Виктор Францевич Гайдукевич, провел уже семнадцать экспедиций на керченской земле. Одни за другими появились «на свет» древние города, селения, массовые кладбища, сельские усадьбы Боспорского царства, рассказывая полным голосом о жизни коренного населения этих мест, о жизни народа, безыменного творца и создателя всех материальных благ на земле.

Выше я писала, что все созданное руками человека тянется из-под земли назад, к человеку. Никогда еще мнимо опустошенная керченская земля не тянулась так к археологам неиссякаемым множеством засыпанных в ней свидетельств былых веков, как в эти годы и в эти дни семнадцатой по счету раскопочной экспедиции, давшей необычайно богатый материал для советской археологии. За 20 лет стали явью города Тиритака, Мирмекий, Илурат, Порфмий, которые мы знали только по названиям, изредка встречающимся в греческих источниках. За 20 лет явной стала древнейшая хозяйственная жизнь Керченского полуострова; перед нами раздались стены усадеб с их винодельнями, скотными дворами, кормушками для птиц, крупными зернохранилищами; раскрылись очаги, полные золы от огня, горевшего в них тысячи лет назад; мусорные ямы с костями домашних животных и черепками разбитой посуды; улицы, узенькие, как сейчас в восточных городках, со ступенями, ведущими к жилью, а в самом жилье — следы древнего водопровода и канализации. И за одним этим видимым миром показался другой, более древний. Бурные дни, пережитые человечеством, смена войн и мира угадываются здесь археологами в толще оборонительных городских стен, в их надстройках, в огромных утолщениях, сделанных в более позднее время. Грозные катаклизмы и бедствия прочитываются в черных следах пожарищ, в массовых разрушениях. Древние культуры говорят о себе жертвенными костями, глиняными фигурками домашних богов, золой алтарей. Военные поселения с их особою жизнью полувоинов-полуземлепашцев раскрывают в разбивке и планировке жилищ свой быт. Кто знаком с увлекательными страницами книги академика Жебелева о восстании (в 107 году до нашей эры) рабов в Боспорском царстве во главе со скифским рабом Савмаком, может ярко представить себе, как читаются и прочитываются учеными, как оживают под их взглядом все эти бесчисленные материальные свидетельства кипевшей на керченской земле жизни.

2

Мне удалось попасть в Керчь к концу семнадцатой раскопочной экспедиции. И вот я еду вместе с участниками и бронзовым от загара начальником ее профессором Гайдукевичем по широкому степному простору. На горе Митридата вы, будучи в городе, чувствовали себя далеко за городом. А здесь, по-настоящему покинув Керчь, вы никак не можете вырваться из ощущения огромного человеческого жилья, охватившего вас своими гигантскими масштабами со всех четырех сторон. Выбегает на дорогу новый, чистенький городок строительства. Стоят на горизонте, как черные великаны стрекозы, «отвальные мосты» у железнорудных насыпей. Шумно живет какая-то фабрика, а за нею еще и еще одна. В эту осень здесь работает пять отрядов Боспорской археологической комиссии, каждый — во главе со своим руководителем. Разбросаны они на десятки километров друг от друга, в разных концах от Керчи. По дорогам и бездорожью мы едем от одного объекта к другому, прихватывая и те, где в нынешнем году не ведется работа, как город Тиритака с его десятками рыбозасолочных ванн, цементированных внутри, и Царский курган, несравненный по своей архитектурной красоте, раскопанный еще в 1837 году. Но главное, для чего мы выехали, берет у нас большое время и требует внимательного осмотра.

Пять объектов, где сделаны этой осенью замечательные открытия, обогатившие советскую археологию,— это, во-первых, античная сельская усадьба, уникальный памятник хозяйственной жизни двухтысячелетней с лишним давности; во-вторых, впервые раскопанная часть боспорского города Порфмия с находками от VI века до нашей эры; в-третьих, недавно открытое поселение эпохи бронзы второго тысячелетия до нашей эры (это значит глубь четырех тысяч лет!); в-четвертых, огромное кладбище IV века до нашей эры, где сейчас раскопано около 100 могил; и, в-пятых, продолжающиеся раскопки своеобразного города — военного поселения — Илурата, не похожего на другие боспорские города.

Сельская усадьба — почти на городской окраине. Кто ни разу не был на раскопках, при первой встрече с ними почувствует себя слегка разочарованным: открытый бугорок или полянка, кучка людей, и не видно, над чем и почему копошатся там эти люди. Вы вступаете в их среду, осторожно прыгаете по каменной кладке там, где вам укажут, а ветер свистит у вас в ушах, холодит вам корешки волос, словно поет о прошлом, и молодежь вокруг, студенты-практиканты с взволнованными, счастливыми лицами, и начальник отряда, веселая, жизнерадостная ленинградка, снисходительные к невежеству вашему, терпеливо рассказывают, как если бы мы стояли где-нибудь на колхозном дворе, что вот это античный курятник, а на этом давили виноград, и он стекал вот сюда, а здесь хранилось зерно. И вы вдруг через час-два начинаете сами разбирать круглое клеймо на ручке красноватого кувшина с острова Родоса, прямоугольное на бледном кувшине из Синопа, и отличать терракотовую статуэтку Геракла от какой-нибудь другой. Когда все это приключится с вами, вы вдруг почувствуете поэзию советской археологии и страстно увлечетесь ею. Ведь это люди, люди жили здесь и говорят о себе через вещи. Люди украсили жилье расписной штукатуркой, пользовались художественной посудой, ходили, работали, дышали здесь. И люди, новые, советские, через две с лишним тысячи лет хозяйственно изучают и восстанавливают угасшую, далекую жизнь... Нет, не угасшую, а продолжающуюся в советской науке!

Едем, минуя старинную крепость Еникале, туда, где самое узкое место пролива и где сейчас переправляются на катерках из Крыма на Кавказ, на кубанский берег, точь-в-точь как переправлялись и в древности на берег тмутараканский. Поднимаемся к раскопкам города Порфмия, в переводе означающего «Переправа». С конца июня здесь вырыто около тысячи квадратных метров, дающих представление о бойком рыбацком городке у переправы. Множество орудий лова — бронзовые крючки для уженья, грузила для неводов; узкие улички — около двух метров ширины; дом в три комнаты; посуда из обычной глины местного производ-

ства, по-своему изменяющего античные образцы; культовые статуэтки богини Деметры, светильнички маленькие из красной глины с изображением бога солнца возле отверстия для фитилька. Под городом, прожившим с VI по I век до нашей эры, сейчас раскапывают другой, более древний слой. Но самым интересным в Порфмии было знакомство с человеком, который открыл его и указал на него Боспорской археологической экспедиции. Небольшого роста, в форменной фуражке путейца, с развевающимися длинными седыми волосами и палкой в руке, Василий Васильевич Веселов предстал перед нами как своего рода бог Гермес здешних мест. Инженер-транспортник, ученик Е. О. Патона, один из работников местной стройки, Василий Васильевич в свои выходные дни вместе с сыном-школьником бродит по керченской земле и делает важные открытия, но как отличается этот советский энтузиаст от лихорадочно рыскавших в поисках древностей «энтузиастов» прошлого века! Василий Васильевич не просто ищет: он читает древних авторов, ловит у них намеки на географическое положение города и, найдя что-нибудь, дает тотчас знать работникам Керченского музея, этой базы всех здешних археологических экспедиций; дает знать Боспорской экспедиции и даже публикацию делает в научном журнале. Это он нашел и селище эпохи бронзового века неподалеку от Порфмия. Впрочем, дадим говорить ему самому. Когда я уже вернулась из Керчи, Василий Васильевич в письме ко мне рассказал:

«Я набрался смелости и заглянул теперь за спину Боспорского царства и увидел более древнюю киммерийскую страну. В V веке до нашей эры Геродот писал, что на берегах пролива (Керченского) проживали некогда киммерийцы, именем которых он и называет пролив. Позавчера мне удалось обнаружить остатки четвертого селища эпохи бронзы. Первое было обнаружено мной в октябре 1952 года... Наличие четырех селищ бронзового века на территории примерно в 15 квадратных километров показывает, что Керченский полуостров, в частности берег пролива, еще задолго до прихода колонистов-греков был густо заселен».

Профессор В. Ф. Гайдукевич высоко ценит работу этого археолога-любителя. Раскопки первого из открытых селищ бронзового века дали нынешним летом большие научные результаты. Найденные предметы показывают, что уже четыре тысячи лет назад люди знали здесь земледелие (об этом говорят каменные зернотерки), хотя жали они еще кремневым серпом. Знали и животноводство и рыболовство: раскопано множество костей домашних животных и рыб...

Из Порфмия ехала я, еще смутно разбираясь в черепках завозных афинских ваз и замечательных лепных, словно в гофре, скифских сосудов. Но на четвертом объекте раскопок, большом могильном поле — некрополе,— знания мои несколько укрепились. Трудно представить себе кладбище, более полное жизни, чем этот некрополь, где мертвецы лежат уже полных две тысячи с четвертью лет. Стены его почти смыкаются с территорией заводской стройки. Веселое уханье, гам и гром несутся оттуда в кладбищенскую тишину, а в вырытых каменных могилах сидят молодые ученые, сидят прямо на земле, копаясь в рыхлой почве и бережно вынимая из нее находки. Каждый говорит про «свою могилу» с какой-то особой археологической гордостью: «Моя могила» — и про вычищенные, высушенные временем, аккуратно расчищенные кости: «Мой покойник». На особых листах ведется опись находок, и какие блестящие, счастливые глаза были у студента, показавшего мне, выскочив из могилы, свою замечательную находку — поясной бюст Персефоны, ставившийся в могилу как символ воскрешения из мертвых (по древнему мифу Персефона, похищенная Плутоном, в конце концов вышла из ада). Тут довелось мне присутствовать при самом процессе раскопки. Одна за другой появлялись в руках у археологов то ваза с пояском, черного цвета; то зеленая монетка; то египетские четырехугольные стеклянные бусы, расписанные желтыми елочками; то флаконы из глины для благовоний. В мужских могилах выкапывали из земли орудия производства, знаки профессии: точильный камень, гирьки торговцев, скребки для спортсменов. В женских могилах этого массового кладбища обыкновенных городских людей нередко попадались

круглые бронзовые зеркала. Мне показали, как ведется научный дневник раскопок, снимается план могилы, указывается на бумаге точное положение скелета и находок. За этим «воскрешением из мертвых» застал нас быстрый южный вечер. И мы были в Илурате уже в сумерках, утомленные виденным, не вмещающие новых больших впечатлений от нового, широко уже раскопанного города, где воины должны были и пахать землю, где огромные плиты-закрома держали, должно быть, общее, «коммунальное зерно», где найден подземный ход из городища за городскую стену.

Как хороша наша советская жизнь, мудрым хозяйским оком вглядывающаяся в былое, воздающая дань миллионам безыменных тружеников, воскрешающая их из забвения! И как бессмертна жизнь, связанная умной памятью поколений! На одной из каменных плнт, стоящнх у входа в Царский курган, прочитали мы греческую надпись, звучащую как пожелание потомкам:

«С добрым счастьем».

Для нас, для людей советской эры, доброе счастье уже наступило.

Керчь, 1953

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ПИСЬМА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Множество людей завидует двум чудесным чехам, исколесившим Африку и собирающимся завоевать весь свет колесами своей отчественной машины. Но есть люди, которых увлекает не только сама поездка и веселое бесстрашие двух молодых, полных сил и здоровья путешественников, а и машина — эта небольшая, «отчаянная», с хребтом, выгнутым, как у кошки перед прыжком, бесподобная «Татра». Ее сделал чехословацкий народ. И сделал хорошо, так, что машине можно было довериться и в Африке с ее песками, и в топях, и на речных переправах, и в бездорожье, и на крутых подъемах. Чехословацкий народ — один из культурнейших в мире, построивший первый каменный мост в Европе — чудо тогдашней техники, создавший первый университет в Средней Европе — форпост тогдашнего просвещения,— строит сейчас социализм. Как реализует он свою тысячелетнюю славу, знаменитую чешскую «чистоту» работы в труде социалистическом? И как, из каких народных истоков сложилась вообще эта высокая культура труда современной Чехословакии? Вопрос для нас жизненно интересный. Ведь именно в этом, в национальных особенностях культуры труда народа, в характере приемов и опыта поколений, и заключается то новое, свое, неповторимое, что вносит каждый народ близких нам по общественному строю республик в строительство нового мира. Недавно один из наших туристов, уезжавший в Варшаву, сказал корреспон-

денту: «Посмотрим на их успехи». Мне захотелось посоветовать ему вдогонку: посмотри, как и чем эти успехи достигаются... Посмотри, в чем отличие их способов работы от наших, где они лучше, где хуже... Загляни в тайну народных особенностей, вносимых, как цветы родной земли, в общий букет, сплетаемый человечеством, и если тебе удастся это, ты сделаешь полезное дело и для себя и для своих!

Но увидеть, каким путем создается национальный стиль в работе, труднее, чем разглядеть новые корпуса заводов или новые серии машин, сходящих с конвейера. Путь к пониманию его лежит, как мне кажется, в знакомстве с общей культурой народа. Вот почему ответ на вопрос о чистоте производственной работы чехов я стала искать для себя в музеях и школах, городских проектах и учебных программах, музыке и концертных залах... и если не получила его полностью, может быть, все же подошла к нему.

ЖИВЫЕ КАМНИ

Можно воображать, что знаешь Прагу,— и ничего в ней не знать. Можно обежать все ее музеи, оглядеть все ее уголки,— и не услышать, не увидеть Праги. Десятки альбомов учат понимать ее архитектуру; они вводят вас в контрапункт ее старых черепичных крыш, похожих, если глядеть сверху, с вышки Староместской ратуши, на волнообразные следы морских прибоев в нагроможденных холмах прибрежного песка; останавливают вас на тесном городском ансамбле, где явственно, словно в палеонтологическом разрезе, наслоились друг на друга столетия; они разворачивают перед вами скульптурные фигуры поздней готики и барокко, украшающие город,— во всей напряженной стремительности их движений, резких поворотах плеч, вихрем развевающихся складках плащей и бегущих за вами следом странных, необычайно выразительных улыбках. И все же вы пройдете только предварительную школу грамоты в познанье Праги — только буквы алфавита, а как их складывать, как прочесть по ним слово, полное смысла, может научить лишь встреча с Прагой один на один, с глазу на глаз,— при долгом, многодневном странствовании по камням этого единственного в мире города. Помню, зимой 1915 года пришлось мне бродить неделями по улицам Рима; шла мировая империалистическая война, она кровно задевала Италию, но яркое фаянсовое небо над Римом, словно промытое тысячелетиями, было спокойно, и город лежал перед глазами

в ясной разделенности его прошлого от настоящего. Прошлое было вкраплено в настоящее мертвыми музейными кусками,— и странным показалось бы, переступив в центре города открытый порог Форума Романума, где вас сразу же мертвым хором окружают разбитые, древние камни, куски повалившихся карнизов, уцелевшие одинокие колонны,— странным показалось бы, если бы этот мертвенно серый мрамор обратился к вам с теплой речью современника. Нет, он был мертвым, и монотонная речь гида хоронила его снова и снова. Мне припомнились мои римские странствия в бесконечных счастливых скитаньях по Праге из яркого чувства контраста, потому что мертвых камней в этом тысячелетнем городе не было.

Первое, что захотелось мне в начале знакомства с Прагой, это — услышать звуки ее голоса, и я выбрала для этого наугад, хотя необыкновенно удачио, воскресный день. Со слуховым аппаратом на ушах и с картой в руке вышла я на улицу. Воскресенье, по словам западноевропейских романистов,— самый скучный день на неделе. Сколько пришлось читать мне об этой скуке воскресенья, когда «некуда пойти», кроме обязательной церкви, когда довольствуешься подчас холодной пищей и лишен в городе той нервной лихорадки «урбанизма», к какой привык в будни. Прага (и в этом она чуть похожа на Лондон) воскресный день еще соблюдает, хотя для удобства пражаи, не нарушая, впрочем, тишины на улицах, уже торгуют дежурные магазины. Но как же начинаешь тут понимать благодетельный характер мнимой воскресной «скуки», покой необходимого единственного дня в неделе, когда у городского человека должны отдохнуть нервы!

Дивная тишина стояла на улицах и площадях Праги, тишина, в которой все сразу стало явственно слышно: звонкие, но не шумные голоса немногих играющих ребятишек, оставшихся летом в городе; слабый, чуть тенорковый звон колокола, зовущего к воскресной мессе; стеклянный удар древних астрономических башенных часов (говорящий о затейливой механике эпохи молодости Праги, когда механика была «художеством» вроде ювелирного дела), и выше всего, надо

всем, из перламутрового ветреного пражского неба — свист птичек, которых я долго не могла определить, что́ они за птички: похожи в полете на ласточек, но не ласточки, потому что сплошь черные и свистят по-особому. Мне говорили: это черные дрозды, но птички не были дроздами. И только Ян Дрда назвал мне их, нежно выговаривая,— «рорэйс», и мы нашли в словаре, что рорэйс — это черные касатки. В обычные дни недели их слышно лишь на закате, когда стихают уличные шумы и они стаями взмывают в небо, непрерывно кружа и свистя на разные тона, словно купаясь на прощанье в уходящем свете. А в воскресенье свист их, удивительный, умиротворяющий, лился невозбранно над средневековыми двориками Каролинума и крохотной площадью д-ра В. Вацека, над шумной в обычные дни Малостранской, с ее перекрещивающимся движением,— и ни треск мотоциклов, ни рокот автомобилей, с неприятным, хотя и слабым стоном сирен, сейчас не заглушали его. И в этой тишине, пронизанной короткими свистами касаток, с необыкновенной ясностью заговорили камни Праги.

Надо сказать, что Прага, в отличие от тысяч городов, старых и новых, почти не знает штукатурки. Ее здания стоят века, не нуждаясь в ремонте,— так добротно их строили каменщики. Лицо этих зданий хранит без всякого грима глубокие, четкие следы времени, подобно морщинам на старых портретах Деннера: камни сами рассказывают обо всем, что пережито поколениями людей в их стенах. Можно ничего не знать наперед и не иметь никакого спутника-пражанина, а только выйти навстречу этим живым камням — и вас окружат их рассказы, из которых вы почерпнете множество исторических сведений. Вот вы прошли под старинной аркадой на Тынскую площадь, и со стены глядит на вас лицо чешского художника XVII века, а под его барельефом — пронзенная кистью палитра... И вы узнаете, где жили и умерли многие творцы прошлого, запоминаете их лица, обрамленные длинными кудрями, молодые, старые, мрачные, улыбающиеся, как бы продолжающие жить в домах, где сотни лет после них текла и течет жизнь. Вы идете через Малостран-

скую площадь на концерт во дворец Вальдштейна, а с каменной старой стены приветствует вас Ян Томашек, замечательный чешский музыкант, о котором хочется сказать не по-русски, а по-чешски «славный гудебный складатель». Он умер в этом доме 3 апреля 1850 года, а для вас оживает сейчас, как оживают изобретатель литографирования Алоиз Зенефельдер на Ритиржской улице или современник Тараса Шевченко, историк и лингвист Павел Шафарик на Карловой площади...

Невозможно перечислить имена людей, с которыми вы знакомитесь, проходя по улицам Праги. Эти портретные мемориальные доски, связанные с местом действия, жизни или смерти исторических деятелей,— так близко от вас, что, подняв глаза, вы неминуемо их видите, и они запоминаются вам вместе с городом. Не только пражане — оставляют свой след и гости. Когда представляешь себе, например, угол маленькой Саской улички, куда ты случайно свернул, уже не можешь не вспомнить, что там, в угловом доме, была гостиница, а в ней в мае 1833 года останавливался на два дня Рене Шатобриан... Но чаще, чем эти мемориалы, и еще ближе к вам, почти вровень с вашим ростом, рассказывают камни о самом недавнем прошлом. Вместо барельефов — живые хорошие лица на обыкновенных современных фотографиях; надписи, за которыми слышатся приглушенные слезы близких: «наш милый и любимый», «наша незабвенная», «наш гордый сокол», «наша талантливая»...

На этих местах, возле этих стен, в майских боях 1945 года, в кровавой борьбе с фашистами отдали свою жизнь за свободу родины сотни людей, и не только молодых; вот рядом со студентами, юношами и девушками восемнадцати — двадцати лет — мой однолеток рождения 1888 года, Эмануэл Пинос, «героически павший за родину». И под каждой надписью короткое, как стихотворенье: «Честь его памяти». Иногда в этих надписях вспоминается прошлое: «Здесь, где в 1927 году находились баррикады, положил свою молодую жизнь на алтарь нашей дорогой родины в мае 1945 года наш горячо любимый Владимир Гешке»... Вы невольно останавливаетесь и не можете не прочесть эти строки о современ-

никах, окропивших своею кровью древние стены города. Возле надписей неизменно висят, чуть колыхаясь от ветра, легкие, выцветшие бумажные цветы, небольшие круглые веночки, оклеенные серебряной бумагой, а то и свежий, только что сорванный букетик ярко-зеленой травы.

Странным кажется, что эти бумажные, хрупкие, как солома, и совсем некрасивые цветы на музейных стенах прекраснейших монументальных зданий не производят впечатления безвкусицы, наоборот, они как-то естественны здесь, к ним быстро привыкаешь и начинаешь искать их, словно страницы в читаемой книге. Только много позднее объяснится вам, почему это так. Сдружившись с голосами пражских камней, привыкнув их слышать и различать, вы не можете не заметить, что Праге удалось избежать двух страшных чудовищ современного города, называемых пятиаршинными словами «архаизация» и «модернизация». Ее спасает от них необыкновенная слитность жизни — непрерывная, сквозь века, единая в букете многих столетий, продолжающая гореть негасимым огнем. Над городом пронеслась когда-то страшная моровая чума,— казалось бы, забыть, вытравить воспоминание о ней, но в городе возносится полный движения и жизни памятник ей, и люди помнят не мор, а победу над мором. Жил в вилле Бертрамке Моцарт, писавший для «своих пражан, которые понимают его» Дон Жуана,— и вилла Бертрамка не только музей. Чудные, живые звуки Моцарта слышатся на концертах, устраиваемых здесь. Признаться, я очень боялась третьего пятиаршинного чудовища — «стилизации», этой вторичной смерти всякого искусства, когда читала афиши всевозможных концертов, как будто задуманных «под старину»: «Романтичный вечер Моцарта» — в саду Вальдштейнского дворца; «Поет старая Прага» — в знаменитой пивоварне св. Томаша... Но, побывав на этих вечерах, вы убеждаетесь, что устроители не выдумывают «трюков», не «стилизуют», вообще не создают чего-то искусственного. И когда на островке, окруженном водой, в «заграде» дворца, в темноте, прорезанной неярким лучом прожектора, под звуки «немецких танцев» Моцарта, легко, как призраки, танцуют

пастушки и пастушки, словно ожившие фарфоровые статуэтки,— вы знаете, что это не стилизация, это живет музыка Моцарта, продолжаясь в своей стихии, и для нее родится здесь новая красота, поддержанная изумительной старой акустикой, всплесками крыл разбуженных лебедей, шелестом травы у воды,— это не в прошлом, это сейчас.

Обычно приезжие бегут смотреть в Праге знаменитую «Злату уличку» — средневековую улицу ювелиров, и, может быть, идя навстречу мировому туризму, городское управление почти превратило ее в «музейный экспонат», переселив оттуда часть живущих. Но именно это и делает, на мой взгляд, Злату уличку наименее характерной для старых кварталов Праги. Попробуйте заблудиться в них на целый день — и вы всюду найдете жизнь, объявления врачей, вывески учреждений, современные товары в крохотных окнах средневековых лавочек. Пройдите, например, по Мелантриховой улице на чудесную и не менее, чем Злата уличка, характерную средневековую Козью уличку. Здесь каждый узенький дом, стиснутый соседними,— своеобразный музей.

Вот знаменитый портал дома «У двух золотых медвежат» с высеченным над ним старым номером 475. Его узнают по сотням фотографий и рисунков. Но вывеска — обыкновенная вывеска «Краевой ремесленной управы» — не попадает в эти альбомы, а между тем она здесь, среди этой старины, живет и дышит большой, непрекращающейся жизнью чешского мастерства и не кажется тут неуместной, как не кажется кощунством в подворотне «дома с медвежатами», прославленного на весь мир, чугунный кран, которым пользуются, дворик, где работают люди, развешанное белье, чья-то тарелка с едой, метла в углу. Загляните еще во двор старинного домика, на портале которого — таинственные три буквы, проставленные нашим временем: DSZ. А расшифровываются они просто — «Оптовая торговля малыми потребительскими товарами». И дальше — в лабиринте узких уличек, запиравшихся в средние века на ночь большими железными дверями,— Михалской, Главзовой, Гусовой, с их темными от времени, закопченными стенами, с невыразимой красоты фасадами, с подвешен-

ными на углах старинными фонарями,— вы неизменно видите колыхающиеся на окнах занавески, цветочные горшки с холеными растениями, сиамского котенка на карнизе, умывающего лапкой свою черную мордочку, выставленные внизу, в подворотне, герметически закупоренные цистерны с отбросами, словом,— жизнь, всегдашнюю жизнь квартирантов музейных домов. И, может быть, именно то, что в этих домах, подобных драгоценным произведениям искусства, живут современные люди, строители новой, социалистической Чехословакии, и делает их еще драгоценней и прекрасней.

Прага непрерывно строится, в ней множество новых кварталов, и жить в ней, в ее гостиницах, удобней и здоровей, чем во многих других европейских столицах. На Народном проспекте весь день открыта для обозрения выставка «Проект Праги», где вы знакомитесь с планом, надо прямо сказать, труднейшим,— новой застройки и благоустройства Праги, труднейшим потому, что ведь это — как операция на сердце — требует тончайшего вкуса, умения сочетать старое с новым. Недаром газета «Вечерняя Прага» призывает всех граждан принять участие в его обсуждении. Так вот, по выставленным архитектурным проектам, по главной карте, где решаются вопросы водоснабжения, озеленения, очистки и благоустройства, вы можете видеть, насколько вырастет в будущем жилищный фонд города. Как было бы чудесно, если б городскому управлению удалось разрешить и сложный вопрос санитарии и внутренней отделки этих сказочных домиков, где зрение с детства воспитывается на красоте! До сих пор это обходилось городу чересчур дорого... Старый-престарый чех в засаленной фетровой шляпе и с трубкой в зубах, должно быть, уже чей-то прапрадедушка, вышел с газетой на каменную завалинку. Я заговорила с ним, и он отозвался с добродушной хитроватой улыбкой: «В старину люди трудились — не музеи делали. Они рассчитывали на человека, вот и живут люди в их домах. Живут, да и думают: строить бы нам и сейчас так добротно, чтоб через тысячу лет не забыли нас люди и жили-поживали в наших домах!»

Карел Чапек, съездив в Англию, попытался в своих

«Английских письмах» объяснить характер англичан приверженностью к традиционализму, с одной стороны, и безудержной эксцентричностью — с другой. В характере чехов, мне кажется, нет ни того, ни другого. У них исключительно развито чувство преемственности культуры, того непрерывного движения жизни из прошлого в настоящее, при котором сделанное живет в делающемся, передавая ему свои внутренние соки. На тысячу ладов напоминает чехословацкая культура своему народу об этой преемственности творческого дела поколений. И уваженье к добротной работе предков становится как бы заповедью: делать и свой труд достойным уважения потомков.

ДУХ МУЗЫКИ

Недавно в Москве исполнили знаменитую симфонию Гайдна со свечками — «На прощанье», или, как ее называют чехи, «На разлучение». Московского исполнения я не слышала, но мне довелось пережить, именно пережить, а не только прослушать, эту замечательную вещь в одном из городков Чехословакии. Как известно, Гайдн проделал ею маленькую демонстрацию; он хотел «намекнуть» своему патрону, князю Эстергази, что оркестранты, доведенные сиятельным любителем музыки до полного изнеможения, нуждаются, наконец, в отдыхе. И Гайдн ввел в последнюю часть неслыханную до него вещь. Тогда играли при свечах. И вот он дал финальной мелодии постепенно сойти на нет, указав в партитуре, чтоб то один, то другой музыкант в оркестре, внезапно вставая, тушил свою свечу, брал свой инструмент и уходил из оркестра, пока не останутся на сцене два скрипача, уныло доигрывающие свою часть... Замысел был насмешливый и задорный. Но у Гайдна получилось то же самое, что у Сервантеса с Дон-Кихотом, у Диккенса с Пиквиком,— произведение переросло замысел, шутливые элементы оказались поднятыми до трагической высоты, и задуманная музыкантом «маленькая симфоническая демонстрация» выросла перед слушателями в глубокую драму человеческого творчества.

Мы сидели на обычном концерте в небольшом городке; перед нами был обычный оркестр с местным городским дирижером Ренэ Кубинским, знакомым публике по ежедневному дирижированию «легкой музыкой» в городской «колоннаде». Но так высока в Чехословакии культура исполнения, что этот обычный концерт, одно из мероприятий «культурного лета» местного городского управления, превратился для нас в событие.

Выключили электрический свет; зажгли свечи. Пюпитры озарились красноватым неярким кружком короткого луча — и в этом теплом освещении началось знаменитое адажио. Но не голос протестующих от усталости музыкантов послышался в нем. Вот замолк первый из них, и потухла первая свечка; оркестр, казалось, не обеднел; вот вышел второй музыкант, еще одна мелодия потухла в общем хоре, и нет ей возвращения. Уходит третий, четвертый, все чаще становится движение из оркестра, все глуше оркестр, все темнее вокруг, и при свете последних свечей я вдруг замечаю полоску на щеке у соседа, оставленную упавшей слезой, да и сама плачу, и плачут,— безмолвно, с неподвижными лицами, многие,— и когда дирижер, беспомощным жестом указывая на потемневший оркестр, где только что замолчала последняя скрипка, прощается с нами, разводя руками,— мы словно от сна пробуждаемся и спрашиваем себя: что это было? Мелодия истаивала в оркестре или современники, каждый в свой час, покидали живой оркестр своего поколения? И редело поколение, пока не осталось двое последних, но им уже нечего сказать, потому что жизнь, творчество жизни — это коллективное дело многих; и его трудно, незачем, невозможно продолжать в одиночку...

Можно, разумеется, объяснить действие этой симфонии совсем по-другому — острым наслажденьем от самой красоты, доводящим до слез; пробужденными ею собственными мыслями и образами. Но в тот вечер, наперекор замыслу композитора, мы услышали в его музыке страстный призыв к человечеству: люди, держитесь вместе, не распадайтесь, не убивайте того, что создается множеством усилий,— и мы вышли в темную

прохладу ночи, остро ощущая великую объединяющую силу языка музыки.

Вот для того, чтоб понять национальный характер чехословацкой культуры, вклад ее в общую культуру социализма, мне кажется, необходимо ясно представить себе, какое большое место занимает в ней музыка. Обычно, произнося это слово, мы тотчас представляем себе нечто профессиональное: обилие оркестров, хоров, оперные театры, консерватории, имена больших музыкантов. Для Чехословакии с ее высоким музыкальным профессионализмом все это, конечно, верно; больше того, чехословацкий народ не только исполняет, но и сам «делает музыку», то есть несколько столетий создает материальное тело музыки, ее инструменты, начиная со старинных лютней и рогов XVI века и кончая ультрасовременными электрогитарами. И хотя чисто профессиональной стороной роль музыки в жизни чехословацкого народа отнюдь не исчерпывается, я начну свой рассказ сперва об этой ее стороне.

Попробуйте поездить по городам и местечкам Чехословакии, особенно в центральных и западных областях, и вы не раз услышите из открытых окон голоса инструментов, на которых не только играют, но которые тут делают своими руками. В маленькой деревушке Люби один из таких создателей материального тела музыки Антон Коль, словно живьем вышедший из вагнеровских «Мейстерзингеров», высокий, широкоплечий, в рабочем фартуке, показал мне, как создается скрипка: дека из шумавской сосны, спинка из югославского явора, гриф из эбенового дерева, получаемого с Мадагаскара, бока из бразильского бука. В руках у него была полукруглая острая ложечка, с помощью которой он обрабатывал деку. Особенная, невидимая древесная пыльца — аромат драгоценных древесин со всех концов света — стояла в рабочей комнате, как детское дыхание рождающейся скрипки. А когда мы разговорились, он неожиданно понизил голос и таинственно произнес: «Есть такая книга...» Мать его вынесла из другой комнаты, словно библию, огромную старую книжищу на немецком языке «Мастера скрипок и лютней», и, осторожно переворачивая ее листы, Коль прочел нам имя первого бо-

гемского мастера, кто начал делать здесь скрипки,— Фердинанда Плахта.

В местечке Краслице, на фабрике духовых инструментов «Амати», работа происходит уже не на дому, как в Люби, а в цехах, но от работников ее веет все тем же духом старинного мастерства, и последний ее цех, настроечный, представлен только одним-единственным работником, душой всех изготовляемых инструментов, от гиганта-трубы, генерал-баса и до тоненькой флейты — пиккола. Это — молодой белокурый парень, Иозеф Ярош, он сидит в окружении множества изделий, притекающих к нему из всех цехов, и должен каждое опробовать, настроить, «поставить», развязать ему голос. Мы слушали, как он извлекал могучие басы из трубы-гиганта, приятные баритональные звуки из трубы поменьше, а потом, объявив, что сейчас нам сыграет «Волга-Волга»,— вдруг начал русскую песню о Степане Разине и персидской княжне... Так вот, Иозеф Ярош — не только отличный производственник и настройщик, но и создатель своего «классного», как говорят на фабрике, оркестра, недавно с успехом гастролировавшего в Болгарии.

Почти каждое производство, каждый городок или местечко в Чехословакии имеют свои постоянные оркестры, своих местных дирижеров и солистов, свои замечательные хоры. И если в музыкальном отделении Пражского национального музея вы встречаете старинные лютни и скрипки из Праги, виолончели из Брно, виолы д'амур из Хомутова, клавикорды из Иозефова, пирамидальный клавир из Градец-Кралове, рояль из Индржихува Градеца, скрипки из Оломоуца,— то на городских афишах вам встречаются оркестры и хоры из всех чехословацких городов, объезжающие, гастролируя, всю республику.

Впрочем, слово «гастролируя» как-то не подходит к ним. Даже и заезжая на день-два, они ведут себя не как гастролеры, а скорее, как добрые и щедрые друзья. Както на одном из курортов я отправилась в послеобеденный час в парк послушать ежедневный концерт, но увидела, что там, возле эстрады, появилось новое возвышенье, а возле него приставлены ступеньки. И после

двух номеров обычной программы появился седой, крупный, известный по фотографиям композитор и создатель хора моравских учительниц, Бржетислав Бакала, а на приступочки взошли в обычных своих одеждах и сами моравские учительницы. Этот коллектив, один из лучших в Чехословакии, должен был дать на курорте платный вечерний концерт. Но, не дожидаясь его, Бакала захотел дружески поделиться музыкой с отдыхающими, потому что исполнять ее — такое же человеческое наслаждение, как и слушать. И хотя эта щедрость могла помешать вечерней продаже билетов и поубавить число платных слушателей, он дал нам насладиться исключительным по красоте пением, ясной дикцией, доносившей до нас каждое слово, и редко исполняющимися номерами («Десять хоров» Иозефа Сука, «Моравские двоегласия» Дворжака).

Для него, как, впрочем, и для хора и для слушателей, это совместное большое наслажденье музыкой было уже чем-то выходившим за рамки профессионализма, чем-то связанным с самой жизнью. И такой выход музыки за пределы только профессии отнюдь не случаен для чехословацкого народа; он имеет большую историческую давность.

В середине прошлого века по Чехословакии путешествовал русский любитель и знаток музыки, Александр Дмитриевич Улыбышев. В своем трехтомном труде о Моцарте он так вспоминает об этом: «Проезжая через Чехию, я на постоялых дворах встречал крестьян, игравших гайдновские квартеты, и этих дилетантов в блузах можно было слушать с удовольствием. Я гордился тем, что приходился им почти соотечественником: они, как и я, были племени славянского». А за сто лет до Улышева, в XVIII столетии, такую же поездку, но только более систематическую, сделал английский музыковед Чарльз Бэрней и тоже записал в своей книге («Современное положение музыки в Германии»): «Я часто слышал, что чешский народ — наиболее музыкальный народ не только в Германии, но и во всей Европе; а один выдающийся немецкий композитор, проживающий в настоящее время в Лондоне, как-то мне сказал, что своею музыкальностью чехи превзошли бы и итальян-

цев, если бы они пользовались такими же выгодами, как и последние. Я проехал все чешское королевство с юга на север и повсюду расспрашивал, как обучаются музыке простые чешские люди. Я узнал, что дети обоего пола обучаются музыке не только в больших городах, но и в каждой деревне, одновременно с обучением грамоте в школах».

Это уже двухсотлетняя традиция. Но пойдем еще дальше, в глубь времени. На стенке Бертлемской капеллы, где Ян Гус гневно обличал католическую церковь и сильных мира сего, бросается вам в глаза крупная нотная запись знаменитого гуситского гимна. С этим хоралом чехи в XV веке шли сражаться за свою независимость. И эти хоралы и песни еще живут не только в музейных записях. На днях я получила в подарок из демократической Германии от писателя Ф. Вейскопфа его последнюю «Книгу анекдотов» — сборник талантливых, остро разящих фашизм, документальных новелл из действительной жизни последних лет. Там он приводит известный случай, как «ходы», чешское племя, живущее в пограничных с Германией деревнях, сопротивляясь фашистским оккупантам, шли против гитлеровских солдат с пением древнего гуситского гимна... Замечательно, что даже и не у себя на родине чехословацкий народ делает свою музыку спутницей и помощницей в боях,— так создан был Витом Нееддлы чехословацкий оркестр на советской земле, шедший сражаться за родину в бригаде генерала Свободы.

Когда ранним утром встает над деревнями и городами Чехословакии первый звук — позывные радио, то эти позывные повторяют музыкальную фразу из симфонического цикла Сметаны «Моя родина»; когда раздаются на торжествах звуки чехословацкого государственного гимна, то это звучит музыка знаменитой арии из «Фидловачки» Франтишка Шкроупа. И недаром крупнейший ученый Чехословакии, президент ее академии, Зденек Неедлы,— одновременно историк и музыковед. Он воскрешает этнографическое прошлое своего народа — и пишет многотомный труд о Бедржихе Сметане; руководит современной чехословацкой наукой — и трудится над исследованием гуситского песнопения.

Но все эти примеры, говорящие о музыкальной одаренности и любви к музыке чехословацкого народа, лежат, что называется, на виду у каждого. Между тем другая их сторона, очень важная и интересная для нас, мало кому известна. Я говорю о характере и системе музыкального воспитания чехословаков, трехсотлетние традиции которого можно проследить до отца современной педагогики, великого чешского мыслителя Яна Амоса Коменского.

Вводя музыку рядом с математикой, как обязательный учебный предмет, во все четыре класса своей «Пансофической школы», Ян Амос Коменский писал: «В древности было мудрое правило, чтобы юношество... начинало с изучения числа и меры и предварительно упражнялось в этом... Поэтому при поступлении детей в школу... мы с самого начала ставим преддверие к божественной премудрости, чтобы вместе с буквами дети учились также писать, выговаривать и понимать числа... Из геометрии мы не даем им ничего,— мы только заставляем их рисовать точку и линию; из музыки — скалу тонов и ключей вместе с сольфеджиями. Ибо нельзя допустить, чтобы питомцы муз были несведущи в музыке; потому-то некогда Фемистокл, оттолкнувший лиру, считался необразованным человеком» *.

Обширное педагогическое наследие Яна Коменского, его идеи о неразрывности воспитания и образования, о наглядном методе обучения, о повторном, но все более и более углубленном прохождении одних и тех же научных циклов на низшей, средней и высшей ступени образования, наконец, его требование включить музыку как обязательный предмет в школьную программу,— оказали громадное влияние на педагогическую мысль всего человечества. На родине Коменского, в Чехословакии, следы его педагогических идей можно проследить всюду — и в школах, и в методике музейного дела. Воскрешенные из забвения новым общественным строем, очищенные в своем передовом, материалистическом су-

* Ян Амос Коменский, Избранные педагогические сочинения. Перевод с латинского проф. В. Н. Ивановского, Д. Н. Королькова и Н. С. Терновского, Учпедгиз, М. 1939, том II, стр. 172—173.

ществе от средневековой скорлупки, в которую их облек XVI век, эти идеи помогают сейчас чехословацкому народу в социалистической перестройке культуры. Ярко сказались они и на музыкальном образовании.

Знает ли кто-нибудь из наших музыкантов и педагогов, что центральная фигура культурного фронта, народный учитель в Чехословакии, должен быть музыкально образованным человеком? В педагогические училища, готовящие народных учителей, не принимаются в Чехословакии люди, лишенные музыкального слуха. Развернув программу этих педагогических училищ, помеченную 1954 годом, мы видим, что будущий педагог среди прочих наук в обязательном порядке все четыре года обучается истории, теории и методике музыки вместе с игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте.

Вот тут мы уже совсем вышли из узко профессионального понимания музыки. Читатель может воскликнуть: но позвольте, и мы во всех наших школах имеем хоровое пение, и мы выделяем, выдвигаем, обучаем одаренных детей, создавая из них музыкантов-профессионалов, но для чего идти дальше? В чем смысл и цель такого расширенного понимания музыки?

Эти «смысл и цель» суховато, но совершенно точно и по-деловому изложены в упомянутой мною государственной учебной программе. Когда народ столетиями обучается с детских лет музыке, любит ее и привык к ней, как к своему второму языку,— вполне правомерно извлечь некоторые общие выводы из этого трехвекового опыта. И мне кажется, руководители народного образования в Чехословакии дают нам заглянуть в эти выводы, когда они пишут во введении к программе педагогических училищ: «Теоретическое знание музыки не является самоцелью,— оно проводится в тесной связи с практикой, а потому помогает полней переживать музыку, лучше понимать и воспроизводить ее». А пониманье и переживанье музыки в свою очередь помогают выработке не только художественного вкуса, но и лучших черт народного характера, то есть развивают в народе «дух коллективности, дух дружбы и сознательную дисциплину», а тем самым готовят его и к труду и к обороне.

Можно не согласиться с таким широким пониманием музыки. Но тот, кто, как чехословаки, привык говорить на этом втором языке человечества, кто умеет слушать и любить его, испытывать его умиротворяющую силу в тяжелые минуты жизни, его вдохновляющую власть в минуты творческого подъема, его страстный призыв, сливавший тысячи отдельных воль в одну единую волю во время народных восстаний, его благословенный ритм, помогающий монотонному рабочему движению у станка и на стройке, легкому, рассчитанному движенью на спортивной площадке, крылатому движению души, когда она поет свою радость или свою боль, не выражаемые в понятиях слабой человеческой речи,— тот будет горячо стоять за расширение роли музыки в воспитании и образовании граждан нового мира.

О ДЕТЯХ И МОЛОДЕЖИ

Лучшее, что есть у человечества, оно вкладывает в заботу о детях. Нет, кажется, ни одного великого творца, кто в той или иной форме не коснулся бы вопроса о воспитании и школе. Лев Толстой считал свои рассказы для детей, свой труд, положенный на крестьянскую школу, важнее гениальнейших страниц своих романов; Гете воздвиг сложное здание из одиннадцати книг «Годов учения» и «Годов странствования Вильгельма Мейстера», чтоб дать картину «педагогических провинций» и высказать сокровеннейшие свои мысли о воспитании и обучении юношества. Здесь, в этой области, народы не только заимствуют друг у друга, и педагогические идеи больших дидактиков не только становятся тотчас же достоянием всего человечества; здесь накапливается и свой национальный опыт, передаются и развиваются свои народные особенности, вызванные историческими, природными, общественными условиями. Вот почему, выезжая за рубежи, советские люди жадно всматриваются, как там, в других странах, поставлено народное образование.

Одна женщина-зоотехник, побывавшая с делегацией в Дании, с интересом рассказывала мне, например, про

обязательное преподавание мальчикам и девочкам в датских школах такого, нового для нас, предмета, как «домоводство»: кончая там школу, дети даже самых зажиточных семейств должны знать и уметь готовить пищу, шить и чинить одежду, убирать квартиру, оказывать первую медицинскую помощь, ходить за маленьким ребенком Мне довелось побывать зимой в двух замечательных финских народных школах. Это были лучшие школы,— но именно к ним, как к образцам, подтягиваются и остальные. Входя в эти светлые, полные воздуха, здания с вьющимися по стенам зелеными растениями; со свисающими с потолка круглыми корзиночками выхоленных цветов; с маленькой, детской, но такой удобной даже для взрослого мебелью; со множеством расклеенных по стенам в классе ярчайших детских рисунков, сделанных особыми, мягкими карандашами,— испытываешь чувство внезапной зависти к малышам: почему нельзя сбросить полвека, три четверти века с плеч, чтоб снова, вот с такой степенной, нетороплиРвой радостью, с такой сосредоточенной детской деловитостью, как маленькие финны и финночки, в своих толстых шерстяных чулках, в удобных зимних курточках,— входить, отряхивая озоном пахнущий февральский снег с рукавиц, в такую интересную школу! Там есть кино, есть свое внутреннее, для потребностей школы, радио, свои станки, свои мастерские, где можно научиться столярничать, плотничать, делать себе металлический инструмент,— и там есть большие, похожие на младенцев куклы с закрывающимися глазами и все виды детского белья для новорожденных, которое девочки учатся шить, стирать, гладить... все это, разумеется, не само по себе, а вместе с начатками доступных для детского ума наук.

Нужно ли говорить, с каким огромным интересом всматриваемся мы в постановку воспитания и образования в такой близкой и родной нам стране, как строящая социализм Чехословакия? Чешская педагогика и чехи-учителя были известны у нас еще за десятки лет до наших дней, в старой России. У чехов была слава «лучших классиков в Европе», то есть лучших специалистов по преподаванию древних языков. Многие из наших отцов и людей моего поколения сдавали при поступлении в

университет обязательный экзамен по латыни и греческому у преподавателей-чехов, и эти древние языки оживали в их толковании во всей прелести их лаконичного синтаксиса и чудесной выразительности их глагольных форм,— до сих пор, например, врезан у меня в памяти образ Кира только потому, что читали мы Киропедию с учителем-чехом в оригинале... На заре прошлого века, в 1822 году, был напечатан в типографии «департамента народного просвещения» учебник с картинками «Зрелище Вселенныя» на «латинском, российском и немецком языках» *. Этот знаменитый учебник, мир в картинках, был издан у нас, как говорится в его предисловии, «для желающих учение свое продолжать в вышних училищах, как то: гимназиях или университетах», и предназначался «для народных школ». И чтоб хорошо понять некоторые особенности современных чехословацких учебников, неплохо перелистать его именно в этом, ставшем уже антикварным, издании,— так чудесно ясны его гравюры, сопровождающие каждую главу-страничку, и так поучительно, «по-Маяковскому» расположены отдельными строчками каждое слово, а иногда — группы из нескольких слов и соответствующие им в следующих колонках переводы.

У Яна Амоса Коменского всю его жизнь была одна глубокая страсть — облегчить человечеству познание все растущих и растущих научных фактов путем выделения из них того основного, без знания чего нельзя обойтись человеку, если он хочет узнавать дальше и больше. Эта страсть знакома каждому энциклопедическому уму, она двигала когда-то Дидро и Д'Аламбером в их работе над энциклопедией, увлекала нашего Ломоносова в его тщательной разработке университетских программ; и она помогла Коменскому создать методику отбора главного от неглавного, изучить которую полезно по его учебникам и сейчас. Приведу одну маленькую страничку из упомянутого выше начального учебника, в котором дается описание самых распростра-

---

* «Зрелище Вселенныя на латинском, российском и немецком языках». Издана для народных училищ Российской империи по высочайшему повелению, Санкт-Петербург, в типографии Департамента Народного Просвещения, 1822.

ненных в XVII веке ремесел, занятий и явлений внешнего мира — от растительного и животного до создаваемого человеком, от почвы и воды до воздуха и огня. Вот эта страничка: «Архитектор чертит и располагает здание, которое украшает извне тосканскими, (или) дорийскими, (или) ионийскими, (или) коринфскими, (или) романскими колоннами, не менее стараясь об основании, камнях, кирпиче, извести и песке, наставляет также каменщиков, которые, положив твердое основание, возводят стены, по указанию и чертежу архитектора». Справа от текста (на трех языках) — отчетливые рисунки колонн пяти упомянутых стилей; фундамента и стен; рабочих, кладущих кирпичи и разводящих известь; наконец архитектора с чертежом в руках. Вы усваиваете из коротенькой странички названия и особенности пяти архитектурных ордеров, ряд терминов из науки о зодчестве, ряд синтаксических оборотов — на трех языках; процесс строительства; наконец — одежду рабочих и архитектора XVII века и название основных материалов, из которых они возводят здание. Можно прозакладывать голову, что, даже только прочитав или переписав эту страничку, вы, словно стихи, запомните эти колонны, камни, кирпичи, известь и песок — притом не только на родном языке — именно потому, что во всей этой большой фразе об архитектуре и во всем сложном рисунке — нет ничего лишнего, пустого, абстрактного, казенного, навязываемого ученику якобы в разъяснение, а на самом деле — в затемнение и в заглушение текста. Я упоминаю об этом учебнике, имевшем, как и «Устав материнской школы», огромное влияние на все развитие чехословацкой педагогики, отнюдь не зря. Воспитанные на образцах, оставленных Яном Амосом Коменским, составители лучших чешских и словацких учебников стремятся и до настоящего времени избегать: 1) всех тех слов и оборотов, без которых можно обойтись и которые лишь занимают лишнее место в передаче ясной мысли, и 2) всего того в объеме данного предмета, что на данной ступени учения может быть без всякого ущерба изъято. Есть и еще одно положение в материалистической педагогике Коменского, звучащее сейчас на его родине особенно свежо и зло-

бодневно. Всюду и везде, говоря об учении, он ставит рядом с ним обязательную выработку в учащихся умения применять полученное ими знание на практике: «К познанию надо присоединить подготовку к деятельности, в чем необходимо упражнять наших учеников, то есть к познанию вещей нужно прибавить практическую деятельность... Без этой деятельности даже человек, знающий вещи, будет неумело вращаться среди вещей... Чтоб чего-либо подобного не случилось с учениками», необходимо требовать, «чтобы никто из обучающихся... не был выпускаем, прежде чем он не будет самым лучшим образом напрактикован в тех видах деятельности, которые требуют особенной предусмотрительности, чтобы наши ученики... учились не для школы, а для жизни. И пусть отсюда выходят юноши деятельные, на все годные, искусные, прилежные, такие, которым со временем можно будет без опасения доверить всякое житейское дело» *.

Следы этой мысли можно найти сейчас в постановке технического и ремесленного обучения у чехословаков. Мы знаем, что судьбу социалистических преобразований в стране решает во многом средний кадровый состав работников — средние специалисты во всех областях культуры, от техники до медицины, от строительства до торговли. И как раз эти работники готовятся в Чехословакии с особой тщательностью. Если бы меня спросили, что больше всего поразило меня в чехословацкой образовательной системе, я бы ответила: высочайшее уважение к труду, выражающееся не только в огромной сети всевозможных средних техникумов и училищ с необычайным разнообразием профилей, но и в той охоте, с какой идут туда учиться дети не только крестьян и рабочих, но и семей интеллигентов. Многие «работы» и «службы», казалось бы не требующие специальной подготовки, имеют в Чехословакии свои училища, подчас самые неожиданные,— существует, например, с десяток профилей техникумов, выпускающих работников прилавка: для продавцов молока, продавцов мяса, продавцов галантереи и прочих товаров; де-

---

* Ян Амос Коменский, том II, стр. 148.

сятки техникумов для средних специалистов всех видов полиграфии и книгопечатания; специальные училища для официантов... Никакой руководитель, будь он хоть семи пядей во лбу, не может добиться подлинной культуры у себя на участке, если у него неграмотные, невежественные исполнители. И наоборот, наличие культурных, обученных исполнителей необычайно облегчает руководство. Одновременно с огромным ростом училищ, подготавливающих средних и низовых работников по всем видам специальностей, в Чехословакии заслуживает самого пристального изучения и принцип высшего образования в области некоторых видов науки и искусства, например — в области архитектуры. Нет особых институтов архитекторов-художников, нет архитектурной академии, есть архитектурно-строительные факультеты в высших технических училищах. Архитектор выходит из стен училища практиком-строителем, умеющим не только проектировать, но и воздвигать здания. Не удивительно поэтому, когда на дипломных работах студентов архитектурно-строительного факультета на Чехословацкой выставке в Москве читаешь такую надпись: «Запроектированные сооружения служат основанием при решении вопроса о капиталовложениях». Вдумаемся в эти, казалось бы сухие и обычные, слова,— о чем они говорят? Вместо того чтобы задать ученикам (или городским проектировщикам) проект здания на столько-то миллионов,— ученикам предоставляется самим так экономично проектировать, что — в случае удачи проекта — его данные принимаются во внимание при решении вопроса о капиталовложениях на такие здания! Отсюда ясно, что выпускники работают, не высасывая своих проектов из пальца, не сидя в четырех стенах закрытой комнаты, а в тесном контакте с местными строительными организациями.

Есть один график в статистике новой Чехословакии, где обычно, как и у нас, почти все графики скачут вверх. Все скачут, а вот этот один слегка опустился. В университетах Чехословакии в 1946/47 году было 62 303 студента, а в 1953/54 году их стало... 46 762. На пятнадцать с лишним тысяч меньше! Это объясняется тем, что при оккупации фашисты закрыли в чехословацкие универ-

ситеты доступ всем, кроме немцев, и когда, наконец, победа над Гитлером открыла их двери, молодежь ринулась в них. Но с годами положение нормализировалось и число студентов в университетах стало устойчивым. Идут в университет те, кто хочет и способен творчески учиться дальше. А зато наряду с вузами за истекшие 10 лет в республике открылось (или прибавилось к уже бывшим) множество техникумов и училищ— 265 промышленных, 48 сельскохозяйственных и лесных, 85 среднемедицинских, 72 экономических, 110 сельскохозяйственных и лесных полугодичных и еще много других, где учащиеся насчитываются десятками тысяч. В этих училищах и техникумах, обычно очень хорошо обставленных, имеющих общежития, гарантирующих верный заработок по окончании и дающих определенное, нужное стране образование, выковываются кадры средней чехословацкой интеллигенции, тех трудящихся слоев, которые вливаются в армию строителей социализма.

Недавно происходило в Праге девятое Общегосударственное совещание работников школы, где перед учителями и заведующими отделами народного образования выступил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии товарищ Антонин Новотный. Говоря о новых задачах школ, он сказал замечательные слова: «Необходимо прививать детям чувство гордости своими родителями-тружениками, творцами нового, социалистического общества... В значительно большей, чем делалось до сих пор, степени следует указывать молодежи на решающую роль и историческую миссию рабочего класса в построении социализма, внушать им любовь к людям физического труда, воспитывать в них готовность трудиться на любом участке творческой, созидательной работы».

Вспоминаю знакомых мне москвичек, переживающих неслыханную трагедию от того, что их дочь или сын не попали в вуз. Они растерянно спрашивали: куда же теперь, неужели на педагогический? А педагогический, о котором они вспоминали «на худой конец», овеян в Чехословакии особой славой, как и учитель окружен там немеркнущей романтикой «творца боль-

ших ценностей». На педагогический идут с охотой и с ясным намерением, получив диплом, стать не «рецензентом», или «редактором», или «консультантом» какого-нибудь отдела какой-нибудь газеты, а именно педагогом, учителем, воспитателем будущих людей. Это об учителях сказал Антонин Новотный: «Учитель своею деятельностью создает величайшие в мире ценности. В этом красота и специфика его педагогической работы и ее огромное общественное значение». Величайшая в мире ценность — человек грядущего коммунизма. Если не считать педагогических вузов, в Чехословакии 75 педагогических училищ, и в них обучаются сейчас 15 600 будущих учителей, из них 10 500 для народных школ, 2500 для «материнских школ», как называются здесь детские сады, и 2600 воспитателей для «молодежных дружин». Но о молодежных дружинах надо рассказать подробнее.

Бродя по городам и местечкам Чехословакии, я не раз удивлялась тому, как мало встречается на улицах подростков школьного возраста. Ребятишек до шести лет — сколько угодно. Не наглядишься на них, когда они, румяные, чистенькие, необыкновенно спокойные, сидят в своих колясочках, удобно перехваченные ремешками, чтоб оттуда не вывалиться, или идут, держась за родительский палец, в удобных костюмчиках, загорелые от солнца. А где же ребята постарше? В поисках ответа я набрела на новое для нас внешкольное учреждение — «молодежную дружину». С 1948 года республика, решительно взявшаяся за строительство социализма, начала втягивать все больше и больше женщин в работу. И образовалось трудное положение: как быть со старшими детьми, школьниками? Отец и мать уходят на службу; маленькие — на целый день в яслях, а школьники? Их надо покормить, когда они придут из школы, помочь сделать уроки, проследить, чтобы их не начала засасывать улица, а сделать это некому. Тогда среди родителей началось стихийное движение за создание промежуточной организации между школой и домом. Министерство школ пошло им навстречу, государство отпустило средства... Так начали в каждом районе, где есть школы, возникать — или в отдельных комна-

тах при самих школах, или в отдельных зданиях неподалеку от них — учреждения с одним-двумя воспитателями, со столовой, музыкальным инструментом, библиотечкой, пособиями, садиком и т. д., куда школьник (у которого отец и мать служат) приходит сразу после школы. Здесь он за недорогую плату получает хорошее питание, готовит уроки, участвует в различных культурных удовольствиях, занимается музыкой, лепкой, рисованием, работой в саду, спортом. Сейчас уже и типовые проекты школ-восьмилеток для деревень в 600 жителей делаются со специальными помещениями для таких «молодежных дружин», превращаясь в нечто вроде полуинтернатов. Дети уходят оттуда домой в 6 часов вечера. Если иметь в виду очень раннее окончание дня в Чехословакии и его очень раннее начало (в 7 часов утра уже все на ногах, в 8 вечера дети готовятся ко сну), то понятно будет, почему их не видно на улицах.

Вместе с заведующим внешкольным отделом Министерства школ тов. Антонином Билым мы побывали в одной из таких дружин — Смиховской. Она помещается в хорошем особняке на Голечковой улице и окружена своим садом с беседкой, откуда широкий вид на Прагу. Две милые женщины воспитательницы Эмма Власкова и Милада Пихертова встретили нас. Покуда мы говорили о порядке дня в дружине, стараясь почувствовать, чем и как отличается она от дворца пионеров или обычных внешкольных детских кружков, сами дети дали нам почувствовать ее особенность. Сколько раз приходится матери говорить своему ребенку: «Сиди дома, займись делом, я скоро приду», или просить добрых соседей присмотреть за ним, или с утра сказать ему на ходу: «В кастрюле обед, разогрей сам да смотри — не наделай пожара»,— и потом на службе, на производстве думать с тревогой, все ли там, дома, благополучно? Сколько таких школьников затягивает улица своими дворами и подворотнями, где все начинается с безобидных игр и драк, а потом переходит и в не безобидные похождения, в добычу денег на кино, на мороженое, в подхваченное с улицы сквернословие, в тот ранний страшный цинизм, от которого трудно потом вылечить подростка... Но работающая чехословацкая мать начинает освобож-

даться от этой заботы,— ее спасает «молодежная дружина». Дети идут сюда по-хозяйски, без напряжения. Это еще не дом, но и не школа, и тут они у себя: помоются, отдохнут, хорошо поедят, приготовят уроки, зная, что есть у кого спросить о непонятном. А потом побегут посмотреть расписание,— режим дня расписан на целый месяц вперед: сегодня работают в кружках и на огороде, завтра — зоопарк, послезавтра — с воспитательницей в свою речную купальню, потом — наглядный урок истории, поход в музей, рассказ о Яне Гусе, фильм. И все это начинается с торжественной церемонии поднятия флага, на которой дети рапортуют, декламируют, поют песни. Толстенькая чернобровая девочка, Анна Рыбаржова, узнав, кто мы, прочла нам по собственному желанию стихи поэта Осташа о Советском Союзе, а потом спела народную словацкую песенку о Яничке и чешскую частушку о козе, которая одна не попала в колхоз и, как увидела, что она одна, тоже побежала в колхоз... Потом дети, уже не обращая на нас внимания, занялись своими собственными интересными делами и разбрелись по кружкам. Мы поняли главное в «молодежных дружинах»: они создают и поддерживают для ребят культурную среду вне дома; и так как они интересны, они побеждают улицу. Конечно, не все еще в этих дружинах устоялось и окрепло, не всегда хватает воспитателей, не везде на высоте кухня, не во всяком районе выделен дом,— но здоровое зерно этого учреждения само говорит за себя. «Знаете, у нас кое-кто сомневается, не закрыть ли нам эти дружины, поскольку у вас их нет,— с огорчением и недоумением говорит тов. Антонин Билый,— а ведь какую большую роль играют они в жизни чехословацкой работящей семьи!» «Не у вас закрыть, а у нас открыть»,— отвечаем мы, как до нас ответили ему и другие советские люди.

Прага, 1955

ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

В зеленой прохладе Парка культуры и отдыха, чуть уже тронутого желтизной осени, выставка открывается, как необычайно светлый и стройный городок с белым высоким обелиском у входа и круглой белой аркадой в центре, посвященной десятилетию освобождения Чехословакии Советской Армией. С внутреннего карниза этой открытой аркады, над большой скульптурой чехословацкого партизана, бросившегося в объятия советского воина, глядят на нас четыре слова, написанные по-русски, но звучащие как будто по-чешски своей ласковой расстановкой: «Вам благодарность и любовь». На белой наружной стене посетитель видит план выставки и ее пяти основных зданий со стрелкой, указывающей порядок и направление осмотра, начиная с первого, павильона культуры, и кончая павильоном горнорудного дела.

Но я несколько нарушу этот порядок и поведу читателя прежде всего в павильон чехословацкого машиностроения. Надо помнить, вступая в эти большие светлые залы, что перед нами не торговая выставка, не ярмарка в обычном смысле слова, а юбилейно-показательная (десять лет строительства социализма в Чехословакии), где можно последовательно увидеть историю создания какой-нибудь вещи, узнать ее техноло-

гию, лица и фамилии людей, ее создавших, заглянуть в процесс ее рождения, когда она пускается в ход,— и в этом постоянном живом действии выставки заключается ее главная познавательная ценность.

Огромный зал чехословацкого машиностроения с цементным полом в его середине, на котором расположены всевозможные машины, красавцы станки — портально-фрезерный с двумя горизонтальными и двумя вертикальными шпинделями, радиальный сверлильный станок и многие другие,— больше всего привлекает наших рабочих, мастеров скоростного резания. Они любуются внешним видом станков, их изяществом, окраской и узнают здесь о той стремительной быстроте, с какой чехословацкий народ осваивает и развивает все возможности, заложенные в самой машине. Советский опыт скоростного резания они подхватили тотчас,— и на какую, подготовленную высокой культурой машиностроения, богатую почву был пересажен этот опыт!

Рассказывая о том, что́ они «используют» в своем машиностроении, наши гости перечисляют: силовое резание, употребление резцов с дуговой заточкой и увеличенными углами задних граней, скоростное резание, гашение вибрации, восстановление режущих инструментов, электрическую наварку этих инструментов, употребление так называемых «прогрессфрез»,— и тут перед нами целый культурный комплекс, где скоростное резание занимает лишь одно из мест, но занимает так, что ритм его не обгоняет в цехе ни подготовительных операций, ни жизни самих резцов, а становится частью общей стройной работы станка и цеха.

Вдоль стен всего зала, в ярко освещенных кабинках, с помощью моделей, фото, диаграмм даются интереснейшие сведения об изготовлении различных изделий. Тут профили из холоднотянутой специальной стали Польди; высококачественные чехословацкие электроды для всех видов сварки — гордость чехословацкой промышленности, где искусство сварки непрерывно развивается; образцы (фото) великолепных сварных стальных конструкций для производственных цехов и других зданий, вывозимых чуть ли не во все страны мира; ультразвуковой паяльник для алюминиевых листов; ин-

тересный прибор для измерения содержания кремния в питательной воде. Присутствие кремния в большем или в меньшем количестве имеет, как известно, огромное значение для паровых генераторов; раньше это измерение производилось вручную в химических лабораториях, причем было это затяжной, многократной процедурой, а тут все быстро и автоматически совершается самим аппаратом, регистрирующим свои измерения с помощью фотоэлемента.

Развитие механизации и автоматизации вообще характерно для чехословацкой промышленности. Вот стальная модель монтажного крана конструкции В. Виделки и М. Млчака — стройный металлический кружевной гигант с двумя стрелами для возведения стен по бокам и средней стрелой для монтажа кровли. Он не требует трудоемкого процесса заякоривания, работает сразу на две стороны, передвигается лебедкой по двум парам рельс, и, хотя модель стоит неподвижно, вы легко можете представить себе, с какой быстротой этот гигантский кран может воздвигнуть коробочку здания. Или вот красивая модель сети переменного тока, созданной коллективом работников города Брно. С помощью такой конструкции сети четыре человека в четыре часа производят вычисления, которые раньше 45 человек делали в 45 часов, и в совершенстве управляют распределением тока.

Я вовсе не случайно ставлю эти конструкции рядом. Подобно тому как в показе машиностроения вы можете увидеть упор на согласованную работу многих операций в цехе и самих цехов в их совокупности,— а в этом ведь и заключается культура производства,— на выставке можно убедиться, как бок о бок, в согласованности темпов и качества, работают строители и машиностроители. Нет разрыва во времени между теми, кто готовит корпуса зданий, цементные площадки для монтажа машин, и между теми, кто эти машины изготовляет. На одной из диаграмм вы видите это согласованное движение двух решающих армий промышленности и читаете надпись: «Строители и машиностроители работают бок о бок».

Культуре чехословацкого строительства помогает,

разумеется, большая и все растущая механизация строительных процессов. Например, сколько показано различных механических, облегчающих работу с бетоном и цементом приспособлений: хотя бы вот этот особый «пистолет», всаживающий в бетон своими выстрелами необходимые скрепы — дюбели, гвозди, мгновенно и не нарушая поверхности бетона... Кто же все это изобретает и проводит в жизнь?

Чехословакия славится своими инженерами и учеными, часто работающими вместе. Вот и портреты их висят рядом: вдохновенное, уже немолодое лицо инженера Б. Одстрчила, но с такими молодыми глазами мыслителя, и энергичное, волевое лицо академика Чебалки, похожее на лицо директора завода; оба они лауреаты Государственной премии; но первый, инженер, получил ее за научное исследование, а второй, академик,— за работу, имеющую сугубо практическое значение. Славится Чехословакия и своими рабочими, золотые руки которых создали добрую славу отечественным изделиям во всем мире, куда они экспортируются. Но при капитализме творческая сила рабочих была под спудом, и только народная власть развязала их. Посмотрите таблицу роста рационализаторских предложений в промышленности. Как ярко показывает она разрастающееся творчество рабочего класса: в 1952 году было сделано 5396 таких предложений — из них 2957 осуществлено, а в 1954 году предложений уже 8214 и осуществлено из них 3159...

Добившись для родной республики в 1954 году свыше 78 миллионов крон экономии улучшением всех показателей своей работы и технологии производства, чехословацкий рабочий класс улучшает и собственную жизнь: его реальный средний заработок по сравнению с 1948 годом вырос на 180 процентов.

Но цифры надо изучать, фото и диаграммы обдумывать, а интересные вещи говорят сами за себя,— и потому не в этих поучительных маленьких кабинках толпится большинство посетителей, а у действующих моделей, особенно у знаменитого бесчелночного ткацкого станка, к которому даже пробиться нельзя; или, напри-

мер, у модели поворотного моста, построенного в нынешнем году для Египта.

Свободно лежит лента реки, только в центре ее узкое, вытянутое по течению бетонное ложе острова, а на нем, словно плоская баржа, такой же узкий настил моста; на берегах, справа и слева, как у железнодорожных переездов, опущенные шлагбаумы; но вот у этих шлагбаумов скопилось много автомобилей, а на реке нет пароходов, и настил моста, поворачиваясь на своем бетонном ложе, пересекает реку, упирается обоими концами в берега, и шлагбаумы подняты, машины свободно переезжают по мосту с одного берега на другой... Люди глядят на забавное движение мостового настила с маленькими игрушечными автомобильчиками на нем, и мало кому приходит в голову, что эта комбинация из обычного моста и понтона, быть может, представляет собой новый принцип мостостроения, перед которым смешными, громоздкими, старообразными покажутся прежние мосты, как старообразен паровоз Стефенсона рядом с современным тепловозом. От понтона и всяких других пловучих мостов отличает его применение энергии и экономическая выгодность. Понять, насколько меньше дорогостоящих материалов идет на такие мосты, какую большую роль играет в них механизация и автоматика и, наконец, как они сравнительно дешевы (принимая во внимание гарантию от сноса водой, прочность, быстроту изготовления, простоту и т. д.), — значит понять существо прогрессивного развития социалистической техники в Чехословацкой Народной Республике.

Две тенденции определяют его в тяжелой промышленности — облегчение материала конструкций и удешевление их стоимости; первое приводит к растущему изяществу изделий (кто-то из эстетиков прошлого века выводил понятие «изящного» из процесса изъятия всего лишнего), а второе — к широчайшей общедоступности. Кстати, эти две тенденции прослеживаются на выставке не только в тяжелой, но и в легкой промышленности. Загляните в ее павильон, всегда до тесноты переполненный посетителями, с его нарядными витринами, где собрано все для быта и украшения: ткани, галантерея,

одежда, знаменитая чехословацкая обувь, изделия фабрики карандашей Когиноор, богемское стекло и фарфор, наконец, мебель.

Последняя показана целыми комнатами, для которых она предназначается, и хотя размеры ее нормальны (не такие маленькие, как у финнов, любящих низкие стулья и столы), она занимает удивительно мало места, может быть потому, что формы ее соответствуют четырехугольному пространству комнат. Так вот, изящная эта мебель удивительно дешева, потому что на нее вместо громоздких и тяжелых орехов и дубов, плюшей, бархатов и позолоты употребляется легкое дерево, простые материи, но дерево светлое и отлично отполированное, материи холстинковые, парусиновые, с чудесной окраской. Для детских садов вместо тяжелых и непортативных кроватей употребляются изящные, гигиеничные и в то же время на редкость дешевые маты, легко перемещаемые и складываемые.

Иногда на выставке подмечаешь проскользнувший соблазн выдвинуть вперед «роскошный» предмет, кстати сказать, помогающий предприятию «выполнить и перевыполнить» финансовый план. Как нам кажется, эти тревожные симптомы отступления от прекрасных производственных принципов намечаются (правда, еще только в зародыше!) в преобладании «роскошного», но куда менее изящного, чем обычное, белья на выставке и в показе дорогих, но менее красивых и чересчур вычурных новых моделей хрусталя и стекла, на мой взгляд уступающих замечательным, более дешевым изделиям 1950 года. Может быть, я ошибаюсь, и во всяком случае это впечатление тонет в других, массовых, где изящество и дешевизна идут у наших друзей рука об руку.

С этой точки зрения особенно хороши новые марки автомобилей, чудесная серая с черным малолитражка, стоящая всего около 7000 рублей на наши деньги и потребляющая минимальное количество бензина, что для Чехословакии, перешедшей на собственный, еще дорогой бензин, очень важно.

Советскими войсками был освобожден от фашистов большой завод, подаренный впоследствии как трофейное имущество нашим правительством Чехословацкой

Народной Республике. Этот завод превращен в образцовое химическое предприятие, поставляющее много разных продуктов из нефти, и если до 1948 года страна вынуждена была жить на импортном бензине, то уже в 1954 году производство бензина увеличилось на 128,2 процента, а нефти на 315,4 процента, но стоят они, конечно, еще дорого.

Возвращаясь к социалистическому принципу дешевизны и изящества, не могу не отметить замечательного выражения его в том продукте, который наиболее дорог сердцу писателя,— в книге. Но, переходя к книге, мы покидаем стены промышленных павильонов и попадаем в большой, двухэтажный павильон культуры.

ПРОИЗВОДСТВО КУЛЬТУРЫ

Социалистическое строительство Чехословакии началось не с пустого места. Устроители выставки это учли и постарались показать лучшее и наиболее прогрессивное из многовековых традиций чехословацкого народа. Они привезли макеты важных исторических зданий, много разных моделей, относящихся к прошлому, и наряду с картинами современных живописцев, например, поэтическим пейзажем Ироудека,— несколько картонов Миколаша Алеша, а главное — целый документальный фильм об этом любимом своим народом романтике карандаша и кисти, сумевшем создать много образов и сцен из эпохи народных восстаний, начиная с гуситских войн и до возбужденной городской площади революционного 1848 года.

Разумеется, старых или говорящих о прошлом произведений на выставке не очень много, и они служат скорей фоном и обрамлением для нее, нежели предметами экспонирования; но хорошо, что не забыты лучшие страницы прошлого, глядят со стен портреты замечательных деятелей эпохи чешского Возрождения, представлены классики чешской и словацкой литературы.

В павильоне встречает нас наука. За последние годы в стране созданы три академии — Чехословацкая с 75 научными учреждениями, 60 академиками и 67 чле-

нами-корреспондентами; Словацкая с 46 научными учреждениями и Сельскохозяйственная с восемью исследовательскими институтами. Эти крупнейшие в стране научные учреждения, несомненно, связаны с производством, и почти все, что мы видим вокруг, так или иначе говорит об этой связи и ее плодотворности. Результат этой связи—своя счетная машина конструкции д-ра Антонина Свободы. Такие машины в Европе можно пересчитать по пальцам. Обычно они очень громоздки и занимают чуть ли не целую комнату. Чехословацкая счетная машина, этот «машинный мозг», выполняющий за человека сложные умственные операции, выгодно отличается своими небольшими размерами. Ее любовно показывают два молодых специалиста, товарищи Коларж и Мюллер.

Другой замечательный плод связи науки с производством, которым страна справедливо гордится, создан академиком Гейровским. Это имя нам знакомо —четыре года назад у нас была выпущена книга Я. Гейровского «Техника полярографического исследования», а сейчас мы видим прибор «Поляроскоп П-524». Полярографический метод анализа использует при электролитических процессах капельный ртутный электрод, и это дает ему целый ряд преимуществ. Прибор очень прост и доступен, результаты измерений получаются быстро. Здесь мы видим машину, как друга человека, бок о бок с ним занимающуюся умственными процессами. Проникает она и в другую область культуры, врачебную, принимая на себя иногда самые неожиданные функции. Я говорю не о прекрасных операционном и зубоврачебном кабинетах, показанных в этом павильоне, но о маленькой машине «Металлические легкие Хирана». Если счетная машина помогает человеку считать, то эти металлические легкие создают искусственное дыхание для больного, пораженного детским параличом, ребенка.

Через отделы школьного и дошкольного воспитания, о которых буду писать отдельно, пробираемся, наконец, к чехословацкой книге. Она, впрочем, повсюду на выставке. С ней можно познакомиться и в павильоне культуры и в павильоне заводского клуба — на стендах, в шкафах, на читальных столах. Искусство издания и

оформления книги находится здесь на такой высоте, что нашим работникам издательств очень не плохо было бы съездить поучиться у них. Поучиться характеру работы графиков в книге; выбору и обязательному применению определенных, лучших сортов типографской краски и шрифта; относительной по сравнению с нашей быстроте прохождения книги в печати; умению сделать книгу высокохудожественной и привлекательной, если даже напечатана она на плохой бумаге. Мы часто считаем, что главное в хорошей книге — это бумага высших сортов, и страстно боремся для своих книг прежде всего за высококачественную бумагу; и бывает иной раз, как у франтихи, щеголяющей в платье из дорогой материи, но плохо и безвкусно сшитом: бумага — первый сорт, а шрифт невыразительный, типографская краска бледная; обложка случайная, не отвечающая духу книги. Для чехословаков высококачественная бумага, которая у них производится,—драгоценный предмет экспорта. На свою отечественную книгу они дают эту бумагу очень скупо, и типографии довольствуются дешевыми сортами, особенно для массовых книг и беллетристики.

Однако у них «шьют» из этой дешевой материи такие талантливые «портнихи», что книга, как умная девушка, «одетая со вкусом», выходит изящной и привлекательной. Шрифты выбираются такие отчетливые, что глазам не утомительно долго смотреть даже на мелкий петит; краска прочна, и буквы глядят на вас, не плывя по бумаге, а словно из глубины ее, где они, как выгравированные; вековой опыт лежит в соотношениях полей и текста, высоты и ширины формата и в осмыслении назначения книги.

Чехословацкий народ, прекрасно проявивший себя в музыке и в архитектуре, всегда был и остался мастером линии, ритма, мелодии — всего того, что проявляется и в рисунке. Графическое искусство было на службе у книги много, много лет. А чехословацкие графики имеют за собой почти двухсотлетнюю традицию и замечательных старых графиков-архитекторов, граверов, эстампистов, акварелистов.

Случайно в Праге я попала на выставку одного из очень талантливых современных чешских графиков,

Войтеха Кубашты, и просто оторваться не могла от окружившей меня красоты. Прага —старая и новая, весенняя и зимняя, утренняя и вечерняя, со всеми тайнами ее неба и воды такой прелестью дышала со стен, так легко, верно, тонко, с абсолютным прицелом, «по-снайперски» была схвачена уверенным штрихом рисовальщика, что я долго дивилась этому устоявшемуся мастерству, но перестала дивиться, когда попала в Национальную галерею чешской графики, где собраны образцы ее свыше чем за сто лет.

Опора на такой опыт, такую традицию, начиная с с Карела Постла, с первых, еще скованных в своем штрихе мастеров XVIII века, не может не воспитать высокую культуру и художественную точность рисунка у современных чехословацких графиков. Длинный ряд предшественников был у них и в искусстве книжной иллюстрации. Вот почему большая часть книг, издаваемых в Чехословакии и показанных нам на выставке, оформлена именно графиками с огромным вкусом и пониманием книжного дела. Хороши яркие детские книги. С 1953 года Государственным издательством Чехословакии было выпущено 400 названий для молодежи; к ним нужно добавить и 10 чешских и словацких молодежных журналов. Напомним: в республике немногим больше 12 миллионов населения.

Выставка показала несколько великолепных изданий, выпущенных в Словакии,— до последних лет в Братиславе книги печатались хуже и полиграфически слабее, чем в Праге, но такие книги, как огромный том «Народного искусства Словакии», могут уже поспорить с лучшими пражскими изданиями. И тут надо учесть общие успехи индустриализации Словакии: ее промышленность выросла за 10 лет в четыре с половиной раза. Мы ходили по выставке с заместителем директора, словацким писателем и журналистом Эмилем Штефаном. Узнав в нем товарища по профессии, мы задали ему вопросы о времени прохождения книги в производстве, о системе ее редактирования, о сроках «ответа» издательств на рукопись. Тов. Штефан не только пишет, но и работает в Братиславе редактором. По его словам, книга не больше 25 печатных листов и не слишком

сложно иллюстрированная выходит, как правило, из печати не позднее чем спустя 6 месяцев после сдачи ее в производство.

Автор, пославший издательству свою рукопись, ждет ответа в течение месяца. Если по истечении месяца ответа от издательства не последует, рукопись считается принятой и подлежащей опубликованию. Интересен его рассказ о принципах редактирования книги. Автор большей частью сам просит себе того или иного редактора из своих товарищей по перу, работающих в издательстве. Редакционная работа состоит в том, что редактор проверяет и исправляет в книге места, смущающие самого автора,— мало знакомые ему термины и производственные процессы, исторические даты и названия.

Выставка не показала и не должна была показать слабых сторон издательского дела в Чехословакии, но мы тут скажем о нем попутно несколько слов. Превосходно издавая книги в твердых переплетах, чехословацкие издательства почему-то очень небрежно сшивают книги в бумажных переплетах, и такие книги рассыпаются, как только начинаешь их читать. Это бывает и с ценными изданиями, что случилось, например, с выпущенной на русском языке издательством Орбис классической книгой Божены Немцовой «Бабичка» и с переводами стихотворений Низами Гянджеви, изданными на чешском языке под редакцией крупного ученого, профессора Яна Рипки.

Еще несколько слов о другом, представленном на выставке, чехословацком издательстве, но уже без всякой критики, а с высокой похвалой.

Подобно тому, как книжные издательства представлены на выставке в широчайшем диапазоне их культурной деятельности — выпускающими сотни названий своей собственной и переводной, советской и зарубежной передовой литературы,— нотные чехословацкие издательства проводят огромную культурную работу по изданию литературы музыкальной. Здесь можно найти все, от самого современного и до серии «Музыка антика богемика», то есть произведений чешских композиторов домоцартовского периода, исключительно интересных для музыкантов.

Налюбовавшись этими изданиями, мы невольно потянулись в чехословацкий «Театр музыки» — одно из редчайших удовольствий, доставленных москвичам устроителями выставки. Помещается этот театр в здании типового «заводского клуба», и многие посетители выставки принимают его поэтому за обычный рабочий кинотеатр. Между тем ни один самый богатый завод не может позволить себе создать в своем клубе такой театр. Во всей Чехословакии их всего три; не знаю, есть ли они в Европе,— у нас их пока нет. Театр музыки, или, вернее, театр звука, весь рассчитан на кристально чистую подачу звука. Здесь, как на радио, можно записывать звук, и сюда собираются слушать музыку редких или уникальных пластинок, обычного шума которых тут не бывает (он искусственно заглушается), и остановок при переходе с пластинки на пластинку тоже нет.

Вы погружаетесь в очень удобное кресло, заказываете любимую оперу и слушаете ее в таком первоклассном исполнении, какого в жизни, быть может, вам никогда не удалось бы услышать: «Театр музыки» воскрешает перед вами гениальных музыкантов, давно ушедших из жизни, и вы как бы чувствуете взмах их дирижерской палочки, теплое касание пальцами клавиш, теплый тембр изумительного живого голоса. Значение такого театра очень велико, и технически он еще не достиг предела, а, конечно, будет все более и более совершенствоваться.

Мы уселись в кресла; в потемневшем зале чем-то красным, но не ярким осветился наполовину экран, и сверху полились звуки прелестнейшей увертюры к опере Б. Сметаны «Поцелуй» («Губичка»). Б. Сметана был уже совсем глухим, он носил в себе зародыш смертельной болезни, но когда кто-то сказал ему, что он уже не может написать веселой оперы, Сметана сел и написал «Губичку» — весенний поток мелодий, утверждающих жизнь и счастье.

Потом нам показали мультипликационный фильм «Неудавшаяся игрушка». Это не простая мультипликация. Начинается она прекрасным документальным очерком — сценкой из жизни чехословацкого детского сада, где ребятишки живут своей обычной дневной жизнью.

Когда они уходят в столовую обедать, сделанные ими тряпичные куклы начинают оживать, и фильм становится мультипликацией. Но опять ненадолго. Настоящая серая кошка, вначале гонявшаяся по цветочным горшкам за кузнечиком, своим большим по сравнению с куклами тигровым телом влезает в мультипликацию. Влезает, но не разоряет ее. Куклы раздражают кошку не меньше кузнечика, и вот начинается борьба между живой кошкой и куклами. Но и куклы по-своему, волей режиссера, живы и даже согласно образу и подобию своему наделены человеческой смекалкой, особенно одна из них, черная, которую так неумело, «неудачно» сделал маленький мальчик. Эта неудачная кукла становится во главе борьбы с кошкой, делает из детской линейки таран, и устрашенная им кошка только успела хвостом взмахнуть — и в один миг исчезла за окном.

Острота этого фильма в том, что тут встретились многие жанры. И хотя куклы — это куклы, и у них все ненастоящее, но главная героиня фильма, серая домашняя кошка, «играет» совершенно всерьез, всерьез борется с куклами и всерьез от них панически убегает. Этот фильм — большая удача чехословацкой кинематографии, и мы хотим видеть его на наших экранах.

На прощанье нам удалось опять послушать музыку, на этот раз наиболее современную. Молодой чешский композитор Рудольф Кубин (его худощавое, темноглазое лицо возникло на экране) написал симфоническую поэму на самую индустриальную тему. Называется она «Созидающая Острава». Угольный центр Чехословакии, промышленная Острава...— до чего же перепугались мы (про себя) готовясь слушать. Наверное, звукоподражанье: заводские гудки, скрипы и шипенья; и какое это горе — кончить замечательный день несносным музыкальным натурализмом! Но... звукоподражаньем действительно началась музыкальная картина созидающей Остравы. А мы сидели и слушали, и слушать было приятно. Нигде и ни на секунду не вышел композитор из пределов музыкальности, не нарушил логики музыки, не перестал мыслить в образах музыкального языка. Перед нами развивалась убедительная, задушевная мелодия, и она говорила о пробужденной

большой жизни, о людях-строителях, об их отдыхе и труде, но говорила средствами музыки, и это было хорошо. И так же как после книг нас потянуло к музыке, после этой музыки потянуло нас к живым людям, созидающим угольную Остраву, тем более что находились они совсем рядом, тут же, за стеной, в горнорудном отделе.

Было уже совсем темно, когда мы вступили в великолепно построенную угольную шахту, в точности воспроизводящую современный технический уровень угледобычи в Чехословакии. Музыка ее большого дня замолкла, немыми стояли вагонетки на рельсах, не стучал мотор, застыл в глубине карьера большой угольный комбайн, не двигалась лента конвейера, и все же это была обстановка настоящей шахты, и мы почувствовали себя под землей. По цементному полу шли мы мимо надежных креплений — толстых металлических колонн; потолок и купол шахты был обшит ровными, крепкими балками из чехословацкого дерева. Спутник наш, молодой горный инженер, кончивший институт у нас в Свердловске и отлично говоривший по-русски, показал нам новинку — только что созданную Остравским научно-исследовательским институтом аккумуляторно-бензиновую шахтерскую лампу.

До сих пор шахтеру приходилось носить на работу две лампы: одну бензиновую, необходимую для того, чтобы, зажигая ее, определить, каков в шахте воздух; и другую, электрическую,— для того, чтобы светить себе. Таскать целых две лампы с собой было неудобно, они мешали в работе, не безопасно было зажигать бензиновую, когда в рудниках скоплялся газ. Новая лампа — настоящее большое облегчение для шахтера, и вы сразу чувствуете, что значит практически шаг вперед в технике: узкая, с безопасной бензиновой лампочкой наверху, с электрическим прожектором внизу, не очень тяжелая в руке.. Но мы тосковали по человеку. И вот из шахты, не торопясь, подошел к нам высокий темноволосый человек с ясным открытым лбом, с типичными тонкими чертами чеха, молчаливый и замкнутый. Это был знатный комбайнер из Остравы тов. Иосиф Беднарж.

Иногда самые теплые знакомства завязываются в одну минуту, и в новом для вас человеке открываются вам знакомые, дорогие черты народа, который мы привыкли любить по книгам, по его истории, памятникам его искусства. Покуда в глубине шахты молчал чехословацкий комбайн «Остраван-500», хозяин его, утомленный длинным днем на выставке, где приходилось без конца отвечать и показывать одно то же, вдруг улыбнулся в ответ на неожиданно новый для него вопрос и весь потеплел в улыбке. Любит ли он музыку? А есть ли на свете чех, не любящий музыку? Да, он играл на скрипке и даже своими руками сделал сам себе скрипку. Кроме того, он не только комбайнер, а и лесник. Знает и любит лес и ходит на охоту, и ружье тоже сам себе сделал. А когда повредил палец, пришлось отказаться от скрипки... Он говорил очень обыкновенные для чехословацких рабочих вещи. Я сама видела, как их умелые руки изготовляют нужный для семьи предмет; как целая деревня из поколения в поколение делает знаменитые чешские скрипки; как из всех деревенских окон в летний вечер, когда закончится страда, а вы проезжаете мимо в машине, льются звуки инструментов, духовых и струнных. И это те самые люди, кто на заводах создает и осваивает передовую технику, работает на сложнейших станках, веками накапливая у себя и за рубежами добрую славу чехословацкой производственной марки. Прерывая наш разговор о музыке, кто-то из работников сказал:

— Еще запишите о Беднарже: он первый из нас, побывав в Донбассе, осваивал в Чехословакии советский угольный комбайн. А теперь — поглядите на наш «Остраван-пятьсот»!

1955

МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ

Передо мною лежит только что полученное письмо из Шотландии, со штампом Эдинбургского университета. Написал его молодой ученый, профессор Аврион Митчисон, у матери которого, известной писательницы Наоми Митчисон, два месяца назад я гостила. Сам он только что побывал в Праге.

«Как это чудесно сейчас для нас,— пишет он мне,— иметь возможность посетить Чехословакию, а вам побывать у нас. Надеюсь, вы наслаждались своим пребыванием в Чехословакии, как и я: ведь я повстречал там много, много хороших людей, а также и хороших ученых...»

В самом деле, какое это большое счастье, когда людям открыты дороги в широкий мир и они могут глазами любви и интереса всматриваться в новые для них черты человеческого уклада, в столетиями отстоявшиеся обычаи и проявления народного характера и встречать «много, много хороших людей», душевная близость и дружба с которыми тем и свежа, тем и остро интересна, что проявляется она сквозь новые и незнакомые для вас народные различия и особенности. И я так ясно представила себе молодого шотландца, которому его мать дала символическое греческое имя («Аврион» — «завтра»), как он бродит по социалистической Праге с пытливым интересом ко всему новому для него, как он просиживает в кофейнях за неизменной чашкой «кавы», горячо беседуя с серьезными чешскими учеными, и как он ловит в их лицах, в их говоре, в их улыбке сквозь западную выдержку и знакомую ему

благовоспитанность — неожиданно мягкую и открытую славянскую лиричность... Так ясно представила, что меня самое неудержимо потянуло в зимнюю оснеженную Прагу, воспетую в тонкой графике Войтеха Кубашты, потянуло на строгий дворик Клементинума, в узкие улички вокруг Староместского намести *; и я словно опять услышала безмолвный зов — с витрин и плакатов, со стен исторических зданий,— зов, возможный только на чешском языке с его особенной, не поддающейся переводу, теплотой интонации «навштивте нас» — навестите нас! Это просили навестить их бесчисленные музеи и выставки Праги.

Помню, как прошлым летом, беспрерывно поддаваясь этому мягкому зову, я шла навещать во все концы города — то белый, подобный шестиугольной звезде, музей Алоиза Ирасека, воздвигнутый делу писателя, сумевшего отразить в своих исторических книгах все этапы борьбы чешского народа за свою национальную самостоятельность; то «гвездарну», астрономическую вышку на Петржине, чтоб посмотреть вместе с огромной толпой школьников на янтарного Юпитера в вечернем небе; то парк имени Фучика, где вместе с малыми ребятами я изо всех сил старалась проглотить воздушный комок на палочке, именуемый «сахарной ватой»; то чинные залы строгого музея Б. Сметаны на набережной Влтавы, где мне удалось поработать над его рукописными комментариями к симфоническим картинам «Моя родина»... и сколько еще! Но об одном музее мне хочется рассказать подробнее, потому что такого музея я не видела больше нигде, а нам тоже неплохо было бы организовать у себя нечто, подобное ему.

Если идти к знаменитой Бетлемской капелле, где проповедовал Ян Гус, то, не доходя до нее, можно увидеть вход в так называемый музей Нáпрстка. Называется он, в сущности, по-другому, словами из книги Ирасека: «З чех аж на конец света»,— нашему читателю понятно и без перевода. Это музей самой сильной страсти человека, не покидающей его до последнего часа жизни, и, может быть (если б мы могли подслу-

---

* Площадь в Праге.

шать предсмертную мысль умирающего!), не чуждой ему и в этот последний миг,— великой, неудовлетворимой страсти к неведомому, к путешествию. Чешский путешественник Войта Напрстек положил основание музею своими замечательными коллекциями. И если очень внимательно обойти его интереснейшие залы, начинает казаться, что в «путешествии», в том, как люди ездят по чужим землям, как они ведут себя там и какой след оставляют, неизбежно отлагаются не только черты характера данного народа, но и его судьба, его история.

Вот первые несколько столетий развития чехословацкого народа — до страшной даты 1620, когда в битве на Белой горе он потерял свою самостоятельность и на 300 лет подпал под немецко-австрийское иго. Какая большая культура чувствуется в эти столетия! Еще в XIII веке чехи-путешественники добираются до Монголии, в XIV — до Индии и Тибета, в XV переводится на чешский язык путешествие Марко Поло,— рукопись этого первого перевода сохранилась; в XVI издается замечательное «Путешествие» Мартина Кабатника на Ближний Восток, в том числе в Египет и Палестину. Как и зачем ездят эти чехи? Пользуясь возможностью посетить далекие страны,— с дипломатической или другой конкретной целью,— они прежде всего стремятся к познанию, к изучению, и — к передаче узнанного и собранного своим соотечественникам. Когда страшная белогорская битва прерывает самостоятельное государственное развитие Чехии, начинается поток эмиграций, бегство от насильников. Но в эмиграцию чех идет во всеоружии своего духовного богатства, идет как творец, как профессиональный работник.

Ян Амос Коменский, величайший педагог-философ, завершает и печатает в Амстердаме свои педагогические труды. Иозеф Мысливечек, предшественник и друг Моцарта, оказавший влияние на его творчество, получает в Италии имя Il divino Bohemo (божественный богемец) и пишет одну за другой оперы для итальянских сцен. Огромное число музыкантов, строителей, мастеров, учителей-латинистов чехов покидает родину для чужих краев в эти два столетия, XVII и XVIII,— чтоб

быть нужными и полезными на новом месте. Но еще более характерны чехословацкие путешествия в прошлом веке, когда легендарные «полковники Лоуренсы» империалистических государств наводняли далекие континенты, как верные щупальцы раздвигающейся, охватывающей полмира, колониальной системы. Рядом с ними каким близким нам, высоким гуманизмом веет от больших путешественников-чехов!

Вот чешский геолог Фердинанд Столичка, создавший капитальные труды по геологии и палеонтологии Индии. Он так и умер — еще совсем молодым,— не успев вернуться на родину, в буддистском монастыре, и в Калькуттском геологическом музее стоит его мраморный памятник. Вот врач Франтишек Цзурда, изучавший народную культуру в Индонезии и умерший на Яве. Вот побывавший в Армении, обследовавший Ванское озеро и нашедший неизвестную до него клинопись учитель Иозеф Вюнш; врач Вацлав Свобода, изучивший Никобарские острова; профессор Алоиз Музиль, путешествия которого по сирийским и арабским пустыням и его открытия похожи на сказку о волшебной Аладиновой лампе; и, наконец, крупнейший чешский ориенталист Бедржих Грозный, прочитавший хеттскую клинопись, хеттское и протоиндийское письмо...

Ученые, врачи, педагоги, инженеры — все они, когда возвращались из своих путешествий, привозили на родину богатейшие коллекции — и мы находим их в музее На́прстка. По длинной лестнице всходим мы, разглядывая вдоль стен фотографии этих путешественников, а подчас и ученых-путешественниц, подобно Анне Пертолдовой, смуглой серьезной женщине в очках,— наверх, в залы, где снова встречаемся с ними, но уже более конкретно.

Я назвала лишь несколько имен, а их многие десятки; каждый путешественник показан в его делах и достижениях, перед каждым — в отдельных нишах — большой глобус, по которому начертаны пути его следования. В этих верхних залах собраны коллекции путешествий, переносящие нас в далекие страны, к далеким народам. Здесь тотемы, родовые божки, страшные африканские боги, чудесная деревянная резьба китай-

цев, полная жизни японская фигурка рыбака, прелестная индонезийская танцовщица, керамика, магические маски, предметы быта и культа, одежды и музыкальные инструменты. Чего только нет здесь,— вплоть до кожаного мешка,— одежды, в которой доктор Бегоуиек, единственный чех, участвовавший в экспедиции генерала Нобиле, провел в Арктике семь недель и был спасен нашим ледоколом «Красиным». Как приятно было прочитать и о другом чехе, механике Яне Бржезине, участвовавшем в 1937 году в экспедиции Папанина на Северный полюс...

Посетителя в этом музее окружает мир мужественных и неугомонных людей, которым, говоря обычным языком, «не сидится на месте». И вас охватывает чувство высокого воспитательного значения такого музея. Забыв свои годы, вы на миг чувствуете себя юношей, перед которым открыты ворота в самую лучшую часть жизни — в будущее. Соленый ветер океана шевелит вам волосы, большая розовая раковина переполняется гулом волн, скрипят снасти у модели старого корабля, трехголовый ужас деревянного африканского божества приколдовывает ваш взгляд,— вы уже не в силах противиться могучему зову, встающему из каждого угла этого необычайного музея... И если спросить вас в эту минуту о ваших желаниях и планах, вы сможете ответить только двумя словами: хочу путешествовать! Музей идет вам в этом навстречу. Он оригинален и необычен не только в своем содержании, но и в методе подхода к своим экспонатам. Меньше всего склонны были его устроители к академическому подразделению людей на «путешественников» только как географов с научной целью открыть, исследовать, заполнить белое пятно на карте или ученых-ориенталистов. Они поняли задачу своего музея гораздо шире, и вот в число путешественников, наряду с большими «открывателями», попали и те, кто ездит по белу свету, внимательными глазами любви осматривая страны, народы и культуру их — глазами любви, иногда вспыхивающими и негодованием, именно потому, что путешествующие любят человечество. В число таких путешественников попали и писатели — Мария Майерова со своими путевыми очер-

ками, Сватоплук Чех, побывавший у нас на Кавказе и до сих пор не забытый в нашей Северной Осетии, и много других. Попали сюда в музей и два милых нам инженера, Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд, вместе со своим иллюстративным трудом об Африке.

Каким могучим средством воспитания и обучения могла бы стать организация такого «Музея русского путешественника» для нашей молодежи! В нашем музейном деле, как мне, профану, часто кажется, мы дошли до крайней специализации, разделив многие слитные вещи, дышащие одним историческим дыханьем, на десятки отдельных подразделений и замкнув их в отдельные музеи. А там, где мы создаем общие музеи (скажем, историко-этнографические или естественнонаучные), мы заготовляем стандарты образцов на единый лад, так что, например, повидав один музей, мы в другом увидим полное повторение предыдущего в фото, копиях документов, картах, муляжах, чучелах. И больше того — эти общие разделы совершенно съедают все то местное, свое, уникально-историческое или краеведческое, что так и хотелось бы увидеть именно в музее данного города и данного края. До чего же обезличенно-скучно глядят такие экспонаты на посетителя! Боюсь, что такой «подход» сразу зарежет и мою идею «Музея русского путешественника». Мне скажут: «Как, с Афанасием Никитиным вы соединяете Карамзина, Радищева с их книгами? Первого — в историко-географический музей, вторых — в литературный! Как, рядом с Миклухой-Маклаем вы хватаетесь за «Фрегат «Палладу», за «Аврору», за «Коршуна», за... Да ведь это разные вещи, да ведь тут география, этнография, политика, литература, беллетристика наконец, а ведь музей — учреждение научное, нужна строгая специализация, а все это пахнет дилетантством, «жюльвернизмом»... Но как же недостает нам именно того высокого дилетантизма, вырастающего из любовно собранной частной коллекции, из единого замысла человека, страстно любящего свое дело,— каким, словно истинной поэзией, весь светится и горит музей На́прстка в Праге!

И уж если заговорить о музеях в этот месячник

дружбы, когда чехи и советские люди по-настоящему делятся опытом, хочу еще посоветовать нашим музейным работникам позаимствовать у чехословаков два простых, но удивительно плодотворных средства, разбивающих длинную монотонию музейных витрин. Надежда Константиновна рассказывала об Ильиче, что он обычно очень утомлялся в музеях. Тяжело долго подряд смотреть на развешанные картины или выставленные предметы. Как бы ни были они прекрасны, глаз и мозг утомляется от их изолированного показа, их вырванности из среды, их неподвижности. Но вот я испытала на себе, что даже огромный народный музей на Вацлавской площади в Праге меня не утомил, хотя я провела в нем в один только первый день около семи часов. Разбираясь в своих впечатлениях, я выделила из них два, как методически новые для меня. Во-первых, чехословаки, открывая музей (как всегда, создающийся на основе многих коллекций и труда многих людей), не забывают тех, кто собирал коллекцию и вкладывал труд в организацию отдельных разделов. Наряду с экспонатами вы читаете имена, видите портреты, узнаете о жизни и делах этих людей, и это облегчает вашим глазам следование по витринам. Во-вторых, чехи, организуя витрины, избегают стандартов и допускают талантливое индивидуальное творчество. В зоологическом отделе меня остановила большая картина птичьего царства; были тут нарисованы все хищные птицы, водящиеся в Чехословакии, но нарисованы как-то особенно незабываемо. Я пригляделась. Надпись под картиной спрашивала: «Знаете ли вы нашу хищную птицу в полете?» Оказывается, потому и запомнилась вам каждая нарисованная птица, что она была дана не в неподвижности, не сидящей, а именно в том движении, которое наиболее ее характеризует и отличает от другой, то есть в *полете*. И я тут же поняла, что только сейчас и увидела различия этих птиц по-настоящему и запомнила их так, что, наверное, узнаю в небе Но и этим не ограничилась оригинальность этого раздела в музее. Тот, кто сумел по-новому показать вам птицу и без слов рассказать о ней, тоже не был забыт. Под картиной я нашла подпись: «Автор — доктор

А. Горице». Так и не пришлось соскучиться, переходя из отдела в отдел...

Но я не досказала о музее На́прстка. Пройдя весь его из конца в конец, посетитель оказывается в уютном зале — со сценой для лектора, с экраном, с удобными креслами для слушателей, с хорошим роялем — для показа музыки народов, о которых здесь, вероятно, рассказывают современные путешественники. А на стенах я прочитала большие красноречивые надписи: они звали к борьбе за мир, за дружбу между народами... Так гармонично завершается это «путешествие» по музею путешествий в социалистической Чехословакии.

Декабрь 1956

АНГЛИЙСКИЕ ПИСЬМА

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

ВЪЕЗД НА ОСТРОВ

Ночью вы просыпаетесь в поезде от перемены движенья. Вместо привычной дрожи с постукиванием, передающей бег колес,— медленное длинноволновое покачивание, как в колыбели, с ощущеньем стоянья на месте. В полутьме вы раскрываете глаза. Мягкая плюшевая лесенка прямо перед вашим носом, для пассажира верхней койки, мешает вам сразу встать с постели. Но вот вы приподняли край занавески. Желтый электрический свет бьет в окно вагона; серая длинная стена перед вами, напоминающая внутренность туннеля. Рядом с вашим поездом, вытянувшись в ряд, стоят автомобили в той мертвенной неподвижности, какая бывает у спящих под утро. И в них, в той же сонной неподвижности, сидят люди, похожие на восковые куклы: спит шофер, опустив голову, но рукой охватив баранку; две старые дамы в ночных чепчиках положили головы на резиновые подушки: молодая чета плечом к плечу...

Вы проснулись как раз во-время, чтоб поймать скрытый в ночной темноте процесс, называемый коротким английским глаголом «кросс». Это поезд пересекает Дуврский пролив — с континента на остров, из Франции в Англию,— не сходя со своих рельсов. И вот уже

сизая голубизна рассвета, звуки, прогоняющие ночь, какие-то очертания не то кранов, не то мачт, фигурки людей в железнодорожных мундирах,— симфония перехода с моря на сушу. А еще через полчаса щеголеватый официант приглашает вас отведать первый тяжелый английский или, последний для вас, легкий континентальный завтрак.

Вы можете прекрасно знать английскую литературу, наглядеться на сотни «видов» в кино, в альбомах, в книгах, и все же первая встреча с Англией потрясет вас своей новизной. Не «меловыми скалами» Дувра, почему-то упоминаемыми во всех путевых очерках. Не жизнью порта,— ее вы совсем не увидите из окна вагона. Но прежде чем узнали вы дивные создания подлинной английской архитектурной классики,— в Кентербери, в Оксфорде, в Райе, в Бате, во множестве старинных городков и деревень,— Дувр двинет на вас в огромном и мрачном количестве, сразу, без подготовки,— после мягких пейзажей с разбросанными, разноформенными постройками Чехословакии, Германии, Франции,— двинет на вас полчища того, что в первую минуту вы невольно сравните с «фалангами» Фурье, какими они представляются вашему воображенью. Что это — склады? Каменные гофры бесконечных заводских помещений? Но нет, это жилые дома,— одинаковые дома-близнецы, из одного материала, одного цвета, одной высоты, одной формы, слитые так, словно по бокам у них нет наружных стен, а только одна внутренняя, общая для двух соседей. И этот бесконечный дом, извивающийся вдоль улиц, напоминая гофр или гармошку, наверху увенчан острыми пиками высоких тонкошеих, как у жирафы, труб: почти каждая комната каждого дома через свой отдельный камин разговаривает — с небом — своей собственной трубой на крыше.

Полчища одинаковых домов, слитых друг с другом, устрашающе однообразны. Но полчища труб на крышах играют, как ноты на пяти линейках, разными высотой и долготой: то они встают, как петушиные гребешки, на середине крыши, то скопляются, как клыки допотопного зверя, на одной ее части, то обрамляют ее стайками с двух сторон. Это первое впечатленье от обычной

жилой английской архитектуры действует на вас сразу же с огромной силой, порождая десятки мыслей, пока движутся и плывут перед вами бесконечные узкие коридоры улиц с лентами и полукругами сплошных стен.

Как жители находят свои квартиры, свою дверь в этой каменной стене? Как жить в этих мрачных мешках, не очень высоких, но почти по-тюремному замкнутых, без единой щели, без единого просвета между домами? «Мой дом — моя крепость»,— говорит англичанин, гордый недоступностью своего частного жилья,— и вы по этой пословице представляли себе дом англичанина чем-то изолированным, отделенным от соседей, окруженным просторной площадью, высоким забором,— и вдруг это неприступное жилье англичанина, его «крепость», оказывается ребрышком в неисчислимом костяке других одинаковых ребрышек, связанных с соседями, как страницы одной книги или пальцы одной руки.

Но вот чувство ужаса,— я точно определяю первое мгновенное чувство, охватывающее вас,— начинает выстегиваться, как темнота перед рассветом, новыми, едва еще уловимыми стежками других наблюдений. Как хорошо, как крепко, добротно все это построено! Да, это похоже на заводские корпуса, но ведь заводы монументальны, их железные каркасы заливаются крепчайшим цементом, сшиваются сталью,— и эти улицы домов-близнецов, они тоже так необычайно прочны и сшиты вместе. Солидная Англия, солидная во всем, стяжавшая себе славу своей добротностью и солидностью, Англия мануфактуры, угля, портланд-цемента, стали, твердыня торговли и капитала, создательница стойкого английского характера,— вот она, в ее первой встрече с вами, во всей ее каменной серьезности без улыбки,— неужели она только такая?

Думать дальше некогда — надвигаются гулкие своды вокзала «Виктория», вы сходите на английскую землю. Молчаливые таможенники, не очень дружелюбные, оглядывают ваши вещи и словно нехотя протягивают вам красную карточку с печатной надписью: «Добро пожаловать в Англию». Вы для них «эйлиен», чужой элемент, инородное тело, как и для большинства

служащих в гостиницах. Уже несколько устрашенный приемом, выходите вы из таможни — прямо на лондонскую улицу. Сыро, как в английских детективах, пасмурное небо над музыкальными ключами и закорючками труб; не очень шумно — лишь какой-то особый рокочущий шелест автомашин по асфальту, новое для вас движенье — справа. И хотя вы ступили на эту улицу впервые в жизни, хотя она мрачновата, а таможня уже успела заставить вас съежиться внутренне,— не проходит и нескольких дней, как вы с удивлением замечаете, что полюбили этот город, успели освоиться с ним, и вам легко и просто в нем, словно вы жили тут десятки лет.

Что помогает такой быстроте освоения Лондона? Из каких впечатлений складывается ваше чувство легкости и простоты?

Нет, кажется, ни одного очерка, ни одной книги об Англии, где по какой-то непостижимой инерции, вероятно, под влиянием путеводителей и энциклопедий,— не говорится о Лондоне, как о чудовищно большом городе, и не перечисляется, из каких разнообразных частей он состоит. На самом деле Лондон — маленький, он маленький субъективно, для того, кто живет в нем, имея определенный круг интересов и задач. Ведь ощущенье размера города складывается вовсе не из его пространственных масштабов, а из легкодоступности расстояний от вас до всех нужных вам мест.

Центральный Лондон, опоясанный своими «сёркусами» — кружочками маленьких площадей. Лондон библиотек, парков, театров, кино, музеев, выставок, вокзалов, названных по имени улиц и железных дорог, расходящихся прямо с этих улиц во все стороны страны,— он и вообще невелик. Разумеется, для того, кто ездит на машине, когда приходится объезжать десятки улиц, чтоб попасть на ту, которая для пешехода была бы в двух шагах,— эти расстояния требуют времени. Но если вы любите ходить и не жалеете своих «пенни» на подземку, вы просто не будете чувствовать больших лондонских расстояний. Для меня попадать по два-три раза в день из моего, окруженного садами, «Аббатского Подворья» в самый центр Лондона казалось гораздо

более легким, чем путешествовать с Арбата на Ново-Басманную в Москве, а между тем я в эти «два-три раза в день» пересекала почти всю территорию так называемого «основного» Лондона.

Два слова о метро, которое смыкается в нескольких местах Лондона с электричками пригородного типа. Не стану перечислять таких его преимуществ перед парижским, как изобилие удобных мягких мест и головокружительная быстрота движенья. Но нельзя не полюбить его большой внутренней логики. Спустившись в него хотя бы впервые, вы не можете не найти дороги туда, куда вам надо, и не пересесть именно там и на тот поезд, какой необходим. Вас ведут надписи, ведут бережно, от стены к стене, от поворота к повороту, большие, ясные, вразумительные, иногда помогающие себе цветом («К Паддингтону — держитесь зеленого цвета!»); медленные эскалаторы местами сменяются быстрыми и вместительными, как гараж, лифтами; над кассами написано «Билеты и информация»,— это значит, что, помимо билета (который вы можете купить и в удобнейших, выбрасывающих вам сдачу автоматах), вы получаете еще устное разъясненье от кассира; но и этого мало — вам дадут, по вашей просьбе, бесплатно прекрасные маленькие карты-путеводители для автобусов («басов») и подземок. Спускаясь в метро, вы по стенным рекламам узнаете, что и где идет в театрах, если нет времени посмотреть в газетах; можете кое-где зайти и поесть; и, наконец,— забежать в «лаватори» — великолепные, вместительные уборные, и за три пенни вы получите миниатюрное мыло с чистым полотенцем, по использовании бросаемым в корзину. Помылись, причесались перед службой, перед театром...

Кстати, о картах. Не помню, в каком году можно было купить план Москвы, не говоря уже о планах других городов наших, сейчас наводняемых туристами. А ведь план — великое первое дело для освоения города. В Лондоне в любом магазине вы найдете не один, а десятки всевозможных планов вплоть до целого тома, где Лондон разбит на квадраты, с нанесением в них каждой улицы, каждого переулка. Ни разу не пришлось мне за долгих два месяца меланхолически призаду-

маться над вопросом, «где эта улица, где этот дом»! И так не только в Лондоне. Что уж говорить о городах, если, остановившись в закусочной крохотной деревушки, мы получили от хозяина бара печатный путеводитель по достопримечательностям этой самой деревушки!

Второй решающий фактор в освоении Лондона осознается вами не сразу. Многим из нас, едущим за рубеж, кажется, что надо быть похожим — в одежде, в манерах, в языке — на тех, чью страну мы собираемся посетить; иначе ведь можешь обратить на себя внимание, резко выделиться, даже сделаться предметом шуток в газетах. Так вот, в применении к Англии, все это, говоря излюбленными словечками старых английских леди,— «фиддльстик энд раббиш»,— чепуха и ерунда. Лучшее, что вы можете сделать, приезжая в Лондон, это — постараться быть самим собой, искренне и предельно самим собой: ходить, как привыкли и как вам удобно, говорить своим «честным» английским языком, не стараться мурлыкать и заглатывать слова, фальшиво подражая неподражаемым для вас интонациям,— и, что самое важное,— не притворяться, не подделываться, не пытаться ассимилироваться, не «казаться»,— а быть, просто быть таким, как вы есть. Только тогда, только если вы останетесь самим собой,— англичане перестанут обращать на вас внимание, и вы почувствуете себя легко и свободно.

И, наконец, последний фактор, с каким вам приходится столкнуться в Англии. Да, на вас не обращают никакого внимания, как и на себя англичанин как будто никакого внимания не обращает, любя свою старую, обношенную одежду, чиня по десятку раз ботинки, ведя себя всюду по-свойски, подчас не совсем дисциплинированно. Приходилось мне иной раз наблюдать, как в помещениях, в метро, в поезде, где написано «не курить», англичанин преспокойно курит; как в садах и парках, где объявляются штрафы за бросанье мусора в траву и стоят корзины для мусора,— англичане кидают мешочки, спички, окурки не в корзины, а на дорожку; вечерний Лондон, когда поднимается ветер, просто пугает вас, словно задворки какого-нибудь строи-

тельства,— столько всяких отбросов и бумажек крутится и несется по улице. Но при всем том англичанин сдержан. Он сдержан физиологически, многовековой привычкой подавлять внешние выражения своих эмоций. Особенно стыдится он открыто выражать хорошие, глубокие чувства, пряча их в остроумии, в юморе, для понимания которого нужно быть, впрочем, англичанином и более или менее образованным человеком, так часто прибегает он к литературным ассоциациям и примерам из истории. И в самых типичных описаниях «героя» в английском романе обязательно отмечается у него «юмористический» (хьюмэрэс) склад рта или огонек в глазах. И при этой постоянной внутренней сдержанности, смягченной юмором, вас иногда пугает неожиданная реакция английской толпы,— в театрах, в кино, на собраниях,— взрывом нервного смеха — не только там, где смешно, а подчас даже там, где не смешно, а трогательно или страшно. Один лондонец объяснил мне, что эта нервная реакция смехом на чувствительное и грустное вызывается напряжением от постоянной выдержки.

Так вот все эти противоречивые качества англичанина, создавшие ему репутацию необыкновенной замкнутости, сочетаются в английском народе с удивительной, сердечной приветливостью. Простые англичанин или англичанка, спешащие по своему делу, никогда не оставят вас на улице в беде. Кондукторша автобуса поможет сесть и выйти каждому пожилому пассажиру. Сосед в театре, в кино, в очереди через пять минут перестает быть для вас чужим, потому что, кроме приветливости, английский народ отличается еще свойством, которое зовут у нас добрым комсомольским словом «компанейский». Англичане охотно и сразу составят вам компанию,— особенно когда нужно помочь. Однажды ночью я ехала в Глазго. Нас было восемь человек в купе. Когда все остальные сели, я читала газету и не заметила, одна ли это семья. Молоденькая женщина с грудным ребенком устала его качать и передала соседу, юноше лет восемнадцати,— тот часа два ходил с ним по коридору укачивая,— и я подумала, «какой хороший младший брат у нее». Две толстушки,

открыв корзину, принялись за еду, протягивая друг другу бумажные тарелки с яствами. «Какие дружные сестры»,— подумала я опять. Но потом они стали угощать всех нас, а хмурый старикан, всю дорогу не снимавший шляпы, таскал нам в Глазго все наши чемоданы, и выяснилось, что никто из них никогда до этого друг друга не знал.

Вот эта искренняя приветливость простого народа Британии и создает, как мне кажется, вместе со всеми перечисленными выше факторами, ту атмосферу простоты и удобства, в какой вы начинаете себя чувствовать на английской земле. И уже по-новому начинаете вы глядеть и на этот сомкнувшийся, словно единым строем выходящий навстречу вам — каменный фронт своеобразных английских жилищ...

Едва ступила я на британскую почву, как мне пришлось не фигурально, а буквально попасть «с корабля на бал»,— на происходивший в те дни в Лондоне двадцать восьмой конгресс Пенклуба, представивший для нас, писателей, немало интереса.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

НА КОНГРЕССЕ ПЕНКЛУБА

1

Что такое «Пенклуб»?

Около сорока лет назад английская писательница Эми Доусон открыла у себя в Корнуэлс (западной части Англии) «Клуб завтрашнего дня» для литературной молодежи. Спустя несколько лет она решила превратить его в более широкую организацию и написала об этом Голсуорси. То было начало 20-х годов; в Англии ширилось демократическое движенье, был жив Уэллс с его интересом к новому социальному устройству людей. Голсуорси ответил: «Все хорошо, что может послужить интернациональному миру, и я приду на ваше собранье». Так родился Пенклуб — союз (по начальным

буквам) поэтов, драматургов, («плэйрайтерс»), эссеистов, издателей («эдиторс») и романистов («новелистс»). Обратим вниманье на место, уделенное эссеистам, то есть мастерам очерка, критических и философских опытов, художественно-исторических биографий. В этом жанре издается за рубежом очень много книг, подчас делающих «большой день» в литературе и не на шутку соперничающих с романами. Что до «издателей», то в капиталистическом мире они нередко поддерживают определенные направления, создают репутацию книги, помогают конгрессам материально. Платформа Пенклуба с самого начала была принципиально «аполитична»: не вмешиваться в политику и «по мере возможности бороться за свободу мысли и писанья». Условия для приема были тоже сформулированы коротко: любая страна, собравшись в числе не менее двадцати квалифицированных писателей, может открыть у себя свой «центр» и просить включить его в международную организацию. Прием происходит, как говорится в уставе, «без различия стран, национальностей, рас и религий». В течение трех десятков лет Пенклуб разросся в организацию, охватившую людей пера со всех пяти частей света; есть в нем и писатели Чехословакии, Венгрии, Польши, Германской Демократической Республики. Таким образом, уже много лет, на ежегодных конгрессах то в одной, то в другой стране, видные писатели почти всего земного шара встречаются друг с другом, обмениваются опытом, решают профессиональные проблемы. Когда я приехала в Лондон, туда уже съехалось много народу из европейских стран, а также из Америки, Африки, Азии и Австралии. Попав в качестве журналиста на хоры знаменитого исторического зала Королевского медицинского колледжа в Риджентс-Парке, впервые за все время своего существования допустившего в свои стены «постороннюю организацию», то есть Пенклуб,— я в первую минуту поразилась тому, как живо напомнила мне эта пестрая толпа, с мелькающими в ней яркими восточными одеждами, эти деловитые секретарши с кипой бумаг, эти стенды с книгами, а главное,— этот знакомый тип труженика литературы, писателя, с чем-то трудно опреде-

лимым, но безошибочно узнаваемым в выраженье лица, в манере держать себя,— как живо напомнило мне все это наши собственные писательские съезды.

Газеты скупо встретили и очень скудно осветили конгресс. Кое-где с похвалой упомянуто было присутствие среди почетных гостей конгресса итальянца Карло Леви (автора знакомой нам в переводе книги «Христос остановился в Эболи»), приглашение на конгресс немца Бертольда Брехта (создателя нового театра в Берлине и знаменитой оперы, шедшей в Лондоне под названьем «Три пенни-опера», недавно скончавшегося) и еврейского писателя Шолома Аша из Америки. О присутствии на конгрессе писателей из стран народной демократии, сколько мне известно, ничего и нигде сказано не было. Только одна швейцарская газета «Нейе цюрихер цейтунг» сделала очень симптоматичное заявление. Она упрекнула Пенклуб за чересчур широко раскрытые двери для приема новых членов... Как бы то ни было, от минувшего Венского конгресса данный Лондонский отличали, во-первых, очень возросшее представительство азиатских и африканских стран; во-вторых, исключительное многолюдие за счет, главным образом, англичан; в-третьих, более близкая к жизни, способная заинтересовать очень широкие круги программа работ. Привожу ее целиком:

«Как писателю установить контакт с современным читателем? Что представляет собою новая публика? Какова роль радио и телевидения? Как представляет себе автор свою моральную ответственность перед публикой? Является ли критика чем-то более, нежели «офицером-связистом» (военный термин) между писателем и публикой? Не довольно ли академического критицизма? Требует ли новая публика и нового вида критики? Должны ли сами творцы быть критиками? Чего хочет публика от историка? Насколько далеко может идти накладывание историками своих штампов (паттерн) на историю? Существует ли новая техника для писания биографий?»

К этой основной программе были прибавлены четыре секционных заседанья на темы о новой технике в поэзии, новой технике в романе, новой технике связи с

массой в радио и телевидении и о важности литературы для меньшинства (то есть для избранных).

Все эти вопросы конгрессу надлежало решить силами большинства, то есть главным образом английских писателей, и решить, следуя уставу, «без политики».

С нашей журналистской голубятни (где и вообще-то сидело человека три-четыре) почти невозможно было разглядеть море голов внизу и лица ораторов. Но я знала, что там, внизу, среди современных английских писателей, у нас почти не переводившихся и подчас неизвестных советскому читателю даже по имени, сидят люди со сложной биографией. Литература, как гребень волны на море, не могла не передавать подъемы и паденья огромного колыхающегося моря всей английской общественной жизни, и в английской литературе за последние сорок лет, естественно, были свои чередованья взлетов и упадка.

Вот среди главных устроителей конгресса сидит председатель его финансовой части и организационного комитета Джон Леманн. Когда-то он издавал левый журнал, выпустил в 1939 году брошюру, где черным по белому стоит: «...Падение Австрии и расчленение Чехословакии с попустительства британского правительства и против воли всего прогрессивного мнения Британии, нанесло удар демократической морали, следы которого можно подметить и в литературе; но как бы ни реализовались эти следы сами по себе в ближайшие месяцы,— на перспективный взгляд, на взгляд оптимистический и марксистский, невозможно усомниться в том, что уже видна новая фаза английской литературы, с новым гуманизмом, при котором барьеры класса и расы между писателями должны исчезнуть». Правда, тот же Леманн, разочаровавшись в рабочем движении, объявил в 1945 году, что английская литература возвращается к старой традиции на базе «общего нам всем христианства и классической цивилизации». Но — из жизни, как из песни, слова не выкинешь.

Или вот — среди членов Пенклуба, выступивших на конгрессе,— поэт Стефен Спендер и писатель Артур

Колдер-Маршалл — это участники знаменитого литературного движения 30-х годов в Англии, шедшего к рабочему классу, поднявшего в стихах новую социальную тему, давшего английской литературе такие пролетарские романы, как шотландская трилогия Грассика Гиббона. Даже почетный гость конгресса, старик писатель Е. М. Форстер, автор когда-то нашумевшего, смелого романа «Поездка в Индию»,— тоже, несмотря на свой политический либерализм, принял участие в этом левом, пролетарском движенье. Пусть это — в прошлом, пусть сейчас все они отрекаются от этого, и общего, и лично своего, прошлого,— но из их биографии, из истории английской литературы этого всего не вычеркнешь.

Заглянем и в день сегодняшний. Вот седые кудри и энергичное, полное душевной силы и чистоты лицо замечательной шотландской общественницы, драматурга, поэта, эссеиста, детского писателя — Наоми Митчисон, милой Наоми, в чьем шотландском замке я провела незабываемо прекрасные дни,— она оживленно спорит сейчас в группе писателей; ее светлый ум верит в силу рабочего класса, в силу простого народа. Вот небольшая фигурка и острое лицо молодого прогрессивного английского писателя, члена Пенклуба, Монтэгю Слейтера,— он по-товарищески беседует с делегатом Германской Демократической Республики. Знакомый советскому читателю автор «Дипломата» Дж. Олдридж сейчас в Египте. Но обаятельное лицо романиста Грэма Грина, с его большими, пытливыми глазами много перевидавшего и передумавшего человека, мне удалось мельком увидеть, хотя он не выступал и не ходил на конгресс, а только приехал на банкет. Еще недавно, в конце 30-х годов, наперекор прогрессивному движению в литературе, Грэм Грин писал остро-циничные, полные презрения к жизни и «веры в ад» — веры в конечное торжество зла, психологические романы типа «Брайтонской скалы». Сейчас, после выхода «Тихого американца», он сразу стал предметом оживленных разговоров критики.

И, наконец, что же происходит с нашим старым знакомцем, писателем Дж. Пристли, тоже почетным гостем

конгресса? (Я все время пишу о почетных гостях, делегатах и членах Пенклуба.) Дж. Пристли снова стал политически активен, подобно тем дням, когда он выступал, как неутомимый оратор, в выборной кампании, сражаясь за победу лейбористов. Незадолго до открытия конгресса, 1 июля в газете «Рейнольдс-ньюс» появилась его статья под характерным заголовком «Пробудись, Британия!» В этой статье, написанной смело и сильно, он объясняет сегодняшний духовный упадок и апатию в английском обществе тем, что весь народ в Британии ждал после войны перемены жизни, радикального измененья и улучшенья ее. Но этого не произошло, все осталось без перемен,— пишет Пристли. И сейчас, чтоб спасти Британию от цинизма, умственной и социальной апатии,— он призывает английский народ возродить прежний революционный импульс, утраченный дух самоотверженной инициативы и творческой энергии. «Мы снова в Дюнкерке, но с дырами во всех наших кораблях»,— заканчивает свою статью Дж. Пристли.

Глядя вниз в волнующееся море голов подо мною, я не могла не представить себе всей сложной душевной жизни собравшихся внизу писателей с их разными вкусами, направлениями, методами работы и — с той школой, какую все человечество проходит без исключения,— школой жизни. Сейчас, когда конгресс уже окончен, скажу заранее, что он мог бы стать гораздо глубже и интереснее, если б ораторы выступили во всей полноте этого, пережитого имн опыта. Но и в данном своем виде конгресс прошел положительно. Он показал, насколько жизненен состав самого Пенклуба. При всем умелом вождении лоцманами-председателями «корабля писателей», вождении, основанном на старой технике политического председательствованья,— только бы не натолкнуться на подводные рифы, обойти уступы, сгладить маслом остроумия и красноречия всяческое волненье,— и причалить в самую тихую заводь, а не к шумным и беспокойным портовым докам,— несмотря на это тонкое искусство председательствованья, конгресс все же сделал шаг вперед после Венского прошлогоднего и впервые за все годы существования Пенклуба

решился на необычный для него общественный шаг: он обсудил, проголосовал и принял приветствие тем писателям, кто борется против термоядерного оружия и войны.

Вернемся, однако, на нашу журналистскую голубятню, чтоб последовательно рассказать о пятидневной работе конгресса.

В первых речах на официальном открытии было отдано должное литературным традициям Лондона. Среди самых разных имен, начиная с Эразма Роттердамского, Вольтера и Шатобриана, кончая Казановой и сказками барона Мюнхаузена, сложенными в Лондоне,— было упомянуто и имя Карла Маркса, но позабыто имя Герцена. Сквозь «бурю и волны» (в эти дни по всей Англии проходили большие грозы с наводнением) приехал на конгресс один из крупнейших современных английских политиков, министр и «лорд хранитель печати», Батлер. Усилители доносили наверх, на наши хоры, английскую речь во всем своеобразии ее традиционного остроумия и шутливых приемов. Этими приемами в сущности отстранялись от публики серьезные вещи, облегчались глубокие, а любое напряжение снималось шутливой цитатой или пословицей. Вот два примера таких устных приемов английской публичной речи: сэр Гарри Платт, глава медицинского колледжа, в приветственном выступлении сказал о множестве врачей, сбежавших от врачебной практики в литературу. И заключил свою полуминутную речь: «Поэтому, леди и джентльмены, в области изящных искусств в каждой стране вы всегда имеете «своего врача в доме»,— намек на шедшую в те дни в лондонских театрах пьесу «Врач в доме». Второй пример: президент Пен-клуба, Чарльз Морган, должен был представить конгрессу министра Батлера. Это само по себе дело громоздкое и официальное. Но Морган начал с рассказа о даме, которая схватила его за пуговицу и потребовала объяснить, почему Батлер это мистер Батлер, хотя в то же время он «лорд хранитель печати». Как так — мистер, но лорд? И этот чисто английский парадокс послужил Моргану отправной точкой для представления Батлера вместе с шутливым, хотя и вполне

серьезным, экскурсом в английскую историю. Так, вместо направляющей прелюдии к серьезному разговору, первые полчаса только развеселили аудиторию, направили ее внимание на пустяки. Эта не случайная тактика «рассеяния вниманья» была повторяема и теми, кто вел конгресс в качестве очередного его председателя. Позднее такие же приемы пришлось мне встретить и в некоторых театральных пьесах, где они часто заменяют действие, и в парламентских речах, где они заменяют вывод.

Мы знаем, какие надежды возлагает сейчас весь мир на возможность мирного сосуществования разных политических систем. Батлер начал с того, что назвал этот термин «мирное сосуществование» безобразным («агли»). Но как бы ни казалось оно ему безобразным, он все же признал его за факт, предложив в конце своей речи писателям Пенклуба, в порядке соревнования, бесстрашно выйти на борьбу «за прекрасное» во всеоружии своих идеологических средств. Между писателями и государственными деятелями, сказал Батлер, то общее, что и те и другие должны постоянно иметь дело с публикой. Контакты с этой публикой у государственных деятелей меняются с каждой эпохой. Выросло число грамотных благодаря законам о всеобщем образовании... И в речи министра проскользнул,— как в некоторых других речах на конгрессе,— странный для нас оттенок (только оттенок, смягченный оговорками!) страха перед наступлением этих становящихся грамотными масс, будто бы грозящим «снижением стандартов» в искусстве и литературе. Взаимоотношение с публикой стало сложным. «Мы, кто верим в демократию, не принесем добра нашему делу, если станем отрицать, что она временами сопровождалась известной дозой демагогии»,— так осторожно выразился английский министр. Коснулся он, как говорится у нас, и «международного положенья»: «В это лето 1956 перспективы для человечества выглядят немного светлее, чем когда-либо из 15 прошедших лет,— и это после моей хлеб-соли с Булганиным и Хрущевым» («вайнинг энд дайнинг», по-английски). В целом, с отдельными профессиональными замечаниями (например,— интересной

справкой, что сейчас, как никогда, в Англии во множестве издаются и покупаются дешевые издания классиков, и признанием высокой роли переводов в литературе) — это была политическая речь, и подход к главной теме, как определил сам Батлер, был у него сделан «с точки зрения английской политики».

Другой оратор, директор «Интернациональной библиотеки», француз Жюльен Кэн,— заговорил об огромной помощи в отборе лучших книг для переводов с языков, мало знакомых и не имеющих широкого распространения, и во всякого рода консультации,— какая была оказана в прошлом и может быть оказанной в будущем писателями Пенклуба — международной организации ЮНЕСКО.

Таким образом, в первый же день торжественного открытия конгресса двумя основными ораторами были произнесены две речи, втягивающие писателей Пенклуба и в идеологическую борьбу,— соревнованье с инакомыслящими, и в серьезное деловое участие в политической организации. Мы отнюдь не говорим, что это плохо. Наоборот, с нашей точки зрения это естественно и неизбежно. Вот только что же остается от первого пункта устава Пенклуба — выключить всякую политику за скобку своей деятельности?

2

Четыре насыщенных дня, с 10 по 13 июля, длилась работа конгресса. Десятки ораторов сменили друг друга на трибуне. И почти каждая речь — о чем бы она ни была, об истории, о критике, о технике нового стиха, о переводах,— острием своим всегда касалась главной темы: отношения писателя к публике.

Новым для нас был самый подход к этой теме. Только однажды,— и об этом после — с потрясающей силой показал оратор (и это был индус), что ведь самый акт рождения искусства происходит от двойного процесса: от его создания и от его восприятия народом. Огромное большинство выступавших смотрели на этот «акт восприятия» (второе рождение книги, пьесы, картины),

как на акт невольного и неизбежного приспособления творца к массе, где, как в смертельном для искусства парадоксе, решают дело две противоположные вещи: чем больше покупателей (книг, билетов, картин и т. д.), тем прочней материальная возможность творить искусство; но чем шире круг этих покупателей, чем больше грамотных, чем сильней растет в народных массах потребность в искусстве,— тем якобы ниже и ниже опускаются его стандарты, тем упрощенней, легковесней, фальшивей становится само искусство. И было странно и тяжело слушать, как бьется, словно бабочка под стеклом речь подчас умного и талантливого, честного и пытливого писателя, под стеклянным колпаком такого искусственного представленья о творце и «публике».

Ответы на главный вопрос конгресса, «как добиться контакта с современной аудиторией и что она собой представляет», давались самые разные. «Читатель и сейчас остался таким, каким был 5000 лет назад» (веселый и очень остроумный шотландец, профессор Дуглас Юнг); «Неграмотный народ подчас больше понимает в искусстве, чем люди, научившиеся читать и писать; рост грамотности вовсе не положительный признак в смысле пониманья искусства» (английский писатель В. Притчет); «Публика — это три-четыре тысячи избранных во всем мире, для которых только и нужно писать» (французский писатель, профессор Дени Сора); «Я хотела бы быть писательницей в то счастливое время, когда жила моя дорогая мать... и когда писательницы прятались под мужскими псевдонимами. Публика — это ты сам; удовлетворяй самого себя» (английская романистка Розамунда Леманн).

В этой беспомощности подхода к проблеме «публики» не все, впрочем, падает на политическую ограниченность. Надо ясно представить себе очень большой и очень ощутимый переворот в самой технике искусства, происходящий сейчас в капиталистических странах. С трибуны конгресса его сравнили даже с тем переворотом, какой пережило человечество, когда уникальная книга, рукопись, размножавшаяся от руки в десятках экземпляров, сменилась могучим печатным

станком, сделавшим книгу массовой. Сейчас, на смену книге, печатающейся в тысячах экземпляров, пришли кино и телевизор, обращенные своим лицом к миллионам «читателей», заменив для этих читателей абстрактную черную букву на белом фоне,— движущимся образом, постепенно приобретающим краски, голос, скульптурность и все более широкое поле действия (Парижская и Лондонская синерамы). Но миллионы «читателей-зрителей» в капиталистическом мире — это миллионы фунтов и долларов для предпринимателей и трестов. Превратившись в богатейшую отрасль промышленности, это новое массовое искусство действительно становится все более упадочным и снижающим свои стандарты. Бороться художнику за себя, чтоб воплотить на экранах нечто ценное,— значит бороться уже не с издателями, которых в стране сотни и у которых разные вкусы,— не понравишься одному, есть надежда, что найдешь издателя по себе,— а бороться с безликим, всемогущим трестом, с монополией, которая держит в подчинении сотни тысяч экранов и предпочитает быстрей оборачивающееся, полегче воспринимаемое, на дешевку расчитанное, неизбежно пошловатое, всему тому, что выходит из обычного ряда, будит мысль и может оказаться беcприбыльным. Об этой непреодолимой цензуре монополий хорошо сказал на конгрессе американский писатель Эльмер Райс. Но и это еще не вся проблема. Главное в том, что новый вид массового искусства требует от писателя коренной «перевыучки». Законы кино и особенно телевизора совершенно другие, чем те, по которым создается за своим письменным столом рассказ или роман. Без знания особых технических требований нельзя ничего написать для телевизора или радио.

А так как программы телевизионных и радиопередач по закону частной собственности не могут составляться в капиталистических странах из того, что уже идет в театрах и концертных залах, а должны состоять только из собственной, для этих передач сделанной литературной и музыкальной продукции, а для создания этой продукции нужны писатели и музыканты, то хозяева «теле» и «радио», монополии и тресты, буквально

перекупают писателей и музыкантов у издательств и театров. Они платят им бешеные деньги. Часто лишь на эти деньги (а не на заработок от серьезной книги или музыкальных произведений) может жить подлинный художник. И... получается нечто, похожее на поглощение мануфактурой кустарного промысла. Прежний тип писателя, кустаря-одиночки, заменяется типом нового работника-профессионала, в своем роде винтика в огромной индустриальной машине. Это лишь начало процесса. Но так болезненно-остро уже чувствуется он в капиталистических странах, что на конгрессе упоминалось о нем почти в каждой речи.

Первый, кому дано было слово в начале делового обсуждения, был писатель Пристли. Он начал с того, что расширил понимание слова «писатель». Он напомнил, как живое слово, задолго до книгопечатанья, было оружием художника, не только писавшего, но говорившего, певшего,— барда, сказителя, сказочника, пророка. Этим расширенным пониманием искусства человеческого слова он целиком оправдал приход писателя в область новой техники выраженья, в кино, радио, телевидение: «Я крепко убежден, что, особенно в этой стране (англичане целомудренно говорят о своей родине только такой отстраняющей формулой: «ин тзис кантри», в этой стране), мы могли бы иметь лучшее радио и телевидение, если б большее число писателей считало своим долгом научиться использовать новую технику и тем самым найти новую аудиторию; в надежде, конечно, подвести эту аудиторию к более старым искусствам печатного слова и театра». Надо искать публику всюду, где ее можно найти,— закончил свою коротенькую речь Пристли. Это была честная речь, поскольку у Пристли слово не разошлось с делом. Опытный романист за последнее время пошел на выучку в телевизор, две его пьесы передавались во время моего пребывания в Англии («Заключительная игра в Дольфине» и «С тех пор, как в раю»).

Пристли сменил на трибуне другой английский романист, Ангус Вильсон, в своих романах сатирически-бесстрашно касавшийся многих отрицательных сторон

английской жизни. Возражая литературным теченьям и группам, видящим спасенье в уходе от жизни, в том, чтоб искать тему лишь в своем собственном внутреннем мире (а таких течений сейчас за рубежом немало), Вильсон сказал:

«Я не верю, чтоб воображение писателя могло перерасти границы общества, в котором он живет. Воображенье писателя прямо питается тем, что его окружает. Стремится ли он в своем творчестве... напасть на общество или принять его,— это полностью личное дело писателя. Но он не может сознательно обойти его, ибо, если он сделает так, он начнет монотонно повторять полученное из вторых рук и следовательно — второсортное, а это — художественная смерть. Нечто вроде смерти заживо, какую мы наблюдаем в английской драме за последние 20 лет. Чтоб держать свое восприятие живым, писатель,— какую бы особенную и личную форму он ни избрал,— обязан быть «включенным» (в общественную жизнь) человеком. Такова первая и абсолютная необходимость для него». Но сказав эти великолепные слова, Вильсон закончил свою речь тремя предупрежденьями для писателей о том, как и чем могут они погубить свою работу. И все три предупрежденья исходили из неверного пониманья массы, как «черни»: масса хочет, чтоб ее учили,— писатель погибнет, начав учить тому, чего сам не знает; масса хочет, чтоб ее вели, чтоб мыслили за нее, но чтоб были при этом на ее уровне,— писатель погибнет, став приспособляться к ней. Масса хочет облегченного, хочет смеяться,— и писатель, угождая ей, станет клоуном. Самая страшная опасность для писателя, это «популярное клоунство».

О выступлении американского писателя Эльмера Райса (чья пьеса «Мечтательная девушка» шла в те дни в Ливерпульском театре) я уже коротко сказала. Поднятый им на конгрессе вопрос о цензуре, видимо, ударил по больному месту и был многими подхвачен. Как раз в те дни английские газеты с огорчением писали, что один из лучших английских фильмов «Смайли» (действительно — прелестный фильм, снятый в Австралии, с талантливым мальчиком в заглавной ро-

ли) был запрещен в Америке из-за того, что в нем действуют контрабандисты опиума, в конце концов пойманные и наказанные. Но по лицемерным законам о цензуре, допускающим в кино циничную порнографию и убийства, слово «опиум» запрещено, и поэтому превосходный и нравственный английский фильм не был допущен на американский экран. На конгрессе досталось и английской «цензуре». В своей короткой, содержательной речи англичанин Денис Грэй Столл, между прочим, сообщил: «Недавно вещь одного английского писателя, в которой дело идет об африканце, несправедливо обвиненном английской полицией в подрывной деятельности, получила литературную премию. Но вещь тем не менее не была напечатана и премия не была выплачена, потому что издатели пригласили одного отставного работника Скотланд-Ярда высказаться об этой истории, и тот объявил ее «неправдоподобной».

Роль Эльмера Райса на конгрессе не ограничилась, однако, тем, что он поднял острую тему о давлении новой цензуры на совесть писателей,— цензуры денежных хозяев Америки. Он на себе показал силу такого давленья. Когда в закрытом заседании конгресса был поднят вопрос о протесте против войны и атомной бомбы хотя бы в форме приветствия тем писателям во всем мире, кто борется в своих книгах против применения термоядерного оружия,— Эльмер Райс резко высказался против принятия такого приветствия. К счастью, он остался при всей двойственности своей позиции почти в полном одиночестве: приветствие было составлено, проголосовано и принято (пишу по печатным материалам газет, в частности — статьи немецкого делегата, Бодо Узе, «Зоннтаг», 29 июля 1956 г., Берлин, стр. 7) подавляющим большинством конгресса.

3

Среди всего интересного и разнообразного, что говорилось о новой литературной технике и что, к сожалению, я не могу передать читателю за недостатком места, упомяну о большой активности переводчиков.

Выросшая роль международных организаций, ведающих делами культурной связи народов,— и местных,— подобных Британскому совету или Обществу культурной связи,— и интернациональных, подобных ЮНЕСКО,— не только подняла значенье переводчиков, но и поставила в порядок дня вопрос о точности перевода — точности национально-смысловой, чтоб перевод правильно передавал именно то, что хотел сказать и сказал автор переводимой на другой язык вещи. Мы убедились за последнее время, какой неисчислимый вред приносит неточный (хотя за неосведомленностью автора в чужом языке часто даже «авторизованный») перевод, пускаемый в мировое обращенье. Он приносит вред и своим плохим качеством, создающим ложное представленье о художественной ценности оригинала; и своими отсебятинами, неточностями, фальшью, искажающими смысл подлинника; и, наконец, тем, что плохо переведенная книга создает неверную репутацию автору, которую потом очень трудно изменить новыми переводами. Особенно об этом должны подумать мы. Наши советские книги и статьи переводятся большею частью у нас же, в наших, созданных для этой цели издательствах, в ВОКСе, в Совинформбюро и т. д. И часто даже те из нас, кто знает иностранные языки, не имеют времени проверить их.

Англичане любят слово и с величайшим интересом относятся ко всему, что связано со словом,— к словарям, к исследованьям форм языка, к истории развития языка. Оксфордские словари английской фразеологии, современного английского языка — одни из самых дефицитных, быстро распространяющихся и трудно доставаемых книг. «Наш язык» Симеона Поттера, «Словарь современных английских выражений» Генри Ватсона Тоулера,— читаются, как романы: и недаром новейшие формы философии в Англии вырастают из толкования различий в применении и значении слов,— правда, философии, при некоторой ее практической пользе,— глубоко реакционной. Но там, где речь идет о переводах, эта большая культура слова и активный интерес к языку по-настоящему на месте. Интересно было послушать шотландскую писательницу Наоми

Митчисон, говорившую с широким и вольным жестом опытного оратора-общественницы: «Переводы и обмен идеями особенно важны между Востоком и Западом... Некоторые типы идей и положений, хотя и приемлемые в одной культуре, неприемлемы и даже шокируют в другой. Мы имеем вкус к умствующему, сложному, слегка ироническому, шутливому писанью. Это не ценится в очень серьезных странах, так же точно в этих странах не понимается наш тип умалчиванья...» Как пример разного пониманья вещей, Митчисон привела Гамлета: «В мусульманских странах крайне важное значение придается взаимоотношенью брата и сестры. Поэтому в Гамлете положенье «Офелия — Лаэрт» представляется там важнее положенья «Офелия — Гамлет», и пьеса немедленно принимает другой характер». Правильный перевод требует большой культуры, а не только знания смысла слов по словарю, которое часто может подвести переводчика. О том же говорил и английский писатель Лотиан Смолл.

На заседанье, посвященном историкам, был дан бой последователям немецкой школы Ранке, засушившего предмет истории до такой степени, что всякая хорошо написанная книга по истории тотчас же бралась под подозренье, как не научная. Но и профессиональные историки огрызались, ловя авторов художественных монографий даже с очень большими именами (как Андре Моруа или Стрэчи) на множестве ошибок, искажений исторической правды и попросту на вранье. Досталось все же больше ученым. Кто-то сказал с трибуны в их адрес: «Груда яиц — еще не яичница», а другой оратор, англичанин Б. Лиддл Харт, предостерег от слишком большой фетишизации архивного документа: «Многие бумаги часто составлялись с целью ввести в заблуждение или умолчать о чем-то. Больше того, реальная борьба страстей, происходившая за сценой и широко определявшая принятые решенья, редко когда вообще отражалась в документах». Удивительным для нас по своей наивности было представленье ораторов конгресса о развитии исторической биографии. Вместо того чтоб хотя бы вкратце сказать, что сделано материалистами за последние полвека для углубленного по-

нимания социологического фона, на котором выступает личность и который помогает лучше понять ее и ее дело,— члены конгресса окончательно ушли от всякого социального анализа в изолированный внутренний мир личности. По мнению выступавших, шаг вперед сделан только методами Фрейда и Пруста, то есть проникновеньем в родовое и в индивидуальное «подсознанье» человека.

И все же голос историка-марксиста прозвучал в эти дни, хотя, к сожалению, и не на конгрессе. Вышла новая книга Джэка Линдсея «После тридцатых годов. Британский роман и его будущее». Сам член Пенклуба, заглянувший мимоходом и в зал медицинского колледжа и к нам на хоры, Джэк Линдсей, к сожалению, не выступил на конгрессе. Но его книга именно в эти дни дала в сущности ответ на многие вопросы повестки дня, оставшиеся не отвеченными.

В этой умной, с марксистских позиций написанной книге Джэк Линдсей напоминает, что такое «английская публика», вернее, английский рабочий люд, и как установить с ним контакт. И сразу рассеивается созданное многими ораторами смутное представленье о темной, чуждой искусству толпе, снижающей своим низким культурным уровнем стандарты литературы, театра и музыки. В книге приводится несколько ярких фактов, о которых странно было запамятовать творцам искусства. Годы войны, Лондон под бомбами; старый, прекрасный театр, классически исполняющий Шекспира, «Олд Вик» — выгнан бомбами из своего здания. И он уходит из столицы со всем своим коллективом — в народ, в индустриальные города Англии, где каждое представленье Шекспира воспринимается благоговейно и с величайшей благодарностью рабочими-зрителями. Странствующие группы актеров и музыкантов дают концерты в церквах, под открытым небом, на деревенских площадях. В один только 1943 год состоялось 4449 таких концертов!

Критик Скотт Годдард писал об этом: «Вся музыка этих концертов состояла из прекраснейшего в музыкальной классике. Аудитории явно наслаждались этой музыкой. Что происходит сейчас в деревнях и на фаб-

рикаx,— превращается в одно из крупнейших популярных движений нашего времени. Стыдно сказать, что понадобилась война для того, чтобы оно началось». В одном из официальных рапортов рассказано, как в Портсмуте дали Пятую симфонию Сибелиуса, «крепкий орешек и для натренированного уха». Что произошло? «Степень концентрации вниманья была так велика, что почти непереносимо было наблюдать ее...» Рядом с тем, кто писал этот рапорт, «стоял обыкновенный, простой матрос с лицом, испещренным шрамами, и с узловатыми руками. Глаза его были мокры от слез... Он никогда не слышал оркестра и сейчас не мог оторваться от него». На заводе исполняют Баха, и опять рапорт отходит от официального отчета в живую взволнованную речь: «Кто сказал, что Бах скучен? Они просят еще и еще...» Как знакомы эти страницы нам, пережившим начало революции и первое приобщение нашего народа, кронштадтских моряков, петербургских текстильщиков — к массовому искусству, к величию серьезной музыкальной классики! То же самое случилось в сердце Англии в тяжелые дни войны, и писатели, собравшиеся на конгрессе решать вопрос о контакте с публикой, забыли упомянуть, что дал когда-то самим творцам, артистам, поэтам, музыкантам настоящий глубокий контакт с родным народом!

Но я буду не права перед читателем, если ограничусь лишь тем, что успела сказать о конгрессе Пен-клуба. Было и там событие большого творческого порядка. Один из его делегатов, индийский писатель Бинод Рао, произнес с трибуны замечательную речь.

Связь с публикой, сказал Рао, не начинается с написанья книги и не кончается ее выходом в свет. Она — в подготовке книги и в ее обращении. Она родится в опыте и наблюденье, и если слова не передают читателю того, что пережил и перечувствовал автор,— они мертвы. Один индийский трактат говорит о трех путях связи. Первый путь — путь власти; это приказ. Второй путь — дружбы; это убеждение. Но третий путь — самый верный, это женский: путь любви. Существует такая вещь, как давать и брать,— и можно

«вести», в то же время и «следуя», и давать — получая. Пусть лучше писатель «оседлает мула искренности и простоты, чем взберется на высокого коня туманной глубины». И не надо показывать свое знание за счет незнания своих читателей, «надо писать о вершинах, но не с вершин». В наши дни есть только две причины для писателя, не сумевшего понять свою публику. Одна — интеллектуальный снобизм, другая — умственная лень. Новый мир обрушился на писателя, традиции отступают, старое общество ушло, контуры нового еще не ясны. Огромное количество использованных слов, мифов и образов отнимается у нас, как старый инструментарий, и мы должны искать новые слова для обозначенья новых вещей. Степень успеха, которого может достичь писатель на этом пути, намного определит будущее демократических учреждений.

Я привела лишь узловые мысли из этой речи, сказанной не очень громко и не быстро. Оратор был далеко внизу; голос его не поучал, не настаивал, он — обращался к вам. Индийский писатель говорил, делясь и общаясь с теми, кто сидел в зале, словно осуществляя третий путь подхода к людям, путь любви. И если разложить его речь на заключенный в ней простейший смысл,— казалось бы, он не сказал ничего нового, ничего особенного. Но вместе с его речью в зал ощутимо вошло то, над чем думал весь конгресс,— вошла масса, слушатель, человеческое восприятие, та сила, в которой свершается второе рождение создаваемого искусства и без которой оно мертво. К нам наверх передалось волненье тех, кто сидел в зале. Позднее Наоми Митчисон призналась мне: этот индиец один сказал что нужно.

И здесь мне хотелось бы сказать несколько «самокритичных» вещей. На большом поле битвы, где мы принимаем сражение идеологическим оружием слова, мы видим лицом к лицу очень сильного противника. Для того чтоб заставить слушать и помочь услышать ту большую правду нового человечества, во имя которой трудились мы четыре десятка лет,— надо хорошо подготовить наше оружие, слово. Чтоб показать образ человека нового мира, настоящего, глубокого, ду-

мающего человека,— нельзя прятать его за словами о возросших тысячах тиражей. Бинод Рао начал свою речь с примера: когда статистика сообщает, что в Индии 330 миллионов населения,— это одно. А когда поэт Бендре говорит об этом же в поэме где мать — Индия думает, простирая руки, о своих 330 миллионах детей,— это другое. И страстно хотелось, чтоб речь о нашей большой нбвой правде могла прозвучать в этом зале с той же силой переживаемого творческого волнения, с той же чудной силой художественного воздействия, с какой сумел выступить посланец Индии.

Конгресс кончен. При всех его недостатках, при отсутствии многих крупных писателей из Франции, из Америки и даже из Англии, это был в целом интересный и содержательный конгресс. Новый президент Пенклуба, мягкий и красноречивый французский писатель Андре Шамсон, подводя его итоги, не упомянул о том, что он был значительно более широким по теме и прогрессивным по принятым решениям, нежели прошлогодний Венский конгресс. Но при своем твердом решении быть лоцманом тихого плаванья и вести три года корабль Пенклуба между рифов и отмелей всяких опасных вопросов, решительно не допуская политики, Андре Шамсон все же произнес замечательную фразу:

«...Но мы живем в мире, и мы не можем закрыть окна до такой степени, чтоб время от времени сильные ветры из внешнего мира не проносились через залы, где мы заседаем. Проблемы, стоящие перед всем миром, будут стоять время от времени и перед нами; и я не верю, что, какова бы ни была наша бдительность, мы сможем помешать дыханию этих ветров проноситься над нашими головами». Нельзя не почувствовать признательности к тому, кто все же произнес эти живые слова. Надо ли людям искусства бояться вольного ветра? Дыханье сильных ветров современности, дыханье исторической жизни народных масс не разорвет, а только наполнит паруса кораблей мировой литературы!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

ПО ГОРОДУ ЛОНДОНУ

1

Время с весны по август называется в Англии «сезоном». Это — пора наводнения Британских островов иностранцами. Приезжие переполняют гостиницы и шоссейные дороги, поезда и пароходы по Темзе, по Клайду. В период «сезона» вы можете охватить всю театральную и художественную жизнь Англии за целый год, без риска упустить что-нибудь существенное. Вы можете в этот период сполна насладиться прекрасной музыкой и на фестивалях по многим городкам и местечкам, и в необъятном круглом зале Альберт-холла, где происходят любимые лондонцами «Промс», променад-концерты на тысячи сидячих и стоячих мест. Вы можете... если только удастся вам в это время найти себе комнату в гостинице по вашим средствам.

Но в этом сезоне, незаметно для иностранцев, прозвучала над праздничной по-летнему Англией совсем не музыкальная нота. Родилась она в субботу 14 июля в Ланкашире. Ее не все услышали надлежащим образом,— хотя в том, как довели эту «нотку» до слушателей воскресные газеты, было уже нечто, обращающее на себя вниманье тех, кто умеет прислушиваться к пульсу жизни... Нота, о которой я говорю, прозвучала в очередной речи английского премьер-министра, произнесенной в Ланкашире. Одна воскресная газета привела ее своими словами, сопровождая цитаты из речи комментариями, и получилось так, что премьер-министр благодарит судьбу за ослабление одной угрозы — угрозы войны — и призывает бороться со следующей угрозой — угрозой надвигающегося обеднения Англии,— инфляцией. Другая газета поступила по-иному. Под устрашающим крупным заголовком «Британия под угрозой постепенного обнищания» она привела жирными буквами в разрядку полную цитату из речи Идена: «Пока ослабевает угроза войны, все яснее вырисовывается другая угроза. Мы в

тисках борьбы с инфляцией. Это — новая битва Британии, но на этот раз она не может быть выиграна «немногими». Мы все в ней, и от ее исхода зависит будущее наших очагов, наших заработков и наших детей». Тут, как видим, не одна угроза сменяет другую, а, наоборот, ослабление первой угрозы как бы усиливает вторую, делая ее более заметной. Тем самым внушается естественная мысль, что ослабление возможности войны, ведущее и к уменьшению военных заказов, и к сокращению людей в армиях,— влияет на усиление инфляции, увеличивая безработицу, сокращая производство... А для Англии ничего нет страшнее этого. Фунт, могучий английский фунт пошатнулся, он грозит падением,— вот что прозвучало под воскресенье, когда англичане отдыхают, из Ланкашира. Это речь, оставшаяся почти незамеченной вне Англии, была в сущности подготовкой к суэцким дням, к позиции, занятой консерваторами,— к отчаянной борьбе за сохранение власти путем незаметного слияния двух понятий — спасения Британии и правоты консервативной партии, защищающей политику войны,— в нечто тождественное.

Эта, приглушенная воскресеньем, ланкаширская речь помогла мне лучше понять не только «суэцкие дни», пережитые мною в Англии, но и многое такое на лондонских улицах и проезжих дорогах Британии, мимо чего легко можно пройти, не задумываясь.

Узенькие улицы Лондона имеют ту особенность, что их еще более суживают стоящие в ряд по обе их стороны автомобили. Они не просто остановились у какого-нибудь аншлага, преградившего движенье, они не стали на минуту-другую в ожидании хозяина; нет, они находятся в прочном состоянии «паркинг», то есть заперты на ключ, без шоферов, без хозяев, потому что за недостатком гаражей этими гаражами сделались обе стороны улицы, где «паркинг» позволяется. Невольно вы задумываетесь, а что же дальше будет, если количество частных машин возрастет, в чем жизненно заинтересованы и автомобильная промышленность, и торговцы автомобилями. Улицы тогда вообще станут не проезжими? Не оттого, что машины запрудят их в движении, а оттого, что улицы — артерии города — превра-

тятся в стоянки, в склеротические узлы. Я привела этот лондонский парадокс потому, что он предваряет собою другой, гораздо более трагичный. Машина может хоть притулиться на улице, ей позволяют. Ну, а что делать человеку, что делать хотя бы тем 63 000 семейств в большом городе Бирмингаме, которые лишены крыши над головой?

Третьего августа английские газеты писали о частном собрании в Бирмингаме под председательством епископа, где решено было обратить «биг эпил» — громкий призыв — к частным лицам и организациям, чтоб помогли, приютили, кто, где и как может,— эти 63 000 бездомных бирмингамских семейств. Частное собрание и частные лица — потому что правительство помощи тут не оказывает. А разъезжая по старинным городкам Англии, которые могли бы целиком превратиться в музеи; бродя по лондонским улицам, где так много пустующих домов с надписями «продается», «сдается»,— вы наталкиваетесь уже не только на трагедию человека без дома, но и на трагедию дома без человека,— чудесного, сказочного дома, иной раз построенного в эпоху Чосера, видавшего его пилигримов, дома, похожего на пряник, с переплетами стен, резною дубовой дверью,— и надпись умоляет вас купить его, ведь «можно получить большие барыши от превращенья его в исторический бар»... Но домики стоят, как невесты без жениха. Хочется крикнуть,— да возьмите безлюдные дома и бездомные семейства и разрешите проблему одним ударом, как знаменитое Колумбово яйцо!

Впрочем, в эти же дни я была свидетельницей новых трагических противоречий. Продающиеся дома, и какие дома — с парками, лесами, озерами, картинными галереями предков, дома-замки, построенные в эпоху короля Якова, короля Георга, королевы Елизаветы, и вниз по нисходящей в глубь времен,— вдруг находили себе женихов. Долгие годы хозяева этих замков, потомки семи-восьми поколений виконтов и баронов кое-как содержали свои махины, пуская в них бесчисленные толпы туристов, сбирая по полкроны с каждого за вход. Но вот и это уже невмоготу. Замок с портретами пред-

ков продается. Покупатель нашелся. Казалось бы, все в порядке. Но когда богатый американец (а эти замки почти всегда покупаются американцами) купил в Ирландии историческое поместье лордов Кенмар, заключающее в себе знаменитые Килларнейские озера,— эта покупка тоже переживалась почти как трагедия: смогут ли новые хозяева сохранить исторические ценности, позволят ли народу в их родной стране любоваться на их собственные, несравненные по красоте, озера? И в «Таймсе» был помещен снимок с этих озер, грустный и поэтический, как нежное сочетание звуков их ирландского имени.

Иностранец, приехавший провести «сезон» в Англии, не чувствует всех этих противоречий. Редко, редко когда жизнь доносит их до него в простой фразе,— да и то, впрочем, не каждый из них и поймет ее. Однажды я услышала, как заезжий турист, плененный английскими шоколадками (действительно, превосходными, их можно получить в каждом автомате по шести пенсов за штуку), сказал своей собеседнице, немолодой женщине, учительнице средней школы в пригороде Лондона: «Какой дешевый у вас шоколад!»

«Для нас он не дешев»,— тихо ответила ему учительница.

Шесть пенсов — полшиллинга — это реальная сумма в английском трудовом бюджете.

2

Очень давно в каком-то романе я прочитала о странном английском путешественнике, затосковавшем на чужбине по... Пикадилли. Не по зеленым английским лугам, не по родному дому, даже не по родному городу, а только по одной улице, одной площади города.

И вот я на Пикадилли, когда еще не потемнело небо над Лондоном. Дождик, на который здесь никто не обращает вниманья,— не падает, а стоит в воздухе тысячью бисеринок, словно пыль. Сквозь дождик дрожат,

светятся, играют огненно-цветные рекламы на узких домах, обступивших небольшую площадь. Посередине ее взвилась на одной ноге маленькая каменная фигурка крылатого бога любви, Эрота. День еще держится где-то над крышами, а тут бегают зеленые, красные, синие буквы, вертятся ослепительные колеса, качает кто-то взад и вперед желтый маятник. Вы недоумеваете, что же тут такого, о чем мог тосковать странный англичанин? Но проходит день-два. Падает на улице двойной свет сумерек. И вы вдруг чувствуете, что вас тянет, неудержимо тянет — не на «собственную», уже совсем «домашнюю» Финчлей-род, не на спокойную Трафальгар-сквер с ее голубями, садящимися вам на плечи, не на важный безлюдный Странд с первыми, отраженными в Темзе огнями, не в прохладу зеленых английских парков,— а в светящееся колесо Пикадилли, в толчею ее тротуаров, в трепет ее дождика и ее огней, похожих на легкие прикосновенья крыльев ее каменного божка.

Не знаю, почему это так. Может быть потому, что вокруг Пикадилли или поблизости от нее собрались лондонские театрики, клубы, кино, и вам есть куда заглянуть, чтоб не быть одному в короткие лондонские вечера. Ведь не успеют выглянуть из-за туч звезды, отзвонят своим мелодичным звоном десять ударов часы,— а уже умолкает и засыпает город, торопятся последние автобусы, последние вагоны метро... Лондонцы рано ложатся спать.

Если судить по тому, что́ сами англичане говорят и пишут о своем театре, он вот уже 20 лет как «деградирует». Заглянув в еженедельники программ, где коротко, в двух строках, рассказывается о содержании идущих пьес, вы почти готовы согласиться с ними: «Дом у озера» — гипнотизер и его сестра убивают своего брата; «Правдоподобная история» — три пожилых чудака всю жизнь ждут наследства от старого папаши, упуская самое жизнь; «Ночь четырех» — сыщик находит на месте убийства кровавые отпечатки собственных пальцев; «Мышеловка» Агаты Кристи — о сумасшедшем, забравшемся под видом сыщика в одинокую гостиницу во время снежных заносов,— эта

пьеса, кстати сказать, идет в театре «Амбассадор» бессменно с 25 ноября 1952 года! Пьеса о судебном процессе офицера подводной лодки, незаконно отнявшего командование лодкой у капитана, заболевшего паранойей,— действительное происшествие во время войны; еще пьеса «тетки Агаты», как непочтительно называют вечерние газеты Агату Кристи, и еще одна этой тетки (я насчитала пять ее пьес по городам Англии) — и т. д. и тому подобное. Но забудем на минуту эти анонсы и все прочитанное и услышанное, чтоб судить собственными глазами.

Не считая ни Королевской оперы (Ковент-Гарден); ни заезжих гастролеров; не считая и близлежащих театров в Кройдоне, Уимблдоне, Ричмонде и прочих городках-пригородах,— вы можете посмотреть в Лондоне 50 разных спектаклей в 50 разных театрах. И хотя в каждом из них обычно идет только одна пьеса, идет иной раз и дважды в день, лондонские театры чаще всего полны,— не до аншлага, но достаточно, чтоб актеру видеть перед собой зрителя.

Как только вы входите (часто — спускаетесь вниз по ступенькам) в первый попавшийся вам театрик, вас встречает особый мир, совсем не похожий на наш. Никто не требует, чтоб вы сняли пальто,— хотите, идите в раздевалку — снять, хотите, сверните его и суньте себе под кресло. Никто не отбирает у вас портфелей, если случится вам прихватить их с собой. И почти ни в одном театре, к сожалению, не возбраняется курить в зрительном зале. На афишах, после всех обычных перечислений, вы всякий раз читаете: «этот театр дезинфицирован такой-то жидкостью». В антракте, сидя на своем месте, вы можете заказать себе чай или кофе, и официантка приносит его на подносе, как в ресторане,— с кексами и сэндвичами. Во время спектакля вы можете посасывать мороженое, преспокойно бросая и бумажку и стаканчик себе под ноги, на пол зрительного зала... И при всем перечисленном — почти каждый английский театр похож на бархатную ложу, так он весь мягок, затянут коврами и плюшем, чист и аккуратен, словно в первый день творенья, изящен, построен со вкусом; и вы отдыхаете в его мягких креслах

(англичане любят везде — в трамваях, в официальных местах — сидеть на мягком), вы тешите и успокаиваете глаза на его приглушенных красках — темной в бархатном «Кэмбридже», светлой в бархатном «Пикадилли»...

Но вот раздвигается занавес. В противоположность покою и красоте, в которых вы как бы тонете на два часа спиной и локтями в комфорте и роскоши театрального з а л а,— перед вами экономия и бережливость на с ц е н е, относящаяся и к декоратору, доводящему со вкусом и чувством типичного — до минимума — декорации; и к постановщику, помнящему, что он создает текучее театральное представление, а не лавку древностей, музей или чудеса астрономического календаря; и, наконец, к костюмеру... Костюмы некоторым театрам ссужаются крупными фирмами примерно так, как они ссужаются моделям; в афишах напечатано: такой-то костюм дала такая-то фирма,— и реклама подобного рода выгодна и фирме, и театру. Главное, что дается вам со сцены,— это актер и его игра. Если вы смотрите обычную английскую комедию из жизни среднего или высшего класса (а это случается чаще всего), вы словно подняли крышку частной квартиры и заглянули внутрь,— так все это похоже на всамделишное. Актеры почти не гримируются, жесты их естественны,— центр тяжести спектакля не в этой отполированной и нивелированной группе людей, играющих лицемерную и благовоспитанную семейную среду, а в тексте, какой они произносят. Авторы таких комедий изощряются в остроумии, носящем салонный оттенок,— так повелось еще со времен Оскара Уайльда. Вы смотрите не действие, а искрящийся фонтан диалогов и монологов, брызги которого заставляют хохотать весь зал. Среда английских комедий утомительно-однообразна; она почти не дает актеру создать интересный образ. Но там, где дается иная среда, вы наблюдаете не только интереснейший спектакль, но и заинтересованный зрительный зал,— как это было на битком набитых, ярких спектаклях в театре «Комедии» на «Трехпенни-опере», по знаменитой оперетте Бертольда Брехта из жизни коллектива нищих. И там, где актеру

дается хоть маленький шанс по-серьезному поработать над образом, отыскав для него индивидуально-типические черточки,— перед нами настоящий хороший спектакль.

Силу актерского мастерства можно было увидеть на таком примере. В «Пикадилли» много месяцев подряд с успехом шла комедия «русского лондонца» (из второго поколения эмиграции) Петра Устинова — «Романов и Джульетта». Этот спектакль был в сущности самым острым среди английских комедий. Раздвинулся занавес. Я увидела живописную площадь южного городка, напомнившую мне что-то из «Королей и капусты» О'Генри. Слева от нее, в двухэтажном разрезе, дом советского посольства; справа в таком же разрезе, посольство американское. Сюжет прост: сын советского посла Игорь (житель верхней комнаты с балконом) влюбился в дочь американского посла Джульетту (жительницу верхней комнаты с балконом) вопреки разнице мировоззрений и общественной структуры. В столице маленького государства создалось положенье чуть ли не шекспировской Вероны. Жена американского посла не может вынести даже мысли о браке дочери вне церкви; отец Игоря, советский посол Романов, скорей даст себя на куски разрезать, чем пустит сына венчаться в церковь... И на этом гротескном сюжете актеры сумели тончайшей деталировкой образов (без грубого шаржа) создать типы. Не знаю, может быть, английская печать, именуя пьесу сатирой, хотела увидеть сатиру на наших людей. Но сатиры не получилось. Сквозь все возможно смешное и забавное, сквозь элементы итальянского «травести», комедии масок, черточек «ревю» и фарса — правда живого образа подчинила себе талант актеров. Таким пустым фанфароном вышел американский посол при всей его изящной выдержке. И таким бесконечно милым вышел Игорь с его напряженным, серьезным лицом, переживающим муки противоречия между марксистскими взглядами и любовью, таким славным сердитый советский посол в пиджачишке,— что симпатии публики сразу пошли налево. Дело в том, что как ни крути, переживания левой стороны сцены зиждились на идей-

ной, принципиальной основе, на убеждении; а переживания правой стороны — на форме, приличии, «что подумают окружающие»,— и реальная суть самого положенья продиктовала актерам и детали в подаче образов... Кстати, о чисто постановочных деталях. При высокой культуре игры актеров, при наличии у англичан такого блестящего знатока сцены, как Гордон Крэг, юбилей которого отмечался всеми газетами как раз в дни моего пребывания в Англии,— английские постановщики по части «русских мизансцен» до сих пор не ушли от развесистой клюквы. Что уж и говорить о самоваре и красной суконной скатерти в комнате советского посла: но неподалеку от «Пикадилли», в театре «Сэвиль», шла, и превосходно шла, чеховская «Чайка»; исполнение удовлетворило бы самого Чехова; но зачем же, зачем же, господин Майкл Мэкован, позволяете вы кипарисам расти в русском поместье, а длинному английскому огурцу очутиться в руках у русской барыни! Актриса держит его, как мы держим банан, а потом вдруг,— по-английски,— отрезает от него кусочек, держа его все еще в руках,— и кладет этот кусочек себе в рот... Ничтожная деталь, но она сразу придала очень серьезной и глубокой игре оттенок комического: ведь нет же таких огурцов у нас и не отрезываем мы от него кусочки таким воздушным способом!

Особенность английской театральной жизни — это частные или клубные театры закрытого типа, куда нельзя, как обычно, зайти и купить билет, а надо получить для этого рекомендацию члена клуба или самому стать членом. Такие театры в Лондоне наиболее интересны и свежи; там играют любители искусства, играют для себя и своих, часто экспериментируют, борются с салонным репертуаром открытых театров, ставят острые и прогрессивные пьесы. Замечателен в этом отношении театр «Уоркшоп», созданный Жоан Литтлвуд. Когда я была в Лондоне, в нем шла пьеса ирландца Бехана «Квер Феллоу», написанная им о себе самом; он создавал ее в тюрьме, приговоренный к восьми годам заключения за участие в ирландском освободительном движенье. Под давленьем обществен-

ности власти отпустили его из тюрьмы — присутствовать на премьере своей пьесы о себе самом и смотреть на сцену, где была воспроизведена тюремная обстановка. Но театрики эти большей частью бедны, и то один, то другой из них закрываются из-за недостатка средств.

Кроме комедийных театров (их большинство), я в первые же дни пошла на оперу. Мне удалось увидеть в Ковент-Гардене спектакль незабываемой силы — «Волшебную флейту» Моцарта. Надо сказать, что Моцарту вообще посчастливилось в Англии. Много опер, давно нигде не ставившихся, например, «Идоменей»; огромное число концертов, прошедших по всем большим городам; «полное собрание» его фортепьянных вещей в дивном исполнении недавно скончавшегося Гизеринга, выпущенное фабрикой рекордов (так называют здесь пластинки),— не говоря уже о многочисленных книгах, об издании избранных писем Моцарта в популярной серии «Пингвина»,— все это стало доступно английской публике в течение юбилейного моцартовского года.

Ковент-Гарден, великолепный большой театр, мерцающий своей приглушенной роскошью, повторяет в большом масштабе те же черты и обычаи, какие видишь в маленьких театриках. Вы можете, сидя в глубине, подальше от сцены, сунуть пальто под кресло,— только в первом ряду, где обычно сидят декольтированные по грудь английские семидесятипятилетние стройные леди, вам лучше быть в вечернем платье,— да обязательный во всех театрах Англии, исполняемый или до или после спектакля государственный английский гимн (его надо слушать стоя) звучит здесь с наибольшей торжественной полнотой оркестрового исполненья. «Волшебная флейта» — сложный по своему сюжету спектакль; его можно подать как сказку — эффектно постановочно; его можно подать социально, как борьбу светлого дня добра с ночным мраком зла; но Ковент-Гарден подал его как оперу, то есть как музыку Моцарта,— в исполнении прекрасно звучавших, культивированных хорошей школой, приятных для слуха голосов. И музыка

сама сказала вам все, что могли бы сказать хитроумные постановщики. Музыка лилась во всем ее щедром богатстве, поднималась из оркестра под жезлом чешского дирижера, Рафаэля Кубелика, пелась певцами, настоящими певцами с настоящими голосами, доставляя наслажденье слушателям (о чем частенько сейчас забывают многие оперы в мире!). Ковент-Гарден, несмотря на материальные трудности (переживаемые сейчас в Англии почти всеми видами искусства), не боится обновленья репертуара: так, в будущем году он собирается показать лондонцам грандиозную пятиактную (6 часов исполненья!) оперу Берлиоза «Троянцы».

Чтобы вникнуть в тот кризис драматургии, о котором так часто читаешь в английской печати, и постараться представить себе пути выхода из него, нужно раздвинуть пределы Лондона, раствориться по всей зеленой Англии, охватить всю ее — и крайний западный башмачок «конца страны» (лэндс-энд), где на берегу океана под открытым небом расположился Майнакский театр; жемчужину архитектуры на востоке страны, город Кентербери, с его историческим театром Марлоу; и другой исторический театр — Шекспира, в Стретфорде на Эвоне; и курортный городок в графстве Глочестер — Челтенхам,— и многие другие города и местечки... Потому, что в создании культурных ценностей английские малые города и местечки издавна играют не меньшую роль, нежели Лондон.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

ПО ЗЕЛЕНОЙ АНГЛИИ

Еще Карел Чапек в своих замечательных письмах об Англии писал про добрый обычай англичан ходить по траве в лондонском Гайд-парке. Но можно ли считать это скромное городское удовольствие достаточным вознаграждением за то, что вся остальная зеленая Англия, ее пленительные волнистые луга, ее куд-

рявые рощи, ее осененные плакучими ивами озера, ее лесистые холмы заперты от пешехода заборами, заборами, заборами? Можно часами ехать по Англии в машине и любоваться ею из окна. Можно ехать и поездом и тоже любоваться ею. Но попробуйте остановиться не на станции, а в понравившемся вам месте, попробуйте захотеть босиком пройтись по бархатному лугу, пойти поудить с удочкой у поэтичной лесной речки,— вы до них не дойдете. По обе стороны шоссе — колючая, серьезная изгородь. И если вы вздумаете перелезть через нее, вы предстанете перед уголовным судом «Тресспасинг» — заход в чужое владение — исключительное английское выраженье; для него в нашем языке нет передачи в одном слове.

А между тем англичанин, тот, у кого нет своей земли за городом, любит траву, деревья и воздух страстной любовью. Нет для него лучшего отдыха, как провести две недели, месяц — под дождем, солнцем, на холоде, на жаре, на ветру — на самой настоящей зеленой траве, не отделенной от ваших подошв никаким полом. И для этого, словно в противовес уникальному «тресспасингу», существует тоже уникальное английское слово, не поддающееся переводу: «кэмпинг». Захватив с собою палатку, котелок, все необходимое для вольной жизни, англичанин едет куда глаза глядят, останавливается, где понравилось, и просит у владельца этой части английской природы разрешения «кэмп», то есть по-цыгански раскинуть шатер, где ему понравилось. Подобно тому как в английском уголовном праве существует наказуемость за самовольный заход на чужую землю, в неписаных английских традициях существует закон гостеприимного разрешения таких «кэмпов». И вот загорелые, полуголые, полуодичалые люди бегают утром за водою к речке, разводят костер, устраивают игры, что-то вообще делают «на природе», аккуратно подбирая свой сор и не нарушая ни тишины, ни покоя владельцев. Сколько таких бесконечных «кэмпов» перевидала я по всей Англии, исколесив ее вдоль и поперек!

Театральный и музыкальный сезон, привлекающий массу иностранцев на Британские острова, происходит

совсем не только в Лондоне или даже почти вовсе не в Лондоне,— он вспыхивает прославленными ежегодными фестивалями — театральными, музыкальными, спортивными — то в одном городе, то в другом, не совпадая в сроках, чтобы любители могли поспеть всюду и пересмотреть одно за другим. И эти большие народные празднества, обычно в огромной степени зависящие от самих зрителей, создаются на добровольные пожертвования и членские взносы местных жителей, интеллигенции, городских властей и всевозможных обществ.

Как ни прекрасен Кентерберийский собор сам по себе, я запомнила его не в его одиноком архитектурном совершенстве. В моей памяти он встает длинной, уходящей ввысь серой колоннадой, сплошь заполненной сидящими за узкими пюпитрами людьми, притихшими — не для молитвы; по спиральной лесенке поднимается на дубовую кафедру бесконечно знакомый, в рамке седых кудрей вокруг бронзового лица, в черной священнической одежде,— настоятель собора, Хьюлетт Джонсон; он взошел на эту кафедру последний раз за лето, перед своим отъездом в Китай. Короткое слово настоятеля,— и под сводами Кентерберийского собора, давшего свое имя первому камню в здании английской классической литературы — «Кентерберийским рассказам» Чосера,— раздаются звуки оркестра, подхваченные хором,— это исполняются едва ли не лучшие вещи Брамса, которые так трудно где-нибудь услышать,— его «Реквием» и «Рапсодия для альта». Я ездила в Кентербери из Лондона еще несколько раз, чтоб послушать величавую «Мессию» Генделя и повидать в шоколадном «Театре Марлоу», похожем на деревянную коробочку-раскладушку, замечательный спектакль под странным названьем «1066 и все такое» («1066 энд ол зет»).

Старинный обычай — создавать «рождественские представленья» (наши русские «скоморохи») — во многих странах растворился в искусстве современной сцены до полной его неузнаваемости. Но в Англии он сохранился и в своем особом жанре, и в лучших постановках для «открытых театров», и живет в самом

Шекспире. Несколько англичан — драматург, музыкант, поэт и два автора забавного английского учебника истории, а также и режиссер-постановщик — повинны в создании этого необычайного спектакля, дающего в острой сатире, в красочном гротеске музыкального «ревю» двадцать шесть сценок (при смене свыше двухсот костюмов) основных событий английской истории с ее незапамятной старины и до наших, нет, дальше,— до будущух ее дней. Спектакль был впервые создан в Бирмингаме в 1934 году как «рождественский». Он имел громадный успех,— англичане по-настоящему любят посмеяться над самими собой,— и тотчас начал обходить другие города как своеобразный ежегодник. Сейчас он дошел и до города Кентербери, где мне удалось не только пережить его, но и передумать. В центре этой «исторической сатиры», начинающейся со времен римской колонизации Англии, стоит «средний человек», безобидное существо, которое меньше всего хочет творить историю, а попросту жить и «жить давать другим». Но события неизменно втягивают его в свое колесо, пока, наконец, этот бедный «коммон мэн» не оказывается последним в Англии пешеходом. Есть в английском городском быту хорошая вещь — так называемая «зебра»: крупная, черная с белым, полосатая дорожка пересекает улицу в местах наиболее опасного движения. Если вы попали в разгар движенья на эту «зебру», вы спасены,— никто не смеет вас переехать, весь транспорт останавливается справа и слева от вас. Так вот, последний в Англии пешеход, «средний человек», забирается в энные времена (еще не наступившие), спасаясь от истории и своего участия в ней, на «зебру» и остается на ней сидеть. Щепетильный английский закон ничего не может с ним сделать; полицейский и кондукторша тщетно усовещивают его. Он не двигается, он съежился на «зебре», история вокруг него остановилась... И публика хохочет и бешено аплодирует в зале. Надо сказать, что тема «среднего человека» была в это лето очень в ходу в Англии; о том, что такое «средний класс» и чего он хочет, происходила даже целая философская дискуссия в серьезных английских газетах.

Два слова надо сказать здесь о том, как живет дух Шекспира в стране Шекспира. Не было ни одного города на моем пути по всей Англии, где не шел бы Шекспир в театре или на экране. И только в одном месте я была разочарована... в Стретфорде на Эвоне. Да не обидятся на меня хозяева этого знаменитого городка и шекспировского театра в нем,— они сделали все, чтоб прославить своего великого соотечественника и себя вместе с ним! Тысячи и тысячи посетителей ежегодно с благоговением посещают Стретфорд, ходят по шекспировским улицам, заходят в музеи, в таверны, покупают сувениры и, наконец, смотрят шекспировский спектакль. Но вот я увидела в Стретфорде «Венецианского купца». Это был как будто превосходный, изящный спектакль, и артисты играли с тем совершенством игры, именно игры, в ее традиционном, выдержанном жесте, в ее выразительном, скандированном слове, во всей ее удивительной многолетней школе, что, кажется, нечего добавить к ней,— нечего, кроме жизни. У актера, игравшего Шейлока, исчезла вся страстная политичность, человечность его роли,— остались только декламационное слово и традиционный жест.

Чудесные актеры вырастали или выступали на стретфордской сцене, такие, как Невил, Скофилд, Оливье; но они находили себя и свой собственный стиль игры вне Стретфорда, а чаще всего — в замечательном лондонском «Олд Уике», где Шекспир — живой, огненный, удивительно современный и даже злободневный.

Многие писатели, делегаты Пенклуба, расходясь после «Ричарда II», говорили: «Вот это да! Написать такую вещь почти в эпоху, когда это происходило, не боясь никакой цензуры,— какая смелость! Местами так остро, что кажется — это самый современный спектакль на современной сцене». И львиная доля такого яркого впечатленья — именно от жизненности игры Невила и других актеров.

Один из крупнейших английских музыкальных критиков как-то сказал мне со вздохом: «Жалко, что ваша страна приглашает к себе не то, что действительно характерно для нас, для нашей музыки, нашего искусства; не лучшее, в чем мы сами видим свои дости-

женья, свое будущее, а подчас совсем не показательное для Англии». Он, может быть, прав, но сам же и виноват в этом, потому что и его перо — авторитетное перо — нередко участвует в хвалах официальному и не решается высоко поднять молодое и прогрессивное. Я побывала на «фестивале современной английской музыки» в городке Челтенхэме возле Глочестера. К числу самого лучшего и интересного, что я видела в Англии; что уже с блестящим успехом показало себя в такой экспансивной стране, как Испания; и что очень легко пригласить по количеству занятых в нем человек (4—5),— принадлежит так называемая «Интимная опера», гвоздь челтенхэмского музыкального фестиваля. Создатель и директор «Интимной оперы» — молодой английский композитор Антони Хопкинс, автор многих очаровательных песенок, аранжировок народных английских песен и танцев, музыки к пьесам Бернарда Шоу, Петра Устинова, вещиц для кларнета, спинета, скрипки, нескольких прелюдий и сонат — с удивительным вкусом и терпением подобрал себе коллектив для подлинно культурной борьбы за воскрешенье национальной и мировой классики и против крайностей музыкального модернизма там, где он переходит все границы выносимого. До чего дошли эти крайности на Западе, можно представить себе хотя бы из факта «механического создания музыки», где бездушно используются уже самые законы музыкального творчества. В газете «Стар» 10 августа было напечатано: «Мозг робота создает музыку. Электрическая машина иллинойсского университета (в Америке) сочинила классическую сюиту в трех частях для струнного квартета... Первое исполнение этой «Иллиак-сюиты», сочиненной высокоскоростной счетной машиной, будет дано в Чемпэйн, Иллинойс»... Так вот, в эпоху, когда классические основы музыкальной композиции, превращаясь в математический код, отнимаются у мысли и воображенья человека и отдаются на мертвую игру бездушной машины,— борьба за человечное начало в музыке требует не только таланта, но и остроумия, находчивости, изобретательности. Нельзя было не восхищаться в Челтенхэме, как неистощимый талант Антони

Хопкинса, разыскивающего и воплощающего в маленькие, десяти — пятнадцатиминутные или получасовые оперы забытые тексты классиков, легко втягивал самую разную публику,— с подчас уже испорченным вкусом,— в наслаждение настоящей, прекрасной музыкой. С тремя-четырьмя актерами-певцами А. Хопкинс поставил уже немало таких опер. Мне удалось побывать на «Дон-Кихоте» Перселла; на остроумной пародии радио и телепередач «Кухонной опере» под музыку «Нормы» Беллини; и, наконец, на острокомичной сатире самого А. Хопкинса «Вызов в десять часов», пародирующей какофонию ультрамодернистов, но пародирующей не грубо, а с удивительной тонкостью и самой музыки и текста. И если на двух последних операх все зрители неудержимо хохотали, то на «Дон-Кихоте» Перселла глубокое, благоговейное молчание стояло в зале: только три актера (Дон-Кихот, Санчо-Панса и Дульцинея-Альдонса) вместе с чистой, как лесные колокольчики, музыкой английского классика показали нам покоряющую мощь высокой человечности, сумевшей в смешной своей оболочке убедить, уверить, покорить скептический «здравый смысл» в лице простоватой крестьянки и плутоватого Санчо.

Нет, театральное искусство Англии живо, театральная культура ее — на большой высоте. И она легко победила бы пошлятину салонных пьес, воцарившуюся в лондонских театрах; победила бы и «делающую миллионы» тетку Агату, вернув ее от теперешней бесконечной халтуры, в которой тонет английский зритель и читатель, к умной и тонкой продукции прежней, еще не совращенной, Агаты Кристи; она победила бы и крайности модернизма в музыке, режущие нормальное человеческое ухо, если бы прислушалась к потребностям своего народа и если б английская критика, умная и сведущая на детали, серьезная и честная, когда она описывает и комментирует, но совершенно не способная или не желающая обобщать, выделять, звать, направлять,— если б эта критика создавала успех для подлинного в искусстве и помогала отвращаться от халтуры и пошлости. К сожалению, внимательно читая по шесть-семь газет и журналов в день, я всякий раз

чувствовала эту стоячую воду в раковине, это отсутствие проточной струи, имеющей направленье,— эту упорную, мнимо объективную «статику» английской критики, не желающей бороться и давать направленье,— за исключением статей в «Дэйли Уоркер».

А ведь английское искусство живет именно там, где оно связано с народными традициями массовых представлений,— на открытом воздухе, в маленьких клубных и грандиозных «природных» театрах, в своих фестивалях, где ничего нет ни музейного, ни антикварного, несмотря на всю их традиционность, потому что зрелища эти для английского народа — их сегодняшний день, их современность. И надо говорить о падении салонной городской драматургии, об измельчании драматургической темы в Англии, указывая выход для ее высокой театральной культуры в служении народу и в поисках современной жизненной тематики.

Как ни мал этот остров,— а и в нем есть свои национальные различия, свои особенности в говоре, навыках, культуре. Житель Уэлса, житель Корнуэлла отличаются и друг от друга, и от английского «мидланда». Из живописного Соммерсета с его знаменитыми Чеддарскими пещерами, через узенький прибрежный Девон я ехала в Корнуэлл — в каменный театр на уступах Порт-карно, где среди остатков римских колонн, на фоне сверкающего океана должна была быть премьера «Скалы Логан», корнуэлльской оперетты, написанной Инглис Гандри на сюжет корнуэлльских сказок и легенд. Такие естественные каменные театры есть и в Чехословакии, в природном театре Локете, где мы наслаждались великолепной «Либушей» Бедржиха Сметаны. Но здесь, в Корнуэлле, декорацией был океан, красочными эффектами были его темные волны, исчерченные белыми молниями беспокойных чаек. И главное, здесь был «Лэндс-энд», конец страны, последняя ступенька зеленой Англии на крайнем ее западе,— с земли в океан — мечта всех туристов, сумасшедшее место для любителей «кэмпа», чьи шатры сгрудились на зеленой площадке мыса, как семейство больших круглошапчатых опенок.

И вот я стою под дождем и ветром на скалистом мысу, среди сотен коричневых камней, дыбом громоздящихся друг на друга, перед безбрежной водяной ширью «двух морей», охватывающих этот узкий клочок земли с двух сторон,— на последней или на первой пяди английской земли, и жирные белые чайки вьются вокруг меня с криком. Так холодно и так прекрасно здесь, где все оставлено в его диком и первобытном виде, что мне хочется в этом гулком шуме прибоя услышать тост морских волн: «Здорового будущего всему, что есть здорового и честного в Англии!»

Сентябрь 1956

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

к книге «Путешествие по Советской Армении»

[1] Среднюю высоту Армении до сих пор определяют по-разному. Л. С. Берг («Природа СССР», 2-е издание, стр. 195) и Добрынин («Физическая география», стр. 262) принимают ее за 1500 метров над уровнем океана. Проф. С. Д. Лисицнан в своей «Физической географии ССР Армении» и в других армянских источниках указывает как среднюю высоту 1890 метров над уровнем океана. Привожу для читателя несколько цифр по физической географии Армении, взятых главным образом из первых двух источников.

Территория Армянской ССР — 29,8 тысячи квадратных километров.

Координаты — 38°50′—41°20′ северной широты, 43°20′—46°40′ восточной долготы.

Высшая точка — гора Арагац — 4095 метров над уровнем океана.

Площадь озера Севан — 1413 квадратных километров.

Пользуюсь здесь случаем как дань признательности С. Д. Лисицнану, старейшему армянскому педагогу-географу, скончавшемуся в 1947 году, упомянуть о том, что последней его работой перед смертью был тщательный просмотр настоящей моей книги и множество сделанных им ценных указаний.

[2] Плутарх, Жизнеописание Лукулла, гл. 31, 2—3. Цитирую по книге акад. Я. А. Манандяна «Тигран Второй и Рим», Армфан, Ереван, 1943, стр. 148 (см. также стр. 156).

[3] А. С. Пушкин, Путешествие в Арзрум, гл. 2. Цитирую по изданию: А. С. Пушкин, Сочинения, издание 2-е под редакцией Б. Томашевского, Госиздат, 1937, стр. 630.

[4] «Армения», Путевые очерки и этюды Х. Ф. Линча. Перевод с английского Е. Джунковской, в двух томах. Тифлис, 1910, том I, стр. 73, 83 и 74, 75. Труд Линча был издан у нас на русском языке в 1910 году, но самое путешествие по Армении Линч проделал, как указывает на это и предисловие, в два периода: с августа 1893 года по март 1894 года и с мая по сентябрь 1898 года.

[5] А. Н. Заварицкий, Некоторые черты новейшего вулканизма Армении, «Известия Академии наук СССР», серия геологическая, 1946, № 1, стр. 28.

[6] В «Физической географии ССР Армении» проф. С. Д. Лисициана, изданной на армянском языке,— откуда и взяла обе цитаты,— это вздутие земной коры, образовавшее Кавказский хребет, объясняется действием силы того «бокового давления», которое направлялось «с севера — довольно рано затвердевшими пространствами русско-сибирской равнины, а с юга — тем исчезнувшим обширным плоскогорьем, которое когда-то Индостан и Аравию соединяло с Африкой и Мадагаскаром».

[7] См. «Армянские сказки», изд. 2-е в переводе Я. С. Хачатрянца, «Academia», 1933.

[8] Страбон, кн. XI, 14—15. Приведено у акад. А. Я. Манандяна, «Тигран Второй и Рим», стр. 26. См. примеч. 2.

[9] Аветик Исаакян, Избранные стихи, Гос. изд. худож. литературы, М. 1945, стр. 118.

[10] «Геологическая служба Армянской ССР за 25 лет», изд. Комитета по делам геологии при СНК СССР, М. 1945, стр. 154.

[11] Армянам еще в глубокой древности были известны драгоценные камни. У писателя XIII века Мхитара Айриванского есть целая таблица чудодейственных свойств камней по месяцам, где топазу, например, приписывается сила исцеления от болезни печени, сапфиру — от проказы, изумруду — дар предвидения, агату — лечебная сила от укуса змей и скорпионов, бериллу — особые качества, сообщающие прелесть женщинам и т. д. Читатель может найти здесь много интересного в трех армянских рукописях на тему о драгоценных камнях, переведенных и изданных проф. К. П. Паткановым, «Драгоценные камни, их названия и свойства по понятиям армян в XVII веке», СПБ. 1873.

[12] А. Ферсман, Воспоминания о камне, Гос. изд. худож. литературы, М. 1940, стр. 92.

[13] Моисей Хоренский, История Армении. Перевод

Н. О. Эмина, изд. Лазаревского института восточных языков, М. 1893, стр. 104. Любопытны, по Моисею Хоренскому, и землеустроительные работы Арташеса: «Арташес приказал определить границы деревень и полей... Пограничные знаки утвердил он такие: приказал обтесать четырехгранные камни, выдолбить в средине их круглое углубление, зарыть их в землю и поставить на них четырехугольные башенки, слегка возвышающиеся над землею (там же).

Добавим несколько слов об этом крупнейшем из древних армянских историков. Классическая традиция относит Хоренского к V веку. Считается, что он родился в селении Хорен Таронского округа в 380 году, в царствование Аршака II был отправлен переводчиками библии Сааком и Месропом в Египет, Грецию и Византию. По дороге задержался в Едессе, где изучил едесский архив; в Александрии, где провел несколько лет, изучив под руководством одного из неоплатоников греческую философию, затем отправился в Италию и Афины и, наконец, в Константинополь. По возвращении на родину написал в 460 году, по предложению одного из армянских нахараров, Саака Багратуни, «Историю Армении». Позднее классическая биография Моисея Хоренского была критически пересмотрена и дата его рождения передвинута в VII и даже IX век. Последнюю версию выдвигал проф. К. Патканов, а в наше время разделяет акад. А. Я. Манандян. Другие ученые оспаривают эту точку зрения. Большая часть ученых все же относит Моисея Хоренского к V веку.

[14] И. Шопен, Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи, СПБ, 1852, стр. 405. В дальнейшем сокращенно — И. Шопен.

[15] И. Шопен, там же: «...Раскаленные поля способны производить большую часть колониальных растений; но, как мы имели уже случай неоднократно заметить, природа положила на это одно исключительное, непременное и непреклонное условие: натуральное или искусственное орошение — ирригацию. При поливании прозябение развертывается с изумительной силою и пышностью; богатые урожаи чалтика (риса), хлопчатой бумаги, вин, шелка, кунжута и т. п. обильно награждают земледельца. Без поливания эта самая, столь плодоносная, земля сохнет, каменеет и не в состоянии произвести даже стебелька самой скудной зелени...» (стр. 414).

[16] Цитирую по книге А. К. Магакьяна «Растительность Армянской ССР», изд. Академии наук СССР, М. 1941, стр. 221.

[17] И. Шопен, стр. 646.

[18] И. Шопен, стр. 420.

[19] О ней рассказывает инженер-геолог О. Т. Карапетян в книге «Главные минеральные источники ССР Армении», Ереван, 1928. В числе обследованных тогда источников были следующие: два возле Арзни, первый типа киссингенских и второй соляно-щелочный; «Кенсали» в девяти километрах от Сухого Фонтана, близ села Озунляр, типа соляно-щелочных Ессентуков и Эмса; холодный сернистый источник возле села Еленовка, на левом берегу Раздан; «Блдан» в шести километрах от Дилижана, на реке Блдан,— углекисло-щелочный, типа Оберзальцбрунена, Эмса и т. д.; углекислый («Нарзан») в ущелье Фроловой балки, в трех километрах от шоссе Дилижан — Кировакан; углекисло-железистый возле села Никитино, по берегам Акстафы.

[20] Позднейшие данные об источниках Армении: I. Гидрокарбонатная группа: а) щелочные: Дилижан (Блдан), воды типа «Боржома», температура 11,5°, дебит — до 100 тысяч литров в сутки; Джермук — воды типа карловарских, температура 62°, дебит — до 400 тысяч литров в сутки; Ак-Гел, Бзовдал и др.; б) щелочно-земельные: Никитино, Татев, Саламат и др. II. Сульфатно-хлоридная группа: Арзни, Кенсали, Двин и др. См. «Геологическая служба Армянской ССР за 25 лет», стр. 167—177.

[21] Возле Гюлягарака (на пути к Степанавану) находятся дивные сосновые леса, составляющие сейчас заповедник Армении.

[22] Аветик Исаакян, Избранные стихи, Гос. изд. худож. литературы, М. 1945, стр. 21. На это стихотворение С. В. Рахманинов написал музыку.

[23] «Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней», Гос. изд. худож. литературы, М. 1940, стр. 233. В дальнейшем сокращенно: «Антология армянской поэзии».

[24] «Антология армянской поэзии», стр. 369.

[25] «Антология армянской поэзии», стр. 420.

[26] «Армянские сказки», издание 2-е, «Academia», 1933. Перевод и примечания Я. Хачатрянца. Введение М. Шагинян.

[27] С. К. Карапетян, Советская Армения, Армениз, Ереван, 1940. См. также А. К. Магакьян, «Растительность Армянской ССР», изд. Академии наук СССР, М. 1941, стр. 221.

[28] В. Ю. Медзыховский, Краткий очерк Ново-Баязет-

ского уезда Эриванской губернии, «Известия Русского географического общества», 1907, том XLIII, стр. 147 и 149.

[29] «Антология армянской поэзии», стр. 297, 298, 299.

[30] Цитирую по статье С. П. Зелинского «Дарачичаг», помещенной в «Материалах для описания местностей и племен Кавказа», вып. 1, Тифлис, 1881. Магал — округ. Разделение на магалы перешло к нам от времен персидского владычества в Армении. Под магалом персы подразумевали часть территории, орошаемой водой из одного источника, например: Зангибасарский магал — округ, питаемый водами реки Занги.

[31] И. Шопен, стр. 429—435.

[32] Оваинес Шираз, Названия наших сел. Цитирую по рукописи.

[33] «Антология армянской поэзии», стр. 672.

[34] Моисей Хоренский, История Армении, стр. 34.

[35] О «змеиной женщине» Джаванр смотри мою книгу «Советское Закавказье», Гослитиздат, М. 1931 О змеях есть превосходные новеллы молодого советского писателя Вахтанга Ананяна. См. его «Из записей охотника» в книге «Армянские новеллы», «Советский писатель», М. 1945. См. также И. Шопен, стр. 852—853.

[36] «Крунк» — популярнейшая народная песня, переведенная на русский язык В. Брюсовым. «Ципериак» — ставшее народной песней стихотворение поэта Геворка Додохяна (1830—1908). Также переведено В. Брюсовым. Оба эти стихотворения читатель найдет в сборнике «Антология армянской поэзии», стр. 190 и 383.

[37] Вот часть текста клинописи ассирийского царя Салманасара III о победе его над страной Наири: «Какиа, правитель Наири, и остальное его войско испугались горечи моего оружия и поднялись на высокие горы; за ними поднялся и я, устроил я в горах большую битву и нанес им жестокое поражение; колесницы воинов, коней подъяремных вывел я с гор. Ужас и блеск Ашура, моего владыки, поразил их, они спустились вниз, обняли мои ноги; подать и дань наложил я на них». Цитирую по книге Б. Б. Пиотровского «История и культура Урарту», изд. Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1944, стр. 51.

[38] Страбон, в переводе Мищенко, XI, 14, 9.

[39] Раффи (1835—1888) — псевдоним армянского писателя Акопа Мелик-Акопяна. Отец его, переселившийся из Карабаха в

Персию, был из рода карабахских меликов (князей-землевладельцев). Раффи написал, кроме имеющих художественно-познавательную ценность исторических романов «Давид-бек» и «Самуэл», еще и романы, отмеченные буржуазно-националистическими взглядами автора: «Хент», «Искры» и ряд других произведений. Роман «Самуэл» вышел на русском языке в Гослитиздате в 1947 году.

[40] Мурацан (1854—1908) — псевдоним армянского писателя Григора Тер-Ованнисяна, карабахца, уроженца города Шуши. Превосходный исторический роман его «Георг Марзпетуни» до сих пор не имеет себе равного в армянской литературе. Роман охватывает события первой четверти X века в Армении, царствование Ашота Багратида, прозванного Железным.

[41] Перч Прошьян — своеобразный армянский писатель, создавший на аштаракском диалекте первый роман «Сос и Вартитер» — почти этнографическую энциклопедию, где описаны все обычаи, народные игры, празднества, традиционные обряды, принятые в армянском селе Аштарак. Перу Прошьяна принадлежат три других больших романа — «Яблоко раздора», «Из-за хлеба», «Шахен», где правдиво показано положение армянского крестьянства до революции и множество других произведений. Родился Перч Прошьян в 1837 году в Аштараке, умер в 1907 году.

[42] О I Всеармянском сельскохозяйственном съезде в Ереване в 1922 году смотри мою книгу «Советская Армения», вып. 1 — «Армения сельскохозяйственная», Госиздат, 1925. В книге помещены протоколы этого съезда, единственной и добровольной протоколисткой которого была я сама. Протоколы были перепечатаны и в 1931 году в моей книге «Советское Закавказье», Госиздат, М., стр. 539—678.

[43] Вот названия этих тридцати трех районов:

1. Арташатский, бывший Камарлинский (центр Арташат, бывший Камарлю).

2. Эчмиадзинский, бывший Вагаршапатский (центр Эчмиадзин, бывший Вагаршапад).

3. Октемберянский (Октемберян).

4. Ведииский (Веди).

5. Зангибасарский (Зангибасар).

6. Шаумяновский (Шаумян).

7. Аштаракский (Аштарак).

8. Котайкский (Канакер).

9. Кироваканский (Кировакан).

10. Иджеванский (Иджеван).
11. Шамшадинский (Берд).
12. Спитакский (Амамлу).
13. Ноемберянский (Ноемберян).
14. Талинский (Верхний Талин).
15. Алавердский (Алаверди).
16. Ахурянский, бывший Дузкендский центр (Ахурян, бывший Дузкенд).
17. Артикский (Артик).
18. Агинский (Маралик).
19. Апаранский (Апаран).
20. Ахтинский (Нижняя Ахта).
21. Гукасянский (Гукасян).
22. Степанаванский (Степанаван, бывший Джалал-оглы).
23. Калининский (Калинино, бывшая Воронцовка).
24. Севанский (Севан, бывшая Еленовка).
25. Нор-Баязетский (Нор-Баязет).
26. Мартунинский (Мартуни).
27. Басаргечарский (Басаргечар)
28. Красносельский (Красносельск).
29. Горисский (Горис).
30. Кафанский (Кафан).
31. Сисианский (Сисиан)
32. Азизбековский (Азизбеков).
33. Мегринский (Мегри).

[44] Моисей Хоренский, История Армении, стр. 15, 16, 17, 20—21

[45] Такой авторитет, как Б. Б. Пиотровский, предостерегает, впрочем, от смешения названия страны Хайастан с именем праотца Хайка: «Страну свою армяне называли Хайк, что не следует все же смешивать с именем родоначальника армян Хайк, рассказы о котором привел Моисей Хоренский». Б. Б. Пиотровский, История и культура Урарту, изд. Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1944, стр. 335.

[46] П. Н. Ушаков, К походам урартийцев в Закавказье в IX и VIII веках до нашей эры, «Вестник истории», № 2, 1946, стр. 36.

[47] Акад. Гр. Капанцян, Хайаса — колыбель армян, Этногенез армян и их начальная история, Академия наук Армянской ССР, Институт истории, Ереван, 1947, стр. 246—247.

[48] В этом смысле интересна судьба армян-анийцев. После падения в XI веке столицы армянских Багратидов, Ани, и нашествия сельджуков огромное количество анийских армян бежало на запад. Они расселились в Польше, Венгрии, Румынии и т. д., и всюду зажиточная и знатная верхушка их совершенно ассимилировалась с господствующими классами этих стран, оторвавшись от собственного народа и потеряв национальность. В Польше они получили льготы и самоуправление от короля Казимира Великого (так называемый «Армянский статут Казимира III»),— факт этот показывает, что армяне-беженцы были зажиточными людьми. Ополячиванию армян усердно помогало армянское духовенство, принявшее унию и тянувшее армян к Ватикану. Империализм нашел себе в польских армянах, среди которых лишь ничтожное количество было пролетариями, верных слуг. Другие анийцы поселились в Румынии, Венгрии, на Балканах, в Египте. И там тоже верхушка их ассимилировалась совершенно, приняв в Венгрии венгерские фамилии, в Румынии — румынские. В Египте армяне Погосбей Юсуфиан и Нубар-паша превратились уже в беев и пашей и помогали своим хозяевам проводить колониальную политику. А наряду с этой оторвавшейся от народа и денационализировавшейся буржуазной верхушкой обнищалая трудовая армянская масса на Западе, поставлявшая дешевую рабочую силу, упорно хранила верность своему народу, своему национальному прошлому. Не менее показательна история армян-анийцев в России, где верхушка их служила оплотом русской реакции, дав таких махрово-реакционных деятелей, как Делянов и Лорис-Меликов; а из среды трудовой интеллигенции вышел такой пламенный публицист-демократ, передовой мыслитель, общавшийся с Герценом и Чернышевским, тесно связанный с армянской народной массой, как Микаэл Налбандян.

[49] «Антология армянской поэзии», стр. 190.

[50] Геворк Эмин, Песня о журавле. См. сб. «Новая дорога», Советский писатель, М. 1951, стр. 93—95.

[51] Иосиф Стржиговский, Зодчество армян и Европа (Joseph Strzygowsky, Die Baukunst der Armenier und Europa. Wien, 1918, Band II), стр. 6. Этот труд, очень интересный для советского читателя, еще не переведен на русский язык, достать его в оригинале очень трудно. Привожу поэтому для читателя некоторые важные мысли Стржиговского в цитатах или в кратком изложении.

Книга написана в форме дневника-отчета. Первый том посвящен анализу памятников и материала армянских построек и древнему строительному методу армян. Второй том говорит о существе армянского зодчества. Книге предпослано очень содержательное введение. Современная теория советских ученых о раннем Ренессансе в Закавказье во многом перекликается с этим введением.

1. «Юг и запад влияют на Кавказ (Hochland), пока дело касается «церковного духа», но в гражданском зодчестве армяне идут от древней Азии задолго до того, как начало действовать христианское средиземноморское искусство. В Армении древнеазиатская армянская культура начала строить со сводчатых построек (Kuppelbau), а не базилик, и уже от армян купольный свод завоевал Европу. Это древняя «маздаитская культура» (том I, стр. 1).

2. «Нельзя в достаточной мере подчеркнуть родство армянского внутристенного литья (Gussmauer werkes) с излюбленным строительным методом современности», стр. V.

3. «Что касается исторического значения армянских древнехристианских сводчатых церквей (Kuppelkirchen), то по этому поводу надо сказать следующее. Уже один только способ их строительства должен был увести армян далеко в сторону от тех каменных, деревянных и глиняных строительных форм, которые имелись в древнехристианском средиземноморском искусстве. Поэтому там, где Армения оказывала влияние на христианское искусство других стран (о чем вообще до сих пор мало знают или чему не придавали большого значения), — там, быть может, понятней становится двойственность в христианском зодчестве, одновременность сосуществования в нем базилики и купола». «Особенность строительства купола на квадрате, как господствующей опоры (Baumite), распространилась на Средиземное море и Европу — из Армении» (том I, стр. 5).

4. «Армяне еще по сегодня на всем Востоке славятся как мастера делать свод». «Еще во времена переселения народов... армяне считались в странах Средиземного моря лучшими каменщиками, подобно тому как после них — такими же мастерами явились для Германии, Франции и Англии — ломбардцы» (стр. 206).

Стржнговский считает, что обычное мнение об армянском зодчестве, как о зодчестве каменной кладки, глубоко ошибочно. Основной и оригинальный способ армянского строительства —

литье на известковом растворе в простенках между одеждой из каменных плит. В Армении много материала для таких строек; это страна не только базальта и туфа, но и известняка, дающего превосходный схватывающий раствор. Лаву и туф (красный, желтый, серый, более легкий и пористый, легче обрабатываемый) армяне употребляли для наружной стены. Серо-черный, как наиболее жесткий и крепкий,— для внутренней, для дуги, сводчатой галереи, кушака, опоясывающего стену, для устоев моста, колонны и т. д. Материал для цемента имеется в изобилии в ереванской долине.

Древний раствор, применявшийся в армянском строительстве, близок к нашему цементу. Заливку армяне производили с вулканическими осколками, камнями в растворе. Стены делали шириной в 1,20 метра, в древнем храме Звартноц — 1,40 метра.

В VII веке концы этих плит не заострялись, а были плотными. Плиты иногда укладывались в шахматном порядке,— коричневая и темно-красная туфовая лава и черный базальт. Крыша всегда сводчатая,— армяне другой не знают. Смежные концы плит обрабатывали с идеальной тщательностью, подгоняли друг к другу. Опору несли стены или своды, но не колонны. Колонна, за немногими исключениями, вообще неизвестна. Строили армяне долго, по нескольку лет, иногда по десятку лет. Каменщики имели свою корпорацию, назывались в VII веке «мастерами камня». Стржиговский указывает на свидетельство историка Себеоса.

Очень много и очень интересно пишет Стржиговский об армянском крестьянском доме. Он ссылается на появившуюся в журнале «Антропологическое общество» в Вене статью об этом Тер-Мовсесяна (Ter-Mowsessian, Antropologisches Gesellschaft, N. F. XII, 1892). Квадратный и прямоугольный дом из камня — древнейшая традиция армянского крестьянского дома.

5. «По склону горы тянутся ряды домов. Опять и опять видишь выступающие крыши, опирающиеся на деревянные колонны, и тут же рядом хлев, на котором возвышается ворох сена, соломы или кизяка. Если зодчество армянских церквей и не вырастает прямо из развития жилого крестьянского дома, то все же корни, основы, лежащие в гражданских постройках, в бане, в гробнице, безусловно более древнего происхождения, нежели церковные, и потому не исключена возможность, что первоначально церковь, задуманная как место сборища людей, извлекла подходящие для себя элементы из более древних, чем она, по-

строек. В Армении христианство распространялось не сразу и не из низших слоев населения, а сверху, из руководящих слоев, и только в V веке церковь начинает проникать в гущу населения. Не исключена поэтому возможность, что в армянской церковной архитектуре можно найти следы этого развития» (том I, стр. 262).

Наиболее интересен в книге Стржиговского, кроме огромного значения, придаваемого им закавказской культурной магистрали в развитии человечества, его метод постановки вопроса об архитектуре: форма зодчества берется неотделимо от материала, из которого она создается, и от способа (технологии), с помощью которого она создается.

[52] Ибн-Хордабде, Книга путей и царств (вторая половина IX века). Цитирую по книге: М. Тебеньков, «Древнейшие сношения Руси с прикаспийскими странами», Тифлис, 1896, стр. 13.

Высказывания арабов об Армении и вообще о Закавказье представляют для нас большой интерес, несмотря на односторонность этих высказываний, исходящих от поработителей закавказских народов. В выпусках фундаментального издания «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», печатавшихся в Тбилиси в конце прошлого века, помещены переводы из этих арабских географов и путешественников IX—X веков, сделанные Н. А. Карауловым. К сожалению, то, что относится в этих источниках к Закавказью, до сих пор никем критически не систематизировано и не издано отдельной книгой. Чтобы возместить до некоторой степени этот пробел, подбираю здесь для читателя основные выдержки, касающиеся торговых путей через Арран в Грузию и Армению, ярмарок, городов и расстояний между отдельными городами. Арабы путешествовали по Закавказью, когда и над Арраном и над Арменией господствовал халифат, и страны эти, находившиеся в большей или меньшей степени порабощения у арабов и платившие им огромные налоги, халифат рассматривал как свои богатые «колонии». Вот почему некоторые авторы и называют посещаемые ими земли Закавказья «опорой» и «житницей» Ирака, приводя многочисленные сведения об экономике этих стран. В путешествиях своих они, естественно, главное внимание обращали на мусульман.

Армянский историк Ас. Шахназарян пишет об этом времени владычества халифата на основе показаний арабских источников:

«После покорения всего Закавказья и большей части юго-восточного Кавказа арабский халифат... образовал из стран, рас-

положенных на севере своего государства, особую административную единицу — Эрмнниат; по словам Ибн-Хордабде, Эрминиат и Азербайджан вместе составляли четвертую часть всего арабского государства... Границы этой новой административной единицы, по арабским источникам, представляются в следующем виде: с востока и севера — от Берда'а до Баб-ул-Абваба (Дербенда) и доходят до Кавказских гор... с запада до пределов Рума (Византия); по понятиым причинам арабские источники не указывают южные границы Эрминиата, так как с этой стороны он примыкал к другим административным делениям того же арабского халифата. По данным же армянских источников, с юга Армения граничила с юго-западным побережьем Ванского озера и восточными кантонами области Туруберан. Со второй половины VII века город Двин (или Дабиль — Дебиль, по арабским источникам) делается столицей этой новой административной единицы...» (А. Шахназарян. «Двин», изд. Армфан, Ереван, 1940, стр. 74—75).

Привожу выписки:

I. Ал-Мукаддасий. Писал в 985 году. Родился в Иерусалиме. Образованный человек, сын и внук архитектора (Ибн-ал Бенна). Сочинение свое назвал «Лучшее из делений для познаний климатов». Оригинал издан у de Goeje в 1877 году. Перевод Н. А. Караулова помещен в выпуске № 38 (XXXVIII) «Сборника материалов».

Ал-Мукаддасий объединяет под общим названием Ал-Рихаб (виноградоносная) Арран, Азербайджан и Армению. Он пишет о ней:

«Эта область велика и прекрасна, в ней много плодов и винограду, города ее из самых здоровых мест страны... вывозятся из нее выработанные сукна и восхитительные шнуры; есть в ней червяки — кирмиз; цена ягненка два дирхема, а хлеба на даник дают две булки; плодов без счету и без весу... В ней полезные товары, большие города, водообильные реки, прекрасные села, удивительные особенности; плоды ее вкусны; в ней живут люди правоверные, признающие предания, люди красноречивые и почтенные. У них встречается манна, марена, жасмин, касбувия, море, озера; там же Ал-Баб и рибаты — крепостцы для борьбы с неверными; там мусульманская религия и всякое добро, но только они большие фанатики, каждый в своем учении; притом они тяжелы несколько, в языке их заметна искусственность, и

они отличаются хвастовством; дороги туда трудны; в стране этой преобладают христиане».

«Из Армении вывозят покрывала и шерстяные подстилки, знаменитые и обладающие особыми свойствами».

(Кирмиз — красящий червячок кошениль; дирхем — 15—16 копеек; даник — четверть дирхема; касбувия — осетр; рибаты — маленькие крепостцы, «доты» древности.)

Интересно сообщение Ал-Мукаддасия о Дабиле, древней армянской столице Двин: «Дабиль значительный город, в нем неприступная крепость и большие богатства; имя его древнее, сукна его знамениты; река в нем многоводна; окружают его сады; город имеет предместья; крепость его надежна; площади его крестообразны; пашни его восхитительны; соборная мечеть на громадном холме, а рядом с мечетью церковь; курды наблюдают за городом; при городе есть цитадель; постройки жителей его — из глины и камня; у города много ворот, как Баб-Кейдар, Баб-Ани. При всех его достоинствах преобладают в нем христиане; теперь уже уменьшилось его население, и крепость его разрушилась...»

Ал-Мукаддасий называет дороги-ворота Двина на арабский лад. Армянский писатель Мурацан в своем романе «Геворк Марзпетуни» говорит о пяти воротах-дорогах из Двина: «...разбив свою конницу на четыре части, он (Нсыр, арабский правитель Двина в 928 году.— *М. Ш.*) послал ее охранять все дороги, ведущие в Двин. Одна из них была дорога Хлата, которая начиналась с юго-западной стороны города; вторая, Нахиджеванская, шла с юго-востока; третья дорога, Берда'а начиналась в восточной стороне, а четвертая, Когбапора — с севера. Что касается дороги в Карии, остикан (правитель) оставил ее без охраны...» (Мурацан, Георг Марзпетуин. Перевод Анны Иаоннисян. Гослитиздат, М. 1945, стр. 266—267.)

Армянский ученый, венецианский мхитарист Л. Алишан в своем труде «Айрарат», изданном в Венеции, указывает, что из Двина шло пять торговых путей: 1) на запад, в Константинополь, через Карин; 2) на юго-запад, в Дамаск, через Хилат; 3) на восток, в Скифию, через Берда'а; 4) на юго-восток, в Индию, через Нахичевань; 5) на север, в Тбилиси, через Кехб. Этими указаниями, по-видимому, и пользовался Мурацан.

Упоминание Ал-Мукаддасия о курдах («курды наблюдают за городом»): спустя столетие Двин перешел в руки курдского рода Шеддадидов.

Дальше у Ал-Мукаддасия о Дабиле: «Жители отличаются большими бородами», «что же касается до науки философской, догматической, то они не стоят за нее, ею не занимаются и не обнаруживают шиитских наклонностей. В Дабиле было общежитие суфийское, и у них было знание суфизма при большой бедности». Из правоведческих школ в Дабиле были ханифиты. О языке: «В Армении говорят по-армянски, а в Арране — по-аррански; когда они говорят по-персидски, то их можно понимать, а их персидский язык кое в чем напоминает хурасанский». О дорогах: «От Берда'а до Джанза один переход, и до Калькатус один переход. От Калькатус до Метриса два перехода, оттуда до Думиса два перехода; до Кильвей два перехода, а затем попадаешь в армянскую страну — в Дабиль».

Переход — день пути — у арабов равен 30—40 километрам. Расстояние считается и на фарсахи. Фарсах — немного меньше 6 километров.

II. Ал-Истахрий, Книга путей и царств. В этой книге Ал-Истахрий пользуется трудом своего предшественника Ал-Балхи, составившего атлас географических карт «Сувар ил-акалим», описание поясов Земли. Умер Ал-Балхи в 934 году. Перевод Н. А. Караулова помещен в выпуске № 29 (XXIX) «Сборника материалов».

Упоминая про день Ал-Киркию, Ал-Истахрий пишет: «Арранцы, как христиане, называют так воскресенье».

Описание пути из Берда'а в Двин (Дабиль): «Путь из Берда'а в Дабиль: от Берда'а до Калькатуса — 9 фарсахов; из Калькатуса в Метрис — 9 фарсахов; из Метриса в Давмис — 12 фарсахов; из Давмиса в Киль-Куй — 16 фарсахов; из Киль-Куя до Сисаджана (в персидском варианте Сисаяна) — 16 фарсахов и от Сисаджана до Дабиля — 16 фарсахов». Как видит читатель, транскрипция некоторых названий (Давмис, Куль-Куй) расходится с принятой у Ал-Мукаддасия. Можно приблизительно представить себе этот путь так: вверх по реке Тертер, через Нагорный Карабах, огибая озеро Севан, потом по реке Раздан до Двина.

О Двине Ал-Истахрий пишет: «Дабиль больше Ардабиля. Город этот служит столицей Армении, и в нем дворец правителя, подобно тому, как дворец правителя Азербайджана в Ардабиле. Вокруг Дабиля стена; здесь много христиан, и соборная мечеть города рядом с церковью. В этом городе выделываются шерстяные платья и ковры, подушки, сидения, шнуры и другие

предметы армянского производства. У них же добывается краска, называемая «кирмиз», и ею красят сукно. Я узнал, что это червяк, который прядет вокруг себя наподобие шелковичного червя, а кроме того, узнал я, что так же выделывают много шелковых материй... Дабиль — столица Армении, и в нем Санбат, сын Ашута. Город постоянно находится в руках знатных христиан, а христиане составляют большую часть обитателей Армении, она же царство Арман... Есть у них место, откуда входят в Рум, известное под именем «Тарабезунде». Туда стекаются купцы, а затем отправляются для торговли в страны Рума. Таким образом, все, что попадается из парчи, шелку и румских одежд в этих странах, это из Тарабезунде».

(Санбат — Смбат I Багратид. Ашут — Ашот Багратид, основатель царства Багратидов и отец Смбата I. Царствовал от 891 по 914 год. Тарабезунде — порт Трапезунд на Черном море, ныне в пределах Турции).

О языке: «Язык в Азербайджане, Армении и Арране персидский и арабский, исключая области города Дабиля: вокруг него говорят по-армянски; в стране Берда'а язык арранский».

III. Масуди, Книга сообщений и знаний. Умер в 956 году. Родом из Северной Аравии. Перевод Н. А. Караулова напечатан в выпуске № 29 (XXIX) «Сборника материалов».

О Трапезунде:

«Это город на берегу моря Майотис; в нем ежегодно бывают базары, привлекающие большое число торговцев из мусульман, румцев, армян и других, а равным образом из страны Кешк».

IV. Ибн-Хаукаль. Писал в 977—978 годах. Повторяет «Книгу путей и царств» Ал-Истахрия. Переделал карты Ал-Истахрия. Перевод Н. А. Караулова напечатан в выпуске № 32 (XXXII) «Сборника материалов».

О деньгах, населении, философии:

«Монета Азербайджана, Аррана и Армении — золото и серебро. Бо́льшая часть из жителей их люди здоровые, беспорочные и стремящиеся к изысканию средств к жизни; они терпеливы в перенесении падающих в настоящее время на их голову бедствий и несчастий. Многие из них держатся учения людей хадиса и учения антропоморфистов, и многие из секты Батиния. Во всем Арране, Армении и Азербайджане нет никого, кто бы стоял за келям и за обсуждение вопросов, к нему относящихся; у них врачи опытные, прекрасные и богатые медицинскими по-

знаниями. Они держатся того мнения, что логика — это неверие, а диалектика есть занятие, пресекающее возможность исполнять обязанности мусульманина, и отвращает от большей части знаний, годных при управлении».

(Хадис — религиозное учение мусульман, основанное на преданиях. Батания — мусульманская секта, основное положение которой: каждая внешняя вещь содержит внутренюю идею и каждое место Корана имеет внутренний аллегорический смысл. Келям (или калям) — схоластически-догматическая философия.)

О рынке Кюль-сере, в 27 фарсахах от Ардабиля:

«Рынки в назначенное время года, в начале каждого новолуния... Там бывают разные народы, а с ними предметы потребления и товары, как то: шелк, сакат, барбехар, ароматы, уксус, изделия шорников и медников, золото, серебро, кони, мулы, ослы, рогатый и мелкий скот».

(Сакат — тяжелая шелковая материя. Барбехар — дорогая индийская ткань.)

О Двине:

«В Дабиле выделывается много шелковых одежд. Что же касается до этих последних, то им много подобных в земле Рум, хотя эти более ценны. А что касается до произведений, называемых «армянскими тканями», то это «бутт», сидения, ковры, покрывала, коврики и подушки; нет им подобных среди предметов земли из конца в конец и во всех направлениях». Перечисляя различные города Армении и Аррана, Ибн-Хаукаль пишет: «Ни один из них не походит величиною и великолепием на Дабиль. Они все вместе плодородны, богаты продуктами и возделаны. В настоящее время их постигла та же участь, которая постигла все другие страны, благодаря слабости правительства и превратности судьбы... В этих городах и в областях, лежащих между ними, есть товары, предметы ввоза, разные сорта необходимых животных, овец и материй, ввозимых в разные страны, известных у них и пользующихся славой, как армянские шнуры, приготовляемые в Саламасе и продаваемые от одного до десяти динаров за штуку, и ничего подобного нет в прочих землях. Вышеуказанные армянские материи выделываются в Дабиле; в Меранде, Табризе, Дабиле и областях Армении изготовляются армянские сидения и ковры, известные под именем армянских «мехфур»; не много подобного им во всех странах, в которых выделка тканей имеет сходство с армянской выделкой. Точно

так же в Армении выделываются платки, узорчатые покрывала и шали, выделываемые в Маяфарикине и разных местах Армении... Из... областей Армении и Аррана вывозят превосходных мулов, отличающихся породистостью, здоровых, крепких и выносливых, в Хорасан, Ирак, Сирию и другие страны, о которых упомниать нет необходимости благодаря их известности... Исходный пункт в земле Рума у них называется Тарабезунде; это город, в котором собираются купцы из исламских земель и отправляются оттуда в землю Рума для торговли».

(Б у т т — большое шелковое полотнище, надеваемое на голову. Д и н а р — три рубля. «Превратности судьбы» — в X веке Арран и Армения, а также и иранский Азербайджан были объяты могучими крестьянскими восстаниями.)

О языке:

«Что касается до языка жителей Азербайджана и большинства жителей Армении, то это персидский и арабский, но мало кто говорит по-арабски, а кроме того, говорящие по-персидски не понимают по-арабски. Чисто по-арабски говорят купцы, владельцы поместий, а для многих групп населения в окраинах Армении и прилежащих стран существуют другие языки, как армянский — для жителей Дабиля и области его, а жители Берда'а говорят по-аррански».

V. И б н - Х о р д а б д е. Перс, заведовавший почтой в Джибале (Мидии). Написал в 846—847 годах «Книгу путей и царств». Перевод Н. А. Караулова помещен в выпуске № 32 (XXXII) «Сборника материалов».

Указал пути из Мераги (большого города Азербайджана) в Дабиль: от Мераги до долины реки — 10 фарсахов, от долины реки до Нашавы (Нахичевань) — 10 фарсахов, от Нашавы до Дабиля — 20 фарсахов.

Я привожу лишь несколько характерных выписок. Читатель найдет в них противоречия: арабы не всегда были точны; кое-что они путали; многие географические названия до сих пор не расшифрованы. И тем не менее писатели-арабы X века чрезвычайно интересны для нас; в скупых высказываниях проскальзывают у них факты, говорящие о том, что а р а б с к о й к у л ь т у р е и я з ы к у п о д ч и н я л и с ь т о л ь к о в е р х н и е с л о и н а с е л е н и я — «в л а д е л ь ц ы п о м е с т и й и з а ж и т о ч н ы е к л а с с ы — к у п ц ы». К р е с т ь я н с т в о ж е, х р а н и в ш е е в е р н о с т ь р о д н о м у я з ы к у, о т в е ч а л о п о р а б о т и т е л я м м о щ н ы м р е в о л ю ц и о н н ы м

движением, охватившим почти все Закавказье.

[53] Я. А. Манандян, Тигран Второй и Рим, изд. Армфан, Ереван, 1943. См. также его книгу «Торговые пути и города Армении». Вот более подробные цитаты об этом: «В 166 году до нашей эры Артакснем I был основан в Айраратской равнине, на берегу реки Аракса город Арташат (Artaxiata, то есть «радость Артаксия»), «который, находясь на магистральном пути к портам Черного моря, стал не только политическим, но и важнейшим торговым центром древней Армении. Время его основания совпадает со временем установления транзитных мировых сношений с Китаем и эпохой развития сухопутных торговых сношений с Индией и Центральной Азией. Столица великой Армении Арташат, названная у Плутарха «Карфагеном Армении», как видно из свидетельств греко-римских писателей, пользовалась в римском обществе славой «крупного и красивейшего города».

Для тех, кто захочет ознакомиться с историей Армении более подробно, рекомендуем несколько книг, написанных на русском языке: «История армянского народа», Институт истории Академии наук Армянской ССР, Айпетрат, Ереван, 1951. Литографированные лекции проф. Г. А. Халатьянца о древней Армении «Очерк истории Армении» (Москва, 1910) с большим цитатным и фактическим материалом.

Общее, правда несколько сбивчивое и неясное по концепции, представление об истории Армении дает недавно выпущенный учебник для средних школ: «История армянского народа», часть I. С древнейших времен и до конца XVIII века, изд. Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1944. Наконец, необходимо прочитать книгу поэта Валерия Брюсова «Летопись исторических судеб армянского народа», изд. Армфан, Ереван, 1940. По средним векам есть превосходная книга Н. Адонца — «Армения в эпоху Юстиниана», СПБ. 1908. Крайне важна маленькая книга акад. Я. А. Манандяна — «Краткий обзор истории древней Армении», изд. Академии наук СССР, М. 1943, вызвавшая, правда, возражения главным образом по поводу времени жизни Моисея Хоренского.

[54] О теории «раннего Ренессанса» печатных источников пока очень немного: книга Шалвы Нуцубидзе «Руставели и восточный Ренессанс», изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1947; статьи в «Сборнике «Руставели», Тбилиси, 1938; статья И. Панцхава «Элементы диалектики в грузинской философии XI—XII вв.»,

Тбилиси, 1937; работа акад. Н. Я. Марра «Иоанн Петрицкий», «Записки восточного отделения Русского археологического общества», том XIX, вып. 2—3, СПБ. 1909, стр. 93. Смотри также статью Ш. Нуцубидзе «Миросозерцание Руставели» в «Литературном критике», 1937, кн. 12. В армянской поэзии черты раннего Ренессанса исключительно ярко прослеживаются в творчестве Грикора Нарекаци (см. «Антология армянской поэзии»).

[55] «Антология армянской поэзии», стр. 513.

[56] Слова историка XI века Аристакеса Ластивертского об Ани. Цитирую по книге акад. А. Я. Манандяна, «Краткий обзор истории древней Армении», стр. 36.

[57] А. Я. Манандян, Краткий обзор истории древней Армении, стр. 38.

[58] Плутарх, Избранные биографии. Перевод с греческого под редакцией и с предисловием проф. С. Я. Лурье, Соцэкгиз, М. 1941. См предисловие.

[59] Моисей Хоренский, История Армении, стр. 126—127.

[60] О павликианах смотри «Историю армянского народа», часть I. С древнейших времен до конца XVIII века, стр. 124. Павликиане выступают впервые в первой четверти VIII века. Католикос Иоанн Одзунский созвал против них специальный собор в Двине в 720 году. Движение охватило беднейшие слои населения и в 726—727 годах вылилось в вооруженное восстание. Длилось оно до 70-х годов IX века и было задавлено с помощью Византии.

[61] Вождь движения тондракийцев — Смбат Зарехаванский. Об этом большом революционном движении, начавшемся в конце IX века и длившемся почти до XII века, см.: Г. Е. Гюлимарян, «Тондракеци». Очерк из истории религиозных движений феодальной Армении (тезисы диссертации на степень кандидата исторических наук Государственного института материальной культуры имени Н. Я. Марра); «Крестьянские движения в Сисиане (Зангезуре) в X веке», изд. Академии наук СССР. «Исторические записки», 1938, № 3, стр. 54—71.

[62] О хурремитах смотри книгу Edward G. Brown «A. litarary History of Persia», London (том I, 1906; том II, 1915; том III, 1920), том I, стр. 209 и др. На русском языке о вожде хурремитов Бабеке, выпущена издательством «Молодая гвардия» книжка в серии «Жизнь замечательных людей».

[63] На русском языке недавно появились работы о Вань Ань-ши: В. М. Штейн, Китай в X и XI вв. и В. М. Алексеев,

Утопический монизм и «китайские церемонии» в трактатах Су Сюня (XI в.). (Сборник «Советское востоковедение», том III, Л. 1945, стр. 80—108 и 144—177.) На французском языке смотри старую популярную статью M. C. Varigny «Un socialiste chinois a XI cièсlе»,— напечатанную в журнале «Revu des deux Mondes» 15 февраля 1880 года.

[64] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, том 10, стр. 158 (в сноске). Статья «Пересмотр аграрной программы рабочей партии».

[65] Ф. Энгельс, Крестьянская война в Германии. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, том VIII, стр. 128—129. Там же, «Немецкая идеология, несмотря на опыт последнего времени, все еще продолжает видеть в борьбе, положившей конец средневековью, не что иное, как одни только яростные теологические раздоры. По мнению наших отечественных знатоков истории и государственных мудрецов, если бы только люди того времени могли столковаться между собой относительно небесных вещей, то у них не было бы никаких оснований ссориться из-за земных дел». То, что Энгельс говорит о крестьянских войнах XVI столетия в Германии, в основном приложимо и к крестьянским войнам VII—X веков на Востоке, где ряд исторических явлений, в том числе и феодализм, созрел значительно раньше, чем в более молодой Европе.

[66] Я. А. Манандян, Краткий обзор истории древней Армении, стр. 42.

[67] Цитирую по сборнику «Русские писатели об Армении», составленному С. Арешян и Н. Туманян, Арменгиз, Ереван, 1946, стр. 26.

[68] Об Исраэле Ори смотри книгу Г. А. Эзова «Сношения Петра Великого с армянским народом», СПБ. 1898.

[69] Русский инвалид, 1897, «Воспоминания адъютанта». Цитирую по книге «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», М. 1898, статья «Штурм Карса», стр. 286.

[70] Цитирую по книге «Армянские беллетристы», том 1, М. 1893, стр. 12—14 и дальше. Перевод А. Богданьяна. Недавно «Раны Армении» вышли в новом переводе С. Шервинского. Народный артист Армянской ССР Сурен Кочарян сделал композицию «Ран Армении», позволяющую слушателям ознакомиться с этим документальным творением в один вечер. Хачатур Абовян — великий армянский писатель и педагог, сын крестьянина из села Канакер, родился, по собственному свидетельству, в 1804 1805 году, умер в 1848 году.

Памятник Абовяну, поставленный в Ереване в 1926 году, создан в Париже скульптором Марукяном, который и подарил его Армении.

Подробно об Абовяне см. в V томе настоящего собрания сочинений. «Робинзон» во времена Абовяна читался на армянском языке. «Повесть о медном городе» — один из многочисленных армянских апокрифов.

[71] Ованнес Туманян, Избранные сочинения, Арменгиз, Ереван, 1950, стр. 467—471.

Ованнес Туманян — великий народный поэт Армении, родился в 1869 году в деревне Дсех (сейчас Туманян), в Лори. Умер в 1923 году. О. Туманян оставил богатое литературное наследство, представляющее все жанры: поэзию (лирическую и эпическую), прозу (рассказы, сказки), публицистику, критику. С первого дня Октябрьской революции он стал на сторону большевиков и принял активное участие в строительстве нового мира. О. Туманян в тяжелые дореволюционные годы активно боролся со всяческими проявлениями национализма и национальной вражды в Закавказье, оставил по себе светлую память борца за дружбу народов. О. Туманян сделал очень много для приобщения армянского читателя к великой русской литературе, он был прекрасным переводчиком Пушкина и Лермонтова на армянский язык. Наконец, О. Туманян создал классические произведения для детей, ставши одним из любимых детских писателей. Популярность его произведений огромна. О нем на армянском языке см. работы его дочери, филолога Нвардт Туманян. На русском языке в серии «Жизнь замечательных людей» ему посвящена монография К. Григоряна.

[72] «Современники о Хачатуре Абовяне», изд. Армфан, Ереван, 1941, стр. 87—88.

[73] Микаэл Налбандян (1829—1866) — великий революционный демократ, родился в Нахичевани на Дону, учился в школе Габриэла Патканяна, потом в Московском и Петербургском университетах; Налбандян жил некоторое время за рубежом, был в Индии, в Париже, в Лондоне, где познакомился с Герценом и встречался с Бакуниным. По возвращении из-за границы был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где просидел $3^1/_2$ года. Умер в ссылке в г. Камышине от туберкулеза. Подробно о Налбандяне см. в V томе настоящего Собрания сочинений.

[74] Мих. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, СПБ. 1908, стр. 124.

[75] Полное Собрание сочинений и писем А. И. Герцена под редакцией М. Лемке, Петроград, 1920, стр. 105.

[76] Шушаник Кургинян (1876—1927) — родилась в Александрополе, начала писать в 90-х годах прошлого столетия. Сборник стихотворений «Звон Зари» (1907).

[77] Акоп Акопян (1866—1937) — родился в Елизаветполе (Кировабад Аз. ССР), первый пролетарский армянский поэт, основатель советской армянской поэзии. В 1923 году получил звание народного поэта Армении и Грузии. Начал печататься в 90-х годах. До революции работал в Баку на нефтяных промыслах и в Тбилиси — в банке. Вел широкую партийно-пропагандистскую работу.

[78] «Антология армянской поэзии», стр. 360.

[79] «Антология армянской поэзии», стр. 553.

[80] Сурен Спандарян — один из крупнейших большевиков. Партийная его кличка — Тимофей. Родился 3 декабря 1882 года в Тбилиси, в культурной армянской семье. Отец его был редактором-издателем консервативной армянской газеты «Нор-Дар» и учился в Германии. Спандарян получил широкое образование: в 1902 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета; в 1905 году несколько месяцев проучился в Германии (в Гейдельберге). Наряду с учебой шла непрерывная революционная работа, о которой рассказано в тексте. Умер Спандарян 11 сентября 1916 года.

От Сурена Спандаряна осталось ценное литературное наследство. Часть его издана Истпартом при ЦК ВКП(б) Армении в Ереване в 1940 году.

[81] Наири Зарян (1900) — один из ведущих советских армянских поэтов. Член КПСС. Родился в Турции в Ванском вилайете, бежал подростком в 1915 году в Россию, получил образование в Ереване. Пишет стихи, пьесы, романы («Ацаван»), возглавлял несколько лет ССП Армении. На сюжет его поэмы «Арменуи» написана композитором Аро Степаняном опера «Героиня».

[82] Ованнес Туманян, Избранное, Арменгиз, 1950, стр. 507.

[83] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, том 35, стр. 412.

[84] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, том 32, стр. 295—297.

[85] Вопрос о древности общинного земледелия в Закавказье очень интересен.

Недавно опубликована крупная работа М. В. Левченко «Материалы для внутренней истории Восточной Римской империи V—VI вв.» («Византийский сборник», Институт истории наук СССР, изд. Академии наук СССР, М. 1945). Касаясь вопроса о странах, входивших в Восточную империю (Византию), М. В. Левченко говорит о крестьянской общине в Египте и Армении. Насколько я знаю, вопрос о возможном культурном обмене между Арменией и Египтом в V—VI веках еще не затронут историками, между тем он мог бы пролить свет на многие схожие черты, роднящие Армению с Египтом, на частое упоминание о Египте (Мсур) в армянских сказках, отражение египетского культа мертвых в сказке о «мертвом молодце» и т. д. Привожу для читателя несколько интересных цитат из Левченко:

«Уже из беглого ознакомления с состоянием провинции Восточной Римской империи мы видим, что при всем громадном развитии крупного земледелия и колоната значительные прослойки свободных крестьянских хозяйств существовали в V—VI вв., не говоря о Египте и Сирии, в Византийской Армении, значительных территориях Малой Азии — Исаврии, Писидии, Ликаонии и особенно на обширных территориях Балканского полуострова, получая притом постоянное пополнение в виде новых варварских насельников. Также и общинное землевладение появилось у византийских земледельцев (М. В. Левченко приводит греческий термин «георгнос».— *М. Ш.*) не с VIII в. в результате славянской иммиграции. Исстари на территории Восточной империи существовали селения с общинным землевладением, и остатки этого общинного землевладения дожили до византийского времени»* (стр. 37). «Египетские папирусы IV—VII вв. и императорские законодательства помогают нам точнее и полнее раскрыть следы и остатки сельской общины в византийской деревне того времени. Из них мы узнаем, что сельская община была связана круговой порукой в уплате налогов за своих членов, причем законодательство Юстиниана убеждает нас в том, что это имело место не только по отношению к египетским vici, но и в отношении vici publici всей империи. Жители

* Разрядка моя.— *М. Ш.*

деревни пользовались... правом устранять посторонних, не членов общины от покупки земель на территории деревни... Сознание коллективной ответственности деревенской общины проявлялось не только в том, что общины были связаны круговой порукой в уплате казенных налогов. Мы видим неоднократные примеры того, как частные кредиторы... не стеснялись делать всех vicani ответственными за долги одного из них» (стр. 38).

«Жители египетских метрокомий и vici publici имели и еще более мощные экономические связи, объединявшие деревню в единое целое,— это наличие общественной неразделенной земли, принадлежащей всей общине и обрабатываемой или сдаваемой в аренду сообща. Случай сохранил нам три замечательных документа, подтверждающих этот факт на примере деревни Soknopaei Nesus в конце II и начале III вв.» (стр. 40). Дальше следует анализ этих трех документов, подтверждающих, как ревниво оберегали крестьяне свое общественное поле:

«Несмотря на тягчайший гнет правительственных властей, в египетских «комах» все же сохранялось деревенское самоуправление. В определенные сроки египетские общинники собирались для разрешения вопросов, касающихся деревни, и круг этих вопросов... оставался достаточно широким. Можно сказать, что египетская сельская община, подобно германской марке, проявила изумительную приспособляемость в различнейших областях общественной жизни, по отношению к самым разнообразным требованиям, а также в борьбе с растущим и усиливающимся крупным землевладением» (стр. 43).

И, наконец, вывод о древности общинного землевладения не только в Египте, но и в Армении и в других странах, входивших в состав Византии:

«У нас нет никаких оснований полагать, что эти следы и остатки общинного строя были присущи только византийскому Египту и не сохранились в IV—V вв. в сирийских малоазиатских «комах», в Армении, на большей части территории Балканского полуострова» (стр. 45). «Отсюда следует предположить, что в сопротивлении эксплуататорам у них было объединяющее и связующее начало в виде живучих на Востоке остатков общинного быта, которые и здесь давали жителям метрокомии и vici publici территориальную сплоченность и средства к сопротивлению эксплуататорам. Новеллы Юстиниана также ясно и неоднократно свидетельствуют о жизненности и духе незави-

симости свободных земледельцев Фракии, крупных селений Ликаонии... Исаврии, Армении и особенно Балканского полуострова, куда в V—VI вв. вливались все новые и новые волны варварских насельников» (стр. 46).

[86] С. А. Егиазаров, Исследования по истории учреждений в Закавказье, том I, Казань, 1889, стр. 156 и дальше.

[87] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, том 32, стр. 297.

[88] «Антология армянской поэзии», стр. 561—562.

[89] Поэт Джалал Сардаров родился в 1918 году в селе Абдалляр Котайкского района, был членом Союза писателей Армении, в настоящее время живет в Азербайджане.

[90] Сюник — древнее название Зангезура; сюникцы — зангезурцы.

[91] Степанос Орбельян, История князей Орбельян. Извлечение из сочинений Стефана Сюнийского, армянского писателя XIII века, М. 1883. Также статья А. Д. Ерицова, «Татевский монастырь», помещенная в обширном сборнике «Пятый археологический съезд в Тифлисе». Протоколы подготовительного комитета, Синодальная типография, М. 1882, стр. 406, 410, 411.

[92] «Геологическая служба Армянской ССР за 25 лет», изд. Комитета по делам геологии при СНК СССР, М. 1945, стр. 113—115.

[93] См. «Историю армянского народа», часть I. С древнейших времен до конца XVIII века, изд. Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1944, стр. 229—231.

[94] Гевонд, История нашествия арабов на Армению с 661 до 788 года. Цитирую по статье «Крестьянские движения в Сисакане в X веке», помещенной в «Исторических записках Академии наук», № 3, М. 1938, стр. 57.

[95] Там же. Были и еще какие-то налоги: «пешхот», «тастак», «амур» и «шареят», пока не расшифрованные.

[96] Амо Сагинян, Письмо с поля битвы. Напечатано в сборнике «Поэты Советской Армении», Гослитиздат, 1947.

[97] Моисей Хоренский, История Армении, стр. 110. В примечаниях переводчик Н. О. Эмин указывает, что «пела руками» — буквальный перевод армянского «ергэр дзерамб», а имя Назеник означает «величественно выступающая». В танце армянки двигаются очень медленно, именно «выступают» с мимикой рук.

[98] Географические названия в Армении очень перепутаны, и

только недавно Академия наук Армянской ССР начала их систематически исправлять. Не все новые наименования ко дню написания моей книги получили утверждение, поэтому я не везде могла ими воспользоваться. Читатель должен помнить, что каждая новая власть, каждый период истории, как и жившие в Армении представители других национальностей, вносили свою долю влияния в географическую номенклатуру Армении, и она отразилась на старых картах. Сохранились некоторые азербайджанские названия, есть персидские и турецкие отголоски, есть русифицированные названия (Герюсы, Гумры и т. д.). В настоящее время на территории Армянской ССР восстанавливаются древнеармянские названия.

[99] «Даралагезский магал (округ) равномерно принадлежал Сюнийской провинции, прежнее его название было «Вайоц-дзор» («Долина стона»). «Название это дано сему округу после страшного землетрясения, разрушившего в нем множество зданий и при котором погибло весьма много народа» (И. Шопен, стр. 258). Должно быть, до этого древнего землетрясения ущелье цвело большой, культурной самостоятельной жизнью. На кручах его множество крепостных и дворцовых руин. Село Арпа (некогда княжеская резиденция) полно археологических памятников. Интересны руины в деревне Гладзор: там с XII века в течение 65 лет жила и действовала средневековая армянская академия; в библиотеке ее хранилось много рукописей; учиться в Гладзорской академии съезжались армяне со всех концов света — из Грузии, Албании, Киликии, Тарона, Вана.

[100] Н. С. Тихонов, Тишина. Сборник «Поиски героя», изд. «Прибой», 1927.

[101] Н. С. Тихонов, Красные на Араксе, Гослитиздат, т. I, М. 1955, стр. 522. Кроме тонкого листового хлеба «лаваша», в Армении встречаются и общекавказский чурек — также без дрожжей, на углях подпеченный хлеб длинными или круглыми лепешками, более толстый, чем лаваш. На рынках можно найти грузинский хлеб «пури» (из самой мелкой муки, выпеченный по тому же принципу, длинный и узкий по форме, суживающийся по краям), с румяной коркой. В деревнях и городах Армении пекут особые мучные пироги с начинкой из жареной муки с маслом, подсоленной или подслащенной, называемые «гата». Каждый район имеет свои традиционные виды «гата»: в Лори, например, чаще всего делают их из темной муки с соленой начин-

кой, в Ереване — из слоеного теста и белой муки со сладкой начинкой.

[102] «Танов-спас», или просто «танов»,— крестьянский суп из жидкого снятого кислого молока, который засыпают пшеницей или ячменем. Зимою изготовляется из «чоратана», то есть из сгущенного и просушенного «чора» (род творога), разбавляемого водой. В городах варят «спас» на воде, а потом замешивают его откинутым в тряпочку и загустевшим «мацуном». Исключительно вкусное и полезное блюдо, сдобренное сухими травками.

Вот другие, чаще всего подаваемые национальные армянские кушанья, кроме традиционных общекавказских — шашлыка, люля-кебаба, долмы из виноградных листьев, вареного барашка и плова:

«Лоби» — отваренная фасоль, сдобренная мелко порубленным луком и подсолнечным или кукурузным маслом, иногда и грецким орехом.

«Мацун» — лактобациллин, то есть кислое молоко с острым брожением (не простокваша!). Делают его из буйволиного, овечьего и коровьего молока. Летом иногда пьют, разбавляя водой.

«Ариса» — разварившаяся пшеничная каша с мясом, жиром и травками.

«Хаш» — суп из вываренных говяжьих костей, ножек, сухожилий — то, что в застывшем виде образует холодец. Обычно дается наутро после свадьбы новобрачным.

«Боз-баш» — вид борща со множеством всяких овощей и приправ, густо перченный.

«Кюфта» — любимое зимнее блюдо из битого отварного мяса, поливаемого сливочным маслом. Иногда подается с кашей или рисовым супом («шорва»).

Карасы — большие кувшины для вина.

[103] В Ленинграде, в Эрмитаже, хранится египетский папирус со сказкой о потерпевшем кораблекрушение. В ней рассказывается о гигантском добром змее необитаемого острова, помогшем выброшенному на берег моряку.

[104] «Армянские сказки», изд. 2-е, «Academia», 1933.

[105] В 1944 году во все районы было разослано постановление Совнаркома Армении о благоустройстве в деревнях, об обязательном строительстве бань и т. д. В 1950 году большие колхозы уже заказывают в Ереване проекты новых, культурных поселений, с благоустроенными и озелененными улицами, красивыми

площадями. Богатые колхозы строят настоящие дворцы для своих клубов и домов культуры.

[106] Привожу данные по колхозу «Арташат», относящиеся к 1944 году. В колхозе было тогда 600 гектаров поливной культуры и 150 гектаров неполивной. Хлопок занимал 85—100 гектаров; пшеница, озимая и яровая,— 150 гектаров. Крупные животноводческие фермы (овец — 1500 голов, крупного рогатого скота — 230 голов, свиней — 50). Коровы — небольшие, местная порода. Птицеводческая ферма. Бахчеводство (арбузы, помидоры, перец, дыни). При колхозе собственные предприятия: кузнечная и столярная мастерские, мельница. Свой водопровод — хорошая родниковая вода. В школе кружок самодеятельности. Работали во время войны в основном женщины, до войны полевых работ почти не знавшие. Есть награжденные. Значительную часть дохода колхозу давал винный завод. Здесь выращиваются кахетинские сорта винограда, выделывается знаменитое красное вино «Айгешат». Немало колхозниц вырабатывало по 500—600 трудодней. В подсобных хозяйствах у колхозников имелось все необходимое. И эти достижения 1944 года кажутся бледными и ничтожными по сравнению с тем, во что превратился колхоз в 1950 году. Не только скакнули цифры, поднялась урожайность, улучшилось и окрепло животноводство, изменился облик колхоза, и вся технология труда уже новая, бурно развивается механизация, по-новому вводится удобрение, широко используется электроэнергия.

[107] Самый древний центр Армении, Арташат, был построен по-видимому, южнее Двина царем Арташесом (или, по-латыни, Артаксием) по совету полководца Ганнибала, бежавшего в 195 году до нашей эры от римлян, после падения Карфагена, в Армению. Об этом пишет Плутарх: «Рассказывают, что карфагенянин Ганнибал, после поражения Антиоха римлянами, отправился к армянину Артаксию. Он наставлял и руководил им в полезных начинаниях, и между прочим, заметив в стране прелестное и удобнейшее место, невозделанное и запущенное, начертил на нем план города; он повел туда Артаксия и, показав место, убеждал его основать там город». Плутарх, Параллельные биографии. Лукулл, XXXI, 5. Цитирую по книге акад. Я. А. Манандяна «Тигран Второй и Рим». Изд. Армфан, Ереван, 1943, стр. 21.

Там же и на той же странице приводится свидетельство географа Страбона (XI, 14, 6, перевод Мищенко) о построении Арташата.

«Города Армении следующие: Артаксата, которую называют также Артаксиатою и которую основал Ганнибал для царя Артаксия, лежит на Араксе, подле Араксенской равнины, прекрасно отстроена и служит царской резиденцией. Город этот расположен в углублении, похожем на полуостров; кругом него, исключая перешейка, тянется перед рекою стена; перешеек его обведен рвом и насыпью». Есть указание на Арташат, что стены его омывают воды Аракса, и у Тацита («Анналы», XIII, 39).

Акад. Я. А. Манандян указывает примерный год построения Арташата, ссылаясь на труд Фабрициуса: Fabricius, Teophanus von Mitylene und Q. Dellins, als Quellen der Geographie des Strabons, Strasburg, 1888, стр. 131.

Ссылка дана в сводке на стр. 21 указанной выше книги акад. Я. А. Манандяна «Тигран Второй и Рим». Материальные следы этой древнейшей столицы сейчас бесследно исчезли.

[108] Там же. Акад. Я. А. Манандян, стр. 22.

О построении Двина Хосровом II смотри «Историю Армении» Моисея Хоренского. Моисей Хоренский, по мнению А. С. Шахназаряна, пересказывает сведения, заимствованные им у армянского историка Пабста Бюзандаци (Фауста Византийского), который говорит: «И приказал царь (Хосрой) своему полководцу собрать много людей из страны и привозить из леса дикие дубовые саженцы и посадить их в Айраратском кантоне, начиная от сильной царской крепости, которую называют Гарни, до равнины Мецамора, до того холма, называемого Двин и лежащего на север от великого города Арташата; по течению реки вплоть до дворца Тикнуни насадили саженцы. И наименовали его дубовые палаты. На юг от него насажена другая роща, на равнине, простирающейся до того места, где растут тростники; ее назвали Хосровакертом. И тут построили царские палаты, и оба места обнесли стеной, и из-за большой дороги не соединили (друг с другом)». Фауст Византийский, История Армении, на армянском языке. СПБ. 1883, т. VIII, стр. 16. Эти цитаты читатель найдет в книге А. С. Шахназаряна «Двин», изд. Армфан, Ереван, 1940.

[109] Мурацан, Георг Марзпетуни. Исторический роман. Перевод с армянского Анны Иоаннисян, Гослитиздат, 1945.

[110] Археологи предполагают, что развалины в Верхнем Гарни — это остатки дворца, построенного Трдатом I в I веке нашей эры.

[111] Ереван расположен под 40°11′ северной широты и 44°30′ восточной долготы. Высота его — 994 метра над уровнем океана.

От Тбилиси по железной дороге он находится на расстоянии 374 километров, от Джульфы — 204 километров.

[112] Сила ветров, дующих на Ереван, увеличивается и тем, что проходят ветры через узкое горло Разданского и Чолмакчинского ущелий и дуют на Ереван из этого прохода, как из мехов. Вот что рассказывает о старом, дореволюционном Ереване очевидец: «За исключением нескольких улиц, город пересекают узкие крутые переулки, неотъемлемую принадлежность которых составляют вечная грязь, нечистота и едкая пыль, лежащая слоем в несколько вершков толщины. Во время ветра пыль эта до такой степени наполняет воздух, что буквально затемняет лучи солнца, подобно водяным парам, а в дождливое время года превращается в невылазную грязь». («Материалы для описания местностей и племен Кавказа», вып. 1, Тбилиси, 1881, «Город Эривань». Статья С. П. Зелинского, стр. 9.)

[113] Например, еще в 1944 году из новых 284 тысяч квадратных метров жилого фонда республики половина строилась в Ереване.

[114] Александр Иванович Таманян (1878—1936) — родился в Екатеринодаре, ныне Краснодар, выдвинулся в России к концу XIX века в ряды выдающихся архитекторов. В 1917—1918 годы был избран вице-президентом Академии художеств в Петрограде. Из его работ дореволюционного периода следует отметить выставочные павильоны в Ярославле, знаменитый дом князя Щербатова на Новинском бульваре в Москве, где Таманян разрешил задачу сочетания изолированного дворца-особняка с доходным многоквартирным домом. В 1920 году А. И. Таманян перебирается в Армению. С большим нравственным удовлетворением вспоминаю незначительный сам по себе, но все же сыгравший свою роль факт косвенного моего участия в этом переселении. Дружески сойдясь с семьей Таманяна летом 1918 года в Анапе, я вела переписку с Александром Ивановичем и как-то получила огромное письмо от него, где он восторженно писал о возможности заново строить Армению, о гениальном армянском зодчестве и о богатстве в Армении строительного материала. Это письмо, написанное с юношеским восторгом и заразительным волнением большого мастера, я передала первому председателю Совнаркома Армении, Саркису Лукашину, на которого письмо произвело сильное впечатление. А. И. Таманян получил от армянского правительства приглашение приехать работать. С 1920 года и по самый день его смерти, шестнадцать лет, А. И. Таманян

перепланировывал и застраивал Армению, покрывая ее своими бессмертными созданиями. Александр Иванович в годы советского строительства стал народным архитектором Армении.

[115] Новый памятник Х. Абовяну работы скульптора Степаняна.

[116] Александр Ширванзаде (1858—1935) — псевдоним классика армянской литературы Александра Мовсесяна. Родился в Азербайджане, в городе Шемахе, в семье ремесленника — портного. Шемаха с ее старинным бытом и нравами дала много материала писателю («Намус», «Злой дух», «Фатьма и Асад»). Окончил пятнадцати лет уездное русское училище, пошел служить: сперва развесчиком соли (изучил соляное дело), потом писарем, счетным работником в Баку, на нефтяных промыслах. Приобрел огромный опыт жизни. Знание нефтепромышленного мира 80-х и 90-х годов прошлого века помогло ему при создании монументального реалистического романа «Хаос». Ширванзаде, как и Горький, мог бы назвать своими университетами богатую опытом учебу у жизни. Его рано потянуло в литературу. Покинув Баку, он переселился в Тбилиси, бывший центром тогдашней литературной жизни Закавказья. Две напечатанные там повести — «Пожар на нефтяном промысле» и «Из дневника приказчика» — своим ясным языком, чистотой стиля, новизной материала и знанием жизни сразу выдвигают Ширванзаде в первые ряды армянских писателей. Он сотрудничает в газете «Мшак» («Работник»), издававшейся либералом Г. Арцруни, пишет романы, новеллы, статьи, глубоко и правдиво отражая жизнь армянского общества. После Октябрьской революции, уже маститым писателем, перебирается в Ереван, где пишет пьесу «Кум Моргана» (сатира на быт армянской буржуазной эмиграции) и два тома мемуаров «В горниле жизни».

Лучшие его вещи — «Злой дух», «Намус» (экранизированы), «Хаос» (переведен на русский язык Я. С. Хачатрянцем, и дважды издан Гослитиздатом), «Артист» (переведен на русский язык Я. С. Хачатрянцем, издан Гослитиздатом), пьеса «Из-за чести» (издана в издательстве «Искусство», в переводе Я. С. Хачатрянца). Творчество Ширванзаде давно вышло из рамок армянской литературы и стало широко известно не только русскому, но и зарубежному читателю.

[117] Ованнес Абелян (1865—1936) — родился также в Шемахе, выдвинулся в ряды крупнейших деятелей армянского

театра, культурный и умный создатель галереи незабываемых образов: доктора Штокмана (Ибсен), Пэпо (Сундукян), Отелло (Шекспир), Карла Моора (Шиллер) и др. После советизации Армении перебрался в Ереван, где много и творчески поработал над созданием армянского театра драмы.

[118] Александр Афанасьевич Спендиаров (1871—1928) — крупнейший армянский композитор, ученик Римского-Корсакова, родился в России, в местечке Каховка. Хороший симфонист, он стал основоположником современной армянской симфонической музыки. Из больших его вещей наиболее известная опера «Алмаст» на текст О. Туманяна. Спендиаров оставил много оркестровых произведений и романсов, трижды он получал премию имени Глинки. После советизации Армении переехал работать в Ереван, много потрудился для создания советской музыкальной культуры Армении. С 1926 года — народный артист Армении. Умер неожиданно, в расцвете творческой деятельности.

[119] Аветик Исаакян (1875—1957) — крупнейший и любимейший поэт Армении, родился возле Александрополя (ныне Ленинакана), в деревне Казарапат. Получил всестороннее образование в Эчмиадзинской академии и за границей, знал несколько европейских языков, много путешествовал по Европе и Ближнему Востоку. Первый сборник стихов выпустил в 1898 году, и тотчас стихи его пошли в народ, были положены на музыку. Ни один поэт не насчитывает так много стихотворений, ставших песнями, как Аветик Исаакян. Его «Ивушку» в переводе А. Блока положил на музыку С. В. Рахманинов. Его философская поэма «Абул Ала Маари» вышла в 1909 году. Приехав в 1936 году в Советскую Армению, Аветик Исаакян принял деятельное участие в литературно-общественной жизни. Писал он и прозу, языком тонким и точным, насыщенным большой культурой. Действительный член Академии наук Армянской ССР.

[120] Мартирос Сергеевич Сарьян — крупный советский художник, своеобразный талант, оказавший огромное влияние на становление советской армянской живописи. Родился в 1880 году в Нахичевани на Дону, учился в Москве и за границей, путешествовал по Европе, Азии и Африке.

Яркие полотна Сарьяна с его чистыми, полными тонами и необычайно четким и тонким рисунком можно видеть в Третьяковской картинной галерее в Москве и в Музее изобразительных искусств в Ереване; имеются они и в лучших галереях за рубежом. В последнее время Сарьян написал много портретов, достиг-

нув и в искусстве портрета большого мастерства, и подготовляет к изданию книгу мемуаров. Народный художник Армянской ССР, депутат Верховного Совета СССР.

[121] Вера Звягинцева, У Мартироса Сарьяна. Цитирую по сборнику «Русские писатели об Армении», Армеигиз, Ереван, 1946, стр. 148.

[122] Амбарцумян, Виктор Амазаспович — ученый с мировым именем, нынешний президент Академии наук Армянской ССР. Родился в 1908 году в Басаргечаре, окончил Ленинградский университет в 1928 году и аспирантуру при Пулковской обсерватории в 1931 году. Заведовал кафедрой астрофизики в Ленинградском университете, им же самим созданной. Сейчас руководит Ереванской государственной обсерваторией. Член-корреспондент Академии наук СССР, действительный член Академии наук Армянской ССР, заслуженный деятель наук Армянской ССР, член Международного астрономического союза. Основные его работы вкратце:

1. Разработка теории лучевого равновесия газовых туманностей, получившей всеобщее признание и дальнейшее развитие в трудах ряда советских и иностранных ученых.

2. Разработка методов определения возраста звездных систем. Эти методы впервые дали возможность оценить правильно возраст некоторых звездных систем.

3. Разработка теории многократного рассеяния света в мутных средах.

4. Открытие ряда новых структурных свойств межзвездной среды, производящей поглощение света отдельных звезд, и др.

Об В. А. Амбарцумяне смотри статью Е. Строговой в альманахе «Год XXXIV», № 7.

[123] Б. Б. Пиотровский, История и культура Урарту, Академия наук Армянской ССР, Институт истории, Ереван, 1944. В этой работе содержатся чрезвычайно важные и ценные методологические установки, не говоря уже о значительности самого ее содержания. Наука об Урарту еще очень молода, поэтому в наши книги вкрадываются подчас очень произвольные представления об этой древнейшей культуре. Многие закавказские ученые пытаются объявить тот или иной народ прямым потомком древних урартов, подменяя вопрос о преемственном влиянии урартской культуры на культуру Закавказья вопросом племенной и расовой преемственности. Б. Б. Пиотровский вводит в это необходимый корректив. Он подвергает критике неправильные положения Ле-

манна-Гаупта, некритично принятые в западноевропейской литературе (см. особенно главу XVII — «Урарты после падения Ванского царства»); он указывает на то, что и в «нашей научной и учебной литературе все еще повторяется ошибочное мнение западноевропейских ученых». В «Истории СССР», изданной в 1939 году Институтом истории Академии наук СССР, указывается, что местное население Ванского района называло себя халдами, а на приложенной к книге карте творится полная путаница (стр. 333). Подвергает он резкой критике и книгу Худадова, где автор отождествляет, по примеру Леманна, урартов и припонтийских халдов, что совершенно неверно. «Недопустимую вульгаризацию» находит Б. Б. Пиотровский в книге, вышедшей под редакцией профессора А. Шестакова «Подсобный материал по изучению истории СССР». Привожу здесь принципиальную постановку вопроса самим Б. Б. Пиотровским.

«...в вопросе о значении Урарту для истории Закавказья мы должны исходить не только из установления генетических связей современных народов Кавказа с древним населением Ванского царства, но и из того значения, какое имело Урарту для развития культуры Кавказа. Влияние Древнего Востока на Закавказье и Кавказ, являвшееся прогрессивным фактором, прослеживается со II тысячелетия до нашей эры. Это нам наглядно показывают материалы из раскопок в Прикубанье (Майкоп) и в Триалети. Взаимоотношения Закавказья с Урарту только усиливают эти связи, и нельзя согласиться с распространенным одно время мнением, что урарты, заняв в X—IX веках до нашей эры область Вана, как бы отрезали население Закавказья от влияния ассиро-вавилонской культуры. Материал, приведенный мною, показывает как раз обратную картину,— чрезвычайно большое влияние урартской культуры на Закавказье и отражение ее на севере, за Кавказским хребтом. Культурное наследие урартов велико не только у его прямых наследников, армян, государство которых выросло на территории Ванского царства, но и у других народов Кавказа, высоко поднявших свою национальную культуру» (стр. 339).

[124] Торос Тораманян (1864—1934), Материалы по истории армянской архитектуры. Сборник трудов Академии наук СССР, Армфан, Институт истории и материальной культуры, Ереван, 1942. Огромный том in folio с иллюстрациями. Сборник любовно собран и отредактирован ученым-археологом, директором Исторического музея Армении Каро Кафадаряном, которому читатели и обязаны этим ценным изданием. Он же предпослал книге

содержательный биографический очерк о Т. Тораманяне на армянском и русском языках.

[125] И. Ю. Крачковский, Над арабскими рукописями, Академия наук СССР, научно-популярная серия, 1946, стр. 6.

[126] Вопрос о происхождении сюжета «Агасфера» чрезвычайно интересен. В «Энциклопедическом словаре» 1892 года, том VII-а, Выговский — Гальбан, стр. 700, в статье Ф. Батюшкова приведена его начальная история.

Французский романист Евгений Сю использовал именно армянскую версию легенды.

[127] А. Н. Свирин, Миниатюра древней Армении, Государственный музей изобразительных искусств Армении, издательство «Искусство», М. 1945, стр. 22. Указывая на наличие восточных элементов в ирландском искусстве, Свирин, в свою очередь, ссылается на труд Zimmerman'а: «Vorkarolingischen Miniatüren». Band IV, S. 321—326.

[128] Низами Гянджеви (1141—1203) — великий азербайджанский поэт.

[129] Алишер Навои (1441—1501) — великий узбекский поэт.

[130] Ованнес Тигранович Карапетян — геолог и один из своеобразнейших людей Армении, с очень интересной биографией. Много его рассказов пришлось мне слышать на ночевках в горах у костров, в маленьких духанах грузинских деревушек, на бесчисленных экскурсиях в горах, когда я принимала участие в руководимых им геологических обследованиях. О. Т. Карапетян в детстве был пастухом, поднялся из нищеты собственным, поистине невероятным трудом. Был участником основных советских строек и геологических экспертиз месторождений в качестве консультанта.

[131] До сих пор алтайские старухи носят украшения из белых раковин, находимых только на берегах Индийского океана; в Алтайском музее в Барнауле можно увидеть образцы этих украшений. Поражает факт их употребления в древней Армении на амулетах, которые надевали на верблюдов (для благополучного караванного следования). Будучи на Алтае, я не раз отмечала сходство некоторых алтайских слов и названий с армянскими. Р. М. Шаумян (Сборник «Язык и мышление», VIII, изд. Академии наук СССР, 1937) на стр. 96 пишет, между прочим: «В последние годы Н. Я. Марр, занимаясь финно-угорскими и урало-алтайскими языками, обнаружил в них чрезвычайно интересные

схождения с языками Армении, особенно с народным языком, который по своей структуре имеет тенденцию к агглутинации».

[132] Нахичевань на Дону — сейчас Пролетарский район г. Ростова-на-Дону.

[133] Рафаэль Патканян (1830—1892) — родился в Нахичевани на Дону, учился в школе своего отца в Нахичевани одновременно с Микаэлом Налбандяном, потом в Лазаревском институте в Москве и в Дерптском университете. Завершил свое образование в Петербургском университете (восточный факультет). Издал в 1855 году вместе со своим братом Keронэ и другими товарищами книжку стихов и прозы на разговорном армянском языке под общим для всех авторов псевдонимом «Гамар-Катиба», который позднее сделал своим собственным. Дебютировал в этой книге стихотворением «Слезы Аракса». Продолжая дело своего отца, Патканян основывает в Нахичевани школу для детей, а позднее становится инициатором открытия в Нахичевани ремесленного училища, где получает место инспектора, продолжая непрерывно писать. Рафаэль Патканян — создатель литературы на нахичеванском диалекте. Он оставил обширное наследство, в том числе много сатирических зарисовок нравов нахичеванской буржуазии. Одна из его новелл переведена на русский язык Я. С. Хачатрянцем.

Р. Патканян похоронен под Нахичеванью на Дону, на кладбище так называемого «монастырского сада», рядом с М. Налбандяном.

[134] Саят-Нова (1712—1795) — величайший ашуг (народный певец) не только Армении, но, пожалуй, и всего Закавказья. Родился в Тбилиси, в семье армянина-ремесленника; подлинное имя его — Арутюн Саядянц. По профессии был ткачом. Зная с детства три языка — армянский, азербайджанский и грузинский, Саядянц, ставший известным в народе под именем Саят-Нова, начал слагать песни на всех трех языках. Слава его не знала себе равной, на состязаниях ашугов он неизменно выходил победителем. Одно время был приглашен ко двору грузинского царя Ираклия II, но долго при дворе не удержался и, попав в опалу, принял сан священника и удалился в знаменитый своей культурой и библиотекой Ахпатский монастырь в Лори. Во время нашествия Мамед-хана на Тбилиси в 1795 году был зверски убит.

Саят-Нова писал песни, как уже сказано, на всех трех основных языках Закавказья. Они до сих пор поются и любимы на-

родами всех трех республик Закавказья. Армянские песни изданы Ю. Ахвердяном в Москве в 1852 году, грузинские — в 1918 году. На русский язык Саят-Нова переведен В. Брюсовым. В 1929 году Госиздат выпустил сборник русских переводов Саят-Нова.

[135] Ваан Терьян (1885—1920) — армянский поэт. Родился в деревне Гандзе Грузинской ССР. Высшее образование получил в России. В первые годы революции вступил в коммунистическую партию. Перевел на армянский язык ряд трудов В. И. Ленина.

[136] Гайм, Гегель и его время, СПБ. 1861.

[137] Габриэл Сундукян (1825—1912) — классик армянской драматургии, современник А. Н. Островского, автор не сходящих со сцены пьес «Пэпо», «Хатабала» и др.

[138] Комитас — имя, данное Эчмиадзином Согомону Георгиевичу Согомоняну (1869—1935), родившемуся в городе Кудина в Турции, в бедной, но музыкально одаренной семье. Первоначальное образование Комитас получает в турецкой школе, в 1889 году поступает хористом в Эчмиадзинскую семинарию, выдвигается, изучает нотопись и хоровое пение (у Гевонда, Саака Аматуни и Макара Гекмалиана). Глубоко изучает он и народную армянскую песню. В 1833 году, став монахом и получив имя Комитас, становится сам преподавателем. В 1896 году уезжает в Берлин, где три года работает в Берлинской консерватории под руководством Р. Шмидта, одновременно посещая лекции по философии и истории искусств. Сам он тоже выступает с лекциями об армянской народной и церковной музыке в Международном музыкальном обществе в Берлине. Иллюстрируют их его собственные аранжировки, разученные и исполнявшиеся хором учащихся Берлинской консерватории. Посещает также и Цюрих. В 1899 году Комитас возвращается в Эчмиадзин и назначается профессором семинарии. Здесь он целиком отдается собиранию и записи народных песен. Но среда, окружающая Комитаса, относится к нему враждебно. В 1901 году он опять уезжает за границу, на съезд по вопросам церковной музыки в Берлине, затем несколько лет подряд концертирует в городах Закавказья, в 1906 году едет в Париж, где пишет замечательные «Пляски Муша» для рояля. С 1907 года Комитас опять в Закавказье, опять запись народных мелодий, на этот раз курдских, азербайджанских. В 1910 году Комитас в Константинополе, он мечтает о создании консерватории для турецких армян. В 1914 году опять посещает Париж. На музыкальном конгрессе он делает два доклада: о старой и новой нотописи в армянской церковной му-

зыке и об армянской народной музыке. После конгресса Комитас едет в Константинополь продолжать работу организации консерватории. Но 1 августа вспыхивает мировая война; турки отправляют его с группой армянской интеллигенции в ссылку в Малую Азию, на явную гибель, и на его глазах замучивают и расстреливают его товарищей. Комитасу одному удается спастись, но он не выдерживает пережитого ужаса и в 1916 году сходит с ума. Страшная жизнь душевнобольного длится еще около двадцати лет, но Комитас как творец уже ничего не дает до самой смерти.

Художники Терлемезиан и Татевосян в своих портретах Комитаса сумели схватить и передать одиночество и глубокое напряжение мысли великого армянского композитора.

О нем смотри на русском языке хорошее издание песен с биографией, составленной Х. В. Торджяном: «Комитас, песни для голоса с фортепиано». Редакция Х. В. Торджяна, Государственное музыкальное издательство, М. 1939. Работ о Комитасе очень много: упомянутая выше книга А. Шавердяна «Сборник песен Комитаса», Ереван, 1950. Академическое издание трудов Комитаса, подготовленное Мушетом Агаяном и т. д.

[139] Христофор Макарович Кара-Мурза (1854—1902) — родился в Карасу-Базаре, в Крыму. С детства обнаружил способности к музыке. Отправившись на Кавказ, он много лет пропагандировал четырехголосное пение, до него не существовавшее у армян. С двумя своими братьями (один из них — известный сейчас врач-общественник П. М. Кара-Мурза) он пропагандировал армянскую музыку, собирая и обучая на местах хоры, которые потом, когда он уезжал из города, оставались уже в качестве хорошо спевшихся капелл. Такие кружки он организовал в городах Александрополе (ныне Ленинакан), Астрахани, Ахалцихе, Ахалкалаки, Абастумани, Аккермане (ныне Белгород-Днепровский), Баку, Батуми, Гори, Елизаветполе (Кировабад), Ереване, Закаталы, Кишиневе, Керчи, Игдыри, Москве, Моздоке, Нахичевани на Дону, Новочеркасске, Нухе, Одессе, Поти, Петровске (ныне Махачкала) Симферополе, Ставрополе-Кавказском, Тбилиси, Темирхан-Шуре (ныне Буйнакск), Шуше, Шемахе, Эчмиадзине. За семнадцать лет им было организовано 90 певческих хоров в 47 городах и дано 248 концертов. Он собрал и аранжировал 320 народных песен, написал собственных 57 опусов в их числе оперу «Шушан».

[140] Арам Хачатурян — родился в 1904 году в Тбилиси,

учился в музыкальном техникуме имени Гнесиных в Москве, окончил Московскую консерваторию по классу проф. Мясковского в 1934 году (занесен на мраморную доску почета). Автор двух балетов, двух симфоний, скрипичного концерта и многих других произведений. Создатель армянского государственного гимна. Народный артист РСФСР и заслуженный деятель искусств Армянской ССР.

[141] Об этом театре в 1941 году вышла в издании Арменгиза, в Ереване, книга С. Меликсетяна «Путь нашего театра». Читатель найдет в ней и немного древней истории и сведения о старых армянских актерах-классиках, на традициях которых воспитывался вкус советского актера в Армении,— о знаменитом Адамяне, Петросяне, Турьяне, Абеляне, актрисе Сирануш; историю постановок театра имени Сундукяна в Ереване, с упоминаниями о ряде современных крупных актеров театра — Вагарше Вагаршьяне, Джанибекане, Нерсесяне и многих других.

[142] «Ануш» — первая народно-национальная опера на текст Ованнеса Туманяна, созданная композитором Арменом Тиграняном, родившимся в 1879 году в Александрополе (Ленинакане). Армен Тигранян награжден орденом Ленина, заслуженный деятель искусств Армянской и Грузинской ССР.

[143] «Антология армянской поэзии», стр. 383.

[144] О Месропе Маштоце, изобретателе армянского алфавита, имеется большая литература. О нем упоминают древние историки Корюн и Моисей Хоренский. О самом изобретении алфавита см. на армянском языке труд Исаака Арутюняна, «Армянские письмена» («Хайоц гирэ»), изданный в Тифлисе в 1892 году. На русском языке см. книгу акад. Я. А. Манандяна «Месроп Маштоц и борьба армянского народа за культурную самобытность», Армфан, Ереван, 1941.

[145] Ованнес Иоаннисян (1864—1929) — родился в Эчмиадзине, в семье крестьянина-пекаря. Учился в Ереване, кончил московский Лазаревский институт, потом Московский университет (1888). Много переводил с европейских языков на армянский. В 1887 году вышел первый том его стихов, в 1908 году — второй том. В Армении издается собрание его сочинений. В 1944 году был торжественно отпразднован юбилей О. Иоаннисяна.

[146] Атарбеков Георг Александрович (1891—1925) — родился в Эчмиадзине, в 1908 году вступил в РСДРП,

учился в Московском университете, где вел партийную работу и был арестован. Вторично арестован в начале первой мировой войны в Тбилиси, бежал. В 1917 году — член подпольного комитета большевиков, принимает участие в подготовке Октябрьского переворота. До 1919 года — на Северном Кавказе, председатель северокавказской Чека; в 1921 году подавляет дашнакское контрреволюционное восстание. После советизации Грузии руководит РКИ; член президиума Закавказской контрольной комиссии. Погиб при аварии самолета вместе с тт. Мясниковым и Могилевским 22 марта 1925 года.

147 Мясников Александр Федорович (1886—1925) — литературный псевдоним Мартуни, родился в Нахичевани на Дону, кончил юридический факультет Московского университета, в 1906 году вступил в РСДРП, в 1906—1908 годах работал в Баку, в 1909—1914 годах — в Москве (был одно время секретарем Московского комитета партии). В период первой мировой войны ведет большевистскую пропаганду в армии. Во время Октябрьской революции был председателем ревкома Западной области; затем — командующий войсками Западного фронта; в 1919 году — заместитель председателя Совнаркома Белоруссии. С 1921 года — секретарь Закавказского крайкома ВКП(б), редактор «Зари Востока», член ЦИК СССР, кандидат в члены ЦК ВКП(б) с XIII съезда партии. Литературная деятельность под псевдонимом Мартуни шла по двум линиям: публицистической и литературоведческой. Мясников — армянский критик-марксист. Известны его статьи об О. Туманяне, М. Налбандяне, А. Цатуряне и др. Погиб при аварии самолета 22 марта 1925 года.

148 «Антология армянской поэзии», стр. 566.

149 Классические произведения курдской литературы: 1) «Факие Тайра», XIV век; 2) «Ахмедие Хани», XIV век («Маме и Зане», «Нубар»); 3) «Дивана Молан Джизири» («Диван моллы Ахмеда Джизири»); Нали — разные стихотворения.

О богатейшем эпосе я уже упомянула, когда писала о работе Института литературы в Ереване.

150 Джаури Аджиэ Джынды — родился в 1908 году в Карсе, переехал в Армению после революции. Окончил в Ленинакане в 1929 году Педагогический техникум, работал в районе, потом окончил (1940) Ереванский государственный университет (по литературному факультету), остался в аспирантуре, защитил диссертацию «Курдский фольклор», позднее напечатанную Армфаном. Написал много работ и учебников,

около 40 книг. Сейчас старший научный сотрудник по курдскому отделению в Институте литературы и языка Академии наук Армянской ССР. Написал на армянском языке большую работу «Низами и курдский фольклор», пишет ряд исследований о замечательном курдском эпосе «Дым-дым», о Фирдоуси и курдском фольклоре. Составляет курдско-армянский словарь.

[151] Везир Джаббарович Надиров (1911—1946) — родился в Ведннском районе Армении, член ВКП(б) с 1940 года; в 1918 году бежал от дашнаков в Турцию, где учился в Ване. В 1925 году вернулся в Армению. Кончил Азербайджанское педагогическое училище в Нахичевани, потом в Ереване — русский и армянский педагогические институты. Был преподавателем курдского педагогического техникума в Ереване, два года старшим политруком в советских воинских частях, находившихся в Иране. Надиров — писатель, создатель курдского театра. Написал пьесу «Бегство женщины», идущую в курдском театре в районном центре Алагез, ряд поэм и пьес. Писал диссертацию на тему «Курдский текст XIII века и его сравнение с персидским». Погиб во время аварии в Тбилиси.

[152] Для туристов, желающих ознакомиться с восхождением на Арагац (Алагез), выпущена Государственным издательством Армении обстоятельная книжка: Э. Коркотян, Арагац (гора Алагез), Оптэ, Ереван, 1936.

[153] См. интересную работу инженера Д. Г. Числиева «Артикские туфовые строительные лавы». Труды Института прикладной минералогии, М. 1930. В этом труде дается характеристика туфовых лав Армении, описываются организация добычи армянского туфа, виды его применения в строительстве и освещается экономика его использования.

[154] Сильва Капутикян, В Цахкадзоре. Помещено в сборнике «Поэты Советской Армении», Гослитиздат, 1947.

[155] И. Шопен, стр. 806.

[156] «Верстах в восьми от Сухого Фонтана по направлению к Эривани, около самого шоссе выступает обрыв, в котором обнажаются жилы обсидиана. Обсидиан — темная стекловидная масса, иногда прозрачная, как стекло,— выступает только в форме осколков». (И. С. Поляков, Дневник археологических работ, веденных в Закавказском крае осенью 1879 года). В Ереване имеется завод, выплавляющий стекло из этого камня.

[157] Там же, стр. 159.

[158] И. Шопен, стр. 315. «Гокчайский» — Севанский. Севанское озеро некоторое время называлось «Гокча».

[159] В. Ананян, На берегу Севана, Детиздат, 1950. Повесть получила третью премию на конкурсе лучшей детской книги.

[160] Людям и строительству Озерной гидростанции посвящен роман молодой армянской писательницы Анаит Сагиян.

[161] «Ани впервые упоминается как крепость в V веке нашей эры. Багратиды, после покупки Ширака у князей Камсараканов, основываются сначала в городе Багаране на Ахуряне, затем переносят резиденцию в Еразгавор — Ширакаван (ныне Верхний Шурагел). В X веке резиденция новой царской династии находится уже в Ани, который начинает настолько бурно расти, что промежуток времени между сооружением ашотовых и смбатовых стен исчисляется всего в двадцать пять лет. С падением Багратидской династии в 1045 году Ани на некоторое время находится в руках греков, затем завоевывается в конце XI века сельджуками. На протяжении XII века городом владеют попеременно мусульманские эмиры и грузинские цари. При царице Тамаре Ани переходит во владение армянских князей, братьев Захария и Ивана Долгоруких, ставленников грузинской царицы. В 1236 году Ани завоевывают монголы.

Начиная с 1892 года до Великой Октябрьской социалистической революции академик Н. Я. Марр производил систематические раскопки этого виднейшего города. Значение этих работ не только для истории культуры и искусства Армении, но и вообще для народов Передней Азии... тем более велико, что здесь прошло школу целое поколение археологов, многие из которых и поныне ведут свою работу в советских научных учреждениях». Сообщено археологом И. М. Токарским.

Смотри также «Историю армянского народа», часть I, с древнейших времен до конца XVIII века, изд. Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1944, стр. 142.

«Много внимания Смбат II уделял укреплению столицы Ани. С востока и юга город был защищен рекою Ахурян, с запада — ущельем Цахкоцадзор. Плохо защищенную северную сторону он укрепил двойными стенами, мощными башнями, а также широким и глубоким рвом. Строительство стен продолжалось восемь лет. После этого по приказу Смбата был возведен ряд зданий, ставших украшением города Ани. Одним из выдающихся зданий являлся великолепный царский дворец, развалины которого были раскопаны акад. Н. Я. Марром в 1907—1909 гг.»

Тот, кто захочет получить более ясное, художественно и исторически цельное представление об Ани, должен прочитать книжку И. А. Орбели «Развалины Ани», СПБ. 1911, и очерк Н. Я. Марра «Ани, столица древней Армении», помещенный в сборнике «Братская помощь армянам», М. 1898, стр. 197—222. Там же читатель найдет несколько хороших фотографий Ани. Много содержательного материала дают брошюры так называемой «Анийской серии», СПБ. 1910. Я пользуюсь, кроме личных воспоминаний, преимущественно очерком Н. Я. Марра.

162 Моисей Хоренский, История Армении, стр. 21.

163 Ахавни, Маралик. В 1955 году Ахавни выступила в прозе, создав одно из лучших произведений армянской советской литературы, большой роман-эпос «Ширак» (переведен на русский язык).

164 «Чудесные мастера» — сценарий молодого ленинаканского писателя Сергея Паязата (рукопись).

165 Гукас Гукасян, чьим именем назван район,— большевик, организатор «Майского восстания» 1920 года в Армении, на линии Карс — Александрополь.

166 Ваан Миракян, Охота на Лалваре, Арменгиз, 1942, стр. 16—17.

167 Ованнес Туманян, Ануш, «Антология армянской поэзии», стр. 464.

168 «Антология армянской поэзии», стр. 458—459.

169 Степан Георгиевич Шаумян (1878—1918) — один из руководящих членов партии большевиков, родился в Тбилиси. Будучи студентом рижского политехнического института, вступает в РСДРП и в 1902 году высылается за участие в студенческом движении. После II съезда РСДРП примыкает к большевикам. В 1903 году в Женеве встречается с Лениным. В 1904 году в Тбилиси работает в большевистской организации; в 1906—1907 годах участник Стокгольмского и Лондонского съездов партии от ереванской и борчалинской организаций. С 1907 года ведет партийную работу в Баку. 1 мая 1909 года арестован, но через некоторое время освобождается и продолжает вести партийную работу. В 1911 году был арестован вторично и выслан на пять лет в Астрахань. В 1916 году — снова ссылка, в Саратов. После Великой Октябрьской социалистической революции — чрезвычайный комиссар Кавказа. В 1918 году — председатель Бакинского Совета Народных Комиссаров. После захвата Баку

англичанами предательски арестован «Центрокаспием» и вместе с 25 товарищами подло убит 20 сентября 1918 года в 207 километрах от Красноводска. Шаумян оставил ценное литературное наследство. Многие критические высказывания его об армянских писателях имеют большое значение для развития советской армянской литературы. Образ Степана Шаумяна, одного из честнейших и мужественных сынов партии, неоднократно воспроизводился в искусстве. Похоронен Степан Шаумян в Баку, на площади Свободы.

170 «Антология армянской поэзии», стр. 459.

171 Моисей Хоренский, История Армении, стр. 27.

172 Платон, Политика или государство, СПБ. 1863, книга 10, § 614—621.

173 Моисей Хоренский, История Армении, стр. 45—46. Нам кажется, этот отрывок — часть древнейшей космогонии. Тростник как символ дыхания, возникновения жизни, голоса — один из незапамятных и наиболее живучих символов искусства. Он дожил до наших дней. Искусство XVIII века соединяет тростник-свирель с голосом поэта, делает его как бы «проводником глагола» в бесчисленных стихотворениях, на полотнах, гобеленах, панно, табакерках, фарфоре. Тютчев сказал о человеке:

И ропщет мыслящий тростник.

А до него Пушкин в замечательном стихотворении «Муза»:

Тростник был оживлен божественным дыханьем...

174 Цитирую по книге Валерия Брюсова «Летопись исторических судеб армянского народа», стр. 28. Плутарх также цитируется по этой книге.

175 Степан Зорян — автор популярного романа «Белый город», детской повести «Сарашенские ребята», большой автобиографической книги «История одной жизни» и ряда других повестей и новелл, один из лучших советских армянских прозаиков. Роман его «Пап», переведенный на русский язык, вышел в Москве в издательстве «Советский писатель» в 1946 году и подвергся серьезной критике.

176 Акад. Я. А. Манандян, Краткий обзор истории древней Армении, изд. Академии наук СССР, 1943, стр. 18.

177 Изобретение армянского алфавита имеет свою историю. До Месропа Маштоца сирийский епископ Даниил пытался подобрать и создать армянский национальный алфавит, но его знаки не отражали звуковых особенностей армянского языка.

Месроп Маштоц долго работал, прежде чем предложить свои 36 букв в 394 году. Он их расположил в порядке, принятом в греческом алфавите, и, вопреки восточным письменным традициям, принял систему письма слева направо. Смотри «Историю армянского народа», часть I. С древнейших времен до конца XVIII века, Ереван, 1944, стр. 111.

[178] В. Брюсов, Летопись исторических судеб армянского народа, стр. 50—51. «Евнапий, греческий писатель начала V века, упоминает об ученом-армянине, которого называют Проэрсий и который в Афинах изучал философию у софиста Юлиана. Есть свидетельства, что и другие армяне учились в Афинах, слушали философов и риторов и, надо думать, пробовали свои силы как писатели».

[179] Я. А. Манандян, Краткий обзор истории древней Армении, изд. Академии наук СССР, 1943, стр. 24.

[180] Н. М. Карамзин, История Государства Российского, издание Суворина, 1888, том I, стр. 34, глава «Междоусобие славян российских».

[181] «Антология армянской поэзии», стр. 512—513.

[182] Город Византия на Босфоре был переименован в Константинополь в 330 году, а имя Византия стало в 395 году названием самостоятельного государства — восточной части Римской империи, отделившейся от Рима.

[183] John Qarne, Syria, the Holy Land Asia minor Illustrated. 3 тома, издание Fisher, Лондон, Париж и Америка, 1836. Есть перевод на французский язык Александра Соссона. Богато иллюстрированный альбом, том I, стр. 21.

[184] В. Брюсов, Летопись исторических судеб армянского народа, стр. 102.

[185] Там же, стр. 97.

[186] Н. Я. Марр, Армянская культура, ее корни и доисторические связи по данным языкознания. Лекция, прочитанная в Париже в 1923 году.

[187] Под псевдонимом Дзеренц писал доктор Шишманян, родившийся в Константинополе в 1822 году и умерший в Тбилиси в 1888 году. Хороший оратор и публицист, он пользовался огромной популярностью среди западных и восточных армян. Самое значительное из написанного Дзеренцем — три исторических романа: «Торос, сын Леона», «Муки IX века», «Теодорос Рштуни».

[188] Тюркское племя османов (по имени вождя Османа) слилось с населением центральных частей Малой Азии, в 1453 году

захватило Константинополь и, прочно утвердившись на Босфоре, перерезало торговый путь между Востоком и Западом и этим вынудило Европу искать новых путей на Восток: открытия Христофора Колумба начинаются непосредственно за возникновением Османской Турции. См. «Историю армянского народа», часть I. С древнейших времен до конца XVIII века, Ереван, 1944, стр. 214.

[189] «Исторические памятники Армянской ССР», выпуск IV. Аштаракский район. Путеводитель-альбом, Ереван, 1940, стр. 25.

[190] Фалес из Милета — древнегреческий философ, живший в VII веке до нашей эры, математик и астроном, впервые предсказавший солнечное затмение, которое должно было произойти в 585 году до нашей эры. Фалес считается родоначальником греческого материализма.

[191] Звартноц был впервые обнаружен во время раскопок 1902 года. Его построил Нерсес Таеци в 640—660 годах. К концу X века от Звартноца уже остались развалины. Звартноц послужил образцом для аналогичного храма св. Григория в Ани. Нижний ярус его — снаружи многогранный, на 32 углах парные полуколонки, поверх них декоративные арки над продолговатыми окнами. Внутри стена нижнего яруса круглая. Над этим первым ярусом идет пояс, начинающийся замечательными барельефами мастеров, держащих в руках лопату, молоток, тяпку и другие инструменты. Орнамент — виноградные лозы с листьями и гроздьями, ветви гранатов с плодами. Над поясом 32 круглых окна второго яруса, а с внутренней стороны 64 полуколонки. Первый и второй ярусы — односкатные кровли, а купол верхнего яруса — остроконечный конус. Плохая сохранность храма объясняется слабостью опор, на которых покоилась стена второго яруса; криволинейная форма арок, поддерживающих эту стену, при очень больших пролетах была статически невыгодна. В гражданских сооружениях возле Звартноца очень много интересного. Светских сооружений VII века в Армении вообще сохранилось мало, и в этом смысле очень поучительны развалины бани: под полом бани пустота, сюда шел из топки горячий дым или пар, а уходил в дымоходы в стенах. В Звартноце имеются любопытные солнечные часы. См. обо всем этом в «Исторических памятниках Армянской ССР», вып. III, Вагаршапатский район, Ереван, 1938.

[192] Поэма переведена на русский язык Верой Звягинцевой.

Гехам Сарян (1902) — армянский поэт, депутат Верховного Совета СССР. Перевел на армянский язык Тараса Шевченко.

[193] И. С. Поляков, Дневник археологических работ, веденных в Закавказском крае осенью 1879 года, стр. 161.

[194] Уч-Тапалар — 2 527 метров над уровнем океана.

[195] И. С. Поляков, Дневник археологических работ, веденных в Закавказском крае осенью 1879 года, стр. 164.

[196] Общие сведения по археологическим памятникам Армении хранятся в Комитете по охране исторических памятников Армянской ССР в Ереване, где они были систематизированы и описаны археологом И. М. Токарским.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПО ДОРОГАМ ПЯТИЛЕТКИ

Цикл очерков «По дорогам пятилетки» возник в 1946—1947 гг. на основе послевоенных поездок М. Шагинян по Уралу, Сибири, Алтаю, Узбекистану, Казахстану и Киргизии. Впервые полностью был опубликован в журнале «Октябрь», №№ 1, 2, 3 и 12 за 1947 год. Отдельной книгой очерки «По дорогам пятилетки» вышли в Профиздате в 1947 году (первое издание) и в 1948 году (второе издание).

Путешествие в будущее — впервые напечатан в газете «Гудок» 30 октября 1946 года.

Изыскатели — впервые напечатан в газете «Гудок» 29 ноября 1946 года.

Выбор варианта — впервые опубликован в журнале «Октябрь», № 1 за 1947 год. Вот что рассказывает М. Шагинян о его предыстории: когда вагон «Гудка» прибыл в старый уральский город на станцию Стерлитамак, стало известным, что «правительственная комиссия уже приняла и подписала проект постройки отрезка дороги от Магнитогорска до Куйбышева в его так называемом «южном варианте» через станцию Мелеуз в Башкирии. Но я уже слышала из встреч и бесед по пути, что с этим вариантом не согласны ни в Башкирии, ни в Магнитогорске, считая его нерентабельным. Мы устроили в вагоне встречу с изыскателями всех трех вариантов (южного, северного и компромиссного между ними) и в беседе убедились, что принятый вариант — наихудший. Он оставлял без выхода на магистраль Белорецкий завод, туканскую железную руду и лес... Я съездила посоветоваться и проверить это убежденье к первому секретарю Башкирского обкома партии, в Уфу, к секретарям Челябинского и Магнитогорского обкомов. Из

бесед с ними набрался огромный убедительный материал: южный вариант утвержден ошибочно».

Началась длительная, шестимесячная борьба за пересмотр старого решения. Был принят «северный вариант». Дорога прошла не через Мелеуз, а через Белорецк-Тукан.

«Опыт неутомимой М. С. Шагинян,— писал позднее академик В. Н. Образцов в статье «На больших путях» («Литературная газета» от 31 июля 1948 года),— показывает, что может сделать писатель, если он активно вторгается в жизнь, а не пытается наблюдать ее только из окон своего кабинета... Министерство путей сообщения склонялось к «южному варианту», удешевлявшему, на первый взгляд, строительство на 130 миллионов рублей и снижавшему ежегодные эксплуатационные расходы на 10 миллионов рублей. Но М. С. Шагинян.. убедившись, что «северный вариант» развязывает производительные силы богатых районов Южного Урала и Башкирии, страстно включилась в спор специалистов. И в конечном счете победил «северный вариант». Дорога будет построена — металлурги Белорецка, горняки Зигазино-Комаровских рудников, жители Стерлитамака и многих других городов и сел получат новую усовершенствованную и электрифицированную дорогу и будут с любовью и благодарностью помнить об энергичном и неугомонном поборнике «северного варианта» — писателе М. С. Шагинян. В книге «По дорогам пятилетки» глава «Выбор варианта» занимает всего 9 страниц, но у этих страниц большая и славная судьба».

Первенец Южно-Сибирской магистрали — впервые напечатан в газете «Гудок» 13 ноября 1946 года под названием «Первенец Южно-Сибирской».

Чу-Моинты — впервые напечатан в газете «Гудок» 18 декабря 1946 года под названием «Моинты-Чу».

Быстровка-Рыбачье — впервые напечатан в газете «Гудок» 29 декабря 1946 года; под заголовком «В Боомском ущелье» был спубликован в литературно-художественном альманахе «Казахстан» № 6 за 1947 год.

Отдых на озере — впервые напечатан в журнале «Октябрь», № 3 за 1947 год.

КАРЕЛО-ФИНСКИЙ ДНЕВНИК

Все пять очерков, вошедших в этот цикл, напечатаны в «Литературной газете» 22 сентября 1948 года под общим названием «У нас на Севере».

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ

Первый свой очерк об Армении — «История одного канала» — М. Шагинян опубликовала в «Правде» 18 ноября 1922 года. В 1923 году ею была выпущена книга «Советская Армения» с приложением протоколов Первого сельскохозяйственного съезда, которые писательница вела собственноручно. В 1926 году в результате новой поездки в Армению и Азербайджан Шагинян создает еще ряд очерков («Зангезурская медь», «Нагорный Карабах», «Выстрел у Волчьих ворот», «Ночь в Джульфе» и другие), впоследствии собранных в одну книгу «Советское Закавказье».

Очерки М. Шагинян об Армении 20-х годов послужили своего рода этюдами для книги «Путешествие по Советской Армении», собравшей весь многолетний опыт поездок писательницы по различным районам Армении. Впервые отдельным изданием книга «Путешествие по Советской Армении» вышла в 1950 году в издательстве «Молодая гвардия». Удостоена Сталинской премии третьей степени за 1950 год.

ОТ МУРМАНСКА ДО КЕРЧИ

Отдельной книгой очерки «От Мурманска до Керчи» (в несколько расширенном составе: «Мурманск», «Прогулка на Кировские острова», «Ясная Поляна», «Керченская селедка», «Глубь тысячелетий») вышли в издательстве «Правда», 1954.

Мурманск — впервые напечатан в газете «Известия» 13 и 17 мая 1950 года.

Прогулка на Кировские острова — вошел в сборник «От Мурманска до Керчи», изд. «Правда», 1954.

Керченская селедка — впервые напечатан в «Известиях» 17, 18 и 20 октября 1953 года. Очерк обсуждался на заседании Коллегии Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, принявшей специальное постановление по вопросу об устранении недостатков и улучшению работы рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна.

Глубь тысячелетий — вошел в сборник «От Москвы до Керчи», изд. «Правда», 1954.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ПИСЬМА

Возникли в результате поездки М. Шагинян в 1955 году в дружественную народно-демократическую республику. Публиковались в «Литературной газете» 1, 8 и 17 сентября 1955 года. К этому циклу путевых очерков примыкает также и статья «Встреча в Москве», опубликованная под названием «Успехи наших друзей» в газете «Советская культура» 3 сентября 1955 года.

Музей путешествий.— Статья «Музей путешествий» под названием «День в Праге» была опубликована в «Литературной газете» 4 декабря 1956 года.

АНГЛИЙСКИЕ ПИСЬМА

«Английские письма» представляют собой путевые заметки писательницы, побывавшей в Англии летом 1956 года. Публиковались в «Литературной газете» в сентябре — октябре 1956 года.

(«Въезд на остров» — 18 сентября, «На конгрессе Пенклуба» — 22, 25 и 27 сентября, «По городу Лондону» — 16 октября и «По зеленой Англии» — 25 октября 1956 года.)

Л. Скорино

СОДЕРЖАНИЕ

ПО ДОРОГАМ ПЯТИЛЕТКИ

КАРЕЛО-ФИНСКИЙ ДНЕВНИК

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ПИСЬМА

АНГЛИЙСКИЕ ПИСЬМА

Редактор *Э. Бабаян*

Оформление художника *Н. Кравченко*

Художественный редактор *Ю. Боярский*

Технический редактор *Ф. Артемьева*

Корректор *А. Сабадаш*

Сдано в набор 10/VI 1957 г. Подписано к печати 28/IX 1957 г. А06989. Бумага 84 × 108 — 23 печ. л. = 37,72 усл. печ. л. 34,46 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 34,51 л. Тираж 65 000. Заказ № 608.
Цена 11 р. 50 к.

Гослитиздат,
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.